

«Я берег покидал туманный Альбиона...»

Русские писатели об Англии. 1646—1945

*«Я берег покидал
туманный Альбиона...»*

Русские писатели
об Англии.
1646—1945



Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам

*«Я берег покидал туманный
Альбиона...»*

Русские писатели об Англии.
1646 — 1945

Издание подготовили
О.А. Казнина, А.Н. Николюкин

Москва
РОССПЭН
2001

ББК 26.89; 63.3 (4/8) (4Вел)
Я 11

Издание
осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 00-04-16037

Я 11 **«Я берег покидал туманный Альбиона...» Русские писатели об Англии. 1646—1945 /** Подготовители Казнина О.А., Николюкин А.Н. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. — 648 с.

За последние триста лет многие русские литераторы посетили Великобританию. Они оставили свои воспоминания, очерки, статьи и письма. В книге впервые собраны наиболее значительные и интересные высказывания писателей России о жизни, культуре и литературе английского народа, национальном укладе его жизни. Публикуются Н.М.Карамзин, П.Я.Чаадаев, И.А.Гончаров, И.С.Тургенев, А.И.Герцен, Ф.М.Достоевский, М.Горький, В.В.Набоков, А.Н.Толстой, Е.И.Замятин, И.А.Бунин и другие.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, представляет также интерес для филологов, историков, журналистов.

На обложке:

Клод Моне. Здание парламента. 1870—1871 гг.

© О.А.Казнина, А.Н.Николюкин, подготовители 2001.

© О.А.Казнина, вступит. статья, 2001.

© «Российская политическая энциклопедия», 2001.

ISBN 5 - 8243 - 0252 - 9

Англия глазами русских

Автор сочинения «Россиянин в Англии» писал в 1790-х гг.: «Живучи между англичанами, я всего более думаю о русских»¹. Действительно, заботясь о счастье всего человечества («Счастье человека положил я предметом исследований моих во все течение жизни», — пишет он), русские изучали Англию не из праздного любопытства, а чтобы перенести опыт этой дисциплинированной и деловой нации домой, в Россию. Русским путешественникам бросались в глаза достижения англичан на разных поприщах: в устроении государства и домашнем укладе, в торговле и приумножении своих территорий, в технических усовершенствованиях и в искусствах.

Состав этого сборника показывает, как внимательно на протяжении трех столетий русские путешественники изучали англичан: на улице и дома, в церкви и в трактире, на рынке и в парламенте, в театре и на рауте. Их интересовало все: что англичане едят и как одеваются, как проводят досуг, как общаются друг с другом, как воспитывают детей, как относятся к животным. Русские не только удивлялись, но и учились, перенимали то, что могло пригодиться в России. Со временем появились среди русских англomаны — поклонники английской государственности, образа жизни, манер, отношения к миру и к человеку.

Сегодня стремление поучиться у другого народа уму-разуму не утратило своей актуальности, чему свидетельством растущее число русских студентов в британских учебных заведениях, расширение контактов деловых и торговых, культурных и политических. Сборник размышлений русских писателей об Англии за три столетия — замечательное историческое подтверждение плодотворности этих контактов. С другой стороны, современным англичанам тоже было бы интересно взглянуть в это зеркало, которое отражает их меняющийся во времени и все же неизменно узнаваемый облик.

* * *

История отношений России и Англии насчитывает несколько столетий². Первые встречи русских и англичан были редкими и были связаны с нашествием датчан и норманнов, «варягов», оказавшихся своего рода посредниками между Англией и Россией. Сыновья Эдмунда Железнобокого (Ironsides), который умер вскоре после завоевания Англии датчанами в 1016 г., оказались при дворе Ярослава Мудрого в Киеве. Дочь последнего англо-саксонского короля Харальда Гита бежала из Англии в Данию, а затем на Русь,

где стала женой Владимира Мономаха. Существуют свидетельства о том, что в самом начале XIII века при Генрихе II новгородские купцы появлялись в Лондоне. Англо-саксонский поэт Лайамон в своей поэме «Брут», написанной в 1205 г. на основе легенд о короле Артуре, упоминает «короля Руси (of Rusie), богатейшего из рыцарей» (Layamon «Brut, or Chronicle of Britain», II, 1323-24). В Прологе к «Кентерберийским рассказам» Чосера, написанным в конце XIV века, дается портрет Рыцаря, который участвовал в набегах на Литву и Русь.

Однако началом истории постоянных контактов русских и англичан считается все же середина XVI века, когда путешествия с целью обмена товарами и открытия рынков стали регулярными. Торговля развивалась рука об руку с познанием нравов и обычаев, психологии другого народа.

Во времена Ивана Грозного и Эдуарда VI был открыт Северный морской путь, связавший Англию и Россию прочными узами взаимовыгодной торговли. Английский купец и путешественник Ричард Ченслор, направлявшийся в 1553 г. в Индию и Китай северным путем, был вынужден остановиться и таким образом его команда оказалась в Архангельске. Затем они отправились в Москву и были приняты русским царем. Приезд англичан отмечен в русских летописях, а в Англии получили распространение записки Ченслора. В русских летописях подробно описано ответное путешествие русского посла Осипа Непеи в Лондон, рассказано о торжественном приеме у английского короля.

Большой интерес к торговле с Россией проявляла королева Елизавета, многое сделавшая для установления дипломатических отношений с Иваном Грозным. Русский царь был так заинтересован в отношениях с Англией, что решился сделать Елизавете два важных предложения: установить военный союз между государствами и заключить с нею брак. Однако королева не проявила интереса ни к одному из них. Неоднократные просьбы Ивана Грозного найти ему английскую невесту чуть не увенчались успехом: дипломатические посредники почти было устроили его брак с племянницей королевы Мэри Гастингс, которая стала бы его восьмой женой, если бы Елизавета не расстроила эти замыслы.

Елизаветинская Англия — Англия Шекспира, Марлоу, Джонсона, Бекона — по своему культурному уровню далеко ушла от России, государства, по общему мнению европейцев, варварского. Неудивительно поэтому, что англичане испытывали к России по большей части практический, коммерческий интерес. Переписка Елизаветы с русским двором продолжалась при царе Федоре, который открыл Россию для всех европейских государств, но при этом лишил Англию ее преимуществ и привилегий в торговле с Россией. Посольство Бориса Годунова в Лондоне в 1600 г. встретило в Елизавете королеву, которая знала русские обычаи и даже выражала желание изучать русский язык.

Сведения посланников об английской культуре побудили Бориса Годунова отправить четверых своих племянников учиться в Англию, в Оксфордский университет. При смене власти в России молодые люди решили не возвращаться домой, чтобы избежать смерти от руки Лже-Дмитрия. Это были первые русские эмигранты в Англии. Один из них, Николай Алфери (Алферьев), стал провинциальным английским пастором. Когда к власти в России в 1611 г. пришел Михаил Романов, Алферьев получил приглашение вернуться домой и занять привилегированное место при дворе, но осторожный придворный предпочел остаться в неизвестности — и в безопасности — в Англии. Правда, его и там не оставили в покое: пришедший к власти Кромвель лишил его достигнутого положения. Но и это не заставило его вернуться в Россию: он дожил в Англии до старости и дождался Реставрации.

Бывавшие в Англии гонцы и послы знакомились не только с государственной и торговой жизнью Британии, но и с литературой, в основном через посредство театра, который до революции Кромвеля был главным развлечением. Приемы послов непременно сопровождались театральными представлениями, во время которых гостям показывали ученую комедию Бен-Джонсона, трагедии Флетчера и Вебстера. Один из русских гонцов, побывавший в Англии в 1645—1646 гг., оставил свои впечатления об английской столице в рукописи, названной «Роспись городу Лундану и всей Аглинской земли». Предположительно, автор этого сочинения москвич Федор Архипов был переводчиком гонца. Он дал детальное описание архитектуры, обычаев, образа жизни лондонцев. Лондон поразил его изобилием и красотой, впечатления его были самые радужные, несмотря на то, что он оказался в Англии как раз при начале революции Кромвеля. В эту эпоху отношения России с Англией разладились. Царь Алексей Михайлович не признал нового английского правительства, изгнал английских купцов из России, лишив их и впредь всех привилегий. В изданном от имени царя указе говорилось: «Англичане всею землею учинили большое злое дело, государя своего, Карлуса короля, убили до смерти: и за такое злое дело в Московском государстве вам быть не довелось»³. Кромвель пытался наладить торговлю с Россией: по его поручению одно из верительных писем написал знаменитый поэт Дж.Мильтон.

Мильтон был автором одной из немногих собственно исторических книг о России: «Краткая история Московии и других малоизвестных стран, лежащих на Восток от России до самого Китая» (1682 г.). В творчестве поэта этот труд занимает особое место: он мечтал о создании политической географии земли, а история Руси была началом исполнения этого замысла. Увлечение историей Московии оставило след в самой прославленной поэме Мильтона «Потерянный рай». В ней упоминаются русские реки Печора и Обь, Черное и Азовское моря, земли «самоедов» и «кочующих татар». Мильтон не был в России, но ему мог рассказывать о ней его друг

поэт Эндрю Марвелл, ездивший в Москву в качестве секретаря посольства графа Карлейля. Московиты, русские и казаки упоминаются в поэме Сэмюэля Батлера «Гудибрас», причем автор сомневается в том, что московиты и русские это одно и то же, а казаков, о которых часто писали английские газеты того времени, он считал особым племенем.

Новая стадия русско-английских отношений началась в петровскую эпоху. Появление на исторической сцене Петра I с его флотом, победы России над Швецией под Полтавой, заставили англичан посмотреть на Россию по-новому. Писатели и журналисты вспомнили о приезде молодого Петра в Англию в 1698 г. На англичан большое впечатление произвело то, что русский царь приехал в их страну не как монарх, а как ученый, инженер и мастеровой. Петр побывал в Лондоне в Королевском научном обществе, в Арсенале, в Тауэре, на монетном дворе, в Гринвичской обсерватории, а также в театре. В лице Петра англичане впервые увидели достойного союзника и серьезного соперника, но при этом его личность и деяния вызывали различное отношение в разных слоях английского общества. Петровская эпоха отражена в английской литературе как время славы и процветания Русского государства. Особенно важной для роста авторитета молодого государства была победа в Полтавской битве. Но с другой стороны, в усилении могущества России многие увидели угрозу европейской цивилизации.

В Англии первой четверти столетия Петр I становится героем художественной литературы и популярных периодических изданий: его упоминает У.Конгрив в комедии «Так устроен мир» (1701 г.), ему уделяют внимание журналы Аддисона и Стиля «Зритель» и «Болтун». Фиктивные мемуары Р.Стиля, написанные от лица английского офицера, участвовавшего в Полтавской битве на стороне русских, вдохновили Д.Дефо на создание произведения, названного «Царственная история жизни и деяний Петра Алексеевича, царя Московии» (1723 г.). Но и еще ранее, во втором томе «Приключений Робинзона Крузо» (1719 г.) Россия оказалась в поле зрения знаменитого писателя: его герой совершает кругосветное путешествие, которое завершается возвращением в Англию через Архангельск.

Деятельности Петра посвятил несколько страниц Б.Мандевиль в приложении к своему трактату «Басня о пчелах» (1723 г.). Дж.Свифт неоднократно упоминал Петра I и Московию в своих произведениях. Русский царь неизменно оставался мишенью его насмешек, особенно в «Собрании светских и остроумных разговоров», опубликованных в Дублине (1738 г.). В Англии появляются и другие многообразные по жанру книги о России. Художественной литературе этого времени, как пишет М.П.Алексеев, «принадлежала особая роль в деле выработки в Англии *communis opinio* о России»⁴. Литература — романы, поэмы, драмы — обращена к широкому кругу читателей и в этом заключается секрет ее воздействия на общественное мнение и

формирование общих, зачастую стереотипных, представлений о другом народе.

В XVIII в. англо-русские культурные и дипломатические связи получают бурное развитие, хотя и не отличающееся гладкостью из-за столкновений политических интересов. Важную роль в поддержании отношений с Англией на этом этапе, как и раньше, играют русские дипломаты. Шесть лет провел в Англии в 1730-х годах А. Кантемир, поэт и философ, страстный англофил. Его впечатления об Англии изложены в приводимых в нашем издании депешах и политических письмах.

Одним из центров общения русских и англичан был салон Е.Р. Дашковой в Эдинбурге. В 1770 г. она привезла своих детей в Англию, чтобы устроить их в британские учебные заведения. Уже до своей поездки Дашкова была хорошо знакома с литературой и характером английского народа. Она говорила британскому послу в России: «Как это я не родилась англичанкой? Я обожаю свободу и пылкость этого народа». Ее более близкому знакомству с этой страной способствовало то, что ее братья, сначала Александр, затем Семен Воронцовы были в разное время русскими послами в Лондоне. Попав в Англию, Дашкова много путешествовала, посещала музеи, фабрики, лавки, школы и университеты. В Оксфорде она зашла в музей Ашмолеан, издательство Кларендон, библиотеку Бодлеан, где познакомилась с русскими рукописями.

Дашкова не раз посещала литературные салоны Англии и Шотландии, знакомилась с английскими писателями и поэтами и демонстрировала свои светские таланты. Встреча с ней запомнилась Г. Уолполу, автору знаменитого готического романа «Замок Отранто». Свои впечатления о ней он оставил в одном из писем: «Я видел княгиню Дашкоф, на нее стоит посмотреть — внешне она совершенная татарка, но несмотря на это, она мила: у нее приятная улыбка, но глаза сверкают яростью. Она держится необычайно открыто и непринужденно, с готовностью беседует на любые темы, легко и без педантизма, отличается смышленостью и живостью характера. Она не снисходит до забот о нарядах и всяких женских хлопот, но в то же время мило поет приятным голосом. Она немного говорит по-английски и неплохо понимает; более привычен для нее французский, и она знает также латынь»⁵.

Дашкова переписывалась со многими видными англичанами, и в этой переписке встречаются рассуждения о литературе, которые свидетельствуют о знакомстве ее корреспондентов с русской литературой и театром. Знаменитый актер Д. Гаррик писал ей: «Я боюсь, что сбудется пророчество одного из наших поэтов о том, что Россия будет наставницей в искусствах для британского острова»⁶. Пять лет спустя Дашкова опубликовала описание своего знакомства с Англией, которое приводится в настоящем собрании: «Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым Аглинским провинциям» (1775 г.).

Летом 1790 г. в Англии побывал Н.М.Карамзин, который путешествовал «с пером в руке». Из его английского дневника в 1794 г. было издано десять страниц с описанием его прибытия в Дувр и поездки в Лондон. В начале следующего века «Письма русского путешественника» были переведены на английский язык. Кроме этого, в Англии переводились с немецких изданий его исторические труды и художественная проза. «Письма русского путешественника» показали англичанам европейскую цивилизацию глазами их русского современника. Любопытно, что когда А.И.Тургенев, приехавший в Англию в 1826 г., прочел английский перевод «Писем русского путешественника», его поразило сходство его собственных впечатлений с тем, что увидел его предшественник. Он признается, что у Карамзина «есть страницы, кои мог бы я вписать в журнал свой, переменяв только год и месяц». Как показывают более поздние дневники и записки, приводимые в нашей книге, некоторые суждения Карамзина не потеряли своей свежести и значимости и в последующие годы, и даже столетия.

Повышенным вниманием англичан к России отмечен период наполеоновских войн. Победа русских над французами имела жизненно важное значение для Англии. В английской литературе отражены события 1812 г., разгром Наполеоновской армии русскими войсками, прибытие победителей в Париж. Александр I пользовался в Англии значительным авторитетом. В этот период много русских побывало в Англии, русская тема была в большой моде, русской армии посвящали свои произведения поэты-романтики, журналисты, публицисты, историки.

Особой популярностью пользовался в Англии участник войны и взятия Парижа атаман Платов. Когда он приехал в Англию летом 1814 г., ему был оказан великолепный прием, Оксфордский университет наградил его степенью почетного доктора, а в Лондоне ему преподнесли саблю с гербами Великобритании и Ирландии. Не случайно Н.С.Лесков в сказе о Левше (1881) сделал Платова посредником между англичанами и тульским мастером: эта фантазия основана на реальных фактах⁷. С Платовым познакомился В.Скотт, который изобразил его в образе мистера Тачвуда в романа «Сент-Ронанский колодец». К.Н.Батюшков в 1814 г. на пути из Англии в Россию слышал на корабле рассказы о Платове.

В.Скотт, горячий противник Наполеона, проявлял особый интерес к русской Отечественной войне 1812 г., к русской армии, казачеству, партизанской войне. Из интереса к военным действиям вырос у Скотта интерес к России и к вопросам англо-русского сближения. Он считал русских солдат спасителями Европы. В.Скотт был знаком и встречался со многими русскими: писателями, поэтами, дипломатами, заезжавшими в Эдинбург. Д.П.Северин опубликовал воспоминания об одной из таких встреч. С В.Скоттом переписывалась поэтесса Анна Бунина, жившая в Англии в 1815—1817 гг. В 1816 г.

В. Скотт познакомился с прибывшим в Англию великим князем, будущим Николаем I.

Замок В. Скотта при его жизни стал местом паломничества иностранцев, среди них было немало гостей из России. В 1825 г. у него побывал В. П. Давыдов, двоюродный племянник Дениса Давыдова, учившийся в Эдинбургском университете, в конце 1820-х гг. его посетили А. И. Тургенев, генерал М. А. Ермолов, барон А. К. Мейендорф.

В отличие от В. Скотта, другой гений английского романтизма Байрон скептически относился к успехам русской армии в войне с Наполеоном, к популярности русских в Лондоне, к ажиотажу, вызванному приемами царя Александра I в Сент-Джеймском дворце. Однако находившийся в свите Александра I дипломат П. Б. Козловский сумел заинтересовать Байрона, разбудить его интерес к России. Байрон и прежде упоминал в своих «Восточных поэмах» восточную империю, но позднее у него появляются целые сюжеты, связанные с Россией: например эпизод из петровской эпохи в поэме «Мазепа», или описание русского двора в поэме «Дон Жуан».

В 1814—1815 гг. в Англии побывал П. П. Свиньин, записки которого, публиковавшиеся в «Сыне Отечества», посвящены лондонской театральной жизни. Автор пишет о том, какой популярностью в это время пользовались в театре русские песни и пляски, казаки, крестьяне, разбойники. Ставились оперы на русские темы, в которых небыллицы были сплетены с реалиями, а в характере декораций чувствовалось влияние русского лубка.

В 1823 г. в Англии во время своего трехлетнего путешествия по Европе побывал П. Я. Чаадаев. В письме к брату он описывает известные памятники архитектуры, атмосферу жизни, быт и нравы. Позднее в своем первом философическом письме (1829 г., опубл. 1836 г.), сравнивая европейский уклад жизни с русским, он сделал лаконичное, но глубокое замечание об англичанах как о народе, «личность которого ярче всех обозначилась, учреждения которого всего более отражают новый дух»⁸. При этом философ отметил, что англичане «не имеют истории, помимо церковной», то есть не создали своей философии, в которой высказалась бы их история духа. Еще раз философ вспомнил об англичанах, размышляя о том, что такое «дом» в жизни человека. Недоступная поверхностному взору иностранца, глубинная, основанная на семейных традициях домашняя жизнь «в недрах древней Англии» показалась Чаадаеву настолько одухотворенной и привлекательной, что, по его словам, могла «без сожаления» изгладить из памяти воспоминание об отечестве («Отрывки и афоризмы»)⁹.

После восстания декабристов появился первый русский политический изгнанник в Англии — Н. И. Тургенев. Он жил там между 1826 и 1833 г., но знал эту страну и раньше, что нашло отражение в его работе «Сопоставление Англии и Франции» (1819 г.). Непосредственным впечатлениям посвящен его очерк «В Англии» (1826 г.). А. И. Тургенев приезжал в Британию, чтобы увидеться с братом-де-

кабристом. Ему удалось установить тесные связи с шотландскими образованными кругами, познакомиться с В.Скоттом и Т.Муром — автором «Лаллы Рук» и «Ирландских мелодий». Беседы А.И.Тургенева и Т.Мура были посвящены русской литературе, они говорили о русских подражателях Байрона, о Жуковском, Пушкине, Вяземском и Козлове. Свои замечания об английских писателях и поэтах, политиках и ученых А.И.Тургенев оставил в своем английском дневнике. В конце 1830-х гг. с Муром встречался журналист Н.И.Греч, оставивший весьма специфические заметки о лондонской типографии и пивоварне.

Интерес к литературе у англичан и русских в XIX в. был взаимным. В Англии как «русского Байрона» знали Пушкина, о нем английские критики писали уже в 1820-х гг., а первые переводы его произведений появились в 1827 г. В Англии были известны басни И.А.Крылова, «Горе от ума» А.С.Грибоедова, получил признание такой трудный для перевода писатель как Н.В.Гоголь.

Благодаря своему стилистическому сходству с романами В.Скотта, большой популярностью в Англии пользовался роман М.Н.Загоскина «Юрий Милославский», который вышел в переводе на английский язык в 1833 г. «Русским Вальтер Скоттом» называли автора не только русские, но и английские рецензенты. Загоскину принадлежат путевые записки с неожиданным названием «Тоска по родине», в которых он пишет и об Англии.

Во второй половине XIX в. одним из самых популярных русских писателей в Англии был И.С.Тургенев. Он был, несомненно, самым европейским из русских авторов, к тому же он жил в Европе и общался с самыми известными представителями французской литературы. Английский корреспондент Тургенева У.Рольстон немало сделал для знакомства англичан с его творчеством. Сильное влияние Тургенева испытывал англо-американский писатель Генри Джеймс. Посещения Англии отражены в двух произведениях писателя, предлагаемых в сборнике: первое из них очерк «Обед в Обществе английского литературного фонда» (1858 г.), второе — «Письма об Англии». «Письма» были написаны в 1879 г., когда Тургенев приехал в Англию, чтобы получить степень почетного доктора Оксфордского университета.

А.И.Герцен открыл новую главу в истории англо-русских культурных связей, так как положил начало «Лондонской вольнице» — политической эмиграции, которая вела интенсивную идеологическую и культурную работу. В течение двенадцати лет с 1852 г. он издавал журнал «Колокол», писал «Былое и думы», публиковал в английской печати статьи о русской литературе, в частности о Пушкине и Лермонтове. В Лондоне его резиденция в Путни (Putny, Fulham) стала местом паломничества русских, приезжавших в Англию. «Мы были в моде», — писал Герцен о своей лондонской общине.

Герцен мечтал об усвоении его соотечественниками некоторых элементов западной цивилизации — таких как уважение прав лич-

ности, избавление от деспотизма государства. Однако, оказавшись в Европе, он увидел, что и там человек не свободен: «Европа с каждым днем становится все более похожей на Петербург; есть даже страны, более похожие на Петербург, чем сама Россия». Объясняя смысл своей эмиграции, своей жизни в Европе, он писал в 1853 г., находясь в Лондоне: «Если ужасно жить в России, то столь же ужасно жить и в Европе. Отчего же покинул я Россию? Я остаюсь страдать вдвойне — от нашего горя и от горя, которое нахожу здесь, погибнуть, быть может, при всеобщем разгроме. Я остаюсь, потому что борьба здесь открытая, потому что она здесь гласная»¹⁰. Англии посвящена шестая и седьмая часть «Былого и дум», где Герцен описывает «лондонскую вольницу пятидесятых годов» — многонациональную оппозиционную эмиграцию, деятельность «Вольной русской типографии», издание «Колокола». В Лондоне с Герценом сотрудничали Н.Огарев и М.Бакунин. М.Бакунин часто останавливался в Англии в 1861—1863 гг.

В Англии Герцен познакомился со своим соотечественником В.С.Печериным, который по идейным соображениям решил остаться на западе навсегда. Как понял его судьбу Герцен, Печерин не нашел своего истинного места в Европе, почувствовал себя «сырым», не сумел распорядиться своей свободой. В действительности, судя по письмам Печерина, у него были сложившиеся взгляды на характер процессов, происходивших в России под влиянием побеждавшей в ней капиталистической цивилизации, таких как обесценивание духовных ценностей, засилие стремления к материальному благосостоянию. Печерин осознавал свое призвание к духовной жизни и чувствовал себя лишним в России. В Ирландии он принял католичество и стал священником иезуитом. В сборнике приводится его очерк о Лондоне, написанный в 1848 г. Об этом времени он писал в своих воспоминаниях: «В то время Лондон был убежищем всех беглецов от революции».

В 1860-х гг. в Англии побывал поэт-демократ М.Л.Михайлов, один из переводчиков поэзии Мура. Впечатления этого автора об английском гостеприимстве, приводимые в этом сборнике, необычны: он восхищался строгой приветливостью англичан, и провел сравнение не в пользу чрезмерного русского радушия в азиатском стиле. Он же в 1859 г. писал об устройстве английских домов — и здесь слышится некая переключка с А.В.Тырковой, писавшей об английских домах в 1926 г. Побывавший в Англии в это же время В.П.Боткин все свое внимание уделил музыкальной жизни Лондона.

* * *

Во второй половине XIX в. отношения между Россией и Англией определялись колониальными интересами обеих империй на Востоке. Восточный вопрос и антирусские настроения получили отраже-

ние в английской литературе. Крымская война вызвала повышение интереса к России, русская литература стала восприниматься как источник познания русского характера. В «Герое нашего времени» Лермонтова искали объяснения отношений русских с населением Кавказа. «Мертвые души» Гоголя безымянный английский пересказчик истолковал как откровение о русском характере.

К Англии испытывали жгучий интерес русские философы истории, как славянофилы, так и западники. Одни из них видели в Англии опасного врага и соперника, другие считали государственную и правовую систему Англии главным примером для подражания. Н.Ф.Федоров писал: «Мы окружены Англиею, которой все наши соседи служат как бы орудиями» и предлагал «протянуть руку Англии, чтобы было завершено христианское кольцо, охватывающее исламизм»¹¹. Философ считал, что в земле Памира покоится прах общих предков англичан и русских, «через которых мы и англичане — братья». В.С.Соловьев писал, что Англия это не просто страна, одна из частей Европы, а «всесветная держава», «новый Карфаген».

То или иное отношение к Англии далеко не всегда соответствовало западническому или славянофильскому направлению мысли историка. Так, славянофил А.С.Хомяков был в то же время известным англофилом. Обращаясь к древней истории, он напоминал, что когда-то англосаксонские племена соседствовали со славянскими; племя англов — «енгличей» — он возводил к «утличам». В англичанах (которых он иногда называл «островитянами») его восхищала «нравственность воли народной, благородство души человеческой», в английской общественной жизни — самобытность, в быту — «роскошная уютность жизни»¹². Другой известный славянофил А.В.Дружинин писал статьи об английской литературе и переводил Шекспира, которого считал недостижимым образцом в литературе.

К.Н.Леонтьев в книге «Византизм и славянство», описывая признаки заката романо-германской культуры, признавал, что внешние, материальные формы этой культуры все же обманчиво привлекательны, особенно «могущество богатой Англии еще ослепляет умы своим величием». Для Н.Я.Данилевского, в книге «Россия и Европа» предсказавшего закат Европы, Британская империя — главный противовес России как тип культуры. Многие русские философы и писатели рассматривали англичан не только в политическом, но и психологическом аспекте, пытаясь понять, какие качества позволили им опередить другие народы в технической и государственной сфере. Изумление перед техническими достижениями англичан нашло отражение в русских легендах и песнях, как, например, сказ о Левше и песня «Дубинушка», в художественной и документальной литературе.

К соперничеству России и Англии часто возвращается в связи с «восточным вопросом» Ф.М.Достоевский в «Дневнике писателя».

Путешествуя по Европе, он стремился непременно увидеть своими глазами Англию. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863 г.) он описывает, как в Лондоне его встретила «отравленная Темза» и пропитанный запахом угля воздух. Тогда же он увидел «кристальный дворец» промышленной выставки, где демонстрировались высшие достижения европейской технической цивилизации. Образ хрустального дворца как символ иллюзорного благополучия не раз затем появлялся в его художественных произведениях и публицистике.

В Европе, и особенно в Англии, отметил Достоевский, возобладала идея «организованного муравейника», где «все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело». Человек утратил благородство, достоинство, чувство чести, все это заменено готовыми практическими понятиями. В Англии писатель повсюду видел господство духа тьмы — Ваала, царство собственности, богатства. «Накопить фортуны и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс нравственности». Несомненно, англичанам ничего не было известно о том, что Достоевский побывал в Англии и до них не дошли его мнения об их стране. Но романам Достоевского была суждена исключительная судьба в Англии. В начале XX в. слава Достоевского в Англии начала расти с первым появлением его переводов, сделанных Констанс Гарнетт, и достигла апогея в годы Первой мировой войны.

В 1880—1890-х гг. оживление интереса англичан к русским было вызвано политическими и идейными движениями в России, в которых можно было увидеть серьезную угрозу монархии. Англия стала прибежищем для новой волны русской политической эмиграции, которая вела там бурную публицистическую и просветительскую деятельность. Эмигрантскую общину составляли на этом этапе социалисты, народники, анархисты. П.А.Кропоткин постоянно проживал в Англии с 1880-х гг. до 1917 г. Последние страницы его мемуаров «Воспоминания революционера» посвящены жизни русской эмиграции в Лондоне (P.Kropotkin. *Memoirs of a Revolutionist.* — L., 1899). В 1884 г. в Англию приехал революционер-народник писатель С.М.Степняк-Кравчинский. Известный русский социалист, поэт и писатель Ф.В.Волховский, попавший в Англию из сибирской ссылки, прожил в Лондоне без малого четверть века — с 1890 до 1914 г., до конца жизни.

В Англии большую популярность приобрела книга Степняка «Путь нигилиста» (*Stepniak. The career of a nihilist: a novel.* L., 1890). Как автор этой книги он получил прозвище «Нигилист» — это слово прочно вошло в тот момент в английскую литературу о русских. О нигилистах было написано несколько романов, самый популярный из них «Сеятели» («*The Sowers*»), принадлежавший перу Г.С.Мерримана, переиздавался с 1896 до 1930-х гг. Однако еще ранее, в 1880 г., О.Уайльд издал драму «Вера, или Нигилисты», которая никогда не ставилась в Англии по политическим соображениям.

Русские революционеры в Англии общались с английской литературной и политической элитой. Одним из центров англо-русского идейного сближения стал дом переводчицы Констанс Гарнетт и критика Эдварда Гарнетта. Возможно, английские друзья Степняка никогда не узнали бы о том, что их друг разыскивается российскими властями за политическое убийство. Эту тайну раскрыли русские эмигранты из другого лагеря. О.А.Новикова, защитница русской монархии, жившая в Англии, в статье «Русский взгляд на "Правительство журналистов"», опубликованной 13 июля 1886 г. в «Pall Mall Gazette», назвала русских террористов преступниками. Она заявляла, что в Англии «некоторые из них <...> формируют общественное мнение». В 1894 г. О.Новикова в соавторстве с шефом русской контрразведки П.И.Рашковским под псевдонимами «Z» и «Иванов» выступили в «The New Review» со статьей «Анархисты: их методы и организация».

О.А.Новикова была знатоком английской психологии и внесла свой вклад в исследование национального характера. Она рассмотрела национальные предрассудки англичан и русских и сделала вывод, что в сравнении с Англией Россия богата только духовно, но в соответствии со старомодными взглядами, как она пишет, «это богатство не вовсе заслуживает презрения»¹³.

В Лондоне в первое десятилетие XX в. около десятка фракций русских революционеров, в их числе будущие большевики, проходили свою политическую выучку под влиянием западных политических учений, в том числе английского социализма. Об этом можно прочитать в воспоминаниях И.М.Майского «Путешествие в прошлое», автор которых между двумя русскими революциями находился в Англии, а в 1930-х гг. стал послом советской России в Англии.

В 1907 г. Англия предоставила Российской социал-демократической рабочей партии возможность провести съезд в Лондоне. На этом съезде произошла встреча двух известнейших писателей Англии и России: М.Горький увиделся с Г.Уэллсом, верившим в русский коммунизм. Съезд проходил в церкви в Излингтоне, на Саутгейт роуд. М.Горький описал эту аскетического вида церковь в книге «Дни с Лениным» (1932 г.). Свои непосредственные впечатления он оставил в менее известном очерке «Лондон», приводимом в настоящем сборнике.

Типичным представителем антимонархической эмиграции в Лондоне был И.В.Шкловский (1865—1935), писавший под псевдонимом Дионео. Он был связан с народовольцами, прошел сибирскую ссылку. С 1896 г. он жил и работал в Лондоне в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости» и ежемесячного журнала «Русское богатство». Среди русских журналистов в Англии Дионео был самым крупным специалистом по Англии. Британский журналист Г.Вильямс писал о нем: «Молодые поколения россиян получают представление об английской демократии исключительно по книгам Дионео».

По корреспонденциям Дионео русские читатели познакомились с английской культурой, узнавали о технических достижениях и государственном устройстве этой страны. Писатель И.С.Шмелев с благодарностью вспоминал об этих корреспонденциях в дни юбилея Дионео. В нашем сборнике вниманию читателей предлагается очерк «Английская губерния» (1908 г.), но в ряду работ Дионео Англии посвящено еще несколько книг, среди них документальная публицистика «Очерк современной Англии» (1903 г.) и «Английские силуэты» (1905 г.), политико-экономические исследования «Меняющаяся Англия» (1916 г.) и «Англия за пять лет: 1914—1919» (1920 г.), а также роман из жизни русской эмиграции в Англии «Кровавые зори: Десять этюдов» (1920 г.). В романе немало отступлений публицистического характера, например, рассуждение о национальном характере, о старости Европы и о новых расах, идущих на смену старым цивилизациям, о ходе истории, о парадоксальном развитии человека, в котором внутренний варвар вновь и вновь подавляет гуманную природу. Эти размышления были вызваны опытом Первой мировой войны.

Первая мировая война вынудила недавних соперников — англичан и русских — выступить в качестве союзников против общей угрозы. Это обстоятельство заставило писателей, философов и политиков переосмыслить отношения Британии и России, по-новому оценить их положение в мире. Русские философы истории давно указали на признаки «заката Европы», но если раньше они верили в особую миссию России, которая возьмет на себя спасение Европы и сохранение ее культурного наследия, то мировая война подорвала эту веру, а точнее разрушила иллюзию могущества России. Стало очевидно, что кризис Европы — это и кризис России, и выйти из него нельзя без установления новых отношений между мировыми империями. Россия оказалась перед выбором, с какой из крупнейших западных держав строить свое будущее. Многие мыслители и политики России в эти годы призывали к сближению с Англией для противостояния Германии, Америке и опасности, угрожавшей с Востока.

Н.А.Бердяев, размышляя о судьбе России в своих статьях периода войны, призывает русских видеть в Англии своего главного союзника, так как, на его взгляд, по своему историческому предназначению и национальной психологии они взаимно дополняют друг друга. Философ считал, что в мировом катаклизме Россия — как соединяющее звено между Востоком и Западом, как «Востоко-Запад» — должна найти с Англией общие интересы на благо всего человечества. «Англия имеет географически-империалистическую миссию. Миссия эта лежит не в сфере высшей духовной жизни, но она нужна во исполнение исторических судеб человечества». «Европа вплотную поставлена перед основной темой всемирной истории — соединению Востока и Запада. Великие роли в этом мировом передвижении культуры должны выпасть на долю России и Англии. Миссия Анг-

лии более внешняя. Миссия России — более внутренняя»¹⁴. В противостоянии мировых империалистических держав, как считал Бердяев, господствующее положение в мире в конце концов займут или Англия вместе с Россией — или одна Германия.

Вяч.Иванов в статье «Россия, Англия и Азия» (1915 г.) писал о необходимости сближения России и Англии как двух «азиатских империй», имеющих общие государственные интересы на Востоке. Он считал, что для такого союза есть культурные и психологические основания: «Сближение наше с Англией — задача культурная не в меньшей мере, чем задача государственная». В том, что психологически англичане и русские дополняют друг друга — и как именно дополняют — Вяч.Иванов был единодушен со многими другими мыслителями. Он писал: «Обмен культурных энергий был бы наиболее плодотворен для Англии в сфере высшей духовности, для нас — в сфере низшей интеллектуальности, общественной дисциплины и общественной психологии. Влияние английской общественности было бы для нас школою политического самовоспитания, импульсом и регулятивом в строительстве нашей свободы». Вяч.Иванову представлялось, что выбор союзника в «завтрашнем дне» уже сделан самой историей: «Союз с Англией кажется мне предначертанным в провиденциальном плане истории как путь к величайшим свершениям божественных целей. Его конечное назначение — свободное воссоединение древней азиатской души с действующей на всемирно-историческом поприще душою грядущего христианского человечества»¹⁵.

Не только философы и поэты, но и некоторые русские политики связывали будущее России с Англией. Многие представители Думы были сторонниками сближения России и Англии на период войны и в дальнейшем. Председатель Третьей Думы, член прогрессивного блока Н.А.Хомяков, сын славянофила А.С.Хомякова, выступил инициатором мероприятий в поддержку англо-русских отношений. В своей статье «Основы англо-русской дружбы», опубликованной в 1912 г. в английском «Русском обозрении», он писал о том, что пора отказаться от настороженно-враждебного отношения друг к другу, перестать быть только политическими соперниками. Главным средством общения между нациями он считал литературу и искусство: «Англию сегодня завоевывает русская литература и искусство, музыка и балет»¹⁶. В России же, напоминал автор, всегда ценили английскую литературу: Шекспир, Вальтер Скотт, Диккенс и Байрон более популярны в России, чем в любой другой стране и поэтому у русских представление об Англии строится не на мифах и стереотипах.

Развивая мысли, высказанные в 1840-х гг. славянофилами, в том числе его отцом, автор пишет: «Мы во многом пытаемся подражать англичанам, но часто не понимаем духа тех внешних форм, которые пытаемся ввести у себя». Непонимание было взаимным: «В Англии Россия является едва ли не самой загадочной страной». Н.А.Хомя-

ков с восхищением писал об отношении англичан к прошлому, к традициям: «В Англии новое не отрицает и не разрушает старого, новые формы естественно вырастают в старые. Англия верна прошлому и в этом ее сила, англичане понимают, что истинно прогрессивно только то, что не разрывает связи с прошлым». Н.А.Хомяков считал, что русские и англичане ближе друг другу, чем другие народы — потому что они противоположны. Англичану недостает русской широты и душевности, русским — дисциплинированности, которую англичане впитывают с молоком матери.

Как ни одно событие предшествующего периода, трагические события Первой мировой войны раскрыли необходимость более тесных человеческих и культурных связей и взаимопонимания между англичанами и русскими. На период войны приходится кульминация интереса англичан к русской литературе и культуре. Поверенный в делах в Лондоне К.Д.Набоков вспоминал об отношении к России в Англии в своей книге «Испытания дипломата» (1921 г.): «Россия была в этот момент в апогее популярности. Впервые за целое столетие оказавшись нашими «братьями по оружию», англичане словно хотели изгладить из памяти своей и нашей все прежние недоразумения и прежнюю вражду Симпатии к России проявлялись чрезвычайно ярко во всех слоях общества. Появился целый ряд книг о России, организовывались по всей стране «англо-русские» общества, имевшие целью культурное сближение. В нескольких университетах на частные пожертвования открылись кафедры по русскому языку».

На период войны приходится настоящий бум Достоевского в Англии. В 1914—1916 гг. один за другим выходят тома собрания его сочинений в переводе на английский язык. Как писал Г.Фелпс: «Война, начавшаяся вскоре после выхода романа Достоевского «Братья Карамазовы», обратила умы и чувства к Достоевскому и превратила литературный энтузиазм в настоящую истерию»¹⁷. В Англии, как и в России, читатели разделились на поклонников Достоевского и поклонников Толстого и Тургенева. Это разделение проявилось и в писательской среде: Дж.Голсуорси был на стороне Толстого и Тургенева, к Тургеневу тяготел Генри Джеймс. Конрада отталкивал Достоевский, но его прекрасно принимало молодое поколение английских писателей. Достоевским были потрясены Хью Уолпол и Фрэнк Свинертон. Последний писал: «После этих открывший каким бледным кажется Тургенев! Какими приземленными и обыкновенными кажутся наши реалисты!» Достоевским восхищались Д.Г.Лоуренс и А.Беннет.

В политическом соперничестве и войнах сближались и отдалялись друг от друга народы России и Англии, под воздействием исторических событий разгорался или остывал их взаимный культурный интерес. Определяющими моментами в отношениях между Россией и Англией во все времена оставались политические и коммерческие интересы, но при этом непосредственное общение интеллигенции,

культурные и литературные контакты вносили поправки в отношения между государствами и народами.

В феврале—марте 1916 г. в Англии побывала делегация русских журналистов и писателей, в составе которой были В.Д.Набоков, К.И.Чуковский, В.И.Немирович-Данченко, А.Н.Толстой и другие известные общественные деятели и писатели. В их задачу входило распространение в России сведений о военной помощи, которую Англия оказывала России. Все они оставили воспоминания и своего рода отчеты об этом визите, носившем по существу политический характер. В.Д.Набоков опубликовал книгу «Из воюющей Англии» (1916 г.), отрывки из которой приводятся в настоящем сборнике. Эта книга примечательна тем, что написана одним из лидеров кадетской партии, для которой Англия была главной политической моделью, английская демократия — высшей формой государственности, английский парламент — образцом для русской Думы. Кроме того, любопытно проследить, как это политическое англофильство сказалось на творческих интересах его сына — В.В.Набокова-Сирина, эссе которого также приводится в нашем издании.

А.Н.Толстой по впечатлениям поездки написал отрывок «Бокс» для задуманной им книги «Путешествие в Англию в 1916 году», а позднее, в 1927 г. — в момент очередного кризиса англо-русских отношений — опубликовал в «Огоньке» фельетон под названием «Англичане, когда они любезны». В эссе «Бокс» автор с большим сарказмом описывает прием группы русских писателей английским королем и посещение Парламента. Второй раз А.Н.Толстой заехал в Лондон из Парижа, куда был командирован на Первый международный конгресс писателей в защиту культуры. Этот приезд он описывает в письме Н.В.Крандиевской-Толстой от 21 июня 1935 г. Писатель лаконично отмечает: «После Лондона Париж провинциален, мал, грязен».

Последовавшие за войной события — русская революция, политический и экономический кризис Европы — внесли радикальные изменения в русско-английские политические отношения и культурные контакты. В первые послереволюционные годы у потерпевших поражение русских политических партий была надежда на помощь союзной Англии в борьбе с большевизмом. Как и в прежние времена, Англия оказалась прибежищем для тех, кто не мог оставаться в России. После Октября, за годы гражданской войны в России, социальный состав русской колонии в Англии резко изменился: противников монархии, «лондонскую вольницу», сменила «белая эмиграция», по своей политической ориентации представлявшая почти всю палитру партий и течений революционной России. Антимонархистов сменили белогвардейцы, представители аристократии и деловых кругов, а также новая оппозиционная интеллигенция — кадеты и другие противники как монархии, так и большевизма. Они также внесли свой вклад в осмысление английских государственных

и бытовых традиций, в изучение английского характера и жизненной системы ценностей.

Среди русских эмигрантов, писавших об Англии для русских журналов и газет особенной продуктивностью отличалась А.В.Тыркова-Вильямс. В 1925—1926 гг. она регулярно публиковала статьи об Англии в парижской газете П.Б.Струве «Возрождение». В этой серии появилась статья «Джентльмены или лавочники» о представителях английской политики как выразителях национального характера, а также статья «Палец собственника» об архитектурных особенностях английских домов, о законодательстве, связанном с домовладением. Во второй половине 1920-х гг. Тыркова публиковала заметки о политической, экономической и бытовой жизни Англии в рижской газете «Сегодня». Заметки проникнуты уважением к английским традициям, однако автор многое подвергает критике. Тыркова писала об Англии также в мемуарной книге «Щедрый даритель» (*Cheerful Giver. The Life of Harold Williams. London, 1935*), посвященной ее рано умершему мужу Г.Вильямсу. Сын Тырковой А.Борман вспоминал о ее лондонской жизни в своих мемуарах, где он описывает прием в ее доме, устроенный для Бунина, а также встречи с философами, православными деятелями и политиками¹⁸. Свои замечания об Англии и англичанах в той или иной форме оставили многие авторы-эмигранты, писавшие об англо-русской политике: К.Д.Набоков, Е.В.Саблин, А.Казем-бек, сын последнего царского посла в Лондоне К.А.Бенкендорф.

Особую главу в духовном «освоении» Англии представляет творчество В.В.Набокова. Английская культура формировала мироощущение писателя задолго до его приезда в Англию. Он воспитывался в англофильской семье и с детства чувствовал себя «англичанином». С хронологической точки зрения, его пребывание в Англии ограничивается тремя годами студенчества в Кембридже (1919—1922) и краткими визитами в более поздние годы. Но в творческом плане связь писателя с этой страной оказалась пожизненной и глубокой. В мемуарах «*Speak, Memory*» (1951) и «Другие берега» (1954) писатель рассказывает о первых впечатлениях от Англии, о нахлынувших на него воспоминаниях о своем англоязычном детстве. Кембриджу посвящено не одно студенческое стихотворение, Кембридж стал не только фоном, но активной, действующей средой в «*Университетской поэме*» (1927 г.), в романах «*Подвиг*» (1931 г.), «*Подлинная жизнь Себастьяна Найта*» (1938-1939 гг.). Живописное изображение вечернего Лондона содержится в рассказе «*Картофельный Эльф*» (1924 г.).

Творческое овладение новой данностью, в которой ему предстояло жить и реализовать свои возможности, проходило у писателя в несколько этапов: до приезда в Англию эта страна является для него символом детства; студенчество в Кембридже приносит сначала разочарование и отчуждение, но с течением времени уход в себя сменяется стремлением освоить английскую культуру, вжиться

в нее. После отъезда «Англия» осознается как время его юности, которое проходит в обычных студенческих заботах и развлечениях, а затем становится символом утерянного рая, который еще можно обрести. В нашем издании приводится лирический очерк под названием «Кембридж», который был опубликован в 1921 г. в берлинской газете «Руль». Как и в стихах Набокова, в нем высказано чувство одиночества и тоска по утерянной России, а также проведено любопытное сравнение между русским и английским характером.

Поездки русских писателей и мыслителей в Англию, переписка с английскими коллегами, попытки завоевать английский книжный рынок посредством переводов книг — частные и мелкие факты, которые порой приводили к продуктивному соприкосновению литературной жизни России и русского зарубежья с английской литературой и культурой. В Англии писатели, приехавшие из советской России, свободно общались с эмигрантами и им казалось, что на время исчезла растущая пропасть между советской культурой и культурой эмиграции. В 1920-е гг. русские писатели смотрят на Англию с двух разных берегов: одни из России, другие — из Европы. Если для представителей русской эмиграции английские впечатления накладывались на опыт знакомства с Европой, то для писателей советской России, поездка в Англию нередко была открытием новой цивилизации. Так это было в случае Б.Пильняка и Н.Никитина, которые побывали в Англии летом 1923 г.

Английский опыт оставил глубокий след в историософских размышлениях Б.Пильняка о России и Западе в «Английских рассказах», в более поздней повести «Заволочье» и в романе «Третья столица», который был переработан автором после возвращения из Англии. Дневниковые записи лондонских впечатлений Пильняка были опубликованы сначала в виде очерков в газете «Известия» (1923 г.), а затем в сборнике «Английские рассказы» («Отрывки из «повести в письмах», которую скучно кончить», 1924 г.). Очерки построены на противопоставлении «положительных» и «отрицательных» сторон английской цивилизации. Иногда это две стороны одного и того же явления. Пильняк пишет об архитектуре Оксфорда, о монастырских традициях в современном университете, сохранившихся от средневековья, о древнем Вестминстерском аббатстве, в котором заседает современный Парламент, о Британском музее, в котором хранятся памятники культуры всех времен и народов и все книги, изданные в мире. И в то же время он отмечает, что в современной Англии господствует дух коммерции, что культура превращается в предмет потребления. Он видит приметы грядущей вульгарной «массовой культуры», бесстыдство коммерческой рекламы, лицемерие обычаев, не соответствующих новой морали и новым представлениям о ценностях жизни.

В рассказе «Старый сыр» («Английские рассказы») немало переключек с дневниковыми записями этого же времени. Его герой —

русский эмигрант, поселившийся в Лондоне и ставший почти англичанином. Россию и Англию в рассказе разделяет не только пространство: они существуют в разных эпохах. Письма идут годами и если доходят — то это так же удивительно, как весть извнеземной цивилизации. Лондон в «Старом сыре» нарисован самыми мрачными красками. Однако картины российской жизни в параллельном сюжете оказываются еще мрачнее. Там царит стихия голода и хаоса, страна перестала быть «щитом» между варварами и Европой. Цивилизация Англии кажется хрупкой перед лавиной варварской стихии.

Е.И.Замятин оказался в Англии в годы Первой мировой войны, когда он был командирован для работы в качестве инженера-кораблестроителя в английских портах. Из-за военного режима его знакомство с Англией и англичанами ограничилось узким кругом людей и редкими поездками по стране. Тем не менее произведения Е.И.Замятина, написанные в Англии и в течение нескольких лет после возвращения, основаны на опыте общения с англичанами. Среди них повесть «Островитяне», драма «Общество почетных звонарей», пьеса «Блоха», рассказ «Ловец человек». Знакомство с Англией и английской литературой определило замысел, построение и символику знаменитого антиутопического романа «Мы» (1921 г.), оказавшего влияние на произведения английских романистов: «1984» Дж.Оруэлла и, возможно, «Храбрый новый мир» О.Хаксли.

Наброски из записных книжек Замятина содержат интересные наблюдения над английской жизнью и отражают не всегда удававшиеся попытки установить с англичанами взаимопонимание. Эти заметки свидетельствуют также о неосуществленных замыслах писателя, связанных с английской темой.

Замятин вернулся к своим лондонским впечатлениям в 1922 г., работая над статьей «Герберт Уэллс», задуманной как предисловие к собранию сочинений английского фантаста. Он посмотрел на город в перспективе истории и отдал должное техническим достижениям англичан: «Представьте себе страну, где единственная плодородная почва — асфальт, и на этой почве густые дебри только фабричных труб и стада зверей только одной породы — автомобили, и никакого другого весеннего благоухания — кроме бензина. Эта каменная, асфальтовая, железная, бензинная, механическая страна — называется сегодняшним XX столетия Лондоном...»¹⁹. В Лондоне он своими глазами видел воплощение фантазий Г.Уэллса: на земле автомобили вытеснили людей и животных, в небе шла настоящая уэллсовская «война в воздухе». В этом эссе Замятин сравнивает русских и англичан: «пошехонца и лондонца». И это сравнение оказывается не в пользу соотечественников: «...Лондонец на «щучье веленье» не надеется, а надеется на себя»²⁰.

В феврале 1926 г. по приглашению Д.П.Святополк-Мирского в Англию на две недели приехала М.И.Цветаева. Она провела в Лон-

доне два поэтических вечера — в Русском Доме и в Лондонском университете, где Святополк-Мирский предварил ее чтение стихов своим вступлением на английском языке. Несмотря на то, что визит был кратким, он был насыщен новыми знакомствами, встречами и впечатлениями, которые нашли отражение в эпистолярном наследии Цветаевой. О Лондоне она писала к А.Тесковой, Д.Шаховскому, Б.Пастернаку, В.Ходасевичу, П.Сувчинскому, Ю.Иваску. Через посредство Д.Святополк-Мирского Цветаева вступила в переписку с жившей в Англии Р.Н.Ломоносовой, корреспонденткой многих видных деятелей литературы, в том числе Б.Пастернака.

В приводимом здесь письме к В.Ходасевичу за апрель 1934 г., Цветаева рассказывает, что до поездки в Англию в ее воображении жил отчетливо сложившийся образ Лондона, который распался, когда она увидела реальный город, но затем снова слился в одно целое с воспоминаниями. Судя по этому письму, Цветаева мечтала о том, чтобы пожить в Лондоне не в качестве гостя, а чтобы, как она пишет: «он вошел сквозь мои поры, как я в него — сквозь его, каменные».

* * *

Несмотря на то, что Англия оказывала различное воздействие на писателей в зависимости от их индивидуального мировоззрения, было и нечто общее в восприятии этой страны, что объединяло представителей России и эмиграции. Все без исключения авторы, независимо от степени их предшествующего знакомства с английской культурой (Набоков, Замятин, Пильняк, Никитин, Цветаева), передают ощущение поразительной чуждости и непохожести английской культуры на все, с чем их сталкивал прежний опыт странствий. Англию и англичан они показывают глазами наивного чужестранца, «постороннего», представителя иной цивилизации. Экзотическим существом чувствовал себя в Англии даже «русский англичанин» Набоков.

Русских писателей поражало одновременное сосуществование в английской современности разных временных пластов: средневековья, сохранившегося в архитектуре Оксфорда и Кембриджа, в торжественных ритуалах, церковных обрядах, в провинциальной жизни, — и века будущего, технической утопии. Набоков определил это свойство как «приволье времени и простор веков». Б.Пильняк писал об одновременном сосуществовании в английском быту и характере «века четырнадцатого» и «века двадцатого».

Путешествие в Англию воспринималось русским путешественником как перемещение не только в пространстве, но и во времени. В романе «Мы», созданном не без влияния английской утопии и фантастики, Замятин строит модель утопического государства XXVI века.

Размышления на тему времени наводили писателей на сопоставление русской и английской истории, а это сопоставление показывало, насколько Россия отставала от Европы. Наблюдения над английской жизнью давали пищу для размышлений о культурном и экономическом кризисе Европы, гибели богов европейской культуры, подчинении жизни человека интересам материального прогресса. В историософских раздумьях о России и Западе Англия для русских писателей нередко символизирует весь Запад²¹.

Слышатся переключки впечатлений не только у писателей-современников, но и представителей разных эпох. Определение «великий и богатый Лондон», данное К.Пауловичем в 1846 г., приложимо к английской столице в любую эпоху. Величие Лондона подтверждают тщательные, порой пристрастные сопоставления его с Парижем — излюбленной европейской столицей русских путешественников.

Под воздействием английского опыта иным становится у русских писателей переживание российской реальности. В Англии писатели обретают новый опыт для осмысления русской жизни.

О.Казнина

-
- ¹ Автором этого сочинения предположительно был П.И.Макаров. См. наст. изд. С. 62.
 - ² Этой теме посвящено немало исследований, среди которых особое место принадлежит книге М.П.Алексеева «Русско-английские литературные связи: XVIII век — первая половина XIX века» (1982), а также работам Э.Г.Кросса, включая изданную по-русски книгу «У Темзских берегов: Россияне в Британии в XVIII веке» (1996).
 - ³ Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи: XVIII век — первая половина XIX века // Литературное наследство. Т. 91. М.: Наука, 1982. С. 58.
 - ⁴ Там же. С. 78.
 - ⁵ Цит. по кн.: Cross A.G. By the Banks of the Thames: Russians in Eighteenth Century Britain. Newtonville. Mass., 1980. См. также рус. изд. С. 261-262.
 - ⁶ Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи. С. 115.
 - ⁷ Об исторической основе рассказа Н.С.Лескова о Левше см. цит. кн. А.Г.Кросса.
 - ⁸ Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 31.
 - ⁹ Там же. С. 156.
 - ¹⁰ Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. Соч.: В 9 т. М., 1956. Т. 3. С. 394.
 - ¹¹ Федоров Н.Ф. Записка от неученых, к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим // Россия и Европа: Опыт сорбонного анализа. М.: Наследие, 1992. С. 147, 142.
 - ¹² Хомяков А.С. Англия. Письмо. М.: Унив. типография, 1848. С. 1, 6, 19.

- ¹⁴ Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 123, 125, 134.
- ¹⁵ Иванов Вяч. Россия, Англия и Азия // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 377-380.
- ¹⁶ Номуаков N. Bases of Anglo-Russian Friendship // The Russian Review. A Quarterly Review of Russian History, Politics, Economics and Literature. 1912. Vol. 1. № 2. P. 9-19.
- ¹⁷ Phelps G. The Russian Novel in English Fiction. 1956. P. 171.
- ¹⁸ Борман А. А.В.Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. Лувэн-Вашингтон, 1964.
- ¹⁹ Замятин Е.И. Герберт Уэллс // Замятин Е.И. Соч. Из лит. наследия. М.: Книга, 1988. С. 367.
- ²⁰ Там же. С. 363-64.
- ²¹ О русских писателях в Англии в 1920—1930 гг. // Казнина О.А. Русские в Англии. М.: Наследие, 1997.

Роспись городу Лундану и всей Аглинской земли

В том Аглинском государстве, городе Лундане и в-ыных городех и в деревнях зимы нет, николи не живет — все лето. И овощи всякие родятся по дважды годом, и в зимнюю пору сады все зелены стоят у них, а снегу николи не бывает. А хоромы строины добре, полаты каменные о шти и о семи житях и боле, а кои деревянные, и те своиные стороны выбилены, а иные выписаны всякими притчами, а крыты черепицею, а иные свинцом, а внутри стены и подволоки выписаны травами и всякими притчами. А улицы все мощены камнем. А мы стояли на большей улице, имя Чипсайд, а двору имя нашему Золотой ключ. А у ворот повешен золотой ключ, а на том дворе 27 полат жилых, кроме сеней и переходов.

И всяких чинов люди хлеб купят с торгу на всякой день много, и всякой харч купят с торгу на всякой день, а иново нечево не держат. А хлеб ядят все пшеничной белой, а череново не держат. Мясо и рыбу и всякой харч купить дорого. А воды у них на всякой улице приводные, ис реки трубы и на дворы на колодези и с колодезей на поварни привожены. А дворы у них держат всякие люди из найму, а наем дают большой. А на котором дворе мы стояли, и от того двора найму кумпаниею на полгодишное время 100 руб. А земля их всем изобильна: серебра много безчисленно, и всяких товаров. А бораны у них купят по 3 руб. и больши, а в-ыную пору и плече купят по 1 руб. А шерсть на баранах велика и мягка, а из той шерсти делают сукна дорогие, и те сукна идут во все государства, окроме их Аглинской земли, сукон не делают дорогих. А быки у них велики, промеж рог по сажени, а купят их рублев по 40 и боле. А лошади у них без хвостов, отсекают и с рипицею, а возят на них на телегах на одной лошаде пуд по 70, а телеги о дву колесах, а колеса велики и толсты.

А нищих не водят слепых, милостыни просить все идут возле стены и, пришед к ним, у всякого двора или лавки и станет, покамест он просит, лавки у всякого двора.

Да в том же государстве и в-ыных городех и в деревнях, звон неудобсказаем, звонят мудростию заводными колесами, а звонят псалмы Давыдовы и тонцы всякие. А у кого лучится свадьба или пир, и в ту пору звонят из найму и тонцы всякие, а по мертвых звонят по вся ж недели, и переменные псалмы звонят. А у которой черни мы стояли, и тот звон добре хорош, на всякой день сами колокола звонят без людей, и тонцы всякие переменные по вся недели. А во всем Лундане черней больше 300, а у всякие часы; а черни все каменные, камень белой, делом столь хороши, ни умом сметить человеческим, а кругом окончины все стекольчатые большие цветные. А иные черни

вдоль величиною на версту, а иные и боле. А город Лундан вдоль по реке по Темзе стоит 15 верст, а около ево большаго города стена земляная толстая, а около ево посадов и всего города стена земляная ж. А на реке Темзе зделан мост каменной, а на мосту по обе стороны стоят двory великия и торги всякия. А по конец того мосту — двор великой, в-ыспод — ворота с мосту, а на дворе — полаты высокие, а на полатах — копя, а на копьях многия человеческия головы, кои казнят за веру и за измену, кои с королем вместе. А вера у них недобра, посту николи не бывает, и поститися никогда не знают. А при короле, сказывают, что вера была лутче, король веровал папежскую веру; и оне королевскую веру выводят. А при нас деялось у них, на Светлой недели в четверток, у ково были папежские веры иконы, и оне собрали те иконы из всего государства и свозили на одно место, на улицу Чипсайд, блиско нашево двора. А при короле был на том месте крест большей, и после короля сломили. И свозили на то место много икон и крестов золотых и сребрянных, и служилых людей приставили всех, и как парламент ис черни поехали домов, и велели те иконы исколоть и зжечь служылым людем. И служывые тотчас приступили и стали иконам наругатися, как искололи все, и склали на огонь, и сожгли. И заповедали во всем государстве, чтоб в тое веру ни хто не веровал, а хто будет станет веровать и найдут иконы, и тому казнь жестокая.

Да в том же граде Лундане зделан двор добре хорош, украшен, а имя ему Енчайжн, а на том дворе всякие узорочья. Вверху торгуют, а в-ысподи сходятся на всякой день торговые люди по дважды днем; а изо всех государств и городов вести приходят на тот двор, и гуляют на том дворе торговые люди один час, проведывають вести и роскодятца. А никакова двора у них не узнаешь только не по клейму: у всякого двора повешены клейма у ворот разные, потому-что сряду двory стоят тесно, а двory делом одинаки, от улицы стен нет, все сряду окончины стекольчатые.

Да в том же граде Лундане потешной двор, а на том дворе много львов и всяких зверей. Да на том же дворе индейской кот величиною з борана, а шерсть багрова на нем. Да на том же дворе индейская мышь величиною з дворовую собаку, да индейская змея сажени с четьре, и всяких диковинок и зверей московских много ж.

Да в том же граде Лундане зделан двор для бедных людей, которые остаются от отца и матери меньше 15 лет, и емлют тех на тот двор, поят и кормят миром, и платье дают готовое, и постели и поварня про них, и повары устроены. И приставлены к ним мастера, учат их в грамоте и всяким мудростям и промыслом, а девкам тож, мастерицы учат в грамоте и всяким мудростям. А платье делают доброе разным цветом. А как dorостут до 15 лет и выучатся всему, емлют их с тово двора торговые люди, а больши 15 лет на том дворе не держат. А дворового человека больши 7 лет не держат никакова человека, а как отживет 7 лет, и тому человеку воля куды хочет. А люди у них все учены в грамоте, мущины и женьшины во всей

Земли, а попы у них многим языком умеют. А платье у них во всей Земле носят одинаковое, — все доброе сукна, кои ратные люди, а торговые люди — все отласное да бархатное, да камчатое все дорогое платье. А в лавках товаров стоит много всяких и числа нет. А владеют домами жены, и мужем владеют, а жены мужей честнее.

А по воскресениям у них торгу нет никогда, все богу молятца, и воскресенье почитают честно, а в-ыные дни до полуночи сядят со свечами, у них свечи во всем в граде у всякого двора. А питье у них все в земли доброе, всегда пиво пьют ратные люди, а квасу и воды не пьют. А кабаки держат всякие люди, хто захочет. А кабаки у них дворы большие, и всякие люди на кабаки ходят: и бояре и торговые люди пиры и столы делают. На кабаках, хто захочет начевать, и постели всякому, и за все платят деньгами.

А люди у них добре ласковы во всей Земле, любительны. А извошки у них держат кочи, а кочи рублей по 70 и по 100, внутри у них стены обиты и подушки все бархатом и камкою и отласом, а колеса кругом железом окованы, возят на дву лошадях.

А воровства у них никакова нет, а будет кто зворует и украдет хотя что невеликое, и тех людей вешают. А хто солжет, и тому скрозь язык проденут веревку и выводят на улицы, а руки и ноги расплетят и водят по всем улицам, да ставят, чтоб всякой видел.

А посуды у них держат во всей Земле оловянные, а богатые кои люди, у тех серебряные да золотые, потому что у них серебра много и золота и олова, а деревянных посуды нет. Всем их Земля изобильна: хлебом, и деньгами, и всякими дорогими товарами, и узорочьями.

А нам, руским людем, во граде честь воздали большую, а кумпаньеу делали нам стол вместо королевского стола о Петрове заговинье в субботу, и гостей было всяких много бояр и торговых людей, а питья и ежи столь много, что и числа нет; а сказали Герасиму Семеновичю толмачи стал тот стол в 60 руб.

А грамоту имал Герасим Семенович на четвертой неделе Петрова поста, июня в 13 день у парламента в Восминстере. И ездили с ним вся кумпанья, говорнар, а ездили в кочах, а кочи все снарядные, а под всякою кочею по 6 возников для славы, а от нашего двора до Восминстера 4 версты. И как приехали к Восминстеру и вышли из кочей, и повели нас вверх по лесницам высоко, а по лесницам на обе стороны стоят служилые люди с оружием. И привели нас в полату, и та наряжена добре хорошо, стены обиты коврами дорогими, а серед полаты — королевское место, а у королевского места ковры высажены жемчугом и камением драгим, и на стулах подушки тож жемчугом и камением драгим. И посадили Герасима Семеновича возле королевское место, а в другую полату обвести боярам и повели нас, где сядят большие бояра 12 человек. И как мы вошли в ту полату, и та полата украшена добре хороше, и бояра сядят кругом по местам на подушках, а середь полаты королевское место. А как мы пришли, и оне все сядят, лишь только один стал речник, кой от всех речи говорит. И Герасима Семеновича посадили возле королевское

место, и он, Герасим, посадя немного, стал говорить государеву титулу. И как проговорил, и оне стали подавать грамоту, и Герасим грамоты не принял и стал говорить: у нас де тово не ведется, что седя грамоты подавать, у нас де и сам государь царь божий, как станет грамоту подавать послу или посланнику, и он, государь, станет с места: а вы де стать не хотите, а я де грамоты не прийму. И наш толмач сказал речнику, и речник — бояром, и оне стали все и подали грамоту. И пошли мы ис той полаты, а грамоту взяли да понесли во весь парламент, где седят 600. А нас вели в-ыную полату, и та полата украшена також, как и прежние. И поседели немного, и принесли от парламента королевскую державу, и повели нас, а державу понесли перед нами. И как мы шли, где седит парламент, и вышли в ту полату, и оне все 600 стали и шляпы сняли. А седят по местам кругом, место места выше и доверху — все люди, а середь полаты место, где седит речник, от всех речи говорит, и дал Герасиму Семеновичу место. И он, посадя немного, стал говорить государеву титулу, а что толмач речник говорит, а речник весь парламент, и подали грамоту Герасиму Семеновичу, и грамоту принял, и поехали.

А Восминстер велик гораздо, кругом боле версты, а высок столь, что умом не мочно сметить, а крыт свинцом, а в-ысподи под ним торги всякие.

А чернь ту, где кладутся короли и бояре, и та чернь велика гораздно, и делом хороша, а длиною полверсты, а поперег верста, а все камянь белой, и высота гораздо, а звон столь хорош, что и в ум неместимо человеческой, нигде нет такова звону.

А из Лундана города отпустили нас на пятой неделе Петрова поста во вторник, июня в 22 день, а карабль стоял от Лундана 20 верств, под Грязвиным, и стояли мы под Грязвиным три сутки. И как бог дал погоду, и пошли ис под Грязвина, а провожали нас вся кумпания, и вышли на море, и шли морем 17 дней погодою доброю. И Северной нос обошли здорово, и как будем против дацкого города Варгава, а погода стала встречная. А как сошли 3 корабля на мори: один из Гишпанские земли, другой из Талианские земли, а иные ж аглинские карабли, пришли туто ж под датцкой город, и стали на якори июля в 15 день, и стояли сутки. И как бог дал погоду по нас, и пошли мы на море, и шли 5 дней все возле землю погодою доброю и до устья Двинского, и пришли на устье июля в 20 день в-Ыльин день под вечер. И стали на якори 2 дня, как ездили к городу по карбасы. А караблю нашему имя «Адванс», а карабельщик Вилим Кудлер, а пушек на карабле было 27. И как карбасы пришли от города, и мы с карабля поехали июля в двадесят третий день. А от города поехали к Вологде июля в 26 день. Божиею милостию здравы пришли из Аглинской земли.

1646 г.

Из депеш и политических писем.
Из Лондона

Августа 29.1738. Прежде отъезду моего должности своей, чаю, вашему имп. вел-у кратко и всенижайше донести, в каком состоянии оставляю двор здешний, каковы его главнейшие министры и какия настоящие дела:

Его королевское величество, как я многожды вашему императорскому величеству честь имел доносить, государь весьма честного характера и в слове своем приметного постоянства, если бы нужда здешних законов и часто советы министров к противному его величеству не понуждали. Вспылчивый его величества нрав причину подал к несогласию с сыном, который, с своей стороны, может быть, больше, нежели прилично, с противниками его величества общается, и пока его высочества поступок в сем не отменится, мало согласия с отцем в сем ожидать можно. Господа Вальполи безсумнительно всю силу здешнего правления в своих руках имеют. Кольший брат Роберт, человек весьма добрый и острого ума, и по своему ауторитету в парламенте видно, что к внутренним делам много искусства имеет, и, зная совершенно склонность своей нации, куда хочет их влечет, наипаче употребляя к тому *золотую* узду. В делах чужестранных, как все генерально здесь признают, не много знания имеет, и потому особливо брата своего почитает, чая, что многия посольства, в которых он обретался, дали ему способ в том искуситься. Я не могу сказать, праведно ли то его мнение или нет, понеже за многословием, которое господин Горас (Вальполь) в своих разговорах употребляет, основательное рассуждение почти оным подавлено, и удача в его негосподиниях мало в его пользу показывает, хотя впрочем и он не лишается остроты ума и приятного обхождения. Оба братья, опасаяся от войны приумножения неприятелей своих или разделения власти своей во многие руки, тишину любят, и потому многие авантажи потерять лучше склоняются, чем навесьть оное себе опасство; потому при правлении их трудно ожидать отсюду какого смелого действия. Дюк Ньюкастль, статский секретарь полуденных дел, имеет великую понятность и память, но весьма мало атенции к чужестранным делам дает, будучи непрестанно в своей деревне и упражняясь приумножать себе в провинциях друзей, которыми и место свое сохраняет. Великия его вотчины, число друзей и родни дают ему несколько голосов в парламенте, что понуждает господ Вальполев не учинить себе его неприятелем, а инако давно бы свой чин потерял. Милорда Гаринтона, статского секретаря северных дел, можно взять образцом честного и доброго человека, который снабден природными основательными рассуждениями и многим искусством. Обе здешния про-

тивныя стороны равно его любят и почитают; нет такого, чтоб был им недоволен; нраву весьма тихого, малоречив, не лукав, и столько недруг всяких замешательств и высокомыслия, что хотя его королевское величество к нему гораздо милостив, кавалер Вальполь ему не ревнует, и, подлинно, способнейшего он, Вальполь, себе приискать не мог бы, понеже милорд, кроме своей должности, ни в какия дела не вступает, зачем я надеюсь, что он место свое сохранит, со всем тем, что Горас Вальполь горячо желал бы оное себе присвоить. О членах тайного совета не упоминаю, понеже ни силы никакой не имеют, ни господину Вальполю противиться отважны. Ничего также примечать можно о прочих придворных, которые ни в какия дела не вступают, разве когда господин Вальполь кому что позволит и его величество ни которому из них отменную милость не являет.

Сколько настоящих дел касается, примечания достойны Юлих и Бергская, да Ишпанская ссора; в первом министры здешние себя далеко ввязать не охотны; его корол. вел. безсомнения противен распространению прусского дому, и союз с Статами генеральными, как и самое положение мест власти двух морских держав, происходящее от того дела опаство чинить обоим обиды. Но понеже оное министерству здешнему кажется гораздо отдалено, за вышеописанную их склонностию, всяких обязательств, которыя войною грозят, от себя отдалить ищут; для такой же причины всеми силами трудятся несогласие с гишпанским двором без войны утушить; но если довольное от того двора удовольствие купечеству здешнему не доставят, должны подлинно ожидать худых следствий, для того оба брата Вальполя о сем деле больше всего пекутся; наипаче, что еслиб до войны дошло, опасаются соединения гишпанского двора с французским. Сего последнего двора нынешнее доброе согласие с цесарским, некоторых из здешних господ беспокоит, но министры редко когда о том думают; довольствуясь тем, что в таком состоянии дел цесарской двор помощи отсюда не требует, и что некаким образом продолжается тишина европейская, ничего не ищут, только чтоб она тянулась во все их правление, мало печался, что потом случиться имеет.

В негоциации турецкой для примирения ваш. имп. вел. и высокого вашего союзника с Портою, участие всякое здесь охотно бы приняли, и хотя во всех своих разговорах недовольства никакого не оказали, однако ж не безревностны, что французский двор одну оную от большей части производит, и чаю, что мой туды отъезд не совсем нравен.

О всем вышеописанном я хотя уже имел честь по части в прежних моих покорнейших реляциях доносить, однако же пристойно чаял все в одно место собрать столько для того, чтобы ваше импер. вел. вдруг все то себе напомнить соизволили, сколько и для пользы отправляемого на мое место от в. им. в. министра, для которого особливо прилагаю при сем роспись чужестранных министров, здесь обретаемых, и некоторыя нужнейшия известия для церемониалов с ними и при дворе и о привилегиях чужестранных министров.

Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым Аглинским провинциям

Письмо к другу

С.Т. 5 мая.

Ты желал, любезный друг, иметь список с дневных записок моего путешествия: и все, что я ни представляла тебе о малом достоинстве оных, быв тщетно, я на конец решилась исполнить твою волю; но в сем случае, так как и в других, узнаешь своего друга. Я списала ныне только ту часть, которая для меня более нравится: и как те записки, приехав на квартиру иногда уставши и обессилев от дороги, просто писаны были, так ныне без всяких не только украшений, но и переправок, тебе их посылаю. Ты знаешь, что я оныя записки хотела только для памяти собственно для себя делать; но некоторые мои приятели, при отъезде моем из отечества, просили, чтоб я писала к ним, и делила б с ними то, что я вне оного увижу и делать буду. Ты легко оное заметишь по мелкостям, собственно до меня принадлежащим, кои я, по данному слову (чтоб все то писать, что я видеть и делать буду) внесла: по чему за лишнее и считаю делать отговорки, или уверения, что не амбиция быть писателем, побудила меня к писанию сего журнала. Англия мне более других государств понравилась. Правление их, воспитание, обращение, публичная и приватная их жизнь, механика, строение и сады, все заимствует от устройства первого, и превосходит усильственные опыты других народов в подобных предприятиях. Любовь Агличан к Руским также должна была меня к ним привлечь. Я бы желала только, чтоб краткое сие (некоторой части сего государства) описание было изображено достойною кистью, которая бы как основание, так и отделенныя части, их между собою сношение, различныя тени, наконец и источник весь союз соделавший, изобразить умела. Их сады одни уже достойны эпическим писателем быть описаны. Ты конечно не ждешь того от моего пера; довольно, что твой друг то чувствовать умеет, что Пиит иногда в насильном, или мнимом восторге пишет. Может быть, чувства дружбы в сердце моем превосходят замыслы их воображения, когда они о сем освященнейшем союзе говорят. Но как измерять чувствования не можно, то я удовольствуюсь тем, что ты будешь знать и верить, что я горячей друг своим друзьям, и что таковою для тебя по смерть пребудет.

К.Д.

Путешествие

14 числа Октября [1770 г.] в девятом часу поутру приехал ко мне славный Паолий, который и в приватной жизни достоин любопытства: он конечно разумом своим и в простой жизни и обращении отличится; потом господин Фицжералд, которой член вольного общества художеств, хлебопашества и торговли. Оных членов до двух тысяч человек, кои собираются в особливой дом, ими купленной, и где они раздают преисы из собственной своей суммы, за вымышленные новых машин, или орудий, способствующих к рукоделию и хлебопашеству. Он нас возил в оной дом, где мы нашли великое множество разных машин и орудий, для пользы рода человеческого вымышленных, за кои великими деньгами награждены их сочинители. Разсматривая все оное, я некоторой род почтения в себе чувствовала к сему месту, из которого истекает такая польза и облегчение сему счастливому и просвещенному народу. Пробыв там до трех часов, и завезя госпожу Жонес и ея тетку, которыя с нами же были, проехала к госпоже Ноелль, где посидев с полчаса, потом была у госпожи Собар, но не застав ее дома, поехала к Пушкину, где отобедав ездилася с визитом к Миледи Спенсер, откуда опять к Пушкину возвратясь, до одиннадцати часов у них просидела, и простилась с ним в том намерении, чтоб на другой день рано начать нам свое путешествие.

15 числа в полосма часа, севши в карету с П.Ф.К. с братом и И.А.В. с дочерью и с одною камер-юнкерою, выехали из Лондона по большой Бадской дороге. В 17 милях остановились мы в местечке называемом Клермон. Тут загородной дом славного милорда Клейва, который не давно такия большия завоевания Индейской их компании приобрел, и тем же случаем так разбогател, что он теперь из первых богачей аглинских. Он купил сей дом у герцога Нейкастельского, и не удовольствуясь его палатами, которыя были преогромныя, их сломал, и теперь строит вновь превеликой дом, который еще не окончан; по чему мы пошли смотреть сад, который чрезвычайно хорош и окружен превеликим зверинцем. По середине сада прекрутая гора на коей построен домик весь открытой, куда мы взойдя не только все окружныя места, но и город, как на ландкарте видели. Отъехав оттуда еще три мили, остановились в доме господина Гамилтона, называемом Кобгам. Сад его совсем отменным вкусом отделан: положение оногo на горе, под которою течет речка, из коей все то сделано, что только придумать можно; она введена в сад, где извиваясь на разныя части, делает несколько островов, которые все насажены разными деревьями; у некоторых отделаны берега диким камнем так живо, как будто бы то естество произвело. Один из сих островов представляет совсем дикой остров, на котором никакого нет строения, и ничего кроме деревьев, которыя без всякого геометрического порядка насажены; в конце оногo увидели камни кучами наваленные, представляющие во всей точности каменную гору; сквозь оную оставлен ход, куда мы пройдя, к большему своему удив-

лению очутились на крутом берегу, состоящем из таких же камней, но на которых по приличности насажены деревья и цветы; тут мост такой же каменной, сообщающий оной остров с другим близ того лежащим. Сошед вниз к самому мосту, нашли расселину в горе, куда войдя не мало удивились нашед просторную пещеру, отделанную всю сверху до низу разными хрустальями, которые на подобие ледяных сосулк вмазаны в стенах и в своде. Оная пещера простирается очень далеко разными закоулками, которые все в такой же точности отделаны. В конце же пещера сия составляет превеликую гроту, отделанную также натурально штуфами хрустальными. Солнце проходя сквозь расселины, нарочно для того оставленные, так они отвращают, что глаза на силу могут терпеть оной блеск. Все стены покрыты, или, лучше сказать, составлены из драгоценных хрусталей и разных окаменелостей: как то кораллы всякого рода, аметисты, топазы и янтари, которые все вместе так к стати собраны, что самую натуру бы обмануть могли. В углах на таковых же камнях бьют каскады, которые, собираясь в разные бассейны, стекают потом в реку, к коей тут сделан сход несколькими ступеньками. Отдохнув не много в сем прекрасном месте, вышли сквозь узкой проход на верх, где не меньше удивились, увидя себя на пустом берегу, где только изредка набросаны большие камни, которые так обросли травой, что казалось от создания света тут пребывают. Напротив оного вдали на горе видна палатка, возле которой пасется стадо: и хотя только одна река нас разделяла, однако мы еще версты три прежде обойти должны были (и почти на каждых десяти шагах новыя картины видели). Пришед к палатке (которая не что иное, как галерея, отделенная на то подобие), увидели вдруг большую часть сада, и почти все разные домики, которые в нем по местам построены. Остановясь тут несколько, прошли еще с версту столь же прекрасными местами. Дорожки, или проходы в аглинских садах, тем более приятны, что единственности геометрических фигур не подвержены, и что новыя картины, расположенныя по приличеству, беспрестанно твой взор прельщают. Тень разной зелени деревьев, тень от густоты или редкости деревьев, вышина или низкость их, воды проведенныя с таким искусством, чтоб казалось единственно им тут быть, различныя строения, все сие у них с великим рачением и искусством употребляется; но искусство так скрыто, что сады их кажутся выбранныя хорошия натуральныя места. И хотя по их стилю уже конец Октября, однако зелень такова, как у нас среди лета никогда не бывает. Первая причина тому способность их климата, второе их собственная прилежность; их луга, или, так как они называют, зеленые ковры, гораздо дороже им становятся всякого регулярнаго сада, потому что они не только что каждую неделю траву подкошивают самыми тонкими косами, но сверх того укатывают оные превеликими досчатыми валями, от чего трава так чиста и так гладка, как настоящей ковер. Для содержания сего много работников имеют, однако не то число, какое чрез *много* у нас разумеется:

ибо как содержание человека в Англии очень дорого, за то один более трех наших ленивцев сделает; сверх того многия машины употребляются, коими облегчается работа. Влажность же натуральная их земли содержит оные в беспрестанной зелени до самого января; по чему озимой их сев так поздно бывает, что на силу только начинали тут приуготовлять к тому пашню. Потом проехав город Гильфорд (в 30 милях от Лондона) остановились в местечке Годлемер в четырех милях от оногo, где отужинав ночевать остались.

16 числа поутру отъехав 20 миль, обедали в городе, называемом Петерфилд; потом отъехав восемь миль, переломилось у кареты нашей дышло; по чему мы часа полтора промешкав, поехали далее, и хотя уже смеркалось, однако мы еще шесть миль отъехали, остановясь у прекрутой горы, где к колесам привязывали спуски. Вдруг к нам прискакал человек верхом так запыхавшись, что насилу мог говорить, и лошадь под ним с устали тряслась; он нам сказал, что он морской офицер, едуший из Портсмута (от котораго мы были в шести милях) и что за две мили пред нами прискакал к нему разбойник верхом, и долго за ним гнался, крича, чтоб он остановился, или он его застрелит; однако он столько был щастлив, что от него ускакал. В Англии других разбойников не бывает; они обыкновенно поодиночке ездят, и естли у кареты не случится верховых, то они, подскакав с заряженным пистолетом, просят кошелька, которой неспорно им отдают; после чего они поклонясь поедут очень спокойно, и никем не остановлены. Мы, приказав своим двум верховым, которые имели заряженные пистолеты, ехать по сторонам кареты нашей, отправились далее; однако предосторожность наша была излишняя, никто на нас не напал, и мы благополучно в 7 часов приехали в Портсмут без всяких худых встреч. Между тем, как мы ужинали, пришел к нам офицер русской Назимов, который тут от нашего флота оставлен с 20 матросами больными, коего, оставя у себя, расспрашивала я о своих земляках и с ним остатки вечера проводила.

17 числа после завтрака взявши фьякр, поехали с братом И.А.В. и Назимовым на берег моря, где видели на рейде многочисленные стоячие их военные корабли; потом поехали к пристани и вышед из кареты гуляли тут пешком. Видели артиллерийской двор; в адмиралтейство ж не ходили: потому что после пожару наистрожайше запрещено впускать не только чужестранных, но ниже своих агличан, без билета Адмиралтейского; по чему мы, возвращясь домой, в пять часов отообедали, потом остатки вечера читали.

18 числа в полосьма часа поутру вехали мы, и отъехав 6 миль, своротили с большой дороги, и поехали проселочными дорогами до самого Сутгамптона, которой в 26 милях от Портсмута. Город сей хотя не велик, но очень весел, построен на самом взморье, тут сделаны холодные бани, для которых в некоторые месяцы съезжается великое множество людей; для чего построены прекрасныя две залы, где бывають преогромные балы и собрания. Мы ходили смотреть оныя бани и в залы заходили; оттуда же обойдя весь город, гуляя по

некоторым улицам, кои чрезмерно чисто содержатся, возвратились на квартиру свою, и тут уже остались ночевать.

19 числа, поутру выехав в пять часов и сделал 22 мили в полдесята часа, приехали в Салисбури; и покуда кормили лошадей, мы, взяв наемную карету, ездили в соборную церковь, которая построена более 500 лет назад. Хотя здание сие преогромное Готической архитектуры; однако отменно примечательного ничего не имеет, кроме древности своей, и живописи в сводах, где альфреско Греческим письмом написаны разные образа, в которых так краски живо сохранились, как будто теперь писаны. Есть еще и некоторые любопытные монументы и надгробныя надписи: но всего чуднее мысль строителя оного храма, в коем столько приделов, сколько в году месяцев; столько дверей, сколько недель; столько окошек, сколько дней; и столько столбов, сколько в году часов (столбы сии превеликую красоту делают, составляя в три ряда галереи во всю длину оного здания). Мы застали их службу, которая с великим благочинием отправлялась при игрании органов и петья двух крылосов; оттуда поехали на фабрику слесарную; потом ходили по лавкам, и хотя город сей не из больших, однако лавки оного наполнены всякими товарами. (Генерально во всех и маленьких городах в Англии все сыскать можно.) В двенадцать часов выехав и сделав три мили, остановились в местечке, называемом Вильтон. Тут загородной дом милорда Пенброка, который как вкусом, так и убором превосходит все то, что мы прежде видели. В нем 18 комнат наполнены картинами лучших мастеров, древних и новейших, как Италианских так и прочих школ; одна галерея превеликая вся работы славного Вандек, которая конечно теперь безценная; статуи древния и новыя мраморныя, и других разных каменьев, не только во всех покоях с верхняго и до последняго этажа, но и во всех сенях и кругом всех палат в нишах наставлены, и на дворе, и в саду во всех домиках и галереях; столы же яшмовые, агатовые и всяких драгоценных мраморов и гранат; одним словом тут такая сокровища, что почти счислить не можно. В саду течет река, на которой стоят разные суда, в конце саду оная река гораздо шире становится наподобие полумесяца, и во всю ширину оного сделан спуск, вышиною на несколько аршин, что составляет наипрекраснейшую каскаду. Проходя тут целые четыре часа, пошли на ковровую фабрику, которая из первых в оном роде считается. Оттуда, севши в карету, поехали дале, и свернув две мили в сторону, заехали смотреть остатки древнего храма Друидов (известно, что в Англии до проповедания Евангелия, то есть до 177 году было идолопоклоничество. Жрецы их, называемые Друиды, сказывают, иногда и людей в жертву идолам своим приносили) называемого Стонгинхес. Здание сие конечно было пречудной архитектуры, наподобие превеликой залы, которая составлена из диких камней такой ужасной величины, что все удивляются, каким способом они тут могли быть привезены и поставлены. Вся вышина теперь видимых остатков из одного камня состоит, из чего разсудить можно,

сколько он длинен. Обойдя его вокруг, поехали далее: и как уже темно становилось; то хотя столбы и на каждой миле по всем дорогам поставлены во всей Англии, но не могли читать, кучер наш сбился на другую дорогу, так что мы не доехав до определенного ночлега, ночевать принуждены были в маленькой деревеньке, называемой Чил-Трек в 14 милях только от Салисбури. Мы долго проплутали и в десятом часу на силу, скакав очень резво, доехали.

20 числа, в семь часов поутру выехав, в местечке Вармистр, в 8 милях расстоянием, завтракали; потом отъехав еще пять миль, в доме милорда Веймут, называемом Лонглет, остановились. Дом сей построен в 1566 году весь из тесаного белого камня с великолепною отделкою, и через толь долгое время так невредим, что кажется вновь построен. Расположение внутреннее покоев точно в нынешнем вкусе; в одной галлерее нам показывали канапе, креслы и стулья черные гебеновые вместе с домом сделанные, а так чисты, как новые. Обои во многих более ста лет во всей целости: хотя хозяевы почти весь круглой год живут и мебели употребляют. Пробыв там два часа, и погуляв в саду, поехали далее. В пяти милях в городе Фром (в котором лучшия суконныя их фабрики) кормили лошадей; после чего переехав еще десять миль, прибыли благополучно в Бад, и стали в оберже Лурс, куда к нам пришел бывшей наш Советник посольства Людрас. Во время ужина слышали превеликой звон в колокола: мы думали, что у них назавтра праздник; однако нам сказали, что звон сей для нашего приезда, и что всякой приежающий в Бад, тем встречен. Потом пришли к нам господин Жонес с дочерью, и остатки вечера с ними просидели.

21 числа в девять часов поутру пришел к нам Людрас с дочерью и девица Жонес, и все вместе пошли в залу, в коей фонтаны теплых вод; тут нашли такое множество людей всякого звания, что на силу продрасться могли до помпы, и выпив по стакану сей воды (вкус оной хотя и отзывается несколько серою, но не так противен, как Акойския воды); пошли смотреть бань, которыя возле самой залы, так что из окошек оной купающиеся люди видны. Тут женщины и мушины все вместе, одеты в желтых фланелевых шлафорках, на головах клеенчитыя шляпы, и по горло будучи в воде, все вокруг друг за другом ходят, и только головы одне их видны. Есть такия бани, в которых, так как и в Акене, особливо ходить можно; но как оныя дале от ключа, следственно и не так действительны, то для здоровья больные в большия бани ходят. Обходя все прочия одинакия бани, где все в великой чистоте и приборе нашли, пошли на планаду, где построено в двух квадратах множество разных домов, но все под одной крышкою и одинаковой архитектуры, что составляет великую огромность. (Тем больше, что они построены все из белаго тесаного камня, так как и весь город, к чему много способствует кряж оной земли, которой не только вокруг Бата, но и во всей провинции Сомерсет и далее одинаков простирается, то есть, состоит весь из мягкого белого камня, которой, наподобие нашего Мячковского, от

времени крепчает, но с начала в деле так мякоч, что их решики все из него делать могут с такою легкостию, как из гипсу, чрез что великую красоту делают их домам, которые как снаружи, так и внутри, по приличности разных родов архитектуры, резьбою отделаны.) Тут по сторонам оных квадратов два гулянья: одно называется Сут-Парад, которое, будучи положением на полдне, употребляется для зимней прогулки; другое Норт-Парад, где для тени летом прогуливаются после вод. Походя в обеих сих местах, прошли в залу завтракать; тут хотя более 200 человек за столами сидели, однако с таким порядком, что ни крику, ни шуму не слышно было. Завтрак сей был не обыкновенной; он дается только подважды в неделю для содержания двух госпиталей (в которых принимаются все бедные люди, прихожие из других провинций для лечения; их тут одевают, кормят и лечат безденежно). На завтраке сем каждый с персоны платит пять шилленгов, что сделает на наши деньги рубль с четвертью, за что тут подают чай, кофе, шекалат, масло и хлеб, сколько кто изволит: однако со всем тем столько от одного денег очищается, что с великим изобилием оныя бедные содержатся. После завтрака гуляли еще по городу, которой хотя не велик, но отменен от всех городов, которые мы до того видели, тем особенно, что ни одного кирпича нигде не видно, и строение регулярное в четыре и пять этажей. Площадь, называемая Серкль, составляет наипрекраснейшее место: она обстроена вокруг домами, которые будучи под одной крышкой, делают наиогромнейшее здание, которого все четыре этажа разного рода архитектуры. К ней площади ведут три широкия улицы, также вновь построенныя; одна из сих сообщает ее с другою площадью, называемою cresient, которая также полумесяцом обстроена домами Ионической архитектуры, составляющая одну громаду под одной крышкою. Все сии здания строятся партикулярными людьми, которые не жалеют употреблять великие на то капиталы, получая верные потом с домов доходы: потому что город сей наполнен целые девять месяцев в году бесчисленным множеством людей всякого звания, которые тут из всех сторон Англии съезжаются, малое число для леченья, а прочие все для веселья и прожитку; почему эти дома все строятся для найму, и никогда пусты не бывают. Оттуда прошли в новую залу, которая для балов строится (хотя их и так уже три преогромныя). Она одна будет стоить пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, из чего можно заключить каких денег стоит весь сей город. Возвратясь домой, и отобедав с девицею Жонес, пришли к нам Кембел, Людрас с дочерью, Бишев Петербору с женою, господин Дешер с женою; нас всех вместе в портшезах понесли в залу концертную, где было 500 человек; пела между прочим новая их певица англичанка, которую они все с восхищением слушали, но мы того восторга с ними не разделяли; господин Фишер, славной гобоист, за то и нас прельстил своим игранием. После концерта миледи Кери и милорд, которые у нас поутру были подчивали нас тут чаем, после чего возвратясь домой, я ходила в теплую баню.

22 числа поутру был у нас церемониймейстер, или учредитель всех веселостей в Бате. Он выбирается всем обществом по большинству голосов, и такую власть во всех собраниях имеет, что ему никто в том не противоречит. Он старается всех уместить и всякого удовольствовать, за что он получает около 15 тысяч рублей в год. Потом славной их лекарь Листер, господин Камбель и Людрас с дочерью к нам пришли, и севши все в кареты, поехали к миледи Керн в загородной дом, которой верстах в двух от Бада в наипрекраснейшем положении. Весь город из окон кажется так как десертная штука, нарочно для него поставленная. Тут нам дан был преогромной завтрак, где были званы все лучшие люди; после завтрака ходили смотреть покоев сего дома, которой очень велик; между тем подвезли фаетоны и одноколки, в которые дамы и кавалеры севши поехали все гулять около зверинца, и около всей дачи, принадлежащей сему дому, где построены разные домики в приличных местах, или для виду, или для отдохновения. Тут нам попадались великое множество гуляющих в каретах, одноколках и верьхами. Проездя до второго часа, и возвратясь назад к миледи Кери, потом все по домам разъехались. На дороге заехали мы к рещику, которой чрезвычайно хорошо все камни вырезывает; потом проехали к Бишеву Петербору; от него прошли уже пешком к одному жителю Батскому господину Лий, который имеет собрание прекрасных картин разных школ; после обеда была у нас герцогиня Портланд, герцог Нортумберланд, и еще великое множество людей; потом с девицею Жонес пошли все на бал, где больше этикетов, нежели у нас при дворе, как в нарядах, кои церемониймейстер накрепчайше наблюдает, так и в танцах; он же каждую пару выводит, однако со всем тем тут было человек шесть сот. Все генерально большия ласки и учтивости нам оказывали. Пробыв там до 8 часов, возвратились домой.

23 числа поутру пришел к нам Бишев Петербору и девица Жонес, с которыми, севши в две кареты, поехали в город Бристоль, который в 12 милях от Бата. Город сей хотя из первых торговых в Англии, но как строение, так и улицы претесныя и темныя; тут отзавтракав поехали в загородной дом господина Сотвелль, в шести милях от Бристоля. Положение сего места столь прекрасно, что нам выехать оттуда не хотелось. Он построен на высокой горе близ самого заливу морского (называемого Бристольской канал), которой тут весь открыт, так что и княжество Вальское, зачинающееся на другом берегу, все видно; оттуда поехали в загородной дом господина Голдинг, называемой Кливдон. Положение оногo также прекрасное на берегу реки Авана, которая от Бристоля тут протекает. Сад хотя регулярной и с фонтанами, однако в аглинском вкусе. Таковых домов тут великое множество, которые простираются даже до самого города и составляют прекрасное селение вокруг того места, где фонтана знаемая во всей Европе под именем вод Бристольских. Тут также великой съезд бывает в четыре летние месяца; для чего построены, так как и в Бате, разные залы для танцов и собраний; и все сии строения в ко-

роткое время окупаются. Мы подъехав к той зале, где приведен фонтан, вышедши выпили оной воды с приятностию по стакану. Она несколько тепловата, так почти, как парное молоко, и естли пить зажмуря глаза, то можно ошибиться, думая, что пьешь молоко. Оттуда поехали в город прекрасной улицею, которую тут составляют нарочно построенные для найму загородные дома, отделанные с отменным вкусом. Въехав в город были в соборной церкви, которая кроме древности строения ничего примечания достойного не имеет; потом заехали на биржу, и обойдя ея вокруг проехали в другую церковь, которая также древняя; в ней хранятся три великия картины славнаго Гогарта. Возвратясь в обержу, и отобедав, поехали обратно в Бат, куда мы в семь часов приехали. Товарищ Бишев Петербору, человек разумной и ученой, почему мы очень весело все это время проводили и весьма благодарны были за учтивость, побудившую его с нами съездить. Тотчас по приезде нашем пришли к нам миледи Болбей с мужем, оба люди прелюбезные, Кембел и Людрас с дочерью, с которыми остатки вечера вместе проводили.

24 числа поутру с госпожею Гиншлеф, женою Бишева Петербору, и девицею Жонес, пошли в соборную церковь, где Бишев сказывал проповедь, увещевая к подаянию милостыни, которая, по окончании оной, собиралась у дверей церковных милордом Кери, для тех же прежде помянутых госпиталей, и как его красноречие, так и скромность и прилежность слушателей почтение мое извлекло. Вышед из церкви, пошли со всею своею компаниею в лавку, где по улицам сходятся завтракать и есть суп и пирошки; оттуда зашли к одной женщине, которая так живо делает цветы, что собрание землешества и рукоделия дали ей прейс за один цветок, сочтя его натуральным. Пришедши домой, куда нас все наши приятели проводили, и простясь с ними, выехали из Бата во втором часу, и, проехав Пети-Франс и Дидмартон, ночевали в Тетбури, в дватцати трех милях от Бата.

25 числа, выехав поутру в семь часов, и проехав Циренчестер и Биберти, завтракали в 27 милях в местечке называемом Бурфорт; потом отъехав еще 15 миль, ночевали в местечке Вутеток. В сей день ничего знаменитого не видали, и осталось бы только описывать чистоту и хорошее услужение, коим в аглинских трактирах проезжающий пользуется, естли бы то уже не было известно.

26 числа, вставши поутру, пошли на фабрики слесарныя, где с превеликим искусством всякия вещи отделяваются. Оттуда поехали в дом загородной герцога Мальборука, которой пожалован в 1708 году славному герцогу Иону Мальборуку, королевою Анною и парламентом, за знатныя его отечеству услуги, а особливо за баталию Блейгеймскую, по которой и дом сей назван Блейгейм. Он построен на народныя деньги с таким великолепием, что конечно достойной сего могущаго народа подарок. Палаты преогромныя из тесаного белого камня; архитектура оного Коринтического ордена; внутренние уборы чрезвычайно хорошаго вкуса и великолепны; панели, короб-

ки у окошек и дверей все мраморныя; так как и камины во всех комнатах (коих более 50) прекрасной работы; обои готлисовыя, тканья нарочно в Брюксели, на коих победы того герцога представлены; библиотека поставлена в галлерее на 183 фута длиною, в которой не только, как и во всех прочих комнатах, вместо столярной работы, белым мрамором отделано, но и все колонны, поддерживающия своды, из лучшего мрамора. Тут поставлена статуя Королевы Анны, которую в благодарность наследник первого герцога в 1735 году сделал лучшим тогдашним мастером; на пиедестале подписано, что сей монумент воздвигнут, благодарными наследниками герцога Ионы, великой королеве Анне; тут считают до 30000 книг. Дом сей наполнен наипрекраснейшими картинами лучших Италианских и прочих славнейших мастеров. Одним словом весь дом подобен дворцу великолепного государя. Сад и Парк (на несколько миль окружности) наполнен всякими дикими зверьми, которые однако так привычны, что стадами перед нашею каретою бегали, когда мы в нем ездили; тут введена река, на которой сделаны два каменные прекрасные мосты; она протекает чрез весь парк, составляя в нескольких местах вечные каскады. В середине ж парка поставлен монумент во 130 футов вышиною, на котором поставлена медная герцогова статуя, пиедестал из прекрасного белого мрамора, на коем черными словами вырезана вся жизнь славного сего человека, и описаны все его победы и услуги к отечеству, за что оное воздвигло ему сей монумент благодарности, прибавя к тому ежегодной доход, которой наследники его вечно получать будут на содержание одного места от парламента; и чтоб еще больше отличить сию фамилию, то сделано установление, чтоб всякой год в Июне месяце герцог Малборук привозил новое знамя, на подобие французского, с гербом французским, во дворец Виндзорской, в память его победы; что и по сих пор ежегодно делается. Пробыв там до одиннадцати часов, возвратясь в обержу и отзавтракав, отправились в Оксфорд, которой оттуда расстоянием в 8 милях, куда мы чрез два часа приехали. Руской наш студент Никитин, который с шестью студентами нашими обучается в Оксфордском Университете, тотчас пришел к нам, а потом начальник, или, так как они называют, Дойен коллегии Крейст Чурч, господин Виллиам Маркгам, с которым вместе поехали в ту коллегию, в которой он нам показывал все достойныя примечания вещи. Здание сие преогромное, некоторая часть построена с 900 лет назад Готической архитектурю; но прочее строение все новое и архитектуры Италианской. Семь дворов сию громаду составляют, в которых живут студенты и учителя со всем покоем, так как и восемь каноников, которые собор сей составляют. Они каждой, так как и Дойен, имеют особливые огромные дома; в тех же связях тут четыре комнаты картинныя лучших мастеров древних и новейших, как то: Рафаила, Павла Веронезия, Буржиньона, Салвата Розы, Титияна, Микель Анжела, Анибал Карача, Вандека, Рюбенса, и многих древних мастеров. Осмотря оныя прошли в библиотеку, которая в превели-

ком порядке, и по классам разставлена; потом в кабинет медалей, где великое собрание, как Греческих и Римских, так и их древних Ирландских, Шотландских и Аглинских медалей и монет; потом прошли в их церковь, которая во времена древних Саксонов построена; тут сверх архитектуры примечания достойны два окошка, на которых прекрасная живопись; пробыв там целые пять часов, возвратились домой, куда к нам приехал господин Маркгам с женою, и с ними господин Норт, брат первого министра в Англии, кои у нас до десяти часов присидели.

27 числа в семь часов поутру с Маркгамом и Фицджеральдом поехали в разные коллегии; были в С.Жонес коллегии, потом в Тринити коллегии, Нев коллегии, Алль Сулс коллегии, Университе коллегии, Кеенс коллегии, Магдален коллегии. Все сии здания преогромныя, в которых церкви, так как и все строение, великолепною архитектурою и пространством примечания достойны. Каждая из оных имеет своего начальника, которые в иных называются Президент, в некоторых Мастер, Провост Варденс, Принципал и Ректор; и хотя названия сии разные, однако они все одно значат. Все коллегии не зависимы одна от другой, и доходы каждая имеет особливые, установленные вечно разными частными людьми; при каждой из оных несколько профессоров и чиновных людей и не менее ста студентов. Таковых коллегий девятнадцать, да шесть школ, кои также имеют, как и в коллегиях, своих собственных начальников и особливые доходы. Оне все вместе составляют славной Университет Оксфордской (который, как сказывают, гораздо ныне упадает перед прежним), над которым начальником один канцлер (который обыкновенно живет в Лондоне, будучи член Парламента); и один вице-канцлер, выбирающийся из начальников коллежских. Сей последней должен всегда быть в Оксфорде; он присутствует во всех собраниях для произвождения студентов, для чего все члены коллежские должны собираться, и без чего никогда градуса студент получить не может. Объездя оныя Коллегии, проехали в публичные здания, которые все в одном месте построены. Театр, где собирается Университет в некоторые дни, и где говорятся речи на знатные случаи; архитектура оного Коринтического ордена. Огромное сие здание построено полуциркулем в 1669 году Архитектором Врен; внутреннее расположение галлерей, всю залу окружающих так хорошо, что тут вмещается три тысячи человек во время их церемоний. Возле того театра Музеум Ашмолеан, названной так по имени своего фундатора Елиас Ашмоле, который в 1682 году оной построил (Архитектором Вреном); фронтиспис и портик оного чрезвычайной красоты, Коринтического ордена; тут собрания для исследования натуральной Истории, всякие окаменелости, руды, всякия животныя, как в спиртах, так и в чучелах; тут также собрания медалей, несколько картин и статуй; притом в трех комнатах библиотека, которая, так как и все сие строение, всегда для всех отворена, однако со всякого человека за вход по 4 наших Руских копейки собирается на содержание оных

вещей. Возле оного Университетская Типография, называемая Кларандон Принтинг Гузе, потому что милорд Кларандон писал историю их бунтов, сын его подарил копию оной Университету, которую они напечатав, и по продаже оная, на полученные за то деньги в 1711 году оное огромное здание построили длиною на 115 футах. Портик прекрасной Дорической архитектуры с осмью колоннами, над которым в фронтисписе поставлена статуя мраморная милорда Кларандона прельщает взор. Тут возле находится здание, определенное для публичных школ; оно построено квадратом, в середине которого двор, сообщающей все оное строение. В двух флигелях распределены все классы, каждой имея свою собственную школу, из которых только хороша Богословская школа (а прочия все не только без всякого прибора, но и совсем внутри опущены); в верхнем этаже во всю длину оных флигелей поставлены на стенах, как портреты разных вкладчиков, так и многия хорошия картины. Третий флигель содержит библиотеку публичную, которая (так как и все сие здание) построена в 1440 году Гомфреем, герцогом Глочестерским, и им зачата наполняться книгами; но потом в 1612 году не только вновь отделана и большею частию книгами наполнена, но и доходы большие вечно к тому определены Томасом Бодлеем; по чему с тех пор и названа Бодлеанская библиотека. Потом уже были многия знатные вкладчики, которые ея наполнили не только печатными книгами, но и манускриптами, на всех языках как древних, так и новейших; в том числе есть некоторые и Руские манускрипты, которые нам попались в руки, были: Словарь Руской с Греческим с истолкованием и правилами грамматическими; другой Аристотелевы поучения. Оная библиотека, после Ватиканской в Риме, считается теперь первая в свете; в ней полагают 300000 книг; она во весь круглой год для всех отворена каждой день пять часов; тут также в нескольких шкафах собрание редких медалей и антиков. Четвертый флигель, составляющий фронтиспис всему зданию, ста семидесяти пяти футов вышиною; (архитектура оного пяти орденов нижней Тосканской, над тем Дорической, потом Ионической, Коринтической и Композит) верх самой составляет обсерваторию; в низу же поставлены древния статуи и сосуды мраморные, которых 135 штук, очень драгоценных, данные Университету графинею Помфрет, но и по сих пор так в темноте и без всякого порядка поставлены. Возле самого того строения поставлено ныне вновь огромное здание для библиотеки Университетской. Оно совсем ордену Коринтического, и снаружи вся пропорция наблюдаена; но внутренняя колонада под куполом вокруг оркаду не так пропорциональна, ибо она разделена на два этажа, в которых для помещения книг стоят шкапы, а перед ними столы и стулья для охотников поставлены: над первыми дверьми статуя фундатора Доктора Радилиф (по имени которого здание сие названо Радилафская библиотека); над другими дверьми бюст архитектора оного господина Жибес. Оная библиотека окончана в 1742 году, и тогда же в некоторые шкапы внесено несколько книг, и

поставлены с великою церемониею, но с тех пор не прибавляют, и так почти стоит пустая. Проходя во всех сих местах до трех часов по полудни, проехали в Ботанический сад, который сделал в 1763 году милорд Денби, для учения студентов, и им же на содержание оного определена сумма. Сад оной окружен великолепною оградой; ворота (которые архитектуры Дорического ордена, работы славного Архитектора Инегажонес, который лучшая строения в Англии построил), коронованы фронтисписом, в коем статуя мраморовая фундаатора милорда Денби; а по сторонам бюсты Королей Карла I и Карла II поставлены. (При последнем почти все публичные здания в Оксфорде обновлены; по чему везде его бюсты и портреты поставлены.) Сад оной наполнен всякими травами и цветами редкими из всех разных земель и климатов свезенными; он всегда всем отворяется. Доктор Шерард, ревнуя столь нужному установлению, подарил великое собрание ботанических книг, прибавя к тому капитал трех тысяч фунтов стерлингов, для содержания профессора ботаники, которому тут и дом от университета построен. Все сии строения и установления содержатся ни королем, ни парламентом, ни партикулярными дателями; но земли и доходы вечные оным коллегиям отданы, кои прежде были монастыри, а в нынешнем их законе обращены в светския училища. В четыре часа приехали к Дойену коллегии Крейст Чурч; покои, в которых он живет, великолепные. Во время гонения Карла первого он тут жил, и ныне, когда королю случается приезжать в Оксфорд, он тут же становится. Отобедав у него и прося до осьми часов, возвратились домой, где остатки вечера проболтали с Никитиным, спрашивая о тамошних их поведеньях. Но усталъ, которую мы чувствовать после такой ходьбы должны были, скоро нас в объятия Морфея возвратила.

28 числа поутру пришли к нам наши Руские студенты; потом приехал вице-канцлер университетской с жезлом своим и в мантии и во всем церемониальном виде, которой именем своим и всего университета поднес мне книгу с эстампами всех у них хранящихся статуй и барельефов древних, которую честь, сказывают, редким проезжающим делают; отпустя его в девять часов, отправились в путь свой, и переехав 42 мили, ночевали в Виндзоре.

29 числа, вставши в семь часов поутру, пошли в соборную церковь, которая сверх древности примечательна тем, что в ней собираются Кавалеры подвязки, которые тут должны собраться, когда сей орден кому дается. Каждый Кавалер имеет тут свое знамя или герб, поставленный по старшинству получения оного ордена. Оттуда пришли во дворец, который преогромной, и по древности убран великолепно; по большей части стены ткаными обоями обиты; наддверныя картины лучших мастеров, так как и прочия картины, коих великое множество по стенам и над каминами, одна особливо в церкви шириною и вышиною во всю поперешнюю стену, представляющая вечера тайныя, Рубенсовой работы безценная. Напротиву оной в конце галереи написан алфреско на стене Карл II сидящий в

креслах на троне мраморном так, что стоя возле оной, глаза обманываются. Она картина писана Италианцом, называемым верно, так как и вся та галерея и генерально все плафоны во всем доме, который оной государь весь возобновил; по чему и статуя его бронзовая в середине двора поставлена. Обходя все покои вокруг, пошли на башню, называемую круглая башня, в этой маленькой крепостце сделаны прекрасные покои, чтоб в случае нужды королю можно там спастись. Вид с нея прекрасной, на все стороны ничем не закрыт, так что в одном месте 14 графств вдруг видеть можно. Потом сошли вниз на терасу, которая весь дворец окружает, откуда как все фасады оного, так и весь город Виндзор виден, украшенный рекою Темзою, коя вокруг его несколько разизвивается. И так в полодиннатцата часа севши в карету и отъехав 14 миль, в двенатцать часов приехали в Гамптон Кур, где также дворец, построенный королем Вилгелмом третьим; оной дворец совсем уже в нынешнем вкусе отделан; здание сие (на берегу реки Темзы) архитектуры Коринтического ордена. Внутри комнаты превысокия, и все почти деревом убранныя чрезвычайно хорошо; плафоны писаны тем же Италианцом Верно. Обойдя все комнаты, в коих много хороших картин, сошли в сад, который очень не велик, но весьма весел и хорош, будучи украшен Темзою и еще несколькими прудами, из коих безпрестанно бьют множество фонтанов. Возвратясь в oberжу и отобедав, сели в четыре часа в карету, и отправились в Лондон, который только в 14 милях от Гамптонкура. Дорога сия вся сплошь загородными дворами окружена, что почти мы во всех провинциях видели. Кряж земли примечить могли, что от самого Дувра до Лондона весь меловой; от Лондона до Портсмута все таков же простирается; оттуда до Салисбури мел, а иногда камень мелкой с песком смешенной; от Салисбури до Бата и Бристоля весь каменной, что почти до самого Оксфорда простирается; а оттуда опять или мел, или камень весь грунт земли до самого Лондона составляет таким образом, что земли на поверхности на аршин не будет, но со всем тем во всех сих разных провинциях, которыми проехали, эта же земля так удобрена, и так прибрана, что смотреть весело; чему много помогает их скот, которой безчисленными стадами почти весь круглой год в поле питается (и которой также отменен величиною и красотою своею); почему как сия земля ни многолюдна, однако им не только своего хлеба становится для себя, но еще много оного выпускают в Ирландию и Шотландию. В Лондон в полседма часа возвратились мы и кончили сие маленькое по Англии путешествие.

1775 г.

Письмо Англомана к одному из членов Вольного Российского Собрания

Государь мой***!

Надобно чувствовать чрезвычайныя дарования, или быть чрезвычайно смелу, чтоб переводить Шакеспира, особливо знаменитыя те места его сочинений, в коих сила воображения, мыслей и выражений, нечто отменное и превосходное в себе имеют; однако я, не имея тех качеств, какия для такого предприятия нужны, а будучи единственно влюблен в некоторыя места Шакеспировых творений, дерзнул перевести одни из его стихов, кои столь известны, что всякой, кто читать умеет, их наизусть знает, а именно, славный Гамлетов монолог. К сему подал мне пример, и ободрил меня в намерении, один живописец, которого я знал в Неаполе. Он был весьма посредственный художник, не знал ни рисунка, ни состава красок, и еще меньше имел те тени, которыя в Тициановых картинах дают предметам живость, нежность и прозрачность. Но он, влюбясь в его Данаю, осмелился ея списать, и изображая с точнейшею верностию все черты, тени и свет сей картины, сделал такую копию, что все ея иметь хотели, не смотря на ея недостатки, особливо те, кои оригинала не видали, и об оном только способом эстампов понятие имели. Я нашел, что ежели я, подражая сему живописцу, стану стараться вникнуть в смысл Шакеспира, и его с точностию изобразить, то я буду в состоянии сделать несколько подобное дело копии Данаи, и показать услугу тем, кои об образе сочинения, о сопряжении мыслей и о смелой вольности сего отменного писателя слабое понятие имеют. Я не остановился, вспомня, что г. Волтер сей монолог перевел. Не все Россияне знают Французский язык: к тому ж сравни сей перевод с оригиналом, я увидел, что г. Волтер больше боролся с Шакеспиром, нежели его переводил, и что ежели бы кто-нибудь его перевод на Аглинский язык обратно перевел, тоб никто не узнал, что это Шакеспирово сочинение. Я еще нашел, что говорить на Французском языке так, как Шакеспир говорил на Аглинском, почти не возможно, а на Руском можно ему по крайней мере подражать, и когда не силу и не красу его, то дух его сохранить. Я одно только встретил затруднение, которое однако больше от свойства нашего воображения, нежели от свойства нашего языка происходит. Мы даем больше уз слогу нашему, нежели сходно с вольностию нашего языка. Кажется, что метафорическия те выражения, кои слог и оживляют и украшают, не довольно нами приняты; и ежели я не обманываюсь, то я приметил, что и в тех из наших писателей, кои самое живое и горячее воображение имели, не одушевленные вещи меньше оживотворены, и умственные бытия реже под чувственным

видом изображаются, нежели в чужестранных писателях, а особливо в Аглинских. Сии, может быть, дают воображению своему и лишнюю вольность; но мне кажется, что самая сия погрешность есть источник тех красот, коими их сочинения столь изобильны. Я не знаю, до коих пор мы им подражать можем. Сие никому столько не известно, как Вам, и никто столько не в состоянии подать пример тех вольностей, кои наш язык столь же свободным сделают, сколько он изобилен, и тем богатство его умножат. Я уверен, что сие составляет один из главных предметов, кои Вольное Российское Общество, которого Вы Член, имеет, и которому я, естли Вы намерение мое одобрите, слабый перевод Гамлетова монолога посвящаю.

Имею честь быть покорный Ваш слуга

Англоман
1775 г.

Журнал путешествия по иностранным
государствам с начала выезда из Санкт-Петербурга
17 марта 1771 года по возвращение в Россию
ноября 22 дня 1773 года

Англия

13 мая 1772 г. проезжали через города Амиен, Абевил, Монтрель и Булон, и переехали в два дни 33 почты, и прибыли 14 в ночи в 11 часов в Кале. Город был заперт, и мы принуждены были переночевать в дурном постоялом дворе.

15. Вставши весьма рано, наняли яхту для переезда морского перешейка, а между тем ходили по городу, пока приготавлился нам съестной запас на судно. Город Кале построен при заливе сего имени противу Дувра. Получа от коменданта сего города паспорт, и снабдившись потребным перебрались на яхту, договорясь в цене с капитаном, отвалили от берегу, и при благополучном ветре плыли с не большим 5 часов, где от трясения каретного, отдыхали и пользовались разными представляющимися видами смотря на оба берега; наконец пристали в Дувр, и выходя из судна окружены были не малым числом зрителей любопытствующих нас видеть, и работниками, кои спрашивали, не надобно ли нам что-нибудь нести. Здесь примечено было не малое различие, как в одеянии, так и во всех ухватках между Французами и Англичанами столь близкими соседями.

Вышед на берег отослали наши чемоданы и сундуки по обыкновению для осмотра в таможную, а сами между тем ходили в кантору менять Французския деньги на банковые Англинские билеты к банкиру называемому *Мене*, от него ходили по городу, он поселен на самом берегу залива против Кале в 7 малых милях с четвертью расстоянием. Здесь содержатся от партикулярных контор пакетботы, или яхты для переезда в Кале и в Остенде. Город Дувр есть один из числа пяти портовых городов.

Пришед на постоялой двор пополдничали и нарочно за столом Англинского потребовали пива, за тем что во Франции ни за что найтить его не можно по притчине Контребанды; а между тем нам запрягли почтовых лошадей, и увязав принесенные сундуки из таможни в хороших каретах поехали по дороге, какой желать лучше не можно. Она не вымощена, а насыпана песком с мелкими камешками, гравье называемыми, и столь хорошо убита, что ни в какое ненастное время грязна не бывает. К тому же всем телегам для тягостей употребляемым запрещено иметь возы узкие для того, что широкие ее убивают и сглаживают, а не портят и не делают калей, которые обыкновенно на немощенных камнем дорогах видимы бывают, к

тому ж положен и указной вес, сколько должно класть на телегу, для наблюдения сего в воротах сделаны весы, коими в одну минуту узнать можно, сколько кто везет весом; от сего происходит, что дорога никогда не портится, да и лошади не надсаживаются.

Почтовые кареты, которые держат на почтовых дворах, подобны нашим, их продают сот от семи до осьми, мы взяли одну четверо-местную для людей; а лошади такие, какие у нас за лучших покупаются.

Таким образом посредством гладкой дороги, проворной и скорой езды, и притом на хороших лошадях перебежали в короткое время шеснатцать миль и приехали из Дувра в город *Кантербури*, куда приехавши за светло смотрели Кавалерского полка хороших лошадей, оне все серые в яблоках числом для тысяч двух сот человек, потом ходили по городу. Он почитается столицею Графства Канского, нарочито пространен стоит на реке Стуре.

Кантербури древнейший город в Англии, как у нас Новгород, в нем резиденцию имеет Примас всей Англии и первой Епархии; из всех украшающих прежних зданий, осталась только одна, нарочитой архитектуры, Соборная церковь.

16-го. Из Кантербури выехали в 9 часов; поутру ночевал на презрядном постоялом дворе. Переехав с небольшим в семь часов пятьдесят семь миль, прибыли в Лондон в половине пятого часа, и пристали к нашему священнику Г. Сомборскому, при министерстве здесь находящемся. Он нас немедленно проводил в нанятую для нас квартиру, в улице Кондит стрит называемой, по близости Господина Мусина Пушкина Министра Российского Императорского Двора, живущего в Вестминстере.

17-го. Переночевав, ездили к Господину Пушкину, коему вручили рекомендательное письмо от Графа Никиты Ивановича Панина. Он нас принял очень ласково, и звал к себе в Ричмонд обедать потому, что двор тогда там находился. На другой день то есть.

18-го. Ездили по городу, и смотрели все его знатныя строения.

Город Лондон, как всем уже известно, есть столица Великобритании, и наибогатейший и цветущий как знатную торговлею, так и великолепным зданием. Чрез него протекает превеликая река Темза, или Тамис, и делает его наиспособнейшим для отправления торговли городом. В него из-за трех сот миль привозят с изобилием дров и уголья каменного, несмотря на то, что по близости довольно оных имеется.

Сей город считается числом жителей не менее Парижа, и несравненно отличествует в Европе военным флотом, разными науками, особливо математическими художествами и полезным рукоделием.

Улицы его все освещены бывають по ночам посредством фонарей, поставленных на столбах не в дальном между собою расстоянии.

Подле Дворца находятся два прекрасные парка Сейн-Жимсис и Геид парк называемыя.

Для переписки в городе, и за несколько миль от него, можно посылать письма в вес одного фунта, заплатя за них только одну Аглинскую монету пенсу или *пенни* около двух копеек на Российския деньги.

Здесь так как и в Голландии отдают на страх корабли и дома от пожару за умеренную цену.

Биржа стоящая на берегу Темзы, составляет огромное строение; где собирается пошлина со всех судов, приходящих из чужих краев.

Чрез Темзу построены три моста весьма твердой и прочной Архитектуры. Один называется Лондонским, другой Вест-Минстерским, а третий Блакфрйяр.

Подле Лондонского мосту сделана пирамида в память бывшего при Карле втором пожара в 1666 году, в которой сгорело 13200 домов.

Биржа построена весьма хорошей архитектуры с Королевскими внутри двора статуями. В нишах средняго жилья находится множество богаделен, содержимых на иждивении частных людей, а гошпитали гораздо лучше выстроены, нежели Королевской дворец.

Город Лондон разделяется на два, на Сите старой, где весьма узкия улицы, и на Винст-Минстер, построенной широкими улицами, которыя для пеших по обеим сторонам высланы с повышением диким камнем, от чего на них и во время ненастья грязи не бывает.

Сего числа заезжали и в Академию художеств, потому что она тогда была отворена. Мы в оной видели труды Аглинских художников, картины живописцов, чертежи архитекторов и статуи рещиков, о коих можно сказать без пристрастия, что оныя в сих художествах и разных выдумках, выключая математику, с Французами равняться не могут.

19-го. Были во многих лавках, и заходили по близости в соборную церковь святаго Апостола Павла. Сия церковь с наружи огромностию, великолепием, и прочим сооружением архитектуры, резною и железною чрезвычайною работою не уступит никакому знатному в Европе зданию. Их можно почесть только две: святаго Петра в Риме и здешняя. Естли кто их рассмотрел с примечанием, тот ни на какия уже другия церькви дивиться не будет.

На фронте находится барелиев высеченой из камня изображающей проповедь святаго Апостола Павла. Двери украшенныя мраморною обделкою представляют некоторыя места из священнои истории. Вся железная работа дверей окончана и выработана с удивительным терпением; а особливо при входе на крилосе и кругом хор купала; здесь чрезвычайно хорошая живопись Иакова Торонгия, из первых Аглинских живописцов, какие были прежде, а позолота кругом олтаря соединена с лапис Лазули. В пределе, где читаются утренния молитвы, находятся золотые сосуды, а пол во всей церькве мраморной.

Перед церковью на восток поставлена статуя Королевы Анны на пьедестале с четырьмя народами: Великобританию, Францию, Ирландию и Америку.

Как фигуры, так и статуя сделаны все нарочито хорошо из мрамора.

Сказывали нам, что все сие здание в сорок лет окончил славной Архитектор Христофл *Врен*, и вся работа произведена при одном каменного дела мастере *Стронге*. Она имеет 500 футов длины, и с портиком по другую сторону 249 ширины, а в окружности 2292 фута. На верьху поставлен крест вышины в десять футов.

20-го. Званы были к Г. Аткинсу обедать, и подчиваны были всеми Аглинскими кушаньями.

21-го. А сего дня к Милорду Фитсу, где было довольное число знатнаго дворянства.

22-го. Обедали у Петерсона, а после ездили в театр, и видели в действии славного Гарика. Тогда представлена была Шакеспирова трагедия.

23-го. Просидели дома за дождем, были у нас во весь день Русские при посольстве находящиеся.

24-го. Ходили смотреть церковь Игуменства Вест-Минстерского называемого, оно славно своими древностями, архитектурою, коронованием и похоронами Королей Великобританских, также гробницами Великих мужей, кои здесь находятся: именном Невтонова, и Милтонова известных в Европе людей, первой в математике, а другой в стихотворстве преимущественно прославились, а последний особливо книгою «Потерянной Рай»; они оба могут назваться украшением Англии; также живописца Шевалие Кнеллера, Архитектора Врена, построившего Соборную церковь, Милорда Стангопа, бывшего посланником в Испании, который в 1708 году взял Порт Магон на Средиземном море, великолепная гробница его украшена большою пирамидою из Египетского полированного мрамору чрезвычайною резною работою, пристойно его званию, заслугам и достоинству. Другая сделанная иждивением публики морскому Капитану *Корнвалю*, прославившемуся храбростию противу французов на море в 1743 году; где он и жизнь свою скончал. Гробница посвященная беспримерному стихотворцу *Шакеспиру*, сооруженная на счет публики, хорошего вымышления.

25-го. Ходили в крепость, или по Аглински называемую башню.

При входе виден написанной над воротами лев, где их и живых показывают, также барсов, леопардов, рысей, орлов, обезьян и других зверей и птиц. Здесь в первом и одном еще месте нашли мы, что барсы плодятся в Европе.

Здесь также находится монетной двор, где делают золотыя, серебряные и медныя деньги и всякия медали.

В палате, хранящей царския регалии, имеется великое число государских корон, в коих они короновались, скипетров, держав, браселетов с драгоценными камнями; также золотые кресты, один из

них всегда носится перед Королем во время коронации; меч милости между двух мечей правосудия, и золотые шпоры. Орел, где содержится масло для миропомазания Государей, также и ложка. Штатская корона, которую Король надевает, присутствуя в Парламенте. На ней один изумруд в семь дюймов в окружности, лучшей жемчуг и красной яхонт не оцененной, подаренный блаженными и вечнодостоинными памяти Государем Императором Петром Первым. Солонка, сделанная фигурой башни, она ставится на стол государственной в день их коронации; превеликая серебряная купель с вызолоченными двумя вазами и фонтанами; и множество других вещей, достойных примечания.

В оружейной палате Государя представлены на лошадях; одетые в самые богатые латы, чем делают хорошей вид.

Арсенал, один из первых любопытных вещей в крепости, да и лучшей из всей Европы, которому подобного мы нигде не видали. В нем все достойно удивления; разные копья, карабины, ружья с штыками, алебарды, шпаги, пистолеты, и всего прочего такое количество, что достаточно вооружить до 100000 человек. Здесь сделаны разные фигуры из оружия, Солнце, Орден подвязки, Юпитер, гидра, органы, полумесяцы наподобие пушечных батарей; все повешено по порядку, прибрано, вычищено и сохраняется надлежащим образом.

Сверх того здесь показывали нам все оружия взятые флотом у Филиппа второго Короля Испанского, в царствование Елисаветы; и притом тот топор, коим отрублена голова Анне Болонской, матери Елисаветиной.

В низу под арсеналом хранится тяжелая артиллерия, множество пушек и мортир нового изобретения, из коих поотменнее одна пушка чрезвычайной работы, называемая карманным Елисаветиным пистолетом, мортира, бросающая девять бомб одним выстрелом. Также достойны примечания шесть больших мортиры, бросающие на две мили двух сот фунтовых бомбы; пушка, сделанная для Принца Генриха, которой одна работа стоит 200 фунтов стерлингов. Машина, составленная из маленьких мортир, бросающая одним выстрелом тридцать каркасов. Колокол, в коем может опущен быть человек на дно моря, для привязания какой-либо вещи с намерением оную вытащить. Здесь имеются также в готовности станки, лафеты и другие военные орудия в порядке и готовности на употребление.

В сей же крепости находится и адмиралтейство с пространным магазином для съестных припасов на Королевские корабли.

26-го. Ездили смотреть сухопутную гофшпиталь, называемую *Шелсея*, великолепное здание на самом лучшем положении места при реке. Между оною и домом находится увеселительной сад для прогуливания с прудами и каналами. Здесь содержатся Офицеры и солдаты престарелые и увечные, неспособные более продолжать их службу отечеству; на одной стороне с прихода в среднем и главном

жилье находится превеликая зала, где все они обедают, а по другую сторону церковь. Флигели в четыре этажа, в них две залы, и 26 горниц жилых, весьма чисто содержанных. Двор весь вымощен камнем, посредине его поставлена медная статуя Короля Карла второго на белом мраморном пиедестале.

Солдаты сего инвалидного дому носят мундир красной с синим подбоем. Им вся одежда, белье, пища и дрова идет казенное; также и на мелкия издержки даются сверх того особливья деньги.

Отсюда заезжали в Ботанической сад, где видели превеликие кедры, и другия в оранжерее произрастения.

В вечеру были в Ренела, строение чрезвычайно хорошее, сделанное на подобие круглой залы, в стенах ниши, в коих можно сидеть, разговаривать, пить чай, кофе, мороженое и другие напитки; да и находятся всякия холодныя кушанья у содержателей. Притом можно пользоваться музыкаю вокальною и инструментальною. Она освещена множеством маленьких хрустальных лампад, обвешенных по стенам гирландами. Здесь збирается лучшее дворянство и купечество; ибо цена для простого народа довольно велика; за вход платится пополу гиней с человека.

27-го. Писали в Париж письма к Александре Евтиховне, и ездили в лавки покупать ей в гостинцы на платье разных материй.

28-го. Смотрели морскую гофшпиталь. Строение огромное, кое может почестья в числе первых и лучших города Лондона зданий, состоящее в двух флигелях, идущих к реке; посреди оных находится церковь и зала, в коей плафон хорошей живописи, изображающий Короля Вильгельма третьего, Королеву Марию, Его Супругу, Королеву Анну, Георгия первого с Королевою в царском одеянии, с знаками, пристойными Королям Великобританским и с корабельными орудиями, что все чрезвычайно хорошо написано и собрано. Над дверьми вместо наддверных картин, в картуше большими золотыми литерами написаны имена тех добродетельных людей, кои дали вкладу в сей инвалидной морской дом, или гофшпиталь, в коем содержится матросов от двенатцати до пятнатцати тысячь человек.

Сего здания нижнее жильё украшено Дорическим орденом, а верхнее Коринфическим; фасада же к реке резною редкою работою. Позади его находится превеликой зверинец с аллеями и Королевским домом, на верху которого обсерватория; в оной живет астроном Королевской и содержит самонаилучшие телескопы.

Отсюда ездили до места, называемого *Шута Рзгиль*. Оно стоит на превысокой горе на берегу реки, откуда весь город и кругом миль на пятнатцать видно; где мы в большом доме и обедали.

29-го. В вечеру были в ваксале, которой аллеями и выгодным местоположением делает наипрекрасной сад. Он начинается в семь часов, а кончится в одиннатцать; во все сие время поют певичы и певцы, и дают концерт; и как скоро станет смеркаться, то иллюминируется весь фонарями, развешенными на деревьях и в аллеях гирландами. Посредством превеликого от оных освещения, можно в

нем прогуливаться с удовольствием и приятностию в хорошую погоду, лучше несравненно вечером, нежели днем, затем, что тогда беспокоит сильной жар; естли же пойдет дождь, то от сего сделаны для защищения крытыя аллеи. В десять часов на полчаса перерывается музыка, и все собрание обращается смотреть удивительным искусством из жести сделанной каскад, тогда представляется гора с выпуклыми камнями, обросшими от времени травой и деревьями, между коих падает с великим стремлением и шумом вода, которая в некоторых местах разделилась на малые биющиеся ручьи; в других видны замерзлыя от холоду сосульки. Все сие столь живо уподоблено, и такая обманчивая мечта, что почти с натурою распознать не лзя; что за редкость почесть можно. После сего восхищающаго зрелища продолжается с полчаса музыка, потом ужинают или разъезжаются.

30-го. Писали письма, и были у обедни.

31-го. Обедали у нашего Священника господина Самбургского, а после ездили прогуливаться в Королевской сад, *Кензинстон* называемой, с Королевским домом весьма хорошо построенным.

Сие место очень красиво прудами и рошицами. Здесь находятся Китайская пагода, или капище на подобие наших высоких колоколен, но только с тою разницею, что на каждом оной ярусе с наружи в округ обвешена колокольчиками, от которых во время ветров бывает звон; разные храмики, развалины, острова с стадами, пасущимися по зеленеющим пригоркам и лугам; что все представляет наивеселительное зрелище. Сады его на четыре мили простираются, и всегда летом по вечерам находится в них великое множество народа. Знатные и лучшие люди съезжаются сюда в шесть часов; во Дворце нашли мы нарочито знатныя картины и пребогатыя обои. Здесь встретились мы с Послами: Датским, Цесарским и Нунциусом Папским Фагнером, бывшим в нашей армии Волонтером; также и с Италианскою Маркизою *Лепри*; и с ними во все время проходили с удовольствием.

Июнь

1-го. Прогуливались в Гейд-Парке. Он гораздо более прочих парков, и присоединен к Кинзингтону; увеселения сего парка привлекают множество господ обоего пола, прогуливаться верхом, и в каретах, и пользоваться здоровым воздухом. И действительно странное сие место разными пригорками, зеленеющими лугами, прохладными рощами, аллеями, обширными прудами, извивающеюся речкою составляет наивыгодное и приятнейшее гульбище, тем наипаче, что находится внутри города.

4-го. По утру в одиннатцать часов, смотрели разныя весьма искусно и удивительно сделанныя механическия штуки: медныя вызолоченныя часы с курантами, с хрустальными каскадами, украшенные разноцветными дорогами камнями и жемчугом; между множеством хитро в действии приведенных сих штук, есть автоматы играющие на флейтраверсах; также птички на деревьях поющия. На

других цветы и кустарники подделанные, не лъзя живее из камней, как натуральные распушаются. Над ними сидящая бабочки представляются в движении, и кажется будто взлетают. На иных гнезды с маленькими птичками, питаемыми матерьями, и корм, состоящей в одной жемчужине, так скоро оборачивается, будто онаго великое количество. На многих извиваются змеи подведенное под естественное тело так, что почти узнать не можно. Все сии драгоценныя вещи поставлены в превеликой зале, хорошо убранной; а на передней стене вделаны Короля и Королевины портреты, кои чрезвычайно искусно разными огнями, как бы в переменных сияниях, освещены бывают.

Все сии замысловатой механики произведения, оконченныя чистою отделкою с долговременным трудом и великим иждивением заслуживают любопытное внимание зрителей.

За вход в сию залу платят по половине гинеи.

5-го. Смотрели Кунсткамеру, или так называемую *Museum*--собрание вещей, надлежащих до истории натуральной, кои хранятся в преогромном доме. Все множество оного горниц наполнены великим числом разновидных чучел, змей, птиц; в банках спиртом налитых хранятся разные насекомые; также раковинами, бабочками, червями, рудами, камнями, окаменелостями, кораллями, мадрапорами, корнамонами, в хрусталь превращенными, и другими редкими вещьми, коим описание заключается в пятидесяти книгах. Здесь также показывают вновь найденной секрет, помощью которого весьма искусно подкрашивают глину для делания из нее вазов на Италийанской манер. Оной потерян был в Риме, а найден находящимся в Неаполе Министром Гамильтоном великим Антикварием, или знатоком в древности.

Отсюда заезжали в дом, где ездят стоя на лошадях разными образами, то есть: скача на них перепрыгивают, ложатся, становятся вниз на седло головою, заставляя других лошадей отгадывать карты, другие подают бичь, некоторые поднимают шляпу, и носят как лягавыя собаки. Иная сердится на портнего, и не хочет весть его в Парламент, и проч.

Здесь также разные делают штуки и балансеры. За все смотрение платится только по два шилинга с человека.

Напротив заходили смотреть великана не весьма великого, но складного и пригожего.

6-го. Ездили смотреть загородной дом Милорда *Тилнея*, отстоящий на восемь миль от города. Он построен на чрезвычайно хорошем месте; окружен прудами и рощами; убран довольно хорошо; может быть он бы гораздо богаче еще сего был мебелирован, естли бы сам хозяин его в нем жил, или бы по крайней мере в Англии находился, но он не может в отечестве показаться, по причине особливого преступления: и за тем принужден был немедленно скрыться.

10-го. Поутру в 11 часов, ходили в церковь слушать обедню, после гуляли в парке *Сеин Джимжис*, или парк Святаго Иакова. Он в окружности имеет две мили, и в приятных взору аллеях прогулива-

ние простирается на тысячу шагов в длину. Там виден канал наполняющейся из под земли водою приливом и отливом реки Темзы. Местоположение сего парка наиприятнейшее тем наипаче, что он стоит подле Дворца и всегда найдить в нем можно собрание знатных людей, особливо в летней вечер, где сходятся воспользоваться воздухом и разговорами. Здесь во всех публичных гульбищах кланяются только один раз, то есть, поклоняся единожды, после хотя много раз проходить будешь или говорить с первою Миледи, но не снимая шляпы.

Оттуда проехали обедать к Милорду *Керию*, а навечер ездили посидеть к одному Англинскому дворянину Парадису называемому, бывшему долгое время в Америке консулом. Он по возвращении отсюда по многом испытании и разборчивости законов, принял наш греческой со всею своею фамилиею, сыном, снохою и внуками.

11-го. Обедали в Ричмонде у господина Мусина Пушкина, и с ним простились вознамерясь возвратиться в Париж.

12-го. Обедали у Милорда Фипса, а после обеда ездили гулять в сад Кенгтон называемой.

13-го. Званы были ужинать к господину Аткинсу, и проводили время с его фамилиею со удовольствием.

14-го. Поутру в 12 часов ездили во Дворец, видели Короля, королеву, Принцов, и Принцесс их детей и весь двор. После обеда ходили смотреть картин, содержащих сожжение и истребление нашим флотом Турецкого, что произошло при Чесме. Они писаны с довольным искусством; особливоже удачливо представлено в них действие огня.

15-го. Поутру ездили по лавкам, а к вечеру собиралися, и приуговлялися в наш возвратной путь.

16-го. В десять часов пришли в церковь, отслушали обедню, обедали со многими при посольстве находящимися Русскими господами у священника Самборгского, человека весьма достойного и любезного, и не хотя с ним растаться просили его еще прежде проводить нас до Парижа; и простившись со всеми знакомыми отправились с ним из Лондона в 12 часов. И чрез восемь часов приехали в Кантербури; где отужинали и ночевали.

17-го. В семь часов выехали, а в девять часов приехали в Дувр: где пообедали и запаслись провизиею, которой приказали взять и на яхту, которую нанявши отвалили, и плывши не с большим ветром пристали к Калевской пристани в 8 часов по полудни. Где в таможе осмотрели все наши сундуки. Здесь ночевали мы в хорошем оверже у содержателя, называемого Десейна.

1786 г.

Россиянин в Англии¹

Отрывки из писем одного путешественника

Лондон 31 октября 1789 года.

Я уже в Лондоне. — Первое пребывание мое здесь прошлого года было так непродолжительно, как будто бы я совсем не был в Англии. Теперь же я надеюсь долго пожить между любимым мною народом, и не ограничу любопытства своего одним Лондоном; но побываю и в других городах. Щастие человека положил я предметом исследований моих во все течение жизни, и потому хочу видеть на самом деле Аглинские нравы и обычаи, которые так много превозносят, и тебе, как другу, буду сообщать свои замечания, применяя их к пользе наших соотечественников, без того они не могли б иметь ничего привлекательного, ибо Англия сама по себе столь многими описана. Ты часто будешь читать совсем посторонния рассуждения. Как, на пример, пока я никуда не выходил, пока еще ничто Аглинское меня не поразило, берусь за перо, и начертываю тебе мысли, в дороге меня сопровождавшие.

Лондон, 16 декабря 1789.

Аглинское Воскресенье

Два раза был я в здешней церкви, как для любопытства, так и для приучения уха к здешнему выговору. — В Воскресенье собираются в одиннадцать часов утра к обедне, которая оканчивается в час. — В три часа вечерня, и обе заключаются проповедью. — Священники здешние читают их по тетрадам натуральным голосом, и отнюдь не на распев, но порядочно, без крику, без жестов и без всяких коверканий, разве только иногда тихо указывают рукою. — Слушатели никакого шума не делают, и не разговаривают совсем; а в случае необходимости молвят шепотом слово. — Могу сказать беспристрастно, что здесь в церквах наблюдается благочиние отменное. — Воскресенье препровождают совершенно по-христиански. Не играют ни в карты, ни танцуют, ни поют песен, и не работают. В этот день не бывает театральных увеселений и никаких зрелищ, и все лавки заперты.

¹ Мы получили сии отрывки от самого автора. В них заключается много любопытного и полезного. Почему признательнейше благодаря его за доставление, умалчиваем о его имени по собственной его воле и скромности. Под сим же заглавием и впредь пиэсы его сообщать будем.

Полезное учреждение

Ея Величество, Королева Аглинская, учредила в Виндзоре школу для слуг и служанок, которые на Ея счет содержатся, и обучаются закону, читать, писать, и всему, что пристойно их состоянию. Когда девушки придут в совершенный возраст, то она отдает их Придворным Дамам.

Стол у Агличан

Обыкновенное здешнее кушанье очень сытно. Агличане не любят Французских соусов, и имеют некоторой род наших пирогов. — Супу нет. — Любимое их блюдо жареная говядина, или вареная, которую они держат дня три в соли.

Итальянцы в Англии

Прогуливаясь на сих днях с приятелем в предместьях Лондона, я встретился с человеком, который играл в органы, привешенные на спине. Вспомня, что в России эти бедные органисты обыкновенно бывают Итальянцы, я спросил его, не Итальянец ли он, и получил в ответ, что он точно итальянец.

Я встретил после того еще двух органистов, которые на мой вопрос также сказали мне, что они итальянцы. Это заставило меня подумать: вот люди, которые достают себе хлеб самыми легкомысленными и бесполезными средствами.

С некоторого времени Итальянцы кроме музыки ничем более не известны в Европе. Для получения в ней совершенства не стыдятся, или лучше сказать не ужасаются уродовать человечество. — После сего уже простительно видеть их шатающихся по всей Европе с органами для забавы простого народа.

Кстати, о народной музыке скажу тебе, что здесь не услышишь, так как у нас, весельчаков, которые забавляются на улице пением, а поют здесь песни, и играют на скрипках множество бедных обоего пола, для испрошения себе милостыни. Они носят с собою печатные листочки своих песен, и раздают тем, кто сделает им подаяние. Эти песни иногда содержат повествование какого-нибудь новейшего преступления, или казни. С одной стороны весьма прискорбно видеть увечных стариков в лохмотьях; с другой досадно и смешно смотреть на людей совершенно здоровых и сильных, которые пробаваются таким ремеслом.

Ученые и надгробные памятники

Лондон, 20 января 1790.

Я продолжаю осматривать здешние достопамятности, и почти не проходит ни одного дня, чтоб не видал чего-нибудь достойного любопытства. Между прочим был я два раза в здешней соборной цер-

кви, Вестминстер-Абе называемой. Это огромное здание старинной архитектуры. Здесь хоронятся здешние Короли и знаменитые люди. Тут множество гробниц, достойных внимания по старине и по изящности своей. Приятнее ж всего видеть в одной церкви с Королями великолепные надгробные памятники ученых людей, не порою, богатством и чинами славных, но личными достоинствами, которые без сомнения суть лучшее и истинное украшение природы человеческой, хотя и не везде так думают.

Ученые люди, предпочитающие упражнение в науках всем средствам, которыми снискивается щастие, в иных землях провождают свой век в бедности и унижении, и тем натурально отвращают других следовать по их стезям. Но естли где они могут проводить свою жизнь в спокойном достатке, и надеются, хотя после смерти, достойных почестей от своих соотечественников, там состояние ученых, конечно, не будет презрено и избегаемо, как одно из последних и несчастнейших.

Здесь теперь между учеными наиболее славится Гибонс, сочинитель Римской Истории. Публика его так обогатила, что он живет, как знатный господин, и оттого не перестает писать. Кто ж не захочет здесь быть ученым?

Сей предмет, конечно, достоин внимания. Великие люди в учености делают честь всему народу. Целыя государства со временем исчезают как тень, но имя просветителей человечества остается навсегда бессмертным.

Уважение Агличан к соотечественникам своим, отличившимся дарованиями, превосходит всякое вероятие. Они больше всех почитают Невтона и Шакспира, которой изображен во весь рост, опершись одною рукою на урну, а другую указывал на стихи, начертанные там из его сочинений. Невтон представлен размышляющим.

После сих монументов достопамятнейшее видел я восковые статуи королевы Елисаветы и других Государей и Государынь, и Лорда Чатама. Сия последняя так искусно сделана, что не в дальнем расстоянии можно ошибиться и подумать, будто бы он жив. — Лорд Чатам в отменном почтении у Агличан. Он был славный министр, патриот и оратор, и недавно умер. Нынешний первой Министр Пит, его меньшей сын, которому от роду 32 года.

Монумент молодого Генерала Вольфа, убитого в последнюю войну, в Америке, отменно хорошо выработан из белого мрамора. Правительству стоит он больше ста тысяч рублей на наши деньги.

Между монументами богатых людей приметил я два. Один молодой девицы, которая, уколотивши себе палец, изошла кровью, и оттого умерла. Она изображена во весь рост. Другой представляет жену в руках своего мужа. Он старается отвратить стрелу, которую пускает в нее смерть, выходящая из пещеры, которая представлена под их ногами. Работа отменно хороша.

Суд над Гастингсом

На сих же днях был я в Вестминстергале, где судят Губернатора Ост-Индского Гастингса. Туда пускают по билетам, которые можно получать через знакомых, участвующих в сем суде. Как увидел я там множество Дам, то мне тотчас пришло на мысль сравнение Агличанок с россиянками. Теперь утро, — рассуждал я сам с собою. Наши Дамы большею частию сидят за туалетом, или разъезжают по Французским лавкам; а Агличанки присутствуют в суде, и слушают прекрасные речи Фоксовы, оттого, что имеют сведение о делах, и вкус к наукам и знаниям. Множество Дам и Лордов в парадном их уборе, и порядочное расположение мест в сей зале представляет прекраснейший вид; но не одни только глаза там увеселяются, разум не менее занят. Фокс, Шеридан и Бурке, обвинители сего Губернатора, говорят такие речи, что не лзя их слушать без удовольствия. Нередко приводят они в смех все собрание. Случалось также, что Фокс и плакать заставлял, описывая Жестокие поступки Гастингсовы в Индии. Король и Королева держат его сторону. Однако суд над ним производится своим порядком. Он продолжается около четырех уже лет, оттого что Парламент не всегда имеет заседания, и при том, по причине других предметов, не всегда занимается сим делом.

Уголовный суд в Англии

Лондон, 1 февраля.

Вчера я целый день пробыл в суде, и в первый раз видел, как судят здесь уголовныя дела. Одеяние судей при сих случаях великолепно. Они в долгом платье красного цвету с широкими отворотами белого атласу — на плечах и на рукавах. У всех дверей часовые с ружьями. Обвиненные стояли у решетки или перегородки, которая отделяет то место, где сидят судьи и другие законники. Один из сих прочел жалобу против обвиненных. Президент спросил их: *виновны ли они, или нет?* Когда они отвечали *нет*; то один законник начал речь, в которой, сколько можно, сие доказывал. По окончании речи судьи и Президент по порядку объявили свое мнение о деле, подлежит ли оно суду, или нет. Когда решено большинством голосов, что подлежит суду, то Президент призывал поименно присяжных, которые тут уже были. Собралось их пятнадцать, и Президент спросил преступников, не имеют ли против них какого подозрения, и не хотят ли их переменить. Преступники были ими довольны. Присяжные остались, и присягнули в том, что будут разбирать дело по истине, как должны отвечать на страшном суде пред Всевышним Судиею. Они сели по местам около судей. Каждому дана бумага и перо, чтоб для памяти делать замечания. Тут начались допросы обиженного и его свидетелей; они все присягнули здесь же в суде, что будут говорить сущую правду, что не подкуплены и никем не научены. То

же сделали не только судьи, но и стряпчие обвиняемых. Президент записывал с отменною скоростью все ответы. В числе свидетелей были две девушки. Множество народа и вид судей приводили их в робость. Судьи велели им говорить сидя на стуле, что очень похвально. Хотя они из бедных, но тем не менее оказано уважение к их полу. Допросы были ясны и производились не только без суровости, но даже с ласкою. Пять часов было пополудни, как кончились допросы свидетелей в пользу обиженного. Судьи еще не обедали, им приносили немного хлеба с маслом, и с тонкими ломтиками холодного жаркого, да несколько вина. Законы не позволяют им выйти из суда, не кончив уголовного дела. — После сего начались допросы свидетелей в пользу обвиненных. Они продолжались до десяти часов. По окончании Президент сказал присяжным свое мнение о деле; потом Королевский Адвокат говорил им большую речь, изъясняя все дело, и доказывая, что преступники подлинно виновны. Их стряпчий также говорил в их пользу, сколько мог. Тут кончилось заседание, судьи разошлись, преступники отведены были в тюрьму, зрители пошли обедать и ужинать в одно время. Присяжные остались одни, и большинством голосов признали преступников виновными. Поутру они объявили свое мнение судьям, и сии решили между собою, какого наказания они достойны. Призвав преступников, объявили им решение присяжных и наказание, которому они подлежат по законам.

Климат и театр Аглинской

Лондон, 3 апреля 1790.

Англия, будучи окружена морем, подвержена частым и внезапным переменам погоды. В один день бывает зима, лето и осень. Сим-то переменам приписывают чахотные болезни, от которых множество людей умирает. Зима здесь состоит в дождях и сильных туманах, снегу почти никогда не видно, морозы очень редки. Холодные и пронзительные ветры с сыростию, ужасная темнота долгих ночей, короткие дни, которые начинаются и оканчиваются с туманом, делают сие время года весьма неприятным. Кажется, что все плачет. Солнце показывается на минуту, чтоб тем печальнее после сделать вид мрачного неба, которое иногда вдруг покрывается густыми облаками, затмевающими дневной свет. Все сие соединяется в Ноябре месяце, и не можно ничего вообразить печальнее сего времени. Агличане в шутку называют оный висельным месяцем, в который самоубийство часто случается. Те из них, которые бывали в России, любят лучше нашу суровую, но постоянную зиму с ясным небом. Поля зелены во весь год, в Генваре случаются теплые и ясные дни, туманы уменьшаются; но пасмурная погода и дождь часто бывает даже весною и летом; в Апреле деревья зеленеют и цветут, и сей месяц нередко бывает прекраснейший из всего года; летом

жары не сильнее наших; ночи обыкновенно холодны и сыры. Англичане весьма дивятся, что у нас люди летом спят на дворе. Абрикосы, персики, фиги и виноград растут и поспевают в садах на открытом воздухе, около каменных стен. В Октябре начинает быть холодно, и листья опадают с деревьев. Сентябрь почитается обыкновенно лучшим месяцем.

Англичане отменно склонны к задумчивости. Песни их и театральные зрелища служат тому доказательством. Кажется, что самый климат их печален. Мы, живучи в суровом климате, имеем в своем сложении твердость и крепость, и Англичане по свойству своего печальны и мрачны. В театральных зрелищах их смерть, убийства и погребения очень обыкновенны. — Они мне нравятся своею вольностью. — Мы бы лучше сделали, естлиб заняли у них, а не у Французов. — Надо сказать, мы, то есть люди большого света, сходнее с Французами — но я уверен, что народ наш более бы нашел удовольствия в Аглинском вкусе, потому что он натуральнее. Надобно представить публике нашей Мерсиерова и здешнего Барневельта. — Содержание одно, лица одни, и все то же, да не так. На пример: Барневельт представлен в тюрьме, к нему приходит друг и девица, дочь его благодетеля. Для нежного Французского вкуса показалось грубо представить тюрьму и невинную девицу, которая пришла к осужденному на смерть изъяснять любовь свою; но Англичане и сим не удовольствовались. Драмма оканчивается представлением места казни. — Множество зрителей теснятся, и наконец выходит палач с преступником, который увещевает виновницу своего несчастья умереть с покаянием. — Каково зрелище? Скажешь слишком терзательно; однако ж для нашего народа может понравиться лучше Французских представлений. — Я видел трагедию Ромео и Юлия, и вспомнил тебя; содержание одно с Французским, — но разность отменно велика — поразительнее, природнее и вольнее — погребение таково, каковы на самом деле погребения бывают — темнота, звон колокола, монахи, весь церковный причет, духовник Юлии подле гроба, Архиерей в Католицком своем облачении с посохом и с кадилом; но что прекрасно! хор поющих девиц в белых платьях со свечами — мужчины в черных кафтанах, играющие на флейтах жалостную песнь смерти. Не спрашивай меня, плакал ли я? — Я два раза видел эту трагедию — и еще раз хочу ее видеть. В этом Англичане неподражаемы, и может быть они далеко уже зашли. Но между тем придерживаясь природы при представлениях, они тщательно наблюдают исправность во всех отношениях: когда представляется прекрасная ночь, то увидишь полную луну и звезды; это бесподобно хорошо. Актеры хороши — но я не самых лучших видел. — Аглинским актером быть не так-то легко. Здесь очень в обыкновении браться на землю и драть волосы; даже и актрисы нередко падают на пол. Как те, как и другие умеют хорошо глазами и всем лицом изображать страсти. Отменная исправность в перемене декораций — достойно подражания освещение театра — здесь жгут деревянное

масло в продолговатых круглых жестянках с светильнями. Притом суфлера не только не слышно, но даже и не видно места, где он — он бывает за кулисами — это лучше — не как в иных театрах у нас нет даже доски, которая бы закрыла его голову — и он кричит во все горло.

История

Лондон, 20 сентября 1790.

Живучи между Агличанами, я всего более думаю об Руских. Мы не имеем, любезной брат, настоящей Истории нашего отечества. Ничто столько не может питать любви к отечеству, как История; ибо она распространяет понятия о целом государстве и народе. История россиян, изображенная так, как должно, может произвести любовь и почтение к нашему отечеству не только в нас самих, но и в других народах. Не входя в древность, которая во всех странах покрыта тьмою неведения, мы видим в своей земле Новгород, который процветал тогда, как почти вся Европа была еще погружена в варварство. Торговля, богатство и сила его не могут никем быть оспориваемы. Мы сохраняем еще пословицу: *Кто против Бога и Новгорода?* Сии слова столько же изображают его силу, как и ту народную гордость, которая возвышает дух и делает его подлинно великим. Самое название Славян показывает, что наши предки были не униженного духа, и что они любили славу, и были славны.

Разделение Княжеств между детьми Великого Князя Владимира привело Россию в слабость, и наконец подвергло ее Татарскому игу. — Сие время нашей Истории есть унижительнейшее, но почти все народы страдали под игом иноплеменников.

Из всех чувствований, из всех пристрастий, любовь отечества есть благороднейшее. Любовь к самому себе, непременно врожденная каждому человеку, есть первоначальный источник любви к отечеству; но когда мы видим людей, предпочитающих благополучие и жизнь свою пользе отечества, когда мы видим их для него идущих на смерть с весельем, то не лъзя не подумать, что она имеет в себе нечто божественное и превышающее слабости человеческой природы. С другой стороны, многие другие люди и целые народы, не заботящиеся нимало о своем отечестве и презирающие его пользу, могут привести нам на мысль, что любовь отечества есть пристрастие совсем чуждое человеческой природе, и не имеющее никакого сношения с любовью к самому себе. Со всем тем предпочтение пользы отечества собственным выгодам, и совершенное равнодушие и даже презрение к оным весьма натуральны и происходят от любви к самому себе. Сильная любовь отечества есть самолюбие, возвышенное добродетелию; равнодушие к отечеству есть низкая любовь самого себя без всякой заботы о других. Люди великодушного расположения с нежными чувствованиями чести и с просвещенным разумом всегда от-

личаются любовью отечества. Люди низких страстей, преданные корыстолюбию, или забавам развращенного вкуса, или погруженные в невежество, не знают любви отечества. Они не хотят сделать для нея тех жертвований, коих она часто требует, и к удовольствию которых единая подлость духа может сделать человека нечувствительным.

Любовь отечества подобна некоему произрастанию, которое в иных странах растет с большим успехом, нежели в других, которого в иных странах совершенно нет, и которое везде может укорениться, когда к тому приложено будет пристойное старание. Получив чрез учение и природную склонность некоторую способность писать, я за первый долг почитаю употребить ее на то, чтобы сохранить в цветущем состоянии сие прекрасное произрастание между моими соотечественниками. Я беру на себя должность садовника для удовольствия видеть Россиян вкушающих плоды любви отечества. Главное и одно средство для побуждения и сохранения любви к отечеству состоит в *почтении народа к самому себе*.

Недостаток почтения народа к самому себе унижает его дух. Мы слишком привязаны к иностранным, которые вместо благодарности за то нас презирают. Сколь ни горько сие их расположение, однако ж им извинительно, ибо мы сами тому причиною. Кто велит нам быть их обезьянами? Естьлиб какой народ вздумал совсем подражать нам, мы бы и сами стали его презирать. Подражание есть явное признание собственных недостатков, знак ненадежности на себя, следствие легкомыслия и малодушия. Англичане наиболее одолжены тем уважением, коим они неоспоримо пользуются во всей Европе, чувствительности их к достоинству своего народа и почтению их к самим себе. Они не любят подражать, и для того другие им подражают.

Почтение народа к самому себе происходит от знания своих достоинств. Россияне имеют в себе множество таких, которыхя должны сделать их почтенными; но на некоторыя из них не обращено только довольного внимания от нас самих, и они не совсем известны иностранцам. Всякий Европеец в рассуждении Россиянина подобен тому человеку, который, заспорив со львом о преимуществе людей над подобными ему зверьми, показал ему в лавке резчика статуя Геркулеса, раздирающего челюсти льва. Иностранцам, которые во многом перед нами превозносятся, мы можем дать ответ, подобный тому, который дал сей лев: *естьлиб мы имели Писателей, то бы показали Европейцам, что мы их не хуже*. Между тем они пишут об нас что хотят, и представляют нас такими, как им вздумается. Мы сами учимся узнавать Россию чрез иностранцев, и оттого происходят те нелепья предрассуждения о России между иностранцами и самими нашими соотечественниками; оттого неуважение первых и холодность сих последних. Чрез целья истории, и довольствуемся тем, что написал Левек.

Во всей Европе одни Англичане превосходят нас в щедрости; но их щедрость не ограничивается, так как наша, одними забавами; она

наиболее простирается на то, что служит к общественной пользе. Мы не жалеем ничего для Италианских певцов и танцовщиков; *но ни малого ободрения не имеют от публики те, кои полезнейшими достоинствами могут сделать честь России.* Подобно как солнце спешествует созреванию земных плодов, так уважение и одобрение Наук распространяет оные и приводит в совершенство. Естьлиб Россияне с обыкновенною своею щедростию захотели ободрять Науки, то может быть они б увидели такие их произведения, которые послужили образцом для всех прочих народов, в рассуждении рвения и скорости, которая свойственны Россиянам. Мужество и храбрость Князя Димитрия Ивановича Донского в одно сражение много спешествовали к избавлению нас от поносного ига Татар. Сей Государь должен почитаться в числе славнейших в свете; и естьлиб мы имели таких Писателей, как древние Греки, то бы прочие народы не менее удивлялись победе сего Государя над Мамаем, как и славному Маратонскому сражению Греков противу Персиян.

Честолюбие Годунова повергло Россию в новые бедствия, которые открыли случай к новым подвигам великодушия. Шведы и Поляки разоряли наше отечество. Москва в осаде претерпевала ужаснейшую нужду. Но любовь отечества двух мужей, достойных бессмертия, спасла Россию от гибели. Богатый Нижнего Новгорода мещанин Минин и Князь Пожарский были те два Россиянина, заслуживающие вечную от нас благодарность: один пожертвованием своего имения, другой своею храбростию спасли Москву и всю Россию. Мы удивляемся геройству и любви отечества Римлян, но россиянки в то время не менее отличились оными: оне отдавали все богатые свои уборы, для вспоможения вооружению войска, собранного двумя героями.

Сии и многия подобныя происшествия, описанные как должно, могут сделать нашу Историю приятною и полезною; но по сие время она не имеет и половины своего достоинства, будучи описана или изуверами, или иностранцами, которые упражнялися в оной так, как бы в каком-нибудь ремесле по должности, или для платы. Не чувствуя сами привязанности к России, не могли они представить ее происшествия с тою живостию, с тем участием, с тем жаром, которые могут возбуждать природного Россиянина.

Я бы желал, чтобы те почтенные соотечественники наши, которые имеют в себе искру любви отечества, собрали пристойную сумму денег и предложили бы соразмерные награждения тем, кои сочинят лучшим образом всю Российскую Историю, или некоторые части оной. Неужели не найдется довольно таких людей, кои бы не пожалели пожертвовать немногими своими забавами сему полезному и славному делу?..

Аглинской суд

Лондон, 4 октября 1790.

Обвиненный был пригожий мушчина, ловкий и приятный в своих поступках; вина его доказана была. Он имел двух детей от первой жены, и последняя, которую он любил, была беременна. Смерть долженствовала быть возмездием сего неверного мужа. По закону Аглинскому если мушчина, или девица не в совершенных летах женится без согласия их родителей или опекунов, то женидьба признается ничего незначащею и недействительною. Вторая его жена была несовершенного возраста, и вышла за него без согласия отца, итак он не мог быть обвинен в двоеженстве. Присяжные против воли должны были признать его невинным по закону. Суд сделал обвиненному увещание, которое долженствует оставить в нем хорошее впечатление, естли он хоть малую чувствительность имеет. Отец второй жены, почтенный престарелый человек, объявил суду, что он намерен взять свою обманутую дочь, которую он всегда любил, для утешения ее в нещастии своею нежностью и ласкою. Суд похвалил его намерение, и представив его дочери бедствия, какие она навлекла на себя недоверчивостию к своему родителю, увещевал ее почитать его своим лучшим другом. Молодая дочь, обливаясь слезами, и едва в состоянии будучи говорить, обещала словами, взорами и телодвижениями исполнить увещание суда.

Таковыя чувствительныя сцены происходят в Аглинских судах! Тебе досадно может быть, что обвиненный не наказан; но Агличане законов своих не толкуют, и поступают по ним слово в слово. Когда закон почитает его супружество недействительным, то он не может в то же время вменять ему оное в преступление.

Повиновение законам

Один молодой Лорд, разговорившись в театре с одною из тех Нимф, которых к нещастию везде много, по окончании комедии поехал с нею в наемной карете. Приехавши к ее дому, он не хотел итти к ней; но она непременно требовала, чтоб он пошел, и не долго спорив, схватила его за ворот и закричала: воры! — сказала караульным, что он, будучи в карате, украл у нее из кармана три гинеи. Лорд принужден был провести ночь в караульне, и наутро освобожден был с поручительством явиться в суде. Беспутная девка знала, что он Лорд, однако ж явилася в уголовный суд, и Лорд пришел туда с своими приятелями двумя другими Лордами и дюком Портландом, одним из знатнейших людей в Англии. Суд производим был по форме, и напоследок доказано было, что обвиняющая по злобе оклеветала сего молодого человека за то, что он не хотел к ней итти, и что она давно ведет беспорядочную жизнь; при том же она не имела свидетелей, кроме одной подобной ей подруги, которая утверждала, что

она имела в кармане три гинеи, когда пошла со двора. Лорд был оправдан, и при выходе из суда встречен был от народа с восклицанием, а девка с поруганием была освистана¹, и тем все кончилось. Ни знатность рода, ни сила друзей не могли избавить обвиненного от суда, ибо Англичане не почитают за унижение покоряться законам.

Следующее повествование доказывает, что Англичане с давних времен привыкли почитать власть законов.

Король Аглинской Генрик V при жизни отца своего вел беспорядочную и распутную жизнь. Один из его товарищей обвинен был пред главным судьей, называемым Гаскон, в некоторых беспорядках. Молодой Принц не постыдился явиться в суд с обвиненным, для ободрения и покровительства его. Увидя, что судья не утратил его присутствия, он начал его ругать; но Гаскон, зная важность своего характера и величество Государя и законов, поддерживаемое им, дал повеление взять Принца в тюрьму за его грубый поступок. Зрители с удивлением увидели, что Наследник престола спокойно покорился сему приговору, поправил свою вину признанием оной, и удержал свой гнев в самой крайности своего бешенства.

По вступлении его на престол главный судья трепетал от Королевского присутствия; но вместо выговоров он был похвален за его поступок. Генрик V увещевал его продолжать строгое и беспристрастное исполнение законов.

Неверность и развод

Самые модные большого света красавицы, которые блистают в собраниях знатнейших особ, являются иногда в уголовном суде зрительницами и действующими лицами, так как сие случилось с одною в прошедшем году. Муж ее капитан, она всегда знаменита была и красотою и щегольством своим. Один богатый молодой Офицер нашел ключ к ее сердцу и приставил рога ее мужу; но в Англии рога стоят дорого! Муж призвал молодого Офицера в суд, там же явилась и жена его, возбуждающая удовольствие в зрителях своею красотою и негодование своею неверностию. Суд, зная, что любовник ее был сын богатого человека, осудил его заплатить мужу 10 000 фунтов стерлингов, что составит на наши деньги 80 000 рублей. Портрет неверной жены продается во всех лавках; я видел оной, и могу сказать, что она прекрасна. Газетеры между тем каждый день выдумывали новая шутки на ее счет.

Нарушение брачного ложа почитается здесь ужасным преступлением. Законы наказывают оное в людях достаточных денежным штрафом, который всегда бывает крайне чувствителен и нередко ра-

¹ Я слышал, что сия девка после сего встречена была в театре со всеобщим презрением и негодованием, и принуждена была от свиста уйти домой. Сие тебе показывает, что порок здесь находит мщение не только в законах, но и в публичном осмеянии.

зорителен. Один из братьев нынешнего Короля обвинен будучи в сем преступлении, осужден был заплатить мужу более 300 000 рублей. Я почитаю сии законы весьма хорошими и действительными для удержания молодых людей от своевольства. Они равномерно обузданы и в рассуждении прельщения невинных девиц, и наказываются за то также денежным штрафом. Те, кои не в состоянии заплатить штрафа, как за нарушение брачного ложа, так и за прельщение девицы, наказываются темницею.

По Аглинским законам в случае нарушения супружеской верности позволяется развестися и жениться в другой раз. Сие предостерегает мужа и жену от неверности, и наконец, когда они сделают оную, то не принуждены бывают жить вместе, ежечасно проклиная друг друга, или разведясь вести поневоле холостую жизнь, и впадать опять в преступление. Развод без позволения жениться ни к чему не служит, ибо всякой волен оставить свою жену; но важность закона состоит в том, чтобы позволить опять жениться. Не за одну неверность позволяют здесь разводиться: худые поступки и ненависть также дают право требовать развода и вступить в другой брак. Муж убивает жену не одним ударом, или ядом, но и продолжительною своею злостию. Часто мужья бывают убийцами, вгоняя в гроб своих жен чрез наносимые им горести. Хотя законы здешние дают мужу власть над женою; но естли он поступает жестоко, то жена может на него жаловаться. Мне не однократно случалось видеть, что некоторые грубияны из простого народа были осуждены сидеть за то в темнице, и по освобождении дать за себя поруку в лучшем поведении. В случае развода, естли жена не хочет идти за другого, муж принужден бывает давать ей на содержание ежегодную сумму, соразмерную его достатку.

Прежняя жестокия поступки Ооссиян с женами сделались половицею во всей Европе. Я не один раз приведен был в замешательство вопросами о сем. Мужчины с смехом, а женщины с ужасом спрашивают: правда ли то, что у нас мужья бьют своих жен? Я конечно их уверяю, что это варварское обыкновение осталось только между простым народом; но не столь легко их убедить в сем. Они соглашаются иногда из учтивости: но знают, что есть многие, которые последуют примеру простолюдимов.

1796 г.

Письма русского путешественника

Дувр

Берег! берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром, и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть конечно одно из первых государств Европы. — Здесь все другое: другие дома, другие улицы, другие люди, другая пища — одним словом, мне кажется, что я переехал в другую часть света.

Англия есть кирпичное царство: и в городе и в деревнях все дома из кирпичей, покрыты черепицею, и некрашенные. Везде видите дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широки и отменно чисты; везде *тротуары*, или камнем выстланные дорожки для пешех — и на каждом шагу — в таком маленьком городке, как Дувр — встречается вам красавица, в черной шляпке, с кроткою, нежною улыбкою, с посошком в белой руке.

Так, друзья мои! Англию можно назвать землею красоты — и путешественник, который не пленится милovidными Англичанками; который — особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц — может смотреть равнодушно на их прелести, должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по улицам единственно для того, чтобы любоваться Дуврскими женщинами, и скажу всякому живописцу: «если ты не был в Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изображала!» — Англичанок не лзя уподобить розам; нет, оне почти все бледны — но сия бледность показывает сердечную чувствительность, и делается новою приятностию на их лицах. Поэт назовет их лилиями, на которых, от розовых облаков неба, мелькают алыя оттенки. Кажется, будто всяким томным взором своим говорят оне: *я умею любить нежно!* — Милыя, милыя Англичанки! — Но вы опасны для слабого сердца, опаснее Нимф Калипсиных, и ваш остров есть остров волшебства, очарования. Горе бедному страннику! Равнодушно взглянет он с берега на пылающий корабль свой, и снова устремит огненные глаза на какуюнибудь Эвхарису¹. Ах! какой Ментор низвергнет его в волны морския!

Между тем не думайте, чтобы друг ваш, приехав в опасную Англию, где Купидон во все стороны пускает тысячами стрелы свои, лишился всей твердости, ослабел и разстал в томных чувствах. Нет,

¹ Известно, что Телемак, влюбленный в Калипсину Нимфу Эвхарису, не тужил о сгоревшем корабле своем.

друзья мои! я имел еще столько сил, чтобы взойти на превысокую гору и видеть там древний замок, колодезь в 360 футов глубиною, и медную пушку, длиною в три сажени, которая называется карман-ным пистолетом Королевы Елисаветы.

Я сел отдыхать на вершине горы, и великолепнейший вид представился глазам моим. С одной стороны вся Кентская провинция с городами и деревнями, рощами и полями; а с другой бесконечное море, в которое погружалось солнце, и где пестрели разноцветные флаги; где белелись парусы и миллионы пенистых валов. —

Английский Лорд, любезная жена и милая сестра его, вышедши на берег, с нежностью обняли друг друга. «Берег моего отечества! (сказал Лорд) я благословляю тебя!» — Они дали мне свой Лондонской адрес, и поехали в наемной карете.

Когда я пришел в трактир, где мы остановились ночевать, то в первой комнате окружили меня семь или восемь человек, весьма худо одетых, которые грубым голосом требовали денег. Один говорил: «дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакет-бота»; другой: «дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю»; третий: «дай мне два шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой». Четвертый, пятый, шестой — все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек; но я, бросив на землю два шиллинга, ушел от них. Судите, любят ли здесь деньги, и дешево ли ценят Англичане труд свой?

Еще другая черта. Все наши сундуки и вещи принесли с пакет-бота в таможеню. «У меня нет ничего запрещенного, сказал я осмотрщику: и естли вы поверите моему честному слову, и не будете разбивать моего чемодана, то я с благодарностию заплачу несколько шиллингов». — «Нет, государь мой! (отвечали мне) нам должно все видеть». Я отпер, и показал им старья свои книги, бумаги, белье, фраки. «Теперь, сказали они, вы должны заплатить полкроны». — За что же? спросил я: разве вы были снисходительны или нашли у меня что нибудь запрещенное? — «Нет; но без этого не получите своего чемодана». Я пожал плечами, и заплатил три шиллинга. — И так Английские таможенные приставы умеют строго исполнять свою должность, и притом... наживаться!

Мне хотелось видеть Английскую кухню. Какая чистота! На полу нет ни пятнышка; кастрюли, блюда, чашки — все бело, все светло, все в удивительном порядке. Каменная уголья пылают на большом очаге, и розовым огнем своим прельщают зрение. Хозяйка улыбнулась очень приятно, когда я сказал ей: «вид Французской кухни не редко отнимает аппетит; вид вашей кухни производит его».

Ужин наш состоял из жареной говядины, земляных яблок, пудинга и сыру. Я хотел спросить вина, но вспомнил, что в Англии нет виноградных садов, и спросил портеру. Бутылка самого худого Шампанского или Бургонского стоит здесь более четырех рублей. Простите! Теперь полночь.

Лондон

В шесть часов утра сели мы в четверместную карету, и поскакали на прекрасных лошадях по Лондонской дороге, ровной и гладкой.

Какая места! какая земля! Везде богатые, темнозеленые и тучные луга, где пасутся многочисленные стада, блестящая своею перловою и серебряною волною; везде прекрасныя деревеньки с кирпичными домиками, покрытыми светлою черепицею; везде видите вы маленьких красавиц (в чистых, белых корсетах, с распущенными кудрями, с открытою снежною грудью), которыя держат в руках корзинки, и продают цветы; везде замки богатых Лордов, окруженные рощами и зеркальными прудами; везде встречается вам множество карет, колясок, верховых; множество хорошо одетых людей, которые едут из Лондона и в Лондон, или из деревень и сельских домиков выезжают прогуливаться на большую дорогу; везде трактиры, и у всякого трактира стоят оседланные лошади и кабриолеты — одним словом, дорога от Дувра до Лондона подобна большой улице многолюдного города.

Что, ежели бы я прямо из России приехал в Англию, не видав ни Эльбских, ни Рейнских, ни Сенских берегов; не быв ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции? — Думаю, что картина Англии еще более поразила б мои чувства; она была бы для меня новее.

Какое многолюдство! какая деятельность! и притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой.

На каждых четырех верстах переменяли мы лошадей; но, не смотря на то, постильйоны или кучера, *soachmen* останавливаются раза три пить в трактирах — и никто не смей им сказать ни слова!

В Кантербури, главном городе Кентской провинции, пили мы чай, в первый раз по-Английски, то есть, крепкой и густой, почти без сливок, и с маслом, намазанным на ломтики белого хлеба; в Рочестере обедали, также по-Английски, то есть, не ели ничего, кроме говядины и сыра. Я спросил салату; но мне подали вялую траву, облитую уксусом: Англичане не любят никакой зелени. *Рост-биф, биф стекс*¹ есть их обыкновенная пища. От того густеет в них кровь; от того делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и не редко самоубийцами. К сей физической причине их *сплина*² можно прибавить еще две другия: вечной туман от моря и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и деревнями.

Мы проезжали мимо одного огромного замка, построенного на высоком месте, откуда можно видеть несколько городов, множество

¹ Жареная и битая говядина.

² То есть, меланхолии.

деревень, рек, море, и проч. «Как щастлив должен быть хозяин этого дому!» сказала наша сопутница, пожилая Француженка. «Нет (отвечал молодой Кентской дворянин, ехавший с нами в карете): блестящая наружность и прикрасные виды не делают человека благополучным. Я знаю историю хозяина; она горестна». — Англичанин рассказал нам следующее:

«Лорд О* был молод, хорош, богат; но с самого младенчества носил на лице своем печать меланхолии — и казалось, что жизнь, подобно свинцовому бремени, тяготила душу и сердце его. Двадцати-пяти лет женился он на знатной и любезной девице, оставил Лондон, приехал в нашу провинцию, в этот огромный замок, построенный и украшенный отцом его, и не смотря на все ласки, на все нежности милой супруги, предался более, нежели когда нибудь, мрачной задумчивости и меланхолии. Бедная Лади, живучи с ним, страдала и томилась, *semblable a ces flambeaux, a ces lugubres feux, qui brulent pres des morts sans echauffer leur cendre*¹. — В один бурный вечер он взял ее за руку, привел в густоту парка, и сказал: *я мучил тебя; сердце мое, мертвое для всех радостей, не чувствует цены твоей: мне должно умереть — прости!* В самую сию минуту несчастный Лорд прострелил себе голову, и упал мертвой к ногам оцепеневшей жены своей. — Уже два года покоится в земле прах его. Чувствительная вдова клялась не выезжать из замка, и всякой день проливает слезы на гробе супруга, который был неизъяснимым феноменом в нравственном мире». — Товарищи мои начали рассуждать о сем происшествии; я молчал.

Верст за пять увидели мы Лондон в густом тумане. Купол церкви Св. Павла гигантски превышал все другия здания. Близь него — так казалось издали — подымался сквозь дым и мглу тонкой высокой столп, монумент, сооруженный в память пожара, который некогда превратил в пепел большую часть города. Через несколько минут открылось потом и Вестминстерское Аббатство, древнее готическое здание, вместе с другими церквами и башнями, вместе с зелеными, густыми парками, зверинцами и рощами, окружающими Лондон. — Надобно было спускаться с горы: я вышел из кареты — и смотря на величественный город, на его окрестности и на большую дорогу, забыл все. Естли бы товарищи не хватились меня, то я остался бы один на горе и пошел бы в Лондон пешком.

На правой стороне, между зеленых берегов, сверкала Темза, где возвышались бесчисленные корабельныя мачты, подобно лесу, опаленному молниями. Вот первая пристань в свете, средоточие всемирной торговли!

Мы въехали в Лондон.

¹ Подобно факелам, этим мрачным огням, горящим над мертвецами, но не согревающим их праха (фр.).

Лондон, Июля... 1790.

Париж и Лондон, два первые города в Европе, были двумя Фараонами моего путешествия, когда я сочинял план его. Наконец вижу и Лондон.

Естьли великолепие состоит в огромных зданиях, которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав двадцать или тридцать лучших улиц, я не видал ни одних величественных палат, ни одного огромного дому. Но длинные, широкие, гладко-вымощенные улицы; большими камнями устланные дороги для пешех, двери домов, сделанные из красного дерева, натертые воском и блестящие как зеркало; беспрерывный ряд фонарей на обеих сторонах; красивые площади (Squares), где представляются вам или статуи или другие исторические монументы; под домами богатые лавки, где, сквозь стеклянные двери, с улицы видите множество всякого рода товаров; редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых, и какое-то общее благоустройство во всех предметах — образуют картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: *Лондон прекрасен!* Какая розница с Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах: здесь из маленьких кирпичных домиков выходят Здоровье и Довольствие, с благородным и спокойным видом — Лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко — везде светлый простор, не смотря на многолюдство.

Я не знал, где мне преклонить свою голову в обширном Лондоне, но ехал спокойно, весело; смотрел и ничего не думал. Обыкновенное следствие путешествия и переездов из земли в землю! Человек привыкает к неизвестности, страшной для домоседов. *Здесь есть люди: я найду себе место, найду знакомство и приятности* — вот чувство, которое делает его беззаботным гражданином вселенной!

Наконец карета наша остановилась; товарищи мои выпрыгнули и скрылись. Тут вспомнил я, что и мне надлежало итти куда нибудь с своим чемоданом — куда же? Однажды, всходя в Парижской Отели своей на лестницу, поднял я карточку, на которой было написано: *Г. Ромели в Лондоне, на улице Пель-Мель, в 208 номере, имеет комнаты для иностранцев.* Карточка сохранилась в моей записной книжке, и друг ваш отправился к Гну Ромели. Вспомните анекдот, что один Француз, умирая, велел позвать к себе обыкновенного духовника своего; но посланный возвратился с ответом, что духовника его уже лет двадцать нет на свете. Со мною случилось подобное. Г. Ромели скончался за 15 лет до моего приезда в Лондон!.. Надлежало искать другого пристанища: мне отвели уголок в одном Французском трактире.

«Комната не велика (сказал хозяин), и занята молодым Эмигрантом; но он добрый человек, и согласится разделить ее с вами». Товарища моего не было дома; в горнице не нашел я ничего, кроме постели, гитары, карт и... a black pair of silk breeches¹. С которыми отправился Йорик во Францию, как известно.. В ту же минуту явился Английской парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою... я уже не в Париже, где кисть искусного, веселого Ролета² подобно Зефиру навевала на мою голову белейший ароматный иней! На мои жалобы: *ты меня режешь, помада твоя пахнет салом, из пудры твоей хорошо только печь сухари*, Англичанин отвечал с сердцем: I dont understand you, Sir; *я вас не разумею!* И большой человек не есть ли ребенок? Безделица веселит, безделица огорчает его: толстой Лондонской парикмахер грубостью своею как облаком затмил мою душу. Надевая на себя Парижской фрак, я вздохнул о Париже, и вышел из дому в задумчивости, которая однакожь в минуту рассеялась видом прекраснейшей иллюминации... Едва только закатилось солнце, а все фонари на улицах были уже засвечены; их здесь тысячи, один подле другога, и куда ни взглянешь, везде перспектива огней, которые вдали кажутся вам огненную, непрерывную нитью, протянутою в воздухе. Я ничего подобного не видывал, и не дивлюсь ошибке одного Немецкого Принца, который, въехав в Лондон ночью и видя яркое освещение улиц, подумал, что город иллюминирован для его приезда. Английская нация любит свет, и дает Правительству миллионы, чтобы заменять естественное солнце искусственным. Разительное доказательство народного богатства! Французское Министерство давало пенсии на *лунной свет*³; гордый Британец смеется, звучит в кармане гинеями, и велит Питту зажигать фонари засветло.

Я люблю большие города и многолюдство, в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю смотреть на тысячи незнакомых лиц, которыя, подобно Китайским теням, мелькают передо мною, оставляя в нервах легкия, едва приметныя впечатления; люблю теряться душою в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе, — думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев. Философия моя укрепляется, так сказать, видом людской суетности; напротив того, будучи один с собою, часто ловлю свои мысли на мирских ничтожностях. Свет нравственной, подобно небесным телам, имеет две силы: одною влечет сердце наше к себе, а другою отталкивает его: первую живее чув-

¹ пары шелковых черных брюк (англ.).

² Имя моего Парижского парикмахера.

³ В лунные ночи Париж не освещался; из остатков суммы, определенной на освещение города, давались пенсии.

ствую в уединении, другую между людей — но не всякой обязан иметь мои чувства.

Я умствую: извините. Таково действие Английского климата. Здесь родились Невтон, Локк и Гоббес!

Надобно смотреть, надобно описывать. — Ошибаюсь или нет; но мне кажется, что первый взгляд на город дает нам лучшее, живейшее об нем понятие, нежели долговременное пребывание, в котором, занимаясь частями, теряем *чувство целого*. Свежее любопытство ловит главные, отличительные знаки места и людей: то, что собственно называется характером, и что при долгом, *повторительном* рассматривании затемняется в душе наблюдателя. Таким образом, если бы я, прожив в Лондоне года два, уехал и захотел себе представить его в картине, то мне надлежало бы оживить в памяти своей сильныя впечатления нынешнего дня.

Кто скажет вам: *шумный Лондон!* тот, будьте уверены, никогда не видал его. *Многолюден*, правда; но тих удивительным образом, не только в сравнении с Парижем, но даже и с Москвою. Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности, и спешат отдыхать. Если бы от времени до времени стук карет не потрясал нерв вашего слуха, то вы, ходя по здешним улицам, могли бы вообразить, что у вас залегли уши. Я входил в разные кофейные дома: двадцать, тридцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное Португальское вино; и хорошо если в 10 минут услышите два слова — *какая же? your health, gentleman! ваше здоровье!* Мудрено ли, что Англичане славятся глубокомыслием в Философии? они имеют время думать. Мудрено ли, что Ораторы их в Парламенте заговорив не умеют кончить? им наскучило молчать дома и в публике.

Спокойствие моих ушей давало полную свободу глазам моим заниматься наружностию предметов, особливо лицами. Женщины и в Лондоне очень хороши, одеваются просто и мило; все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных Грациями. Оне ходят как летают; за иною два лакея с трудом успевают бежать. Маленькия ножки, выставляясь из-под кисейной юбки, едва касаются до камней *троттуара*; на белом корсете развевается *Ост-Индская Шаль*; и на Шаль, из-под шляпки, падают светлые локоны. Англичанки по большей части белокуры; но самыя лучшия из них темноволосыя. Так мне показалось; а я, право, смотрел на них с большим вниманием! Взглядывал и на Англичан, которых лица можно разделить на три рода: на угрюмыя, добродушныя и зверския. Клянусь вам, что нигде не случилось мне видеть столько последних, как здесь. Я уверился, что Гогард писал с *Натуры*. Правда, что такая гнусныя физиогномии встречаются только в низкой черни Лондонского народа; но столь многообразны, живы и разительны, что десяти Лафатеров не достало бы для описания всех дурных качеств, ими изображаемых. Франтов видел я здесь гораздо более, нежели в Париже. Шляпа сахарною головою, густо-населенные волосы и виски до самых плеч, толстой

галстук, в котором погребена вся нижняя часть лица, разинутый рот, обе руки в карманах, и самая непристойная походка: вот их общие приметы! Не думаю, чтобы из тысячи подобных людей вышел один хороший Член Парламента. Борк, Фокс, Шеридан, Питт, в молодости своей верно не бегали по улицам разинямы.

Скажите, друзья мои, нашему П., обожателю Англичан, чтоб он тотчас заказал себе дюжину синих фраков: это любимый цвет их. Из 50 человек, которые встретятся вам на Лондонской улице, по крайней мере двадцать увидите в синих кафтанах. Таким важным замечанием могу кончить письмо свое; остальные наблюдения поберегу для следующих. Скажу только, что я с великим трудом нашел свою *Таверну*. Лондонские улицы все одна на другую похожи; надобно было спрашивать, а я дурно выговаривал имя своей, и не прежде одиннадцати часов возвратился к любезному моему... чемодану.

Лондон, Июля... 1790.

Я не видал еще никого в Лондоне; не успел взять денег у Банкара, но успел слышать в Вестминстерском Аббатстве Генделеву Ораторию, Мессию, отдав за вход последнюю гинею свою. В оркестре было 900 музыкантов. Пели славная в Европе Мара, Синьора Кантелло, Стораче, известный певец Паккиеротти, Норрис и проч. Инструментальною музыкаю управлял Г. Крамер. Вообразите действие 600 инструментов и 300 голосов, наилучшим образом согласенных, — в огромной зале, при бесчисленном множестве слушателей, наблюдающих глубокое молчание! Какая величественная гармония! какая трогательная ария! гремящие хоры! быстрые перемены чувств! После священного ужаса, вселяемого ариею: *who shall stand when he appears*¹, вы в восторге от хора: *arise, shine, for thy light is come*². Печаль, грусть обнимает сердце, когда Мара поет о Христе: *he was a man of sorrows, and acquainted with grief*³. Так называемые *семи-хоры*, вопросами и ответами, производят удивительное действие. Один: *who is the king of glory?* Другой: *The Lord, strong and mighty. — Who is the king of glory? The Lord of Hosts*⁴. После чего семи-хор повторяется всем хором. Я плакал от восхищения, когда Мара пела арию: *I know that my Redeemer lives — и дуэт с Паккиеротти: O Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory*⁵? Я слышал музыку Перголезиеву, Иомеллиеву, Гайденову, но не бывал ничем столько растроган, как Генделевым Мессиєю. И печально и радостно, и великолепно и чувствительно! —

¹ Кто устоит пред лицом Его, и проч.

² Восстань и сияй, ибо явился свет Твой.

³ Он испытал горечь, узнал печаль.

⁴ Кто Царь славы? Господь небесных воинств.

⁵ Жив, жив Спаситель мой!.. О Смерть! Где твое жало? Могила! где победа твоя?

Оратория разделяется на три части; после каждой музыканты отдыхали, а слушатели, пользуясь тем временем, завтракали. Я был в ложе с одним купеческим семейством. Меня посадили на лучшем месте и кормили пирогами, но нимало не думали занимать разговором. Лишь только Король с Фамилиею вошел в ложу свою, один из моих товарищей ударил меня по плечу и сказал: «вот наш добрый Джордж с добрыми детьми своими! Я нарочно наклонюсь, чтобы вы могли лучше видеть их». Это мне очень понравилось, и понравилось бы еще более, естыли бы он не так сильно ударил меня по плечу. — Вот другой случай: к нам вошла женщина с *аффишами*, и втерла мне в руки листочек, для того, чтобы взять с меня 6 пенсов. Старший из фамилии выдернул его у меня с сердцем и бросил женщине, говоря: «ему не надобно; ты хочешь отнять у него деньги; это стыдно. Он иностранец, и не умеет отговориться». Хорошо, подумал я: но для чего ты, господин Британец, вырвал листок с такою грубостию? для чего задел меня им по носу?

Между тем я с приятным любопытством рассматривал Королевскую Фамилию. У всех добродушныя лица, и более Немецкия, нежели Английския. Вид у Короля самый здоровый; никаких следов прежней его болезни в нем не приметно. Дочери похожи на мать: совсем не красавицы, но довольно миловидны. Принц Валлисской хороший мушина; только слишком толст.

Тут видел я всю лучшую Лондонскую публику. Но всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке, видом весьма обыкновенный, но умом своим редкий; человек, который в летах цветущей молодости живет единственно честолубием, имея целию пользу своего отечества; родителя славного сын достойный, уважаемый всеми истинными патриотами — одним словом, Вильгельм Питт! У него самое Английское, покойное и даже немного флегматическое лицо, на котором однакожь изображается благородная важность и глубокомыслие. Он с великим вниманием слушал музыку — говорил с теми, которые сидели подле него — но более казался задумчивым. В наружности его нет ничего особенного, приятного. — Слышав Генделя и видеВ Питта, не жалею своей гиней.

Эта Оратория дается каждый год, в память сочинителю и в знак признательности Английского народа к великим его талантам. Гендель жил и умер в Лондоне.

Из Вестминстерского Аббатства прошел я в славный Сент-Джемской парк — несколько изрядных липовых алей, обширный луг, где ходят коровы, и более ничего!

Лондон, Июля... 1790.

С помощью моих любезных земляков нашел я в Оксфордской улице, близ Cavendish Square¹, прекрасныя три комнаты за полги-

¹ Кавендиш-сквер (англ.).

нею в неделю; они составляют весь второй этаж дома, в котором живут две сестры хозяйки, служанка Дженни, ваш друг — и более никого. «Один мужчина с тремя женщинами! как страшно или весело!» Ни мало. Хозяйки мои украшены нравственными добродетелями и седыми волосами; а служанка успела уже рассказать мне тайную историю своего сердца: Немец ремесленник пленился ею и скоро будет счастливым ее супругом. В 8 часов утра приносит она мне чай с сухарями, и разговаривает со мною о Фильдинговых и Ричардсоновых романах. Вкус у нее странной: на пример, Ловелас кажется ей несравненно любезнее Грандиссона. Обожая Клементину, Дженни смеется над девицею Байрон, а Клариссу называет умною дурию. Таковы Лондонския служанки!

В каждом городе самая примечательнейшая вещь есть для меня... самый город. Я уже исходил Лондон вдоль и поперек. Он ужасно длинен, но в иных местах очень узок; в окружности же составляет верст пятьдесят. Распространяясь беспрестанно, он скоро поглотит все окрестныя деревни, которыя исчезнут в нем как реки в Океане. *Вестминстер* и *Сити* составляют главные части его: в первом живут по большей части свободные и достаточные люди, а в последнем купцы, работники, матрозы: тут река с великолепными своими мостами, тут Биржа; улицы теснее, и везде множество народу. Тут не видите уже той приятной чистоты, которая на каждом шагу пленяет глаза в Вестминстере. Темза, величественная и прекрасная, совсем не служит к украшению города, не имея хорошей набережной (как на пример Нева в Петербурге, или Рона в Лионе), и будучи с обеих сторон застроена скверными домами, где укрываются самые бедные жители Лондона. Только в одном месте сделана на берегу терраса (называемая *Адельфи*), и к несчастью в таком, где совсем не видно реки под множеством лодок, нагруженных земляными угольями. Но и в этой неопрятной части города находите везде богатые лавки и магазины, наполненные всякого рода товарами, Индейскими и Американскими сокровищами, которых запасено тут на несколько лет для всей Европы. Такая роскошь не возмущает, а радует сердце, представляя вам разительный образ человеческой смелости, нравственного сближения народов и общественного просвещения! Пусть гордый богач, окруженный произведениями всех земель, думает, что услаждение его чувств есть главный предмет торговли! Она, питая бесчисленное множество людей, питает деятельность в мире, переносит из одной части его в другую полезныя изобретения ума человеческого, новыя идеи, новыя средства утешаться жизнью. —

Нет другого города столь приятного для пешеходцев, как Лондон: везде подле домов сделаны для них широкие *троттуары*, которые по-Руски можно назвать *намостами*; их всякое утро моют служанки (каждая перед своим домом), так что и в грязь и в пыль у вас ноги чисты. Одно только не нравится мне в этом *намосте*; а именно то, что беспрестанно видишь у ног отверстия, которыя ночью закры-

ваются, а днем не всегда; и если вы хотя мало задумаетесь, то можете попасть в них как в западню. Всякое отверстие служит окном для кухни, или для какойнибудь Таверны; или тут ссыпают земляные уголья; или тут маленькая лестница для схода вниз. Надобно знать, что все Лондонские дома строятся с подземельною частию, в которой бывает обыкновенно кухня, погреб и еще какаянибудь, очень несветлая горница для слуг, служанок, бедных людей. В Париже нищета взбирается под облака, на чердак; а здесь опускается в землю. Можно сказать, что в Париже носят бедных на головах, а здесь топчут ногами.

Дома Лондонские все малы, узки, кирпичные, не беленые (для того, чтобы вечная копоть от угольев была на них менее приметна), и представляют скучное, печальное единообразие; но внутренность мила: все просто, чисто и похоже на сельское. Крыльцо и комнаты устланы прекрасными коврами; везде светлое красное дерево; нигде не увидишь пылинки; нет больших зал, но все уютно и покойно. Всех входящих к хозяину или к хозяйке вводят в горницу нижнего этажа, которая называется *parlour*¹; одни родные или друзья могут войти во внутренние комнаты. — Ворот здесь нет: из домов на улицу делаются большие двери, которые всегда бывают заперты. Кто придет, должен стучаться медною скобою в медный замок: слуга один раз, гость два, хозяин три раза. Для карет и лошадей есть особливные конюшенные дворы; при домах же бывают самые маленькие дворики, устланные дерном; иногда и садик, но редко, потому что места в городе чрезмерно дороги. Их по большей части отдают здесь на выстройку: возьми место, построй дом, живи в нем 15 или 20 лет, и после отдай все тому, чья земля.

Что, если бы Лондон при таких широких улицах, при таком множестве красивых лавок, был выстроен как Париж? Воображение не могло бы представить ничего великолепнее. —

Не скоро привыкнешь к здешнему образу жизни, к здешним поздним обедам, которые можно почти назвать ужинами. Вообразите, что за стол садятся в 7 часов! Хорошо тому, кто спит до одиннадцати; но каково мне, привыкшему вставать в восемь? Брожу по улицам; люблюсь, как на вечной ярмонке, разложенными в лавках товарами; смотрю на смешные каррикатуры, выставляемые на дверях, в *эстампных кабинетах*, и дивлюсь охоте Англичан. Как Француз на всякой случай напишет песенку, так Англичанин на все выдумает карриатуру. На пример, теперь Лондонский Кабинет ссорится с Мадритским за Нутка-Соунд. Чтожь представляет карриатура? Министры обоих Дворов стоят по горло в воде и дерутся в кулачки; у Гишпанского кровь бьет уже фонтаном из носу. — Захожу завтракать в пирожные лавки, где прекрасная ветчина, свежее масло, славные пироги и конфекты; где все так чисто, так прибрано, что люблю

¹ гостиная (англ.).

взглянуть. Правда, что такие завтраки не дешевы, и меньше двух рублей не заплатишь, естели аппетит хорош. Обедаю иногда в кофейных домах, где за кусок говядины, пудинга и сыру берут также рубли два. За то велика учтивость: слуга отворяет вам дверь, и миловидная хозяйка спрашивает ласково, что прикажете? — Но всего чаще обедаю у нашего Посла, Г.С.Р.В., человека умного, достойного, приветливого, который живет совершенно по-Английски, любит Англичан и любим ими. Всегда нахожу у него человек пять или шесть, по большей части иностранных Министров. Обхождение Графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо Рускую Историю, *Литтературу*, и читал мне наизусть лучшия места из Од Ломоносова. Такой посол не уронит своего Двора; за то Питт и Гренвиль очень уважают его. Я заметил, что здешния Министерския конференции бывают без всяких чинов. В назначенный час Министр к Министру идет пешком, в фраке. Хозяин, как сказывают, принимает в сертуке; подают чай — высылают слугу — и, сидя на диване, решат важное политическое дело. Здесь нужен ум, а не пышность. Наш Граф носит всегда синий фрак и маленькой кошелек, который отличает его от всех Лондонских жителей: потому что здесь никто кошельков не носит. На лето нанимает он прекрасный сельской дом в Ричмонде (верстах в 10 от Лондона), где я также у него был и ночевал.

Вчерашний день пригласил меня обедать богатый Англичанин Бакстер, Консул, в загородный дом свой, близь Гайд-Парка. В ожидании шести часов я гулял в Парке, и видел множество Англичанок верхом. Как оне скачут! Приятно смотреть на их смелость и ловкость; за каждую берейтер. День был хорош: но вдруг пошел дождь. Все мои Амазонки спешились, и под тению древних дубов искали убежища. Я осмелился с одной из них заговорить по-Французски. Она осмотрела меня с головы до ног; сказала два раза oui, два раза non¹ — и более ничего. Все хорошо-воспитанные Англичане знают Французской язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю Английской. Какая розница с нами! У нас всякой, кто умеет только сказать: comment vous portez-vous?² без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? За чем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров право не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши *остроумцы*, которые хотят быть Французскими Авторами. Бед-

¹ да... нет (*фр.*).

² Как вы поживаете? (*фр.*).

ные! они счастливы тем, что Француз скажет об них: pour un etranger, Monsieur n'ecrit pas mal!!¹

Извините, друзья мои, что я так разгорячился, и забыл, что меня Бакстер ждет к обеду — совершенно Английскому, кроме Французского супа. Ростбив, *потаты*², пудинги, и рюмка за рюмкой Кларету, Мадеры! Мужчины пьют, женщины говорят между собою потихоньку, и скоро оставляют нас одних; снимают скатерть, кладут на стол какая-то пестрая салфетка, и ставят множество бутылок; снова пить — *тосты*, здоровья! Всякой предлагает свое; я сказал: *вечный мир и цветущая торговля!* Англичане мои сильно хлопнули рукою по стулу, и выпили до дна. В 9 часов мы встали, все розовые; пошли к Дамам пить чай, и наконец всякой отправился домой. Это, говорят, весело! По крайней мере не мне. Не для того ли пьют Англичане, что у них вино дорого? они любят хвастаться своим богатством. Или холодная кровь их имеет нужду в разгорячении?

Лондон, Июля... 1790.

Нынешний день провел я как Говард — осматривал темницы — хвалил попечительность Английского Правления, сожалел о людях, и гнушался людьми.

Лучше, естли бы совсем не было нужды в тюрьмах; но когда бедный человек все еще проказит и безумствует, то Английския должно назвать благодеением человечества, и Французская пословица: il n'y a point de belles prisons³ здесь отчасти несправедлива.

Я хотел видеть прежде Лондонское судилище, Justice-Hall⁴, где каждая 6 недель собираются так называемые *присяжные*, Югу, и судьи для решения уголовных дел. Здесь, друзья мои, отдайте пальму Английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием, не забыли ничего для спасения невинности и не боялись излишних предосторожностей. Расскажу вам порядок следствий.

Так называемый *мирный судья* есть в Англии первый разбиратель всех доносов; он призывает к себе обвиняемого, дает очную ставку и возвращает ему свободу, естли донос оказывается не основательным; в противном же случае обязывает его явиться в суд, или, когда преступление важно, отсылает в темницу. Потом другой судья, именуемый Шерифом, избирает от 12 до 24 присяжных (всякого состояния людей, известных по своему доброму поведению), которые снова должны рассмотреть обстоятельства доноса; и естли 12 из них не признают доказательств вероятными, то обвиняемый выпускает-

¹ Для иностранца мосье пишет неплохо! (фр.).

² Земляные яблоки картофеля

³ То есть: «нет на свете хороших темниц».

⁴ Дворец правосудия (англ.).

ся; а естли признают, то начинается формальное дело — таким образом:

В день решительного заседания преступник является в суде, выслушивает на себя донос, и на вопрос: «как хочет быть судим?» отвечает: «по совести и закону моего отечества». Шериф избирает тогда других присяжных ровно 12, и судимый имеет право уничтожить их выбор, доказывая, что они по чему нибудь могут быть пристрастны; и даже без всяких причин может отвергнуть по закону 20 человек. Когда же присяжные выбраны, тогда, дав клятву быть верными совести, садятся на свои кресла, и вместе с судьями выслушивают дело, в присутствии многочисленных зрителей. Донощик обвиняет, судимый оправдывается, сам или через своего адвоката; представляют свидетелей — и наконец, по разобрании всех обстоятельств, один из судей снова предлагает их в ясном сокращении. Присяжные идут в другую комнату, запираются и судят единственно по гласу совести; закон не велит им ни пить ни есть, пока они на что нибудь единодушно не согласятся. Вышедши оттуда, говорят только одно слово: *виноват* или *невиноват*, и дело решено без всякой апелляции. Естли скажут: *виноват*, то судьи прибирают только закон на вину, держась его точного смысла, и не входя ни в какия произвольныя изъяснения, так что в Англии не будет наказано и самое важное преступление, естли закон именно не определяет его. Следственно здесь нет человека, от которого зависела бы жизнь друга! Не только осудить, но даже и судить не лзя никого без согласия 12 знаменитых граждан. За то Англичане и хвалятся своими уголовными законами более, нежели чем нибудь, называя установление присяжных священным и божественным. Рассказывают много удивительных случаев, в которых темное чувство истины спасало невинных вопреки всем вероятностям. На пример: недавно один ремесленник был судим в убийстве; разныя улики обвиняли его; 11 присяжных согласились произнести решительное слово: *виноват!* двенадцатой не хотел. Товарищи требовали от него причин. «Не знаю, отвечал он: но вид этого человека говорит моему сердцу в его пользу; и я скорее умру с голода, нежели обвиню». Прошел целый день в споре; и наконец присяжные, изнуренные усталостию, решились оправдать судимого. Через несколько дней нашелся другой убийца: ремесленник был невинен.

Из городского судилища сделан подземельный ход в Невгат, ту славную темницу, которой имя прежде всего узнал я из Английских романов. Здание большое и красивое снаружи. На дворе со всех сторон окружили нас заключенные, по большой части важные преступники, и требовали подаяния. Зная опытом, что и на Лондонских улицах беспрестанно должно смотреть на часы и держать в руке кошелек, я тотчас схватился за свои карманы среди избличенных воров и разбойников: но тюремщик, поняв мое движение, сказал с видом негодования: «государь мой! рассыпьте вокруг себя гинеи; их здесь не тронут: таков заведенный мною порядок». — Для чего же не

сделают вас Лондонским Полицеймейстером? спросил я; и в доказательство, что верю ему, спрятал обе руки в жилет, бросив колодникам несколько шиллингов. — Мы переходили из коридора в коридор: везде чистота, везде свежий воздух, заражаемый только ядовитым дыханием преступников. Тюремщик, вводя нас в разные комнаты, говорил: «здесь сидит *господин* убийца, здесь *господин* вор, здесь *госпожа* фальшивая монетчица!» Не можете вообразить, какие гнусные лица представлялись глазам моим! Порок и злодейство страшно безобразят людей! Признаюсь, что я сжав сердце ходил за надзирателем, и несколько раз спрашивал: *все ли?* Но он хвастался перед нами обширностью своего владения и множеством ему подвластных. В одной комнате заключен молодой человек. Дверь открылась: он сидел на стуле и писал; приподнял голову, и с ласковым видом нам поклонился. Приятное и томное лицо его казалось чуждым злодеянию. Тем более я содрогнулся, когда тюремщик сказал нам, что он хотел умертвить госпожу свою и — любовницу. Она не считала за преступление изменить молодому камердинеру своему; а камердинер, в минуту исступления, выхватил кинжал, и ранил ее в руку. Желая знать решение присяжных.

В Невгате заключаются не только преступники, но и бедные должники: они разделены с первыми одною стеною. Такое соседство ужасно! И добрый человек может разориться: каково же дышать одним воздухом с злодеями и видеть перед своими окнами казнь их¹? С некоторого времени Правительство посылает осужденных в Ботани-Бейскую колонию: от чего Невгат называют ея преддверием; но не чудно ли вам покажется, что некоторые лучше хотят быть с *честью повешены* в Англии, нежели плыть так далеко? «Мы любим свое отечество (говорят они) и не терпим дурного общества».

Я читал в Архенгольце описание Кингс-Бенча², или темницы для неплатящих должников, — описание, которое может прельстить воображение читателей. Он говорит о приятном местоположении, о садах, о залах великолепно украшенных, о балах, концертах и весельях всякого рода. Одним словом, сей известный Англоман описывает тюрьму едва ли не такими живыми красками, какими Тасс изобразил волшебное жилище Армиды. Сказать вам правду, я не нашел сходства в оригинале Кингс-Бенча с портретом живописца Архенгольца. Вообразите большое место, обнесенное высокою стеною; несколько маленьких домиков, бедно прибранных; множество людей неопрятно одетых, из которых одни ходят в задумчивости по маленькой площади, другие играют в карты или, читая газеты, зевают: вот Кингс-Бенч! Я не видал ничего похожего на сад; но то правда, что есть лавки, в которых покупают и продают заключенные; есть и

¹ Злодеев казнят перед самым Невгатом.

² Выгода сидеть в Кингс-Бенче, а не в другой тюрьме, покупается деньгами; кто не может ничего дать, того отправляют в Невгат.

кофейные домы, которых содержатели сами за долги содержатся в Кингс-Бенче — это довольно странно! Портные, сапожники, и самые Нимфы Венерины, там сидящая, отправляют свое ремесло. Но между ими нет ни одной замужней женщины. По Английским законам в рассуждении долгов всегда муж за жену отвечает; она дает на себя обязательство, а он бедняк или платит, или идет в тюрьму. Последнее спасение для девицы или вдовы, которая не может удовольствоваться своих заимодавцев, есть в Англии замужество.

После Кингс-Бенча хотел я видеть заключенных другого рода — пришел к огромному замку, к большим воротам — и глаза мои, при входе, остановились на двух статуях, которые весьма живо представляют *безумие печальное и свирепое...* «Это Бедлам!» скажете вы, и не ошибетесь. Надлежало сыскать надзирателя, который из учтивости сам пошел с нами. Предлинная галерея разделена желеною решеткою: на одной стороне женщины, на другой мужчины. В коридоре окружили нас первыя, рассматривали с великим вниманием, начинали говорить между собою сперва тихо, потом громче и громче, и наконец так закричали, что надобно было зажать уши. Одна брала меня за руку, другая за пучок, третья хотела сдуть пудру с головы моей — и не было конца их ласкам. Между тем некоторыя сидели в глубокой задумчивости. «Это сумасшедшия от любви, сказал надзиратель: оне всегда смиренны и молчаливы». И так нежнейшая страсть человеческого сердца и в самой безумии занимает еще *всю душу!* *сон для внешних предметов* все еще продолжается!.. Я подошел к одной молодой, бледной женщине, и смотрел на нее. Нам рассказали ее историю. Она Француженка, ушла от своих родителей с любовником, молодым Англичанином, приехала в Лондон, и скоро лишилась своего друга: он умер горячкою. Разум ее после жестокой болезни повредился. Я начинал говорить с нею: она кланялась и не отвечала ни слова. Другая женщина, лет в 40, сидела на полу и смотрела в землю: несчастная думает, что она приговорена к смерти и будет сожжена на костре; ничто не может ее разуверить — и когда день пройдет, она говорит: «завтра, завтра сожгут меня!» Какое ужасное состояние! — Многие из мужчин заставили нас смеяться. Иной воображает себя пушкою, и беспрестанно палит ртом своим; другой ревет медведем и ходит на четвереньках. Бешеные сидят особливо; иные прикованы к стене. Один из них беспрестанно смеется, и зовет к себе людей, говоря: «я щастлив! подите ко мне; я вдохну в вас блаженство!» Но кто подойдет, того укусит. — Порядок в доме, чистота, услуга и присмотр за несчастными достойны удивления. Между комнатами сделаны бани, теплыя и холодныя, которыми Медики лечат их. Многие выздоравливают; и при выпуске каждый получает безденежно нужныя лекарства для укрепления души и тела. — Надзиратель провел нас в сад, где гуляли самые смиренныя из безумных. Один читал газеты: я заглянул в них и сказал: «это старья». Безумный улыбнулся очень умно, приподнял свою шляпу и вежливым тоном

отвечал мне: «государь мой! мы живем в другом свете; что у вас старо, то у нас еще ново!»

В Бедламе кончил жизнь свою Английский Трагик Ли. Может быть вы не знаете об нем следующего забавного анекдота. Один приятель посетил его в доме сумасшедших. Ли чрезвычайно ему обрадовался, говорил очень умно и привел его на высокую террасу; задумался и сказал: «Мой друг! хочешь ли быть вместе со мною бессмертным? Бросимся с этой террасы: там внизу, на острых камнях, ожидает нас славная смерть!» — Приятель увидел опасность, но отвечал ему равнодушно: «ничего не мудрено броситься сверху; гораздо славнее сойти вниз, и оттуда вспрыгнуть на террасу». — Правда, правда! закричал стихотворец и побежал с лестницы; а приятель между тем убрался домой. —

Бедламу обязан я некоторыми мыслями, и предлагаю их на ваше рассмотрение. Не правда ли, друзья мои, что в наше время гораздо более сумасшедших, нежели когда нибудь? от чего же? от сильнейшего действия страстей, как мне кажется. Не говорю о физических причинах безумия, действующих гораздо реже нравственных. На пример: когда бывало столько самоубийств от любви, как ныне? Мушину стреляются, а нежная, кроткая женщина сходит с ума. Древние не знали романов; рыцари средних веков были честны в любви, но шумная и воинственная жизнь их не давала ей чрезмерно усилиться в сердце. Напротив того в нашем образе жизни, покойной, роскошной, утонченной — в свете, где желание нравиться есть первое и последнее чувство молодых и старых; на театре, который можно назвать *театром любви*; в книгах, усеянных, так сказать, ея цветами — все, все наполняет душу горячим веществом для огня любовного. Девушка двенадцати лет, побывав несколько раз в спектакле, начинает уже задумываться; женщина в 45 лет все еще томится нежностью: та и другая любит *воображением*; одна угадывает, другая воспоминает — но я право не удивлюсь теперь, если покажут мне десяти- или шестидесятилетнюю Сафу! Мушину тоже; и пусть скажут нам, в какое другое время бывало столько молодых и старых Селадонов и Альцибиадов, сколько их видим ныне? — Возьмем в пример и славолюбие: утверждаю, что оно в нынешний век еще сильнее действует, нежели прежде. Я люблю верить всем великим делам древних Героев; положим, что Кодры и Деции давали убивать себя, и что Курции бросались в пропасть: но фанатизм Религии конечно более славолюбия участвовал в их героизме¹. Тогда же войны были *народныя*; всякой дрался за *свои* Афины, за *свой* Рим. Ныне совсем другое; ныне Француз или Гишпанец служит волонтером в Руской армии единственно из чести; дерется храбро и умирает: вот славолюбие!

¹ О рыцарстве средних веков можно сказать тоже.

Душа, слишком чувствительная к удовольствиям страстей, чувствует сильно и неприятности их: рай и ад для нее в соседстве; за восторгом следует или отчаяние или меланхолия, которая столь часто отворяет дверь... в дом сумасшедших.

Лондон, Июля... 1790.

Здесь терпим всякой образ Веры; и есть ли в Европе хотя одна Христианская Секта, которой бы в Англии не было? Пуритане или Кальвинисты, Методисты или Набожные, Пресвитериане, Социане, Унитане, Квакеры, Геррнгуторы; одним словом, чего хочешь, того просишь. Все же те, которые не принадлежат к главной или Епископской церкви, называются Диссентерами. Мне хочется видеть служение каждой Секты — и нынешний день началось мое пилигримство с Квакеров. В 12 часов я пришел к ним в церковь: голые стены, лавки и кафедра. Все одеты просто; женщины не только без румян и пудры, но даже и ленточки ни на одной не увидите; мужчины в темных кафтанах без пуговиц и складок. Всякой войдет с постным лицом, ни на кого не взглянет, никому не поклонится, сядет на место и углубится в размышление. Вы знаете, что у них нет ни священников, ни учителей, и в церкви проповедуют единственно те, которые вдруг почувствуют в себе действие Св. Духа. Тогда вдохновенный стремится на кафедру, говорит от полноты сердца, а другие слушают с благоговением. Я крайне любопытно видел такое явление, и смотрел на все лица, чтобы схватить, так сказать, первые черты вдохновения. Проходит час, другой: царствует глубокое молчание, которое изредка перерывается... кашлем. Все физиогномии покойны; никто не кривляется; многие засыпают — и друг ваш с ними. Просыпаюсь — смотрю на часы: три — а все еще никто не говорит. Дожидаюсь, снова зеваю, снова засыпаю — наконец вижу пять часов, лишаюсь терпения, и ухожу ни с чем. Господа Квакеры! вперед вы меня не заманите!

Биржа и Королевское Общество

Англичанин царствует в Парламенте и на Бирже; в первом дает он законы самому себе, а на второй целому торговому миру.

Лондонская Биржа есть огромное, четвероугольное здание, с высокою башнею (на которой, вместо флюгера, видите изображение сверчка¹) с колоннадами, портиками и с величественными аркадами над входом. Вошедши во внутренность, прежде всего встречаете глазами статую Карла II, на высоком мраморном подножии, и читаете в надписи самую грубую лесть и ложь: *отцу отечества, лучшему из Королей, утехе рода человеческого*, и проч. Кругом везде Амуры, не без

¹ Сверчок был гербом Архитектора Биржи.

смысла тут поставленные: известно, что Карл II *любил любить*. Стоя на этом месте куда ни взглянете, видите галерею, где, под аркадами, собираются купцы, всякой день в 11 часов, и ходя взад и вперед, делают свои дела до трех. Тут человек человеку даром не скажет слова, даром не пожмет руки. Когда говорят, то идет торг; когда схватятся руками, то дело решено, и кораблю плыть в Новый Йорк или за Мыс Доброй Надежды. Людей множество, но тихо; кругом жужжат, а не слышно громкого слова. На стенах прибиты известия о кораблях, пришедших или отходящих; можете плыть, куда только вздумаете: в Малабар, в Китай, в Нутка-Соунд, в Архангельск. Капитан всегда на бирже; уговоритесь — и Бог с вами! — Тут славный Лойдов кофейный дом, где собираются Лондонские страховщики, и куда стекаются новости из всех земель и частей света; тут лежит большая книга, в которую она вписываются для любопытных, и которая служит магазином для здешних журналистов. — Подле Биржи множество кофейных домов, где купцы завтракают и пишут. Господин С* ввел меня в один из них — представьте же себе мое удивление: все люди заговорили со мною по-Руски! Мне казалось, что я движением какого нибудь волшебного прутика перенесен в мое отечество. Открылось, что в этом доме собираются купцы, торгующие с Россиею; все они живали в Петербурге, знают язык наш, и по своему приласкали меня.

Нынешний же день был я в Королевском Обществе. Г. Пар**, Член его, ввел меня в это славное ученое собрание. С нами пришел еще молодой Шведской Барон Сил¹, человек умный и приятный. Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою: «Здесь мы друзья, государь мой*; храм Наук есть храм мира». Я засмеялся, и мы обнялись по-братски; а Г.Пар* закричал: «браво! браво!» Между тем Англичане, которые никогда не обнимаются, смотрели на нас с удивлением: им странно казалось, что два человека пришли в ученое собрание целоваться!.. Профаны! вы не разумели нашей Мистики; вы не знали, что мы подали хороший пример воюющим державам, и что по тайной симпатии действий оне скоро ему последуют!

В большой зале увидели мы большой стол, покрытый книгами и бумагами; за столом, на бархатных креслах, сидел Президент, Г. Банкс, в шляпе; перед ним лежал золотой скипетр, в знак того, что просвещенный ум есть царь земли. Секретари читали переписку, по большей части с Французскими Учеными. Г. Банкс всякой раз снимал шляпу и говорил: «изъявим такому-то Господину благодарность нашу за его подарок!» — Он сказывал свое мнение о книгах, но с великою скромностию. — Читали еще другия бумаги, из которых я не разумел половины. Через два часа собрание кончилось, и Г. Пар* подвел меня к Президенту, который дурно произносит, но хорошо

¹ Тогда была у нас война со Швециею.

говорит по-Французски. Он человек тихой, и для Англичанина довольно приветливой.

Лондон, Июля... 1790.

Хотя Лондон не имеет столько примечания достойных вещей, как Париж, однакожь есть что видеть, и всякой день употребляю несколько часов на осматривание зданий, общественных заведений, Кабинетов; на пример, нынешний день видел у Г. Толе (Towley) редкое собрание антиков, Египетския статуи, древние барельефы, между которыми живет хозяин, как скупец между сундуками.

Англия, богатая Философами и всякого роду Авторами, но бедная художниками, произвела наконец несколько хороших живописцев, которых лучшия историческия картины собраны в так называемой *Шекспировой галлерее*. Г. Бойдель вздумал, а художники и Публика оказали всю возможную патриотическую ревность для произведения в действо щастливой идеи, изобразить лучшия сцены из Драм бессмертного Поэта, как для славы его, так и для славы Английскаго Искусства. Охотники сыпали деньгами для ободрения талантов, и более двадцати живописцев неумоимо трудятся над обогащением галлерей, в которой был я несколько раз с великим удовольствием. Зная твердо Шекспира, почти не имею нужды справляться с описанием, и смотря на картины, угадываю содержание. Всего более нравится мне работа Фисли, стариннаго Лафатерова друга¹; он выбирает из Шекспира самое фантастическое или *мечтательное*, и с удивительною силою, с удивительным богатством воображения дает *вещественность воздушным его творениям, дает им имя и место*, а *local habitation and a name*, как сказал один Англичанин. Естли бы воскрес мечтатель-Поэт, как бы обнял он мечтателя-живописца! Картины Гамильтоновы, Ангелики Кауфман, Вестовы, также очень хороши и выразительны. — Тут же видел я рисунки всех картин Орфордова собрания, купленнаго нашею Императрицею.

Здешняя церковь Св. Павла почти столько же славна, как Римская Св. Петра, и есть конечно вторая в свете по наружному своему великолепию; вы видали рисунки той и другой: есть сходство, но много и различия. Избавлю себя и вас от подробностей; не хочу говорить о стиле, о бесчисленных колоннах, фронтонах, статуях Апостолов, Королевы Анны, Великобритании с копьем, Франции с короною, Ирландии с арфою, Америки с луком; и даже не скажу ни слова о величественном куполе. Все это превозносится и знатоками и невеждами. Я заметил для себя одну прекрасную аллегорію; на

¹ В молодости своей оба они влюбились в одну девицу: Лафатер пожертвовал ему своею любовью. Фисли, уехав в Италию и посвятив себя Искусству, перестал отвечать на письма своего друга; но Лафатер всегда говорит об нем с чувством и с жаром.

фронте портика изображен феникс, вылетающий из пламени, с Латинскою надписью: *воскресаю!* что имеет отношение к возобновлению этой церкви, разрушенной пожаром. Окружающий ее балюстрад считается первым в свете. Жаль, что она сжата со всех сторон зданием, и не имеет большой площади, на которой огромность ее показалась бы несравненно разительнее! Жаль также, что Лондонской вечной дым не пощадил великолепного храма и закоптил его снизу до самого золотого шара, служащего ему короною! Вошедши во внутренность, я спешил, по совету моего вожатого, на середину церкви, и остановясь под самым куполом, долго смотрел вверх и вокруг себя. Вы думаете, что друг ваш, пораженный величием храма, был в восхищении! Нет; мысль, которая вдруг пришла мне в голову, все испортила: «что значат все наши своды перед сводом неба? сколько надобно ума и трудов для произведения столь неважного действия? не есть ли Искусство самая бесстыдная обезьяна Природы, когда оно хочет спорить с нею в величии!» Между тем Чичероне мой говорил: «смотрите на эту гордую аркаду, на щиты, на фестоны, на все украшения; смотрите на живопись купола, на славные органы, на колонны галереи, и согласитесь, что вы не видали ничего подобного!» — В так называемом *Хоре* сделан трон для Лондонского Епископа и место Лондонского Лорда-Мера... Вдруг началось в церкви пение столь приятное, что я забыл смотреть, слушал и пленялся во глубине души моей. Прекрасные мальчики, в белом платье, пели хором: они казались мне Ангелами! Что может быть прелестнее гармонии человеческих голосов? Это непосредственный орган божественной души! Декарт, который всех животных, кроме человека, хотел признавать машинами, не мог слушать соловьев без досады; ему казалось, что нежная Филомела, трогая душу, опровергает его систему; а система, как известна, всего дороже Философу! Каково же Материалисту слушать пение человеческое? Ему надобно быть глухим или чрезмерно упрямым. — Служение кончилось, и вожатой предложил мне итти в верхняя галереи, вместе с Французским Маркизом и женою его. Маркиз задохнулся и сел на первой галерее; но Французенка всходила бодро, и хотела быть на самом верху. Начались трудныя ступени, темные, узкие переходы: Маркиза не отставала и кричала мне: *далее!* *Montez toujours!* Я был на Стразбургской башне, на Альпийских горах, но устал до смерти, и естли бы не постыдился женщины, то отказался бы от славы быть на высочайшем пункте Лондона. Мы взобрались едва не под самой крест: наконец... *пес plus ultra!*¹ остановились и забыли свою усталость. Прекрасный вид! весь город, все окружности перед глазами! Лондон кажется грудю блестящей черепицы; бесчисленные мачты на Темзе частым камышом на маленьком ручейке; рощи и парки густою крапивою. Мы пробыли с час, и Французенка имела время показать

¹ Крайний предел! (*лат.*).

мне свое остроумие, философию и наблюдательный дух. «В Англии, говорит она, надобно только *смотреть*; *слушать* нечего. Англичане прекрасны видом, но скучны до крайности; женщины здесь милостивы, и только: их дело разливать чай и нянчить детей. Парламентские Ораторы кажутся мне Индейскими петухами, Шекспировы трагедии игрищами и похоронами; здешние актеры умеют только падать. Все это несносно: не правда ли?» Я боялся противоречием еще более взволновать кровь ея, которая и без того была в страшном движении; подал ей руку в знак согласия, и мы пошли вниз, дружелюбно разделяя опасности и говоря без умолку. — Craignez de faire un faux pas, madame. — «Ah! les femmes en font si souvent!» — C'est que chutes des femmes sont quelques fois tres aimables. — «Oui, parce que les hommes en profitent». — Elles s'en relevent avec grace. — «Mais non pas sans en ressentir la douleur le reste de leurs jours». — La douleur d'une belle femme est une grace de plus. — «Et tout cela n'est que pour servir sa majeste, l'homme». — Ce Roi est souvent detrone, Md. — «Comme notre bon et pauvre Louis XVI: n'est-ce pas?» — A peu pres, Md.¹ — Между тем мы сошли в нижнюю галерею, где Маркиз сообщил нам свои примечания на живопись купола, и где мы забавлялись странною игрою звуков. Станьте в одном месте галереи, и скажите что нибудь очень тихо: стоящие вдали, напротив вас, слышат ясно каждое слово². Звук чудным образом умножается в окружности свода, и скрип двери кажется вам сильным ударом грома. Оттуда прошли мы в библиотеку, где примечания достойна модель храма, которою Архитектор Св. Павла, Христофор Рен (Wren), весьма радовался, но которая для того не была произведена в действо, что походит на языческие храмы. Художник досадовал, спорил, и наконец согласился сделать другой план. — На месте Св. Павла было некогда славное капище Дианы; во втором веке оно превратилось в Христианскую церковь, которая через 400 лет была снова украшена и посвящена Апостолу Павлу; пять раз горела, и не прежде как в 1711 году явилась в теперешнем своем виде. Она стояла 12 миллионов рублей.

Лондонская крепость, Tower, построенная на Темзе в одиннадцатом веке Вильгельмом Завоевателем, была прежде дворцом Английских Королей, их убежищем в народных возмущениях, наконец

¹ Не оступитесь, сударыня (не сделайте ложный шаг) — «Ах, женщины так часто делают это!» — Это потому, что падение женщин порой бывает так приятно. — «Да, потому, что мужчины от этого выигрывают». — Они потом весьма грациозно поднимаются. — «Но не без того чтобы до конца дней своих не чувствовать печали». — Что может быть прелестнее печали очаровательной женщины. — «И это все лишь для того, чтобы служить его величеству мужчине». — Этому владыку часто свергают с престола, сударыня. — «Как нашего доброго, бедного Людовика XVI, не так ли?» — Почти, сударыня (*фр.*).

² Это напомнило мне Парижскую Salle du secret. Тайный зал (*фр.*)

государственной темницею; а теперь в ней монетной двор, арсенал, царская кладовая и — звери!

Я не давно читал Юма, и память моя тотчас представила мне ряд несчастных Принцов, которые в этой крепости были заключены и убиты. Английская История богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более нежели во всех других землях погибло людей от внутренних мятежей. Здесь Католики умерщвляли Реформатов, Реформаты Католиков, Роялисты Республиканцев, Республиканцы Роялистов; здесь была не одна Французская Революция. Сколько добродетельных патриотов, Министров, любимцев Королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! какое иступление умов! Книга выпадает из рук. Кто полюбит Англичан, читая их Историю? Какие Парламенты! Римской Сенат во время Калигулы был не хуже их. Прочитав жизнь Кромвеля, вижу, что он возвышением своим обязан был не великой душе, а коварству своему и фанатизму тогдашнего времени. Речи, говоренные им в Парламенте, наполнены удивительным безумием. Он нарочно путается в словах, чтобы не сказать ничего: какая ничтожная хитрость! Великий человек не прибегает к таким малым средствам; он говорит дело, или молчит. Сколь бессмысленно все говоренное и писанное Кромвелем, столь умны и глубокомысленны сочинения Секретаря его, Мильтона, который по восшествии на престол Карла II спасся от эшафота своею Поэмою, славою и всеобщим уважением.

Дворец Вильгельма Завоевателя еще цел и называется *белою башнею*, white tower: здание безобразное и варварское! Другие Короли к нему пристраивали, окружив его стенами и рвами.

Прежде всего показали нам в крепости диких зверей (забаву Королей Английских со времени Генриха I), а потом большую залу, где хранятся трофеи первого победоносного флота Англии, разбившего славную Гишпанскую *Армаду*. Я с великим любопытством рассматривал флаги и всякого рода оружие; думал о Филиппе, о Елисавете; воображал смиренную гордость первого и скромное величие последней; — воображал ту минуту, когда Герцог Сидония упал на колени перед своим Монархом, говоря: *флот твой погиб!* и когда Филипп, с милостию простирая к нему руку, отвечал: *да будет воля Божия!* — Я воображал всеобщую ревность Лондонских граждан и солдат Елисаветиных, когда она, в виде Любви и Красоты, как богиня явилась между ими, говоря: *друзья! не оставьте меня и отечество!* и когда все они единодушно отвечали: *умрем за тебя и спасем отечество!*.. Заметьте, что не только Гишпанская Армада, но почти все огромныя вооружения древних и новых времен оканчивались стыдом и ничтожностью. Бог слабым помогает! Там горсть Греков торжествует над бесчисленными Персами; тут Голландские рыбаки или Швейцарские пастухи истребляют лучшие армии; здесь Венеция или Прусской Фридрих противится всей Европе и заключает славный мир.

Оттуда пошли мы в большой арсенал... прекрасный и грозный вид! Стены, колонны, пиластры, все составлено из оружия, которое ослепляет глаза своим блеском. Одно слово — и 100 000 человек будут здесь вооружены в несколько минут. — Внизу под малым арсеналом, в длинной галлее, стоит *Королевская артиллерия* между столбами, на которых висят знамена, в разные времена отняты Англичанами у неприятелей. Тут же видите вы изображение знаменитейших Английских Королей и Героев: каждой сидит на лошади, в *своих* латах и с мечем *своим*. Я долго смотрел на храброго *Черного Принца*.

В царской кладовой показывали нам венец Эдуарда *Исповедника*, осыпанный множеством драгоценных камней; золотую державу с фиолетовым аметистом, которому цены не полагают; скипетр, так называемые *мечи милосердия, духовного и временного правосудия*, носимые перед Английскими Королями в обряде коронования — серебряные купели для царской фамилии, и пребогатый *государственный венец*, надеваемый Королем для присутствия в Парламенте, и украшенный большим изумрудом, рубином и жемчугом.

Тут же показывают и топор, которым отрубили голову Анне Грей!!

Наконец ввели нас в монетную, где делают золотые и серебряные деньги; но это Английская *Тайная*, и вам говорят: *сюда не ходите, сюда не глядите; туда вас не пустят!* — Мы видели кучу гиней; но Г. надзиратель не постыдился взять с нас несколько шиллингов!

Сент-Джемской дворец есть, может быть, самый беднейший в Европе. Смотря на него, пышный человек не захочет быть Английским Монархом. Внутри также нет ничего царского. Тут Король обыкновенно показывается чужестранным Министрам и публике; а живет в Королевином дворце, *Buckinghamhouse*¹, где комнаты убраны со вкусом, отчасти работою самой Королевы, и где всего любопытнее славные Рафаэлевы картины или рисунки; их всего 12: 7 — у Королевы Английской, два у Короля Французского, два у Сардинского, а двенадцатой у одного Англичанина, который, заняв для покупки сего драгоценного рисунка большую сумму денег, отдал его в заклад и получил назад испорченный. На них изображены разные чудеса из Нового Завета; фигуры все в человеческий рост. Художники считают их образцом правильности и смелости. — Я видел торжественное собрание во Дворце; однакожь не входил в парадную залу, будучи в простом фраке.

Уайт-гал (*White-hall*) был прежде Дворцом Английских Королей — сгорел, и теперь существуют только его остатки, между которыми достойна примечания большая зала, расписанная вверху Рубенсом. В сем здании показывают закладенное окно, из которого

¹ Букингемский дворец (*англ.*).

нещастный Карл сведен был на эшафот. Там, где он лишился жизни, стоит мраморное изображение Иакова II; подняв руку, он указывает пальцем на место казни отца его¹.

Адмиралтейство есть также одно из лучших зданий в Лондоне. Тут заседают пять главных Морских Коммисаров; они рассылают приказы к начальникам Портов и к Адмиралам; все выборы флотских Чиновников от них зависят.

Палаты Лорда-Мера и Банк стоят примечательного взгляда; самый огромный дом в Лондоне есть так называемый *Соммерсет-гаус* на Темзе, который еще не достроен, и похож на целый город. Тут соединены все городские Приказы, Коммисии, Бюро; тут живут Казначей, Секретари, и проч. Архитектура очень хороша и величественна. — Еще заметны дома Бетфордов, Честерфильдов, Девонширского Герцога Принца Валлисского (который дает впрочем дурную идею о вкусе хозяина или Архитектора); другие все малы и ничтожны.

Описания свои заключу я примечанием на счет Английского любопытства. Что ни пойдете вы здесь осматривать: церковь ли Св. Павла, Шекспирову ли галерею, или дом какой, везде находите множество людей, особливо женщин. Не мудрено: в Лондоне обедают поздно; и кто не имеет дела, тому надобно выдумывать, чем занять себя до шести часов.

Виндзор

Земляки мои непременно хотели видеть славную скачку близ Виндзора, где резвая лошадь приносит хозяину иногда более Ост-Индского корабля. Я рад с другими всюду ехать, и в 9 часов утра поскакали мы четверо в карете по Виндзорской дороге; беспрестанно кричали нашему кучеру: *скорее! скорее!* и в несколько минут очутились на первой станции. «Лошадей!» — *А где их взять? все в разгоне.* — «Вздор! это разве не лошади?» — *Оне приготовлены для других; для вас нет ни одной.* — Мы шумели, но без пользы, и наконец решились итти пешком, не смотря на жар и пыль. — Какое превращение! какой удар для нашей гордости! Те, мимо которых как птицы пролетели мы на борзых Английских конях, объезжали нас один за другим, смотрели с презрением на бедных пешеходцев и смеялись. Несносные, грубые Британцы! думал я: обсыпайте нас пылью; но за чем смеяться? — Иные кричали даже: «добрый путь, господа! видно, по обещанию!» — Но Руских не так легко унижить; мы сами начали смеяться; скинули с себя кафтаны, шли бодро и пели даже Француз-

¹ Я видел статую Карла I, любопытную по следующему анекдоту. После его бедственной кончины, она была снята и куплена медником, которой продал бесчисленное множество шандалов, уверяя, что они вылиты из металла статуи; но в самом деле он спрятал ее, и подарил Карлу II, при его восшествии на престол — за что был награжден весьма щедро.

ския арии; отобедали в сельском трактире, и в 5 часов, своротив немало с большой дороги, вступили в Виндзорской Парк...

Thy forests, Windsor! and thy green retreats,
At once the Monarch's and the Muse's seats.

Pope¹

Мы сняли шляпы... веря Поэту, что это священный лес. «Здесь, (говорит он) являются боги во всем своем великолепии; здесь Пан окружен бесчисленными стадами, Помона рассыпает плоды свои, Флора цветит луга, и дары Цереры волнуются как необозримое море»... Описание Стихотворца пышно, но справедливо. Мрачные леса, прекрасные лесочки, поля, луга, бесконечные алеи, зеркальные каналы, реки и речки, все есть в Виндзорском Парке! — Как мы веселились, отдыхали и снова утомлялись, то сидя под густою сению, где пели над нами всякого рода лесные птицы, то бегая с оленями, которых тут множество! — Стихотворец у меня в мыслях и в руках. Я ишу берегов унылой Лодоны, где, по его словам, часто купалась Цинтия-Диана...

Из юных Нимф ея дочь Тамеса, Лодона,
Была славнее всех; и взор Эндимиона
Лишь потому ее с Дианой различал,
Что месяц золотой богиню украшал.
Но смертных и богов пленяя, не пленялась:
Одна свобода ей с невинностью мила,
И ловля птиц, зверей, утехою была.
Одежда легкая на Нимфе развевалась;
Зефир играл в ея струистых волосах;
Резной колчан звенел с стрелами на плечах,
И меткое копье² за серною свистало.
Однажды Пан ее увидел, полюбил,
И сердце у него желаньем воспылало.
Она бежит... в любви предмет бегущий мил,
И Нимфа робкая стыдливостью своею
Для дерзкого еще прелестнее была.
Как горлица летит от хищного орла,
Как яростный орел стремится вслед за нею,
Так Нимфа от него, так он за Нимфой в след —
И ближе, ближе к ней... Она изнемогает;
Слаба, бледна... в глазах ея темнеет свет.
Уже тень Панова Лодону настигает,
И Нимфа слышит стук ног бога за собой;
Дыхание его как ветер развевает

¹ Твои леса, Виндзор, и твои зеленые убежища — приют одновременно и короля и муз. *Поп (англ.)*.

² Легкие копья, с которыми изображаются Дианины Нимфы, были *бросаемы* в зверей.

Ей волосы... Тогда, оставлена Судьбой,
В отчаяньи своем несчастная, к богине
Душею обратясь, так мыслила: «спаси,
О Цинтия! меня; в дубравы пренеси,
На родину мою! Ах! пусть я там отныне
Стенаю горестно, и слезы лью ручьем!»
Исполнилось... и вдруг, как будто бы слезами
Излив тоску свою, она течет струями,
Стеная жалобно в журчании своем.
Поток сей и теперь Лодоной называем,
Чист, хладен как она; тот лес им орошаем,
Где Нимфа некогда гуляла и жила.
Диана моется в его воде кристальной,
И память Нимфина доньне ей мила:
Когда вообразит ея конец печальной,
Струи сливаются с богининой слезой.
Пастух задумавшись журчанью их внимает;
Сидя под тению, в них часто созерцает
Луну у ног своих и горы вниз головой,
Плывущий ряд дерев, над берегом висящих,
И воду светлую собою зеленыящих.
Среди прекрасных мест излучистым путем
Лодона тихая едва, едва струится;
Но вдруг, быстрее став в течении своем,
Спешит с отцом ея навек соединиться¹.

Извините, естли перевод хуже оригинала. Слушая томное журчание Лодоны, я вздумал рассказать ея историю в Руских стихах.

Мне хотелось бы многое перевести вам из Windsor-Forest²; например, щастие сельского жителя, любителя Наук и любимца Муз; описание бога Тамеса, который, подняв свою влажную главу, опершись на урну и озираясь вокруг себя, славословит мир и предсказывает величие Англии. Но солнце заходит, а нам должно еще видеть славную скачку. Мы спешим, спешим...

Теперь вы, друзья мои, ожидаете от меня другой картины; хотите видеть, как 30, 40 человек, одетых Зефирами, садятся на прекрасных, живописных лошадей, приподнимаются на стременах, удерживают дыхание, и с сильным биением сердца ждут знака, чтобы скакать, лететь к цели, опередить других, схватить знамя и упасть на землю без памяти; хотите лететь взором за скакунами, из которых всякой кажется Пегасом; хотите в то же время угадывать по глазам зрителей, кто кому желает победы, чья душа за какую лошадью несется; хотите читать в них надежду, страх, опять надежду, восторг или отчаяние; хотите слышать радостные плески в честь победителя:

¹ С Темзою, которая в Поэзии называется богом Тамесом.

² «Виндзорского леса» (англ.).

браво! виват! ура!.. Ошибаетесь, друзья мои! мы опоздали, ничего не видали, посмеялись над собою и пошли осматривать большой Виндзорской дворец. Он стоит на высоком месте; восход нечувствителен, а вид прекрасен. На одной стороне равнина, где извивается величественная Темза, опушенная лесочками; а на другой большая гора, покрытая густым лесом. Перед дворцом, на террасе, гуляли Принцессы, дочери Королевския в простых белых платьях, в соломенных шляпках, с тросточками, как сельския пастушки. Оне резвились, бегали и кричали друг другу: *ta soeur, ta soeur!*¹ Глаза мои искали Елисаветы: воображение мое, по некоторым газетным анекдотам, издавна любило заниматься ею. Она не красавица; но скромный вид ей нравится.

Дворец построен еще Вильгельмом Завоевателем, распространен и украшен другими Королями. Он славится более своим прекрасным местоположением, нежели наружным и внутренним великолепием. Я заметил несколько хороших картин: Микель-Анджеловых, Пуссеневых, Корреджиевых и портретов Вандиковых. Из спальни вход в *залу красоты*, где стоят портреты прелестнейших женщин во время Карла II. Хотите ли знать имена их? *Mistriss Knoff, Lawson, Lady Sunderland, Rochester, Denham, Middleton, Byron, Richmond, Clevelant, Sommerset, Northumberland, Grammont, Ossory*². Естли живописцы не льстили, то оне были подлинно красавицы, даже и в Англии, где так много приятных женских лиц... Некоторые плафоны в комнатах очень хороши; также и резная работа. Я долго смотрел на портрет нашего Великого Петра, написанный во время Его пребывания в Лондоне живописцом Неллером. Император был тогда еще молод: это Марс в Преображенском мундире! — Зала Св. Георгия, или Кавалеров Подвязки, стоит того, чтобы сказать об ней несколько слов; она велика и прекрасна своею архитектурою. В большом овале, среди плафона, представлен Карл II в Орденской одежде, а за ним, в виде женщин, три Соединенныя Королевства. Изобилие и Религия держат над ним корону. Тут же изображено Монархическое Правление, которое опирается на Релегию и Вечность. Правосудие, Сила, Умеренность и Благоразумие гонят мятеж и бунт. Подле трона, в осьмиугольнике, под крестом Св. Георгия, окруженным подвязкою и Купидонами, вырезана надпись: *Nonni soit qui mal y pense*³! Одним словом, как в Версальском Дворце все дышет Лудовиком XIV, так в Виндзорском все напоминает Карла II, о котором Английские патриоты не любят вспоминать.

¹ Сестрица! сестрица! (*фр.*).

² Г-жи Ноф, Лаусон, леди Сандерленд, Рочестер, Дэнхем, Мидлтон, Байрон, Ричмонд, Кливленд, Сомерсет, Нортемберленд, Грэммонт, Оссори (*англ.*).

³ Да будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом! (*фр.*).

Виндзорский Парк

Сидя под тению дубов Виндзорского Парка, слушая пение лесных птичек, шум Темзы и ветвей, провел я несколько часов в каком-то сладостном забвении — не спал, но видел сны, восхитительные и печальные.

Темная, лестная, милая надежды сердца! исполнитесь ли вы когданибудь? Живость ваша есть ли залог исполнения? или, со всеми правами быть счастливым, узнаю счастье только воображением, увижу его только мельком, вдали, подобно блистанию молний, и при конце жизни скажу: «я не жил!»

Мне грустно; но как сладостна эта грусть? Ах! молодость есть прелестная эпоха бытия нашего! Сердце, в полноте жизни, творит для себя будущее, какое ему мило; все кажется возможным, все близким. Любовь и Слава, два идола чувствительных душ, стоят за флером перед нами и поднимают руку, чтобы осыпать нас дарами своими. Сердце бьется в восхитительном ожидании, теряется в желаниях, в выборе счастья, и наслаждается возможным еще более, нежели действительным.

Но цвет юности на лице увядает; опытность сушит сердце, уверяя его в трудности счастливых успехов, которые прежде казались ему столь легкими! Мы узнаем, что воображение украшало все приятности жизни, сокрывая от нас недостатки ея. Молодость прошла; любовь как солнце скатилась с горизонта — чтожь осталось в сердце? несколько милых и горестных воспоминаний — нежная тоска — чувство, подобное тому, которое имеем по разлуке с бесценным другом, без надежды увидеться с ним в здешнем свете. — А слава?.. Говорят, что она есть последнее утешение любовью растерзанного сердца; но слава, подобно розе любви, имеет свое терние, свои обманы и муки. Многие ли бывали ею счастливы? Первый звук ея возбуждает гидру зависти и злословия, которая будут шипеть за вами до гробовой доски, и на самую могилу вашу изолиют еще яд свой. —

Жизнь наша делится на две эпохи: первую проводим в будущем, а вторую в прошедшем. До некоторых лет, в гордости надежд своих, человек смотрит все вперед, с мыслию: «там, там ожидает меня судьба, достойная моего сердца!» Потери мало огорчают его; будущее кажется ему несметною казною, приготовленною для его удовольствий. Но когда горячка юности пройдет; когда сто раз оскорбленное самолюбие по неволе научится смирению; когда, сто раз обманутые надеждою, наконец перестаем ей верить: тогда, с досадою оставляя будущее, обращаем глаза на прошедшее, и хотим некоторыми приятными воспоминаниями заменить потерянное счастье лестных ожиданий, говоря себе в утешение: *и мы, и мы были в Аркадии!* Тогда, тогда единственно научаемся дорожить и настоящим; тогда же бываем до крайности чувствительны и к самонаименьшей трате; тогда прекрасный день, веселая прогулка, занимательная книга, искренний дружеский разговор, даже ласки верной собачки (которая не остави-

ла нас вместе с неверными любовницами!) извлекают из глаз наших слезы благодарности; но тогда же и смерть любимой птички делает нам превеликое горе.

Где сливаются сии две эпохи? ни глаз не видит, ни сердце не чувствует. Однажды в Швейцарии вышел я гулять на восходе солнца. Люди, которые мне встречались, говорили: «доброе *утро*, господин!» Что со мною было далее, не помню; но вдруг вывело меня из задумчивости приветствие: «добрый *вечер!*» Я взглянул на небо: солнце садилось. Это поразило меня. Так бывает с нами и в жизни! Сперва говорят об человеке: «как он молод!» и вдруг скажут об нем: «как он стар!»

Таким образом мыслил я в Виндзорском парке, разбирая свои чувства и угадывая те, которые *со временем будут моими!*

Лондон, Июля... 1790.

Трое Руских, М*, Д* и я, в 11 часов утра сошли с берега Темзы, сели в ботик и поплыли в Гриничь. День прекрасный — мы спокойны и веселы — плывем под величественными арками мостов, мимо бесчисленных кораблей, стоящих на обеих сторонах в несколько рядов: одни с распущенными флагами приходят и втираются в тесную линию; другие с поднятыми парусами готовы лететь на край мира. Мы смотрим, любуемся, рассуждаем — и хвалим прекрасную выдумку денег, которая столько чудес производят в свете и столько выгод доставляют в жизни. Кусок золота — нет, еще лучше: клочок бумажки, присланный из Москвы в Лондон, как волшебный талисман дает мне власть над людьми и вещами: захочу, имею — скажу, сделаю. Все, кажется, ожидает моих повелений. Вздумал ехать в Гриничь — стукнул в руке беленькими кружками — и гордые Англичане исполняют мою волю, пенят веслами Темзу, и доставляют мне удовольствие видеть разнообразны картины человеческого трудолюбия и Природы. — Разговор наш еще не кончился, а ботик у берега.

Первый предмет, который явился глазам нашим, был самый предмет нашего путешествия и любопытства: Гриничская Госпиталь, где признательная Англия осыпает цветами старость своих мореходцов, орудие величества и силы ея. Не многие Цари живут так великолепно, как Английские престарелые матрозы. Огромное здание состоит из двух замков, спереди разделенных красивою площадью, и назад соединяемых колоннадами и Губернаторским домом, за которым начинается большой парк. Седые старцы, опершись на балюстрад террасы, видят корабли, на всех парусах летящие по Темзе: что может быть для них приятнее? сколько воспоминаний для каждого? Так и они в свое время рассекали волны, с Ансоном, с Куком! — С другой стороны, плывущие на кораблях матрозы смотрят на Гриничь и думают: «там готово пристанище для нашей старости! Отечество благодарно; оно призрит и успокоит нас, когда мы в его служении истощим силы свои!»

Все внутренняя украшения дома имеют отношение к мореплаванию: у дверей глобусы, в куполе залы компас; здесь Эвр летит с востока и гонит с неба звезду утреннюю; тут Австер, окруженный тучами и молниями, льет воду; Зефир бросает цветы на землю; Борей, размахивая драконовыми крыльями, сыплет снег и град. Там Английской корабль, украшенный трофеями, и главнейшая реки Британии, отягченная сокровищами; там изображения славнейших Астрономов, которые своими открытиями способствовали успехам Навигации. — Имена патриотов, давших деньги Вильгельму III на заведение Госпитали, вырезаны на стене золотыми буквами. Тут же представлен и сей любезный Англичанам Король, попирающий ногами самовластие и тиранство. Между многими другими, по большей части аллегорическими картинами, читаете надписи: *Anglorum spes magna — salus publica — securitas publica*¹.

Каждый из нас должен был заплатить около рубля за свое любопытство; не больно давать деньги в пользу такого славного заведения. У всякого матроза, служащего на Королевских и купеческих кораблях, вычитают из жалованья 6 пенсов в месяц на содержание Госпитали; за то всякой матроз может быть там принят, если докажет, что он не в состоянии продолжать службы, или был ранен в сражении, или способствовал отнять у неприятеля корабль. Теперь их 2000 в Гриниче, и каждой получает в неделю 7 белых хлебов, 3 фунта говядины, 2 ф. баранины, 1¹/₂ ф. сыру, столько же масла, гороху, и шиллинг на табак.

Я напому вам слово, сказанное в Лондоне Петром Великим Вильгельму III, и достойное нашего Монарха. Король спросил, что Ему более всего полюбилось в Англии? Петр I отвечал: «то, что Госпиталь заслуженных матрозов похожа здесь на дворец, а дворец Вашего Величества похож на Госпиталь». — В Англии много хорошего; а всего лучше общественные заведения, которые доказывают благотворительную мудрость Правления. *Salus publica* есть подлинно девиз его. Англичане должны любить свое отечество.

Гриничь сам по себе есть красивый городок; там родилась Елисавета. — Мы отобедали в кофейном доме, погуляли в парке, сели в лодку, поплыли, в 10 часов вечера вышли на берег и очутились в каком-то волшебном месте!..

Вообразите бесконечные алеи, целые леса, ярко освещенные огнями: галереи, колоннады, павильоны, альковы, украшенные живописью и бюстами великих людей; среди густой зелени триумфальные, пылающие арки, под которыми гремит оркестр; везде множество людей; везде столы для пиршества, убранные цветами и зеленью. Слепленные глаза мои ищут мрака; я вхожу в узкую крытую алею, и мне говорят: *вот гульбище Друзидов*²! Иду далее; вижу, при

¹ Главная надежда англичан — общественное благо — общественная безопасность (*лат.*).

свете луны и отдаленных огней, пустыню и рассеянные холмики, представляющие Римской стан; тут растут кипарисы и кедры. На одном пригорке сидит Мильтон — мраморный — и слушает музыку; далее — обелиск, Китайской сад; наконец нет уже дороги... Возвращаюсь к оркестру.

Естьли вы догадливы, то узнали, что я описываю вам славный Английской Воксал, которому напрасно хотят подражать в других землях. Вот прекрасное, вечернее гульбище, достойное умного и богатого народа.

Оркестр играет по большей части любимыя народныя песни; поют актеры и актрисы Лондонских Театров; а слушатели, в знак удовольствия, часто бросают им деньги.

Вдруг зазвонили в колокольчик, и все бросились к одному месту; я побежал вместе с другими, не зная, куда и за чем. Вдруг поднялся занавес, и мы увидели написанное огненными словами: *Take care of your rockets! берегите карманы!* (потому что Лондонские воры, которых довольно бывает и в Воксале, пользуются этою минутою). В то же время открылась прозрачная картина, представляющая сельскую сцену. «Хорошо! думал я: но не стоит того, чтобы бежать без памяти и давить людей».

Лондонской Воксал соединяет все состояния: тут бывают и знатные люди и лакеи, и лучшие Дамы и публичные женщины. Одни кажутся актерами, другие зрителями. — Я обходил все галереи и осмотрел все картины, написанныя по большей части из Шекспировых Драм или из новейшей Английской Истории. Большая ротонда, где в ненастное время бывает музыка, убрана сверху до полу зеркалами; куда ни взглянешь, видишь себя в десяти живых портретах.

Часу в двенадцатом начались ужины в павильюнах, и в лесочке заиграли на рогах. Я от роду не видывал такого множества людей сидящих за столами — что имеет вид какого-то великолепного праздника. Мы сами выбрали себе павильюн; велели подать цыпленка, анчоусов, сыру, масла, бутылку Кларету, и заплатили рублей шесть.

Воксал в двух милях от Лондона, и летом бывает отворен всякой вечер; за вход платится копеек сорок. — Я на рассвете возвратился домой, будучи весьма доволен целым днем.

Выбор в Парламент

Через каждая семь лет Парламент возобновляется. Ныне, по моему щастию, надлежало быть выбором; я видел их.

Вестминстер избирает двух Членов. Министры желали Лорда Гуда, а противники их Фокса; более не было Кандидатов. На кануне избрания угощались безденежно в двух тавернах те Вестминстерские

⁶ Имя алеи.

жители, которые имеют голос: в одной подчивали Министры, а в другой приятели Фоксовы. Я хотел видеть этот праздник: вошел в таверну, и должен был выпить стакан вина за Фоксово здоровье. На сей раз Англичане довольно шумели... Fox for ever! *Да здравствует Фокс! наш доброй, умный Фокс, лисица именем¹, лев сердцем, патриот, друг Вестминстерского народа!* — Тут были всякого рода люди: и Лорды и ремесленники. Кто имеет свой уголок в Вестминстере, тот имеет и голос.

На другой день рано по утру отправился я с земляками своими на Ковенгарденскую площадь, уже наполненную народом, так что мы с трудом нашли себе место подле галлерей, которая на это время делается из досок, и в которой Избиратели записывают свои голоса. Самих Кандидатов еще не было; но друзья их работали, говорили речи, махали шляпами, и кричали Hood for ever! Fox for ever! Тут люди в голубых лентах дружески пожимали руку у сапожников. — Вдруг явился человек лет пятидесяти, неопрятно одетый, видом неважный, снял шляпу и показал, что хочет говорить. Все умолкло. «Сограждане!» сказал он, понюхав несколько раз табуку, которым засыпан был весь длинный камзол его: «сограждане! истинная Английская свобода у нас давно уже не в моде; но я человек старинной, и люблю отечество по старинному. Вам говорят, что нынешний день есть торжество гражданских прав ваших; но пользуетесь ли вы ими, когда вам предлагают из двух Кандидатов выбрать двух Членов? Они уже выбраны! Министры с противниками согласились, и над вами шутят». — (Тут он еще несколько раз понюхал табуку, а народ говорил: «это правда; над нами шутят»). — «Сограждане! для поддержания ваших прав, драгоценных моему сердцу, я сам себя предлагаю в Кандидаты. Знаю, что меня не выберут; но по крайней мере вы будете выбирать. Я Горн Тук: вы обо мне слышали, и знаете, что Министерство меня не жалует». — *Браво!* закричали многие: *мы подадим за тебя голоса!* В ту же минуту подошел к нему седой старик на клюках, и все вокруг меня произнесли имя его: *Вилькес! Вилькес!* Вам, друзья мои, известна история этого человека, который несколько лет играл знаменитую роль в Англии, был страшным врагом Министерства, самого Парламента, идолом народа; думал только о личных своих выгодах, и хотел быть ужасным единственно для того, чтобы получить доходное место; получил его, обогатился и сошел с шумного театра. Он сказал Горну: «мой друг! этою дрожащею рукою напишу я имя твое в книге, и умру спокойнее, естли ты будешь Членом Парламента». Горн обнял его с холодным видом, и начал нюхать табак.

Горн Тук был, во время Американской войны, проповедником в Брендсфорде, писал в газетах против двора, сидел за то в тюрьме, не

¹ Фокс значит лисица.

² Да здравствует Гуд! Да здравствует Фокс! (англ.)

унылся, и поныне еще ставит себе за честь быть врагом Министров. Он говорит сильно, пишет еще сильнее, и многие считают его Автором славных *Юниевых писем*.

Раздался голос: «дайте место Кандидатам!» Мы увидели процессию... Напереди знамена, с изображением Гудова и Фоксова имени, и с надписью: *за отечество, народ, конституцию*. За ними шли друзья Кандидатов с разноцветными кокардами на шляпах; за ними сами Кандидаты: Фокс, толстой, маленькой, черноволосой, с густыми бровями, с румяным лицом, человек лет в 45, в синем фраке — и Гуд, высокой, худой, лет пятидесяти, в Адмиральском зеленом мундире. Они стали на доски, устланные коврами, и каждый говорил народу приветствие. Начался выбор. Избиратели входили в галлерею, и записывали голоса свои: что продолжалось несколько часов. Между тем мальчик лет тринадцати влез на галлерею, и кричал над головою Кандидатов: *здравствуй Фокс! провались сквозь землю Гуд!* а через минуту: *здравствуй Гуд! провались сквозь землю Фокс!* Никто не унимал шалуна, а Кандидаты даже и не взглянули на него.

Наконец объявили имена новых Членов: Гуда и Фокса. За Горна Тука было только 200 голосов; но он вместе с избранными говорил благодарную речь народу, и сказал: «я никак не думал, чтобы в Вестминстере нашлось 200 патриотов; теперь вижу, и радуюсь такому числу». — Тут Фокса посадили на кресла, украшенные лаврами и в триумфе понесли домой; знамена развевались над его головою, музыка гремела, и тысячи голосов восклицали: *Fox for ever! Виват! ура!* Фокс уже в пятый раз избирается от Вестминстера: и так не мудрено, что он сидел на торжественных креслах очень покойно и свободно, то улыбался, то хмурил густые черные брови свои. — И Гуда хотели нести; но он просил увольнения, и один из друзей его сказал: «Адмирал наш любит триумфы только на море!» —

Теперь, друзья мои, опишу вам другого рода происшествие. Сюда недавно приехал курьером из П* господин N.N., человек не молодой, который, не жалея толстого брюха своего, скачет из земли в землю, чтобы остальными от прогонов червонцами кормить жену и детей своих. И так вы не осудите его, что он скуп, и приехав в Лондон, не хотел шить себе фрака, а ходил по улицам в коротеньком синем мундире, в длинном красном камзоле и в черном бархатном картузе; но здешний народ не вы — мальчишки бегали за ним и кричали: *смотрите, какая чучела!* Мы приступили к нему, чтобы он оделся по-людски, и наконец убедили. Господин N.N. сделал себе модный фрак, купил прекрасную шляпу, и дал нам слово обновить их в день выборов. Мы зашли к нему, чтобы итти вместе на площадь, и ахнули от удивления: он надел сверх кафтана синюю толстую епанчу, а на шляпу какой-то футляр из клеенки, боясь дождя! Мы сорвали с него то и другое; уверили, что небо чисто — и пошли. Несчастный! Солнце долго сияло, но часу в пятом, когда уже мы возвращались домой, небо затуманилось, ударил дождь, и наш N.N.

бросился под зонтик пирожной лавки, ругая нас немилосердно. Мы остановились, и через минуту были окружены множеством людей. Вдруг видим, что приятель наш с кем-то разговаривает очень весело, смеется, рассказывает — и вдруг, оцепенев, бледнеет от ужаса... Что такое?.. у него украли из кармана деньги, которые он беспрестанно держал рукою, но заговорившись с незнакомцем, оратор наш хотел сделать какой-то выразительный жест, вынул из кармана руку, и через две секунды не нашел уже в нем кошелек. Подивитесь искусству здешних воров! Мы советовали бедному N.N. не брать денег: он не послушался.

Нигде так явно не терпимы вору, как в Лондоне; здесь имеют они свои Клубы, свои Таверны, и разделяются на разные классы: на пехоту и конницу (*footpad, highwayman*), на домовых и карманных (*housebreaker, pickpocket*). Англичане боятся строгой полиции, и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты, и жить в городе как в лагере. За то они берут предосторожность; не берут и не носят с собою много денег, и редко ходят по ночам, особливо же за городом. Мы Русские вздумали однажды в 11 часов ночи ехать в Воксал. Что же? выезжая из города, увидели, что у нас за каретою сидят человек пять с ужасными рожами; мы остановились, согнажи их, но следуя совету благоразумия, воротились назад. Негодяи могли бы в поле догнать нас и ограбить. В другой раз я и Д* испугали самих воров. Мы гуляли пешком близ Ричмонда, запоздали, сбились с дороги и очутились в пустом месте, на берегу Темзы, в бурную ночь, часу в первом; идем и видим под деревом сидящих двух человек. Добрым людям мудрено было в такое время сидеть в поле и на дожде. Что же делать? спастись дерзостью, *раует d'audace*, как говорят Французы — смелым Бог владеет — прямо к ним, скорым шагом! Они вскочили и дали нам дорогу. — В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймать его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств.

Театр

Летом бывает здесь только один Гемеркетской Театр, на котором однакожь играют все лучшие Ковенгарденские и Друриленские актеры¹. Зрителей всегда множество: и в ложах и в партере; народ бывает в галереях. В первый раз видел я Шекспирова Гамлета — и лучше, если бы не видал! Актеры говорят, а не играют; одеты дурно, декорации бедны. Гамлет был в черном Французском кафтане, с толстым пучком и в голубой ленте; Королева в робронде, а Король в Гишпанской епанче. Лакеи в ливрее приносят на сцену

¹ Два главные Лондонские Театра.

декорацию, одну ставят, другую берут за плеча, ташат — и это делается во время представления! Какая розница с Парижскими театрами! Я сердился на актеров не за себя, а за Шекспира, и дивился зрителям, которые сидели покойно и с великим вниманием слушали; изредка даже хлопали. Угадайте, какая сцена живее всех действовала на публику? та, где копают могилу для Офелии, и где работники, играя словами, говорят, что первый дворянин был Адам, the first that ever bore arms¹, и тому подобное. Одна Офелия занимала меня: прекрасная актриса², прекрасно одетая, и трогательная в сценах безумия; она напомнила мне Дюгазон в Нине; и поет очень приятно. — Я видел еще Оперу Инкле и Ярико (которую играли не очень хорошо, но гораздо лучше Гамлета) и еще три Комедии или *буфонады*, в которых зрители очень смеялись. — Говорят, что у Англичан есть Мельпомена: госпожа Сиддонс, редкая трагическая Актриса; но ее теперь нет в Лондоне. Гораздо более нашел я удовольствия в здешней Итальянской Опере. Играли Андромаху. Маркези и Мара пели; музыка прекрасная. Дни два отзывали в ушах моих трогательный дуэт:

Quando mai, astri tiranni,
Avran fine i nostri affanni?
Quando paghi mai sarete
Della vostra crudelta³?

В театре я купил эту Оперу, поднесенную Принцу Валлисскому при следующем Английском письме, которое перевожу для вас как редкую вещь:

«Странно покажется, что я осмеливаюсь поднести Итальянскую Оперу Вашему Королевскому Высочеству. Хотя Юпитер принимал в жертву быков, но никто не смел дарить его мухами. Принц столь искусный, как Ваше Высочество, во всех отвлеченных науках и самой изящнейшей Литтературе, не может дорожить Оперною безделкою. Восхитительныя прелести музыки, рассыпанныя в сей Опере, *озлащают* некоторым образом сей малый труд; но я имею нечто важнейшее для моего оправдания. Славный Понтифекс, Леон X, не презрел поднесенной ему книги о *поваренном искусстве*, и мы читаем в Вал. Максиме, что Персидской Монарх принял в дар старой кафтан с таким снисхождением, что наградил дателя Самоским островом. Первый был самый остроумнейший из владык земных, а второй сильнейший: два качества, которые чудесно соединяются в Вашем Высочестве. Лучезарное светило не отказывает в улыбке своей ни

¹ Он первый носил личное оружие (*англ.*).

² Биллингтон, естли не ошибаюсь.

³ Жестокие светила, когда же окончатся наши горести? Когда же вы насытите свою жестокость? (*итал.*).

червячку, ни былинке; а высокая благодетельность вашего сердца не имеет другого примера. — Вашего Высочества покорнейший слуга К.Ф.Бадини».

После такого письма я хотел бы лично узнать господина Бадини.

Лондон, Июля... 1790.

Я хотел итти за город, в прекрасную деревеньку Гамстет; хотел взойти на холм *Примроз*, где благоухает скошенное сено; хотел оттуда посмотреть на Лондон, возвратиться к ночи в город и ехать в Воксал... но нигде не был, и не жалею. День не пропал: сердце мое было тронут!

Подле самого Cavendish Square встретился мне старой, слепой нищий, которого вела... собачка, привязанная на снурке. Собачка остановилась, начала ко мне ласкаться, лизать ноги мои; нищий сказал томным голосом: «добрый господин! сжался над бедным и слепым! my dear sir, I am poor and blind!» Я отдал ему шиллинг. Он поклонился, тронул снурок, и собачка побежала. Я пошел за ними. Собачка вела его серединою *тротуара*, как можно далее от края и всех отверстий, чтобы слепой старик не упал; часто останавливалась, ласкала людей (но не всех, а по выбору: она казалась физиогномистом!) и почти всякой давал нищему. Мы прошли две улицы. Собачка остановилась подле женщины, не молодой, но миловидной и очень бедно одетой, которая против одного дому сидела на стуле, играла на лютне и пела жалобным голосом. Прекрасной мальчик, также бедно одетый, держал в руках несколько печатных листочков, стоял прислонившись к стене и умильно смотрел на поющую. Увидев старика, он подбежал к нему сказал: «добрый Томас! здоров ли ты?» — *Слава Богу! а мать твоя?.. Как она хорошо поет! послушаю.* — Сын начал ласкать собачку; а мать, поговорив с стариком, снова заиграла и запела... Я долго слушал и положил ей на колени несколько пенсов. Мальчик взглянул на меня благодарными глазами и подал мне печатной листок. Это был гимн, который пела мать его. Вместо того, чтобы итти за город, я возвратился домой и перевел гимн. Вот он:

Господь есть бедных покровитель
И всех печальных утешитель;
Всевышний зрит, что нужно нам,
И двум тоскующим сердцам
Пошлет в свой час отраду.
Отдаст ли нас Он в жертву гладу?
Забудет ли Отец детей?
Прохожий сжалится над нами
(Есть сердце у людей!)
А мы молитвой и слезами
Заплатим долг ему.

В словах нет ничего отменного; но естлиб вы, друзья мои, слышали, как бедная женщина пела, то не удивились бы, что я переводил их — со слезами.

Ранела

Нынешнюю ночь карета служила мне спальнею! — В 8 часов отправились мы Руские в Ранела пешком; не шли, а бежали, боясь опоздать; устали до смерти, потому что от моей улицы до Ранела конечно не менее пяти верст, и в десятом часу вошли в большую круглую залу, прекрасно освещенную, где гремела музыка. Тут в летние вечера собирается хорошее Лондонское общество, чтобы слушать музыку и гулять. В ротонде сделаны в два ряда ложи, где женщины и мужчины садятся отдыхать, пить чай и смотреть на множество людей, которые вертятся в зале. Мы взглянули на собрание, на украшения залы, на высокой оркестр, и пошли в сад, где горел фейерверк; но любуясь им, чуть было не подвергнулись судьбе Семелеиной: искры осыпали нас с головы до ног. — Возвратясь в ротонду, я сел в ложе подле одного старика, который насвистывал разныя песни, как Стернов дядя Тоби, но впрочем не мешал мне молчать и смотреть на публику. Может быть действие свечь обманывало глаза мои: только мне казалось, что я никогда еще не видывал вместе столько красавиц и красавцев, как в Ранела; а вы согласитесь, что такое зрелище очень занимательно. К несчастью у меня страшно болела голова, и я во втором часу, оставив товарищей своих веселиться, пошел искать кареты; с трудом нашел, сел, велел везти себя в Оксфордскую улицу, и заснул. Просыпаюсь у своего дому — вижу день — смотрю на часы: пять... и так я три часа ехал! Кучер сказал, что мы около двух стояли на одном месте, и что никак не лзя было проехать за множеством карет.

Лондон, Июля... 1790.

Нынешнее утро видел я в славном Британском Музеуме множество древностей Египетских, Этрусских, Римских, жертвенных орудий, Американских идолов, и проч. Мне показывали одну Египетскую глиняную ноздреватую чашу, которая имеет удивительное свойство: естли налить ее водою, и вложить в которой нибудь из ея наружных поров салатное семя, то оно распухнет и через несколько дней произведет траву. Я с любопытством рассматривал еще *Лакриматории*, или маленькие глиняные и стеклянные сосуды, в которые Римляне плакали на погребениях; но всего любопытнее был для меня оригинал Магны Харты, или славный договор Англичан с их Королем Иоанном, заключенный в 13 веке, и служащий основанием их конституции. Спросите у Англичанина, в чем состоит ея главные выгоды? Он скажет: *я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов.* Разогните же Магну Харту: в ней Король

утвердил клятвенно свои права для Англичан — и в какое время? когда все другие Европейские народы были еще погружены в мрачное варварство.

Из Музеума прошел я в дом Ост-Индской Компании и видел с удивлением огромные магазины ея. Общество частных людей имеет в совершенном подданстве богатейшая, обширная страна мира, целая (можно сказать) государства; избирает Губернаторов и других начальников; содержит там армию, воюет и заключает мир с державами! Это беспримерно в свете. Президент и 24 Директора управляют делами. Компания продает свои товары всегда с публичного торгу — и хотя снабжает ими всю Европу; хотя выручает за них миллионы: однакожь расходы ея так велики, что она очень много должна. Следственно ей более славы, нежели прибыли; но согласитесь, что Английской богатый купец не может завидовать никакому состоянию людей в Европе!

Семейственная жизнь

Берега Темзы прекрасны; их можно назвать цветниками — и вопреки Английским туманам, здесь царствует Флора. Как милы сельские домики, оплетенные розами снизу до самой кровли¹, или густо осененные деревьями, так что ни один яркой лучь солнца не может в них проникнуть!

Но картина добрых нравов и семейственного счастья всего более восхищает меня в деревнях Английских, в которых живут теперь многие достаточные Лондонские граждане, делаясь на лето поселянами. Всякое Воскресенье хожу в какуюнибудь загородную церковь слушать нравственную, ясную проповедь во вкусе Йориковых, и смотреть на спокойныя лица отцов и супругов, которые все усердно молятся Всевышнему и просят, кажется, единственно о сохранении того, что уже имеют. В церквах сделаны ложи — и каждая занимается особливим семейством. Матери окружены детьми — и я нигде не видывал таких прекрасных малюток, как здесь: совершенно *кровать с молоком*, как говорят Русские: одушевленные цветочки, любезные Зефиру; все маленькие Эмили, все маленькия Софии. Из церкви каждая семья идет в свой садик, который разгоряченному воображению кажется по крайней мере уголком Мильтонова Эдема; но, к счастью, тут нет змея искусителя: миловидная хозяйка гуляет рука в руку с мужем своим, а не с прелестником, не с *Чичисбеем*... одним словом, здесь редкой холостой человек не вздохнет, видя красоту и счастье детей, скромность и благонравие женщин. Так, друзья мои, здесь женщины скромны и благонравны, следственно мужья счастливы; здесь супруги живут для себя, а не для света. Я говорю о среднем со-

¹ Вид прекрасной. Ветви с цветами нарочно поднятые вверх, переплетаются, и достают до кровли низеньких домиков.

стоянии людей; впрочем и самые Английские Лорды, и самые Английские Герцоги не знают того всегдашнего рассеяния, которое можно назвать стихиею нашего, так называемого *хорошего общества*. Здесь бал или концерт есть важное происшествие: об нем пишут в газетах. У нас правило: *вечно быть в гостях, или принимать гостей*. Англичанин говорит: *я хочу быть щастливым дома, и только изредка иметь свидетелей моему щастию*. Какая же следствия? Светския дамы, будучи всегда на сцене, привыкают думать единственно о театральных добродетелях. Со вкусом одеться, хорошо войти, приятно взглянуть, есть важное достоинство для женщины, которая живет в гостях, а дома только спит или сидит за туалетом. Ныне большой ужин, завтра бал: красавица танцует до пяти часов утра; и на другой день до того ли ей, чтобы заниматься своими нравственными должностями? Напротив того Англичанка, воспитываемая для домашней жизни, приобретает качества доброй супруги и матери, украшая душу свою теми склонностями и навыками, которые предохраняют нас от скуки в уединении, и делают одного человека сокровищем для другого. Войдите здесь по утру в дом: хозяйка всегда за рукодельем, за книгою, за клавесином, или рисует, или пишет, или учит детей, в приятном ожидании той минуты, когда муж, отправив свои дела, возвратится с биржи, выдет из кабинета и скажет: *теперь я твой! теперь я ваш!* Пусть назовут меня, чем кому угодно; но признаюсь, что я без какой-то внутренней досады не могу видеть молодых супругов в свете, и говорю мысленно: «Нещастные! что вы здесь делаете? Разве дома среди вашего семейства, в объятиях любви и дружбы, вам не сто раз приятнее, нежели в этом пустоблестящем кругу, где не только добрыя свойства сердца, но и самый ум едва ли не без дела; где знание какой-то приличности составляет всю науку; где *быть не странным* есть верх искусства для мужчины, и где две, три женщины бывають для того, чтобы удивлялись красоте их, а все прочия... Бог знает, для чего; где с большими издержками и хлопотами люди проводят несколько часов в утомительной игре ложного веселья? Естли у вас нет детей, мне остается только жалеть, что вы не умеете наслаждаться друг другом, и не знаете, как мило проводить целые дни с любезным человеком, деля с ним дело и безделье, в полной душевной свободе, в мирном расположении сердца. А естли вы родители, то пренебрегаете одну из святейших обязанностей человечества. В самую ту минуту когда ты, беспечная мать, прыгаешь в контр-дансе, маленькая дочь твоя падает, может быть, из рук неосторожной кормилицы, чтобы на всю жизнь сделаться уродом, или семилетний сын, оставленный с наемным учителем и слугами, видит какой нибудь дурной пример, который сеет в его сердце порок и нещастие. Сидя за клавесином, среди блестящего общества, ты, красавица, хочешь нравиться, и поешь как малиновка; но малиновка не оставляет птенцов своих! Одна попечительная мать имеет право жаловаться на судьбу, естли не хороши дети ея; а та, которая

светския удовольствия предпочитает семейственным, не может назваться попечительною».

И каким опасностям подвержена в свете добродетель молодой женщины? Скажите, не виновна ли она перед своим мужем, как скоро хочет нравиться другим? Что же иное может питать склонность ея к светским обществам? Слабости имеют свою постепенность, и переливы едва приметны. Сперва молодая супруга хочет только заслужить общее внимание или красотою или любезностию, чтобы *оправдать выбор ея мужа*, как думает; а там родится в ней желание нравиться какому нибудь *знатоку* более, нежели другому; а там — надобно хитрить, заманивать, подавать надежду; а там... не увидишь, как и сердце вмешается в планы самолюбия; а там — бедный муж! бедныя дети!

Всего же несчастнее она сама. Хорошо, естли бы до конца можно было жить в упоении страстей; но есть время, в которое все оставляет женщину, кроме ея добродетели; в которое одна благодарная любовь супруга и детей может рассеять грусть ея о потерянной красоте и многих приятностях жизни, увядающих вместе с цветом наружных прелестей. Что, естли оскорбленный муж убегает тогда ея взоров; естли дурно воспитанныя дети, не обязанныя ей ни чем, кроме несчастной жизни и пороков своих, всякой час растрavляют раны ея сердца знаками холодности, нелюбви, самого презрения?.. Обратится ли к свету? Но там время переломило ея скипетр, угодники исчезли — Зефир опахала ея не приманивает уже Сильфов — и разве подобная ей несчастная кокетка сядет подле нее, чтобы излить желчь свою на умы и на сердца людей.

Говорю о женщинах для того, что сердцу моему приятнее заниматься ими; но главная вина без всякого сомнения на стороне мужчин, которые не умеют пользоваться своими правами для взаимного щастия, и лучше хотят быть строптивыми рабами, нежели умными, вежливыми и любезными властелинами нежного пола, созданного прельщать, следственно не властвовать, потому что сила не имеет нужды в прельщении. Часто должно жалеть о *муже*, но о *мужьях* никогда. Мягкое женское сердце принимает всегда образ нашего; и естли бы мы вообще любили добродетель, то милыя красавицы из кокетства сделались бы добродетельными.

Я всегда думал, что дальнейшие успехи просвещения должны более привязать людей к домашней жизни. Не пуста ли душевная вовлекает нас в рассеяние? Первое дело истинной Философии есть обратить человека к неизменным удовольствиям Натуры. Когда голова и сердце заняты дома приятным образом; когда в руке книга, подле милая жена, вокруг прекрасныя дети, захочется ли ехать на бал, или на большой ужин?

Мысль моя не та, чтобы супруги должны были всю жизнь провести с глазу на глаз. Гименей не ест ни тюремщик, ни отшельник, и мы рождены для общества; но согласитесь, что в светских собра-

ниях всего менее наслаждаются обществом. Там нет места ни рассуждениям, ни рассказам, ни излияниям чувства; всякой должен сказать слово мимоходом и увернуться в сторону, чтобы пустить друга на сцену; все беспокоит, чтобы не проговориться и не обличить своего невежества в *хорошем тоне*. Одним словом, это вечная дурная комедия, называемая *принуждением*, без связи, а всего более без интереса. — Но приятностию общества наслаждаемся мы в коротком обхождении с друзьями и сердечными приятелями, которых первый взор открывает душу; которые приходят к нам меняться мыслями и наблюдениями, шутить в веселом расположении, грустить в печальном. Выбор таких людей зависит от ума супругов; и не всего ли ближе искать их между теми, которых сама *Натура* предлагает нам в друзья, то есть, между родственниками? О милые союзы родства! вы бываете твердейшею опорой добрых нравов — и естли я в чем нибудь завидую нашим предкам, то конечно в привязанности их к своим ближним.

Вольтер в конце своего остроумного и безобразного романа¹ говорит: *друзья! пойдём работать в саду!* слова, которые часто отзываются в душе моей после утомительного размышления о тайне рока и счастья. Можно еще примолвить: «пойдем любить своих домашних, родственников и друзей; а прочее оставим на произвол судьбы!»

Не смотря на Лондонскую огромную церковь Св. Павла; не глядя на Темзу, через которую великолепные мосты перегибаются, и на которой пестреют флаги всех народов; не удивляясь богатству магазинов *Ост-Индской Компании*, и даже не в собрании здешнего Ученого *Королевского Общества* говорю я: *Англичане просвещены!* нет; но видя, как они умеют наслаждаться семейственным счастьем, отвержу сто раз: *Англичане просвещены!*

Литература

Литература Англичан, подобно их характеру, имеет много *особенности*, и в разных частях превосходна. Здесь отечество *живописной Поэзии* (*Poesie descriptive*): Французы и Немцы переняли сей род у Англичан, которые умеют замечать самые мелкия черты в *Природе*. По сие время ничто еще не может сравняться с *Томсоновыми Временами года*; их можно назвать зеркалом *Натуры*. Сен-Ламбер лучше нравится Французам; но он в своей Поэме кажется мне *Парижским щеголем*, который, выехав в загородный дом, смотрит из окна на сельския картины и описывает их в хороших стихах; а *Томсона* сравню с каким нибудь *Швейцарским* или *Шотландским охотником*, который, с ружьем в руке, всю жизнь бродит по лесам и дебрям, отдыхает иногда на холме или на скале, смотрит вокруг себя, и что ему полюбится, что *Природа* вдохнет в его душу, то изображает

¹ Кандида.

карандашем на бумаге. Сен-Ламбер кажется приятным гостем Натуры, а Томсон ее родным и домашним. — В Английских Поэтах есть еще какое-то *простодушие*, не совсем древнее, но сходное с Гомеровским; есть меланхолия, которая изливается более из сердца, нежели из воображения; есть какая-то странная, но приятная мечтательность, которая, подобно Английскому саду, представляет вам тысячу неожиданных вещей. — Самым же лучшим цветком Британской Поэзии считается Мильтоново описание Адама и Евы и Драйденава Ода на музыку. Любопытно знать то, что Поэма Мильтонова, в которой столь много прекрасного и великого, сто лет продавалась, но едва была известна в Англии. Первый Аддисон поднял ее на высокой пьедесталь и сказал: *удивляйтесь!*

В Драматической Поэзии Англичане не имеют ничего превосходного, кроме творений одного Автора; но этот Автор есть Шекспир, и Англичане богаты!

Легко смеяться над ним не только с Вольтеровым, но и самым обыкновенным умом; кто же не чувствует великих красот его, с тем — я не хочу и спорить! Забавные Шекспировы Критики похожи на дерзких мальчиков, которые окружают на улице странно одетого человека и кричат: *какой смешной! какой чудак!*

Всякой Автор ознаменован печатью своего века. Шекспир хотел нравиться современникам, знал их вкус и угождал ему; что казалось тогда остроумием, то ныне скучно и противно: следствие успехов разума и вкуса, на которые и самой великой Гений *не может взять мер своих*. Но всякой истинный талант, платя дань веку, творит и для вечности; современные красоты исчезают, а общия, основанные на сердце человеческом и на природе вещей, сохраняют силу свою, как в Гомере, так и в Шекспире. Величие, истина характеров, занимательность приключений, *откровение* человеческого сердца, и великия мысли, рассеянные в драмах Британского Гения, будут всегда их магиею для людей с чувством. Я не знаю другого Поэта, который имел бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое изображение; и вы найдете все роды Поэзии в Шекспировых сочинениях. Он есть любимый сын богини Фантазии, которая отдала ему волшебный жезл свой; а он, гуляя в диких садах воображения, на каждом шагу творит чудеса!

Еще повторяю: у Англичан один Шекспир! Все их новейшие Трагики только-что *хотят* быть сильными, а в самом деле слабы духом. В них есть Шекспировская *бомбаст*, а нет Шекспирова Гения. В изображении страстей всегда почти заходят они за предел истины и Натуры, может быть от того, что обыкновенное, то есть истинное, мало трогает сонных и флегматическая сердца Британцев: им надобны ужасы и громы, резанье и погребения, иступление и бешенство. Нежная черта души не была бы здесь примечена; тихие звуки сердца без всякого действия исчезли бы в Лондонском партере. — Славная Аддисонова трагедия хороша там, где Катон говорит и действует; но любовныя сцены несносны. Нынешния любимыя

драмы Англичан: Grecian Daughter, Fair penitent, Jean Shore¹ и проч., трогают более содержанием и картинами, нежели чувством и силою Авторского таланта. — Комедии их держатся запутанными интригами и карриатурами; в них мало истинного остроумия, а много *буфонства*; здесь Талия не смеется, а хохочет.

Примечания достойно то, что одна земля произвела и лучших Романистов и лучших Историков. Ричардсон и Фильдинг выучили Французов и Немцов писать романы как *историю жизни*, а Робертсон, Юм, Гиббон, влияли в Историю привлекательность любопытнейшего романа, умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидида и Тацита ничто не может сравняться с Историческим Триумвиратом Британии².

Новейшая Английская Литература совсем не достойна внимания: теперь пишут здесь только самые посредственные романы, а стихотворца нет ни одного хорошего. Йонг, гроза щастливых и утешитель несчастных, и Стерн, оригинальный живописец чувствительности, заключили фалангу бессмертных Британских Авторов.

А я заключу это письмо двумя, тремя словами об Английском языке. Он всех на свете легче и простее, совсем почти не имеет грамматики, и кто знает частицы *of* и *to*, знает склонения; кто знает *will* и *shall*, знает спряжения; все неправильные глаголы можно затвердить в один день. Но вы, читая как азбуку Робертсона и Фильдинга, даже Томсона и Шекспира, будете с Англичанами немые и глухие; то есть, ни они вас, ни вы их не поймете. Так труден Английской выговор, и столь мудрено узнать слухом то слово, которое вы знаете глазами! Я все понимаю, что мне напишут, а в разговоре должен угадывать. Кажется, что у Англичан рты связаны или на отверстие их положена Министерством большая пошлина: они чуть, чуть разводят зубы, свистят, намекают, а не говорят. Вообще Английской язык груб, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма — богат *краденым*, или (чтоб не оскорбить Британской гордости), *отнятым* у других. Все ученья и по большей части нравственные слова взяты из Французского или из Латинского, а коренные глаголы из Немецкого. Римляне, Саксонцы, Датчане истребили и Британской народ, и язык их; говорят, что в Валлисе есть некоторые его остатки. Пестрота Английского языка не мешает ему быть сильным и выразительным; а смелость Стихотворцев удивительна; но гармонии, и того, что в Реторике называется *числом*, совсем нет. Слова отрывистыя, фразы короткия, и ни малого разнообразия в периодах! Мера стихов всегда одинакая: Ямбы в 4 или в 5 стоп с мужеским окончанием. — Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого

¹ «Дочь Греции», «Прекрасная грешница», «Джин Шор» (англ.).

² Т.е. с Робертсоном, Юмом и Гиббоном.

примеса, течет как гордая, величественная река — шумит, гремит — и вдруг, естли надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какия заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!

Лондон, Августа... 1790.

В 8 часов вечера я позвонил в своем маленьком кабинете, и вместо моей Дженни (которая, сказать правду, не очень красива собою) вошла ко мне прелестная девушка лет семнадцати. Я удивился, и смотрел на нее в молчании. Она спрашивала: «что угодно господину?» краснелась, присядала, глядела в землю, и наконец изъяснила мне, что Дженни, пользуясь Воскресеньем, гуляет за городом, а она взялась на несколько часов заступить ее место в доме. Я хотел знать имя красавицы? — София. — Ея состояние? — Служанка в пансионе. — Ея забавы, удовольствия в жизни? — Работа, милость госпожи, хорошая книжка. — Ея надежды? — Накопить несколько гиней и возвратиться в Кентское Графство к старику отцу, которой живет в большой нужде. — София принесла мне чай, налила, по усиленной прозьбе моей сама выпила чашку, но никак не хотела сесть, и при всяком слове краснелась, хотя я остерегался нескромности в разговоре с нею. Впрочем, к моему удивлению, Англинския фразы сами собою мне представлялись, и естли бы я всякой день мог говорить с прелестною Софиею, то через месяц заговорил бы как — Оратор Парламента! С чувством скажу вам, друзья мои, что Англичанки и в самом низком состоянии чрезвычайно любезны своею кротостию.

В нынешнее Воскресенье поговорю о Воскресеньи. Оно здесь свято и торжественно; самый бедный поденщик перестает работать; купец запирает лавку, биржа пустеет, Спектакли затворяются, музыка молчит. Все идут к обедне; люди, привязанные своими упражнениями и делами к городу, разъезжаются по деревням; народ толпится на гульбищах, и бедный по возможности наряжается. Что у Французов *Gengety*, то здесь *Thea-gardens* или сады, где народ пьет чай и пунш, ест сыр и масло. Тут-то во всей славе являются горнишныя девушки, в длинных платьях, в шляпках, с веерами; тут ищут оне себе женихов и щастья; видятся с своими знакомыми, угощают друг друга, и набираются всякого рода анекдотами, замечаниями, на целую неделю. Тут, кроме слуг и служанок гуляют ремесленники, сидельцы, Аптекарские ученики — одним словом, такие люди, которые имеют уже некоторый вкус в жизни, и знают, что такое хороший воздух, приятный сельской вид, и проч. Тут соблюдается тишина и благопристойность; тут вы любите Англичан.

Но естли хотите, чтобы у вас помутилось на душе, то загляните ввечеру в подземельныя Таверны или в *питейные дома*, где веселится подлая Лондонская чернь! — Такова судьба гражданских обществ:

хорошо сверху, в середине, а вниз не заглядывай. Дрожжи и в самом лучшем вине бывают столь же противны вкусу, как и в самом худом.

Дурное напоминает дурное: скажу вам еще, что на Лондонских улицах, ввечеру, видел я более ужасов разврата, нежели и в самом Париже. Оставляя другое (о чем можно только говорить, а не писать) вообразите, что между несчастными жертвами распутства здесь много двенадцатилетних девушек! вообразите, что есть Мегеры, к которым изверги-матери приводят дочерей на смотр и торгуются!

Я начал письмо свое невинностию, а кончил предметом омерзения! — Любезная София! прости меня.

Вестминстер

Славная *Вестминстерская* зала (Westminsterhall) построена еще в одиннадцатом веке, как некоторые Историки утверждают. Она считается самую огромнейшую в Европе, и свод ее держится сам собою, без столбов. В ней торжествуется коронация Английских Монархов; в ней бывают и чрезвычайныя заседания Верхнего Парламента, когда он судит Государственного Пера. Таким образом случилось мне видеть там суд Гастингса, Hasting's trial, который уже 10 лет продолжается, и который был для меня любопытен. Достав билет через нашего Посла, я занял место в верхней галлерее, среди множества зрителей. Мы долго ждали. Наконец явился Фокс, в черном Французском кафтане, с кипюю бумаг; а за ним Борк, сухощавой старик в очках, и также в черном кафтане и с бумагами. Вы знаете, что Нижний Парламент, именем народа, обвиняет Гастингса, бывшего Губернатора Ост-Индии, в разных преступлениях, и выбрал адвокатами Борка, Фокса и Шеридана, чтобы доказывать вины его в судилище Лордов. Отворились большия двери — и судьи, Члены Верхнего Парламента, вошли тихо и торжественно друг за другом в своих мантиях, а Духовные, то есть Епископы, в высоких шапках, и сели по местам. Фокс стал напротив Лорда Канцлера, и начал говорить речь, которая продолжалась целые... четыре часа! Он исчислял все доказательства Гастингсова корыстолюбия, все его незаконныя дела, оскорбительныя для чести, для имени Английского народа; говорил сильно, иногда с жаром, и отдыхал единственно тогда, когда надлежало представить улики в подлиннике. В таком случае Борк заступал место его и читал бумаги; а Ритор садился на стул, утираясь белым платком, и через 5 минут снова начинал говорить. Я не столько жалел Фоксовой груди, сколько бедных Лордов — слушать, по крайней мере сидеть столько времени на одном месте, без движения, с важностию, с видом внимания! Фокс требовал от них не безделки, а жизни Гастингсовой, называя его вором, злодеем, чудовищем — и в присутствии его самого. Гастингс, старик лет за шестьдесят, седой, худенькой, в голубом Французском кафтане, сидел на креслах подле самого Ритора, который над его головою требовал его головы! Но умный старик казался совершенно покойным, равнодушным; даже

худо слушал, посматривая то на судей, то на своих двух Адвокатов, которые с великою прилежностью записывали обвинения, сидя подле Клиента. Он уверен, что его оправдают; но виноват ли он подлинно? спросите вы. Против человечества, виноват; против Англии, нет. Гастингс не злодей в сердце своем; но зная тайную политику Английского Министерства, зная выгоды Ост-Индской Компании, жертвовал, может быть, собственными благородными чувствами тому предмету, для которого послали его в Индию; тиранствовал, чтобы утвердить там власть Англичан, и стараясь умножать доходы Компании, умножил, может быть, и свои — за что однакожь Министры не предадут его в жертву Парламентским говорунам. Англичанин человеколюбив у себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва не зверь; по крайней мере с людьми обходится там как с зверями; накопит денег, возвратится домой, и кричит: *не тронь меня; я человек!* Торжество Английского правосудия состоит единственно в том, что Гастингса бранят, разоряют, именем закона; Риторы истощают свое красноречие, занимают Публику, Журналистов; Лорды зевают, дремлют на больших креслах; всякой делает свое дело — и довольно! Что принадлежит до Фоксова таланта, то я назову его скорее *складною говорливостию*, нежели красноречием; слова текут рекою, но нет сильных Ораторских движений; много разительной Логики, только много и лишнего. В Шеридане более пиитического жара, но менее логической силы, как говорят Критики; а славный Борк уже стареется. — Наконец Фокс кончил, поклонился и сошел с кафедры. Один из Гастингсовых Адвокатов сказал Перам: «Милорды! Генерал N.N. не успел представить вам отзыва в пользу нашего Клиента; уехал в свое отечество, в Швейцарию, для поправления здоровья; но он скоро возвратится»... Тут Борк выступил вперед и примолвил с важным видом: «Милорды! пожелаем Господину Генералу щастливого пути и лучшего здоровья!» Все Лорды, все зрители засмеялись; встали — и пошли домой.

Подле Вестминстерской залы, в остатках огромного дворца, который сгорел¹ при Генрихе VIII, собирается обыкновенно Верхний и Нижний Парламент. В заседаниях первого не бывает никого, кроме Членов; я мог видеть только залу собрания, украшенную богатыми обоями, на которых изображено разбитие Гишпанской Армады. В конце залы возвышается Королевской трон, а подле два места для старших Принцов крови; за троном сидят молодые Лорды, которые не имеют еще голоса; на правой стороне Епископы, против Короля Перы, Герцоги и проч. Замечания достойно то, что Канцлер и Оратор сидят на *шерстяных шарах*: древнее и, как уверяют, символическое обыкновение! Шар означает важность торговли (не знаю, по

¹ Едва ли в каком нибудь городе было столько пожаров, как в Лондоне.

чему) а шерсть суконная Английския фабрики, требующия внимания Лордов.

Зала Нижнего Парламента соединяется с первою длинным коридором; она убрана деревом. Тут для зрителей сделаны галереи. Кафедры нет. Президент, называемый Оратором, сидит на возвышенном месте между двух Клерков или Секретарей, за столом, на котором лежит золотой скипетр; они трое должны быть всегда в Шпанских париках и в мантиях; все прочие в обыкновенных кафтанах, в шляпах, сидят на лавках, из которых одна другой выше. Кто хочет говорить, встает, и снимая шляпу, обращает речь свою к Президенту, то есть к Оратору, который, подобно дядьке, унимает их, естли они заговорят не-дело, и кричит: *to order! в порядок!* Члены могут всячески бранить друг друга, только не именуя, а на пример так: «почтенный господин, который говорил передо мною, есть глупец» — и проч. Министрам часто достается; они иногда отбраниваются, иногда отмалчиваются; а когда аойдет дело на голоса, большинство всегда на их стороне. Кто говорит хорошо, того слушают; в противном случае кашляют, стучат ногами, шумят; а при всяком важном слове кричат *hearken! слушайте!* Заседание открывается в 3 часа по полудни, молитвою, и продолжается иногда до 2 за полночь. Розница между Парижским Народным собранием и Англинским Парламентом есть та, что первое шумнее; впрочем и Парламентския собрания довольно беспорядочны. Члены беспрестанно встают; поклонясь Оратору, как школьному Магистру, бегают вон, едят и проч. — Их числом 558; на лицо же не бывает никогда и трех сот. Едва ли 50 человек говорят когданибудь; все прочие немы; иные, может быть, и глухи — но дела идут своим порядком, и хорошо. Умные Министры правят; умная публика смотрит и судит. Член может говорить в Парламенте все, что ему годно; по закону он не дает ответа.

Вестминстерское Аббатство

Церковныя Английския Хроники наполнены чудесными сказаниями о сем древнем Аббатстве. На пример, оне говорят, что сам Апостол Петр, окруженный ликами Ангелов, освятил его в начале седьмого века, при Короле Себерте. Как бы то ни было, оно есть самое древнейшее здание в Лондоне, несколько раз горело, разрушалось и снова из праха восставало. Славный Рен, строитель Павловской церкви, прибавил к нему две новыя готическия башни, которыя, вместе с северным портиком, называемым *Соломоновыми вратами*, Solomon's Gate, всего более украшают внешность храма. Внутренность разительна; огромный свод величественно опускается на ряд гигантских столпов, между которыми свет и мрак разливаются. Тут всякой день бывает утреннее и вечернее служение; тут венчаются Короли Английские; тут стоят и гробы их!.. Я вспомнил Французской стих:

Не лзя без ужаса с престола — в гроб ступить!

Тут сооружены монументы Героям, Патриотам, Философам, Поэтам; и я назвал бы Вестминстер храмом бессмертия, если бы в нем не было многих имен, совсем недостойных памяти. Чтобы думать хорошо об людях, надобно читать не Историю, а надгробные надписи: как хвалят покойников! — Замечу важнейшие монументы и переведу некоторые надписи.

На черном и белом мраморном памятнике Лорда Кранфильда подписано женою его: «Зависть воздвигала бури против моего славного и добродетельного супруга; но он, с чистою душою, смело стоял на корме, крепко держался за руль совести, рассекал волны, спасая от кораблекрушения, в глубокую осень жизни своей бросил якорь и вышел на тихий берег уединения. Наконец сей изнуренный мореходец отправился на тот свет, и корабль его щастливо пристал к небу».

На гробе славного Поэта Драйдена стоит его бюст, с простою надписью: «Иоанн Драйден родился в 1632, умер в 1700 году. Герцог Буккенгам соорудил ему сей монумент». — Подле, как нарочно, вырезана самая пышная эпитафия на памятнике Стихотворца Кауле (Cowley): «Здесь лежит Пиндар, Гораций и Виргилий Англии, утеха, красота, удивление веков», и проч. — На гробе самого Герцога Буккингама, друга Попова, читаете: «Я жил и сомневался; умираю и не знаю; что ни будет, на все готов». — А ниже: «За Короля моего часто, за отечество всегда».

Готический монумент древнейшего Английского стихотворца Часера почти совсем развалился. Часер жил в четвертом-надесять веке, писал неблагопристойныя сказки, хвалил своего родственника, Герцога Ландкастерского, и помог ему стихами своими взойти на престол.

Нешастный Граф Эссекс посвятил белый мраморный памятник Бену Джонсону, современнику Шекспиру, с надписью: O rare Ben Johnson! *О редкой Джонсон!*

На гробе Спенсера подписано: «Он был царь Поэтов своего времени, и божественный ум его всего лучше виден в его творениях».

Ботлер сочинил славную Поэму Годибраса, осмеивая в ней Кромвелевских Республиканцев и Фанатизм. Двор и Король хвалили Поэму, но Автор умер с голоду. Барбер, Лондонской Мер, сказал: «кто в жизни не имел пристанища, тому сделаем хотя по смерти достойный его монумент» — сказал и сделал.

Под Мильтоновым бюстом сооружен памятник Стихотворцу Грею. Лирическая Муза держит в руке медальон его, и указывая другою рукою на Мильтона, говорит: *у Греков Гомер и Пиндар; здесь Мильтон и Грей!*

Преклоните колена... вот Шекспир!.. Стоит как живой, в одежде своего времени, опершись на книгу, в глубокой задумчивости... Вы узнаете предмет его глубокомыслия, читая следующую надпись, взятую из его Драмы *The Tempest*¹:

¹ «Буря» (англ.).

Колоссы гордые, веков произведенье,
И храмы славные, и самой шар земной,
Со всем, что есть на нем, исчезнет как творенье
Воздушные мечты, развалин за собой
В пространствах не оставив!

Четыре времени года изображены на гробнице Томсоновой. Отрок указывает на них и подает венок Поэту.

Герцог и Герцогиня Квинсберри почтили прекрасным монументом Гея, творца Оперы *Нищих*¹. Эпитафия сочинена самим Геєм:

Все в свете есть игра, жизнь самая ничто:
Так прежде *думал* я, а ныне *знаю* то.

Музыкант Гендель, изображенный славным Рубильяком, слушает Ангела, который в облаках, над его головою, играет на арфе. Перед ним лежит его Оратория, Мессия, разогнутая на прекрасной арии: I know that my Redeemer lives: *Знаю, что жив спаситель мой!* —

На гробнице Томаса Парра написано, что он жил 152 года, в царствование десяти Королей, от Эдуарда IV до Карла II. Известно, что сей удивительный человек, будучи ста тридцати лет, не оставлял в покое молодых соседок своих, и присужден был всенародно, в церкви, каяться в любовных грехах.

Автор *Вакефильдского Священника*, *Занутившей деревни* и *Путешественника*, Голдсмит расхвален до крайности. «Он был великой Поэт, Историк, Философ; занимался почти всяким родом сочинений, и во всяком успевал; владел нежными чувствами, и по воле заставлял плакать и смеяться. Во всех его речах и делах обнаруживалось редкое добродушие. Ум острый, замысловатый и великой вливал душу, силу и приятность в каждое слово его. Любовь товарищей, верность друзей и уважение читателей воздвигли ему сей памятник».

Я остановился с благоговением перед памятником Невтона. Херувимы держат перед ним развернутый свиток; он указывает на него пальцем, опершись рукою на книги, с заглавием: Божество, Оптика, Хронология; вверху большой шар, на котором сидит *Астрономия*; внизу прекрасной барельеф, где изображены все Невтоновы открытия. В Латинской надписи сказано, что он «почти божественным умом своим определил движение и фигуру светил небесных, путь Комет, прилив и отлив моря; узнал разнообразие солнечных лучей и свойство цветов, был мудрым изъяснителем Натуры, древности и Св. Писания; доказал своею Философиею величие Бога, а жизнью святость Евангелия». Надпись заключается сими словами: «Как смертные должны гордиться Невтоном, славою и красотою человечества!»

¹ Самое остроумнейшее произведение Английской Литературы... и самое противное человеку с нежным нравственным чувством.

Некоторые памятники сооружены Парламентом и Королем, от имени благодарной Англии, за важные услуги; на пример, Капитану Корнвалю, Генералу Вольфу, Майору Андре, которые пожертвовали жизнью отечеству. Трогательное и достойное геройства воздаяние!

Монумент Гаскона Найтингеля и жены его, посвященный любви сына их, есть самый лучший в Вестминстерском Аббатстве, как художеством, так и мыслию. Прекрасная женщина умирает в объятиях супруга. Смерть выползает из гроба, смотрит ужасными глазами на супруга и метит в нее копьем своим. Супруг видит грозное чудовище, и в страхе, в отчаянии, стремится отразить удар. — Это работа славного Рубильяка.

Придел Генриха VII назывался *чудом мира*. В самом деле тут много удивительного в готическом вкусе; особливо же в резьбе на меди и на дереве. — В этом приделе погребают Королевскую фамилию, и вы видите подле несчастной Марии Стюарт Елисавету! Гроб всех примиряет.

В заключение переведу вам нечто из мыслей одного Англичанина о Вестминстерском Аббатстве.

«С живым меланхолическим удовольствием был я во всех мрачных сокровенностях сего последнего жилища славы; рассуждал о жизни человеческой, ея бедствиях и краткости. Миллионы (думал я), подобно тебе размышляли здесь о трофеях смерти, на которые теперь смотришь; и ты, подобно миллионам, будешь прахом, уступишь место новым людям, и следов твоих не останется. Сие святое хранилище славы и величия будет и впредь наполняться почтенными остатками дарований и заслуг, украшаться новыми великолепными памятниками и служить предметом удивления; а наконец, по неизбежному закону судьбы, со всем богатством древностей погребется во тме времен, и будет *памятником собственного своего разрушения!*»

Окрестности Лондона

Видя и слыша, как скромно живут богатые Лорды в столице, я не мог понять, на что они проживаются; но увидев сельские дома их, понимаю, как им может недоставать и двух сот тысяч дохода. Огромные замки, сады, которых содержание требует множества рук; лошади, собаки, сельские праздники: вот обширное поле их мотовства! Руской в столице и в путешествиях разоряется, Англичанин экономит. Живучи в Лондоне только заездом, Лорд не считает себя обязанным звать гостей; не стыдится в старом фраке итти пешком обедать к Принцу Валлисскому и ехать верхом на простой наемной лошади; а естели вы у него по короткому знакомству обедаете, служат два лакея — простой сервис — и много, что пять блюд на столе. Здесь живут в городе как в деревне, а в деревне как в городе; в городе простота, в деревне старомодная пышность — разумеется, что я говорю о богатом дворянстве.

И сколько сокровищ в живописи, в антиках, рассеяно по сельским домам! Давно уже Англичане имеют страсть ездить в Италию и скупать все превосходное, чем славится там древнее и новое Искусство; внук умножает собрание деда, и картина, статуя, которою любовались художники в Италии, навеки погребается в его деревенском замке, где он бережет ее как *златое руно* свое: почему, теряясь в лабиринте сельских парков, любопытный художник может воображать себя Язоном.

Я наименую только самые лучшие из виденных мною домов вокруг Лондона:

Так называемый *Бельведер* Лорда Турлова, откуда прекрасный вид на окрестные поля и Темзу, покрытую кораблями — замок Графа Минсфильда, где есть великолепная зала, которую считают лучшим произведением здешней Архитектуры — Герцога Девонширского, может быть самый огромный в Англии, построенный среди темных кедровых алей — Графа Дорсета, окруженный самым диким парком, где множество зверей, птиц, и где есть прекрасный готической эрмитаж с искусственными развалинами — Графа Буккингамшира с миловидными каштановыми лесочками, прекрасным гротом, обсаженным благоуханными кустами — *Sion-House*¹ Герцога Нортумберландского с большими садами, всего более украшенными текущею в них Темзою — Вальполя в готическом вкусе — Графа Тильнея, откуда с террасы видны река, каналы, бесчисленные алеи, пустыни, лесочки, которые составляют необозримой амфитеатр — Алдермана Томаса, называемый *haked beauty*² — господина Бинга и Карю (*Carew*), где обширные сады, а в садах столетняя померанцовая деревья (что беспримерно в Англии). — В каждом из сих домов богатая картинная галерея со множеством других произведений Искусства; при каждом большая оранжерея, где собраны плоды и растения всех частей мира; при каждом огромная конюшня, где лошади живут лучше многих людей на свете. Вы читали забавное Гулливерово путешествие; помните, что он заехал в царство лошадей, у которых люди были в рабстве, и которая, разговаривая по своему с нашим путешественником, никак не хотели верить, чтобы где нибудь подобныя им благородные твари могли служить слабодушному человеку. Эта выдумка Свифтова казалась мне странною; но приехав в Англию, я понял Сатирика: он шутил над своими земляками, которые, по страсти к лошадям, ходят за ними по крайней мере как за нежными друзьями своими. Резвые скакуны здесь только-что не Члены Парламента, и без всякого изышного самолюбия могут вообразить себя господами людей. — Вообще Архитектура сельских замков и домов очень хороша. Вкус, выгнанный из Лондона, живет и царствует в Английских деревнях.

¹ Сионский замок (англ.).

² Чистая красота (англ.).

Во все стороны Лондонския окрестности приятны; но смотреть на них хорошо только с какого нибудь возвышения. Здесь все обгорожено: поля, луга; и куда ни взглянешь, везде забор — это неприятно.

Самыя лучшия места по реке Темзе; самые лучшие виды вокруг Виндзора и Ричмонда, который в древния времена был столицею Британских Королей, и назывался *Шен*: что на старинном Саксонском языке значило *блестящий*. Теперь Ричмонд есть самая прекраснейшая деревня в свете, и называется *Английским Фраскати*. Тамошний дворец не достоин большого внимания; сад также — но вид с горы, на которой Ричмонд возвышается амфитеатром, удивительно прелестен. Вы следуете глазами за Темзою верст 30 в ея блистательном течении сквозь богатыя долины, луга, рощи, сады, которые все вместе кажутся одним садом. Тут прекрасно видеть восхождение солнца, когда оно, как будто бы снимая туманный покров с равнин, открывает необозримую сцену деятельности в физическом и нравственном мире. Я несколько раз ночевал в Ричмонде, но только однажды видел восходящее солнце. Между Ричмонда и Кингстона есть большой парк, называемый *New-Park*¹, которого хотя и не лъзя сравнить с Виндзорским, но который однакожь считается одним из лучших в Англии. Величественныя деревья, прекрасная зелень; а всего лучше вид с тамошнего холма: шесть провинций представляются глазам вашим — Лондон — Виндзор...

Я один раз был в славном, Кьюском саду, *Kew-Garden*, место, которое нынешний Король старался украсить по всей возможности, но которое само по себе не стоит того, хотя в описаниях и называют его Эдемом: мало, низко, без видов. Там Китайское, Арабское, Турецкое перемешено с Греческим и Римским. Храм Беллоны и Китайский павильон; храм Эола и дом Конфуциев; Арабская *Алгамра* и *Пагода*!

Из Ричмонда ходил я в Твитнам (*Twickenham*), миловидную деревеньку, где жил и умер Философ и Стихотворец Поп. Там множество прекрасных сельских домиков; но мне надобен был дом Поэта (принадлежащий теперь Лорду Станопу). Я видел его кабинет, его кресла — место, обсаженное деревьями, где он в летние дни переводил Гомера — грот, где стоит мраморный бюст его, и откуда видна Темза — наконец столетнюю иву, которая чудным образом раздвоилась, и под которою любил думать Философ и мечтать Стихотворец; я сорвал с нее веточку на память.

В церкви сделан Поэту мраморный монумент, другом его, Доктором Варбуртоном. На верху бюст, а внизу надпись, самим Попом сочиненная:

Heros and Kings! your distance keep!
In peace let one poor Poet sleep,

¹ Новый парк (англ.).

Who never flatterd folks like you.
Let Horece blush, and Virgile too!¹

Правда ли? — В этой же церкви погребен бессмертный Томсон, без монумента, без надписи.

Я любопытствовал видеть, близ городка Барнета, то место, где в 1471 году, в Светлое Воскресенье, кровопролитное сражение решило судьбу фамилий Йоркской и Ландкастерской. Сия война составляет ужаснейшую эпоху в Английской Истории; славная Magna Charta², права, законы, все было под спудом. Народ не знал, к кому обратиться, и в мертвой бесчувственности служил орудием безпрестанных злодеяний. — На сем месте сооружен каменный столп.

В деревне Бромтоне показывали мне развалины Кромвелева дому.

Местечко Чарлтон достойно примечания по красивому своему положению, а еще более по *роговой ярмонке*, Horn-fair, которая ежегодно там бывает, и на которой же жители украшают свой лоб рогами! Рассказывают, что Король Иоанн, будучи на звериной ловле, утомился и заехал в Чарлтон отдохнуть; вошел в крестьянскую избу, полюбил хозяйку и начал ласкать ее так нежно, что хозяин рассердился, и так рассердился, что хотел убить его; но Король объявил себя Королем, обезоружил крестьянина, и желая наградить его за маленькую досаду, подарил ему местечко Чарлтон, с тем условием, чтобы он завел там ярманку, на которой бы все купцы и продавцы являлись с рогатыми лбами. — Оставляю вам сказать на этот случай множество острых слов.

Гамтон-Каурт, построенный Кардиналом Вольсеем, верстах в 17 от Лондона, на берегу Темзы, удивлял некогда своим великолепием, так что Гроций назвал его в стихах своих *дворцом мира*, и прибавил: «*езде властвуют боги; но жить им прилично только в Гамптон-Каурте!*» — Пишут, что в нем сделано было 280 раззолоченных кроватей с шелковыми занавесами для гостей, и что всякому гостю подавали есть на серебре, а пить в золоте. Английской Ришелье и Дюбуа — так можно назвать Вольсея — наконец сам испугался такой пышности, зная хищную зависть Генриха VIII, и решился подарить ему сей замок, в котором после жила умная и добродетельная Королева Мария, дочь Иакова II. Архитектура дворца отчасти готическая, но величественна. Внутри множество картин, из которых лучшие Веронезова Сусанна и Бассанов *потоп*. Кабинет Марии украшен ее собственною работою. — Гамптонские сады напоминают старинный вкус.

¹ «Прочь, Цари и Герои! дайте покойно спать бедному Поэту, который вам никогда не ласкал, к стыду Горация и Виргилия!»

² Великая Хартия (*лат.*).

В заключение скажу, что нигде, может быть, сельская Природа так не украшена, как в Англии: нигде не радуются столько ясным летним днем, как на здешнем острове. Мрачной флегматической британец с жадностью глотает солнечные лучи, как лекарство от его болезни, *сплина*. Одним словом: дайте Англичанам Лангедокское небо — они будут здоровы, веселы, запоют и запляшут как Французы.

Еще прибавлю, что нигде нет такой удобства ездить за город, как здесь. Идете на почтовой двор, где стоит всегда множество карет; смотрите, на которой написано имя той деревни, в которую хотите ехать; — садитесь, не говоря ни слова, и карета в положенный час скачет, хотя бы и никого, кроме вас, в ней не было; приехав на место, платите безделку, и уверены, что для возвращения найдете также карету. Вот действие многолюдства и всеобщего избытка!

Лондон. Сентября... 1790.

Было время, когда я, почти не видав Англичан, восхищался ими, и воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею. С каким восторгом, будучи пансионером Профессора Ш*, читал я во время Американской войны донесения торжествующих Британских Адмиралов! Родней, Гоу, не сходили у меня с языка; я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих. Мне казалось, что быть храбрым есть... быть Англичанином — великодушным, тоже — чувствительным, тоже; истинным человеком, тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения. Теперь вижу Англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их — но похвала моя так холодна, как они сами.

Во первых я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата, сырого, мрачного, печального. Знаю, что и в Сибири можно быть счастливым, когда сердце довольно и радостно; но веселой климат делает нас веселее, а в грусти и в меланхолии здесь скорее нежели где нибудь захочется застрелиться. Рощи, парки, луга, сады: все это прекрасно в Англии; но все это покрыто туманами, мраком и дымом земляных угольев. Редко, редко проглянет солнце, и то не на-долго; а без него худо жить на свете. *Кланяйся от меня солнцу*, писал некто отсюда к своему приятелю в Неаполь: *я уже давно не видался с ним*. Английская зима не так холодна, как наша; за то у нас зимою бывают красные дни, которые здесь и летом редки. Как же Англичанину не смотреть Сентябрем?

Во-вторых — холодный характер их мне совсем не нравится. *Это Волкан, покрытый льдом*, сказал мне рассмеявшись один Французской Эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах; любит игру глаз, скорыя перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, кото-

рыя потрясают электрически всю нашу физическую систему. Говорят, что он глубокомысленнее других: не для того ли, что кажется глубокомысленным? не по тому ли, что густая кровь движется в нем медленнее, и дает ему вид задумчивого, часто без всяких мыслей? Пример Бакона, Невтона, Локка, Гоббеса, ничего не доказывает. Гении рождаются во всех землях; вселенная отечество их — и можно ли по справедливости сказать, чтобы (на пример) Локк был глубокомысленнее Декарта и Лейбница?

Но что Англичане просвещены и рассудительны, соглашаюсь: здесь ремесленники читают Юмову Историю, служанка Йориковы проповеди и Кларису; здесь лавошник рассуждает основательно о торговых выгодах своего отечества, и земледелец говорит вам о Шеридановом красноречии; здесь газеты и журналы у всех в руках, не только в городе, но и в маленьких деревеньках.

Фильдинг утверждает, что ни на каком языке не лъзя выразить смысла Английского слова *humour*, означающего и *веселость*, и *шутливость*, и *замысловатость*; из чего заключает, что его нация преимущественно имеет сии свойства. Замысловатость Англичан видна разве только в их карриатурах, шутливость в народных глупых театральных *фарсах*, а веселости ни в чем не вижу — даже на самыя смешныя карриатуры смотрят они с преважным видом! а когда смеются, то смех их походит на истерической. Нет, нет, гордые цари морей, столь же мрачные, как туманы, которые носятся над стихиею славы вашей! оставьте недругам вашим, Французам, всякую игривость ума. Будьте рассудительны, естли вам угодно; но позвольте мне думать, что вы не имеете тонкости, приятности разума и того живого слияния мыслей, которое производит общественную любезность. Вы рассудительны — и скучны!.. Сохрани меня Бог, чтобы я тоже сказал об Англичанках! Оне милы своею красотою и чувствительностию, которая столь выразительно изображается в их глазах: довольно для их совершенства и щастия супругов! о чем я уже писал к вам; а теперь судим только мушин.

Англичане любят благотворить, любят удивлять своим великодушием, и всегда помогут несчастному, как скоро уверены, что он не притворяется несчастным. В противном случае скорее дадут ему умереть с голода, нежели помогут, боясь обмана, оскорбительного для их самолюбия. Ж*, наш земляк, который живет здесь лет восемь, зимою ездил из Лондона во Фландрию, и на возвратном пути должен был остановиться в Кале. Сильный, холодный ветер окружил гавань множеством льду, и пакет-боты никак не могли выйти из нее. Ж* издержал все свои деньги, грустил и не знал, что делать. Трактиры были наполнены путешественниками, которые, в ожидании благоприятного времени для переезда через Канал, веселились без памяти, пили, пели и танцовали. Земляк наш с пустым кошельком и с печальным сердцем не мог участвовать в их весельи. В одной комнате с ним жили богатый Англичанин и молодой Парижской купец. Он открыл им причину своей грусти. Что сделал богатый Англича-

нин? дивился его безрассудности, и повторив несколько раз: *как можно на всякой случай не брать с собою лишних денег?* вышел вон. Что сделал молодой Француз? высыпал на стол свои луидоры и сказал: *возьмите сколько вам надобно; будьте только веселее.* — «Государь мой! вы меня не знаете». — Все одно; я рад услужить вам; в Лондоне мы увидимся. — Ж* взял с благодарностию луидоров 10 или 15, и хотел дать ему свой Лондонской адрес. Француз не принял его, говоря: *ваше дело сыскать меня на бирже. Я пять лет купец, а 24 года человек.* — Англичанин поступил так грубо не от скупости, но от страха быть обманутым.

Замечено, что они в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей, думая, что в Англии, где всякого рода трудолюбие по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете; из чего вышло у них правило: *кто у нас беден, тот недостойн лучшей доли* — правило ужасное! Здесь бедность делается пороком! Она терпит, и должна таиться! Ах! естли хотите еще более угнести того, кто угнетен нищетою, пошлите его в Англию: здесь, среди предметов богатства, цветущего изолибия и кучами рассыпанных гиней, узнает он муку Тантала!.. И какое ложное правило! Развешение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? На пример, болезнь...

Англичане честны; у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Позавидуем им! Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего *духа торговли*, которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми ея оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собою. Все придумано, все разочтено, и последнее следствие есть... личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум, нежели сердце; ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, не зная для чего, есть дело нашего бедного, *безрассудного* сердца. На пример, Г. Пар*, мой здешний знакомец, всякое утро в 11 часов является ко мне и спрашивает: «куда хотите итти? что видеть? с кем познакомиться? я к вашим услугам». Отец его, будучи Консулом в Архипелаге, женился на Гречанке, которая воспитала сына своего в нашем Исповедании. Г. Пар* считает за должность быть покровителем Руских и по возможности делать им услуги. Имея привычку бродить всякое утро пешком, он находит во мне товарища, который иногда смешит его своими простосердечными вопросами и замечаниями, и который, расставаясь с ним, всякой раз искренно говорит ему *спасибо!* Англичане всегда готовы одолжать вас таким образом.

Они горды — и всего более гордятся своею Конституциею. Я читал здесь Делольма с великим вниманием. Законы хороши; но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы. На пример, Английской Министр, наблюдая только некоторыя формы,

или законные обыкновения, может делать все, что ему угодно: сыплет деньгами, обещает места, и Члены Парламента готовы служить ему. Малочисленные его противники спорят, кричат, и более ничего. Но важно то, что Министр всегда должен быть отменно умным человеком, для сильного, ясного и скорого ответа на все возражения противников; еще важнее то, что ему опасно во зло употреблять власть свою. Англичане просвещены, знают наизусть свои истинные выгоды, и если бы какойнибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в Парламенте, как волшебник своего талисмана. И так не Конституция, а просвещение Англичан есть истинный их Палладиум. Всякая гражданская учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле. Не даром сказал Солон: *мое учреждение есть самое лучшее, но только для Афин*. Впрочем всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно.

Вы слышали о грубости здешнего народа в рассуждении иностранцев: с некоторого времени она помягчилась, и учтивое имя frenchdog (Французская собака), которым Лондонская чернь жаловала всех не-Англичан, уже вышло, из моды. Мне случилось ехать в карете с одним поселянином, который, узнав, что я иностранец, с важным видом сказал: «хорошо быть Англичанином, но еще лучше быть добрым человеком. Француз, Немец — мне все одно; кто честен, тот брат мой». Мне крайне полюбилось такое рассуждение; я тотчас записал его в дорожной своей книжке. Однакожь не все здешние поселяне так рассуждают: это был конечно вольнодумец между ими! Вообще Английской народ считает нас чужеземцев какими-то несовершенными, жалкими людьми. *He тронь его*, говорят здесь на улице: *это иностранец* — что значит: «это бедный человек или младенец».

Кто думает, что счастье состоит в богатстве и в избытке вещей, тому надобно показать многих здешних Крезов, осыпанных средствами наслаждаться, теряющих вкус ко всем наслаждениям и задолго до смерти умирающих душею. Вот Английской *сплин!* Эту нравственную болезнь можно назвать и Руским именем: *скукою*, известною во всех землях, но здесь более, нежели гденибудь, от климата, тяжелой пищи, излишнего покоя, близкого к усыплению. Человек странное существо! в заботах и беспокойстве жалуется; все имеет, беспечен и — зевает. Богатый Англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотником, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. Они бывают несчастливы от счастья! Я говорю о здешних *праздных богачах*, которых деды нажились в Индии; а *деятельные*, управляя всемирною торговлею и вымышляя новые способы играть мнимыми нуждами людей, не знают *сплина*.

Не от *сплина* ли происходят и многочисленная Английския странности, которая в другом месте назвались бы безумием, а здесь называются только своенравием или whim? Человек, не находя уже

вкуса в истинных приятностях жизни, выдумывает ложные, и когда не может прельстить людей своим счастьем, хочет по крайней мере удивить их чем нибудь необыкновенным. Я мог бы выписать из Английских газет и журналов множество странных анекдотов; на пример, как один богатый человек построил себе домик на высокой горе в Шотландии, и живет там с своею собакою; как другой, ненавидя, по его словам, землю, поселился на воде; как третий, по антипатии к свету, выходит из дому только ночью, а днем спит или сидит в темной комнате при свече; как четвертой, отказывая себе все, кроме самого необходимого, в начале каждой весны дает деревенским соседям своим великолепной праздник, который стоит ему почти всего годового доходу. Британцы хвалятся тем, что могут досыта дурачиться, не давая никому отчета в своих фантазиях. Уступим им это преимущество, друзья мои, и скажем себе в утешение: «если в Англии позволено *дурачиться*, у нас не запрещено *умничать*; а последнее не редко бывает смешнее первого».

Но эта неограниченная свобода жить как хочешь, делать что хочешь, во всех случаях, непротивных благу других людей, производит в Англии множество *особенных* характеров и богатую жатву для Романистов. Другия Европейския земли похожи на регулярные сады, в которых видите ровныя деревья, прямыя дорожки, и все единообразное; Англичане же, в нравственном смысле, растут как дикие дубы по воле судьбы, и хотя все одного рода, но все различны; и Фильдингу оставалось не выдумывать характеры для своих романов, а только примечать и описывать.

Наконец — если бы одним словом надлежало означить народное свойство Англичан — я назвал бы их угрюмыми, так как Французов¹ легкомысленными. Италиянцев коварными. Видеть Англию очень приятно; обычаи народа, успехи просвещения и всех искусств достойны примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствий общежития, есть искать цветов на песчаной долине — в чем согласны со мною все иностранцы, с которыми удалось мне познакомиться в Лондоне и говорить о том. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без сожаления.

¹ Не помню, кто в шутку сказал мне: *Англичане слишком влажны, Италиянцы слишком сухи, а Французы только сочны.*

Письма из Лондона

Колумбовы спутники, увидя Америку, кричали: *берег! берег!* а я, приближаясь к Лондону, твердил тихонько: *Лондон! Лондон!*

Наслышка и чтение приучили меня с ребяческих лет моих представлять себе сей город царем других городов, образцем всего хорошего, и сценою великих романических приключений.

Мы подъехали почти к самым воротам Лондона — и глаза мои искали *Лондона*. Я оглядывался на всех своих товарищей, и с духом беспокойным спрашивал: «Не это ли вторая Столица мира?»

Ах! уверяю вас, что не первая, отвечал мне бывший Граф *де Преви*, о котором я узнал после, что он имел тайные препоручения от Французских Принцев. — «Всегда лучше сделать заключение свое заблаговременно», — сказал усмехнувшись один толстой, румяной Англичанин, сидевший в почтовой карете против нас. — И все замолчали; я задумался; Англичанин зевал; а *Преви*, смотря безпрестанно то на ту, то на другую сторону, повторял изредка любимое свое национальное восклицание¹, которое скромный Йорик оставил Читателям на догадку.

* * *

Лондон, лежащий на плоском месте — покрытый вечным туманом — не радуется издали взоров путешественника. — Я проехал несколько улиц, и не видал ни одного великолепного здания. — Сердце мое упало. Вообразите несчастного, который вместе с пробуждением теряет одним разом все милые мечты свои: — я похож был на сего несчастного.

Привезли меня в маленькой трактир — на улице *Пикаделли* — два шага от *Геймаркета*.

Прежде всего надлежало нанять *лон-лакея*: это стоит нашими деньгами два рубля в день.

Потом надобно было надеть на себя с ног до головы все новое — и чрез час явились у меня башмаки, чулки, галстук, шляпа, и пр., кроме трости, с которою в Лондоне не ходят.

Важные, глубокомысленные англичане столько привязаны к моде, что смеются над бедным иностранцем, если он покажется на их улицах в том наряде, в котором приехал, хотя бы фрак его был скроен рукою славнейшего Парижского портного. — Здесь малейшее отступление от обычая, в рассуждении одежды, почитается в обществе непростительною виною.

¹ «Бедный Йорик».

Я хотел, севодни же идти смотреть город, но дорога чрезвычайно меня утомила: принужден, не дождавшись вечера, лечь спать. Прощайте, друзья мои! завтра напишу еще что-нибудь.

16 Августа.

Лондон город преобширной! — мало сказать *преобширной*, беспредельной — пропасть, которая должна со временем поглотить всю Англию! — Представьте себе два города и несколько деревень, которые, беспрестанно распространяясь, напоследок сблизились и составили один Лондон. С тех пор сей город страшно прибавляется. Лет сорок тому назад не было в нем и тридцати тысяч домов; а ныне более ста тысяч — и слишком миллион жителей!! Что из него наконец выйдет? Большие столицы великое зло в Государстве. Лондон окружностью почти равен с Москвою; и нет пустырей, и все дома под одну кровлю. Вероятно ли вам покажется, что в сем городе трактиров под разными названиями, и вообще всех публичных мест, где за деньги едят и пьют, более шести тысяч? и что почтовых Контор в разных местах есть до трех сот? Словом сказать: Лондон превосходит величиною все города в свете, и даже Париж. — Но кто хочет наслаждаться жизнью, тому надобно жить в Париже, а не в Лондоне.

До девяти часов утра в трактире моем все еще спали; и я принужден был, дожидаясь других, сидеть как арестант в своей комнате: таков образ жизни в Англии! редкий дом найдешь, где бы вставали прежде; ремесленники даже начинают работать очень поздно, и то прежде позавтракав хорошенько. Обедают в мещанских домах в два часа, в купеческих в три, в четыре и позже, а в знатных никогда прежде пяти.

В одиннадцать часов я был уже на улице.

Лучший способ ходить по Лондону, пока еще не узнал его, есть купить план города; что я и сделал. Здесь невозможно заплутаться; одна преширокая улица, называемая Оксфорд-стрит, которая простирается во всю длину города, меняя свое название от расстояния до расстояния, и множество прекрасных регулярных площадей, всегда выведут на дорогу. Везде для пешеходцев плиты, на которые ни один извозчик не смеет взехать, естыли не хочет, чтобы народ изуродовал его. — В Лондоне, кажется, все внимание обращено на выгоду людей небогатых.

Строение не хорошо; нет таких зданий, как в Париже, или в Петербурге; нет огромных домов, даже Дворец Королевской кажется снаружи конюшнею. Дома все кирпичные, очень гладко складены, ничем не обмазаны, построены на скорую руку, и весьма не прочно; обыкновенная высота им два этажа, редко три, и никогда более. Крыльца все с улицы; кареты не въезжают на двор. Наружные створчатые двери всегда изнутри заперты; кто придет, тому надобно стукнуть превеликим медным кольцом, которое висит на дверях, и служит вместо колокольчика. Слуге не позволяется стукнуть более

одного раза, всякому другому более двух раз, а хозяин возвещает свое пришествие троекратным ударением.

Но естли в Лондоне бедны дома — разумеется, бедны для *Лондона* — то напротив того улицы прекрасны: все чрезвычайно широки (по крайней мере в новых частях), все прямы, исключая старого города; все вымощены чрезвычайно хорошо, и оттого ни в какое время не бывают очень грязны. Здесь под всяким домом видишь лавки с большими стеклянными дверьми, всегда по вечерам освещенные богатыми хрустальными паникадилами, или жирандолями — лавки, в которых товары с превеликим искусством все выложены напоказ; особливо серебряныя и стальные вещи делают и при сиянии солнца и при освещении ночном прекрасной вид! блеск обработанного металла ослепляет зрение. А как притом улицы уставлены фонарями и наполнены во всякое время пешеходцами мужчинами и женщинами — весьма чисто одетыми, а особливо весьма чисто обутыми — то вся сия совокупность представляет картину поразительного великолепия.

Надобно путешествовать, чтобы не иметь предубеждений. Руской, которой не выезжал из своего отечества, уверен, что Петербург прекраснее всех городов на свете. Я сам так думал, но Лондон меня переуверил.

Я уже успел видеть на здешних улицах одну из любимых сцен Англинского народа, драку, или лучше сказать кулачной поединок: сцена отвратительная для всякого благонаправного и чувствительного человека! Избитого снесли с места замертво. Полиция не имеет власти удерживать таких драк, лишь только бы бойцы не имели при себе никакого оружия, кроме рук своих: это одна из привилегий Англинской вольности — одна, на которую Министры не нападают.

С одиннадцати часов утра бегал я до самого вечера; жадное мое любопытство гоняло меня из места в место; обедал у *ресторатера*; заходил часто отдыхать то в кофейные дома, то в конфетные лавки, и возвратился в свой трактир весьма доволен.

Теперь не имею ничего более вам сообщить; запечатаваю письмо свое, и посылаю его на почту. Желаю искренно, чтобы вы, друзья мои, проводжали время с такою же приятностью, с какою я провел его в первые два дни с моего сюда приезда. Обнимаю вас от всего сердца! Адрес мой.

23 Августа.

После моего последнего к вам письма располагался я употребить еще несколько времени на обозрение Лондонских улиц; но кошелек мой напомнил мне, что есть у меня дело понужнее. Надобно вам знать, что я предпринял путешествие в Англию без рекомендательных писем, без товарища, не зная английского языка — *и без денег...* Не считаю четырех сот марок, полученных мною перед отъездом моим

из Гамбурга от Г. К-са, и которых едва стало мне доехать до Лондона. — Отсюда вижу, как вы хмурите брови; отсюда слышу, как называете меня ветреным: но, друзья мои! всякому своя судьба! Вам определено наслаждаться в домах своих, всеми удовольствиями семейственной жизни; мне — быть скитающимся странником с душою всегда беспокойною, всегда растерзанною — и еще более беспокойною, естли долго остаюсь на одном месте. Рейналь написал, что путешественник не может быть добрым *гражданином*: не знаю; но уверен, что он может быть добрым *человеком* — честным и чувствительным; словом сказать, достойным вашего дружества.

Я всегда имел правило, путешествуя, посещать везде Руских Священников; они по большей части люди умные, и зная хорошо землю, в которой уже давно живут, могут на многое быть полезными. Следуя сему правилу, пошел я к Г. С-ву. Лон-лакей был моим проводником. Постучался раз, постучался два; потерял терпенье, и, наконец, стучался до тех пор, пока слуга выбежал стремглав осведомиться о неугомонной особе, которая столь неучтиво дерзала нарушать спокойствие господина его. Ввели меня в комнату, очень хорошо прибранную, и чрез несколько минут явился ко мне человек довольно молодой, довольно недурной, высокого роста, стройной, статной, осанистой, одетой с величайшим старанием, но без всякого оказания неприличного щегольства; словом сказать: молодой, хорошо воспитанной Лорд — и сей Лорд был Г. С-в Руской Священник при Посольстве.

Когда я сказал ему о своем положении в Англии, то он советовал мне перебраться из трактира в какой-нибудь Пансион, и послал одного из церковников к своему знакомцу, Англичанину, имеющему дом за городом, в части, называемой *Чельза*, узнать, нет ли там для меня помещения. Между тем мы разговаривали. С-в человек очень умной, знает хорошо Латинской язык, говорит по-Французски, по-Немецки, по-Англински и (если не ошибаюсь) по-Итальянски, — много читал, и сам переводит и сочиняет. Он любит Англичан до чрезвычайности; зато и Англичане любят его. Не думаю, чтобы он захотел жить где-нибудь в другом месте, кроме Лондона. В продолжение разговора нашего скоро я почувствовал, что признавшись в недостатке денег, сделал большую нескромность. Между тем посланной его возвратился с удовлетворительным ответом. — И Г. С-в имел на этот раз осторожность проводить меня сколько же учтиво, как принял.

Мы пошли с церковником смотреть новой моей квартиры и договариваться с хозяином.

Г. Перкс понравился мне с первого взгляда. Он содержит у себя маленькую школу и обучает детей языкам, Истории и Географии. Мне показали две маленькие комнаты в верхнем этаже, очень чистые и снабженные полным числом всех нужных мебели. О цене мы

не долго говорили; она была столь умеренна, что я тотчас решился туда переехать — и в тот же день, отпустя своего лон-лакея, расшелся с трактирщиком; после чего не осталось у меня в кармане ни одного пенса.

В продолжение времени много раз имел я случай благодарить в душе своей Г. С-ва за то, что он свел меня с таким хозяином, которого честностью, ласкою и попечениями обо мне не могу довольно нахвалиться. — Итак, видите, друзья мои, что посещение Рускому Священнику (хотя этот Священник и не похож на других) все-таки принесло некоторую пользу.

В Англии *жить в Пансионе* называется то же, что у нас жить *на хлебах*. Я обедаю и ужинаю с хозяином, пью вместе с ним чай, имею от него угли для камина, свечи и всю домашнюю услугу; сверх того обучает он меня Англинскому языку, и за все то плачу я 5 гиней в месяц, то есть по нынешнему курсу 40 руб. нашими деньгами, что составит 480 руб. в год. Подивитесь, как дешево можно жить в Лондоне! Девка убирает мои комнаты два раза в день; и не так, как убирают здесь: ежедневно стекла окон вымыты; ежедневно железо и медь у камина и дверей вычищены; всякую субботу ковер выбит на дворе, а полы и лестница вымыты. То же самое делает эта девка и в хозяйских комнатах: не понимаю, как она успевает, а сверх того она нянька, клюшница, казначейка; словом сказать, *все* без изъятия, кроме *кухарки*, которой должность отправляет другая. То, что я говорю об этом Пансионе, можно распространить и на все Пансионы Лондонские: везде чрезвычайная чистота, везде хозяева чрезвычайно ласковы и доброхотны к своим жильцам, везде жильцы в совершенной безопасности. Но есть Пансионы, где платят дороже, и следовательно живут роскошнее. Главная выгода таких домов для небогатых иностранцев есть та, что жилец, будучи в тесной связи с хозяином, и почти как родной в его семействе, становится знаком со всеми его знакомыми, и пользуется их обществом; — в земле, где сыскивать знакомства весьма трудно — научается легче и приятнейшим средством языку, и скорее узнает характер нации; в хозяине своем имеет искреннего советника и охранителя от всех неприятных случаев, которым в Лондоне иностранец подвержен более, нежели во всяком другом городе; живет дешевле, и не принужден издерживать всякой день наличные деньги. — Я советую всякому небогатому соотечественнику моему, которого любопытство завлечет в Лондон, начать тем, чтобы прожить в Пансионе по крайней мере месяца два, пока не узнаешь хорошо города. —

Вам, конечно, странно покажется, что я по сию пору не гуляю по какому-нибудь прекрасному и пространному загородному парку, не сижу на мягкой, зеленой траве — при меланхолическом свете луны, под шумом искусственного каскада — не слагаю в голове своей систем о строении мира, или о судьбе человечества; не поручаю зефирам нести мои чувствования, мои вздохи к богине этого *рая*, моло-

дой прелестной Англичанке — белокурой, нежной, томной, чувствительной — с голубыми глазами, с правилами достойными героинь добренькой *Скюдери*, с сердцем мягким, как воск на солнце; не описываю зданий, статуй, картин, монументов, редкостей, произведений Искусств и Натуры; не рассуждаю о правлении, о Министерстве, о политике, о торговле, о законах Англии — но вот мой ответ: я даю вам отчет в подлинных своих деяниях и мыслях; следственно намерен говорить только о том, что действительно со мною случилось — о том, что видел *своими* глазами, и в чем уверился *своим* умом. Не хочу собирать контрибуций со всех Авторов старых и новых, мертвых и живых; не хочу тиранить воображения своего для того, чтобы написать вам *роман*. Притом я еще не знаю, к чему служат все те путешествия (кроме однакож Стернова), которые называются *сентиментальными*? Не они ли, воспламеняя, обольщая ум и сердце, отвлекают гражданина от отечества, от родственников, от друзей; заставляют его гоняться за мечтательными удовольствиями, и лишают настоящих? Великие приключения нравятся молодому человеку: он думает, что найдет везде чудеса Удольфского Замка, освободит какую-нибудь Дульцинею от ее тирана, и сделает связь с двадцатью Элоизами; он думает, что будет принят везде с братскою любовью; что все Ученые отворят ему свои кабинеты, артисты — рабочие, а красавицы — будуары; — думает, и ошибается. Не нашед того, что романическое воображение представляло, он не видит *хорошего*, потому что надеялся *лучшего*; а дурное поражает его как всякая неожиданность. Мы имеем много путешествий (если на нашем языке писанных, то по крайней мере переводных), а ни одного такого, которое неопытному посетителю чужих земель могло бы служить вместо наставника: он знает еще до приезда своего в Лондон, что есть там зала Вестминстерская, Лондонская башня, церковь Святого Павла; а как ему сначала расположить свою жизнь, в каком круге людей искать знакомства, каких удовольствий или неприятностей ожидать должно, то совершенно ему не известно. Вы чувствуете, что я говорю о путешественнике небогатом, или посредственного состояния; потому что богатому везде хорошо. — Итак, друзья мои, я пишу не для забавы людей праздных, но для того, чтобы, уведомляя вас о себе, принести еще некоторую пользу и детям вашим, или приятелям. — Простите мне это маленькое предисловие: я совсем не имел намерения философствовать; но какой человек, взяв перо в руки, воздержится, чтоб не поумничать¹?

¹ *Письма Руского путешественника* разве не доказывают, что можно соединить цветы Литературы, Поэтические описания живописной Природы, чувствительность с *истинною*; что можно в одно и то же время писать и для *сердца* и для ума и для *воображения* и для пользы? — Но Г. К-зин у нас один; при том кажется, что *россиянин в Лондоне* имел более в виду иностранных Писателей, нежели наших. — *Изд. Мерк.*

Хозяин мой человек приятный. Он путешествовал и жил несколько лет в Париже. Долговременная бытность в чужих краях сгладила с его наружного и морального образа все черты характерные, и освободила его от национальных предубеждений. Кроме отечественного своего языка, он говорит по-латыне и по-французски; хорошо знает Географию, и сам сочиняет географические карты. Я написал ему одну статью о Петербурге для Географического Лексикона, над которым он ныне трудится. Хотя Г. Перкс мало похож на обыкновенного Англичанина, однако же держит сторону *оппозиции*, и вопиет на Правительство. Правду сказать, лишнее было бы требовать от Англичанина в этом случае равнодушия: здесь политика такая заразительная болезнь, что даже иностранцы, приехавшие сюда, тотчас ею занемогают. Жена его не красавица, но женщина очень любезная, хотя настоящая *Англичанка* — во всем смысле этого слова. Она долго жила в доме одной знатной Госпожи, где часто имела случай видаться и говорить с Принцами, Королевскими детьми и с лучшими Лордами. Детей у них один только маленький ребенок. Остаток семьи состоит из подмастерья и шести учеников.

Я заключаю свое письмо искренним желанием вам всего доброго. Что ж касается до меня, то я здоров, спокоен, доволен и весел.

3 Сентября.

«Молодая, прекрасная женщина ехали за городом в карете — парю — без лакея. Скачет к ней верхом человек порядочно одетый, и в некотором еще расстоянии кричит: *stop* (обыкновенное слово Англинских воров!) Кучер остановился. Дама вынимает кошелек с тремя гинеями. *И более нет? — Ни одного шиллинга. — А перстень на прекрасном вашем пальце? — Этот перстень стоит может быть тридцать, или сорок фунтов стерлингов... но я получила от любимого человека! —* Вор задумался. *Милостивая государыня! —* сказал он наконец: *люди моего ремесла не охотно расстаются с добычею: уступаю вам подарок любимого человека, но вы, надеюсь, не откажете мне в том, что я ценю гораздо выше. —* Красавица побледнела. Учтивой кавалер поцеловал ее руку, оборотил свою лошадь и скрылся из виду».

Какие любезные воры!

«В прошедшую ночь поднята на Чарль-стрите женщина, раненная в трех местах ножом: сомнительно, чтобы она осталась жива».

«В прошедшую ночь найден подле Вестминстерского Аббатства человек неизвестно кем застреленный».

Какие злые воры!

Я читал это сегодня поутру в газетах, сидя за чайным столиком с любезною хозяйкою. «И вы не боитесь ходить по городу?» — К чему нельзя привыкнуть! — отвечала она. — Впрочем редко убивают, более грабят. — «Не забавно быть и ограблену... Но или газеты ваши лгут, или не проходит недели без убийства». — Представьте себе, что жребий падает на одного из 20 тысяч человек!.. —

Англия наполнена ворами. Путешественники часто бывают принуждены выдерживать на больших дорогах настоящие сражения. В Лондоне, на главных улицах, в десять и одиннадцать часов вечера, при свете фонарей, при толпе многочисленного народа отнимают вещи и деньги так свободно, как в лесу! Флегматики идут мимо, видят и холоднокровно продолжают путь, не остановясь. Грабежи такого рода происходят всегда под видом драки. За простое воровство ссылают в Ботанибей, за насильственное вешают — и ничто не удерживает!

Однакож хозяйка моя права: *к чему не лъзя привыкнуть!* Я всякий день возвращаюсь из города пешком в одиннадцать часов вечера. —

Здесь теперь две особы достойные любопытства: славная *Кавалер д'Эон* — старуха, которая в женском платье учит фехтовать — и еще более славная *Дю-Те*. Эта обернулась несколько раз на колесе Фортуны: прожила миллионы; угощала Принцев, Министров, Ученых первой степени, величайших Полководцев, знатнейшее духовенство; раздавала повеления с великолепного ложа своего, делала щастие одним взглядом, и лежала в больнице на соломе. Ныне она имеет дружескую связь с одним лордом, только не за деньги, потому что сама довольно богата.

Здесь также и несчастная, интересная *Ла-Мот*. Сказывают, что когда она шла с эшафота, имея одну сторону груди и спины обнаженную для показания клейма, необыкновенная красота нежного ее тела пленила Англичанина, заставила его презреть все и увезти ее в Лондон. Думайте, как хотите; а я почитаю Англичанина за щастливого, что она согласилась ехать с ним: «*Le crime fait la honte, et non pas l'échaffaud*»¹.

Я слышал об ней очень смешной анекдот: бывший Французский Министр *К**, играл с нею в пикет, сказал *Madame, vous etes marquee!* — и *Ла-Мот* имела неосторожность рассердиться. —

Восемь часов!.. Пора в театр.

4 Сентября.

Где я был?.. Не во Дворец ил Амафонтской Царицы? — не на острове ли Калипсы или Цирцей? — не в раю ли Магометовом? — не знаю. Дайте время опомниться.

Друзья мои! хотите ли видеть образец красоты?.. Поезжайте, поезжайте в Лондон.

Здесь натура представляет все те формы, которыми восхищаются, смотря на картины Тициановы, или Корреджиевы. Здесь натура представляет то, чего ни Тициан, ни сам Апеллес, ни один смертный не мог изобразить на холсте: *душу* в каждой форме, *пружину* в каждой фибре.

¹ «Стыдно преступление, а не эшафот!» (фр.).

² Мадам, вы меченая (фр.).

Найдете и в других землях прекрасное лицо, но вместе с безобразным телом; найдете какой-нибудь порок: здесь прекрасная женщина вся прекрасна.

Вообразите богиню любви, когда она вышла из Океана; представьте себе глаза небесного цвета, большие, томные, сладострастные, губы маленькие, пунцовые, пленяющие милою улыбкою, два ряда зубов чистых, как перлы, волосы светлорусые, мягкие как шелк, стан прелестный, груди полные, круглые, члены образованные купидонами, выпуклости отлитые роскошью, тело нежное и белое как лилея, гладкое как атлас, пышное как роза; одним словом: представьте себе земное существо, ближайшее к наружному совершенству — и будете иметь портрет молодой Англичанки.

Кто дышал атмосферою пятисот таких красавиц, и нервы его не трепетали, как струны двинутой арфы, тот — камень, а не человек!..

Теперь должно испортить всю картину. Друзья мои! вдохните из глубины сердца: гурии, которых я описывал, торгуют своими прелестями. —

Оне составляют особый класс Лондонских *девок*, и ездят в главные театры, а особливо в Ковент-гарденский и Дрюри-ленский, *обязываться* на вечер (это их техническое слово). Одеваются щегольски, обуваются также; но всего более щеголяют тонким и чистым белым. Театры овещены великолепно; ложи построены в несколько ярусов; лестницы покойны. В партер ходят самые бедные люди. На билетах в ложи номеров нет; можно войти, в которую хочешь. Из нескольких тысяч зрителей не бывает, думаю, ста человек, приехавших для того, чтобы видеть пиесу; все прочие непрестанно бегают по лестницам, по коридорам, и занимаются только женщинами. При каждом ярусе есть комната с буфетом, всегда наполненная людьми; это *зала собрания*, в которой не редко происходят удивительные сцены.

Нигде в свете нет столько распутства, как в Лондоне. По ночам видишь множество Венериных жриц на всех улицах. Вчера я возвращался домой очень поздно чрез Сент-Джемесский парк; остановила меня прекрасная девушка лет семнадцати. «Пойдем ко мне». — Чего ты хочешь? — «Денег». — Сколько? — «Пол-кроны». — Вот целая корона. Прощай. — Нимфа, обиженная таким равнодушием; схватила меня за руку и неотвязно требовала поцелуя. «Хочу платежа, а не милостыни», — повторила она раза три. Я отдал ей гинею почти насильно, вырвался и ушел. Думаю, что она почла меня за сумасшедшего.

Приятнее говорить о прелестницах Ковенгарденских и Дрюри-ленских. Оне почти все из хороших семейств, и довольно хорошо воспитаны; почти все родились в таком состоянии, которое дает право на знакомство с порядочными людьми. Обольщенные Лордами в то цветущее время жизни, когда молодое неопытное сердце с удовольствием верит честности, увезенные из дому родительского, лишенные невинности, потом оставленные без утешения, без помо-

щи, обремененные проклятиями отца и матери, оне принуждены искать себе друга, покровителя. Но Англичане в любви такого рода весьма непостоянны: их связи, основанные на прихоти, редко продолжаются более двух или трех месяцев. Несчастные красавицы, переменяв несколько любовников, терпев от них самые грубые поступки и потеряв цену свою в глазах развратителей, прибегают наконец (может быть из отчаяния) к последней крайности порока и унижения. Были примеры, что такие девки, вышед замуж, сделались верными супругами и хорошими наставницами детям. Справедливость требует сказать, что оне и посреди самого разврата любят еще благопристойность. Их чрезвычайная опрятность, хорошие комнаты, скромное обхождение, разговор, иногда очень умной, бескорыстие, совсем неожиданное: все уловляет сердце, все обманывает воображение, и вместо Лаис показывает невинных жертв, кротких и любезных, достойных сожаления и нежного чувства.

Кроме обыкновенных и везде известных мест, в Лондоне есть множество домов, в которые милостивая Венера принимает любовников, укрывающихся от глаз ревности. Можно войти с женщиною, потребовать особливую комнату, ужин; пробыть час, два часа, целую ночь, сколько угодно, и быть уверену в ненарушимой тайне. За ночлег платят от одного шилинга до одной гиней. Найдешь иногда комнаты великолепно убранные — с богатыми кроватями, с дорогими паникадилами, с большими зеркалами, с благоуханными диванами на пружинах, со всеми выдумками роскоши и сладострастия. Такие дома весьма неблагоприятны важному Гимену и строгой Диане, покровительнице невинности — а особливо там, где молодые дамы могут ходить пешком и ездить в фиакрах, то есть в наемных каретах, взятых с площади.

«Хорошо ли это?» — спросите вы. — Нет, друзья мои. Но все большие столицы подвержены одной участи; но в городе столь обширном, столь многолюдном, как Лондон, отступление от благонравия неизбежно. Удивительно только, что люди богатые, знатные, ограничиваются таким удовольствием, которое может иметь человек самого низкого состояния. Ковры и диваны не заменяют любезности, а Лондонские женщины, которых покупают за две гиней, не стараются быть любезными: оне похожи на стыдливых невест, обвенчанных принужденно.

Расточительные Англичане скупы для женщин: оттого в Англии нет любовницы наемной, которая за 50, или 100 гиней не изменила бы верности. Хотел писать еще, но зовут обедать.

* * *

Найду ли я когда-нибудь в Лондоне хотя одну дурную вещь?..

Начиная от земледельческих инструментов до самых дорогих часов, от собаки, барана и быка до верховой лошади, от сапогов, которые носит слуга, до металла, блистающего на прелестной груди

молодой Леди, от стола, или стула бедного мещанина до великолепных уборов богача — здесь все хорошо.

Но всего прекраснее женщины: нельзя смотреть без движения, без удовольствия на милостивую Англичанку с Дианиным станом, когда она идет по улице в коротком Амазонском платье из темного, или черного казимира. Жаль, что такие красавицы имеют мужей флегматиков, которые занимаются более политикою и торговлею, нежели их прелестями!

Поверите ли, что Лондонское житье стоит мне дешевле Петербургского и даже Московского? Трудно вообразить придуманное здесь для выгоды людей небогатых. Имея в кармане несколько шиллингов, находишь себе услужников везде: в доме, на улице, в театре...

Просыпаюсь — звоню в колокольчик: является хозяйская девка, разводит огонь в камине, греет воду. Нет сахару: та же девка покупает в лавочке фунт, два фунта, три фунта сахару, исколотого и завернутого в картузы. Кафтан не вычищен: приходит искусной камердинер, чистит кафтан, одевает меня, и потом отправляется к другому для такого же дела. Это стоит крону (менее двух рублей) в месяц. Хочу писать к четверым из своих приятелей, которые живут на четырех разных концах города. Что делать? кого послать? Идет маленькая почта: отдаю четыре свои письма и на другой день получаю ответ. Такая почта ходит два раза в день. Надобно ехать; грязно: выхожу на улицу; стоят заложенные кареты; извозчик отворяет дверцы, и *должен* ехать, хотя бы не хотел; цена учреждена, расстояния определены; за каждую Англинскую милю и за час езды платят один шиллинг (37 копеек); но извознику оставляется на волю требовать платы за время, или расстояние, как для него выгоднее. Подъезжаю к театру: неизвестный человек отворяет мне дверцы кареты, и естели надобно, обтирает мои сапоги; даю ему два пенса (копейки три). Хочу газет, журналов: приносят их ко мне за совершенную безделицу, и на другой день берут обратно. Люблю читать книги: сто библиотек к моим услугам. Желая приятных связей... Не бойтесь, друзья мои! не оскорблю вашего благонравия, замолчу. —

Прилагаю счет, сколько мне потребно денег на годовой прожиток в Лондоне. По нынешнему курсу наш рубль составляет 31 пенс.

Комната в лучшем квартале города — просторная, чистая, покойная, с хорошим ковром на полу, с полным числом мебели из красного дерева — отдается обыкновенно за одну гинею в месяц. Двух комнат довольно. Это составит в год — 185 руб.

Угли для камина и свечи — 50 —

Слуги не надобно: хозяйская девка заменяет его.

Но камердинеру, который приходит одевать меня, плачу по 2 рубля в месяц — 24 —

Прачке — 60 —

Перукахера и пудры не надобно

Чай и сахар — 60 —

Я обедаю иногда у французского ресторатера; беру от четырех до пяти блюд, портер и кофе: плачу 80 копеек. Еще полагаю на завтрак и легкий — ужин по 70 копеек в день — 540 —

По Лондонским плитам охотно хожу пешком — и тем охотнее, что богачи, Лорды и женщины ходят пешком — а в дурную погоду нанимаю фиакр. Весьма довольно будет на извозчиков — 150 —

Гардероб в такой земле, где столько мануфактур и где не употребляют мехов, должен стоить в половину менее здешнего — 250 —

На карманные расходы — 181 —

Итого 1 500 руб.

Видев несколько земель и много больших городов, я совершенно уверился, что издержки одинокого человека зависят не от цены съестных припасов, но от порядка в жизни.

Прощайте.

8 Сентября.

Здесь Правительство гораздо учтивее частных людей: оно принимает всякого иностранца *как гостя, как доброго человека*; не делает ему никаких допросов, не оскорбляет его никаким подозрением. Приехавший в Англию должен явить свой пашпорт один раз в Портвом городе, после чего он может объехать все Государство, и прожить в нем десять или двадцать лет под именем, каким хочет. У ворот Лондонских никого не останавливают, не спрашивают; трактирщики и вообще хозяева отдаточных комнат не любопытствуют знать, кто платит им за квартиру. Эта нежность Правительства, и еще в такое время, когда Государство должно остерегаться шпионства и возмущений, делает честь Лондонской полиции: бояться только *слабые*. Отчего же воровство и драки на улицах?.. Может быть, политика Министров и гражданские права народа не дозволяют употребить строгости¹.

Напротив того, частные люди весьма неблагосклонны к иностранцам. Родиться не Англичанином и быть честным человеком кажется им непонятным противоречием. Думая таким образом, они принимают иностранца холодно, с видом презрения, с явным желанием уклониться от его знакомства. Справедливость требует сказать, что естли какой-нибудь особливый, чрезвычайной случай подаст об иностранце хорошее мнение, тогда Англичанин будет искренним и вернейшим его другом. Но можно прожить несколько лет и не дожждаться такого случая: а между тем сухой прием отнимет у человека самого терпеливого желание искать дружеских связей.

Знакомства, сделанные по обыкновенным рекомендательным письмам, везде мало приносят удовольствия, а в Лондоне еще менее.

¹ После 1795 года многое переменялось. Вольная Англия завела у себя почти Инквизицию Государственную. Теперь ни в одной Республике нельзя жить так свободно, так безопасно, как в России.

Трудно здесь иностранцу войти в приятельское общество: зовут его только на пиры, на великолепные обеды, на балы — и зовут очень редко. Притом Англинские собрания довольно скучны; их обеды выдуманы, кажется, для испытания человеческого терпения: садятся за стол в пять часов; молчат и с важностию наполняют свой желудок. По окончании этой механической работы отпускают женщин в другую комнату, остаются одни с бутылками и начинают располагать судьбою мира, повторять известное всякому наизусть. Уже под вечер входят к женщинам. Хозяйка разливает чай; потом играют в карты и, наконец, разъезжаются. — «Может ли тут быть разговор, где чашки непрестанно гремят, где хозяйка более занимается самоваром, нежели гостями?» — спрашивает Жанлис. — Какая великая розница между обществами Англинскими и обществами Французскими!

Ехав из Базеля в Цирих, на последней почте я познакомился с одним из наших спутников, графом де Б*, молодым человеком, сыном знаменитого отца, известного в Республике Литераторов по переводу Саллустия на Французский язык. Мы остановились в одном трактире, и оба имели намерение отправиться через несколько дней в Констанц. Б* поехал прежде; я хотел быть у Лафатера. По приезде моем в Констанц, любезный знакомец мой тотчас прибежал ко мне и повел меня к сестре своей, Маркизе де Ф*, которая тогда жила в одном доме с епископом Н*, Епископом С.М*, и Графом де Ш*, Генералом прежней Французской службы. В тот день была у нее вечеринка. Все осыпали меня ласками; женщины делали мне вопрос за вопросом, и чрез неделю я уже имел множество знакомств. Прожил в Констанце более месяца и оставил этот маленький город, весьма сожалея, что не мог прожить в нем гораздо долее.

Приезжаю в Лондон, являюсь с рекомендательным письмом к человеку богатому: после обыкновенных учтивостей, очень холодных, он вместо приглашения сказал только, что я *в случае надобности* могу с полною доверенностию требовать его советов и услуг. Через две недели мы встретились в Сент-Женесском парке. «Отчего так давно не видались?» — спросил он, пожав мою руку: «на завтрашний день не дали слова?» — Нет. — «Приезжайте в таверну***; мы... человека три... условились там обедать. В четыре часа». — Хорошо. — Я приехал, или, правду сказать, *пришел*. Знакомец мой имеет доходу около пятидесяти тысяч рублей, из которых тридцать издерживает на загородной свой дом, на книги, на картины и статуи, восемь проживает в Лондоне (в четырех наемных комнатах с одним камердинером), а двенадцать *бросает*. Он и приятели его спрашивали вина, пили много, шумели еще более. Один я ничего не спрашивал, и однажды заплатил из своего кармана пять гиней. Этот вечер доставил мне жестокую головную боль. Зато я узнал, что Фокс красноречивее Питта, что цветущая торговля обогащает всякое Государство, что в России холодно, а в Италии жарко, и проч. —

Расскажу вам смешное приключение, которое, может быть, отнимет у меня охоту ездить в здешние театры.

Я знаком с молодым соотечественником нашим. Он служит в гвардии сержантом и захотел увидеть Лондон. Вчера мы поехали в театр с одним из наших морских Офицеров и с Французским эмигрантом. Лишь только В* успел пройти несколько раз по коридору, как один пьяный Англичанин в расстегнутом кафтане, в расстегнутом жилете, в сапогах, забрызганных грязью, в шпорах, с хлыстом в руке, начал ходить мимо его, заглядывать ему в лицо и повторять: *Franchmann! Franchmann!* то есть *Француз! Француз!* Надобно заметить, что в Англии люди некоторого сорта почитают всех иностранцев за Френчманов. Сперва В* думал отделаться холоднокровием, однакож напоследок вышел из терпения и спросил наглеца, чего он хочет. Англичанин взял его за ворот, потащил в комнату и требовал неотменно кулачного поединка. Увидя нас еще троих, он выбежал на минуту и привел трех Англичан. С трудом мы прекратили эту неприятную сцену; но впечатление, которое она произвела во мне, долго останется. На кулаках сражаться я не умею, а с оружием в театр не ездят: что ж делать? Своеволие такого рода гораздо хуже воровства на улицах. И кто же был этот пьяный? — Лейтенант Королевской службы!

Вошел ко мне хозяин. «Письмо ваше опоздает». — Оно готово. Прикажите дать огня и сургучу. — Между тем я прибавлю еще несколько строк.

Посреди всех упражнений, посреди всех забав, мысль, что я разлучен с вами, друзья мои, пространством четырех тысяч верст, огорчительна душе моей. Нетерпеливо ожидаю ваших писем. Будьте здоровы, веселы, щастливы!.. и да избавит вас Бог от пьяных Лейтенантов в забрызганных сапогах — а особливо от желания скитаться по чужим землям! «*Ou pent-oil etre imeux qu'an Rein de sa famille!*»

1803 г.

¹ Где может быть лучше, чем в лоне своей семьи (*фр.*).

Письмо к Д.П.Северину

19 июня 1814. Готенбург

Письмо С. из Готенбурга

Исполняю мое обещание, любезный друг, и пишу к тебе из Готенбурга. После благополучного плаванья прибыл я вчерашний день на пакетботе Альбионе здоров и весел, но в большой усталости от морского утомительного переезда. Усталость не помешает рассказывать мои похождения. Садись и слушай. Оставляя тебя посреди вихря лондонского, я сел с великим Рафаэлом в фиакр и в беспокойстве доехал до почтового двора, боясь, чтобы карета под надписью «в Гарич» не ускакала без меня в урочное время. К счастью, она была еще на дворе, и около нее рой почтовых служителей, ожидающих почтенных путешественников. Дверцы отворены: я пожал руку у твоего итальянца, громкого именем, но смиренного званием, и со всей возможной важностию занял первое место; ибо я первый вошел в карету. Другие спутники мои (заплатившие за проезд дешевле) уселись на крышке, на козлах, распустили огромные зонтики и начали, по обыкновению всех земель, бранить кучера, который медлил ударить бичом и спокойно допивал кружку пива, разговаривая со служанкою трактира. Между тем как с кровли каретной сыпались готдемы на кучера, дверцы отворились: двое мужчин сели возле меня, и колымага тронулась. К счастью, то были немцы из Гамбурга, люди приветливые и добрые. Мы не успели выехать из предместий Лондона, и карета остановилась: в нее вошел новый спутник. Впоследствии я узнал, что товарищ наш был родом швед, а промыслом — глупец, но оригинал удивительный, о котором я, в качестве историка, будут говорить в надлежащее время. Теперь я на большой дороге прощаюсь с Лондоном, которого, может быть, не увижу в другой раз... Карета летит по гладкой дороге, между великолепных лип и дубов; Лондон исчезает в туманах. В Колчестре, знаменитый устрицами, прибыли мы в глухую полночь, а в Гарич — на рассвете. В гостинице толстого Буля ожидал нас завтрак. Товарищи мои: швед, два гамбургца, несколько англичан и шотландцев, все в глубоком молчании и с важностию чудесною пили чай и поглядывали на море, в ожидании попутного ветра. Таможенные приставы ожидали нас. Оконча все дела с ними, честная компания возвратилась к Булю. В большой зале ожидали нас новые товарищи, которые, узнав, что я — русский, дружелюбно жали мою руку и предложили пить за здравие Императора. Портвейн и херес переходили из рук в руки, и под вечер я был красен, как майский день, но все в глубоком молчании.

Товарищи мои пили с такою важностию, о которой мы, жители матерой земли, не имеем понятия. Нас было более двенадцати, со всех четырех концов света, и все, казалось мне, люди хорошо воспитанные; все, кроме шведа. Он час от часу более отличался, желая играть роль жентельмана и коверкая английский язык немилосердным образом... Англичане улыбались, пожимали плечами и пили за его здоровье. Ветер был противный, и мы остались ночевать в Гариче. На другой день поутру шотландец, товарищ мой из Лондона, высокий и статный молодой человек, вошел в мою спальню и ласковым образом на каком-то языке (который англичане называют французским) предложил мне идти в церковь. День был воскресный, и народ толпился на паперти. Двери Храма отворились, мы вошли с толпою.

Простота служения, умиление, с которым все молились в молчании, изредка прерываемом или протяжным пением, или важными звуками органа, сделала в душе моей впечатление глубокое, сладостное. Спокойные ангельские лица женщин, белые одежды их, локоны, распущенные в милой небрежности, рой прелестных детей, соединяющих юные гласы свои с дрожащим голосом старцев, древних мореходцев, поседевших на бурной стихии, окружающей Гарич; все вместе образовало картину великолепную, и никогда религия и священные обряды ее не казались мне столь пленительными! Самая церковь на берегу моря, в пристани, откуда столько путешественников пускаются в края отдаленные мира и имеют нужду в Промысле небесном, сей храм с готическою кровлею, с гербами, с простою кафедрою, на которой почтенный старец изъясняет простыми словами глубокий смысл Евангелия, сей самый Храм имеет нечто особенное, нечто пленительное. Около двух часов я просидел с моим шотландцем; он молился с большим усердием, скажу более, с набожностию. Примеру его следовали все молодые люди: и граждане мирные, и воины. Так, милый друг, земля, в которой все процветает, земля, так сказать, заваленная богатствами всего мира, иначе не может поддерживать себя, как совершенным почитанием нравов, законов гражданских и божественных. На них-то основана свобода и благоденствие Нового Карфагена, сего чудесного острова, где роскошь и простота, власть короля и гражданина в вечной борьбе и потому в совершенном равновесии. Это смешение простоты и роскоши меня поразило всего более в отечестве Елисаветы и Аддисона.

В сей день, незабвенный для моего сердца, один из путешественников, узнав, что я русский, пригласил меня прогуливаться. Мы бродили по берегу морскому посреди благовонных пахителей и лесов, осеняющих окрестности Гарича. Толпы счастливых поселян в праздничных платьях прогуливались вдоль по дороге или отдыхали на траве. Сквозь густую зелень орешника и древних вязов выглядывали милостивые хижинки приморских жителей, и солнце вечернее освещало картину великолепную. Меня все занимало, все пленяло. Я пожирал глазами Англию и желал запечатлеть в памяти все предметы, меня окружающие. Сидя на камне с добрым англичанином —

такие открытые и добрые физиогномии редко встречаются, — сидя с ним в дружественной беседе, мы забыли, что время летело и солнце садилось. Он прощался надолго с милым отечеством и говорил о нем с восхищением, с радостными слезами. «Как не любить такую землю! — повторял он, указывая на пленительные окрестности, — здесь я покидаю жену, детей, родственников, друзей и свободу». Британец пожал крепко мою руку, и мы возвратились в гостиницу.

Слуга извещает нас, что попутный ветер позволяет судам выходить из гавани. Я затрепетал от радости. Прощаюсь с товарищами, расплачиваюсь с услужливым хозяином, сажусь в лодку и с нее на желанный пакетбот «Альбион», к капитану *Маию*. Со мною два пассажира: проказник швед и какой-то богатый еврей из Лондона, великий шеголь и красnobай. Море заструилось; выходим из порта. Но ветер долго принуждает нас плавать около берегов графства Суффолк, которого маяков мы не теряем из виду во всю ночь. Признаюсь тебе, положение мое было не завидно, жить несколько дней с незнакомыми лицами, иметь в виду морскую болезнь! Что делать! Надобно покориться судьбе. Я сел на палубу и любовался *среброщуйчатым* морем, которое едва колебалось и отражало то маяки, то лучи месяца, восходящего из-за берегов Британии. Между тем еврей рассказывал повести, швед болтал о ковенгардских прелестницах, о портных, о лошадях и о Норвегии, которую парламент отдает принцу. Поздно возвратился я в каюту и спал мертвым сном, поруча себя Нептуну, Наядам, Борею и Зефиру, Кастору и Поллуксу, покровителям странников, и Венере, которая родилась из пены морской, как известно всякому. Поутру проснулся с головной болью; к вечеру стало хуже: я страдал. Ветер был противный, и ночь ужасная. Паруса хлопали, снасти трещали, волны плескали на палубу, и заботливый капитан беспрестанно повторял любимую поговорку: «Бедный Йорик, бедный Йорик!» На четвертый день свежий попутный ветер надувал паруса, и моя болезнь миновалась. Все ожило. Матросы пели, капитан шутил с евреем, но швед час от часу становился несноснее и скучнее. Где укрыться от него? Я узнал впоследствии, что он сын богатого купца, родом из Штокгольма, был послан в Лондон учиться коммерции, наделал там долгов и возвращается *riap-riapino*¹ в свое отечество. Его дурной немецкий и французский выговор приводили меня в отчаяние. При каждом движении судна он бледнел. То ему казалось, что капитан выпил лишнюю рюмку, то компас не верен, то паруса не на месте, и то не так, и это худо. Потом рассказы о Гайд-парке, о бирже, о Платове, о Веллингтоне; там описание сокровищ отца его. *И все, и все, чего мне слушать не хотелось!*

¹ Тихо-тихо (*ит.*).

Ежедневные записки в Лондоне

Лондонские театры

Ковенгарден, по моему мнению, еще превосходнее *Дрюлилена* расположением внутренности и убранством. Яркое серебро по бирюзе и зеркала украшают стены его. Открытие театра сего в 1809 году, когда отстроен он был вновь после пожара, сопряжено было с величайшим шумом и бунтом. Содержатели театра, потерпев большие убытки от пожара и употребив важныя суммы на постройку нового дома, хотели прибавить цены на места и удвоить число лож для отдачи в наем, но партер никак сего не позволял. Война продолжалась более месяца, и наконец Директоры прозьбами и убеждениями выпросили позволение у публики наложить пошлину за вход в ложи, а прочее все осталось по прежнему. В *Ковенгардене*, как и в *Дрюлилене*, находится только по осьми лож, которыя абонируются погодно первыми государственными чиновниками и знатнейшими фамилиями, и в которыя никто без позволения хозяев не может войти, во все же другия всяк имеет право садиться на порожнее место без различия. Это Англичане почитают священным правом вольности своей и равенства, и ни за что не согласятся отказаться от него. Полицию в театрах публика наблюдает сама между собою; естли кто например зашумит во время представления или сделает какуюнибудь обиду женщине — все обернутся к нему, закричат *out! out!* (*вон! вон!*) и в случае неповиновения вытолкают его насильно. Обвиненный иногда находит защитников, а потому и бывают сражения, которыя однако всегда оканчиваются победою над виновным и водворением на несколько минут глубокой тишины. Самолюбие Англичан обиделось бы, естлиб они увидели, что правительство смотрит за их благонравием и благопристойностию — удовольствия их очернились бы, естлиб показался явно в театре какойнибудь полицейский чиновник. Со всем тем полиция, не щекотя зрения наружностию и не удаляя от себя тем виновных и злоумышленных — рачительно наблюдает втайне за порядком. Кондтабели, то есть полицейские офицеры, ходят в Англии во фраках, но в кармане у каждого из них маленькая бронзовая палочка с Королевскою на конце короною: всякой буйной шалун слепо и без шума повинуетя, когда бывает тронут сим волшебным жезлом. Шум в театре начинается обыкновенно с половины представления, когда за вход принимается половинная цена. Часто случается, что при начале пиесы весьма мало зрителей, а при конце такое множество, что едва можно дышать. Эту *половинную цену*, народ Английский также почитает одним из священных прав своих, которыя переменить и самому Гаррику,

бывшему идолом публики, неудалось и стоило было весьма дорого. *Джон-Булль*¹ не любит никаких перемен, и крепко держится национальной старины, даже до предрасудков. Зрители в театре позволяют себе всякое положение, смеют хлопать, свистать, когда разсудится, и от того бывают часто смешные сцены. Вот одна, которой я был сам свидетелем. Представляли трагедию *Герцог Эссекский*. Королева *Елисавета*, в минуту пламенной любви своей, подарила Герцогу кольцо, поклявшись ему, что в случае нещастия, могущаго случиться с ним, он должен показать ей сие кольцо и будет спасен. Так точно и случилось. Скоро Елисавета охладела к Герцогу; он был судим и приговорен к смерти. За минуту до казни своей, он отдает кольцо любимице Королевиной и просит ее отнести его к Елисавете, но та положила его в карман и продержала до тех пор, пока Герцог был казнен. В последнем действии друг Герцога Эссекского укоряет любимицу, для чего она не отдавала кольца Королеве и тем была причиною его смерти? Любимица оправдывается, утверждая, что не получала никакого кольца от Герцога, как вдруг из райка раздался по зале громкий голос: *врешь, мерзкая, оно у тебя в кармане!* Тут всеобщий плачь, произведенный трагедиею — превратился в громкой хохот.

К всеобщему сожалению знаменитая актриса *Сидонс* удалилась с сего театра, на сцене которого приобрела она талантами своими отличную славу. Брат ее *Кембель*, лучший трагический актер в Англии, опять прошедшего году явился здесь на сцене и был принят с большим восхищением. Возвращение его было совершенным торжеством для него, ибо в отсутствии его *Кин*, сделался любимцем публики, и казалось, заставил забыть Кембеля. В самом деле мало есть актеров, которые знали бы театр лучше Кембеля: он представляет разительное доказательство того, что можно приобрести прилежным учением, и как можно наукою добавить достоинства, в которых отказала природа. Сему великому артисту не достает природного жару, тех порывов для выражения сильнейших страстей, которыми Французский трагик *Тальма* приводит в ужас зрителя, терзает и раздирает его душу, но Кембель за то превосходит его в искусстве приуготовлять и управлять сильными трагическими сценами. Он приводит зрителя в такое заблуждение, что игру его примешь за истинное чувство, изливающееся из его сердца.

Не смотря на постоянство Английского народа и его национальную гордость — политическая буря Европы имела влияние и на характер Англичан и переменяла во многом их вкус и нравы. Весьма жалко, что сия перемена очень ощутительна на театре Английском. Следуя ложному, нежному, утонченному вкусу, дерзают ныне наглым образом возносить нечестивыя руки на божественного *Шекспира*. Мастерския картины его, списанным с натуры, исполненные

¹ Так называется Английский народ.

возвышеннейших красот, которые оставил он нам в описаниях людей низшего состояния, стараются ныне выпускать на театре или переделывать¹. Гробокопатели его в *Гамлете* согнаны со сцены, хотя шутки их в точности изображают нравы простолюдинов тогдашнего времени. Таким же образом искажены *Виндзорския кумы* и почти все превосходныя пьесы безсмертного Барда. Отнявши у них природныя прелести, оставляют публике только пустыя призраки их. Это все равно, естлиб у нас вздумали переделать *Недоросля* и *Бригадира*, приноравливая их к нынешним нравам, и например, страсть Скотинина к свиньям, по нежному чувству — переменили бы в любовь к *мериносам!*

Должно однакож признаться, что можно согласиться к разлуке со всеми красотами той сцены, где *Мавр Отелло* из пустой ревности душит на театре прекрасную, невинную жену свою, которая, после продолжительных страданий и мучений, испускает дыхание пред глазами зрителей. Не могу пересказать, какое ужасное впечатление всегда производило во мне зрелище сей насильственной смерти: — это точно тоже, естлиб заставили смотреть на разбойника, режущаго горло другого тупым ножом.

При сем театре находятся две залы для прогулок, но оне не столь пространны и великолепны, как Дрюриленская.

Странность Английской нравственности

В Англии, земле самой богатой и наполненной благотворительными заведениями и учреждениями для бедных — находится более, чем в каком либо Европейском государстве *бродяг* и *нищих!* В земле, славящейся по всей справедливости нравственностью женского пола — более чем в Париже *Венериных жриц*. Как сообразить сии противоположности! А еще страннее покажется, естли скажу, что *богатство* и *нравственность* суть причинами оного.

Исследовать сие правило, значит написать пространную диссертацию о нравах Английского народа, а потому в доказательство сего, приведу только собственные оправдания Англичан, с которыми я совершенно согласен.

Англичане утверждают, что естлиб милостыня, которая дается нищим, не была столь *значительна*, то бы не было столько желающих промышлять сим легким ремеслом, тем паче, что каждый немощный и бедный имеет право итти в богадельню, кои заведения в Англии при каждой церкви.

Что касается до чрезвычайного множества Венериных жриц в Лондоне, то Англичане на сие возражают следующим: «У нас в Лон-

¹ На маленьких же провинциальных театрах и на ярманках в Англии, желая сократить пьесы, выпускают из них все кроме привидений, чертей и проч., что отменно нравится черни.

доне, где более миллиона жителей и где сверх того такое стечение иностранцев, считается 60 000 публичных девок. Сим ограничивается постыдное ремесло сие, между тем, как в Париже¹ и в других столицах *занимается* им половина замужних женщин...» Я с своей стороны прибавлю, что конечно нет земли, где бы супружеския обязанности лучше выполнялись как в Англии и где бы более было семейственного счастья. Самые сии развратницы, вышед замуж делаются целомудреннейшими женами и добрыми матерями. Совершенный контраст с правилами других народов! В Англии почитается простительною *слабость* в женщине, необязанной никому священной клятвою, но разрыв супружеских уз признается ужаснейшим преступлением. Сие поддерживается не только обычаем, но и самыми законами. Соблазнитель девицы наказывается денежною пенью, естли не хочет на ней жениться, но развратителю замужней женщины — грозит совершенное разорение или постыдная смерть.

Я также замечу, что самые Английские законы и благотворительныя заведения, дают некоторой повод к распутству девушкам. Ничего не может быть страннее и несправедливее закона на шет сей, выполняемого весьма строго в Англии и Америке! Клятва девушки принимается предпочтительнее и уважается более всех клятв мужчины, а потому, естли девушка на Евангелии побожится что *такой-то* причиною ея беременности — не смотря на все опровержения и доводы, он должен будет или на ней жениться, или обезпечить известною суммою воспитание ребенка. Сей несправедливой закон служит часто поводом к ужасным и смешным приключениям. Девушки стараются улавливать и обвинять людей семейный и богатых, дабы те, желая окончать поскорее дело без всякого шума, удовлетворяли их требованию. Я знал одного пожилого человека, который принужден был заплатить 40 фунтов стерлингов (800 руб.) по доносу одной девушки, не найдя доказательств в свое оправдание, как то отсутствия или чего другого, которые бы изобличили поклеп. Наконец новорожденный был *Арабчик*, а мой знакомец и мать ребенка белокурые! Он мог бы по законам наказать преступницу и получить свои деньги, но оставил ее в презрении. При обезпечении их со стороны беременности своей и попечении о дитяти, боязнь на шет сей не останавливает молоденьких и легковерных девушек предаваться в сети соблазнительей.

Сих несчастных жертв порока и легковерия шитается в Лондоне до 60,000, из коих только 20,000 имеют постоянныя жилища. Остальная часть ищет ночлега каждую ночь — имея на себе все свое имущество. Напротив первокласныя живут с роскошью владельцыных Принцесс. Кажется, сокровища *Голконды* и золото *Набобов* переходит в Англию для их услуг. Не чрезвычайная красота, не цветущая молодость, прелести и таланты возводят в Лондоне женщин

¹ Известна ненависть Англичан к Французам.

на право *Лаис* и *Аспазий*, приковывающих к колесницам своим, что есть только знатного и богатого в Государстве, но *мода* и *странный вкус*. Только женщина пожилых лет может в Лондоне войти в сию моду.

По вечерам стаи несчастных сих ходят по улицам и останавливают проходящих. На улице *Нью-боне* Вакханки сии пляшут *жигу* под музыку *слепых нищих*, которые иногда составляют довольно порядочные концерты на скрипках и кларнетах. Каждая из сих стай имеет свою улицу или перекресток, на которых *ремесленницы* из других улиц не смеют показываться, естли не хотят быть битыми или перемаранными грязью. Посты сии поутру сменяются нищими.

Нищие в Лондоне составляют неизвестный нигде более класс ремесленников, ибо ханжество здесь не есть признак бедности и нужды, а род промышленности. Они имеют своего Царя, свои законы и свои права¹. Первый решит их споры и назначает по выслугам места, где которому просить милостыни. Они делают даже между собою откупа; один у другаго откупает *перекресток*, *улицу* или *прибыльное место*, на котором ему досталось стоять по жребию. Они употребляют все возможные средства для приведения в жалость мимоходящих: ужасным образом разстравливают себе члены, искусно подвязывают руки и ноги, покрывают голову отвратительными нарывами и проч. К странности Английского характера — я заметил, что те нищие, которые метут *переходы* или освещают в темные ночи факелами грязные переулки — уже не просят, а требуют подаяния. Я был свидетелем, как однажды старик нищий, который обыкновенно чистил тропинку для проходящих противу моего дому, остановил весьма хорошо одетого человека и сказал ему: «вы, сударь, очень часто ходите по моей тропинке, а ничего мне не даете»². Эдакие примеры всего более открывают национальный характер. Узлей, славный Лондонский нищий, составил себе большое имение необыкновенною уловкою. Он становился на гуляньях и просил милостыни у одних женщин, коих сердца нежнее и сострадательнее. Сударыня, говорил он *одной*, прошу именем милых ваших глазок, *другой*, именем вашего прелестного стана; маленькия ножки, белыя ручки, прекрасная поступь, одним словом все было им кстати и в попадок замечаяемо и — Узлей возвращался домой с туго набитым кошельком.

¹ Есть печатная история славного Короля нищих, *Бенфилд* — *Мор-Карц*. Нынешний Царь их пожилой человек, безногий и ползает всегда вокруг биржи, которая почитается самым прибыльным местом для ханжества. Я его несколько раз видал и мне сказывали его имя.

² Напротив того, приятель рассказывал мне, что в Италии подал он богатую милостыню жалкому нищему, тот посмотря на червонец и на него, подобрал свои костыли, выпрямился, выставил язык и подражня его за излишнюю щедрость — отправился бежать.

Конечно все совершенное в природе трогает более наши чувства. Это известно и самым Лондонским нищим: я нигде не видал такого множества, как между ними детей, прекрасных как Ангелы и уродливых до отвращения. Недалеко от меня на *Оксфордской* улице сидела пожилая женщина, довольно хорошо и чисто одетая и держала на руках двух грудных малюток — божественной красоты. Никто не проходил мимо ея без того, чтоб не подать чего-нибудь, и я на щет сей брал всякой день по несколько копеек. Близко от сей прелестной группы сидела *Мегера* с двумя девочками, покрытыми рубищем и пластырями. На первых смотришь с умилением и даешь из жалости к милым творениям; от других содрагаешься и даешь из великодушия и ужаса. Возмущается человечество при помышлении о тех способах, какие употребляют сии изверги для приведения детей в жалкое положение; они колют их булавками, щиплют, искажают, изнуряют голодом для исторжения у них жалостных воплей, равномерно и при воспоминании тех средств, какими достают они детей. Не имея своих детей и не имея способа купить их, они воруют их, где только попадется, а не найдя в ребенке довольно способностей для плутовства и обманов, продают его трубочистам. До сей поры в доме Монтегю 1-го Мая ежегодно угощаются 300 маленьких трубочистов в празднование радостной находки между ними в сей день единственного наследника сего знаменитого имя, который был похищен нищими и после продан трубочистам; накрываются богатые столы в саду и сама Герцогиня угощает милых гостей.

Все собранное и напрошенное днем, нищие приносят вечером в кабаки, которые называют они своими *клобами*, где во всю ночь приносятся ими тучныя жертвы *Бахусу и Венере*. По примеру Индейского Могола, который обманул однажды *благочестивых* Факиров, объявив по всей Азии, что в такой-то день намерен он раздать им новыя платья — и когда они скинули свои лохмотья, то неожиданно велел скласть оныя в костер и сжечь, от чего получил несметныя сокровища в золоте и серебре, вытопившемся из *лоскутьев* бедности, — я согласился бы на сих кондициях дать из лучшаго сукна одеяния Лондонским нищим, и наверно не менее Могола получил бы барыша.

Главным театром всех распутств нищих и местом их жительства, есть *Сент-Жильс*, самая грязная часть Лондона, на западе лежащая. Она состоит из весьма тесных улиц, похожих на вершины разбойничьи, и служит кроме нищих, сборищем воров и мошенникам низшаго разбора. Лет 10 тому назад, имя сей улицы наводило ужас в Англии, и самая полиция не могла истребить сего зла. Никто не смел пройти не только ночью, но и в сумерки; кроме того, что мудроно было уйти, чтоб не быть ограблену — внезапно растворялись западны на тротуарах в кои падали нещастные и часто совсем пропадали.

Дабы познаться с нацією, надобно видеть ее во всех отношениях, со всех сторон и во всех состояниях. Руководствуясь сими правилами, я два раза ходил в *Сент-Жильские* клобы, в коих обедают

нищие, мошенники и бедной клас народа. Хозяева взяли верные способы и предосторожности противу обманов, которым прежде они часто подвергались. Во-первых, когда войдет в комнату столько людей, сколько могут поместить столы — убираются лестницы, и не спускают до тех пор ни одной души, пока все не расплатятся с хозяином. Во-вторых стаканы, тарелки, ножи и вилки, одним словом все вещи прикованы на цепочках, так что со всею хитростию и проворством не лъзя ничего украсть. А что всего мудренее, за обедом сохраняется тишина и удивительный порядок. Разговор же?.. О том, о чем в Англии беспрестанно слышишь в церквах, палатах и на улице, о том, чему поклоняются в Англии, как единственному кумиру, одним словом — о *деньгах!*

Мошенники, говорят, имеют в сем квартале свою Академию, в коей обучаются молодые кандидаты — выгружать чужие карманы, по правилам *систематическим*. Для сего повешена посреди горницы деревянная фигура, представляющая человека одетого в обыкновенное платье. К каждому карману привешен на пружинах колокольчик, который звонит при малейшем потрясении и неосторожности.

Все сии заведения и скопища известны полиции Лондонской, но не могли истребить их совершенно, она должна терпеть их собственно для своей пользы, ибо в противном случае они старались бы скрывать свои убежища, что весьма затруднило бы отыскивание покраж. Ныне же, по первому доносу о воровстве и подозрению на вора, констабель идет один одиныхонек в среду мошенников и ему выдают виновного, которого сами воры не защищают для своих выгод.

К числу празднолюбцев или тех, кои без всякого труда вырабатывают свое пропитание в Лондоне — принадлежит множество разнощиков афишек и объявлений о вновь открывшихся *кафейных домах, панорамах, лотереях, о перемене* квартир ремесленников и лавок и проч. Афишки о лотереях весьма любопытны. Я заметил из них две отлично забавныя:

1) Не забудь, что *такого-то* числа будет лотерея и один билет выиграет 20,000 фунтов стерлингов (400,000 руб.) другой 15,000 ф.с. и т.д. *подумай об этом!*

2) Стой и читай! *такого-то* числа и проч.

Также многия молодая женщины распевают на перекрестках баллады, а старья по улицам кричат в стихах афишки.

В месячные ночи на больших преспектах стоят преогромные телескопы, в кои за копейку можете рассматреть все планеты на небе и получить от показывающего объяснение.

Сколько легких способов к промыслу денег! но всего замечательнее то, что всякой стремится здесь к усовершенствованию ремесла своего или промысла, всякой занимается своею должностию, сколь бы пуста и незначуща ни была она, с важностию государственного человека. Пример сему имел я беспрестанно пред глазами у окон моих в продавце *тростей*. С какою важностию, с какою осторож-

ностию, он переставлял одну трость от другой, одувал их, перевертывал и поверял на каждом часу по несколько раз из дали глаз и вкус свой в их симетрии.

Сказав о уродливых нищих, должно также заметить, что нет земли на свете, где бы видно было *калек* больше здешняго. Сие можно приписать двум причинам: излишней свободе детей, кои быв пущены рано без присмотру падают и убиваются, или искусству *лекарей*, которые вылечивают чудесныя раны и убои.

1817 г.

Письмо к М.Я.Чаадаеву

Сентября 12/1.1823. Сомтинг.

Я перед тобою виноват мой милый друг премного; слишком три недели как я в Англии, а к тебе еще не писал. Может быть ты прочел в газетах, какия бушевали бури в Бальтике прошлого месяца и беспокоился о моей участи, тетушка тоже [признаюсь, что я недостойн смотреть на свет Божий, даже на туманный свет Англии]. Дай Бог чтобы письмо мое дошло к вам прежде газетных известий! Поверишь ли мой друг? в минуты бури самая ужасная, мысль о вашем горе есть ли погибну, всего более меня ужасала! — В извинение, скажу тебе, что с тех пор как в Англии, я все в сне; нас занесло южными ветрами чорт знает куды, и вместо Лондона я вышел на берег близ Ярмута, в графстве Норфолькском, миль за 150 от столицы. Мы носились по морю 17 дней, около норвежских и английских берегов; великое наше щастие что ветры застали нас по выходе из Категата — и, что мы прежде того потеряли наши topsels¹ (как по руски не знаю; верхушки мачт); со старыми, гнилыми мачтами мы бы наверно погибли. — Впрочем, я почитаю великою милостию Бога, что он мне дал прожить слишком полмесяца с беспрестанною гибелью перед глазами! — [Вы позволите мне не рассказывать вам подробнее о нашем плавании; оставим это для домашняго очага.]

Я пробыл в Лондоне четыре только дня; был в Вестминстере и взлезал на Павловский собор, как водится. Самую разительную вещь в Лондоне мне показалось [его необъятность], а самую прекрасною парки; надобно тебе знать, что все они рядом, St. James-Park, Green-Park, Hyde-Park и Kengsincton's-Gardens, что составляет несколько сот десятин зеленого пространства; это страх как хорошо. Впрочем, Лондон, как мне кажется, представляет то, что есть наименее любопытного в Англии, это — столица, как и многия другия, грязь, лавки, несколько красивых улиц, вот и все. Что касается страны, то это дело другое; остроумный Симон далеко не исчерпал вопроса; и уверяю вас, что здесь можно еще весьма многое сказать, чего не было сказано им. Что более всего поражает на первый взгляд, это, во-первых, что нет провинции, а исключительно только Лондон и его предместья; затем, что видишь такую массу народа, движущегося по стране, половина Англии в экипажах.

¹ Об этой оказии кажется я тебе писал из Гельзингора.

То обстоятельство, что я вышел на берег на значительном расстоянии от столицы, дало мне преимущество обозреть около двухсот миль английской земли. Я торопился в Брайтон; поэтому я пустился в путь тотчас, как только покончил дело с паспортом и взял немного денег. Приехав, я узнал, что морския купанья в самом разгаре. Пребывание в Брайтоне показалось мне прелестным в начале; мое очарование было таково, что, прогуливаясь вдоль моря на другой день после приезда, я не мог удержаться, чтобы не воскликнуть несколько раз, что же я сделал такого, чтоб заслужить столько наслаждения; а наслаждение было столь сильно, что я за него упрекал себя, когда вспоминал о вас, о тетушке и о Лизе, о ваших горестях и заботах. Чтобы сделать вам понятным это глупое восхищение, пришлось бы замучить вас описаньями и картинами, этому конца бы не было: пришлось бы сказать вам, что это самый прелестный город на свете, место встречи светского общества, и т.д., и т.д.; вместо всего этого вы получите эту маленькую гравюрку. В одном из этих домов я жил; нечто в роде подвижных будок, которыя вы видите на берегу моря, — в них едут к морю. Я купаюсь почти каждый день, и, между нами будь сказано, не замечаю от этого какой-либо особой пользы себе, но наслаждение это большое. Надо вам знать, что среди впечатлений, ощущений и размышлений, теснящихся в моем уме и в моей душе, ничто не может отвлечь меня от моей любви к морю.

В ту минуту, когда я пишу вам, я проживаю в деревенском доме, в коттедже, за несколько миль от Брайтона, на расстоянии двух ружейных выстрелов от морского берега. Я плачу три гинеи в неделю (что составляет на русския деньги 30 руб. серебром) за помещение и пансион для меня и моего лакея. Сознайтесь, что это немного, — в особенности, если принять в соображение, что мой дом весь обвит плющем и виноградной лозою, что он стоит среди гор, и что у меня в садике — кипарисы, лавры и розовый куст, поднимающийся до самой крыши, и цветы которого раскачиваются в моем окне.]

Теперь ты спросишь, доволен ли я? боюсь, не знаю; дай опомниться. — Признаюсь тебе в-протчем, что завираться по-прежнему в письмах как-то боюсь; меня пугает твой грозный вид; на всякое слово от души мне слышется: [напыщенность, тщеславие], притворство [слабость!]. Прости меня мой милой друг за эту выходку, и ради Бога не принимай за выговор. Покойнику Руссо говорили тоже, люди не хуже тебя; он в ответ озарял светом гения своего и их и весь род человеческий, — этого я делать признаться не умею, — а любить умею. Естли читая эту галиматью, мой друг, ты улыбнешься, то я виноват, естли же наморщишься, то я прав.

Когда-то я от тебя получу письмо? Банкиру своему велел я посылать ко мне письма в Брейтон, но еще не получал. Не затрудняет ли тебя адрес? очень просто: *a Monsieur Monsieur Baring a Londres, pour remettre a M. le capitaine Tschaadaieff*. Второе письмо напиши таким

же манером в Париж, — Ротшильду (Rothschild), о третьем говорить еще нечего. Естли почувствую от морского купанья помощь, то пробуду здесь или в Брейтоне месяца полтора, а там поеду на зиму в Париж. Естли же нет то уеду прежде. Я живу здесь в близи от острова *Вейт* известного по живописным своим видам; погода прелестная, но дни коротки, потому не знаю решусь ли съездить туды погулять. — Естли тетушка будет спрашивать о моем адресе, то попроси ее доставлять к тебе свои письма для отсылки, неделя или две разницы ничего не значит, главное дело чтобы доходили. — Якушкину, скажи или отпиши, чтобы он не сердился на меня, за то что не пишу — не поверишь как скучно писать тоже к двум или трем. Когда поселюсь на несколько времени в Париже, то отпишу ко всем.

Прости мой милый друг. Про здоровье свое мне нечего тебе сказать; никакого изменения нет; иногда хорошо, иногда очень дурно; бурное наше плавание было истощило меня, но теперь я несколько поправился. Болезнь моя совершенно одна с твоею, только что нет таких сильных palpitations как у тебя, потому что я не отравливаю себя водкою как ты. Когда будешь писать ко мне об своем здоровье пиши пообстоятельнсе моего, потому что пароксизмы твои тяжелее, от того что ты отравливаешь себя водкою, и несравненно опаснее, от того что ты себя отравливаешь водкою. Прости мой милый.

P.S. Не знаю написал ли я тебе все, что желаешь знать про меня и про мое странствие? есть разные подробности, которые тебя очень занимают, а меня нет. Может бы хочешь знать не затрудняет ли меня слуга? не очень; по сих пор это не вводит меня в чрезвычайныя издержки. Впрочем есть тысячу средств прожить дешево в Англии, но надобно их узнать, а за науку заплатить. Тьма домов в роде нашей таверны, Boarding-houses, в которых чрезвычайно дешево жить. Сверх того, газеты наполнены объявлениями о семействах, предлагающих взять к себе на содержание одного или двух господ, gentlemen. По деревням, в прекраснейших местоположениях, в самых красивых домиках, увидишь бумажки на окне с надписью: Lodgings, также с содержанием. Таким образом я нашел свою дачку. Приехал погулять в городок названием Ворзинг, спросил gig¹ поездить по окрестностям; мальчик подвез мне таратайку, сошел и подал бич, я хлестнул по лошади и поехал в горы. В конце каштановой аллеи увидел этот домик, и — взял его на неделю. — Одним словом все, что я предвидел, справедливо.

Может быть пожелаешь побольше описаний и рассказов, этому не было бы конца мой друг. Разумеется всякая вещь замечательна, но всего не напишешь, это бы был [дневник путешествия]. К тому же, с тех пор как живу на даче, в уединении, первые впечатления по

¹ Кабриолет (англ.).

изгладились, а собирать их теперь не хочется. — Разительная вещь! беспрестанное скаканье этого народа! В некоторых улицах Лондона не удивишься! Из всякого трактира, ежечасно по несколько десятков карет, всех возможных видов, отправляется во все части государства и в окрестности столицы — одна другой лучше и забавнее. — Еще раз мой друг прости — будь здоровь и люби меня.

Сделай дружбу поклонись Наталье Дмитриевне — да про себя постарайся мне изъяснить [как вы представляете себе ваше существование в Хрипунове — и какого рода наслаждениями вы там пользуетесь?] — Адрес лучше писать: a Londres, Messieurs Baring freres et C. — это их коммерческая их фирма — а потом pour M. le capit. Tschaad.

Дневник в Англии

20/8 января «Мы проехали городок Гравезид и вдаль увидели великолепную Темзу, покрытую льдом и кораблями из всех частей света. В Гравезиде таможня (custom-house), осматривающая прежде лондонской все корабли, идущие к Лондону. Паруса белеют вдоль по реке, и я смотрел на сию владычицу морей и частей света с благоговением. Туманы скрывали ее течение в отдалении, но говорят, что отсюда можно видеть ее на 10 миль.

Приближаясь к Лондону, туман и какая-то тусклость в воздухе становятся сильнее и запах каменного угля чувствительнее. Мы въехали в предместье, не примечая, что мы уже почти в столице торговли всего света. Я смотрел вдаль и старался увидеть Лондон, но уже был в Вестминстере — и предо мною аббатство его, и мост, и необозримая громада домов и замков Лондона!

Гринвич оставили мы в стороне, милях в шести от Лондона.

Мы проехали, таким образом, большую часть Кентского графства, значительного торговлею, промышленностью жителей, достопримечательностями историческими, особливо по связи его и по близости к твердой земле. Оно разделено на 8 уездов, по главным натуре почвы и ее произведениям.

Лондон. Мы приехали в 3-м часу в исходе и, оставив дилижанс в пропуск, уклали наши чемоданы в фиакр, отправились за ними в трактир Hôtel de la Sablonnière (Leicester square), где обыкновенно пристают бесприютные иностранцы. Пошли искать квартиру и бродили по туманному Лондону до 6 часов вечера. Уже в 4 часа на главных улицах засвещены были фонари, светлые, подобно нашим на Невской перспективе, по-здешнему устроенным. Чувствую неудобство от непривычки говорить по-англински, и уже мне кажется, что в Париже и более приветливости, учтивости и что там охотнее входят в разговор, отвечают иностранцам и отгадывают их желания и потребности. Я не нашел той толпы на улицах, которой ожидал найти, ни той чистоты, о которой наслышался так давно; но тротуары прекрасные и ноги не чувствуют усталости, которой они подвержены от неровной мостовой парижской. Квартиры немногим дороже парижских, но для двоих неудобны. Этаж часто в одну комнату, — она занимает гостиную или приемную с камином; спальня сверху и то для одного; другая в 3-м этаже, для человека комната в 4-м.

Чувство, с которым въезжаешь в незнакомый, обширный и многолюдный город особливо когда ввечеру очутишься один с собою и подумаешь о том, что предстоит все испытующему путеше-

ственнику, это чувство рождает какой-то spleen¹, о котором невольно вспомнишь в туманах Англии. Может быть, оно сильнее в нас и оттого, что

Поздно мы пустились в путь, и в первом молодости он скорее проходит и касается нас как бы мимолетом, но, прожив более полжизни в отечестве и для отечества, душа не всегда способна принимать живые впечатления новых предметов, сколько бы поучительны и примечательны они ни были.

Сегодня 20/8 генваря, ровно шесть месяцев, как я выехал из Петербурга: в тот же час, как я выезжал из заставы, въезжал я в Лондон.

21/9 генваря. Желая поскорее оставить свою мрачную келью, я пошел бродить, в грусти, по туманным улицам и уже нашел некоторые лавки открытыми, в других — чистили светлые окна и крыльца. Остановился у эстампов, и первая гравюра, которую заметил, представляла капуцина Бернарда в минуту решительной, также грустной, но и утешительной думы, указывающего на небо и говорящего: «*La nostra patria e il cielo*»². Слова сии ободрили меня; на минуту и в моей душе просветлело, и я подумал о жертвах необдуманного патриотизма с верою и упованием, а о России — с надеждою. Но якорь сей надежды утвержден только — в небе.

Был в канцелярии посла, получил письма парижские, писал в Петербург к Булгакову. Наняли квартиру за 2¹/₂ гинеи в неделю, у портного Мостера, Jermyn Street, St. Jame's Square, № 91. Мы обошли несколько улиц, скверов и не нашли квартиры удобнее и дешевле. Камин с огнем за ту же цену. Seeting-room³ хорошо прибрана. Спальня и постели чистые, и для камердинера приют удобный. Пробыл около часа у Крейтона, и званы к нему сегодня на чай. Обедали за 10 шиллингов порядочно в полуфранцузской ресторации. В одном блюде я ошибся. Я полагал, что черный пудинг есть то же самое блюдо, что и у нас под сим именем: мне подали черную сосиску!

Перед нами церковь и кладбище; вокруг нас непрерывный туман, в отечестве — смерть Александра и — жертвы! В 9 часов еще горел газ на улицах, туман все покрывал полумраком, и к 4 часам опять все потемнело. Где же солнце? Недаром один земляк его приказывал своему товарищу, возвращавшемуся не в подлунную, но в подсолнечную обитель, поклониться от него солнцу.

Провел приятный вечер в семействе Крейтона, разговаривая об Англии...

22/10 генваря. Воскресенье. Отправились пешком в церковь св. Павла, где в 10 часов началась служба. Туман препятствовал нам различать предметы (перед нашим домом не могли мы различить церкви), и мы смотрели на все, что нам указывал проводник наш —

¹ Сплин (англ.)

² Наша родина — небо (ит.)

³ Гостиная (англ.)

глазами веры. Вот мост Ватерлоо! — Где? — На правой стороне. Увидим, когда просветлеет. Вот ворота, в которые и король не смеет въехать торжественно, без позволения лорда-мера. Подошли и увидели городские ворота, Temple Bar, разделяющие Вестминстер от city, или города, преимущественно так называемого. Вот дом герцога Нортумберландского, англинского Шереметьева, мрачной и древней архитектуры.

Наконец, пришли мы в церковь св. Павла и вошли в боковые двери. Наружностию церкви мы не могли любоваться, ибо туман еще покрывал ее; главная паперть была пуста. Швейцар отпер нам двери на хоры; мы слышали пение мальчиков и церковников в алтаре, или в пропуск. Слушателей было весьма немного. В ложе сидел епископ. По совершении литургии проповедник пропуск сказал проповедь на текст «И сотвори его по образу и подобию своему»; говорил ясно, не красноречиво, но убедительно и в чистом евангельском разуме. Нам хвалили сего проповедника. В 12-м часу проповедь кончилась. Едва начали мы осматривать внутренность церкви, едва увидел я памятник Нельсону и Корнвалису, друг против друга стоящие, едва успел взглянуть на надпись строителю храма, Врену: «Si monumentum requiris, circumspice»¹, как уже нас погнало неумолимый педель с жезлом вон из церкви, и только мимоходом заметил я памятник критику Johnson'у. Перед церковью статуя королеве Елизавете, в ограде.

По дороге заходили мы в пять или шесть церквей и везде находили еще службу, которая, кроме св. Павла, во всех приходах начинается в 11 часов, а кончится в час, и потом в 3 опять начинается в Вестминстерском аббатстве. Опоздали только в немецкую церковь, к моему товарищу по библейскому обществу — Штейнкопфу. Служба в сей церкви уже кончилась; но я узнал его жилище и зайду к нему с письмом. Были у посла, разговаривали о происшествиях в Петербурге и узнали новое... но справедливо ли? — Не знаю. Возвратимся к нему обедать, от него в Вестминстерское аббатство. Желая застать еще служение, мы спешили в церковь и едва успели взглянуть на узорчатые колонны и стены и раскрашенные окна. Мы вошли с того угла, который называется poet's corner², и ряд бессмертных или, лучше, беспорядочная толпа их поразила меня: я увидел памятники и имена Дрейдена, Мильтона, другого Джонсона, и против воли оставил их, чтобы войти в церковь, где уже начиналось пение, приятно сопровождаемое прекрасными органами. Пасмурная древность храма оживлялась голосами поющих детей. Слабое освещение не позволяло всего видеть; но под сими стройными сводами и колоннами устроены деревянные ложи с резными украшениями.

¹ Если ты вопрошаешь памятник, оглянись (*лат.*)

² Уголок поэтов (*англ.*)

Не дослушав проповедника, спешили мы в Hyde-park застать модную публику на гулянье. Проводник наш при входе указал нам Веллингтона и почти перед самым жилищем его увидели мы Ахилла, вылитого из завоеванных Веллингтоном в Гишпании и при Ватерлоо пушек, в память победам его и в честь ему и его войску королем Георгом IV поставленного. Памятник сей окружен железною решеткою. Ничего не отделано еще вокруг него, и самый парк, оживленный каретами, конными и пешими гуляющими, кажется, ожидает еще зелени или утопанных песчаных тропинок. Начинало смеркаться, и мы возвратились домой.

(О Вестминстерском аббатстве — Нимейер 1-я часть Путешествие в Англию: Gode — об Англии и особенно аббатство Вестминстерское; Irving, Westminster abbey¹).

Не всем предоставлена судьба созерцать подобно Веллингтону, под своими окнами свое бессмертие и благодарность современного потомства — в памятнике! Но первый взгляд его из окна напоминает ему и столпы Геркулесовы и Геркулеса нашего времени, им и Александром сокрушенного! Пусть время ниспровергнет памятник, — но Веллингтон уже вкусил бессмертие. В меди, им растопленной, читает он дела свои. На ней блистают Сарагосса, пропуск, Waterloo, и отсвечивают в местных буквах вечную славу.

Обедал у посла с гр. Эйнзиделем. Познакомился с графиней Ливен. Ввечеру читал Ирвинга.

23/11 генваря... Поутру познакомились с нашим вице-консулом и с почтенным Смирновым, которого наружность отвечает его званию и доброй славе его.

Был у Steinkopf-a, но не застал. Оттуда в первый раз в английский театр: в Covent-garden. Давали «Отеллу» и я хотя немного понимал, но мог судить об игре актера, о ходе трагедии и о вкусе публики и сравнивать все сие с французским театром, видел ровно за неделю пред сим Тальму в Августе. Фарсы Арлекина — Harlequin or the magic Rose² — точно самые национальные. Более двух часов продолжались они, и ежеминутно новые перемены в сценах и в декорациях. — Все национальное, особливо лондонское, выведено было на сцену. Я присутствовал множеству народных увеселений, сцен всякого рода на улицах, в трактирах, у мостов, в банях, в дилижансах, в питейных домах. — В декорациях видел Петербург, Лондон в разных частях города, Дувр и множество других городов и явлений природы и общества английского. Я не мог дожидаться конца всех фарс, хотя они мне и не наскучили. Во многих узнавал я черты народные, и Гогарт полюбовался сим балетом и обогатил бы свое изобильное воображение новыми характеристическими замечаниями.

¹ Ирвинг. Вестминстерское аббатство.

² Арлекин, или волшебная роза (англ.)

Крик Отеллы можно только сравнить с криком в райке, несколько раз возобновлявшимся. Он заглушал актеров и один раз продолжался несколько минут, так что актеры перестали говорить и ожидали окончания сцены в райке. Мало-помалу зрители умолкли, и актеры опять заговорили; но изредка голоса громко вскрикивали и не заботились о тех, кои пришли слушать трагедию, а не кашлять в театр.

Вероятно, благоразумная часть публики уже привыкла к сим явлениям, ибо переносила крик, громкие разговоры, кашель, смех, сморканье безропотно и не смела требовать тишины, как то бывает во Франции при малейшем шуме, по крайней мере на главных театрах.

Сосед мой, француз, который ни слова не понимал по-англински спрашивал меня, что значит надпись на одной из декораций: «Soda water»¹, предполагая, что ватер значит вино, — не переставал сердиться на шум зрителей и смеяться над пронзительным криком Отеллы, над ходом всей трагедии, в которой, конечно, есть и повторения и слишком длинные сцены и монологи. Он не мог найти не только искусства Тальмы, но и Лафона в Kemble, который играл Отелло. Здешней публике, может быть, Тальма сначала не так понравился, ибо и в сценах, где бешенство и ярость его беспрестанно увеличиваются, как например в Августе, когда он узнает мало-помалу, что заговор в его семействе и что главные заговорщики — суть те, коих незадолго осыпал он благодеяниями, Тальма не кричит, но видишь возрастающие в нем гнев и негодование. Голос, черты его лица, взгляд его — все выражает ярость оскорбленного императора; но достоинства он нигде не теряет и одна душа его в волнении: не слышно криков.

24/12 генваря. Были у Major General Sir Neil Campbell и отдали письма барона Мерьяна. Сам он живет: Quadrant, № 61.

Нас приняли в посетители (visitors) здешнего клуба для путешественников (the travellers) на два месяца, который находится на улице Pall Mall, № 49. Там можно обедать и читать все журналы и газеты на европейских языках.

Мы провели более двух часов в созерцании и в рассматривании подробном Вестминстерского аббатства, всех его памятников и в чтении надгробных надписей. Там, где покоятся короли и королевы, sic gone² наш, указывая на безмолвные мрамор и бронзу, беспрестанно говорил — убит в таком-то году, казнен и проч. Ни в одной истории не встречается столько цареубийств, как в английской, и она была всегда и во многом предтечею французской. — Нынешнее положение английского народа изъясняется только сим прошедшим: Sanguina fundata es tu, Anglia. Sanguina cresit!³. В сей же церкви

¹ Содовая вода (англ.)

² Чичероне, провожатый (ит.)

³ На крови стоишь ты, Англия! Кровью создана! (лат.)

по разным сторонам покоятся две соперницы-королевы, из коих одна пала жертвою на эшафоте. Елисавета возвеличила Англию, но не смыла пятна крови, которая брызнула на нее с прелестной Марии! — Памятники Питта и Фокса, — гробы их едва ли не вместе! Сколько полководцев, умов государственных! Ряды бессмертных, оставивших блистательный след в истории, толпятся в сей сени смертной. Там лиги их вылиты и оживотворены в воске. Нельсон, желавший победы или Вестминстерского аббатства! Гатон в том самом наряде, в коем гремел с трибуны, как Нельсон на морях Европы и Африки! — Мы спешили к поэтам и гениям музыки. Статуя Аддисона, Гендель — пленяемый ангельской гармониею. Шекспир!! с тремя главами (лицами его трагедий). Томсон. Мильтон! О *Kare Ben Johnson! Rowe! John Gay*, Грей (при имени его я вспомнил о моем Жуковском!). Автор оставленной деревушки — Гольдсмит. Гаррик! — 152-летний нрзб, присужденный на 130 возрасте (!) к церковному покаянию — *for bastardy*¹.

Питт! в одеянии of *Chambre of the Exchequer*². Лондондери (*Castlereugh*) лежит близ Фокса и Питта! Исаак Невтон! опирается на 4 фолианта: богословие, хронология, оптика и философия, указывая на свиток, который поддерживают херувимы! Над ним глобус, с означением кометы 1680 года. Астрономия сидит на сем шару с закрытою книгою.

Стангоп близ Невтона!

Паоли, скрывшийся под эгиду Англии в бурное время Наполеона!

В голове моей не привел я еще в порядок сих бессмертных и записал только имена их, но ощущение полученных впечатлений при созерцании памятников сохраню.

Я несколько раз обошел и церковь. Оттуда в вестминстерскую залу, где обедает король в день коронации. Тут же зашли и в гражданский суд (*common pleas*) — и от предметов истории важной веков прошедших перешли к минутным распрям о кабриолете. В первый раз видел я гражданское судопроизводство в Англии. Потом в *King's bench*, где слышали двух адвокатов по делу государственному. Завтра услышим Брума, которого сегодня в первый раз видели в числе адвокатов. Трудно приучить себя видеть на сей скромной гряде человека, которого Европа признает одним из первых ученых и которого влияние на многочисленный класс народа неисчислимо.

Был в *клубе путешественников*. Я нашел там все газеты и периодические сочинения: немецкие, французские и англинские; новые книги на сих языках; библиотеку, в которую авторы присылают свои сочинения, и все потребности для грешного тела, не исключая и ванн!

¹ За незаконнорожденных детей (*англ.*)

² Казначейская палата (*англ.*).

25/13 генваря. Не застал Брума дома. Он уже ушел в King's bench, и мы вслед за ним; но другие адвокаты начали нелюбопытные play-doyers¹ — и мы пошли в вестминстерскую залу; были в Court of Equity² по части казначейства; возвратились в King's bench. Я познакомился в Брумом. Завтра авось услышу его. Между тем прислушиваюсь к английским звукам и приучаю глаза к парикам. Кажется, все лица приноровлены к ним. Судьи в красных мантиях, с белою опушкою и подбоем. Таких важных физиогномий редко встретишь на континенте, но здесь они сохранились еще для замков и зал готических и для судейской важности. Был у адвоката Sharpe, и его не застал. Обоим оставил письма барона Сталя и Журдана.

У нас был генерал-майор Campbell, провожавший Наполеона и писавший против Вильсона.

Вечеру был в Drugy-lane и видел «Гамлета», которого играл в первый раз в Лондоне Mr. Pelby, приехавший из Нью-Йорка и Бостона. По окончании пьесы публика долго и громко вызывала его — но не по заслугам. На театре лучше замечаешь превосходство театра французского в плане пьес. Как слабо и бессмысленно читал он прекрасный монолог Гамлета «To be or not to be»³ и как вся сцена холодна в сравнении с тем, что слушатель воображает при воспоминании глубокого ощущения при чтении сих стихов! — Я уверен, что Тальма сделал бы превосходную сцену из сего монолога.

После «Гамлета» — «Harlequin, Jack of all trades»⁴. Опять фарсы и прелестные декорации. Буря и море, с замком Дувра, покрытое кораблями, кораблекрушение — неподражаемы! Чудесное кувырканье на веревке, в самой вышине театра. Качаясь, держась одною ногою за веревку, кувыркался и в то же время играл на валторне.

Английские актеры не следуют советам великого своего учителя Шекспира, которые сумасшедший Гамлет дает актеру: «Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue; but if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town-crier spoke my lines» ... «use all gentry»... Но town-crier⁵ не так сильно кричит, как актер трагический, и совет Шекспира остался без пользы. — Тальма лучше понял его и не только в игре следует Шекспиру, но и в брошюре своей ссылается на сие классическое место для искусства драматического.

Апельсины полетели из райка, когда долго не являлся Pelby принять рукоплескания публики.

¹ Речи защитников (англ.)

² Суде справедливости (англ.)

³ «Быть или не быть» (англ.)

⁴ «Арлекин, мастер на все руки» (англ.)

⁵ Говорите речь, прошу вас, так, как я говорю ее вам, легким языком; а если вы станете горланить, подобно многим из ваших актеров, то я буду чувствовать, словно мои строки глашатай произносит»... «Но будьте во всем ровны» ... глашатай (англ.)

26/14 генваря. Вчера отказал я послу обедать у него сегодня; но узнав от Николая, что он хотел свести нас с Веллингтоном, который у него также обедает, и получив вторичное приглашение посла, я принял оное и просил Крейтона извинить меня, что я не сдержал слова ехать с ним в заседание Академии наук. Веллингтон возвратится сюда, вероятно, когда уже меня здесь не будет; Академию же могу я увидеть и после и, вероятно, с большею пользою, ибо привыкну более к языку. Лорда Бристоля не застал: он уехал вчера в Брейтон.

В King's bench слушал, наконец, Брума, но недолго. Видел Whitehouse, в котором теперь церковь, и в ней все трофеи Веллингтона и других: имена Наполеона и побед его на всех знаменах. Отсюда, из окна, брошен король пропуск и казнен на площади.

Видел католическую церковь: прекрасная картина, весь алтарь занимающая.

Wilks. Был у него в контопе, здесь он живет у банкира Raikes. W. et Th. Raukes et C^o, London Wall № 79.

Обедал у гр. Ливен с Веллингтоном, с sous-secretaire d'Etat Plante¹ и с лордом Росселем и женою его, принадлежащим к оппозиции. Физиогномия Веллингтона примечательная, и есть ли бы я его встретил и в обществе людей неизвестных, я бы, кажется, спросил: кто он? и не прошел бы его без замечания. Он собирается в Петербург 4 февраля. Тут же обедал и португальский посол.

Получил письма Карамзина и Жуковского. Перечитывал их с чувством дружбы и с грустию по отечестве, где ужасы — без пользы!

Писал к барону Мерьяну, к гр. Разумовскому и Бобринской, и завтра пошлю письма чрез посольство (и к графу лорду Бристолю).

27/15 генваря. Отправил письма. Отдал письма барона Сталя и Вилькса: Zacharia Macaulay, Esquire, № 50, Great Ormond Street, Russel-square. Его не было дома. Застать можно в 8 1/2 утра и в 5 перед обедом.

Колоссальная бронзовая статуя Фокса, с простою надписью его имени и фамилии, сооруженная в 1816 году на Вкоombsbury-Square, которая прежде называлась Southhampton-square. Статуя на гранитном пьедестале. Весь монумент около 16 футов вышины. Уверяют, что ни один портрет, ни одно изображение Фокса так не сходно, как в сей статуе. Он представлен сидящим в консульском костюме. В правой руке держит *Великую хартию*. Надпись: «Charles James Fox. Erected 1816»².

Через улицу на Russel-square, в виду его статуи, другая статуя: герцогу Бедфорду; того же артиста: Westmacott... Герцог опирается рукою на плуг, другую принимает дары Цереры. Четыре времени года в лице детей играют у подножия статуи, и пьедестал в барелье-

¹ Помощником секретаря ведомства земледелия (*фр.*).

² Чарльз Джеймс Фокс. Сооружено в 1816» (*англ.*).

фах украшен земледельческими орудиями. Надпись: «Francis Duke of Bedford. Erected 1809»¹.

The British Museum. Одно из богатейших собраний в Европе. Первое основание оному положил знаменитый натуралист Sir Hans Sloane с тем, чтобы публика могла свободно пользоваться сим заведением. Он отказал британскому парламенту собрание естественных произведений, книг и рукописей на 20 тысяч фунтов стерлингов. Музеум вмещается теперь в большом здании. Библиотека, reading-room² тут же, но в нее впускают по особым билетам, на известных правилах. Тут и Cottogian library и Harleian library. В последней при основании было более 7000 рукописей.

Разные коллекции музеума разделены по комнатам. В одной из первых видели мы добычи путешественников вокруг света, в орудиях, доспехах, одеждах и проч. разных народов. Например, Кука.

В 7-й комнате находился на столе, под стеклом, оригинал *Великой хартии*... Далее минералогический кабинет. Орнитологическое собрание. Окаменелости и остатки выкопанных из земли животных, между коими и сибирский мамут. Зоофиты. Ихтиологическое собрание. Но мы спешили к древностям, коими сей музей отличается пред другими европейскими. Здесь Тонлеево, Эльгиново и Гамильтоново собрание древностей: египетские, греческие и римские. Мозаики. Славный египетский саркофаг. Рукописи на папирусе. Ваза Barbarini или Портландова: темно-синего стекла с фигурами молочного цвета. Но всего примечательнее для любителя древностей и даже не для знатока есть собрание Эльгинова древностей греческих, коих он лишил отечество, обогатив свое. Я вспомнил стихи Байрона на сие похищение красот и произведений искусства! Лорд Эльгин приобрел сей мраморы во время посольства своего к Порте. Они принадлежат к первоклассным произведениям древности, — и знатоки не могут еще решиться, трем ли образцовым произведениям — Аполлону Бельведерскому, Лаокоону и Торсу — или сим мраморам отдать преимущество?.. Полагают, что они произведены Фидиасом и что они составляли часть Парфенона.

Около 2 часов восхищались мы ими с книгою в руках; но не одна статуя так не поразила меня, как *Ириса*, одна из дочерей Океана и посланница богов, особливо Юноны. Она представлена в быстром движении. Забываешь, что пред глазами мраморная громада: кажется, она бежит и движение не остановлено, не окаменело в мраморе, а выражено в минуту быстроты оного. Покрывало Ирисы надулось от воздуха и летит за нею. Она спешит исполнить поручение, ей данное: возвестить в отдаленных краях земли — рождение Минервы! — Здесь должны учиться художники, здесь образовать вкус свой. У сих колонн полуразрушенных, у сих барельефов, коих и время и турки

¹ «Френсис Дюк Бедфордский. Сооружено в 1809» (англ.).

² Читательный зал (англ.).

пощадили, должны образовать вкус свой зодчий и каменотесец, живописец и — сам поэт должен искать вдохновений у подножия сих статуй, у сих обломков, свидетельствующих славу Греции и — нашу неблагодарность!

К счастью, в нашей Академии художеств есть слепки с некоторых барельефов...

Вечеру был в театре Adolphi Theatre Strand и видел две пьесы — мелодраму «The pilot, or the tale of the sea»¹, в которой главный актер, Terry, играл порядочно; другие плохо, особливо женщины. И одеты так же. Впрочем, этот театр более для простого народа, чем для fashionable². Другая пьеса: «Anaconda. New burlesca. The terrific serpent of Lesboa»³. Везде, где могут действовать машины, англичане превосходны. И тут явление змеи, ее быстрые и искусные движения заслужили полное одобрение публики. Большой комической пантомимы, которой заключили спектакль, я не дождался: «The golden lamps, or Harlequin and the Wizard Dwarf»⁴.

28/16 января... Продолжая путь к city, зашли мы на Adelphy terrace и в первый раз еще благодаря солнцу увидели Темзу в блеске утреннем, который пронизал туманы ее. Мы стояли над Темзою — и любовались мостом Ватерлоо (за нами дом, в котором жил Гаррик), сооруженным вследствие акта парламента менее, нежели в 7 лет; ибо хотя первоначальный план оному составлен был в 1806 году Калонном, но в 1811-м Kernic, esq<uire> переделал оный во многих частях, и первый камень положен в октябре 1811-го, а 18 июня 1817 года, в день Ватерлооского сражения, мост открыт для проходящих, в присутствии принца-регента и героя ватерлооского. Мост сей единственный в своем роде по строению и отличается от всех других уже тем, что он совершенно ровный и ни с одной стороны ни мало не возвышается. Арки его — необыкновенной величины и во всех частях соблюдены простота и единообразие, что придает ему еще более величия. Архитектор избрал для построения сего моста материал несокрушимый — первобытный гранит! Наружные части из Cornish granite⁵, балюстрады — из альберденского. И материалы, и художники, и слава Ватерлоо — все принадлежит Англии. Вся отделка моста, особливо при впуске на оный проходящих, удивительной прочности и со вкусом. Более 1 100 000 стерлингов употреблено на сооружение сего полезного памятника. Вид с оного прелестный. Сперва назвали его the Strangebridge; имя Ватерлоо дано ему актом парламента в 1816 году. Благодарность, польза и слава народа подают друг другу руку — и каменотесец передает их векам!

¹ Лощман, или морская повесть» (англ.).

² Светского общества (англ.)

³ «Анаконда. Новый бурлеск. Ужасный лесбийский змей» (англ.)

⁴ Золотые лампы, или Арлекин и Волшебник-гном» (англ.)

⁵ Корнуэльского гранита (англ.).

По дороге вошли мы на несколько минут во двор Сомерсетских палат, четверугольное строение от Стренда до Темзы простирающееся, в коем ныне помещаются Академия художеств, Королевское общество и другое общество древности и многие правительственные места. Мы спешили в Temple, древнее строение, напоминающее именем своим (knight-templers) крестоносцев, имевших на сем месте первое свое учреждение. По уничтожению сего ордена, профессеры of the common law¹ купили жилища крестоносцев и обратили их into inns². Двор и сад — для всей публики. Последний простирается вдоль по берегу Темзы. В библиотеке есть редкие рукописи. В церкви храма (the Templechurch), примечательной по своей архитектуре, лежат крестоносцы, из коих трое принадлежат к фамилии графов Пенброков, узамы родства связанной с знаменитым родом графов Воронцовых.

Кто читал Скотта, тот смотрит на сии древности иными глазами. Надпись на часах пропуск.

От воспоминаний древностей перешли мы к печальной существенности, в так называемую тюрьму флотскую (Fleet-prison), где содержатся за долги и за маловажные проступки (for contempt of the court of Chancery)³. Строение из 4 этажей, по коим распределены заключенные. В середине оного обширный, чистый двор, огражденный высокою стеною. Мы застали в нем содержащихся играющими в меловой мяч, коим вся стена была испещрена белыми пятнами. Для чего бы и в других тюрьмах не завести для маловажных нарушителей общественного порядка такое здоровое увеселение? Те, кои могут платить одну гинею в неделю (что составляет около 25 руб. ассигнациями), имеют особые комнаты; но все пользуются правом жить здесь с семейством. Мы видели детей, играющих в темнице отца.

Недалеко и New-gate, здание обширное и мрачное, украшенное цепями снаружи. Мы не могли видеть внутренность оного за недостатком зрителей, и нас пригласили прийти в другой день. (Дальнейшие похождения сегодня впредь).

29/17 генваря... Бродил по городу, был в Гайд-парке и видел тысячи прекрасных экипажей и народ — и солнце! День был прекрасный. Не видно полиции, а везде тишина и порядок, при многочисленности народа. Все одеты хорошо, и бедности ни в чем и ни в ком не заметно. Говорят, что император Александр в Лондоне спросил: «Где же народ?» — В самом деле его нет здесь, в русском смысле этого слова; но в смысле англинском, он везде — и одно самодержавие мешает видеть его...

30/18 генваря... В церковь св. Павла. Купол, униженный трофеями. Памятники. Первый поставлен Говарду. Надпись на оном и в

¹ Обычного права (англ.).

² В гостиницы (англ.).

³ За оскорбление суда лорда-канслера (англ.)

ней: «Russian Tartary»¹, где он умер жертвою своей филантропии. Samuel Johnson. Ему воздвигли памятник приятели. Нельсону, и гроб его под центром церкви: место, которое готовил себе, так как и гроб Вольсей. Мы всходили на галерею, где малейший шепот слышен. Обошли ее и снова шепот на одной стороне галереи слышен ясно на противоположной. Взошли выше и, несмотря на туман от каменного угля образующийся над городом, любовались им и Темзою и шпицами готических церквей и памятниками. Отсюда можно судить о величине города и о его многолюдстве.

Сходили вниз, в подземелье церкви, где стоят гробы и лежат бес- смертные, каков Нельсон и сам зиждитель храма — Врен. Здесь-то первоначально надписана над могилою известная надпись: «Si monumentum quaeris, lector, circumspice!»². Факел освещал нам темные ходы и пещеры, где сокрывают знаменитых за заслуги Великобритании с того времени, как в Вестминстерском аббатстве для них не стало более места.

Долго, долго бродил по церкви и рассматривал памятники. Они точно украшениями оной и поставлены симметрично и в надлежащих местах. Много еще и — праздных. Дорого будет стоить миру и Англии пополнение оных!

Видели трофеи Нельсона и первую модель церкви, составленную Вреном; лестницу, которая ведет вокруг стен к библиотеке, напоминает нашу на черном двореке; библиотеку и рукописи; колокола не пошли смотреть, ибо против московского — он зазвончик.

Мы нашли в газетах объявление, что сегодня в Лондонской таверне будут праздновать день рождения of Thomas Paine, записались на обед и в 5 часов явились туда. К 6 часам собрались гости, уселись (около 100 человек). Пообедали довольно скромно, и каждый за полбутылкою шереса начали пить за председателем Carlile тосты.

1-й — Пену: «We meet to respect his memory, and to extent his principles». «Hurra!»³ — раздался в зале, но ни шума, ни смеха, ни малейшего признака веселости!

2-й тост Richard Carlile, сам президент, коего имя известно по процессу за перепечатание с примечаниями книги Пена и по тюремному заключению: «We thank him for his fortitude and rejoice that his sufferings have established the right of free discussion»⁴.

Карлиль отблагодарил и снова предложил другие здоровья; но между каждым проходило в молчании около получаса.

¹ Русская Татария (англ.).

² «Если ты вопрошаешь памятник, читатель, оглянись!» (лат.).

³ «Мы встречаемся, чтобы почтить его память и распространять его принципы». «Ура!» (англ.)

⁴ «Мы благодарны ему за его твердость и радуемся, что его страдания дали основание права свободной дискуссии» (англ.)

3-й тост — *mr. Carlile's fellow-sufferers*. «We feel indignant that any of them remain in prison»¹. Вместо него самого это здоровье предложил Taylor, поп-растрига, который учредил the Christian Evidence Society².

4-й тост. *The Chr<istian> Ev<idence> Soc<iety>*. «Its extension — and thank to its founder, the R<everend> Robert Taylor»³. Он благодарил речью, весьма примечательную.

Потом предложено здоровье, которое не вписано в печатную: «Lists of the toasts and sentiments intended to be offered to the company assembled at the city of London Tavern to celebrate the birthday of Thomas Payne. January 30. 1826»⁴. За греков!

5-й тост — *the mechanics Institute, and Schools of science generally*⁵.

6-й — Robert Owen. «We admire his perseverance in his career of humanity and generosity»⁶.

7-й — *the female Republicans*. «Their presence would have added grace to our company»⁷. Один из тех, кои наставляли президента Карлиля, что ему делать и говорить, объявил за него, что дамы обещали приехать к обеду, но раздумали.

8-й. *The States of America*. «May their republicanism extinguish their superstition»⁸. (Taylor опять говорил речь, напал, сам поп, на попов протестантских и католических).

9-й. *The republicans of Haity*. «May the neighbouring Isles became equally independent»⁹.

10-й. *The representative newspaper*. «If an organ of any portion of the ministry, we hail their approach to the principles of Thomas Paine»¹⁰. Тут опять Taylor ораторствовал, указывая на герб Англии над окном, близ президента, смеялся над королевским достоинством, в виде льва и единорога, и заслужил громкие рукоплескания и крики:

¹ За лиц, страдавших вместе с мистером Карлейлем. «Мы негодуем на то, что некоторые из них еще находятся в тюрьме» (*англ.*)

² Христианское эвиденс общество (*англ.*)

³ За христианское эвиденс общество (*англ.*). «За его расширение — и благодарность его основателю, преподобному Роберту Тейлору» (*англ.*)

⁴ «Перечень тостов, предназначенных быть предложенными лицам, собравшимся в Лондонской таверне почтить день рождения Томаса Пейна. 30 января 1826» (*англ.*)

⁵ За Институт механики и за все научные училища! (*англ.*)

⁶ За Роберта Оуена! «Мы восхищены его настойчивостью на стезе гуманности и великодушия» (*англ.*)

⁷ За женщин-республиканок! «Их присутствие увеличило бы привлекательность нашего собрания» (*англ.*)

⁸ За Соединенные Штаты Америки! «Пусть их республиканизм уничтожит их предрассудки!» (*англ.*)

⁹ За республиканцев острова Гаити. «Пусть соседние острова станут также независимыми!» (*англ.*)

¹⁰ За газету Палаты представителей! «Если это орган в какой-то мере кабинета министров, то мы приветствуем приближение их к принципам Томаса Пейна» (*англ.*)

«Hear! hear!»¹. Этот тост намекает на новую газету, в издании коей полагают участником Канинга.

11-й. Protestant, as well as catholic, emancipation²

Taylor опять ораторствовал, хвалил ирландцев и нападал на прирестителей их и на попов обоих исповеданий.

12-й. The memory of Rousseau and Voltaire, of Diderot and D'Holbach. Заступающий место президента объяснил, что прежде всегда пили за здоровье Мирабо, яко за автора книги «Systeme de la Nature»³, но с тех пор как узнали, что истинный автор ее барон D'Holbach, вписали его имя в тост.

Три раза трое импровизировали стихи и пели их. Оставалось еще четыре здоровья; но мы не дослушали и оставили в 10-м часу не шумную, но спокойно-буйную кампанию и возвратились домой. — В таверну съезжались уже на бал.

13-й. The memory of Benj. Franklin and Elihu Palmer.

14-й. The memory of Tindal, Toland, and Annett; of the archbishop Tillotson and Dr. Conyers Midleton; of Byron and Shelley; and of all Englishmen who have written to the end of human improvement⁴.

15-й. The memory of all others who have laboured for the improvement of mind.

16-й. Universal benevolence⁵.

Я неохотно пил тосты Вольтеру и Гольбаху и, признаюсь, с стесненным сердцем молчал, когда англичане осыпали одобрениями Taylor'a, основателя of the Christian Evidence Society, которое собирается с тем, чтобы доказывать, что вся история христианства наполнена ложью, и вызывает, чрез газеты, доказывать противное в собраниях общества. — Неприятно было также пить за здоровье человека, который, будучи огражден английскою свободою говорить, что придет в голову против Бога и правительства, с смешною важностию нападает на royalty⁶, выхваляя республиканизм, и на штукатурного льва, изображенного на карнизе в гербе Англии. Допуская титул reverend⁷ в печати в тосте: «Protestant, as well as catholic, emancipation»⁸, — ругает попов и самое священство и доказывает, что надобно и католи-

¹ «Слушайте! Слушайте! (англ.).

² За эмансипацию протестантов, равно как и католиков! (англ.).

³ Слава Руссо и Вольтеру, Дидро и Гольбаху!.. «Система природы» (англ. и фр.).

⁴ Слава Бенъямину Франклину и Элиу Пальмер. Слава Тиндалу, Толанду и Аннетту; архиепископу Тиллотсону и доктору Коньерсу Мидлетону; Байрону и Шелли; и всем англичанам, которые писали, имея свою целью усовершенствование рода человеческого (англ.).

⁵ Слава всем другим, которые трудились для успехов разума! Пожелание успеха всем (англ.).

⁶ Королевское достоинство (англ.).

⁷ Преподобный (англ.).

⁸ За эмансипацию протестантов, равно как и католиков! (англ.).

ков и протестантов освободить от них. Физиогномия почти безмолвного президента напоминала тюрьму, из которой он едва вышел и где сидел за распространение книг противу религии. Сосед мой объявил нам свое мнение, что почитает Thomas Paine, автора книги «The reason of the age»¹ и других, величайшим человеком, на что теперешнее поколение слишком искажено, чтобы чувствовать всю цену и достоинство его.

Переезжая из одной страны в другую, хотя и одним каналом разделенные, примечаешь в одной господство, хотя и тайное, конгрегации или иезуитов и духовника королевского, а вследствие оного в Испании, по указанию французского посла, запрещение Монтескле, Руссо, Вольтера — и Урики! А в другой — гласное ругательство над королем, монархией и над христианством, коему хула произносится в тосте Тайлору и его обществу.

2 февраля/21 генваря. Наконец, просветлело и на небе и в St. James Park. До завтрака гуляли мы в парке и в первый раз еще могли видеть прекрасные окрестности: луг, в правую сторону простирающийся, и замки, на горе возвышающиеся. По другую сторону парка слышна была военная музыка, и мы увидели гвардейских солдат в их красных мундирах; они сбирались к параду и скорым маршем шли к нам навстречу. Музыка и барабанный бой оглушили нас, но я любовался двумя арапами между музыкантами и их великолепным и чистым нарядом. Над каскою их катались два шара, переплетенные золотым шнуром. Офицеры и солдаты молодые и маршируют непринужденно, но стройно. Одежда спокойная: белые широкие панталонны. — Они пришли во дворец св. Иакова; на дворе, между тем как сменялись часовые, играла музыка и народ окружал ее, а с ним и мы вспоминая о парадах нашей Дворцовой площади!

Малькольм был у меня, пригласил в библейское общество и обещал познакомить с другими филантропическими обществами, в коих сам участвует.

В Traveller's Club нашел я англинский перевод путешествия Карамзина и в первый раз в жизни читал то, что он пишет об Англии. Конечно, в нем нет того, что русский в теперешнем положении будет писать в путешествии по Англии; но живо описаны первые впечатления при въезде в Лондон, и замечание о том, что надобно пользоваться сими первыми ощущениями, по моему мнению, весьма справедливо. Оно дает лучшее понятие об особенностях города и страны, которую в первый раз видишь, чем отчет путешественника, привыкшего к созерцанию предметов, кои он описывает. То, что ново и разительно для нас, передается и в описании живее.

Во втором часу отправились с русскими Смирновым, гр. Ливеном, пропуск и поляком Валасским в парламент, который сегодня открывается. При входе и на улице толпился уже народ. Смирнов

¹ Разум века» (англ.)

объявил 2 приставам у дверей в парламент, что мы от русского посла, и нас немедленно впустили к решетке, которая отделяет трон от дверей и от членов парламента. Мы нашли уже speaker'a¹ в мантии и в парике, заступающего места председателя лорда пропуск, несколько членов парламента из светских во фраках, а некоторых, а именно членов комиссии, в мантиях, так же как и епископов, сидевших отдельно. Неподалеку от них две дамы. У противоположного входа, также загородкой отделенного, было уже несколько зрителей. Один из секретарей прочел указ об открытии парламента, и вице-президент дал знать одному из приставов, чтобы пригласил нижнюю камеру. Поклонившись в дверях, он вышел и ввел депутатов нижней камеры, из коих один, speaker, был в парике и в черной мантии; другие во фраках и сапогах. Они остановились у загородки и вице-президент прочел речь короля. Потом заключили открытие. Сия камера лордов находится в древнем Вестминстерском дворце, там где прежде был the old court of requests². Большая зала украшена шитыми обоями, на коих изображена победа над гишпанскою арматюю в 1588 году. — Креслы в виде трона и с 1800 года, т.е. со времени соединения парламентав англинского и ирландского, на них вышит общий их герб. Лорд-канцлер, который в парламенте speaker, и судьи и officers of the house³ сидят на широких канаве, набитых шерстью (woolsacks), покрытых with crimson baize⁴; а перы или лорды сидят, по старшинству, на скамьях, with similar baize. Архиепископ по правую сторону трона так, как и герцоги и маркизы; графы и епископы по левую, бароны же on cross-benches, in front. Так как сегодня король не присутствовал, то перы были во фраках; в присутствии же его они одеты в мантии. Всего их 364 пера, из коих пропуск.

Отсюда прошли мы in the House of Commons⁵ и дожидались там открытия камеры до 5-го часа. Она построена из старой церкви первомученика Стефана. По присоединению Ирландии в 1800 году, когда к англинским репрезентантам прибавилось еще 100 ирландских, камеру сию привели в теперешнее ее положение, для помещения 658 членов.

Простые дубовые скамьи и кафедра для speaker'a. Бронзовые паникадилы освещают мрачную сию камеру. Нет церкви, нет дворца, нет замка лорда, которые бы не были богаче отделаны. Но дуб напоминает твердость и жизнь вековую.

Мало-помалу начали сходиться члены камеры в сапогах, с хлыстами, с палками, в сертуках и в шпорах. Оппозиционные сядились на левой, правительственные — с правой стороны. Некоторые на-

¹ Спикер, председатель Палаты общин (англ.).

² Старинный суд по рассмотрению жалоб лиц низших сословий (англ.).

³ Должностные лица палаты (англ.).

⁴ Темно-красным сукном (англ.).

⁵ В Палату общин (англ.).

клеили с своим именем бумажки на местах, кои они себе назначали. Иные пошли в верхнюю галерею. Явился и Brougham и сел на левой стороне. На правой показали нам Canning'a и других министров. Близ меня, по другую сторону дверей, увидел и узнал я Роберта Вильсона, которого не видел с Бартенштейна и с 1811 или 1812 года. Два депутата с правой стороны были одеты отличным от других образом: один в гусарском мундире, другой в светло-синем французском кафтане, в белых штанах и в башмаках и с кошельком, пришитым к кафтану. Мне сказали, что они должны открыть камеру речью и что всегда одеты открывающие камеру в парадных платьях.

Перед кафедрою speaker'a стол, у которого сидят секретари (the clerks), скамьи в пять рядов возвышаются одна на другой. Напротив оппозиционной стороны скамья называется the treasury-bank¹, потому что там обыкновенно сидят министры. Для посетителей и скорописцев галереи; но нам позволили сидеть внизу с членами.

И здесь speaker опять прочел речь короля, и два вышеупомянутые депутата отвечали ему. После них встал с места Брум и говорил около часа. Все внимали ему и беспрестанно слышно было: «Hear! hear!»². По окончании Брума, заговорил какой-то Робертсон, но несмотря на приглашение speaker'ом к порядку: order! order!³ никто не слушал Робертсона и многие вышли из камеры. Примеру их и мы последовали и пошли опять в парламент, где уже давно собрались члены. Нас впустили к самому престолу, за загородку. У трона сидели и лежали посетители в сертуках. Один из членов ораторствовал: после него начал говорить Ливерпуль о банках. Тут я видел Веллингтона во фраке и в шляпе на woolsack⁴; других, как например Хаткарт, Гастингс, едущий опять в Индию, во фраках и в звездах. ...

Прочел путешествие Карамзина по Англии. Многое весьма справедливо. Есть страницы, кои мог бы я вписать в журнал свой, переменяв только год и месяц, и некоторые имена. Описывая заседание в British Institution, нужно только поставить Dawu на место Банка и оставить остальное без малейшей перемены. Те же обряды при выборе новых членов; та же булава лежит пред президентом и тот же образ предлагать предметы к рассуждению членов.

Читал книгу «London and Paris, comparative sketches»⁵ (1823) и выписал несколько строк.

В другой нашел эпитафию, который изображает расположение моего духа, когда я писал к Жуковскому: «I'll live a private, pensive, single life»⁶.

¹ Скамья министров (англ.).

² «Слушайте, слушайте!»⁴ (англ.).

³ К порядку! (англ.).

⁴ Шерсти (англ.).

⁵ «Лондон и Париж, сравнительные очерки» (англ.).

⁶ «Я проживу уединенную жизнь в одиночестве и в раздумьях» (англ.).

4 февраля/23 генваря. Писал с Веллингтоном к Булгакову и к Жихареву. Мы ждали Морг.<?> и опоздали идти смотреть славного делателя фортепиано. Я пошел бродить по городу, заходил в книжные лавки и не нашел *Вавилона Великого*, т.е. Лондона; спрашивал о цене эссеистов, Ed<inburg> Rev<iew> и проч. Сначала жалел я, что день прошел даром; но в большом, незнакомом еще городе можно и без плана, без цели ходить не без пользы. На главных улицах любовался я богатствами, у окон вывешенными, смеялся от любого сердца, глядя на карикатуры; в одной представлено хозяйство: муж и жена и домочадцы живут согласно и бедно. Холостой друг дома пришел звать их смотреть, как будут вешать. Нет, отвечают супруги. Сегодня мы не расположены. Take any pleasure!¹

Тротуары здешние облегчают гулянье: не опасаясь легких кабриолет и тяжелых колесниц, коих тащат кони-гиганты. Беззаботно идешь по прекрасным и чистым тротуарам, коим и особого имени нет в языке англинском. У французов — название; здесь — вещь. Иногда только, когда видишь толпу народа и в ней босых и оборванных, хотя весьма редко, невольно положишь руку в карман и вспомнишь о записной книжке.

Всего более изумляет иностранца, особенно русского, отсутствие видимой полиции в Лондоне при таком ужасном многолюдстве и при множестве мелких и больших экипажей, которые не объезжают друг друга, а в тесноте города тащутся один за другим *веревкою* и часто около получаса, не двигаясь с места, ожидают движения первой навьюченной пропуск, которая остановлена или другим рядом экипажей или каким-либо случаем. Никого не видно для соблюдения порядка и никто не нарушает его. Тысячи полицейских не увеличивают тесноты разездов и крики их — шума. — О палашах и нагайках, разумеется, и помину нет. Здесь не нужно быть 14-го класса, чтобы быть а L'abri² кулаков офицерских. Иначе бой был бы неравный! Тот же порядок, ту же тишину примечаешь и на большом гулянье Гайд-парка. Конечно, туда не пускают фиакров или наемных карет, но тысячи кабриолет и шегольских карет и колясок всякой формы перегоняют друг друга тогда только, когда одна другой повредить не может, и лорд не теснит простого гражданина, да и в голову ему не приходит пользоваться своею первостепенностью, как разве там только, где с титулом его соединены права политические, то есть в камере перов.

Я видел на пруде, образующемся из ручейка, который извивается близ Hyde-park'a и St. James-park'a, the Serpentine-river, толпы мальчиков, бегающих по льду на коньках, дети, особливо мальчишки, здесь, как и везде, очень резвы, но за ними нет присмотра. Они привыкают к свободе с малолетства и вкушают ее с молоком материн-

¹ Веселитесь, как вам угодно!

² Под защитою (*фр.*).

ским: их не пеленают так, как нас в младенчестве, ни в зрелых годах! Но правительство, подражая матери-природе, действует невидимо, не душит, но животворит или по крайней мере оставляет естественным силам непринужденное свободное развитие.

Вечер провел в чтении «Edinb<urg> и Quarterly Review» и книги б<арона> Сталя об Англии. В «Quart<erly> Rev<iew>» разбор книги Pichot об Англии — забавный и умный. Бесстыдство и невежество, кои можно бы назвать национальные, есть ли б с некоторого времени французы сами не признавались в дерзости своих соотчичей, с какую они рассуждают о предметах им неизвестных...

19/7 февраля... Я пошел к Шимановской полюбоваться ее альбомом, наполнены стихами и нотами известных авторов и виртуозов нашего времени и всей Европы, — и послушать *le murmure*¹ ее сочинения. Задумавшись под музыку, я летал воображением и в Москву и на берега Невы и с душою растроганною пошел бродить в Гайд-парк, где тысячи карет, кабриолет и пешеходов мелькали передо мною, — но ни одной улыбки, ни одного знакомого лица я не встретил...

22/10 февраля... Sir Neil Campbell познакомил нас с одним богатым любителем произведений искусства и с родственником его, королевским архитектором Нешом, который отстраивал Regent-street, и самому себе и тому, у кого мы были, построил также прекрасное общее здание, образец вкуса, отделки и comfortable'ности. Полы железные, и не чувствуешь ни малейшего потрясения, когда по ним ходишь. Лестницы в обоих отделениях дома светлые, покойные, лепные и украшены итальянскими картинами и моделями римских древностей. В кабинете пропуск видели мы несколько итальянских моделей и в столовой картину Лагрене, точно такую, какую он написал для государя, изображающую внутренность монастыря.

Галерея Неша освещена сверху и с боков превосходно. Она вмещает в себя статуи, картины, портрет короля Англии и расписана, как ложи Рафаэля, лучшими живописцами и так, что каждый, отличающийся в какой-либо особенной части живописи, списывал с оригиналов Рафаэля только те предметы, в коих он отличается, например один писал зверей, другой — цветы и т.д., так что сии копии почитают наравне, если не выше оригиналов. Мы видели и план Букингамского дворца, для короля Нешом начертанный. Сии два отделения в одном доме дают понятие о здешней просвещенной роскоши у некоторых богачей. В Англии я еще ничего подобного не видел.

Из сих палат в обитель нищеты и разорения шпитальфильдских фабрикантов. Это один из самых отдаленных кварталов города и недавно прославившийся разорением его жителей, которое произошло от прекращения работ на шелковых фабриках. Ими наполнен квар-

¹ Журчание (фр.)

тал сей, и, по словам некоторых журналистов, 30 тысяч фабричных вдруг очутились без дела, т.е. без промысла и, следовательно, без куска хлеба. Король заказал им какие-то славные обои для нового дворца, желая доставить праздным работу; британская щедрость и здесь сказалась, но бедность немногим уменьшилась, начался ропот, явились афишки на стенах, угрожавшие мятежом, если не будет хлеба у фабричных. Наружность тех, кои нам попадались в сем квартале, подтвердила нам слышанное...

24/12 февраля. Писал к Сереже в Неаполь и к барону Мерьяну в Париж. Сообщил Сереже известие, от барона Мерьяна полученное. Вероятно, оно произведет в нем тоже одно чувство негодования и презрение к клевете, впрочем, весьма тягостное, особливо на чужой стороне, когда чувствуешь сильнее и привязанность к России и горесть о потери того императора, на которого сердце не переставало надеяться и любить искренно. От лорда Бекслея прошел я парком, которого зелень напоминает и весну и в душу вселяет какую-то грусть по родине и по весне жизни, давно миновавшей. Никогда так не желал возвратиться и никогда не чувствовал так сильно, что возврат в теперешних обстоятельствах невозможен: могут подумать, что желание оправдываться влечет нас туда. Здесь «в свободной Англии невинность не погибнет», но мы не хотим быть под шитом ее, и при первой опасности я буду в России.

По Пикадилли прошел я за черту города к Виллерсу, который желал возобновить со мною петербургское знакомство. Не застав его, побрел назад и вышел на другой парк, освещаемый весенним солнцем. День прекрасный: множество гуляющих; дети развились около пруда, и тусклое сияние лучей солнечных, вдали вид башни, громады домов с чистыми садиками и дорожками — все могло бы развеселить сердце, есть ли бы в нем не таилась какая-то безнадежность на будущее и для себя и еще более для братьев.

И невозвратное надежд уничтоженье!

Зашел в Traveller-club дочитать газеты. В «Representation» нашел замечание, которое сам не раз уже делал, читая в газетах, французских и английских, имена исковерканные, без малейшего основания помещаемые в число обвиняемых, и ожидая беспрестанно найти и свое имя в числе обвиняемых: «One of the features of the present unhappy period is the shameless disregard with which names are mentioned, without any investigation of circumstances. The decorum by which men are governed in ordinary cases is quite extinct; and as no one, in the opinion of the alarmists, can be deemed really safe, the reported fall of any house obtains immediate belief»¹.

То, что журналист говорит о купеческом доме, можно применить и к другим...

В «Spirit of the age», в статье о поэте Кампбеле нашел я определение характеристическое его стихотворений, которое можно приме-

нить и к сочинениям Дмитриева. Автор говорит о Кампбеле: «He is a *high finisher* in poetry, whose every work must bear inspection, whose slightest touch is precious»¹. И Дмитриев *high finisher*² в своих стихотворениях. То, что далее говорит автор о Кампбеле, также и к Дмитриеву отнести можно: «There are those who complain of the little that Mr. Campbell has done in poetry, and who seem to insinuate that he is deterred by his own reputation from making any further or higher attempts. But after having produced two poems (Ермак и к Волге) that have gone to the heart of the nation, and are gifts to a world, he may surely linger out the rest of his life in a dream of immortality. There are moments in our lives so exquisite that all that remains of them afterwards seems useless and barren; and there are lines and stanzas in our author's early writings in which he may be thought to have exhausted all the essence of poetry, so that nothing further was left to his efforts or his ambition»³.

* * *

Радости земные, как посещения ангелов, кратки and far between⁴. Так и письма друзей из России:

Like angel's visit, short and far between...⁵

3 марта/19 февраля... Выехал из Лондона в 6 часов вечера, пожалв у милого брата руку, надолго ли? не знаю. Я никогда так горько с ним не расставался. В карете — в мыслях и в душе моей прояснилось. Я смотрел в ясное небо и на его звезды! и свет их вливал утешение в грудь мою; но мысль об одиночестве Николая долго, долго не покидала меня. Я рассчитывал часы, в которые он возвращается домой, и когда наступил час ночи и я мог думать, что усталый от парламентских прений возвратился он домой и спит спокойно, и мне легче стало до самого утра, которое настанет для него в тяжелой грусти по нас и в неизвестности о судьбе своей. Вера в провидение и в нашу невинность подкрепляла меня.

¹ «Он в поэзии мастер высшего класса, каждая работа которого должна вызывать изучение, малейшее прикосновение драгоценно» (англ.)

² Мастер высшего класса (англ.).

³ «Имеются лица, которые жалуются на то, что мистер Кампбелл мало сделал в области поэзии, и намекают на то, что его репутация удерживает его от дальнейших попыток добиться более совершенного результата. Но после того, как он создал две поэмы..., которые дошли до сердца нации и являются сокровищами мира, он может провести остаток жизни, грезя о бессмертии. Бывают в нашей жизни такие удивительные мгновения, что все последующее представляется ненужным и бесплодным; и встречаются строки и строфы в ранних произведениях наших авторов, в которых, можно полагать, они исчерпали всю сущность своего поэтического дара, так что ничего более не осталось для их усилий или их честолюбивых стремлений» (англ.).

⁴ Редки (англ.).

⁵ Как посещения ангела, кратки и редки (англ.).

В Англии

В январе 1825 года я отправился в Лондон, и ничто не смущало моего спокойствия. Только в Эдинбурге я узнал, что я привлечен в качестве одного из обвиняемых к процессу, начавшемуся вслед за декабрьским восстанием. Узнав об этом, я поспешил составить объяснительную записку о моем отношении к тайным обществам и послал ее в С.-Петербург по почте.

В этой записке я объяснил, просто и откровенно, характер того общества, членом которого я был. также как и обстоятельства его распушения. Я настаивал на том, что, не принадлежа ни к какому другому тайному обществу и, главное, не имея со времени моего отъезда из России никаких сношений, ни через переписку, ни другим путем, с лицами, которые могли участвовать в тайных обществах, и будучи таким образом совершенно не причастен всему, что могло произойти в С.-Петербурге или в другом месте — не могу отвечать ни за какое событие, происшедшее без моего ведома и в моем отсутствии.

Я был твердо убежден, что этого объяснения достаточно, и что моя непричастность к восстанию настолько очевидна, что меня не станут беспокоить.

Через несколько дней после отсылки этой оправдательной записки ко мне явился с визитом секретарь русского посольства в Лондоне. Он прежде всего предъявил мне требование, с которым обращался ко мне от имени императора граф Нессельроде, — явиться в верховный суд в качестве обвиняемого в соучастии в восстании. Эти господа, должно быть, очень спешили, когда писали, иначе они не допустили бы такого *lapsus calami*¹. Я ответил секретарю, что мною несколько дней тому назад отправлена объяснительная записка относительно всего, что касалось моего участия в тайных обществах, и что, по моему мнению, эта записка делала мое присутствие в С.-Петербурге совершенно излишним; что к тому же состояние моего здоровья не позволяет мне предпринять такого путешествия. Секретарь позаботился прибавить свои советы к требованию своего начальника и сказал мне между прочим, что честь обязывает меня повиноваться полученному мною приказанию. В этот день я был в довольно хорошем настроении духа и ограничился тем, что ответил этому молодому человеку, что я сам знаю, что может требовать от меня честь, и что я не удивился бы, если бы мое мнение разошлось в этом отношении с его мнением. Тогда он сообщил мне депешу графа Нессельроде, посланную русскому посланнику. В депеше,

¹ Ошибка при письме (*лат.*)

действительно, предписывалось сообщить мне ее содержание в том случае, если я откажусь от явки на суд и тогда посланник должен был потребовать от меня письменного ответа. Я прочел депешу и дал сначала словесный, а затем и письменный ответ. Кроме того, посланнику предлагалось, опять-таки в случае отказа с моей стороны, поставить на вид английскому министерству «каким людям оно дает убежище». Эти слова также, как и некоторые сведения, полученные мною впоследствии, навели меня на мысль, что русское правительство предписало своему представителю домогаться, до обращения ко мне, моей выдачи. Такое приказание было само по себе довольно странным; но представляется совсем уже непонятным то, что посланник, по-видимому, без всяких колебаний исполнил его. Мне из достоверных источников известно, что моей выдачи серьезно требовали у Каннинга. Но я узнал также, что в ответ на ноту, требовавшую моей выдачи, английский министр ограничился тем, что удостоверил ее получение, не говоря ни слова по поводу ее содержания.

Что же делают эти русские дипломаты за границей, если они не знают даже азбуки социального строя страны, в которой они пребывают, ее законодательства и руководящих начал ее управления? Требовать выдачи от английского министра, от Каннинга! Повторяю, это — нечто невероятное.

Другой не менее любопытный эпизод связан с моим пребыванием в Эдинбурге. Я имел рекомендательные письма к одному коммерсанту в этом городе, который в то же время был русским вице-консулом. Он принял меня с тем полным сердечности и внимания гостеприимством, которое можно встретить только в Англии; его отношение ко мне оставалось неизменным с момента моего прибытия и до моего отъезда. Через несколько лет я узнал, что вследствие моего отказа ехать в Россию он получил из русского посольства предложение следить за мною. Следить, шпионить за кем-нибудь в Англии! Вице-консул с негодованием отверг это поручение, которое лишний раз доказывало, как мало господа русские дипломаты знают нравы тех стран, где они пребывают.

Но агенты самодержца желали, по-видимому, во что бы то ни стало, арестовать меня; вот другие еще более очевидные тому доказательства. Вскоре после восстания русское правительство, думая, что я нахожусь в Неаполе, отдало приказ своему послу в этой стране велеть меня арестовать, но, так как меня там не оказалось, то приказ был переслан русскому послу в Рим, а этот последний поспешил отправить его с нарочным в Париж. Наконец, русские послы всех столиц континентальной Европы получили приказ схватить меня, где бы я ни был. Думали даже арестовать меня в Англии с помощью тайных агентов, которые должны были быть посланы для этого из С.-Петербурга. Я сделал по этому поводу чрезвычайно любопытные открытия. Впрочем, это желание овладеть мною, во что бы то ни стало, было, кажется, временным, ибо впоследствии я сам предлагал вернуться в Россию, но этого не пожелали.

После поездки по Шотландии я вернулся в Лондон. Я знал о событиях, только что происшедших в С.-Петербурге и об их последствиях лишь из газет. Таким образом, в один прекрасный день я узнал, что процесс только что окончился. Я прочел, что 29 лиц приговорены к смертной казни. Их имена не были приведены¹. Но я узнал после, что список осужденных заканчивался моим именем.

Наконец, после того, как все было кончено, я получил донесение следственной комиссии с несколькими добавлениями. Чтение этого доклада, который лег в основу обвинительных приговоров, вызвало во мне невыразимое изумление. Меня удивили прежде всего мелкие и недобросовестные старания правительства доказать серьезность и важность тайных обществ. Особенно хотели доказать, что восстание было лишь следствием этих обществ и что, подавляя его, спасали Империю. Что касается легкомыслия, недобросовестности, характеризующих донесение, полного презрения, которое обнаруживается здесь на каждом шагу к принципам правосудия, — все это возмущало меня, но мало удивляло.

Поведение периодической печати в Англии и во Франции во время этого процесса было таким, каким оно должно было быть. Пресса регистрировала факты, которые доходили до нее с театра событий; она делала замечания и высказывала свои соображения лишь в тех пределах, какие допускала природа самих фактов и степень их достоверности. Ни одна английская, и ни одна французская газета, по крайней мере, из тех, которые я знаю, не принимала за чистую монету все, что говорилось в докладе следственной комиссии; ни одна не желала придавать этой канцелярской стряпне той веры, которой заслуживают в подобных случаях обвинительные акты, составленные в странах, где правосудие совершается в законных формах и определяется ими. Все, наоборот, не находя защиты рядом с обвинением, воздерживались от того, чтобы занять определенную позицию по отношению к обвинителю, являвшемуся в то же самое время судьей, и обвиняемому, лишенному всякой возможности не только защищаться, но и отвечать. Некоторые газеты открыто признали невозможность высказаться при отсутствии элементарных начал всякого правильного судопроизводства.

1826 г.

¹ Верховный Уголовный Суд приговорил 5 человек — Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского — к четвертованию и 31 человека к отсечению головы. Список этих 31-го действительно заканчивается Н.И.Тургеневым. Ред.

Об Англии

Когда побываешь в Англии, то убедишься, что в нравах, обычаях и условиях Английского общества и общежития есть довольно много *гнилых посадов*, буквальный перевод Rotten Boroughs, что впрочем и у Французов переводится *bourg pourri*¹. Легкомысленно было бы признавать за несомненное следствие образованности все, что здесь видишь. Напротив, много узколызло от образованности и осталось в первобытной своей неуклюжести и дикости: потому что Англичане упрямы, самолюбивы и сознательно, и умышленно односторонни. Они преимущественно консерваторы в домашнем быту и во внутренней политике. Позволяют они себе ломать и очень смелы в ломках своих только во внешней политике. Французский писатель Сюар где-то рассказывает, что на Гебридских островах присутствие иностранного путешественника заражает воздух и дает кашель всем обывателям. Нет сомнения, что и присутствие иностранца в Английском обществе, пока он себя не совершенно *выанглизирует*, должно производить в Англичанах раздражение, как присутствие разнородной и даже противуродной стихии. Кашель, не кашель, а должно кожу их морозом подирать: так все привычки жизни и весь день их тесно вложены в законную и тесную мерку и рамку. Оттого в Английской жизни нет ничего нечаянного (*imprevu*), скоропостижного. Оттого общий результат должен быть скука. Не даром сказано: *l'ennui naquit un jour de l'unifermite*². Нечего и говорить, что некоторых слов и выражений нет ни на Английском языке, ни в Английских понятиях. Например: *как-нибудь, покуда, по домашнему, по дорожному, запросто* и т.п. В Англии все вылито в одну форму или в известные формы. Англичанин в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собою или, лучше сказать, благодаря общему благоустройству в Англии, находит готовыми из одного края Англии до другого: дома, в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в гостинницах. Между Парижем и провинциею лежат столетия. В некоторых отношениях вся Англия есть продолжение Лондона. Англичане никогда не скажут: Что же нам теперь делать? За что приняться? Давным-давно уже внесено в общее уложение что делать в такой-то час и в такое-то время года. «Прошу вас,

¹ Гнилым посадом до избирательной реформы в Англии называлась местность, которая пользовалась старыми избирательными привилегиями, хотя народонаселение этой местности и значительно убавилось: таким образом ограниченное число обывателей, поддаваясь влиянию или подкупу, располагало назначением члена в нижнюю палату.

² Скука некогда родилась от единообразия (*фр.*)

не беспокойтесь» — для меня континентальное выражение, которое иностранцу не придется и не придет на ум сказать Англичанину: ибо Англичанин ни для кого не беспокоится и не *женируется*; а если он что и сделает похожее на учтивость, на уступчивость и общежитейское жертвоприношение, то вовсе не для вас, а для себя, как исполнение обязанности и потому, что так заведено и так быть должно. Ваша личность пред ним всегда в стороне, и если вздумается вам ее выставить, то Англичанин вытаращит глаза на вас и вас не поймет. Англичанина никак не собьешь с родной почвы, как не переноси его на чужую, в Париж, Рим, Петербург. Француз податливее и сговорчивее. Русский, с легкой руки Петра I, легко поддается чужим обычаям, где бы он ни был. Англичанин везде одевается, завтракает, ходит и мыслит по-английски. Это почтенно, но вчуже досадно и обидно. Смотри на Англичанина, особенно в Англии, чувствуешь его нравственное достоинство и силу. И этим, хотя и с грустью пополам, объясняешь себе превосходство и тяжеловесность Английской политики в делах Европы и всего мира. Английский деспотизм обычаев превосходит всякое понятие. В оперную залу не впускают иностранца, если у него серая шляпа в руках. Если едешь в omnibusе и поклонись знакомому на улице, он примет это за неприличие и за обиду. За обедом есть не как едят другие, ставить рюмку не на ту сторону где должно, резать а не ломать свой ломоть хлеба: все это может погубить человека в общественном мнении; и как ни будь он умен и любезен, а прослывет дикарем.

Что за прелесть Английская езда! Катись по дороге как по бархату, не зацепишься за камушек. Колес и не слышать. Дорожную четырехместную карету, в которой покойно сидят шесть человек, везет пара лошадей, но зато каких? Около 35 верст проезжаешь в 2 часа с половиною. У нас ездят скорее, но часто позднее доезжаешь до места. Здесь минута в минуту приезжаешь в известный час. Здесь на деле сбывается пословица: тише едешь, дальше будешь. К тому же нет мучительства для лошадей. Не слышать кучерского ругательства и голоса. Бичом своим он лошадей не погоняет, лошади пользуются также личными и гражданскими правами. Огромная машина словно катится сама собою.

Из Брайтона ездили мы в близкий городок Левис. После моря и голых Брайтонских берегов глаза отдыхают на зелени пригорков, деревьев и лугов, окружающих Левис. В Англии зелень имеет особую свежесть и прелесть. Мы попали на скотский рынок или ярмарку. Коровы, бараны, свиньи и мясники все были налицо и в движении. Английский скот имеет также свое особенное дородство и достоинство. Во время нашего luncheon (завтрака) в гостинице, подъезжает к крыльцу четвероместная карета очень красивая, пара хороших лошадей, кучер одет порядочно. Вылезают четыре человека также весьма пристойной наружности по виду и по одежде. Кто же? Джентльмены ли они, или поселяне, т.-е. по-нашему мужики? Зашел о том спор между нами. На поверку вышло мужики, но мужики вольные хлебо-

пашцы, т.-е. *фермеры*. Выпив по стакану портера, отправились они на свой скотский базар. Эти господа могли нам дать мерку и образчик всего того, чем Англия отличается от других государств.

Когда и видишь солнце в Англии, то не иначе, как сквозь туман и дым: словно парная и испаряющаяся репа.

1838 г.

Путевые письма из Англии

Письмо VIII

Пивоварня Трумана. Редакция газеты. Типография. Журналы и газеты. Книжная лавка. Нынешняя литература Англии. Уважение к писателям.

Что мы будем делать сегодня? — спросил я у своего чичероне. — «Что прикажете», — отвечал он на мой вопрос: «не угодно ли посмотреть одной из знаменитейших больниц лондонских? Вы удивитесь порядку, чистоте, благоустройству». — «Нет!» — отвечал я: «охотно верю, что там чисто и порядочно, но не решаюсь испортить день, начав его рассматриванием картины страданий человечества, которых я облегчить не в состоянии. Другое дело, если б я был член больничного комитета, сам смотритель или врач, тогда мог бы я там чему нибудь научиться, а итти в больницу *так*, из одного любопытства — никак не решаюсь.» — «Так не угодно ли посмотреть пресловутой тюрьмы Флит? Она стоит этого.»

— «Пустое!» — воскликнул вошедший в комнату Аллан, вслушавшись в слова проводника. «Вам нечего там делать. И я не заглянул бы туда никогда, если б мой приятель, Чемберс, директор Итальянской Оперы, не высидел там десяти лет. Лучше пойдем-те посмотреть пивоварню Трумана, типографию и редакцию газеты Times.» — «С удовольствием.» — «Исполинскую книжную лавку Лонгмана?» — «Едем! скачем!»

Во-первых, мы посетили пивоварню, лежащую в Спительфильдсе, части города, о которой я упоминал. Эта пивоварня целый город. Ячмень пересыпают, парят и проч. в пребольших чанах, сажени в две диаметром; переворачивают лопатами, на которых можно прогуливаться. Мы бродили, лазили, ползали в продолжение двух часов по всем отделениям, чрез которые должно пройти ячменное зерно, чтоб превратиться в каплю пива. В последнем отделении готовое пиво различных сортов, стоут, эль, портер и т.п., хранится в исполинских бочках, которые величиною и прочностию не уступают иному дому на Песках или на Выборгской Стороне. Теперь понимаю, как целые улицы *наводняются* пивом, когда лопнет такая бочка. В награду за усталость, провожатый поднес нам по стакану превкусного напитка этой фабрики. Что значит предрассудок: мне показалось, что я от роду не пивал такого портеру! — В день вываривается здесь разного пива от девяти сот до тысячи двух сот бочек, и развозится по всему Лондону и окрестностям, на огромных фурах, запряженных чудовищными лошадьми с мохнатыми слоновьими ногами. Полто-

раста таких лошадей стоят в конюшне пивоварни. Важнейшие пивовары Лондона суть: Витбрид и комп.; Барклай, Перкинс и комп. На каждой улице видите бесконечные вывески, на которых преобладающими золотыми буквами написано, что в этом доме продается портер и пиво такого-то завода... Всего в Лондоне считается пять тысяч пятисот пивных лавок (bear-houses). Труман рассылает свои произведения по провинциям. Англичане послушались советов своего великого нравоучителя, Гогарта. Водки пьют ныне в Англии гораздо менее прежнего: пиво ее вытеснило. Это отчасти имело и хорошие нравственные последствия: буйство, драки, смертоубийства сделались реже в простом народе.

Во-вторых, отправились мы в контору и типографию редакции газеты the Times, в тесном переулке Сити. Редакция имеет несколько отделений: политических известий, полицейских, коммерческих статей, для принятия объявлений, и т.д. Все происходит там по установленному порядку, без лишних толков, объяснений и т.п. Всяк знает, зачем пришел, что должен сделать, сколько шиллингов заплатить, сколько слов сказать, когда уйти. Типография помещается тесненько. Газета печатается на двух превосходных цилиндрических машинах, по четыре тысячи экземпляров в час. Отпечатанные листы, вдруг по четыре, поднимаются из стана тесемками, с удивительною быстротою. На память взял я себе листок корректуры. Я вспомнил о скорости, с какою сообщены были публике известия о Спительфильдском бале. — «У вас был там препроворный вестовщик!» сказал я редактору. «Четверо,» отвечал он с самодовольною улыбкою. Каждую четверть часа один из них прибежал в типографию, и приносил клочек статьи. Дело редактора в том, чтоб швы в этом арлекинском наряде не были приметны.

Журналы и газеты составляют важную и существенную часть английского государственного и общественного быта. Все они печатаются на бумаге, помеченной казенным штемпелем, и так как штемпель прикладывается ко всякому листу, не смотря на его величину, то издатели и стараются сделать листы свои как можно больше и объемистее. На одном листе газеты Атлас печатается содержание порядочной книги в среднюю осьмушку. Большая плата за штемпель сосредоточила издание газет в нескольких руках, и произвела тем некоторую монополию мыслей человеческих, которыми в Англии торгуют, как и всяким другим товаром. Газеты различных мнений, различных партий, совершенно противоположных, нередко принадлежат одному издателю, который отпускает своим покупателям товар по их требованиям, а не по собственному убеждению и совести, торгуя честью, правдою, всем, что свято человечеству! — Говорят, что издатели провинциальных газет добросовестнее столичных.

Редакторы журналов получают плату за труды свои двояким образом: некоторые имеют определенное жалованье, от 25 до 30 тысяч рублей в год; другие, и это случается чаще, получают плату за статьи,

по мере личного своего достоинства, или по мере уважения к ним в публике, которое обыкновенно приобретается не талантами, а умением льстить господствующим страстям. — Важнейшие обозрения (Review's), имеющие сотрудниками первых писателей Англии, платят им обыкновенно рублей сот по пяти за лист печатный. Такая цена положена за статьи в *Edinburgh-Review*, в *Quarterly-Review* и т.п. Журналы меньшего достоинства платят за лист по 300 рублей, по 250 р. и менее.

Ныне издаются в Лондоне следующие политические газеты: утренние: *Times*, *Guardian and Public Ledger*, *Morning Advertiser*, *Morning Chronicle*, *Morning Herald* и *Morning Post*; вечерние: *Albion and Star*, *Courier*, *Globe and Traveller*, *Sun*, *True Sun* и *Standard*. Однажды в неделю выходят: *Atlas*, *Age*, *Bell's Messenger*, *Bell's New Weekly Messenger*, *Bell's Life in London*, *Dispatch*, *New Dispatch*, *Englishman*, *Examiner*, *John Bull*, *News*, *Observer*, *Satirist*, *Spectator*, *Sunday Times* и *Weekly True Sun*. — Каждый из этих журналов имеет свой особый характер, своих особых читателей. Некоторые переменяют свой образ мыслей по расчету и обстоятельствам. Такую славу приобрел журнал *the Times*. Один писатель, видя, что приверженцы разных партий питают ум и воображение свое только тем, что им отпускается корифеями их мнений, вовсе не обращают внимания на мнения своих противников, не знают даже, что они говорят, — предлагал заставлять издателей печатать в своих газетах мнения и возражения противной стороны подле собственных. Трудненько!

Хотите ли знать механизм издания и продажи английских газет? Сообщу его, по благосклонности одного моего путеводителя по Лондону¹, не Англичанина, и потому менее пристрастного и одно-стороннего в своих суждениях: он сообщил мне и некоторые из прежних замечаний. — Литератор или иной кто, желающий предпринять издание нового журнала, начинает с того, что представляет в штемпельную контору (*stamp-office*), объявление с означением имени и жительства типографщика, хозяина и редактора нового журнала, числа акций и заглавия издания. Смотри по объему и важности газеты, хозяин ее вносит залог в 300 или 400 ф. ст. 7,500 или 10,000 р.) в обеспечение денежных вещей, которым бы мог со временем подвергнуться за нарушение законов о тиснении. По исполнении этих форм можно выдавать журнал, но с обязанностию вносить в штемпельную контору по экземпляру каждого номера в течение шести дней по его отпечатании. Плата за штемпель каждого листа газеты, без прибавления, составляет четыре пенса (40 коп.), с прибавлением, шесть пенсов (60 коп.); лист бумаги стоит полпенни; следственно с каждого листа, продающегося по шести пенсов, остается на покрытие издержек редакции и печатания, не более полутора пенни (15 коп.)! Сумма эта была бы недостаточна, если

¹ Г-на Симона, автора книги: «*Observations recueillies en Angleterre, en 1835.*»

бы в газетах не печаталось частных объявлений: они ежедневно забирают около трех четвертей листа в каждой газете и доставляют значительный доход. И с них платят пошлину в казну, по 1¹/₂ шиллинга (180 к.) за каждое!

Каждый номер газеты, как сказано выше, продается из конторы по шести пенсов, но публика платит по семи. И так ежедневный журнал, состоящий из трех сот номеров (по праздникам и воскресным дням они не выходят), стоит в год слишком двести рублей. При такой дороговизне, немногие подписываются на все годовое издание, как у нас, в России, в Германии и во Франции. Публика не имеет дела с хозяином или издателем журналов, а получает их от продавцов новостей (newsmen), которые ежедневно, смотря по обстоятельствам, покупают у издателя известное число экземпляров, по шести пенсов. Разношники берут у этих продавцов листки разных журналов, и распространяют их в городе, на гульбищах, при отправлении дилижансов и т.п., по осьми и по девяти пенсов. Сверх того, каждый продавец новостей содержит некоторое число мальчиков, которые разносят листы журналов и по домам, для прочтения до отхода почты. Тогда журнал, прочитанный несколькими лицами, отправляется к провинциальному подписчику или книгопродавцу, который, в свою очередь, дает его на прочтение своим особым подписчикам, и отправляет в колонии и поместья, так, что журнал проходит иногда чрез двадцать рук, прежде нежели достанется тому, кто на него подписался. За экземпляр затерянный, измаранный, платят безотговорочно по семи пенсов. Почта пересылает газеты безденежно во все концы Соединенного Королевства. — Несмотря на чрезвычайные налоги и издержки, сопряженные с изданием журналов в Англии, главные издатели их, называемые директорами, получают значительную прибыль, когда только успеют заслужить благосклонность публики. Капитал газеты the Times состоит из двадцати четырех акций, которые за несколько лет пред сим стоили тысячу ф. ст. (25,000 р.) каждая, а ныне, благодаря пристрастию публики к этой газете мало-помалу возросли до цены 12,000 ф. ст. (300,000 р.); но этот необыкновенный и единственный в своем роде успех не может служить мерилом для других. Рассчитано, что казна получает пошлины с печатаемых в журналах объявлений, по 300 т. ф. ст. (7,500,000 р.) в год. Вообще Англичане платят за удовольствие читать газеты в год всего до миллиона ф. ст., или 25-ти миллионов рублей!

В Англии нет предварительной цензуры: издатель или сочинитель книги, памфлета или журнальной статьи, подвергается наказанию, если, по следствию и суду, доказано будет, что в них содержатся злонамеренные оскорбления правительства или частного лица. Наказание состоит в тюремном заключении или в уплате денежной пени. За оскорбление прав королевских полагается наказание, как за государственную измену. Должно впрочем сказать, что правительство прибегает к наказанию писателей и редакторов журналов только в крайних случаях. Навык, давность, общее мнение составили в Анг-

лии уложение, свято чтимое. Английские писатели умеют облекать свои смелые и резкие суждения в известную, принятую форму, и не смеют нарушать приличий, чтимых и наблюдаемых в свете. Так, например, общее мнение немедленно заклеит печатью отвержения всякого, кто дерзнет посягнуть на святыню религии. Разумеется, что корыстолюбие не уважает сих пределов: есть люди, которые, пользуясь свободой тиснения, пускают в свет гнусности, лжи, клеветы и т.п., но их преследует общее презрение. Журналы, наполняемые соблазнительными анекдотами, находят читателей только в кухнях, передних и конюшнях.

Наконец отправились мы в книжную лавку Лонгмана и комп., в Сити, в узкой, темной улице Paternoster-Row. Один путешественник пишет: «Если исключить рассматривание старинных редких книг и рукописей, или новых великолепных и красивых изданий, то все удовольствие при посещении большой библиотеки состоит в восклицании: Ах, как много книг! Это же самое случается и в книжной лавке, с тою разницею, что здесь должно оставить несколько десятков рублей за книги, в которых не имеешь большой надобности.» Вот прозаическая сторона библиомании: но сколько в ней и поэтического! Вы не поймете этого, читатели обыкновенные, читатели механические, литературные обжоры, которым давай книгу за книгу. Вы лишаетесь большого наслаждения, глядя на книгу, как на мертвое вещество, на связку переваренного тряпья, испещренного черными пятнышками!

... Воротимся в лондонскую книжную лавку. Порядок, устройство, благочиние в ней удивительные. Она состоит из нескольких комнат, в которых помещаются книги, по предметам: в каждой комнате по несколько прикащиков. В верхнем ярусе лежат книги в листах, обернутые и связанные так чисто и мило, как атлас и бархат в модных магазинах. Хозяева лавки сидят в отдельной конторе, и принимают там своих клиентов. И здесь бесталанные, полуграмотные люди, пробившие себе тропу сметливостью, терпением, бесстрашием и своекорыстием, судят талант, ум, душу людей первых в нации! Пред это судилище бумагопродавцев предстают бессмертные гении, и просят средств для прокормления своего смертного тела. Не внутреннее достоинство книги развязывает кошель богатого книгопродавца, а мода, молва публики, иногда обманутой подкупленными голосами, связи, случайности. Книгопродавец заплатил Вальтер-Скотту, за лучший роман его (Waverley), сорок фунтов! — Впрочем пусть книгопродавцы наживаются: они купцы, и это их ремесло. А вот что дурно: многие из них хотят судить о произведениях литературы, пишут и сами! — У нас, в России, к счастью, последнего не скоро дождемся.

Сообщаю суждение одного умного человека о нынешней английской литературе. По смерти Лорда Байрона и Вальтер-Скотта, поэзия сохранила малое число представителей: это Томас Мур, Вордсворд и Теннисон. Бульвер, Мориер, Годвин, Беним, капитан Ма-

риет, Мис Эджеворт и некоторые другие пишут романы, отличающиеся наблюдательностью и слогом; но нельзя сказать, чтоб общий вкус к легкому чтению содействовал успехам здоровой и основательной литературы. Она ищет писателей степенных, терпеливых, добросовестных; стоит многих трудов и изысканий, и приносит мало прибыли; требуя читателей ученых и глубокомысленных, находит мало покупателей. Господствующий ныне дух промышленности отвратил людей гениальных и даровитых от истинного их назначения, и сделал из них скорописцев, небрежущих о пользе своих читателей и о собственной славе. — Роман, сочиненный известным писателем, вскоре находит издателя, который платит за него от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Небольшие сочинения находят место в повременных обозрениях. И так истинная литература в Англии падает, а вестники, магазины, обозрения размножаются, принимая в сотрудники писателей, более и более поверхностных. Однако должно сказать, что и первостепенные писатели, глубокомысленные ученые и государственные люди, как например Брум, Пиль и т.п., составляют статьи для *Edinburgh Review*, *Quarterly Review* и т.п. К сожалению, они редко подписывают свои сочинения: поставив свое имя под статьею, автор ручается за нее своею честью и литературною славою.

Впрочем не должно думать, чтобы ремесло писателя в гордой, богатой, смышленной Англии было в числе почетных. Вот что говорит об этом Бульвер в книге своей: *Об Англичанах*: «Почтение, оказываемое у нас богатству, не позволяет нам уважать дарования, по их достоинству. Литераторы не пользуются у нас ни малейшим вниманием, как литераторы. Они не участвуют в большой лоттерее почестей и богатства. Мы хорошо платим только шарлатанам, певцам и музыкантам, которые нас забавляют, а наставники наши стоят в заднем ряду. «Я здесь *ничто*», говорил мне один Англичанин, знаменитый своею ученостью: «и должен выехать из отечества, чтоб сохранять уважение к самому себе.» — Английские писатели, не занимая почетного места в обществе, но в то же время по натуре своей, жаждая славы, попадают обыкновенно в один из следующих трех разрядов. Писатели первого разряда ищут местечка в модном свете, тщеславятся знакомством и связями с знатными. Вторые, недоверчивые и мнительные, полагают, что их не довольно уважают, и от этой боязни становятся несносно тщеславными. В третьем разряде находим людей, которые с презрением удаляются от общества, и не стараются блистать своими дарованиями в пользу света, который они ненавидят. — У нас литераторы очень часто бывают принуждены тщеславиться чемнибудь кроме своего таланта, как-то: богатством, связями, породою, и поступают так для избежания оскорбительных суждений света. Байрон никогда не подумал бы украсить балдахин своей кровати баронскою короною, если б не писал стихов, и щекотливый Вальполь никогда не оказывал бы мнимого презрения к собственному своему авторскому дарованию, если б не знал, что в

некоторых кругах считают неприличным человеку его породы и звания заниматься трудами литературными. — Один профессор химии, прославляя труды Бойля, заключил похвальное свое слово следующими словами: «Он был великий человек, превеликий человек; он был отец химии, и брат Графа Корка!» Вам кажется смешным это простодушие профессора? Но он не напрасно так выразался: в числе его слушателей большая часть ставила братство с Графом Корком выше создания химии. Профессор был только эхом общего мнения!»

1839 г.

Журнал Русского путешественника

Лондон

...Весело ездить в Англии на почтовых; берут дорого — это правда, но за то вас везут отлично хорошо. Большая дорога гладка и ровна как скатерть, виды очаровательные; готические замки английских лордов, прелестные дачи, бархатные луга — все веселит взоры путешественников. Напрасно только говорят, что в Англии нет нищих; конечно их не менее, чем у нас в России; разница только в том, что наши нищие просят, а английские требуют. На каждой станции, когда я сажусь в коляску, целая толпа оборванных бродяг приступает ко мне со всех сторон. — «Прошу мне дать на водку,» шепчет один. — «Вы чихнули, а я вам сказал: здравствуй!» — «Дайте мне крону,» говорит другой: «я отпирал и запирал дверцы вашей коляски.» — «Пожалуйте мне шилинг!» кричит третий: «я снял у вас с плеча соломенку!» И что всего досаднее, им дашь, а они и шляпы не приподымут. Лондон сделал на меня большое впечатление, но только не совсем приятное. Это необычайное многолюдство, это бесчисленное множество кирпичных домов, как две капли воды друг на друга похожих, невольным образом пугают воображение путешественника; ему кажется, что он пропадет безвести, вовсе исчезнет посреди этого необъятного людского муравейника. Правду сказал Томсон, что Лондон не город, а целый мир; но только мир самый пасмурный, самый единообразный, и не смотря на свое многолюдство, едва ли не самый скучный из всех миров нашей солнечной системы. Бесконечные улицы, закопченные кирпичные дома, площади правильные, но дурно обстроенные, и целые облака угольного дыму, который, как густой туман, лежит на черных кровлях: все это вместе придает городу вид отменно мрачный. Чтоб добраться до трактира, который мне рекомендовал господин Томсон, я должен был ехать почти всем городом. На одной из площадей, по большому стечению народа, коляске моей нельзя было проехать; мы остановились. Посреди многолюдной толпы на деревянных подмостках стоял какой-то оратор; он говорил с большим жаром, размахивал руками как сумасшедший и бил себя в грудь кулаком; от времени до времени народ принимался кричать с таким отвратительным визгом, что я заткнул себе уши. Ко мне беспрестанно заглядывали в коляску зверские пьяные рожи и расстрепанные безобразные твари, которых по одному только платью можно было назвать женщинами. Через полчаса народ стал расходиться и я, наконец, доехал до моей квартиры.

1839 г.

Дорожный дневник (1839)

Лондон

Наняли мы лон-лакея по 6 шиллингов в день, сказав ему, что остаемся в Лондоне пять дней, в продолжении которых он должен показать нам все достопримечательности. Мы отдавались в полное его распоряжение, чтоб он водил нас куда, как и когда сочтет за удобнейшее и выгоднейшее, имея в виду краткость времени и наше желание видеть как можно больше. Распорядиться иначе не было возможности. Разумеется мы расспросили его прежде, что он хочет показывать, дабы не смотреть того, что нам не нужно.

Нынче Вестминстер, Британский музей, национальная галерея и Сен-Джемский парк.

Начали с *Вестминстера*, древнейшего аббатства в Англии, основанного, как утверждают некоторые, еще Саксонцами в 7 столетии. Все почти Короли Английские принимали участие в его распространении. Мы войдем даром, сказал лон-лакей. «А разве платят у вас за вход в церковь?» Да как же! Теперь мы не заплатим потому, что время службы.

Обошли все стены, уставленные памятниками великих людей Англии. Мысль прекрасная — воздавать торжественную благодарность отечества достойным сынам его в первопрестольном храме, соединять в одном месте все, что ни есть великого, славного в государстве! С какими чувствами должен молодой англичанин пройти по этому святилищу его истории. И здесь не одни полководцы и министры; нет, здесь граждане всех сословий и званий, — и поэты, и изобретатели, и актеры. Сын какого нибудь ткача или мясника покоится рядом с принцем крови или первокласным лордом. Ни одно государство в Европе не имеет ничего подобного. Король Баварский вздумал недавно соорудить Валгаллу на берегах Дуная и поставить там памятники сборным сынам Германии; — Версальский дворец задуман в этом роде; — но они должны уступить Вестминстерскому аббатству.

**Остановишься и задумаешься
перед многими мавзолеями!**

Началась служба и должно было прекратить обозрение. Народу почти не было. Мы сели на лавке с прочими. Богослужение отправлялось с удивительным благоговением. Ни одного движения, ни одного звука не заметишь, который бы не согласен был с целым, ни в священнослужителях, ни в богомольцах. Все чинно, степенно, важно. А какая чистота в церкви: вы не увидите ни соринки на полу, ни пылинки на лавках.

Служение продолжалось долго, и я вышел из церкви, чтоб осмотреть наружность здания. Ни где готическая архитектура не производила на меня еще такого действия! Но войти уже не мог, не заплатив пошлины: обедня кончилась.

Осмотрел, вместе с собравшеюся толпою, все часовни: Эдуарда исповедника, Генриха V, Генриха VII, с статуями древних королей и королей английских, с каменными гробницами, оружием, щитами, гербами и прочими принадлежностями суетного земного величия.

Странно было встретить в толпе несколько человек англичан, которые видят Лондон в первый раз.

От Аббатства до *Британского музея* довольно далеко. Что за толпы народа по улицам! Всего забавнее для меня были *разношники афишек*. На длинных шестах носят они неизмеримые листы, на коих аршинными буквами напечатаны объявления, развешанные на обе стороны. Разношники закрыты ими с головы до ног, так что остается едва маленькая скважина для глаз, чтоб рассматривать дорогу. Ступают они обыкновенно самым тихим шагом, едва двигаясь, разумеется для того, чтобы доставить удобство своим ходячим читателям. Не странно ли было увидеть, особенно с непривычки, как подобное бумажное чудовище, в котором вы не примечаете ни какой человеческой формы, валится прямо на вас, — не знаешь чего оно хочет, боишься, чтоб оно не задавило своею массою. Очень смешны встречи разношников между собою. Наткнувшись друг на друга, они как будто шарахнутся, в одно мгновение обратятся друг к другу спинами, и ударятся в разные стороны. Одной афишке не для чего ходить вместе в двух экземплярах: каждой надо особливых читателей; чем больше она достанет их, тем лучше исполняет свое назначение.

Я посмеялся, а потом и призадумался. Что за унижительное положение для человека! Его нет, он ничего не действует, он деревянный, мертвый, он ходит не имея для себя цели, на право и на лево, — для него все равно. Он только движется, — здесь что-то есть особенно оскорбительное для человеческого достоинства! «Но это делает он по своей воле, за деньги! Разве этот слуга или мастеровой не такую же роль играет?» Так, так, я согласен, что можно наговорить очень много в пользу разношника, а все таки должность его возмущает душу.

Британский музей — богатейшее собрание сокровищ науки, искусства и природы, помещенное впрочем в здании самом невзрачном. Всего примечательнее здесь древности, привезенные лордом Эльгином из развалин Парфенона. С Египта, благодаря неутомимости путешественников и проворству английского правительства, в последнее время взята обильная дань. Остийндские и Вестийндские владения с их соседними странами доставили множество произведений своей промышленности и общегития. Здесь и дикари островов Тихого Океана, их стрелы, колчаны, каски, копья, одежда, обувь. Я только что окинул все взглядом, а устал.

Прогулялись по *Сен-Джемскому* парку, и взглянули издали на Сен-Джемский дворец.

Лон-лакей завел нас в *магазин-лотерею*, где мы взяли по билету, и выиграли какую-то щеточку и зеркальце. Магазин набит битком всякими мелочами, — галантерейными, туалетными, столовыми и прочими. За всяким прилавком сидит по разряженной красавице для выставки и приманки. Препротивное впечатление! Одна получает деньги, другая выдает билет, третья вертит колесом, четвертая читает выпавший номер, пятая отдает выигранную вещь. Ах, как мне было гадко обойти их кругом!

Осмотрели *национальную галерею* — и здесь англичане успевают больше всего в изображении личности, т.е. в портретах.

Воротился домой, в пять часов, усталый и проголодавшийся, не евши ничего почти с утра. Только что сел за стол, как вдруг записка от князя Голицына, чтоб мы спешили в Нижний Парламент, куда обещался по его ходатайству провести нас какой-то лорд. Бросил обедавать и бегом в *Парламент*.

Народу множество по корридорам. Мы отнеслись к назначенному лицу, и тотчас были посажены на места. Зала длинная, по двум стенам которой стоят лавки одна над другою для членов. При входе скамейки для посетителей. Прямо против нас сидел так называемый Оратор, который однакож ни чего не говорит, в огромном парике, Лефевр. К его столу приходили беспрестанно члены и уходили, а сидели в шляпах. Мне указали входившего *Оконеля*. Человек лет за пятьдесят, с полным лицом, в шляпе на бок; сюртук едва застегивается; кажется он только что с жирного обеда. По наружности похож на пивовара, и ни кто не предположит в нем великого агитатора. Говорили несколько человек с своих мест; но вот подходит к ораторскому столу лорд *Станлей*, которого я очень рад был увидеть (человек почти молодой, около 40 лет белокурый, в коротком сюртуке), и начинает говорить об ученом преобразовании. Кстати случилось нам послушать его. Он положил на стол сверток бумаг и изредка справлялся с ними. Сосед мой ругал речь лорда Станлея и беспрестанно приговаривал: вот он чего хочет! как же! хорош! и тому подоб. Члены его партии и противники выражали очень часто свое удовольствие и неудовольствие громкими криками и междометиями, точно как у нас слышатся иногда на улицах, в рядах, или на охоте, когда псари пускаются на зайцев. Иностранцу странно слышать такие дикие вопли в высшем совете государства, среди самых важных рассуждений. Речь Станлея продолжалась очень долго. Хотя скучно стало слушать, однако я досидел до конца ее, как ни звал меня товарищ в театр смотреть Ричарда III. Может быть Ричарда я увижу и после, а случая в Парламент другого не найдем. Но вот он наконец кончил, и лорд *Морнет* подходит к столу отвечать ему. Та же история.

Образ произношения у англичан совершенно другой. Чувствуешь, что здесь хозяйствует рассудок и заботится только о пользе. Ударения, движения, иные. Англичане как будто не говорят, а считают и подводят итоги. Я желал бы знать впрочем, какое значение имеют эти речи, если вперед бывает известно число голосов про и

contra? След. это только одна проформа: дело решается заранее. А с другой стороны нельзя им обойтись и без речей.

Не дослушав конца отправился домой перекусить чтонибудь, и в театр, чтоб услышать по крайней мере: «полцарства за коня!» Как неистовствовал Кин, сын знаменитого Кина, вообразить трудно. Я несколько раз боялся за его грудь, за его легкие, и думал, что он упадет мертвый. Характер нации виден везде — от ростбифа, портера, до роли, до речи. Неистовства французской живописи могут подать некоторое понятие о неистовствах английской игры.

Комедия шла хорошо. Вышел я из театра до конца пьесы, и поспешил домой отдохнуть поскорее после такого полного впечатлениями дня, вдруг кинулась — почти на меня какая-то вакханка, и я едва убежал от нее в свой Leister-street! ...

Зашли в почтамт. И здесь справки очень легки: два-три слова и ответ вам готов, не надо просьбы, не нужно *благодарности*. Здание обширное. Доходу имеет он слишком 50 миллионов руб. Ежедневно отсылается до 60,000 писем. Каково сообщение!

На пароходе отправились в *Гринвич*. В гавани теснота такая между судами, как на толкучем рынке. Не мудрено, если их бывает по 1000. Насилу выдрался наш пароход на свободу.

Осмотрели все Гринвичские примечательности, залы с портретами знаменитейших адмиралов и мореходцев, церковь, спальни, комнаты матросские, столовую, кухню, больницу.

Не стану ни чего говорить о Гринвиче, о котором со времен Петра I наговорено уже столько.

Из Гринвича возвратились мы в Лондон *по железной дороге*. — Удивительная, на тысяче высоких арок в роде Римских водопроводов, по домам и кровлям, в уровень с вершинами деревьев, трубами и колокольнями, над улицами, где ездят экипажи, и ходят люди. Вам покажется иногда, что вы катитесь по крышам, не только по головам, кои мелькают в низу. Дело вот в чем: линия дороги пересекала улицы, и проходила чрез дома. Над улицами поставили своды, а дома вынули из под линии; прочие же здания на право и на лево остались на своих местах, как были, с крышами, которые и составляют как будто взволнованную окаменелую поверхность. Что за грандиозные замыслы у англичан!

В арках предположено устроить жильё для людей и амбары для товаров, а вдоль их дорогу для пешеходов, которая так же принесет доход обществу.

Места не дороги. Мы ехали почти одни. Сошедши с железной дороги отправились в омнибусе в Regent-Park. *Английские омнибусы* гораздо великолепнее французских и устроены иначе, похожие более на дилижансы. Я взгромоздился на империал, чтоб бросать высший взгляд на город. Очень высоко, страшно, но весело, с поэзией. Цена не большая. За расстояние, в роде нашего от Кремля до Преображенского, самой большой конец, мы заплатили по полтине.

В *Regent-Park* мы начали осмотры с панорамы Лондона. Картина превосходная с высоты церкви Св. Павла, коей не помешал теперь туман. Безбрежное море с окаменевшими волнами расстиралось перед взорами, по местам только зеленело несколько парков подобно островам. 25 тысяч домов, 8 тысяч улиц, 75 площадей!

Панорама, представляющая коронацию королевы Виктории, посредственна. Пестро, ярко, но безжизненно, сухо; все фигуры похожи на бумажных кукол. Зато церковь *Св. Креста* в Флоренции, *со всеми изменениями света*, начиная от первой брезжущей зари до полного солнечного сияния и темных сумерек, совершенное очарование. Свет чуть-чуть проникает перед вашими глазами в мрачный храм, и потом мало по малу, исподоволь, тихо озаряется вся внутренность, а наконец вы видите ясно все предметы, и алтарь, и памятники Данту, Галлилею, Макиавелю, Альфиери! Еще несколько времени, и в храме начинает темнеть, темнеть, вы едва различаете самые главные предметы, и вот воцаряется повсеместная темнота.

В особенном здании показывают опыты увеселительной физики: потом разные живописные виды из Шотландии, Швейцарии, Италии, вы входите в сталактитовые гроты, где узорные капли висят над вашими головами, видите чудесные преломления света; вдали блещет яркая радуга, а здесь стремится шумный поток, который разбивается в мелкие дребезги; вы видите хищных птиц на вершинах деревьев с распростертыми крыльями; идете дальше — и перед вами пестреет цветник, составленный из прекрасных, нарядных, расписных цветов, с множеством райских птиц, попугаев и колибри. Еще шаг, — и богатая ресторация предлагает вам все, что ни потребовал бы вкус самый изысканный.

Оттуда в *Королевский зверинец*, помещенный в парке. Парижский *jardin des plantes*, которому я так удивлялся, гораздо меньше и беднее этого. Каких зверей и птиц я не видал!

Начну с слона, чтоб не пропустить его со многими ревизорами, следователями и наблюдателями. Слоны преспокойно прогуливаются по своим лужайкам, преклоняют колена перед легонькими леди, и принимают их на послушный хребет свой. Сторож предлагал и нам покататься на индейских иноходчиках, но мы не решились.

Вообще все звери живут как баре: у всякого своя просторная и даже комфортабельная квартира, совсеми удобствами. Мадам Жираф только что разрешилась от бремени — случай небывалый в Лондоне. Мы поклонились ей от московского ее приятеля, Телеграфа. Сколько львов, змеев, орлов, гиенн — целое население, царство!

Утомились без памяти путешествуя по всем этим отделениям, как в лабиринте.

В добавок должно было идти домой пешком; ни какого наемного экипажа, ни омнибуса, не попалось нам на пространстве трех-четырех верст. Надо заметить, что здешние омнибусы ездят гораздо реже, так что трудно бывает попадать к назначенным часам на известные пункты.

Отобедав и отдохнув несколько, я пошел по лавкам сделать кой-какие закупки. Первый визит за макинтошами, новыми произведениями английской промышленности. Второй визит за стальными вещами: что за прелесть и богатство в этом магазине. Ножи, бритвы, ножницы и проч. красуются по полкам и ослепляют своим блеском. Третий визит к гарусным и бумажным материям: на всем печать прочности, плотности, степенства!

Среди моих переходов, у крыльца одной великолепной отели остановилась маленькая каретка, запряженная в две лошади, такие, что им верно поклонился бы всякий наш коннозаводчик. Отворяются дверцы, и из каретки выскакивает Пери, румяная, белокурая. Но не об красоте ее я говорить теперь хочу, — она была не красавица собою, — но столько гордости, независимости, спокойствия, было изображено на ее лице, что я был невольно поражен! По всем движениям видно было, что она совершенно довольна собою, что она презирает, или пренебрегает все; ни что ни кажется ей важным, значительным; она ни чему не удивляется; богатству ее верно счету нет и она не знает цены ему, не понимая даже, что значит быть богату, а еще менее, что такое нужда и бедность. Она не зависит ни от кого, ни от чего. Читатели верно удивятся тому, сколько я прочитал на лице у Леди в две минуты, как она вышла из каретки и пока не отворила ей двери; но иногда задается такое счастье!

Я стоял еще у крыльца, как Леди и след простыл. Вот она английская аристократия. Кому придется топыриться за нею! Я не люблю ее, а признаюсь, она величественна... Приятно взглянуть на нее подчас человеку постороннему, как будто из партера. Разумеется английскому или ирландскому нищему (а их десять миллионов), не до театрального эффекта! Да! в одном Лондоне содержится на общественном иждивении 120 т. человек, да мирским подаваниям около 20. Воля ваша — Каннинги и Брумы, Руссели и Пили, а чтонибудь да не так у вас, и чегонибудь, а не видите вы!

Законное дворянство здесь почти только личное, и всякий меньшой сын принадлежит уже к среднему сословию, следовательно казалось бы, что эти сословия близки между собою, а ни где нет такого различия между ними, как здесь, в конституционной Англии! Вот что значит закон и что значит обычай!

Вечером, не могли долго уснуть от множества пролетевших в голове впечатлений, думал и рассчитывал, не съездить ли в Манчестер и Бирмингам, и посмотреть эти столицы человечества рукомышленного. В три-четыре дня можно оборотиться по железным дорогам! В Ливерпуле обедают, выехав из Лондона по утру. Нет, не достает у меня этих трех дней, а в Москве их украл у меня десять почтенный N. N., задержав мой отъезд! За то как я ругнул его здесь, воспользовавшись правами Английской конституции.

1844 г.

Замечания о Лондоне

Письмо девятое

Состояние иностранца в Лондоне по гостеприимству Англичан. — Увеселения в Лондоне все почти покупные. — Раут в Лондоне. — *Ал-макс* в Лондоне. — Приятное препровождение времени для уединенного иностранца. — Театр, Италиянская опера. — Театры: *Drury-Lane Theatre*; и *Covent-garden Theatre*. — Театры: *Haymarket Theatre* и *Lyceum* или *English Opera house*. — Театры: *Royal Circus* или *surrey*; и *The Royal Victoria Theatre*. — Еще десяток Лондонских театров. — Концерты в Лондоне. — Сад *Wauxhall Garden*. — Сад *White Conduit Garden*. — Нынешнее состояние Лондонского театра вообще. — Продолжение Лондонского театра. — Колоссей *Kollosseum* и панорама Лондона. — Первое продолжение панорамы. — Второе продолжение панорамы. — Занимательные предметы: Швейцарские виды, и *диарама*. — Другие панорамы; микрокозмы и аполлоникон.

В великом и богатом Лондоне, незнакомый иностранец вообще мало и не скоро сыщет общественных веселостей, каковых в других столичных городах Европы много и легко отыскать может. Англичанин живет большею частию уединенно; он ограничивается приятным препровождением времени в кругу своего семейства, родных и немногих знакомых. Богатый Англичанин проводит часть года в своих обширных и роскошно устроенных поместьях. Среднего класса Англичанин, удаляясь от шумных веселостей, занимается больше своим промыслом, и ищет увеселения в своем отдельном круге людей. Низший класс Англичан довольствуется питейными домами, где он с удовольствием упивается крепким портером или водкою, и это составляет его приятное, единственное препровождение времени. Таким образом все классы людей живут только для себя и между собою. Это есть правило, которое не бывает без исключения. Неизвестного иностранца Англичане не только непринимают в свой круг, но удаляются от него, и смотрят с недоверчивостию на него. Кто не знает Английского языка, их нравов и обычаев, и преимущественно незнаком с их предрассудками, тот не сыщет между Англичанами удовольствия ни для души, ни для сердца. Правда, чужеземец с частными рекомендациями, с прежним своим знакомством, с связью по промышленности, богатством и высоким чином, довольно радушно принимается Англичанами с первого раза, но неизвестно, на долго ли? Он должен во всем подражать их обычаям, хвалить их устройство гражданственности, удивляться их успехам и не оуждать ничего худого в Англии. Притом ни один приезжий инород-

ный, как бы он ни был знаком в Лондоне, если не желает остаться навсегда там, не должен надеяться на искреннее расположение Англичан и часто посещать одно и то же общество, в противном случае, скоро почувствует отвращение их от себя. Впрочем, иностранец везде принимается как чужой, но это состояние нигде так резко не обнаруживается, как в Англии. По этому приезжий иноземец должен считать себя в Лондоне одним, и один сам для себя одного должен искать увеселения. Одна любезная Россия принимает, почти без разбора, всякого космополита, искренно и дружелюбно, как своего родного, пока дурным не окажется. Чему приписать и как объяснить эту благородную черту великого Русского народа, трудно объяснить, если не приписать это действию слов Святого Евангелия, которые явно выказываются в сердцах Русского народа.

Отрекомендованному иностранцу бывают иногда в Лондоне доступны некоторые увеселительные общества, но не иначе, как или чрез введение в оные, или по билету и рекомендательному письму. Таким образом, он может попасть даже в собрания *Routs* и *Almacks*, и это есть для иностранца самое высшее, и все, чего он может достигнуть в Лондоне. Другие удовольствия этого столичного города покупаются наличными деньгами. Ибо, за исключением прогулок по улицам, по паркам, осмотра Британского Музея и некоторых картинных галлерей, все прочее приобретается платою денег. Даже самое посещение некоторых церквей и прогулка по некоторым Лондонским мостам стоит денег. Впрочем, если разобрать сущность, достоинство и всю картину этих увеселительных мест, то они едва ли заслуживают этих больших трудов, издержек и хлопот, которыми они приобретаются. Из этой категории не должны быть исключены даже самые высшие увеселительные места и собрания Лондона; как то *Routs* и *Almacks*, которые суть не что иное, как вечеринки и балы, назначенные для модного света и высшего круга людей.

Rout, в буквальном смысле означает смесь, путаницу, беспорядок, замешательство, сумятицу, толпу, шум и топот ногами; а в нравственном значении раут есть нечто иное, как нарядное и огромное вечернее собрание высшего тона публики для увеселения. Но как в великом Лондоне живет очень большое число этого класса людей, то залы и комнаты, в коих производятся эти *рауты*, бывают большею частию тесны. По этому и собрание *Rout*, в настоящем его виде, представляет буквальное значение слова. В *рауте* собирается избранная модная и чрез меру нарядная, хорошего тона, публика, мужеского и женского пола не для танцов, а для свидания, угощения и другого приятного препровождения времени; или есть то самое, что у нас вечеринки, с тем различием, что на вечеринках наших сам хозяин оных угощает гостей, а в раутах угощает публику буфет оного, за деньги. Тут, обыкновенно собирается столько публики, что, по причине тесноты, не только нельзя иметь свободного свидания с приятелями и знакомыми, но часто ни сидеть, ни стоять нет места. Всеми признано, на самом деле, что те гости, которые поздно

приехали в раут, часто должны стоять на лестнице и в сенях, ибо, от множества публики, нет возможности протолпиться дальше. Одни только смелые и сильные доходят из задних мест до буфета и освежаются нужными напитками, а прочие должны переносить жажду, тесноту, жар, шум и толкание. При таком состоянии, какое может быть удовольствие в этих *раутах*, постигают только те, которые, имея особенную причину видаться, друг друга сыщут в этой толпе. При всех, однакож, видимых неудобствах, эти рауты охотно посещаются публикою, потому что они суть собрания модные, посвященные только одному модному свету. Бывают *рауты* и в частных домах, в коих соображают число гостей с помещением оных.

Almacks есть то, что бал, или собрание для танцов. Они бывают всякую среду, во время Лондонских веселостей *Season*, начиная с Января по Август месяц, *King-street St. James-square*, в *Willis Rooms*. Вход в это время очень затруднителен, и зависит от усмотрения и расположения *Lady Patronesses*, дамы самого высшего класса, тона и уважения модного света. Она подвергает цензуре всех, желающих участвовать в этих балах. От ее благоусмотрения зависит, кого допустить и кому отказать вход в эти собрания. Избранные дамы и кавалеры записываются в ее книгу. Нельзя порицать эту благоразумную осторожность, принятую для испытания нравственности лиц, в особенности при цензуре дам огромного города Лондона. Вероятно, что милосердые кавалеры, бывшие прежде цензорами нравственности дам с грехом исправляли должность свою. Впрочем утверждают, что и при всей строгости этой начальницы происходят, и вновь составляются на этих балах, самые большие интриги между испытанными и одобренными членами модного света. Это есть правило, которое не бывает без исключения. В этих блестящих *алмаксах* или балах, бывает также большая теснота, и потому молодая публика в начале с трудностию танцует. Англичане предпочитают свои танцы, но не отвергают иногда и чужой пляски. Иностранцы считают, что Английские танцы, подобно как музыка и пение их, сильные, неотученные, форсированные и принужденные.

Самое приятное и интересное удовольствие в Лондоне может доставить уединенному иностранцу прогулка по улицам и частям города, более населенным, как-то: прогулка по шумному Ситы, по великолепному Вестминстеру и по спокойному *Вестенде*. В этой прогулке по городу, в хорошее время, уединенный иностранец может беспрестанно находиться в приятном препровождении времени и видеть почти на всяком шагу новые неожиданные предметы. Блестящие магазины, прекрасно убранные лавки, деятельность жителей, бегание и езда вестников, раздаватели билетов и адресов; также разнощики мелочных вещей и продажа оных по улицам, провозгласители различных требований, уличные художники и многообразные площадные народные представления, займут уединенного иностранца до насыщения. Ежели все эти зрелища, крик, шум, народная толпа и теснота наскучили гуляющему иноземцу, то он может

приятно провести время в просторной прогулке по четырем отличным паркам, которые всем и во всякое время бывают открыты. Они суть: *St. James park*, *Green park*, *Hyde park* с тенистым *Kensington garden*, и *Regents park*, за которым находится *Primrose-hill* и приятные возвышенности у *Hampstead*. Натуральных красот мало имеет местоположение Лондона; в нем нет ни гор значительных, ни скал, ни яров; но искусство заменило натуру во всем, и плодоносная его земля, при содействии человеческих трудов, производит растения, не узнаваемые прочими Европейцами. Кроме того, можно иметь еще приятную прогулку в городе по длинным и прекрасным, мраморным и железным мостам Лондона, но за переход чрез оные должно платить деньги, исключая двух безденежных. Приятные бывают также и выезды из города в ближайшие загородные увеселительные места, куда ежедневно выезжает бесчисленная публика, за очень дешевую цену на пароходах, омнибусах, дилижансах и на других различного звания извозчиках. Из подобных мест лучшими считаются: *Greenwich*, *Chelsea*, *Richmond*, *Hampton court*, *Vindsor*, *Brentford*, *Rushy-park*, и проч. в коих я сам бывал, и о которых упомяну ниже при описании их.

Перейдем теперь к тем увеселениям Лондона, которые приобретаются собственно за деньги. Из них первое место занимают театры. Первого ранга считаются театры: Италиянская опера, *The Kings Theatres* или *Italian Opera house*, состоящий на *Haymarket*. Эти представления бывают в Лондоне в веселое время года, в *Season*, и продолжаются обыкновенно с половины Февраля по Май месяц включительно. В то время Италиянская труппа, окончив свои оперные представления в Париже, переходит в Лондон для той же цели. Английские певцы обыкновенно поддерживают во второстепенных действиях иностранных певцов, подобно как и танцоры Английские в оперных балетах. Они редко бывают образцовые представители этих искусств, в сравнении с иностранными актерами. Но это кажется не так удивительным потому, что из всех чужих краев приезжают в Лондон, для славы и обогащения, одни только лучшие виртуозы. Утверждают, что главный *оркестр* Лондонский есть отличного достоинства, и не уступит никакому другому в Европе. Италиянские оперы вытеснили Немецкие, которые занимали прежде их место, но Немцов и теперь находится значительное число между певцами и в оркестре. Здание этого театра построено в виде Миланского *La scala*, и есть одно из хороших украшений Лондона, которого внутренность совершенно соответствует наружной красоте его. Ложи этого театра состоят из 5 ярусов, и каждая из них украшена шелковыми занавесами, что и придает им прекрасный вид. Все ложи бывают абонированы публикою лучшего тона, на все веселое время Лондонского *Season*, и во всякой ложе находится по 6 кресел. Иностранец может получить место в этих ложах только по самому короткому знакомству с тем, кто нанял ложу на все представления, а без такого знакомства он должен довольствоваться местом в партере, или в галерее. Вооб-

ще вход в этот театр дозволяется кавалерам, чисто и хорошо одетым, а дамам в бальном платье. Одно партерное место стоит 10¹/₂ шиллингов, т.е. 13 руб. 20 коп., а в галерее пять шиллингов. В ложах устроены 900 мест, для лучшей публики, в партере 800, и столько же в галерее. Представления бывают три раза в неделю. Оперы начинаются, по правилу, в половине 8 часа, а присоединенные к оным балеты оканчиваются не редко в час по полуночи.

Drury lane Theatre в улице *Brydges street*. Этот театр горел и возобновлялся несколько раз, и наконец получил в новейшие времена нынешний вид. Внутренность его отделана со вкусом, но просто, как и все Лондонские театры. Он сильно освещается газом, как и все другие, имеет три ряда лож и две галереи, в которых удобно и просторно помещаются 3600 зрителей. Посетители платят: за ложу по семи, за партер по три с половиною, за место в первой галерее по два, а во второй по одному шиллингу. В этом театре разыгрываются национальные пьесы: драмы, оперы и балеты, в последних месяцах лета и в начале осени. *Covent-garden Theatre* в улице *Bow Street*. Здание этого театра есть массивное и великолепное, в Греческом стиле. Колонны портика его сделаны по наилучшему Греческому оригиналу. Две статуи, представляющие трагедию и комедию, украшают фронтиспис главного его входа. В этом театре помещаются удобно 3000 зрителей, и он гораздо красивее внутри и снаружи, чем театр *Drury-lane*. Плата за вход и репертуар, подобно как и время закрытия оного, одинаковы с прежним театром. В обоих этих театрах начинаются представления в 7 часов, а оканчиваются обыкновенно в полночь. Те зрители, которые не желают сидеть пять часов в театре, или желают меньше платить, могут приходиться в эти театры в 9 часов и платить половину этой цены, *halfprice*. Это есть одно из приятных препровождений времени для иностранца; которому Английский язык мало знаком; он может тут сократить пятичасовое время на три часа, прийти позже и видеть при конце лучшие балеты.

The Haymarket Theatre, есть новый, недавно построенный, малый театр насупротив Италиянской оперы. Он имеет большой портик, несообразный с своею величиною, который держат шесть колонн Коринфского ордена. В этом театре играют только летом Английские актеры, а зимою представляет в нем Французская труппа свои пьесы. В нем разыгрываются драмы и мелкие пьесы. Цена за вход в ложу пять шиллингов, за партер три, за первую галерею два, за вторую один шиллинг. Начало представления в семь часов. Театр *Liceum* или *English opera house* в *Strand*. Здание совсем новое, построенное недавно на новой улице, которая ведет от Ватерлооского моста к театру *Drury lane*. Он отличается, как и все Лондонские театры, великолепным портиком, состоящим из шести больших колонн Коринфского ордена. В нем представляются, большею частию, Английские оперы. Этот театр имеет также свое периодическое время, короткий *season*, в продолжение которого бывает открыт. Цена за вход и начало представлений есть тоже, что *Haymarket* театра.

The Royal Circus или *Surrey Theatre* в *Blackfriars road*. В нем представляются мелодрамы, балеты, преимущественно конские ристалища, и он соперничает с Парижским цирком. Выучка лошадей и ловкость ездоков удивления достойны; по крайней мере я лучших представлений в подобном роде не видал нигде. Место ристалища занимает большую часть партера. Тут отличаются удивительными способностями лошади, канатные танцоры и паяццо. Эти представления привлекают к себе публику, как своею занимательностию, так и низкою ценою. За ложу вносятся четыре шиллинга, за партер два, за галерею один шиллинг. Здесь также, как и в прочих Лондонских театрах, исключая Итальянской оперы, за вход, в 9 часов, дозволяется платить половину цены, *halfprice*, за всякое место, исключая галерею. *The Royal Victoria Theatre*, в *Waterloo bridge road*. Он назначен для драматических представлений; имеет отличных актеров и актрис, а за вход цена та же, что в *Royal-Circus*.

Salder's wells *St. John's street Road*, на *New Road*. Театр старый, построенный на одном большом бассейне, в котором плавают небольшие корабли, и представляют морские миниатюрные сражения. Кроме того, не редко представляются тут мимические действия, также борьбы и балеты. Цена за вход вышеупомянутая. *The Royal Amphitheatre* находится в *West-minster Bridge road*. Прежде был тут манеж, а теперь устроен театр совершенно так, как *Royal Circus*, и посещается публикою больше оною, потому что занимательнее, и находится почти в середине города. *The Royal Adelphi Theatre* в *Strand*, есть зимний театр, назначенный для мелких пьес, пантомим, опер и танцов. Он посещается многочисленною публикою, притом занимателен и снабжен отличною труппою. Цена за вход одна, вышеупомянутая. *The Olympie Theatre* на улице *Wych-street*. В нем отличилась знаменитая и в танцах грациозная дама *Vestris*, которая отжила уже лучшие свои лета. *Royal Fitzroy* или *Queen's Theatre* в улице *Tottenham-street*, для комедии и борьбы, цена одна с предъидущими. Есть еще несколько третьеклассных театров с малою ценою за вход, как то: *The Royal Clarence Theatre* в улице *Liverpool-Creet*, *New Queen's Theatre*, в *Windmill Street*, *Haymarket*; *Dibdin's Sans Souci*, в *Leicester Street*; *London Bridge Theatre*; *Ducrow's Olympic Circle*, в *White chapel*, там же *Garrick's Theatre*, и другие, которые на время возникают и упадают.

О концертах Лондонских можно сказать, что они всего больше разыгрываются и публикою посещаются в продолжение веселого времени года, *Season*, потому что эти увеселения принадлежать собственно к высшему кругу модного света. Лучшие певцы, инструментальные музыканты, танцовщицы и пр., съезжаются со всей Европы в Лондон, для увеселения богатых Англичан, чтобы воспользоваться их богатством. Большие суммы приобрели там *Каталани*, *Паста*, *Зоннтаг*, многие Итальянцы, танцоры, певцы и музыканты. Они сперва посещают, по рекомендации, высшего тона публику, и знакомятся с модным лучшим светом. Их радушно принимают и по

оценке, навыком приобретенной, щедро награждают. Вообще Англичане не бывают большие музыканты, но они любят музыку, и в особенности хорошее пение. По этому иностранные виртуозы принимаются в Лондоне со славою и награждаются часто выше своего достоинства. Это еще чаще случается, когда к этому таланту присоединено еще новомодное обращение и приятный наружный вид артиста. С недавних времен вошли у них в употребление утренние концерты, для которых публика может одеваться просто, без церемонии; как напротив для вечерних концертов требуется одежда лучше уважаемая и нарядная. Отличные концерты даются в зале дома Италиянской оперы, в *Willis Rooms*, в *Freemasons Hall*, *Great Queen street*; в *Crown and Anchor Tavern*, *Strenid*, в *City of London Tavern*, и в других местах, по извещению журналов и объявлений. Обыкновенная цена бывает за вход в концерт полгиней, т.е. около 13 руб. ассигнациями, иногда больше. Лучшие виртуозы в музыке отличаются часто талантами своими в партикулярных домах богатых фамилий. Это нередко начинается в дворце у молодой Королевы, которая сама музыкантша и любит музыку, а потом переходит то самое в частные дома модного света.

Нередко бывают в Лондоне театральные представления и музыкальные концерты в некоторых садах города, из которых отличнейшими считаются: *Wauxhall* и *White Conduit Gardens*. Первый *Wauxhall Garden*, называется от имени прежнего своего владельца, и находится в части города *Lambeth*, близко реки Темзы. Он есть довольно большой сад, с аллеями и с дорожками для гулянья, с беседками, цветниками и парками; также имеет несколько мест для оркестров, один театр и различные предметы для увеселения. Из этого сада пускаются иногда в одну неделю несколько воздушных шаров, и всегда подобные зрелища заключаются фейерверками. Тут обыкновенно более 400 человек занимается увеселением публики, как то: певцы, музыканты, актеры, погребщики, прислужники, сотрудники при иллюминации и для пущания шаров, и пр. Этот сад бывает открыт три раза в неделю, с Мая месяца по Август включительно. Плата за вход на все представления и увеселения стоит четыре шиллинга. Концерты и театры начинаются в 8 часов, а фейерверки в одиннадцать ночи.

Подобный, но не так блестящий и убранный сад есть *White Conduit Garden* в части *Islington*, который делает новое увеселительное место. Он летом бывает всякий день открыт для увеселения, исключая воскресного дня, а зимою служит удобным местом для игры и танцов. Однакож, сада этого не посещает высшего тону модная публика потому уже, что цена за вход в оный очень низкая, за один шиллинг, куда может заходить и всякий простой гражданин. Вот в какой маске выказывается на самом деле Английская республика и пресловутая вольность оной. Кроме того, во многих садах внутри и около Лондона играет музыка и разыгрываются мимические и драматические представления странствующими актерами. Все сады в Лондоне, открытые для удовольствия публики, называются *Tea-gar-*

dens, в которых, в продолжение летних месяцев, публика пьет чай и кофе.

Нынешнее состояние Английского театра не может удивлять высокою и изяществом, которое, по общим законам природы, должно бы, со дня на день, выше и выше восходить, и приближаться к своему совершенству. Правда, восходить труднее, чем прямо нисходить или шествовать по боковым линиям вниз. В таком точно состоянии находятся в настоящем времени Французские и прочие Европейские театры с комментаторами их, заражаясь одною и тою же болезнию друг от друга. Здесь при рассматривании Английского театра и сочинителей оного, не должно возвращаться ко временам Шекспира, *Shakspeare*, в котором Англия, кажется, исчерпнулась на сотни лет. Это был кратковременный метеор, который всех театральных нынешних писателей далеко превзошел, и не только писал, но и действовал. Здесь не должно представлять также и времени Гаррика *Garrick*, но только должно посмотреть на то, что сделано по сей части в Англии в последнее десятилетие. Англичане никогда и ни в каком другом роде театральных сочинений не отличались, как только в одном драматическом. Их оперы плохи, и суть не что иное, как нескладный сбор чужестранных творений; их комедии жестки и карикатурны, их мелодрамы и водевили, которые теперь представляются и публике нравятся, суть одного достоинства с их операми.

Неподражаемые творения Шекспира представляются теперь в Лондоне изредка в пустопорожних театрах. Публика желает чрезвычайных зрелищ, пения и танцов, и это желание зрителей должны поддерживать актеры всячески, своими выисканными действиями и фарсами, чем безрассуднее, тем лучше, тем больше рукоплесканий. Таким образом, Английский театр, по расположению нынешнего духа времени и образованию нынешней модной публики, принял кривое направление. Он отстал совершенно от прежнего своего высокого вкуса, и вместо преждебывших отличных актеров, корифеев и образцами стали забавники, комедианты и фигляры. Если бы Англичане продолжали совершенствование своих драм, и представляли оные, по крайней мере, в национальных своих театрах, да довольствовались бы одними Италианскими операми и конными ристалищами, в своих цирках, то бы Английский театр не упал так низко. Все дирекции их заботятся теперь только о том, что бы театр наполнить зрителями, и чтобы денег собрать побольше, каким бы то образом ни было, Правительство не поддерживает ни одного театра, а директоры должны сами заботиться обо всем, и выбирать пиесы по вкусу публики, которые, если бывают без пения и танцов, то театры остаются пустыми. Нельзя отвергать, чтобы между актерами не было и теперь людей с отличными талантами, но направление их талантов зависит ныне совершенно от испорченного вкуса публики, директоров, и преимущественно от произволения акционеров, которые больше всех вмешиваются в театральные распоряжения. В новейшее время взяли некоторые образованные директоры восстановить упавшие

прежние драмы и возратить им прежнюю славу на театре *Coventgarden!* Какой будет успех, время покажет. Модной публике можно предоставить, в полное ее распоряжение, наружную представительность, разговоры и приемы, совершаемые в гостинных их комнатах, а также новую перемену фасона в платье, а не вмешиваться в литературу и давать оной свое направление. Изящная Словесность имеет свои собственные правила и вкус, превышающий их понятие, который только долговременным трудом и талантами одних ученых и начитанных литераторов приобретается и достойно ценится.

Между другими, примечания достойными предметами Лондона, которые осматривать может иностранец за деньги, есть знаменитый *Колоссей*, находящийся в *Режент Парке*, *Regents Park*. Это есть огромное, массивное строение, коего вход украшен шестью большими колоннами Дорического ордена. Он построен был в 1827 г., для помещения Хорнеровой панорамы, изображающей город Лондон, освещаемой стеклянным куполом, которого диаметр 75 футов длины. Все строение представляет шестнадцати-угольник, коего каждый бок 25 футов длины, а следовательно весь круг имеет 400 футов в периферии. Вся панорама закрывает плоское пространство земли на 40000 квадр. футов, и снята с купола Церкви С. Павла. Посетитель, желающий видеть эту огромнейшую в мире панораму, по устроенной тут машине, освобождается от труда входить по лестнице наверх. Часть пола, на которой становится посетитель, по указанию смотрителя, поднимается с ним вместе наверх и приносит его в верхнюю круглую галерею, или корридор. С этой галереи, в круге построенной, виден весь Лондон в панораме, со всех сторон кругом, так живо, натурально и ясно, как он виден на самом деле, с купола или с колокольни церкви Св. Павла. По осмотре панорамы, посетитель опускается таким же образом машиною вниз, или сходит по лестнице на твердую землю. Цена за осмотр одной панорамы один шиллинг, за что не жаль бы было заплатить десять шиллингов.

По приходе моем с адвокатом к Колоссею, для осмотра панорамы, и по заплате за двух нас, двух шиллингов, я был спрошен, желаю ли взойти в панораму по лестнице, или быть поднятым машиною наверх? Мне надобно было испытать и то и другое, и мы поэтому подняты были наверх машиною, а сошли вниз по лестнице. По входе моем из темного места в верхнюю галерею, которая окружает по видимому весь Колоссей снаружи, она была, как мне казалось, светлее полуденного сияния солнца. Многочисленная публика ходила по галерее взад и вперед кругом, и рассматривала Лондон внизу стоящий. Я видел с этого корридора, или галереи не панораму Лондона, а настоящий Лондон; те улицы и площади, по которым я пришел, те дома, сады и строения, мимо которых проходил, те Церкви, в настоящей своей величине, которые я прежде осматривал; ту Темзу со всеми своими мостами, кораблями, дымящимися пароходами, словом, я видел Лондон с верхней галереи точно так, как он есть в самой натуре. Зрение мое простиралось верст может быть на

15 кругом во все стороны, и по законам перспективы, предметы, по мере отдаления своего, казались меньше и слабее. Находясь в открытой галерее, я видел над собою то самое голубое небо, тот небосклон и конец оно, совершенно в таком пространстве, в каком обыкновенно зрение мое представляет мне оные на самом деле.

Восхищаясь такими прекрасными видами, я спросил у моего адвоката, где панорама Лондона? ответ был: вы теперь не видите настоящего Лондона, а видите его в панораме. Я нагнулся на перила галереи, круто посмотрел вниз и видел те самые места и предметы, которые видел прежде нанизу. Я посмотрел на отдаленнейшие предметы Лондона чрез мою подзорную трубку, и видел предметы лучше и яснее; словом, все было натурально, без всякой подделки, искусства и обмана. У меня была в руках палка, я протянул оную, сколько рука моя доставала, в верх, в бок и в низ, и махал оною на все стороны, но ни до чего не касался. Наконец, сказал мне адвокат: посмотрите со вниманием на Темзу и на улицы, и вы увидите, что все корабли и пароходы, с дымящимися трубами своими, подобно как экипажи и люди по улицам, стоят на одном месте. Точно так, но неподвижность предметов может быть и натуральная. Потом присовокупил к этому, что и свет, который я вижу, не есть солнечный, а просто газовый, усиленный до солнечного полуденного сияния. Я поднял глаза вверх, и видел над собою, в расстоянии двух саженей, если не больше, растянутую парусину над галереєю, для защиты якобы от дождя и сильного действия солнца. Мне вздумалось посмотреть, с какой стороны находится солнце; я обошел кругом галерею и пришел на прежнее место, но нигде не видел, ни на голубом небе, ни чрез белую парусину, светящего солнца. Тут уже я совершенно уверился, что мы в панораме, и что я вижу Лондон не настоящий, а искусственный. Это есть величайший и единственный образец искусства, подобного коему предмета я нигде не видал, и едва ли где нибудь есть, в таком совершенстве и натуральности. Оттуда мы сошли вниз по темной лестнице.

Здесь, в одном месте, внизу, показываются еще и другие достопримечательности: скамейка, на которой обыкновенно сживал Наполеон, бывший на острове Св. Елены. Тут же одно молодое деревцо, отросток той печальной ивы, которая росла на могиле Наполеона, на острове Св. Елены. В этом же месте, от входа с правой стороны, стоит Швейцарская хижина, в коей представляется, в огромном виде, отличный ландшафт Швейцарии, с горами, озерами и с одним действительным водопадом, и много еще других любопытных предметов. За осмотрение обоего отделения платят, за одним разом, два шиллинга, а порознь за каждое по одному шиллингу. В том же Regent's-парке находится диорама, в одном, особенно построенном здании, для помещения перспективных изображений. Тут пред небольшим театром, устроен для зрителей ряд подвижных лож, которые переходят с зрителями вместе от одной картины к другой. Впечатления этого зрелища чрезвычайно прелестны и занимательны,

которые по неожиданности новых перемен делаются еще занимательнее. Эти представления и перемены оных всегда публикуются предварительно в печатных листах, которые рассылаются по разным местам, и приклеиваются на углах перекрестных улиц. Вход в диораму стоит один шиллинг.

Панорамы показываются еще на площади *Leicester-square*. Микрозоны или малые миры представляются в улице *Regent-street*. Эти представления состоят из двух частей, из солнечного микроскопа, который показывается только днем, при ясном сиянии солнца, с 12-ти до 5 часов. Другой микроскоп освещается искусственным светом в *камере обскуре*, темной комнате, от 10-ти часов утра до самой ночи. Оба эти микроскопа увеличивают самые ничтожные предметы, напр. капельку воды с обитателями ее, и волосочек, до неизмеримой степени. За представления обоих этих микроскопов цена порознь, один шиллинг. Еще косморама в улице *Regent-street*, которая, чрез всякие два месяца, переменяет свои представления. *The Apollonicon* находится в *St. Martin's-Lane*, в улице *Cannon-street*. Это есть огромный музыкальный инструмент, на котором представляется полный оркестр, состоящий из различных инструментов, и показывается публице.

1846 г.

Переезд в Англию (1844—1845)

To the West, to the West! to the land of the free!¹

Американская песня

«Как вам это покажется, если мы вас перебросим через канал в Англию? Согласны вы?» Так говорил мне улыбаясь почтенный отец де-Гельд, тогдашний провинциал Бельгии (Pere Provincial). Это было за несколько дней до твоего последнего посещения в Виттеме в сентябре 1844. Я душевно был этому рад. Новая более свободная жизнь миссионера, новый край, новые приключения и волшебное обаяние Англии — все меня туда влекло. На другой день после твоего отъезда меня отправили в *Брюж* — поближе к морю. Тут был только маленький домик с одним отцом редемптористом и братом прислужником. Меня заставляли несколько раз проповедывать в Брюже для того, чтобы привлечь внимание живущих там английских католиков. Это значило: «Вишь какого мы к вам посылаем!» Тотчас после рождественских праздников меня с молодым товарищем — миссионером, отцом Лудвигом послали в *Остенде*. После 3 или 4-летнего заключения в монастыре, я совершенно отвык от путешествия и меня, как ребенка, посадили на пароход, всунув мне в руки 5 фунтов на дорогу до Фальмута. После 20-часового благополучного плавания мы вошли в Темзу и остановились у пристани — 1-го января 1845 г. в 3 часа пополудни. Незабвенный день и час! его надо золотыми буквами начертать на скрижалях моей жизни.

После небольших (в тогдашних размерах) континентальных городов Берлина, Брюсселя, Льежа, Лондон изумил меня своею огромностью; тут все было колоссально-величаво; это была неизмеримая пустыня, беспредельный океан. Я совершенно растерялся и не знал, как и шагу ступить. У самого парохода встретил нас почтенный Г.Лайма (Lima), будущий учитель маленькой школы, заведенной нами в Фальмуте: он был добрейший человек, но чрезвычайно серьезный и важный и имевший самое высокое понятие о своем звании. Он взял нас с нашими пожитками и повел в небольшую гостиницу на Fleet Street. Это было очень скромное убежище, но вместе с тем она была удивительно как опрятна и уютна. После шуму и гаму бельгийских и французских трактиров, отрадно было найти тут совершенный порядок и тишину, так что я мог спокойно сидеть в общей зале и заниматься чтением, как будто в своей келье. Мы пробыли два или три дня в Лондоне по делам моего будущего спутника

¹ На запад, на запад, в страну свободных!

Г.Лайма, но я все время сидел в гостинице и не осмеливался пуститься в Лондонский океан.

Весь мой старинный дух приключений, казалось, совершенно покинул меня. Только один раз я отправился в сопровождении Г. Лайма отыскивать какого-то польского поэта (имени не помню), к которому я имел поручение от *отцов вознесения* (Peres de la Resurrection) в Париже. Несколько польских офицеров, покрытых рубцами доблестных ран, добытых на поле сражения за *отчизну*, вступили в духовное звание и в самый день светлого Христова Воскресения основали нечто в роде монашеского ордена; но под этим титулом воскресения они скрывали другой таинственный смысл, т.е. воскресения Польши. В благодарность за какие-то красноречивые и патриотические слова этого поэта они послали ему через меня письмо с пером в бисерном чехле. Перо я как-то затерял, и доставил ему только письмо. Ничего не могу сказать об этой личности: я пробыл с ним всего несколько минут, потому что Г. Лайма ожидал меня в передней.

В моей маленькой гостинице все мне казалось как-то знакомым: этот камин с пылающими угольями и четвероугольным зеркалом и даже эта рыжеватая кошка, гревшаяся у огня — все это я прежде видел на английских эстампах. Поутру часу в одиннадцатом вдруг настала такая египетская тьма, что принуждены были засветить газ: вот и пресловутый лондонский туман!

Я привез с собою большой сундук с разными церковными утварями, за что меня на таможене порядочно обобрали до такой степени, что я принужден был некоторые вещи, напр. картинки, оставить там же на таможене. После этого кошелек мой очень истощал: этого не предвидел почтенный отец Провинциал, думавший что 5 фунтов мне достанет до Фальмута, т.е. до самого крайнего юго-западного конца Англии. А тут еще на беду товарищ мой, отец Лудвиг, тоже оказался без гроша и вымолил у меня несколько денег для того, чтобы доехать до места своего назначения, которое было гораздо ближе в *Worcestershire*. В этаких стесненных обстоятельствах с еле-еле дышащим кошельком мы, т.е. я с учителем *Лайма*, выехали из Лондона. Нам прежде следовало ехать в *Bath* (Бат), представиться там нашему епископу доктору Бриггсу (Briggs). Мы покатались по железной дороге.

Какая прелесть — Англия! Несмотря что это было в январе, светлая река Трент тихо струилась между зелеными бархатными лугами, и тихо паслись *красные* коровы. Опять старое воспоминание! Опять английский пейзаж! О *Бафе* ничего сказать не могу, потому что вовсе его не видел: мы прямо со станции отправились за город в *Prior Park*. В старые годы тут жил знаменитый поэт Поп (Pope), а теперь оно перешло в руки католиков и в нем помещался епископ с несколькими священниками и семинарию. Это был просто дворец с колоннадами и великолепным парком. Мы приехали к самому обеду, т.е. около 4 часов. Епископ сажился за стол. В то время духов-

ных лиц, приезжавших с материка принимали с открытыми объятиями, и английское духовенство не было, как теперь, проникнуто ультрамонтанскими идеями, а сохраняло большую долю свободного английского духа. Епископ принял меня очень радушно. Я подал ему (вовсе ненужное) рекомендательное письмо от проживавшего в Париже русского француза Ермолова, знавшего его в Риме. Учитель Лайма ожидал в передней, но епископ и его пригласил с нами за стол и мы славно пообедали, особенно я помню два отличных английских *пуддинга*. Епископ должен был немедленно ехать в Бристоль, где ему следовало говорить проповедь на следующее утро, в день богоявления (*epiphany*); он предложил мне, на выбор или тотчас же ехать вместе с ним, или остаться здесь поотдохнуть и осмотреть заведение. Я предпочел последнее.

Мне отвели тихую роскошную спальню с кабинетом, какой я от роду не видывал. На следующее утро звон колокола призвал нас к торжественной обедне. По английскому обычаю в рождественские праздники церкви и дома украшены зеленью, т.е. гирляндами плюща или того, что называется *holly*. Я нашел тут более простоты и вкуса, чем в бельгийских церквях, где церковные украшения часто сбиваются на кукольную комедию или на вызолоченные пряники. Проповедь была *по-нашему*, т.е. просто читана с тетради без декламации и жестов. Англичане терпеть не могут итальянского размахивания руками и поддельного французского энтузиазма: они могут быть и правы. Кто на сколько-нибудь знаком с писаниями святых отцов, напр. Иоанна Златоуста и блаженного Августина, тот должен знать, что их краткие и простые поучения не допускали никакой декламации, а их длинная и широкая одежда не позволяла им разглагольствовать по кафедре.

В тот же день мы отправились вслед за епископом в Бристоль, где и приютились в скромной гостинице. Вечеру мы имели удовольствие слушать проповедь его преосвященства, в ней он показал свою ученость, рассуждая о наших *русских расколах*. После проповеди епископ пригласил меня с Г. Лайма на обед к себе в гостиницу. Его гостиница находилась в *Клифтоне* (*Clifton*), т.е. в самой модной и великолепной части Бристоля, где дома, выстроенные на террасах, все глядят дворцами. Это был особенный обед для духовенства и других католических лиц. За столом председаала хозяйка, пожилая тучная дама в огненно-красном платье с тюрбаном (*turban*) на голове. Было еще несколько дам. Разговор был очень приятный и разнообразный, без малейшего клерикального педантизма. После обеда довольно поздно мы встали и, раскланявшись с честной компаниею и испросив благословение епископа на предстоящий нам путь, отправились в свою гостиницу, которую с трудом могли отыскать среди запутанных улиц старого Бристоля.

Пришедши в гостиницу, нам вдруг представился вопрос: как нам теперь быть? До самого Фальмута в то время еще не было железной дороги, а часть пути надобно было делать в *Coach'e* или дилижансе.

Но ни на железную дорогу, ни на дилижанс у нас денег недоставало — что ж тут делать? Чего бы кажется проще — обратиться к епископу и попросить у него денег. Ведь я был его подчиненным и ехал по его же делу — ничего не могло быть естественнее. Ах, нет! У меня была самая нелепейшая *деликатность*. Я вовсе не годился быть священником, а всего менее монахом, потому что у меня не было дара — *просить денег...*

Г.Лайма, знавший всю подноготную в этой части Англии, вспомнил, что из Бристоля дешевое судно ходит прямо к берегам *Корнвалля* (Cornwall). Вот оно и коротко и дешево! *Magnifique et pas cher!* На следующее утро мы записались в число пассажиров. Это было очень плохое и ненадежное судно, на коем обыкновенно перевозили скот и — бедных людей! В ожидании отплытия, мы присели в кабачке выпить стакан пива, и при этом случае я видел английскую кухню, доведенную до самого простого выражения: какой-то путешественник из простого народа схватил на вилку большой кусок сырого мяса и, подержав его несколько минут над огнем камина, принялся кушать без дальнейших церемоний. Это именно, как ты называешь, *простое блюдо* без малейшей примеси французских или итальянских соусов.

Однако ж пора ехать. Для предохранения от морской болезни я запасся куском сырого копченого мяса, и оно мне очень помогло, — хотя впрочем я никогда в моей жизни морской болезни не испытывал. Помещение было не очень *деликатное*: нас закупорили в какой-то деревянной коробочке, где едва было можно двигаться. Плыли мы целую ночь и большую часть следующего дня, и наконец под вечер благополучно вышли на берег и остановились в так называемом *Temperance hotel*, т.е. в такой гостинице, где не продают никаких крепких напитков, а вместо их дают вам вдоволь чаю и всяких возможных сладостей. Все эти маленькие гостиницы удивительно как опрятны и уютны: все дышит порядком, тишиною и удобствами жизни — одним словом *комфортом*. Тут мы отдохнули с большим наслаждением, хорошенько пообедали, напились чаю со сладкими пирожками и потом заснули самым блаженнейшим сном, потому что завтра последний день нашего странствия: мы были каких-нибудь 10 миль от Фальмута. Встаем поутру: погода прекрасная — совершенно весенний день — солнце ярко блистало. «Что ж тут нам дожидаться дилижанса — мы отправим с ним наши пожитки, а сами пойдем пешком. Ведь каких-нибудь 8 или 10 миль не беда. Вишь какой день!» — Сказано-сделано, и мы отправились в путь.

Ландшафт беспрестанно изменялся — мы все подымались в гору — то холмы, покрытые темным лесом, то глубокие долины с журчащими ручьями, а иногда из-за леса мелькало вечно смеющееся море. Как легкие и сердце расширяются на этом свежем и горном воздухе — вот настоящая жизнь! вот свобода! лети, куда хочешь, как вольная птица! Дорога делает крутой изгиб у подошвы холма, и вдруг открывается великолепное зрелище — весь длинный Фальмутский залив,

замкнутый на конце двумя горами, и на одной из них старый замок Pendennis. А вот и начало Фальмута: терраса с красивыми домиками, нависшая над самым морем — еще несколько шагов, и вот наша каплица с крестом и при ней наш скромный домик, обвитый розами и chevrefeuille, на дворе колодец с колесом и все это заросло, заглохло вечно зеленым плющом. Стучим у двери: нас приветствует брат прислужник, frere Felicien, француз, а тут является и будущий мой начальник, большой мой приятель, патер de Buggenoms, бельгиец. — Теперь мы дома. Подавайте скорее чего-нибудь поесть. Г.Лайма бежит домой свидеться с своим семейством: женою, дочерью и маленьким сыном. И так мы в Фальмуте — надолго, надолго — может быть на веки.

Лондон

1-го мая 1848.

Десять лет назад это число казалось мне так близким, как будто вчерашний день; а теперь оно отодвинулось в такую туманную даль, что уж принадлежит к годам первой юности (хотя мне тогда было за сорок лет). 1-го января 1875 будет ровно 30 лет с тех пор, как я в первый раз вышел на берег Англии. Страшно и подумать! В это время целое поколение людей успело родиться, вырасти и умереть. Хотя мне и грустно было расставаться с Фальмутом, но все ж таки эластическая упругость юной жизни брала свое. Я ехал в Лондон полный веры, надежды и любви, с беспрекословным повиновением, с неограниченным доверием к людям. — Я ехал как солдат, идущий в поход по приказанию начальства... куда? за чем? против кого? за кого? — А мне какое дело? Приказано да и только! Жизнь — копейка, командир — наживное дело! Мною тогда обладал дух самопожертвования. «Величайшая и достойнейшая жертва, какую человек может принести богу, это — пожертвовать своим разумом и волею». На это можно теперь возразить, что если отнять у человека разумную свободу, то что же останется? — Хорошо дрессированная скотина, лошадь или собака, выкидывающая разные штуки по мановению хозяина. Но к этому, именно и стремится вся система иезуитов. По словам св. Игнатия, иезуит в отношении к своему настоятелю должен быть как бездушный труп, как посох в руке старца и пр.

С Паддингтонской станции (Paddington station) я взял извозничью карету (cab) и меня везли каких-нибудь два часа, пока мы наконец достигли отдаленного южного предместья Клапам (Clapham). Лондонские предместья беспрестанно расширяются, открываются новые улицы, дома растут как грибы, те же нумера повторяются с прибавкою капитальных букв. Едва-едва мы отыскивали небольшой домик под каким-то № 85 В, где отец де-Гельд остановился у нашего приятеля и благодетеля Фильпа (Philp). Он теперь значительный книгопродавец в Лондоне. Отец де-Гельд принял меня с отверстыми

объятиями, выхваляя мое быстрое повиновение (*prompte obeissance*). Этой быстроте повиновения много содействовал мой почтенный настоятель в Фальмуте, отец *де-Бюггеномс*. Он нарочно поспешил отправить меня в пятницу для того, чтоб не дать мне случая сказать прощальное слово народу в воскресенье и получить от него знаки сочувствия. Этот человек (т.е. *де-Бюггеномс*) терпеть не мог ни соперника, ни равного. Он, казалось, беспрестанно повторял себе слово Кесаря: лучше быть первым в деревушке, чем вторым в Риме.

В тот же вечер я имел случай видеть начало нашей деятельности. Полдюжины маленьких девочек, составлявших католическую школу, под надзором г-жи Фильп собрались в маленьком садике, где им раздавали разные премии и потчевали чаем с пирожками. — В доме г. Фильпа не было отдельной комнаты для меня, итак меня отправили на ночлег в другую улицу в дом двух престарелых девиц, составлявших всю католическую аристократию Клапама. Клапам в то время был твердынею самого строгого евангелического протестантизма. Нога католического священника никогда там не бывала. Главное население состояло из богатых купцов, отправлявшихся каждое утро в 9 часов с omnibusом в *Сити* в их торговые конторы. Кое-где в закоулках и глухих переулках гнездились кочующие семьи бедных ирландских работников — это была наша будущая паства.

Незадолго до нашего приезда поселилась в Клапаме некая г-жа *Гобриан* (*Goesbriand*) из Бретани: она составила какое-то общество светских дам, связанных некоторого рода монастырским уставом и занимающихся разными богоугодными делами. Мы поселились покамест в их доме: нам отвели две комнаты с столовою и мы жили у них на пансионе. Из двух других комнат сделали довольно обширную залу: тут мы поставили алтарь и это была наша первобытная церковь. В воскресенье, бог знает откуда, набралось довольно народа, так что зала была наполнена. Монсиньор *Талбот* (бывший после папским камергером — *chamberlain*, а теперь находящийся в доме сумасшедших), в очень лестных выражениях представил или отрекомендовал *народу* отца *де-Гельда* как опытного миссионера, объехавшего Европу и Америку. При вечерней службе я говорил проповедь, от которой все были в восхищении и после этого наша маленькая церковь всегда была битком набита, так что люди задыхались от жару. Меня пригласили проповедывать в самом Лондоне в большой католической церкви св. Георгия, и тут уж были стенографы, записывавшие каждое мое слово. Нас было двое: о. *де-Гельд* и я, и мы по-возможности строго соблюдали монастырский устав. По утру в половине 5-го я будил моего почтенного настоятеля, и мы вместе преклоняли колена и совершали утреннюю молитву и духовное размышление (*meditation*), потом следовала обедня и пр. и разные сношения с нашей паствою. О. *де-Гельд* или фон-Гельд (*Held*) был очень хорошей австрийской фамилии и монашеская жизнь ни мало не испортила его прямодушно-твердого и благородного характера: он обходился со мною очень деликатно, с какою-то отеческою лю-

бовью и вместе с тем с величайшим уважением: у него была поэтическая рыцарская душа и он понимал подобные чувства в других: он умел вполне оценить мои таланты и давал им надлежащее направление. Он был моим Моисеем, я был его Аароном: я доселе храню благодарную память о нем. Когда брат Ф.Печерин прощался со мною в Лондоне в 1851 году, о. де-Гельд сказал ему: «Скажите его родителям, что вот уже более 6-ти лет как я его знаю, а он ни разу ни на одну минуту не огорчил меня».

В то время Лондон был убежищем всех беглецов от революции. Меттерних с семейством поселился возле нас. Он как-то захворал и нашли нужным послать за священником — пригласили о. де-Гельда. Его приняла сама графиня и сказала, что муж ее только слегка нездоров и сейчас к нему выйдет. Тут завязался разговор и слово в слово графиня сказала: «Мой муж очень ревностный католик и правду сказать — он лучше самого папы!» Каково! Как времена изменились! Тогда Пий IX считался опасным либералом, а теперь — успокойся, возрадуйся и ликуй, о тень Меттерниха! Пий IX человек тебе по сердцу и ты скоро с отверстыми объятиями встретишь его на полях Елисейских! Вышел Меттерних в халате или сюртуке не помню — и оказалось, что он просто старый болтун. У него вечно одна и та же песня, т.е. что все зло в мире происходит от *измов*, напр. либерализм, конституционализм, социализм, коммунизм и пр. Я удивляюсь, что отцу де-Гельду не пришло на мысль заметить ему, что к этому же разряду зловерных *измов* принадлежат: Catholicisme, ultramontanisme и даже Catechisme¹. Видно, что остроумие Меттерниха далее не простиралось, потому что после, когда известный Велво навестил его в Вене, он сообщил ему второе издание той же диссертации об *измах*. Канцлер *Оксенстирна* посылая сына путешествовать, сказал: «Ступай, мой сын, и собственным опытом узнай, как мало требуется мудрости, чтобы управлять миром (quam minima sapientia gubernatur mundos)».

¹ Католицизм, ультрамонтанизм (крайний клерикализм) и даже катехизис (фр.)

Письмо об Англии

Любезный друг!

Известное дело, что достопочтенный Беда говорит об Англосаксах идолопоклонниках, что они должны отречься от Чернобога и Сибы. Егингард называет Белбога в числе Саксонских богов. Итак, стихия Славянская в приморских Саксонцах не подвержена сомнению. Но в котором из их племен можем мы ее найти? Коренные Саксы — бесспорные Германцы с примесью Скандинавской. Юты также Германцы, может быть с примесью Кимврской. Остаются Варны и Англи. И те и другие повидимому принадлежат Славянским семьям; но Англи важнее Варнов и следовательно могли сильнее действовать на религию всего Саксонского союза и на его общественный быт, давая ему своих богов, давая его начальникам Славянское название *Вледик* (или Владык) и вводя в обычай — Славянский суд целовальниками или поротниками, т.е. присяжными. Англи перешли, как известно, из Померании, т.е. из Славянского поморья в Тюрингию, а оттуда к устьям Рейна, откуда они переселились в Англию и дали ей свое имя. Имя это связывается весьма ясно с именем царственного рода Инглингов или Энглингов (Энгличей), потомков Фрейера, бога при-Донского, от которого вели свой род Энгличи Скандинавские, так же как и князья Англо в Англии, называя его Ингви, Ингин или Ингиуни (Ингви Фрейр по Ара Фроде и Снорро). И так, в имени Инглинг, Энглинг или Англинг (Энглич или Англич) мы находим только носовую форму славянского племенного имени Угличей (также как слово Тюринг совпадает со словом Тверич).

Так думал я прошлого года в Остенде, где приятно делил время между купаньем, шатаньем по бесплодным дюнам, пистолетной стрельбой и беседой с русскими приятелями. Надобно же посетить землю Угличан, иначе англичан, которая так близка к Остенду.

Был теплый июльский вечер. После чаю пошел я гулять по городу. Часов в 10 зашел в кофейную и вижу, что в 12 часов ночи отходит в Англию Тритон, лучший из пароходов, содержащих прямое сообщение Остенда с Лондоном. Я поспешил домой, сообщив это известие всей моей компании, и после очень короткого совещания решено было ехать. Полчаса сборов, да полчаса ужина, — и в половине 12-го отправились мы, большие и малые, на пристань. Гоголь нас проводил до пристани и пожал нам руку на прощанье. Без четверти в 12 были мы на пароходе в 12 часов, заворчал котел, завертели колеса, и мы пошли.

Едва тронулись мы с места, как от колес парохода, и от его боков, и позади его, побежали огненные струи. Это была игра мор-

ской фосфорности. Она уже была мне известна по другим морям и не раз веселила меня в Остенде во время ночного прилива, но никогда не видал я ее в таком блеске: матросы говорили, что нам особенное счастье. Длинные волны яркого света, то белого, то бледно-голубого, окружали наш пароход и от него бежали вдаль, казалось, на полверсты или на версту. Одна волна гасла, другая загоралась; свет брызгал от колес; светлой змеей бежал наш след по морю, и глаза наши не могли нарадоваться на огненную прихоть воды. Фосфоричность продолжалась около часа, слабая по мере нашего удаления от берегов; чрез час она прекратилась совершенно. Кругом нас была темная синева моря, над нами безоблачная синева неба! Мало-помалу ушли все пассажиры с палубы; я остался один, но не решался сойти в каюту. Ночь была теплая, тишина совершенная; ни одной волны на море, множество светлых звезд на небе. Пароход бежал как лихой рысак по 15-ти узлов (около 23-х верст) в час; машина его играла верно и ровно, как бой часов; земля, мне незнакомая, становилась все ближе и ближе: тут было не до каюты. То ходил я по палубе, то ложился отдыхать на лавке, то заговаривал с рулевым, который мне отвечал, не смотря на запрещение, писанное крупными буквами: да ведь их ночью не видать. Он спросил у меня, бывал ли я когда-нибудь в Англии, и когда я сказал, что не бывал, он прибавил с улыбкою добродушной уверенности: «О! вы полюбите нашу старую Англию» (Oh Sir! you'll like our old England). — Посмотрим, сбудется ли предсказание.

Рассвело. Утро было так же тихо и безоблачно, как и ночь; только легкая рябь пробегала по морю, горя и сверкая от солнечных лучей. Мало-помалу вдали на Западе стал подниматься над водою белый гребень английского берега. Впереди нас, потом и вправо, и влево, стали показываться паруса разной величины, потом десятки парусов, потом сотни; между ними там и сям чернели дымные полосы пароходов. Мы приближались к устью Темзы; берега Англии стали ниже и зеленее, кругом нас было множество отмелей. Вход в устье Темзы небезопасен даже для дружеского корабля; он был бы еще опаснее для недруга. А входил же в него смелый голландец с помелом на мачте. Правда, с того времени прошло два века, и теперешняя Англия не Англия Стюартов: но много могут сила и воля человека. Мы вошли в Темзу, остановились у таможни, пересели на мелкий пароход, также необыкновенно скорый на ходу и пошли далее. Справа, слева, впереди нас — сотни, кажется, тысячи мачт: сильнее, живее торговая жизнь. Над водою и на небе легкий туман, в тумане довольно высокий берег, над ним страшная громада строений, над ними башни-колокольни, огромный купол, еще далее верхи колонн, стрелки готических колоколен, — город бесконечный, невообразимый. Это Лондон. По Темзе, которой ширина немного уступает ширине Невы, теснятся корабли, пароходы и лодки. Чрез нее, один за одним, один другого смелее и величественнее, перегибаются каменные мосты. Мы стояли на пароходе не отводя

глаз от этого чудного зрелища, в каком-то полувеселом, полуиспуганном изумлении. Пароход шел быстро против течения, минуя башни и мосты, дворцы и куполы; наконец, он причалил к пристани у цепного моста. В одно время с нами причаливали к ней и отчаливали от нее 9 пароходов, и все полны. «Что это? Какой-нибудь праздник?» Нет: здесь почти всегда то же. На пристани толпа непроходимая; по высокой лестнице поднялись мы на берег, та же толпа на берегу; пошли по улицам, та же толпа на улицах. Мы добрались до трактира (Йоркский ОТЕЛЬ, который всем рекомендую), утомленные не путем, а впечатлениями. Едва ли кто-нибудь может забыть въезд в Лондон, по Темзе.

Вечером на другой день бродили мы по городу: везде такое же многолюдство, такое же движение. Нигде художественной красоты, но везде огромные размеры и удивительное разнообразие. Скоро узнал я Лондон довольно коротко; мне стало уютно и как будто дома. Я видел башню Лондонскую с ее вековыми твердынями, видел Вестминстерское аббатство с его сотнями гробниц, которых малая часть была бы достаточна для славы целого народа, и видел, как благоговейт англичане перед величием своей старины; я видел Гошпиталь Христа, в котором ученики ходят еще и теперь в странном наряде Тюдорских времен; и Лондон стал мне понятен: тут вершины, да за то тут и корни.

Не в первый раз и немало бродил я по Европе, не мало видел городов и столиц. Все они ничто перед Лондоном, потому что все они кажутся только слабым подражанием Лондону. Кто видел Лондон, тому в Европе из живых городов (об мертвых я не говорю) остается только видеть Москву. Лондон громаднее, величественнее, люднее; Москва живописнее, разнообразнее, богаче воздушными линиями, веселее на вид. В обоих жизнь историческая еще цела и крепка. Житель Москвы может восхищаться Лондоном и не страдать в своем самолюбии. Для обоих еще много впереди.

Два дня сряду ходили мы по Лондону, и все то же движение, то же кипение жизни. На третий день поутру пошли мы к обедне в церковь нашего посольства. Улицы были почти пусты: кое-где по тротуарам торопливо пробегали люди, опоздавшие к церковной службе. Через два часа пошли мы назад. На улицах движения не было: только по тротуарам шли толпы людей, которых лица выражали тихую задумчивость; они возвращались домой от службы церковной. Та же тишина продолжалась целый день. Таково воскресенье в Лондоне. Странен вид этой пустоты, странно безмолвие в этом громадном, шумном, вечно кипучем городе, но зато едва ли можно себе представить что-нибудь величественнее этой неожиданной тишины. Мгновенно замолкли заботы торговой жизни, исчезли заманки роскоши, закрылись эти цельные, двух-ярусные стекла, из-за которых выглядывают, кажется, все сокровища мира; закрылись мастерские, в которых неутомимый труд едва может снискать себе насыщенный хлеб; успокоилась всякая суета: два миллиона людей самых промышлен-

ных, самых деятельных в целом свете остановили свои занятия, перервали свои забавы, и все это из покорности одной высокой мысли. Мне было отрадно это видеть; мне было весело за нравственность воли народной, за благородство души человеческой. Странное дело, что есть на свете люди, которые не понимают и не любят воскресной тишины в Англии: в этой непонятливости видна какая-то мелкость ума и скудость души. Конечно не все, далеко не все англичане празднуют воскресенье духовно так, как они соблюдают его наружную святость; конечно, между тем как на улицах видно везде благоговейное спокойствие, во многих домах, иногда самых аристократических, идут дела порока и разврата. Что ж? «Люди фарисействуют и лицемерят», скажешь ты. Это правда, но не фарисействует и не лицемерит народ. Слабость и порок принадлежат отдельному человеку, но народ признает над собою высший нравственный закон, повинется ему и налагает это повиновение на своих членов. Пусть немец и особенно француз этого не понимают, в них непонятливость извинительна; но досадно, когда слышим русских или людей, которые должны бы быть русскими, вторящих словам французов и немцев. Разве первый день Пасхи в России не соблюдается так же строго, как воскресенье в Англии? Разве во время великого поста пляшут хороводы или раздаются песни в русских деревнях? Разве есть какие-нибудь общественные увеселения даже в большей части городов? Конечно, в больших городах представляются исключения, но надобно понять эти исключения и их причины. В России высшее общество так просвещено и проникнуто такою духовною религиозностию, что оно не видит нужды во внешностях народного обычая. Англия не имеет этого счастья и поэтому строже соблюдает общий обряд. Но, скажешь ты, если я магометанин, я праздную Пятницу; если я жид, Я праздную Субботу: в обоих случаях, какое мне дело до английского Воскресенья? Правда; но в чужой монастырь с своим уставом не ходят, а народ английский полагает, что он в Англии дома.

Я не стану тебе рассказывать о своем житье-бытье в Лондоне, о своих поездках в Оксфорд или Гамптон, о парках, замках и садах, которым вся Европа подражает и подражать не умеет, об изумрудной зелени лугов, о красоте вековых деревьев и особенно дубов, которым ничего подобного я в Европе не видал, несмотря на то, что я видал немало лесов, в которых, может быть, никогда не стучал топор дровосека: все это останется для наших вечерних бесед и рассказов. Я скажу тебе только вкратце про впечатление, произведенное на меня Англиею и про понятие, которое я из нее вывез.

Я убежден, что, за исключением России, нет в Европе земли, которая бы так мало была известна, как Англия. Ты назовешь это парадоксом; пожалуй, ты посмеешься над моим убеждением: я и на это согласен. Сперва посмейся, а потом подумай, и тогда ты поверишь возможности этого странного факта. Известия об Англии получаем мы или от англичан, или от иностранных путешественников.

Нельзя полагаться ни на тех, ни других. Народ, точно так же, как человек, редко имеет ясное сознание о себе; это сознание тем труднее, чем самобытнее образование народа или человека (разумеется, что я говорю о сознании чисто логическом). К тому же должно прибавить, что из всех земель просвещенной Европы Англия наименее развила в себе философский анализ. Она умеет выразиться целою жизнью своею, делами и художественным словом, но она не умеет отдать отчет о себе. Иностранцы путешественники могли бы сделать то, что невозможно англичанам; но и тут встречается важное затруднение. Англия, почти во всем самобытная, сделалась предметом постоянного подражания, а неразумие есть всегдашнее условие подражания. Человек ли обезьянничает человеку, или народ ломается, чтобы сделаться сколком другого народа, в обоих случаях человек или народ не понимают своего оригинала: они не понимают того цельного духа жизни, из которого самобытно истекают внешние формы; иначе они бы и не вздумали подражать. Подражатель — самый плохой судья того, кому подражает, а таково отношение остальных народов к Англии. Вот простые причины, почему жизнь ее и ее живые силы остаются неизвестными, несмотря на множество описаний, и почему все рассказы о ней наполнены ложными мыслями, которые, посредством повторения, обратились почти в поверье.

«Англичане негостеприимны, не любят иностранцев, даже до такой степени, что не позволяют у себя иностранного наряда». Это мы слышим от многих путешественников, даже от русских. По собственному опыту я могу сказать, что в этом нет ни слова правды, и убежден, что все русские, которые бывали в Англии, согласятся со мной. Нигде не встречал я больше радушие, нигде такого дружеского, искреннего приема. Конечно, нет в Англии того безразборчивого растворения дверей перед всяким пришлым, которое кое-где считается гостеприимством; быть может даже, английская дверь растворяется тугонько; но зато, кто в английский дом взошел, тот в нем уж не чужой. Англичанин не совсем легко принимает гостя; но это потому, что, принявши его, он будет его уважать. Такое понятие, конечно, не показывает недостатка в гостеприимстве. Мои знакомые в Лондоне не жалели никаких хлопот, чтобы доставить мне возможность видеть все, что мне видеть хотелось, а в Оксфорде они нарушили даже свои собственные обычаи для того, чтобы угостить меня по обычаям русским. Тоже самое испытал и другой русский путешественник, посетивший Англию за год прежде меня. Иностранцы обвинили Англию в негостеприимности, потому что не поняли истинного английского понятия о госте; а англичане не умеют себя оправдать, потому что предполагают свои понятия в других народах. — «Англичане не любят иностранцев и даже не терпят иностранного наряда». Конечно, нельзя сказать, чтобы англичане оказывали большую любовь иностранцам; да я неслишком ясно понимаю, за что какой бы то ни был народ должен бы особенно любить иностранцев. Иная земля любит их, как своих образованных учителей; немец

любит их, как своих учеников; француз любит их, как зрителей, которым он может сам себя показывать. Англичанину они не нужны, и поэтому он остается к ним довольно равнодушным: это очень естественно. Но если англичанин узнает в иностранце не праздно-шатающегося бездомника, не разгулявшегося трутня, а человека искренно и добросовестно трудящегося на поприще всемирного общения, дело переменяется, и радушный, дружеский прием доказывает иностранцу глубокое сочувствие английского народа. С другой стороны, предубеждение, будто бы в Англии даже наряд иностранный нетерпим, совершенно несправедливо. Я это видел и испытал. Решившись, несмотря на предостережение знакомых, нисколько не переменять своей обыкновенной одежды, ходил я в Англии, как и везде, в бороде (а бород в Англии не видать), в мурмолке и простом русском зипуне, был на гуляньях, в многочисленных собраниях народа, бродил по глухим, по многолюдным и, как говорят, полудиким закоулкам Лондона и нигде не встречал ни малейшей неприятности. В тоже самое время французы жаловались на неприятности, несмотря на то, что их платье было, повидимому, гораздо ближе к английскому. Отчего такая разница? Причина очень проста. Я, как русский, ходил в одежде, французы ходили в наряде; а англичане не любят очевидных притязаний. Это — черта народного характера, которую можно хулить или одобживать, но которая ничего не имеет общего с неприязнью к иностранцам. Вообще, я думаю, что Англия равнодушна к иностранцам и этого осуждать не могу; но привет и ласки, с которыми на улицах, на пароходах и лавках встречали англичане русских детей в их русском платье, заставляют меня даже предполагать, что это равнодушие несколько смешано с дружелюбием.

Говорят еще: «Англичане народ чопорный и церемонный». Опять ложное мнение. Правда, англичанин очень любит белый галстук и едва ли не прямо с постели наряжается во фрак; правда, он редко заговаривает с незнакомым и не любит, чтоб незнакомый с ним заговаривал; он представляет, наконец, какую-то чинность в обхождении, несколько похожую на чопорность. Но опять это должно понять, и обвинение исчезнет. Англичанин любит белый галстук, как он любит вообще опрятность и все то, что свидетельствует о ней. В бедности, в состоянии, близком к нищете, он употребляет невероятные усилия, чтоб сохранить чистоту; и комиссары правительства, в своих разысканиях о страдании низших классов, совершенно правы, когда рассказывают о нечистоте жилищ, как о несомненной примете глубочайшей нищеты. Поэтому белый галстук не то для англичан, что для других народов. Тоже самое скажу я и о фраке. Это не наряд для англичанина, а одежда, и одежда народная. Кучер на козлах сидит во фраке, работник во фраке идет за плугом. Можно удивляться тому, что самая уродливая и нелепая из человеческих одежд сделалась народною; но что ж делать? Таков вкус народный. Еще страннее и удивительнее видеть, что люди из другого народа бросают свое прекрасное, свое удобное народное платье и перени-

мают чужое уродство: я говорю это мимоходом. Во всяком случае должно признать, что фрак чопорен у других и нисколько не чопорен у англичан, хотя он одинаково бестолков везде. Нельзя не признаться, что отношение англичанина к незнакомому несколько странно: он неохотно вступает с ним в разговор. Конечно, и эта черта очень преувеличена в рассказах путешественников-анекдотистов; по крайней мере ни во время путешествия по Европе, ни в Англии я не был поражен ею, вступал с островитянами в разговор без затруднения и находил иногда более труда развязать язык иному немцу, особенно графского достоинства, чем английским лордам; за всем тем я не спорю в том, что они менее приступны, чем наши добродушные земляки или говорливые французы. Трудно судить о народе по одной какой-нибудь черте. Англичанин, выходя из кареты, в которой он разменялся с вами двумя-тремя словами, очень важно подает вам свое пальто с тем, чтобы вы помогли ему облачиться. Вам это покажется крайнею грубостью; но он ту же услугу окажет и вам. Таков обычай. Англичанин не охотно вступает с вами в разговор. Вам это кажется неприступностью, но во многом он скорее других готов дружить с незнакомым и верить новому знакомому. Так, например, весьма небогатый англичанин, с которым я два дня таскался по горам Швейцарским, встретив меня в Вене в совершенном безденежье, почти заставил меня принять от него деньги на возвратный путь и насилу согласился взять от меня расписку; а должно заметить, что все богатство, которое он мог при мне заметить, состояло в старом сюртуке и чемодане величиной в солдатский ранец. Англичанин вообще не очень разговорчив, он и подавно неразговорчив с иностранцем: это не чопорность и не церемонность. Смешно бы было брать на себя разгадку всякой особенности в каком бы то ни было народе и я не берусь объяснить эту черту в англичанах; но, может быть, объяснение ее состоит в том, что слово в Англии ценится несколько дороже, чем в других местах; что о пустяках говорить не для чего, а о чемнибудь поделнее — говорить с незнакомым действительно неловко в земле, в которой разница мнений очень сильна и часто принимает характер партий. Я не берусь доказывать, чтобы Англия ни в чем не имела лишней чопорности: это остаток очень недавней старины. Тому лет сорок, общество во всей Европе было чопорно, а Англия меняется медленнее других земель; но на этом останавливаться не для чего, и мне кажутся решительно слепцами те, которые не замечают во многом гораздо более простоты у англичан, чем где-либо. Пойдите по лондонским паркам, даже по Сент-Джемскому, взгляните на игры детей и на их свободу, на группы взрослых, которые останавливаются подле незнакомых детей и следят за их играми с детским участием. Вас поразит эта простота жизни. Пойдите в Гайд-парк. Вот несется цвет общества на легких статных лошадях, все блещет красотою и изяществом. Что ж? Между этими великолепными явлениями аристократического совершенства являются целые кучки людей на каких-то пегих и соло-

вых кляченках, которые точно также важно разгуливают по главным дорогам, как и чистокровные лорды на своих чистокровных скакунах. Это горожане, богатые, иногда миллионные горожане. Что им за дело до того, что их лошади плохи и что сами они плохие ездоки! Они гуляют для себя, а не для вас; для своего удовольствия, а не для показа. Это простота, которой себе не позволят ни француз, ни немец, ни их архичопорные подражатели в иных землях. — Поезжайте в Ричмонд, в этот чудный парк, которого красота совершенно английская, великолепная растительность и бесконечная, богатая, пестрая даль, полусогретая, полусокрытая каким-то светлым, голубым туманом, поражают глаза, привыкшие даже к берегам Рейна и к прекрасной природе Юга. Тысячи экипажей ждут у решетки, тысячи людей гуляют по всем дорожкам; на горе, по широкому лугу, мелькают кучки играющих детей: хохот, веселый говор несется издали. Поглядите: все-ли это дети? Совсем нет. Между детьми и с ними и отдельно от них играют и бегают взрослые девушки с своими ровесниками, также весело и бесцеремонно, как будто дети, и они принадлежат если не высокому, то весьма образованному обществу. Они словно дома, и им опять, как ездокам в Гайд-парке, нет никакого дела до вас. Я это видел, и не раз. А где еще увидите вы это в Европе? И разве это не простота нравов? Сравните словесность английскую с другими словесностями, и тоже опять поразит вас; сравните пухлую, фразистую, цветистую и кудрявую речь французского депутата с простым, несколько сухим, но энергическим и резким словом английского парламента. Вслушайтесь в эти шуточные выходки, в этот поток едкой иронии и в громкий, непритворный смех слушателей, и скажите потом, где простота? А Англия считается чопорною, а вечно-актерствующая Франция простою. От слов перейдите к делу. Где делается оно проще и где такие малосложные средства дают такие огромные результаты? Где ум идет к цели так прямо? Человек триста собрались в большой комнате в вечных своих черных фраках, сидят кто как попал, почти в беспорядке; иной полулежит, иной дремлет; один какой-нибудь из присутствующих говорит с своего места: это парламент, величайший двигатель новой истории. Человек пять-шесть съехались запросто, по-видимому для того, чтобы истребить несколько дюжин устриц: эти директора Ост-Индской компании, и за устрицами решаются вопросы, от которых будет зависеть судьба двухсот миллионов людей, дела Индии и Китая. Кстати об этой компании. Не могу не повторить тебе рассказа, слышанного мною в Англии. Обедал я у богача-негоцианта, занимающегося особенно усовершенствованием машин. В небольшом числе посетителей был один старичок, некогда участвовавший в правлении компании. Говорили о том и сем, зашла речь и об Ост-Индии и об ее управлении. Старичок рассказал следующее. Тому лет двадцать пять, генерал-губернатор сделал представление о недостаточном числе служащих в Ост-Индии. По его представлению, число их было значительно увеличено; недостаток оказался еще сильнее. Через три

года новое представление и новое умножение администраторов, но недостаток в них оказался еще сильнее. Года через три опять горе, и опять тот же результат. Наконец, через несколько лет, входит новый г. губернатор с таким же представлением. Съехался совет директоров, и с ними множество членов компании. Предложение прочтено, и начались споры. Человека два жаловались на усиливающийся расход и хотели отказать в просьбе г. губернатора; но огромное большинство было за нее: доказывало необходимость усиления администрации, невозможность порядка и справедливости без нее, и особенно глубокую необразованность Индии, требующую сильной и строго-дисциплинированной администрации. После трех-часового спора все согласились, кроме одного немудрого акционера, который до тех пор молчал. Спросили его мнения; он отвечал добродушно: «Господа, как я ни слушаю, я все-таки ничего не понимаю. Говорят, тому 12 лет было в Ост-Индии слишком мало администраторов; прибавили их число: недостаток оказался сильнее, чем думали; через три года опять прибавили столько же, потом опять столько же, а теперь просят еще больше, и все будет мало. Говорят, индейцы народ непросвещенный и непохожий на нас. В Индии я не бывал и не спорю с знатоками; но, по моему разумению, мы вошли в дурную колею: мы сажаем, сами того не зная, растения слишком многоплодные. Мы прибавим теперь администраторов, а года через два придется их число удвоить, и кончится тем, что к каждому непросвещенному индейцу придется приставить по два просвещенных англичан-администраторов; а между тем расход растет, дела путаются, и акции упадают: недолго до беды. Мой совет вот каков. У индейцев совесть хоть и не похожа на нашу ученую совесть, а все же какая нибудь да есть. Дадимте простор индейской совести, позовемте на помощь индейский ум, да убавимте администраторов покуда наполовину. Авось будет лучше, а экономия будет покуда наверное». Все присутствующие переглянулись, рассмеялись и согласились. Опыт начат был с Цейлона: он удался. Совесть и умы были пробуждены, расходы убавлены, и дела пошли несравненно лучше. Хозяин наш заметил на это: «Плоха фабрика, в которой вся сила уходит на тренье колес, а доход на их подмазку», и потом он и старичок налили себе по большому стакану мадеры, кивнули друг другу головою и выпили за здоровье друг друга. Я тебе повторяю этот рассказ потому, что он в моем мнении резко характеризует Английский ум и ход дел в Англии. Другие народы лезут на ходули, красуются, актерствуют или путаются в много-сложности хитрейших устройств и сливуют простыми. Англия везде идет просто, а слывет чопорною и искусственною, потому что имеет кое-какие обычаи странные и непонятные для путешественников: это бессмысленное и смешное поверье. Простота общественная не может быть без простоты частной жизни.

Говорят: «Англичане невеселы, страдают вечною скукою и наводят скуку на всех». Странное дело! Эта вечно скучающая земля истари себя называет веселою, *merry old England* (старая веселая Анг-

лия). Должно быть она не догадывается и не замечает, что ей скучно, а кому же бы лучше ее про это знать? Такое прозвище трудно приписать самолюбию. Самолюбие может уверить народ, что он красив, силен, нравственен и так далее; едва ли оно может, едва ли даже оно станет уверять его, что он весел. Конечно, можно предположить, что это старая поговорка, утратившая свой смысл; но и такая догадка была бы крайне произвольна. Где живет и многочисленнее народные игры? Где такое огромное стечение жителей на всякую общественную забаву от благородной скачки конской, в которой участвует вся гордость аристократии, и от живописных регат¹ по Темзе, в которых спорят между собою университеты и города, до кулачного боя, в котором выражается вся упрямая энергия народа, и до петушиного и собачьего боя, в котором англичане радуются тому, что умели передать животным качества, давшие им самим такой великий перевес в их долгих борьбах с другими народами? Но веселость веселости рознь. Сдержанное чувство англичанина не для всех понятно, и чем пустее человек, тем менее способен он понимать истинную и глубокую веселость, как и всякое искреннее и глубокое чувство. Конечно, много страданий и забот прибыло с веками, много подлилось желчи к крови англичан, и много врезалось морщин на челе веселой Англии; но прежний характер еще не совсем изменился. Не все умеют отличить смех, крик, пляску от веселости истинной. Вечное зубоскаление пустой головы идет также за веселость. Иному кажутся веселыми утомительная ничтожность французского водевиля и эти мелкие шутки, которые никогда ни в ком не возбуждали полного, здорового, истинно веселого смеха; иной не умеет различить Сервантеса и Гоголя от Поль-де-Кока. Что с этим делать? Человек на человека не похож, и только крепкая и серьезная природа может сочувствовать истинной веселости. В салоне от роду никому никогда весело не бывало. Человек со смыслом поймет, что в Шекспире во сто раз более веселости, чем в Мольере; и тот, для кого из романов Диккенса и особенно из его сцен домашней жизни светит теплое солнышко сердечной радости, не поверит обвинению Англии в скуке. Вместо того, чтоб сказать, что Англия невесела, я бы сказал, что Англия незабавна, и слава Богу! Знаешь ли ты, что веселость незабавна?

Говорят еще: «Англия — земля расчетов и промышленности, англичанин живет для денег и власти и только что для денег и власти. Это полный, воплощенный, торжествующий материализм». И такая нелепость сделалась тоже поверием. Недавно Кобден и товарищи его, после десятилетней борьбы, уничтожили систему пошлин на хлеб. Правда, и за это да будет им честь и слава, хотя цель их была чисто промышленная, не без примеси однако лучшего чувства, сострадания к рабочему классу. Вот энергическая упорность промыш-

¹ Так называется состязание лодок.

ленников; но из-за нее не следует забывать тридцатилетнюю борьбу Вильберфорса и его друзей, посвятивших всю жизнь свою и невероятные труды на освобождение негров, дорого стоившее и ничем еще не окупившееся для Англии. Ему, подвижнику человеческого и христианского чувства, да будет большая слава, и с ним вместе Англии, его родине! — Аркрайт прилагает паровые машины к бумагопрядению в большом виде, он обещает миллионы отечественной промышленности. Ему не верят, на него нападают те, которых он должен обогатить; ломают его машины, разбивают его фабрики; он принужден оставить Ланкастер и уходит в Ланарк, говоря: «вам на зло обогащу вас», и английская торговля обогащается сотнями миллионов. Это славное проявление человеческой силы; но разве менее силы в борьбе, долго волновавшей Шотландскую церковь, и в бескорыстных пресвитерах, оторвавшихся недавно от Шотландского учреждения? Разве не более еще силы в бедных священниках, которые, не зная ни покоя, ни отдыха, в продолжение двадцати или тридцати лет, ежедневно борются с волнами и метелями для того, чтобы носить утешение Слова Божия полуодичавшим колонистам Канады? Виднее для всех усилия героев промышленности или политических партий, за ними следит с жадностью подражательная Европа; но величественнее и более достойна удивления энергия духовных начал, мало замечаемая остальным миром, который не думает им подражать и даже неспособен понимать их достоинство. Миллионы, сотни миллионов, идут на торговые предприятия громадных размеров и невероятной смелости. Газетный люд, да близорукие путешественники, да засохшие народы глядят на это с завистью, трубят про это с коленопреклоненою досадою, да и начинают около себя водить глазами, придумывая, где бы найти миллионов хоть поменьше Англии, а все-таки вдоволь. И Англия славится единственно землею материализма, расчетов и денег, потому только, что ее подражатели в ней ничего другого не видят и видеть не умеют. Действительно, такая же предприимчивость торговли развилась в Бельгии и Голландии, развивалась в Северной Германии и даже во Франции. Размеры только поменьше; но десятки миллионов, употребляемых беспрестанно на безвозвратный расход религиозных учений пуританцев в бедной Шотландии, католиков и англиканцев в Англии (хоть, напр., в Лондоне, где около семи миллионов асс. собрано в течение четырех лет на построение церквей), всех сект и миссионерских обществ, трудящихся по земному шару, десятки миллионов, употребляемых на благотворительность общественную и на благотворительность частную, в которой Англия уступает, может быть, одной России, — вот что принадлежит собственно характеристике Англии, а об этом-то и забывают. Духовные силы скрываются за силами вещественными. — Англия не жалеет денег для высоких целей и для общей пользы; в этой земле корысти и расчетов люди не жалеют денег даже для своего удовольствия, и общество не жалеет их для удовольствия общественного. Например, в Лондоне, где так дорог

каждый клочок земли, из самого центра города тянутся один за одним великолепные парки Сент-Джемский, Грин и Гайд-парк, и гуляющий народ может идти слишком семь верст по зеленому лугу под тенью старых деревьев, не сворачивая ни вправо, ни влево. С другой стороны, почти в таких же размерах тянется прелестный парк Регента; далее, на восточном конце, собственно для бедных его жителей, город разводит новый парк Виктории, величиною в несколько сот десятин. Наконец, бесчисленные скверы¹ и парки Лондонские, взятые вместе, занимают пространство более иной знаменитой столицы. Вот один пример из многих. Потом, поглядите на парки, на сады и дорогие заведения у землевладельцев больших и малых, на домики, которые так мило выглядывают из зелени, на всю роскошную уютность жизни, и вы догадаетесь, что деньги и расчет — не все для англичан. Я знаю, что и другие народы стали с недавнего времени перенимать у них и парки, и сады; но далеко, далеко подражателям до оригинала своего, и знаешь ли почему? По весьма простой причине. Зелень и лес — давнишняя любовь английского народа. Жизнь историческая заключила его в большие города; но в душе он и теперь житель села и страстный любитель древесных теней. Как русский человек поет чистое поле и мураву шелковую (ах ты поле, поле чистое), так английская песня теперь говорит: как весело, весело в тихом зеленом лесу (T'is merry, t'is merry in good green wood). За то и деревья, которые полюбил англичанин, полюбили его, разрослись у него великолепными парками и рощами, дали ему густую тень и наслади чудные вдохновения на его поэтов, от старика Шекспира до наших дней. Говорят: «сила Англии в ее промышленности и торговле. Тут есть доля правды; но Англия не была торговою странюю, когда в средние века она наступала на горло Франции и венчала своего короля на Французский престол; она не была землею торговою тогда, когда боролась с Испаниею, грозюю всей Европы; когда при Кромвеле она предписывала законы всем державам Запада, или когда клала непреодолимые преграды силе властолюбивого Людовика. В наше время она обратилась к промышленности под влиянием новых исторических законов, но царствует она в промышленности в силу той внутренней энергии, которая поставила ее так высоко в других областях человеческой деятельности. Уатт был только одним из лучей Ньютонова светила. Струя поэзии, так великолепно излившаяся в Шекспире, не иссякла и бьет еще богато из английской земли в Байронах, Скоттах и Диккенсах. Практическая сила Нельсонов, Куков и Клайвов, торговая смелость Аркрайтов растут на той же почве, на которой воспитываются Вильберфорсы, Говарды, Матьюсы и тысячи миссионеров. От того-то громадная фабрика, грустное явление в целом мире, представляет в Англии какой-то характер смелой поэзии. Для самой Англии денежный вопрос важен только

¹ Площади с садами.

по необходимости, а всякий духовный вопрос важен по сочувствию. Душа, утомленная серьезным материализмом Германии и улыбающимся материализмом Франции, отдыхает в Англии и вместе с нею позволяет себе смеяться над ее Домбеями и над путешественниками, которые кроме Домбеев ничего в ней видеть не умеют.

Кажется, прав был рулевой на Тритоне. Я полюбил его старую Англию; да видно я любил ее и прежде, может быть от того, что ее имя происходит от Угличан.

Но что же Англия? Мой ответ будет: это земля, в которой борятся тори с вигами. По-видимому, определение мое неново и неполно; но дело в том, что виги и тори, о которых так много говорят и пишут, совсем еще неопределены и не имеют ничего общего с теми мыслями, которые мы привыкли с ними связывать. «Виг — либерал, друг человечества, свободы и успеха, враг налогов и привилегий; тори — консерватор, враг всякого движения вперед, всякой свободы, всякого усовершенствования, защитник всякой стеснительной привилегии и всех налогов, падающих на большинство народа» и пр. и пр. «Виг демократ, тори аристократ», и тому подобное. Такие понятия просты, удовлетворительны, дают право понимать газеты, говорить об Англии и даже, смотря по вкусам или выгодам, полюбить ту или другую партию, того или другого деятеля. Вообще такие понятия удобны. Жаль только, что они не дают несколько возможности понимать дела и жизнь Англии и совсем непохожи на действительность. Виг, друг свободы, тянется изо всех сил уничтожить свободу преподавания, которую отстаивает тори, как известно всем тем, кто следил за спором, поднятым во время Мельбурнова управления. Тори нападает на налог в пользу колоний и на привилегии колониальной торговли, а за них вступаются виги. Это видно было несколько раз во время спора о налоге на сахар. Виг, друг свободы и демократ, уличен в последнее время самими англичанами в том, что он ввел и долго поддерживал в Англии власть аристократическую, созданную по образцу Венеции, между тем как тори восставал против нее и боролся с нею. Централизация, всегда гибельная для свободного развития жизни во всех ее отраслях, находит постоянно защитников в виггах и врагов в ториях. «Тори консерватор, а виг друг прогресса, а между тем усовершенствования в законах, в учреждениях, в устройстве общественном произошли столько же от ториев, сколько от виггов. Это можно доказать историею всего последнего столетия и даже самою историею парламентской реформы. Наконец, благородные голоса, в пользу человечества и правды, против насилия и бесовестных завоеваний, раздаются чаще из рядов тористской партии, чем от виггов. Стоит только вспомнить недавние происшествия в Кабуле и Китае, чтоб в этом убедиться. И так, обыкновенные понятия о виггах и ториях надобно бросить, как никуда негодные. В Англии эта запутанность понятий повела к тому, что самые названия виг и тори выходят из употребления; а между тем они имеют смысл и смысл истинный, к несчастью искаженный определениями, осно-

ванными на поверхностном наблюдении и на явлениях совершенно случайных. Виги и тори считаются партиями политическими, и в этом величайшая ошибка. Согласно с характером самой Англии, земли гораздо более социальной, чем политической, должно признать в них партии социальные, и тогда внутренняя жизнь самой земли делается понятною. Прибавим к этому характер религиозный английского общества, и тайна вигизма и торизма уяснится вполне. Но для этого надобно мне сказать тебе несколько слов об истории. История Англии требует полного пересмотра.

Саксонцы завоевали землю Британцев в то же почти время, когда другие народы германские завоевали другие области Римской империи; но они завоевали ее иначе и с другою целию. Франку, лонгобарду и готу, издавна жившим жизнью дружинною, нужны были корысть и рабы. Саксонцу, привыкшему к земледелию, нужна была земля. Бесспорно, малая часть побежденных была обращена в рабство; но большая часть или погибла, или удалилась в западные области и продолжала борьбу. Это уже доказывается и тем, что почти все места и урочища Восточной и Средней Англии утратили свои прежние названия и получили названия саксонские. Победители разделили между собою землю и принялись за сельский труд. Они составили не аристократию, а народ и общины, управляемые общим вечем (Виттагом). Дальнейшее развитие было испорчено многими историческими обстоятельствами и особенно междоусобиями и нашествиями датчан. Аристократическое начало развилось. Саксонское царство пало под ударами французских норманнов; но подавленная саксонская стихия не утратила силы и некоторой самобытности. В ней победитель — норманн уважал нравственное достоинство, доказанное самим сражением при Гастингсе, в котором несчастный Гарольд оспаривал целый день победу против неприятеля, втрое многочисленнейшего. Раздоры между норманнами снова возвысили значение саксонского народонаселения. Бароны вызвали его к новой жизни, для того, чтобы найти в нем опору. В этом деле особенно отличился хитрый, но смелый и энергический Монфорт Лейчестерский. Начатое баронами было продолжено по необходимости королями рода Плантаженетов, и особенно величайшим из них, Эдуардом Первым. Побежденный и победитель слились окончательно в один язык, в одну живую силу, и эту силу узнала Франция. С гордостью вспоминает англичанин, с досадою помнит француз имена Пуатье и Азинкура, где по-видимому, горсть англичан побеждала огромные ополчения Франции; но эти победы были делом не рыцарей, которых мужество было равно с обеих сторон. При английском рыцаре были зеленый кафтан линкольнского стрелка и бодрое сердце вольного поселянина (йомана); при французском была толпа бездушных вассалов, годных только для резни и всегда готовых к бегству. Англия побеждала, потому что у нее, и только у нее, был народ. Страшная борьба Йорка и Ланкастера, погубившая столько родов норманских, укрепила саксонцев. Свирепые дружины

баронов резались между собою, но не смели грабить и губить поселян. Таково свидетельство французских летописцев, и оно напоминает русскому сердцу, что и наши галицкие князья просили польских магнатов щадить, во время войны, безоружные деревни. Жизнь Англии развивалась самобытно из своих собственных начал. По словам современных французов, англичанин гордился тем, что он управляется своим обычаем, а не римским правом. Ученый юрист романской Европы смеялся над этим, но история готовила оправдание обычая народного и торжество его над землями, управляемыми чужеземным правом. Борьба двух Роз кончилась, утомленная Англия отдохнула и окрепла под сильною рукою и тяжелою славою Тюдоров. Прошли и Тюдоры, и ожили все прежние начала, и два века с половиною создали теперешнюю Англию.

Таково было развитие народного начала. Еще важнее было начало религиозное. Кельты и кумры британские приняли христианство рано, в его полной чистоте, и содержали его с ревностью и любовью. Все споры Востока, все богословские учения отзывались в Британии и далекой Ирландии: церковное предание находило в них жарких и неколебимых защитников. От кельтских проповедников приняли веру скоты и пикты, хотя нет сомнения, что друидизм и какая-то странная смесь христианства с друидизмом не были совершенно побеждены, даже в самой Британии. Пришли саксонцы-идолопоклонники. Кельты-христиане погибли или бежали в горную область Кумберланда и Валлиса. Завязалась упорная и кровопролитная война; но, несмотря на нее, побежденные кельты нашли учеников в победителях-саксах. Успехи обращения были замедляемы народною враждою, но новая сила проповеди явилась с Юга. Григорий Великий прислал Августина в Британию, и саксонцы послушались мудрого учителя: мало-по-малу вся октархия приняла христианство. Таким образом вера просветила острова Британские, но обращение идолопоклонников кельтов и саксов не было похоже на обращение готфов, франков или лонгобардов. В Испании, Италии и Галлии, победители-германцы принимали христианство из подражания, из случайных выгод, из расчетов политических, даже от соблазна римской жизни и римской роскоши: новые христиане были хуже старых язычников. Островитяне саксонцы и кельты приняли веру из убеждения и любви, и она приносила богатые плоды в их жизни духовной. Священные песни раздавались на языке народном, многочисленные богословские школы хранили чистоту учения и распространяли на всем Западе свет просвещения и строгость христианской жизни. Ирландия заслуживала имя Острова Святых; десятки царей и князей саксонских, в полном блеске силы и власти, бросали свет и власть и уходили в тишину монастырских келий; кельтские проповедники, такие как Колумб или Галл, начинали обращение Германии в христианство, и великое дело, начатое ими, довершалось ревностью саксонцев Виллебродов и Бонифатиев. Таково было в Англии развитие духа религиозного; но, к несчастью, с самого начала,

борьба церкви кельтской, вполне независимой и православной, с учением Римских проповедников, отчасти уже зараженных римскою односторонностью, посеяла семена раздора; потом торжество римской партии, хитрость монашеских орденов и полуфанатическая, полулукавая энергия таких людей, как Дунстан, подавили характер чисто вселенской и православной английской церкви: она допустила многие искажения и уже вполне никогда не исправлялась, хотя и получила снова некоторую свободу при последних царях саксонских. Завоевание норманнов было также торжеством Римской власти, покровительствовавшей норманнам. Прежняя свобода, утраченная уже, проявлялась только в расколах Лоллардов, в попытках к исправлению церковному Виклефа и ему подобных ученых. Вскоре и это сопротивление казалось побежденным, и целостность римского католицизма — утвержденною навек. Соединение сильной религиозной жизни с живым общественным началом в народе (хотя и искаженным от упадка общины сельской) обещало, по-видимому, стройное и почти бесконечное развитие земле англо-саксов; но семена неизбежного зла скрывались в этом крепком и здоровом теле.

Всякое общество находится в постоянном движении; иногда это движение быстро и поражает глаза даже неслишком опытного наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уловимо самым внимательным наблюдением. Полный застой невозможен, движение необходимо; но когда оно не есть успех, оно есть падение. Таков всеобщий закон. Правильное и успешное движение разумного общества состоит из двух разнородных, но стройных и согласных сил. Одна из них основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой истории общества, есть сила жизни, самобытно развивающаяся из своих начал, из своих органических основ; другая, разумная сила личностей, основанная на силе общественной, живая только ее жизнью, есть сила никогда ничего не созидаящая и не стремящаяся чтонибудь созидать, но постоянно присущая труду общего развития, не позволяющая ему перейти в слепоту мертвенного инстинкта или вдаваться в безрассудную односторонность. Обе силы необходимы; но вторая, сознательная и рассудочная, должна быть связана живою и любящею верою с первою, силою жизни и творчества. Если прервана связь веры и любви, наступают раздор и борьба. Англия была землею христиански-религиозною; но односторонность западного католицизма, восторжествовавшего вполне, обуславливала и вызывала протестантство. Оно родилось в Германии, перешло в Англию и было принято ею; но Англия, принимая протестантство, не познала его характера. Память о некогда свободной церкви и о недавних борьбах для сохранения этой свободы обманывала англичан: они уверяли себя, что они сохраняли неизменность, когда они явно изменились или реформировались, отстраняя или отвергая то, что в продолжение долгих лет считали истинным, святым и несомненным; они верили в свой католицизм, даже когда были протестантами. Таково англиканство. Другие секты яснее сознали, глубже

приняли, строже развили свободу протестантского скептицизма. Это религиозное движение обратилось немедленно в движение общественное. Разрознились и вступили в борьбу две разумные силы народа. Одна, органическая, живая, историческая, ослабленная уже упадком сельского общинного быта и бессознательно допущенным скептицизмом протестантства, составила торизм. Другая, личная и аналитическая, не верящая своему прошедшему, приготовленная уже издавна тем же упадком общинного быта и усиленная всею разлагающею силою протестантства, составила вигизм.

Вот, любезный друг, определение этих двух слов, так часто употребленных и так мало понятых; в них, как ты видишь, заключается смысл не политический, а социальный; в них определение самой жизни Английского народа.

Теперь тебе понятно будет, почему торизм, обессиленный и уже неуверенный сам в себе, принимает так часто характер мертвого и косного консерваторства, даже тогда, когда он старается развивать зародыши, уже лежащие в обществе; и почему вигизм, сила разлагающая, казался и кажется многим силою освобождающею даже тогда, когда он действительно стесняет жизнь. Это обман, но обман неизбежный при жалком состоянии общественной науки. Для наблюдателя, более просвещенного и беспристрастного, для человека русского, мертвящая сухость вигизма, когда он разрушает прошедшее, и его бесплодность и, так сказать, бездушие, когда он думает созидать, слишком явны. На дне его лежат скептицизм, не верящий в историю и не любящий ее рационализм, не признающий законности в чувствах естественных и простых, не имеющих прямо-логической основы, и разъединяющий эгоизм личности. От этого первый его взгляд (впрочем это отчасти и его достоинство) обращается всегда на вещественную сторону всякого вопроса; от этого у него порою прорывается дикий эгоизм; от этого просвещение духовное он старается заменить просвещением внешним и чисто материальным; от этого, не любя множества центров общественных, данных органическим развитием истории, он старается отрывать от них человека и привязывает его прямо к математическому закону центра политического; от этого, разрывая связи естественные, он старается их заменить связями, по-видимому, менее строгими, но действительно менее свободными, именно потому, что они условны; от этого простоту совести и духа любит он заменять расчетливою полициею формы, и т.д. Таков виг в его логической крайности, т. е. в радикале. Но этот суд был бы слишком строг в отношении к вигу вообще. По большей части виг все-таки немножко тори, потому что он англичанин.

Действительно всякий англичанин — тори в душе. Могут быть разницы в силе убеждений, в направлении ума; но внутреннее чувство одинаково у всех. Исключения редки и вообще принадлежат людям, или совершенно увлеченным систематизмом мысли, или людям, убитым нищетою и развращенным жизнью больших горо-

дов. История Англии не есть дело прошедшее для современного англичанина: она живет во всей его жизни, во всех его обычаях, почти во всех подробностях его быта. А стихия историческая — это туризм. Англичанин глядит с дружелюбною улыбкою на широкоплечих сторожей Тоуера с их пестрою и странною одеждою; он рассказывает с торжественным удовольствием, что вот эти сухие желтые сливы, которые он вам продает, точно также сушились тому двести пятьдесят лет; он радуется на мальчиков Христова Гошпиталя, которые носят и теперь, как я уже сказал, синий балахон времен Эдуарда VI-го. Он ходит по длинным галереям Вестминстерского аббатства не с хвастливою гордостью француза, не с антикварским наслаждением немца; нет, он ходит с глубокою, искреннею, облагораживающею любовью. Эти гроба — это его семья, его великая семья; и это я говорю не об лорде, не о профессоре, а об ремесленнике, об извозчике, который целый день махает кнутиком по всем улицам лондонским. Туризма столько же в простом народе, сколько и в высших рядах общества. Правда, этот купец или ремесленник даст свой голос вигам: таково его убеждение о пользе общей или своей выгоде вещественной; но в душе-то он любит Ториев. Он поддержит Руссея или Кобдена, но сочувствие свое даст он старику Веллингтону или Бентинку. Вигизм — это насущный хлеб; туризм — это всякая жизненная радость, кроме разврата кабачного, или еще худшего разврата воксалов; это скачка и бой, это игра в мяч и пляска около Майского столба, или рождественское полено и веселые святочные игры, это тишина и улыбающаяся святыня домашнего круга, это вся поэзия, все благоухание жизни. В Англии тори — всякий старый дуб, с его длинными ветвями, всякая древняя колокольня, которая вдали вырезывается на небе. Под этим дубом много веселилось, в той древней церкви много молилось поколений минувших.

То, что существует в Англии, то, что иностранцы называют учреждениями, не является туризму англичанина в виде учреждений. Это просто часть его самого, олицетворение его внутренней жизни, прошедшей или настоящей. Таково, во-первых, его отношение к монархии. Английская гувернантка, после тридцатилетнего отсутствия из Англии, не могла слышать песни *God save the King* (Боже царя храни) без того, чтобы не снять шапок с головы своих воспитанников, и она делала это совершенно бессознательно. Таково же отношение англичанина к закону. Он беспредельно уважает закон; но почему? потому, что всякий закон английский есть английский вполне. Точно также и аристократия английская не является англичанину чем-то отдельным или самостоятельным: нет, это только часть, оттенок общего туризма. Имена Тальбот, или Перси, или Бедфорд не представляют идеи привилегий, или власти, или административной формы; нет, в этих звуках — Креси и Пуатье, борьба баронов, давшая силу народу, народная жизнь и народные забавы, в которых всегда участвовал и председательствовал лорд; но более всего в них централизация самой деревенской жизни, разорванной

после упадка общин и отчасти восстановленной силою земледельческой аристократии. Оттого-то бедный селянин спрашивает у вас с гордостью: «А видели вы парк лорда Марльбору?» как будто бы это его собственный парк. От того-то малолюдство сел до сих пор в Англии имеет перевес над многолюдством городов, между тем, как везде в Европе город подавил деревни. Но, как я уже сказал, аристократия является не учреждением, а произведением почвы и истории, частью торизма, а не самобытною и отдельною силою. Как учреждение, англичанин не понял бы или отверг бы ее. Это для меня ясно из разговора, в котором я был только слушателем. Сцена была в парке с вековыми дубами. Оба разговаривающие — страстные тори. Предмет разговора — учреждение аристократии в других краях и по преимуществу в такой земле, где она не имеет основы ни в истории, ни в чувстве народном. Один из спорящих хвалил такое учреждение, основываясь на крепости самого начала. Другой, соглашаясь в этом, спросил: «что крепче, железо или дерево?» — «Железо», отвечал первый. — «Ну, а укреплю ли я это дерево, когда вколочу в него железный кол» Таков взгляд англичанина, и он справедлив. Где аристократия не в общем духе, там она раздваивает общество и вызывает демократию.

Я надеюсь, что ты теперь понял торизм. Впрочем для большей ясности я могу тебе привести пример из русской старины. Вспомни истинно поэтическое окончание прекрасной драмы К.С.Аксакова, перекличку стрельцов: «славен город Москва, славен город Владимир» и т.д. Эта хвала русских городов, звучащая в темноте, на стенах Кремля, вокруг жилища царей, была чертою чисто тористскою (говоря в английском смысле). Весело было воину провозглашать славу других областей, весело ему было слышать славу своего родного города, и весело было жителю Москвы в тихую летнюю ночь слышать хвалу всей России. Это было не упражнение в отечественной географии, но голос народа, обнимающего своею любовью и уважением весь великий собор своих городов: вот где торизм по английскому понятию.

И эта цепь предания не перерывается в Англии. Кроме того, что она поддерживается всем строем общества, неизменными обычаями и характером жизни домашней, она укрепляется и обновляется воспитанием общественным. Все великие рассадники наук в Англии восходят до глубокой древности: оба университета, Кембридж и Оксфорд, были свидетелями почти всей истории английской, особенно же Оксфордский, которого начало едва ли не связано с учреждениями Саксонской эпохи. Их отдельная и строгая организация, их совершенная независимость от временных перемен, их самостоятельность, основанная на предании и хранящая предание, служат постоянным оплотом духу исторической жизни против произвола личного рационализма. Наука не скована: этого, кажется, не нужно доказывать. Кому неизвестно, что Англия не уступает почти никакой стране в отдельных отраслях наук, а в общности их превосходит

все остальные земли Европы? Частным исключением можно конечно назвать превосходство Германии в философии; но, совершив много для человечества, философия Германская, в силу своей собственной односторонности, дошла в Гегеле до своего крайнего результата, самоуничтожения, в приложениях же своих она принесла только сомнительные плоды в историческом анализе и истинно полезные, может быть, в одном анализе искусства: тут Германия владычествует, тут она действовала одна, и ее труд продолжается одною Россиею, дополняющею теорию о свободе художества теориею отношений художества к народу и самого художника к своим произведениям¹; но это, как я сказал, частные и незначительные исключения. Наука цветет свободно в Англии, но она не ведет к раздору с жизнью. Рано начинается воспитание в домашнем кругу или в народных училищах. Ребенка вводят в науки разнообразные, и богатая словесность, полная жизни, полная веры, полная старых сказаний и любви к старине, и в тоже время нечуждая никаким новейшим открытиям. Это богатство и живость детской словесности происходят не от системы, но от той глубокой и трогательной любви к детскому возрасту, которая везде поражает путешественника в Англии и сама имеет корнем чистоту быта домашнего. Мало по малу крепчающий ум доходит до высших коллегий, до коллегий университета. Я не стану тебе рассказывать о плане преподавания: он не важен; важен общий характер самых коллегий и университетов. Сперва поражает тебя величие и архитектурная роскошь этих заведений, особенно в Кембридже; потом их древность, потом та глубокая тишина, которая их окружает. Много говорят о шуме и движении в Англии, они действительно изумительны; да где же в наше время не шумят и не движутся? Ничего не говорят о тишине английской, а она изумительнее английского шума. В самой середине Лондона, в десяти шагах от вечных базаров Гольборнской улицы или Странда, поразило меня пустынное безмолвие Христова Гошпиталя, в котором тысяча четыреста учеников, или Линкольн-Инфильдса, огромного квартала, жилища адвокатов и ученых. Но ничто не может сравниться с величавою тишиною университетских городов. В тихий летний вечер, когда садящееся солнце освещает румяным светом все двадцать две коллегии старого Оксфорда с их готическими стрелками, с их стрельчатыми окнами и прозрачными аркадами, когда длинные тени старых дубов и каштанов ложатся на зеленые лужайки парка, и стада оленей резвятся по освещенному лугу и по теням, и сами мелькают как тени и доверчиво подбегают к университетским зданиям и к келиям студентов, — тогда, поверь мне, Оксфорд волшебнее самой Венеции. В Венеции роскошь и нега: над Оксфордом носится какая-то строгая и

¹ Разумеется, этого успеха искать должно не в прогрессистах, насвистывающих чужие мысли с чужого голоса, а в мыслителях самостоятельных, в Гоголе (письма), в Жуковском (письмо о Слове), в Ш(евыреве) в А(ксакове) и других.

светлая дума. Верх дерева шумит и качается: в тишине и безмолвии растут и крепнут его вековые корни. Дисциплина университетская похожа на монастырскую, игры учеников имеют еще весь характер детских забав; но за то это долгое детство prepares здоровую и разумную возмужалость; за то из строгой тишины монастырской выходят те могущие и смелые умы, которые развивают в таких громадных размерах духовную и вещественную силу Англии и правят ею, сквозь шум и бурю торговой и политической жизни; за то Англии неизвестны эти целые поколения, которые в иных землях являются с таким полным бессилием на поприще деятельности, как мальчишки, безвременно убежавшие из родительского дома, в слишком ранних галстуках и фраках, с модными бадинками в руке, с полным незнанием своей земли, с самодовольною пустотою в голове, с неспособностью к мысли самобытной и с хвастливою готовностью век свой насвистывать чужую песню, воображая, что она сложена ими самими. Редкий англичанин спросит у вас, видели ли вы Ливерпуль или Бирмингам; всякий спросит, видели ли вы Оксфорд и Кембридж.

Впрочем главною основою английской жизни есть бесспорно жизнь религиозная. Сотни миссионеров, разносящих Слово Божие по всему земному шару, и проповедников, борющихся с неверием поверхностной философии, суть только проявление общего духа и общего стремления. Я видел церкви, наполненные благоговейными слушателями; я видел на улицах толпы простого народа, слушающие проповедь бедного старика, толкующего (может быть и криво) тексты Священного Писания; я видел кучки работников, занимающихся богословскими спорами во время воскресного отдыха, и это напомнило мне нашу святую, богомольную Русь. Направление ума народного отзывается в направлении избранных его деятелей. В старину великий Ньютон кончал поприще свое толкованием Апокалипсиса: в наше время поэты Соути, Кольридж, Вордсворт были двигателями вопросов религиозных; блистательный ум Арнольда, так рано развившегося (он семи лет уже писал драму), посвящал себя богословским наукам (к несчастью в крайне-протестантском духе), и почти ни один из великих деятелей в Англии не оставался чуждым положительным вопросам религии. Вот чего, кроме Англии, нет уже нигде.

Из этого, разумеется, не следует, чтобы я выдавал английское воспитание за совершенство. В английском характере есть глубокое и весьма справедливое неверие в человеческий ум. Этим англичанин напоминает русского. Рациональность не входит в характер его. Иные посылают учиться в Англию рациональному хозяйству: это просто непонимание самого слова рациональный. Хозяйство английское, как и все в Англии, есть чисто опытное, также как у нас, где в Перми променивают четверть ржи на четверть птичьего гуано, и где огородники Ростовские дошли до совершенства, которое внушает зависть немцам. Опыт и соображение произвели чудеса в Анг-

лии, но они не дали и не могли дать характера рационального. Это в одно время и достоинство, и недостаток. Можно пожалеть о том, что анализ философский так мало развит в Англии; быть может, во многом ускорен бы был ее успех, и много отстранено было бы ложных мнений; но за то, может быть, много и лжи вошло бы вместе с самоуверенностью ума. Я думаю, что неверие анализу и даже какой-то страх перед ним, замеченный мною несколько раз в образованных англичанах, происходит от внутреннего сознания, что скептицизм протестантский, ими допущенный, покачнул уже все основания внутренней жизни, и что строгий и безоглядный анализ был бы для них убийствен. Как бы то ни было, это слабость, и я ее признаю, хотя и предпочитаю ее слепому суеверию немца, который думает, что односторонняя сила строгого логического процесса может не только доискаться до всякой живой истины, но и воссоздать ее, — или детскому суеверию француза, который воображает, что верхоглядное вдохновение ума может для него разоблачить все тайны жизни, общества и мира.

Точно также должно признаться, что англичане, часто весьма образованные, выказывают неожиданное невежество на счет многих вещей в чужих землях и в жизни других народов; это особенно заметно, когда дело доходит до России. О ней я слышал столько же нелепостей в Англии, столько и в Германии, хотя они были высказаны с большим дружелюбием и меньшею самоуверенностью. Мне особенно памятен в этом роде один разговор весьма умного и образованного адвоката. Мы говорили о суде присяжных. Он очень ясно понял и оценил разницу, которую я показывал ему между мертвою коллегиальностью французского учреждения присяжных и духовностью английского приговора по единогласию; потом стал он говорить об излишней формальности гражданского судопроизводства в Англии. «Я с полным убеждением говорю», сказал он, «что мы адвокаты и дельцы просто чума нашей родины (we are, sir, the plague of our country) и что я, читая историю нашу, никогда не мог сердиться на Кеда и Тайлера за то, что они нас вешали». Разумеется, я рассмеялся. Потом он изложил очень ясно, основываясь на фактах и примерах, что совесть имеет столько же права на разбирательство в делах гражданских, как и уголовных, и хвалил американцев (вещь редкая в англичанине) за то, что они ввели суд присяжных в делах гражданских. При этом случае он рассказал мне факт совершенно неизвестный. В тридцатых годах депутат одного из штатов предлагал ввести делопроизводство более формальное, как обязательное в тех случаях, когда того потребует один из тяжущихся. На это ему отвечали следующие: «От разбирательства по совести кто будет устраняться? Непременно тот, кто по совести не прав. И так, премия будет в пользу бессовестности». Предложение было отвергнуто. Я передаю тебе этот факт только по авторитету моего собеседника; не знаю, справедлив ли он, но во всяком случае взгляд англичанина был весьма замечателен. Разговор наш продолжался. Он коснулся России.

Приятель мой говорил умно, судил здраво, хвалил Россию; но я никак не мог понять, о чем он собственно говорил. Что же вышло? Он толковал о нашем старом судопроизводстве, об суде третьими и проч., и считал их современными. Разумеется, я истолковал ему его ошибку и объяснил ему, что это все давно отменено для правильности. Вот тебе рассказ, который показывает, как часто в англичанах соединяется незнание самых простых фактов с здравым и высоким пониманием духовных начал.

Я определил Англию землею, в которой борется торизм с вигами. Ты, может быть, скажешь, что это относится и ко всей Европе. Нет, любезный друг. Ни Франция, ни Германия не идут под это определение. Там нет и не может быть ториев. Там общество, созданное историею, отсело от нее, как *carut mortuum*¹. Истории уже нет в жизни, организма нет, общества с живыми началами нет. Это скопление личностей, ищущих, не находящих и не могущих найти связи органической. Франция не имела никогда народа. Она отвергла свое прошедшее, которое уже не могло существовать, и все-таки не нашла народа. Жак Боном никогда не жил общественною жизнью; он его и создать не может. Ты помнишь, что я это говорил и даже печатал давно. Германия была некогда в этом отношении счастливее Франции. Ее убил сначала полный разрыв областей, ее окончательно убили авлические учреждения, коллегияльный материализм и бездушные камеральности. Семья ничтожна как во Франции, так и в Германии. Веры же нет ни в той, ни в другой. Если ты хочешь найти тористические начала вне Англии, — оглянись: ты их найдешь, и лучшие, потому что они не запечатлены личностью. Вот величие златоверхого Кремля с его соборами, и на Юге пещеры Киева, и на Севере Соловецкая святыня, и домашняя святыня семьи и, более всего, вселенское общение никому неподсудного Православия. Взгляни еще: вот сила, назвавшая некогда Кузьму Минина выборным всей Земли Русской, и ополчившая Пожарского, и увенчавшая дело свое избранием на престол Михаила и всего рода его; вот, наконец, деревенский мир с его единодушною сходкою, с его судом по обычаю совести и правде внутренней. Великие, плодотворные блага! Умеем ли мы их ценить?

Крепок ли английский торизм? Ровен ли бой его с вигами? Нет. Торизм, изначально запечатленный излишнею личностью (это заметно в аристократизме, носит в себе постоянно характер вигизма и все-разрушающей личности, логически развивающейся из протестантизма; а протестантизм было неизбежно. Тори чувствуют опасность свою, и многие знают ее источник. Духовное лицо в Оксфорде спрашивало у меня: «чем можно остановить губительные последствия протестантизма?» Я отвечал: «откиньте римский католицизм!» Торизм английский, неверный самому себе, живет только чувством: за ви-

¹ Мертвая голова (лат.).

гизм стоят рассудок и его логическая последовательность. Будущее принадлежит ему.

И он подается вперед шаг за шагом, расширяя каждый день круг своего действия, завоевывая общее мнение, особенно в торговых округах и городах, подрывая жизнь и обычаи, развязывая личность и ее мелкую, самодовольную гордость. Он бывает часто во власти, и тогда народ хранит Англию от его разрушающей силы; но он продолжает свое дело, материализуя просвещение, разрывая связи предания, администрируя без меры и удвоивая администрацию, централизируя, губя живые начала или придавливая их под тяжестью формализма. Другие земли вызываются историею на великое поприще, другие народы явятся передовыми двигателями всемирного просвещения; если Англия не изменит теперешнего своего хода, а изменить его при теперешних данных она не может, — она послужит им уроком и наставлением. Из ее примера узнают они, как губительно вечное умничанье отдельных личностей, гордых своим мелким просвещением, над общественною жизнью народов, как вредно уничтожение местной жизни и местных центров, как страшно заменять исторические и естественные связи связями условными, а совесть и дух — полицейским материализмом формы, и убивать живое растение под мертвыми надстройками. Урок, может быть, не будет потерян.

Конечно, Англия еще крепка, много живых и свежих соков льется в ее жилах; но дело вигов идет вперед неудержимо. Звонко и мерно раздаются удары протестантского топора, разрубаются тысячелетние корни, стонет величавое дерево. Не верится, чтобы земля, воспитавшая так много великого, давшая так много прекрасных примеров человечеству, разнесшая свет христианства и славу имени Божия по отдаленнейшим концам мира, могла погибнуть; а гибель неизбежна, разве (и дай бог, чтобы это было), разве примет она новое духовное начало, которое притупило бы острие протестантского топора, залечило бы уже нанесенные раны и укрепило ослабленные корни. Но будет ли это?

Я взшел на Английский берег с веселым изумлением, я оставил его с грустною любовью.

Прощай!

1848 г.

Воспоминания об Англии

IV

Церковь св. Павла

Под сводами Уэстминстера воздвигнуто до 400 мавзолеев¹. Но ревнивая к славе своих сынов, Англия уже приготовила новый пантеон для увековечивания своих знаменитых граждан. Я разумею собор св. Павла. Хотя эта церковь окончена в начале XVIII столетия, но она, как и все в Англии, имеет свою историю. Она находится в центре Сити, недалеко от Темзы, на местности несколько-возвышенной, так-что улица, ведущая к собору, носит название Людгетского-Холма (Ludgat-Hill).

Есть предание, что на этом месте во времена римлян стоял храм Дианы; впоследствии римляне же построили христианскую церковь, разрушенную при Диоклитиане; при Константине построена была вновь церковь, разрушенная в свою очередь саксами. В 1003 году Эдельберт, король кентский, построил на этом же месте третью церковь, деревянную, уничтоженную пожаром в 1086 году; тогда решились воздвигнуть огромный собор, который и был кончен в 1312 году. Но и эта церковь была уничтожена пожаром в 1666 году, после которого воздвигнут настоящий собор (1675—1710), знаменитым Христофором Реном (Ch.Wren). Сооружение этого здания стоило более 1,500,000 фунт. стерл., и эта сумма была покрыта налогом на каменный уголь, ввозимый в Сити.

С видом церкви св. Павла, без-сомнения, знакомы многие, даже небывшие в Лондоне: это здание так часто повторяется на гравюрах, литографиях, политипажах... Главный фасад обращен к западу: это портик, состоящий из двенадцати коринфских колонн; над которыми возвышаются другие восемь колонн, и над ними фронтон с барельефом, представляющим обращение св. Павла; на вершине портика статуя этого апостола, и по сторонам статуи св. Иакова, Петра; по сторонам портика две башни. Над серединою всего здания высится величественный купол, поддерживаемый тридцатью двумя дорическими колоннами; наверху купола открытая галерея, из середины которой возвышается фонарь, оканчивающийся яблоком и позолоченным крестом.

¹ В путеводителе Феликса Соммерсея (Hand-Book for Westminster Abbey), показано 355 монументов.

Все здание обнесено железною решеткою; тесный проход между нею и стенами назначен для кладбища, на котором и теперь еще можно видеть свежие могилы.

Таков внешний вид этого здания, которое, конечно, выиграло бы гораздо более, если б не было окружено высокими домами.

Художники находят много недостатков в произведении Рена; главнейший в том, что церковь ст. Павла есть подражание римскому Петру, и что в ней не соблюдено единства стиля: башни не венчаются куполами, и их стиль подходит к так называемому стилю возрождения.

Все это справедливо; но нельзя отвергнуть одного: величия, в котором представляется это здание издали, над колоссальным городом, откуда бы вы ни смотрели на него: с мостов ли, опоясывающих Темзу, с самой ли Темзы, или с отдаленных холмов, окружающих столицу — отсюда купол св. Павла представляется вам царствующим над бесконечною массою зданий.

В этом отношении далеко должны уступить готические соборы Кельна, Парижа, Вены, которые на известном только расстоянии поражают своею пропорциею и лишь вблизи дают чувствовать красоту мелкой резной работы. Готическая башня, если она не стрельчатая, представляется издали чем-то неоконченным; стрельчатая — она кажется символом индивидуальности, мысли, отторгающейся от земли, стремящейся улететь в горние пределы, оставить юдоль земную. Римский купол, опирающийся на греческой колоннаде, представляет собою покров неба и есть символ единения человека с Богом.

Внутренность церкви св. Павла далеко не соответствует наружности. Правда, перед вами открывается огромная вместимость здания, но в нем ничто не останавливает вашего внимания, ничто не поражает вашего зора — это совершенная пустота, отсутствие всякого стиля.

Из угождения пуританизму, в новых храмах Англичане не допускают ни скульптуры, ни живописи. Этот недостаток искусства замещается до некоторой степени новым назначением церкви св. Павла. У стен и у огромных пиластр, стоят мавзолеи, медальоны, группы, символические статуи — в память людей, ознаменовавших жизнь свою подвигами, прославившими Англию.

Первая статуя воздвигнута была здесь в честь Джонсона (Johnson), известного критика. Прах его поживает в Уэстминстере, между Шериданом и Гарриком, близ Томсона и Шекспира, где он был торжественно похоронен в декабре 1784 г., и вслед за тем по подписке ему воздвигнута была статуя в церкви св. Павла.

Здесь же вы увидите конные статуи генерала Аберкромби, лорда Гова; но прежде всего, конечно, остановитесь на памятнике герою, обожаемому английским народом — на памятнике Нельсону; статуя его опирается на якорь; справа стоит Англия, слева лев Великобритании.

Недалеко от монумента Нельсона воздвигнута статуя в память известного филантропа Говарда, прах которого хранится в степенях нашего отечества¹. Прах Нельсона покоится в подземелье церкви, под центром купола, в саркофаге из белого и черного мрамора, поддерживаемого пьедесталом, на котором начертана простая надпись: *Horacio Visc. Nelson*².

Близ него покоится его сотрудник и друг, лорд Коллингвуд.

Здесь же под простою доскою лежит прах Христофора Рена, с тою же самую латинскую надпись, которая видна в церкви близ хор³. — Вокруг могилы разных архитекторов и живописцев.

Посетив мертвых в их последнем жилище, вы почувствуете сильное желание взглянуть поскорее на все живое; но прежде, нежели решитесь подниматься по 616 ступеням, вас спросят, не желаете ли вы посмотреть библиотеку собора, взойти в нее чрез галерею, знаменитую своим эхом (*Whispering gallery*), осмотреть комнату моделей (*Model room*), в которой сохраняется модель церкви, также знамена, щиты и гербы, служившие для погребальной процессии Нельсона; посмотреть на большой колокол, в который звонят только в случае смерти одного из членов королевской фамилии, или лорда-мэра, лондонского епископа, и декана св. Павла. Но за все это вы должны заплатить особо, равно как и за удовольствие подняться по 616 ступеням в яблоко⁴. Там вы будете стоять на высшей точке Лондона и можете видеть, если не помешает туман и дым, у ног своих метрополию, с ее окрестностями. Вы различите главные здания Сити и стрельчатые башни церквей с золотыми крестами. Но далее — очерки обширной столицы теряются в таинственном полумраке; обладательница всемирной торговли, ревнивая к своему величию, показывает себя только частями, при счастливой игре света, как-бы для того, чтоб только поразить удивлением ваше воображение, возбудить ваше любопытство, не удовлетворив его.

¹ Говард умер и похоронен в Херсоне.

² Судьба этого саркофага замечательна: он был изготовлен по приказанию знаменитого кардинала Волсея для его собственного монумента в капелле св. Георгия в Виндзоре.

³ Смысл этой надписи следующий: «Здесь погребен Христофор Рен, построивший эту церковь. Он жил более 90 лет, не для самого себя, но для общей пользы. Читатель, если хочешь видеть его мавзолей, взгляни вокруг себя: *Si monumentum quaeris, circumspice*».

⁴ Вот выписка:

Шил. Пес.

За осмотр памятников и внутренности церкви	— 2
За осмотр галерей	— 6
За вход в яблоко	— 16
За осмотр библиотеки, большого колокола, геометрической лестницы и комнаты с моделями	— 1
За осмотр часов	— 2
За осмотр подземелья	— 1
Всего:	4 4 или около 1 руб. 50 коп. сер.

Памятники монархам Англии и другим знаменитостям. — Любимые герои английской нации. — Эмблемы могущества Англии. — Характер архитектуры лондонских зданий. — Новый парламент

Строгие, сухие моралисты порицают пышные памятники мертвым¹; но если позволено, если полезно и благородно окружать мертвых блеском и величием, то это, конечно, тогда, когда государство предоставляет эту честь своим избранным, соединяет их в храме, освящает их память надписями и статуями, делает из них своих пенатов, когда нация указывает на них с гордостью народам чуждым и возбуждает у новых поколений благородное соревнование увеличить число избранных сынов. Но подобные пантеоны не создаются преднамеренно; ни Уэстминстер, ни даже собор св. Павла не были выстроены нарочно для погребения знаменитостей: их пантеонами сделала история.

Независимо от мавзолеев, Англичане любят воздвигать на площадях и скверах памятники своим монархам и героям своей истории.

Все короли и королевы Англии, начиная с Карла I², имеют свои статуи в разных частях города или в публичных зданиях. Из государственных людей той же чести удостоились Чатам, Бекфорд, Питт и Фокс.

Но любимые герои английского народа принадлежат позднешему времени — это Нельсон и Веллингтон; в первом Англичанин олицетворяет свою морскую славу, во втором славу сухопутных подвигов. Но признательность народная выразилась различно в отношении самых героев. Есть три статуи в честь Веллингтона, но их воздвигли корпорации, отдельные лица; народ же признательность к Веллингтону выражает иным образом: он чтит его за одну победу — при *Ватерлоо*; и это слово встречается беспрестанно не только в Лондоне, от Ватерлооского-Моста, Ватерлооской-Улицы, Ватерлооского-Сквера, Ватерлооской-Площади до омнибусов, из которых многие носят это имя, но во всех городах, местечках и деревнях на вывесках, на этикетках тканей бумажных и шерстяных. Нация чтит

¹ В Англии за несколько лет пред сим, по случаю основания общественных кладбищ за городом, много было писано об этом предмете. В полемике принимали участие духовные, поэты, артисты, публицисты и медики.

² Статуя Карла I стоит на площади Charing cross, точке соединения старого города с новым; история ее служит лучшим доказательством глубокой любви Англичан к монархии. Эта конная статуя была первым произведением ваяния в Англии. Во время гражданской войны она была низвергнута и продана, по распоряжению парламента, одному меднику, с приказанием разрушить ее. Медник скрыл ее в земле и, при восшествии на престол Карла II, представил ее, к общему удивлению; и тогда она была поставлена на настоящем месте.

героя одной победы, а не всего героя, который, как живой, еще есть человек партии. Пред словом Ватерлоо благоговееет всякий Англичанин, каких бы он мнений ни был, тогда-как имя Веллингтона подвергалось не раз нападкам со стороны людей, которые в герцоге видели противника их правым или неправым желанием.

О победе Нельсона напоминает одна только площадь — Trafalgar Squar. На ней воздвигнута гранитная колонна (176 ф.) с колоссальною статуею героя; и имя Нельсона, точно так же, как имя Ватерлоо, встречается в Англии повсюду; в честь героя воздвигнуты колонны в Дублине и Эдинбурге, статуи и группы в Ливерпуле и Бирмингэме. С этим именем соединяется для Англичан воспоминание о славе и могуществе целой нации; герой морской живет в своем имени, точно так же, как герой сухопутный живет в своей победе, и только одна история соединит некогда с именем победы имя героя, имя, которое теперь еще служит причиною любви или ненависти враждующих партий.

Но большая часть памятников и статуй, населяющих города Англии, в художественном отношении, далеко ниже славы героев и уважения к ним нации. В Гейд-Парке, у входа с улицы Piccadilly, воздвигнута колоссальная статуя в честь Веллингтона, вылитая из двадцати четырех пушек, взятых в сражениях при Саламанке, Виттории, Тулузе и Ватерлоо. Герцог представлен в виде Ахиллеса; на могучем торсе пелеева сына, на мускулистой шее гекторова победителя поставлена голова герцога, с его орлиным носом, сжатыми губами, квадратным подбородком. Можете себе представить, какое впечатление производит на любителя искусств подобное произведение скульптуры!

В другом месте, именно против биржи, стоит конная статуя Веллингтона. Всадник — есть верный портрет герцога, сидящего на английском рысаке, с тонкими ногами, острою головою, вытянутою шею.

Столь же неудачно исполнение всех других конных статуй, которые вы встретите в Лондоне. Исполнение памятников Питту и Фоксу — удачнее; по крайней мере художник умел придать своим произведениям характер важности и спокойствия.

Воздавая честь героям своей истории публичными памятниками, Англичане столько же любят эмблематическая изображение целой нации, символы ее могущества и славы, и потому на публичных зданиях вы беспрестанно видите то герб Великобритании, поддерживаемый гением Англии и Славою, как на Сомерсет-Гаузе, то фигуру Великобритании, окруженную Торговлею, Мореплаванием, Наукою и Земледелием, как на барельефах Commercial-Hall, то Великобританию, сопровождаемую статуями Европы и Азии, как на фронте дома Ост-Индской-Компании.

Архитектура домов или, лучше сказать, дворцов, составляющих Вест-Энде, занимаемых богатым классом — грандиозна, монументальна, хотя стиль ее уродлив, и часто бессмыслен. Ни в одном горо-

де вы не увидите столько колоннад и фронтонов. Греки и Римляне не столько были Греками и Римлянами, как подданные ее великобританского величества. Вы беспрестанно прогуливаетесь между парфенонами, вы только и видите, что храмы Юпитера и Весты, и очарование ваше было бы совершенное, если бы между колоннами вы не читали надписей: *Газовая компания*, *Компания страхования* и проч. Дорические и ионические колонны повсюду. Эти колоннады и фронтоны с первого раза кажутся величественными и роскошными, но подойдите ближе, всмотритесь в подробности — и вы пожалеете о художнике.

Посмотрите на дом, где живет первое правительственное лицо Сити *Mansion-House*, жилище лорда-мэра. Эта постройка столь же безобразна, сколько массивна. Передний фасад — греческий перистиль, шесть коринфских колонн поддерживают фронтон. Наверху аттика возвышается новое здание, не греческий храм, а простой английский дом! История этого здания весьма-любопытна. Когда альдермены совещались о постройке дома для лорда-мэра, лорд Бурлингтон, любитель и знаток в искусствах, прислал им рисунки, составленные Палладио¹, достойные знаменитого художника. Корпорация почтенных альдерменов оскорбилась; многие спрашивали: «кто этот Палладий, и почему благородный лорд мешается не в свое дело?» Отложив решение вопроса до завтра, джентльмены отправились обедать. Когда черепаховый суп и бифтекс успокоили страсти, а портер просветил головы, почтенный совет собрался снова. И о чем же вы думаете он рассуждал?.. О красоте здания? о удобстве? о издержках? — Ничуть не бывало!

— Я осмеливаюсь заметить, начал говорить один альдермен, докторальным голосом: — что этот Палладио не Англичанин, он не член Сити.

— А я прибавлю, произнес другой голос, что Палладио Итальянец и папист!

После этих слов, все собрание единогласно признало присланный лордом Бурлингтоном план неисполнимым. Когда же утихло пуританское негодование, почтенные альдермены единогласно утвердили планы Жоржа Данса, Француза, но зато протестанта, который, впрочем, до тех пор строил только корабли.

Но нигде архитектурный космополитизм Англичан не обнаруживается более, как в церквах новой постройки.

Лондон вообще богат церквами; все оне, однако, большею частью новейшей постройки: один Христофор Рен выстроил около пятидесяти. Характер архитектуры их большею частью греческий или готический; но чаще всего соединение того и другого характера, что, конечно, не служит доказательством изящества вкуса английских зодчих.

¹ Знаменитым венецианским архитектором.

Взгляните, наприм., на церковь *St.-Martin's in the fields*, которую Англичане нередко хвалятся. Западный фасад прекрасен, спору нет: это величественный портик, из 8-ми коринфских колонн. Но над главным корпусом церкви возвышается четырехугольная башня, оканчивающаяся готическим шпицом.

Справедливо заметил один критик, что колоннады вовсе не соответствуют климату, или, лучше сказать, атмосфере Лондона. Туман и дым каменного угля покрывает их черным цветом спереди и серым сзади и с боков. От-этого тень представляется на первом плане, а свет на втором; другими словами, передняя часть колонны кажется заднею, а задняя переднею. Это совершенно уничтожает закон перспективы и производит на зрителя неприятное впечатление, хотя архитектор и соблюл законы своего искусства.

Небу Англии прилична одна только архитектура — архитектура средних веков: башни, толстые зубчатые стены, остроконечные своды, шпицы, исчезающие в воздухе — словом, архитектура Уэстминстера и Виндзора. И вот почему здания, подобные церкви св. Дунстана (*St.-Dunstan's fleet street*), новая зала в *Christ's hospital*, *Westminster hall*, *Guild hall* и некоторые другие, остановят на себе внимание любителя художеств своим чистым готическим стилем.

В настоящее время в Лондоне воздвигается монументальное здание нового парламента, у Уэстминстерского-Моста, сзади Уэстминстерского-Аббатства, на берегу Темзы. Снаружи оно уже почти было окончено, когда мы были в Лондоне — по крайней мере таким показался нам фасад, обращенный к реке. Мы были и внутри в некоторых залах, где заседали разные парламентские комитеты. Но о внутренней красоте здания можно будет судить лишь тогда, когда будут совершенно окончены главные залы, назначенные для заседания лордов и коммонеров.

На это здание ассигновано миллион фунтов стерл., и оно воздвигается по плану архитектора Барри, который благоразумно отказался от подражания Грекам и Римлянам и, изучив национальные памятники, начиная от времен Саксов до XVI столетия, в проекте своем умел сочетать легкость готическую с прочностью и правильностью стиля флорентийского, по крайней мере так кажется при взгляде на это колоссальное здание, в его еще несовершенном-оконченном виде.

1849 г.

Фрегат «Паллада». В Англии

Декабрь <1858>. Лондон. Как я обрадовался вашим письмам — и обрадовался бескорыстно! В них нет ни одной новости, и не могло быть: в какие-нибудь два месяца не могло ничего случиться: даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что началась опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось такое-то общественное увеселительное место: мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти затем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собрался обещать вам — не писать об Англии, а вы требуете, чтоб я писал, сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия! Ужели вам не наскучило слышать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии? Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень... не знаю, что сказать о нем: скажу — бесполезен, что церковь св. Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и т.д. Не надо этого: не правда ли, вы все это знаете? — Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем. — Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: «Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчаливы, мало сообщительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко и напиваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща». Это описание достойно времен Кошихинских, скажете вы, и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего, разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову.

Через день, по приходе в Портсмут, фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на «Кемпердоун» — старый корабль, стоящий в порте празднo и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки, а сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда.

Долго не изгладится из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напитывается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне

эта тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы «втягивались» в портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только (на этот раз), что везут с неимоверною быстротою: хижины, фермы, города, замки мелькают, как писанные. Погода странная — декабрь, а тепло: вчера была гроза; там вдруг пахнет холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить. Дождей вдоволь; но на это никто не обращает ни малейшего внимания, скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом: тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи — нельзя рассмотреть с дороги — какие. Туманы бывают если не каждый день, то через день непременно; можно бы, пожалуй, нажить сплин; но они не русские, а я не англичанин: что же мне терпеть в чужом пиру похмелье? Довольно и того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами. Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемая Меркуриевым жезлом!

Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющей путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц, движется муравейник.

Но вот я, наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовою неподвижностью в вагоне и получасовою ездой в *кебе* по городу, водворен в доме, в квартире.

На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении: надо было начать путешествовать в чужой стране, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли; не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. Но *desoium*¹ печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки — сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было — не до меня: все заняты похоронами, всех поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь св. Павла, где совершалась церемония. Я был один в

¹ Внешний вид (*лат.*).

этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычною жизнью. Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы, но я ждал не того; я видел это у себя; мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и «осматривать», а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности, не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно, с *гидом* в руках, по столько-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.

Вообще большая ошибка — стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музей, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания. Мы целое утро осматривали ниневийские древности, этрусские, египетские и другие залы, потом змей, рыб, насекомых, почти все то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадриде. А между тем времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло все на улицу; хотелось побродить, не между музеев, а среди живых людей.

Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смотреть их походку или какую-то иноходь, и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения, или по крайней мере холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки, с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемою ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемееет, лишь только полисмен с тротуара поднимает руку.

В тавернах, в театрах — везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка, которым, волей-неволей, должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему: иначе хоть не заглядывай в Англию. Здесь, как о редкости, возвещают крупными буквами на окнах магазинов: «ici on parle francais»¹. Да, путешествовать с наслаждением и с пользой значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь

узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть иско-мый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою. Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи, путешествие, конечно, только забава. Но счастлив, кто может и забавляться такою благородною забавою, в которой нехотя чему-нибудь да научишься! Вот Regentstreet, Oxfordstreet, Trafalgarplace — не живые ли это черты чуждой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего, повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?.. Воля ваша, как кто ни расположен только забавляться, а, бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя.

Бродя среди живой толпы, отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее: на Вестминстерское аббатство, и был счастливее в это утро. Такие народные памятники — те же страницы истории, но тесно связанные с текущею жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть, да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю, — оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразил готический стиль в этих колоссальных размерах. Я же был во время службы с певчими, при звуках великолепного органа. Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти недышащая толпа молящихся — все это образует оно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах.

Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов я в первые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников и, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа. Там сотни три картин, из которых запомнишь разве «Снятие со креста» Рембрандта да два-три пейзажа Клода. Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы, биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже все остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобрести дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро, с девяти часов до шести, промелькнет — не видишь как. На каждом шагу манят отворенные

⁵ Здесь говорят по-французски (*фр.*).

двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное: машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждение, где показывают результаты всех новейших изобретений: действие паров, образчик воздухоплавания, движения разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный глобус. Части света представлены рельефно, не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на трех площадках, чтобы осмотреть всю землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории: политического разделения земель. Мало того: тут же в зале есть замечательный географический музей, преимущественно Англии и ее колоний. Тут целые страны из гипса, с выпуклыми изображениями гор, морей, и потом все пособия к изучению всеобщей географии: карты, книги, начиная с младенческих времен географии, с аравитян, римлян, греков, карты от Марко Паоло до наших времен. Есть библиографические редкости.

Самый Британский музей, о котором я так неблагосклонно отозвался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет божий, смотреть все живое, — он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто фланер, зевака, почерпает какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом? И сколько таких заведений по всем частям, и почти даром! Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музее, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями, и отличная прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он «царь творения» — и все это за шиллинг.

Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины: многие из них тоже своего рода музеи — товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. Богатство подавляет воображение. «Кто и где покупатели?» — спрашиваешь себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся шехерезада покажется детской сказкой. Перед четырехаршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены; и если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужно, это у меня есть и т.д. Купишь книгу, которой не прочтешь, пару пистолетов, без надежды стрелять

из них, фарфору, который на море и не нужен и неудобен в употреблении, сигарочницы, палку с кинжалом и т.п. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этой дешевизне!

К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом, и почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег, — так мне советовали делать; да и купцы, не дожидаясь требования, сами торопятся дать счет. Случается иногда, без этой предосторожности, заплатить вторично. Я бы, вдобавок к этому, посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в двух-трех магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает, кажется, цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку два шиллинга, а муж пришел и потребовал пять. Узнав, что вещь продана за два шиллинга, он исподтишка шипел на жену все время, пока я был в магазине. В одном магазине за пальто спросят четыре фунта, а рядом, из той же материи — семь.

Лондон — поучительный и занимательный город, повторю я, но занимательный только утром. Вечером он для иностранца — тюрьма, особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений, то есть осенью и зимой. Пожалуй, кому охота, изучай по вечерам внутреннюю сторону народа — нравы; но для этого надо слиться и с домашнею жизнью англичан, а это нелегко. С шести часов Лондон начинает обедать и обедает до 10, до 11, до 12 часов, смотря по состоянию и образу жизни, потом спит. Словом «обедает» я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А собственно, англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда-мэра и других, на сто, двести и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол две-три перемены, куда входит почти все, что едят люди повсюду. Все мяса, живность, дичь и овощи — все это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою.

Что касается до национальных английских кушаньев, например, пудинга, то я, где ни спрашивал, нигде не было готового: надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду, — я говорю о пломпудинге. Все мяса, рыба отличного качества, и все почти подаются *au naturel*, с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а впрочем, очень хорошо и дешево: был бы здоровый желудок; но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу пословицу: «не красна изба углами, а красна пирогами», если б у них были пироги, а то нет; пирожное они подают, кажется, в подражание другим: это стереотипный яблочный пирог, да яичница с вареньем и крем без сахара или что-то в этом роде. Да, не красны углами их таверны: голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы; но опрятность доведена до роскоши: она превышает необхо-

димось. Особенно в белье; скатерти — ослепительной белизны, и салфетки были бы тоже, если б они были, но их нет, и вам подадут салфетку только по настойчивому требованию — и то не везде. И это может служить доказательством опрятности. «Зачем салфетка? — говорят англичане, — руки вытирать? да они не должны быть выпачканы», так же как и рот, особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от пяти до восьми часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее двухсот человек за столом не было. В одной из них, *divantavern*, хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей, сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне, может быть — все от этого. Пример не для одних трактирщиков!

Итак, из храма в храм, из музея в музей — время проходило неприметно. И везде, во всех этих учреждениях, волнуется толпа зрителей: подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести все это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую цену ни запросите, посетители явятся, и по обыкновению толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто — холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтоб они наслаждались тем, что пришли смотреть; они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше.

Я имел терпение осмотреть волей-неволей и все фокусы, например: высиживание цыплят парами, неотпираемые американские замки и т.п. Глядя, как англичане возятся с своим умершим дюком вот уж третью неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать — что вы думаете? мостки, построенные в церкви св. Павла по случаю похорон! От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви: я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтоб не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гробуру погребальной колесницы. Вчера появилась панорама Ватерлоо: я думаю, снимут панораму и с мостков. «Не на похороны ли дюка приехали вы?» — спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. «Yes, o yes!»¹ — сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного дюка, оттого (к стыду моему) был холоден к его кончине, даже еще (прости мне, господи!)

подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуше всего мостками, осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтобы я порицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона — о нет! я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или пятиалтынный. Мальчишка догнал меня и, тыча монетой мне в спину, как зарезанный кричал: «no use, no use!» (не ходит).

Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул, — это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим, в банке, какой-то, тоже неотпираемый замок; по крайней мере он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его — и действительно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали и объявили замок — неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах, вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются эти замки, заключается в бородке ключа, в которую каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе, как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены; а пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей, и для маленьких шкатулок, ценой от 10 ф. стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли?

Между тем общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляциею народонаселения, странно: там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? — жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последняя не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения, как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей. Ахнешь от изумления,

⁶ Да, о да! (англ.).

но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительно тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно. Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не зазевается. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет.

Дурно одетых людей — тоже не видать: они, должно быть, как тараканы, прячутся где-нибудь в щелях отдаленных кварталов; большая часть одеты со вкусом и нарядно; остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: здесь каждый — *Бритт*. Я бреюсь через день, и оттого слуги в тавернах не прежде начинают уважать меня, как когда, после обеда, дам им шиллинг. Вы, Николай Аполлонович, с своею инвалидною бородой были бы здесь невозможны: вам, как только бы вы вышли на улицу, непременно подадут милостыню. Улицы похожи на великолепные гостиные, наполненные одними господами. Так называемого простого или, еще хуже, «черного» народа не видать, потому что он здесь — не черный: мужик в плисовой куртке и панталонах, в белой рубашке, вовсе не покажется мужиком. Даже иная рабочая лошадь так тихо и важно выступает, как барин.

Известно, как англичане уважают общественные приличия. Это уважение к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприятностей и неудобств — простирается даже до некоторой скуки. Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто «в гробе тьмы людей», по выражению Пушкина. Англичане учтивы до чувства гуманности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действительно настоят надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как французы. Они ответят на дельный вопрос, сообщат вам сведения, в котором нуждаетесь, укажут дорогу и т.п., но не будут довольны, если вы к ним обратитесь просто так, поговорить. Они принимают в соображение, что если одним скучно сидеть молча, то другие, напротив, любят это. Я не видал, чтобы в вагоне, на пароходе один взял, даже попросил у другого праздно лежащую около газеты, дотронулся бы до чуждого зонтика, трости. Все эти фамильярности с незнакомыми нетерпимы. Зато никто не запоет, не засвищет около вас, не положит ногу на вашу скамью или стул. Есть тут своя хорошая и дурная сторона, но, кажется, больше хорошей. Французы и здесь выказывают неприятные черты своего характера: они нахальны и грубоваты. Слуга-француз протянет руку за шиллингом, едва

скажет merci¹ и тут же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин все это сделает.

Время между тем близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию: того и гляди назначат день. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтоб потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям! Про природу Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь расписные паркетки. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый божий день и год, и всю жизнь, только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение от прямой цели; от этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности — причина успеха на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер не побоится упрека в незнании политической экономии: он никогда не прочел ни одной книги по этой части; не заговаривайте с ним и о естественных науках, ни о чем, кроме инженерной части — он покажется так жалко ограничен... а между тем под этою ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум, но ум, весь ушедший в механику. Скучно покажется «универсально» образованному человеку разговаривать с ним в гостиной; но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведение.

Все бы это было очень хорошо, то есть эта практичность, но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона: не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, видно, что это все есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то цели. Кажется, чест-

¹ Спасибо (*фр.*).

ность, справедливость, сострадание добываются как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смятения нравов и т.п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно, на это употреблено тьма чести, правосудия; везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует: независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой: вот там-то машина общего движения оказывается неприменимой к мелким, индивидуальным размерам, и колеса ее вертятся на воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многи и строги, а Лондон считается, между прочим, образцовою школою мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч; даже ими, как товарами, снабжается континент, и искусство запираць замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше: вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делают частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, а от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением. Между тем этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумашься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!

Но, может быть, это все равно для блага целого человечества: любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым — даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким, или быть добродетельным по машине, по таблицах, по востребованию? Казалось бы, все равно, но отчего же это противно? Не все ли равно, что статую изваял Фидий, Канова или машина? — можно бы спросить...

Вы можете упрекнуть меня, что, говоря обо всем, что я видел в Англии, от дюка Веллингтона до высиживаемых парами цыплят, я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно — не

хочется, а наблюдности их глубже и пристальнее — не было времени. И где было наблюдать их? Я не успел познакомиться с семейными домами и потому видал женщин в церквах, в магазинах, в ложах, в экипажах, в вагонах, на улицах. От этого могу сказать только — и то для того, чтоб избежать предполагаемого упрека, — что они прекрасны, стройны, с удивительным цветом лица, несмотря на то, что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина. Едва ли в другом народе разлито столько красоты в массе, как в Англии. Не судите о красоте англичан и англичанок по этим рыжим господам и господам, которые дезертируют из Англии под именем шкиперов, машинистов, учителей и гувернанток, особенно гувернанток: это оборыши; красивой женщине незачем бежать из Англии: красота — капитал. Ей очень практически сделают верную оценку и найдут надлежащее приспособление. Женщина же урод не имеет никакой цены, если только за ней нет какого-нибудь особенного таланта, который нужен и в Англии. Одно преподавание языка или хождение за ребенком там не важность: остается уехать в Россию. Англичанки большею частью высоки ростом, стройны, но немного горды и спокойны, — по словам многих, даже холодны. Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен: есть совершенные брюнетки, то есть с черными, как смоль, волосами и глазами, и в то же время с необыкновенною белизной и ярким румянцем; потом следуют каштановые волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица — фарфоровой белизны, с тонкою прозрачною кожей, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, нежные и хрупкие создания с лебединою шеей, с неуловимою грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах. Надо сказать, что и мужчины достойны этих леди по красоте: я уже сказал, что все, начиная с человека, породисто и красиво в Англии. Мужчины подходят почти под те же разряды, по цвету волос и лица, как женщины. Они отличаются тем же ростом, наружным спокойствием, гордостью, важностью в осанке, твердостью в поступи.

Кажется, женщины в Англии — единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь; и, если и бывают предметом спекуляций, как, например, мистрис Домби, то не более, как в других местах. Перед ними курится постоянный фимиам на домашнем алтаре, у которого англичанин, избегав утром город, переделав все дела, складывает, с мекинтошем и зонтиком, и свою практичность. Там гаснет огонь машины и зажигается другой, огонь очага или камина; там англичанин перестает быть администратором, купцом, дипломатом и делается человеком, другом, любовником, нежным, откровенным, доверчивым, и как ревниво охраняет он свой алтарь! Этого я не видал: я не проникал в семейства и знаю только понаслышке и по весьма немногим признакам, между прочим по тому, что англичанин, когда хочет познакомиться с вами

покороче оказать особенное внимание, зовет вас к себе, в свое святилище, обедать: больше уж он сделать не в состоянии.

Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки: после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин. В театрах видел я благородных леди: хороши, но чересчур чопорно одеты для маленького, дрянного театра, в котором показывали диораму восхождения на Монблан: все — декольте, в белых мантильях, с цветами на голове, отчего немного походят на наших цыганок, когда последние являются на балюстраду петь. Живя путешественником в отелях, я мало имел случаев вблизи наблюдать женщин, кроме хозяек в трактирах, торгующих в магазинах и т.п. Вот две служанки суетятся и бегают около меня, как две почтовые лошади, и убийственно, как сороки, на каждое мое слово твердят: «yes, sir, no, sir»¹. Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так поглощены ею, что, о чем ни спросишь, они сейчас переходят к жалобам одна на другую. Еще оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыбкой или выразительным взглядом, да о портсмутских дамах, продающих всякую всячину; но и те и другие такие же, как у нас. О последних можно разве сказать, что они отличаются такою рельефностью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколько недостаток, в этом отношении, у молодых девушек. Не знаю, поражает ли это самих англичан.

Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда ли? Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что никакие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: переходя через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что... дают полную возможность рассматривать ноги.

31 декабря 1852 г. Вам, я думаю, наскучило получать от меня письма все из одного места. Что делать! Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью все, что приходит в соприкосновение со мною. Лень разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертою попыткой удалось мне «отвалить» из отечества. Вот и теперь лениво выезжаем из Англии. Мы уж «вытянулись» на рейд: подуй N или NO, и в полчаса мы поднимем крылья и вступим в океан, да он не готов, видно, принять нас; он как будто углаживает нам путь вестовыми ветрами. Я даже не могу сказать, что мы в Англии, мы просто на фрегате; нас пятьсот человек: это уголок России. Берег верстах в трех; впереди ныряет в волнах низенькая портсмутская стена, сбоку у ней тянется песчаная мель, сзади нас зеленеет Вайт, а затем все море, с сотней разбросанных по неизмеримому рейду кораблей, ожидающих, как и мы, по-

¹ Да, сэр, нет, сэр (англ.).

путного ветра. У нас об Англии помину нет; мы распрощались с ней, кончили все дела, а ездить гулять мешает ветер. Третьего дня отправились две шлюпки и остались в порте — так задуло. Изредка только английская верейка, как коза, проскачет по валам к Вайту или от Вайта в Портсмут.

24-го, в сочельник, съехал я на берег утром: было сносно; но когда поехал оттуда... ах, какой вечер! как надолго останется он в памяти! Сделав некоторые покупки, я в пристани Albertpier¹ взял английскую шлюпку и отправился назад *домой*. Пока ехали в гавани, за стенами, казалось покойно, но лишь выехали на простор, там дуло свирепо, да к этому холод, темнота и яростный шум бурунов, разбивающихся о крепостную стену. Гребцы мои, англичане, не знали, где поместился наш фрегат. «Вечером два огня будут на гафеле», — сказали мне на фрегате, когда я ехал утром. Я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов, и вижу миллионы огней в разных местах. Я придерживал одной рукой шляпу, чтоб ее не сдуло в море, а другую прятал — то за пазуху, то в карманы от холода. Гребцы бросили весла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки и вполголоса бормотали промеж себя. Шлюпку нашу подбрасывало вверх и вниз, валы периодически врывались верхушкой к нам и обливали спину. Небо заволокло тучами, а ехать три версты. Подъехали к одной группе судов: «Russian-frigate?»² — спрашивают мои гребцы. «No»³, — пронзительно доносится до нас по ветру. Дальше, к другому: «Nein»⁴, — отвечают нам. Надо было лечь на другой галс и плыть еще версты полторы вдоль рейда. Вот тут я вспомнил все проведенные с вами двадцать четвертые декабря; живо себе воображал, что у вас в зале и светло, и тепло, и что я бы теперь сидел там с тем, с другим, с той, другой... «А вот что около меня!» — добавил я, боязливо и вопросительно поглядывая то на валы, которые поднимались около моих плеч и локтей и выше головы, то в даль, стараясь угадать, приветнее ли и светлее ли других огней блеснут два фонаря на русском фрегате? Наконец добрался и застал всенощную накануне Рождества. Этот маленький эпизод напомнил мне, что пройден только вершок необъятного, ожидающего впереди пространства; что этот эпизод есть обыкновенное явление в этой жизни; что в три года может случиться много такого, чего не выживешь в шестьдесят лет жизни, особенно нашей русской жизни!

Каким испытаниям подвергается избалованная нервозность вечного горожанина здесь, в борьбе со всем окружающим! Все противоположно прежнему: воздух вместо толстых стен, пропасть вместо

¹ Причал Альберта (*англ.*).

² Русский фрегат? (*англ.*).

³ Нет (*англ.*).

⁴ Нет (*нем.*).

фундамента, свод из сети снастей, качающийся стол, который отходит от руки, когда пишешь, или рука отходит от стола, тарелка от рта. «Не шуми, сиди смиренно!» — беспрестанно раздаётся в обыкновенном порядке береговой жизни. «Шуми, стучи и двигайся!» — твердят здесь на каждом шагу. Вместо удобств и комфорта приучают к неудобствам. На днях капитан ходит взад и вперед по палубе в одном сюртуке, а у самого от холода нижняя челюсть тоже ходит взад и вперед. «Зачем, мол, вы не наденете пальто?» — «Для примера команде», — говорит. И многое, что сочтешь там, на берегу, сидя на диване, в теплой комнате, отступлением от разума, — здесь истина. И вы видите, что эти уклонения здесь оправдываются, а ваши абсолютные истины нет. Вам неловко, потому что нельзя же заставить себя верить в уклонения или в местную истину, хотя она и оправдывается необходимостью. Забудьте отчасти ваше воспитание, выработанность и изнеженность, когда вы на море. Но ничего: ко всему можно притерпеться, привыкнуть, даже не простуживаться. У меня вот и висок перестал болеть. Даже не скоро потом отделаюсь я от привычек, которые наложит на меня морской быт, по возвращении на берег. Мне будет казаться, что мебель надо «принайтовать», окна не закрыть ставнями, а «задраить», при свежем ветре буду ждать, что «засвистят всех наверх рифы брать».

Сколько благ сулил я себе в вояже и сколько уж их не осуществилось! Вот я думал бежать от русской зимы и прожить два лета, а приходится, кажется, испытать четыре осени: русскую, которую уже пережил, английскую переживаю, в тропики придем в тамошнюю осень. А бестолочь какая: празднуешь два Рождества, русское и английское, два Новые года, два Крещения. В английское Рождество была крайняя нужда в работе — своих рук не доставало: англичане и слышать не хотят о работе в праздник. В наше Рождество англичане пришли, да совестно было заставлять работать своих.

Сказал бы вам что-нибудь о своих товарищах, но о некоторых я говорил, о других буду говорить впоследствии. В последнее время я жил близко, в одной огромной каюте английского корабля, пока наш фрегат был в доке, с четырьмя товарищами. Один — невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков; ни во что не мешается, ни весел, ни печален; ни от чего ему ни больно, ни холодно; на все согласен, что предложат другие; со всеми ласков до дружества, хотя нет у него друзей, но и врагов нет. Куда его ни повезли, ему все равно: он всем доволен, ни на что не жалуется. Всякую новость узнает днем позже других; кажется, для него выдумали слово «покладной». Другой, с которым я чаще всего беседую, очень милый товарищ, тоже всегда ровный, никогда не выходящий из себя человек; но его не так легко удовлетворить, как первого. Он любит комфорт и без него несколько страдает, хотя и старается приспособиться к не свойственной ему сфере. Он светский человек, а такие люди всегда

мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, ни какому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не дает гложнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти — есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает все для вас, всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Все это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много, по крайней мере наружного, гуманизета.

Мы мирно жили, еще с неделю, по возвращении из Лондона в Портсмут, на «Кемпердоуне», большим обществом. Все размещены были очень удобно по многочисленным каютам стопушечного старого английского корабля. Утром мы все четверо просыпались в одно мгновение, ровно в восемь часов, от пушечного выстрела с «Экселента», другого английского корабля, стоявшего на мертвых якорях, то есть неподвижно, в нескольких саженях от нас. После завтрака, состоявшего из горы мяса, картофеля и овощей, то есть тяжелого обеда, все расходились: офицеры в адмиралтейство на фрегат к работам, мы, не офицеры, или занимались дома, или шли за покупками, гулять, кто в Портсмут, кто в Портси, кто в Саутси или в Госпорт — это названия четырех городов, связанных вместе и составляющих Портсмут. Все они имеют свой характер. Портси и Портсмут — торговые части, наполненные магазинами, складочными амбарами, с таможенной. Тут же помещается адмиралтейство, тут и приют моряков всех наций. Саутси — чистый квартал, где главные церкви и большие дома; там помещаются и власти. Эти кварталы отделяются между собою стеной. Госпорт лежит на другой стороне гавани и сообщается с прочими тремя кварталами посредством парового парома, который беспрестанно по веревке ходит взад и вперед и за грош перевозит публику. Кроме того, есть бесчисленное множество яликов. В Госпорте тоже есть магазины, но уже второстепенные, фруктовые лавки, очень хорошая гостиница Indiaarms¹, где мы приставали, и станция лондонской железной дороги. Впрочем, все эти города можно обойти часа в два. Госпорт состоит из одной улицы и нескольких переулков. Саутси — из одной площади, вала и крепостной стены. Только Портсмут и Портси, связанные вместе, имеют несколько улиц. Дома, магазины, торговля, народ — все как

¹ Вооруженных сил в Индии (англ.).

в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах; но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полуднее.

Потом часам к шести сходились обедать во второй раз, так что отец Аввакум недоумевал, после которого обеда надо было лечь «отдохнуть».

В прогулках своих я пробовал было брать с собою Фаддеева, чтоб отнести покупки домой, но раскаялся. Он никому спуска не давал, не уступал дороги. Если толкнут его, он не преминет ответить кулаком, или задирает ребятишек. Он внес на чужие берега свой костромской элемент и не разбавил его ни каплей чужого. На всякий обычай, непохожий на свой, на учреждение он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением. «Сволочь эти *асеи!*» (так называют матросы англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи — *I say* (я говорю, послушай). Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестящий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон, и потому с голыми коленками! «Королева рассердилась: штанов не дала», — говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдата. Только в пользу одной шерстяной материи, называемой «английской кожей» и употребляемой простым народом на платье, он сделал исключение, и то потому, что панталоны из нее стоили всего два шиллинга. Он просил меня купить этой кожи себе и товарищам по поручению и сам отправился со мной. Но боже мой! каким презрением обдал он английского купца, нужды нет, что тот смотрел совершенным джентльменом! Какое счастье, что они не понимали друг друга! Но по одному лицу, по голосу Фаддеева можно было догадываться, что он третирует купца *en canaille*¹, как какого-нибудь продавца баранок в Чухломе. «Врешь, не то показываешь, — говорил он, швыряя штуку материи. — Скажи ему, ваше высокоблагородие, чтобы дал той самой, которой отрезал Терентьеву да Кузьмину». Купец подавал другой кусок. «Не то, сволочь, говорят тебе!» И все в этом роде.

Однажды в Портсмуте он прибежал ко мне, сияя от радости и сдерживая смех. «Чему ты радуешься?» — спросил я. «Мотыгин... Мотыгин...» — твердил он, смеясь. (Мотыгин — это друг его, художавый, рябой матрос.) «Ну, что ж Мотыгин?» — «С берега воротился...» — «Ну?» — «Позови его, ваше высокоблагородие, да спроси, что он делал на берегу?» Но я забыл об этом и вечером встретил Мотыгина с синим пятном около глаз. «Что с тобой? отчего пятно?» — спросил я. Матросы захохотали; пуще всех радовался Фаддеев. На-

¹ Как мошенника (*фр.*).

конец объяснилось, что Мотыгин вздумал «поиграть» с портсмутской леди, продающей рыбу. Это все равно, что поиграть с волчицей в лесу: она отвечала градом кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца: оттого эта волчья ласка была для Мотыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни на неуместную любезность франта. Но Фаддеев утешается этим еще до сих пор, хотя синее пятно на глазу Мотыгина уже пожелтело.

Наконец нам объявили, чтоб мы перебирались на фрегат. Поднялась суматоха: баркас, катера с утра до вечера перевозили с берега разного рода запасы; люди перетаскивали все наше имущество на фрегат, который подвели вплоть к «Кемпердоуну». Среди этой давки, шума, суеты вдруг протискался сквозь толпу к капитану Петр Александрович Тихменев, наш застольный хозяин. «Иван Семенович, ради бога, — поспешно говорил он, — позвольте шлюпку, теперь же, сию минуту...» — «Зачем, куда? шлюпки все заняты, — вы видите. Последняя идет за углем. Зачем вам?» — «Курица выскочила, когда переносили курятник, и уплыла. Вон она-с, вон как бьется: ради бога, пожалуйста шлюпку: сейчас утонет. Извольте войти в мое положение: офицеры удостоили меня доверенности, и я оправдывал...» Капитан рассмеялся и дал ему шлюпку. Курица была поймана и возвращена на свое место. Вскоре мы вытянулись на рейд, стоим здесь и ждем погоды.

Каждый день прошаяюсь я с здешними берегами, поверяю свои впечатления, как скупой поверяет втихомолку каждый спрятанный грош. Дешевы мои наблюдения, немного выношу я отсюда, может быть отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь все дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось сору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам... Сбуду скорее черты этого образа вам и постараюсь забыть.

Замечу, между прочим, что все здесь стремится к тому, чтоб устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтоб человеку было просто и хорошо жить! Если обстановить этими выдумками, машинками, пружинками и таблицами жизнь человека, то можно в pendant¹ к вопросу о том, «достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники» — поставить вопрос: «удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства?»

¹ В параллель, под стать (*фр.*).

Новейший англичанин не должен просыпаться сам; еще хуже, если его будит слуга; это варварство, отсталость, и притом слуги дороги в Лондоне. Он просыпается по будильнику. Умывшись посредством машинки и надев вымытое паром белье, он садится к столу, кладет ноги в назначенный для того ящик, обитый мехом, и готовит себе, с помощью пара же, в три секунды бифстекс или котлету и запивает чаем, потом принимается за газету. Это тоже удобство — одолеть лист «Times» или «Herald»: иначе он будет глух и нем целый день. Кончив завтрак, он по одной таблице припоминает, какое число и какой день сегодня, справляется, что делать, берет машинку, которая сама делает выкладки: припоминать и считать в голове неудобно. Потом идет со двора. Я не упоминаю о том, что двери перед ним отворяются и затворяются взад и вперед почти сами. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он все сделал благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстухе, обритый, стриженный, с удобством, то есть с зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеуму, скачет в парке! В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка. Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает.

Облако английского тумана, пропитанное паром и дымом каменного угля, скрывает от меня этот образ. Оно проносится, и я вижу другое. Вижу где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками, и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый час свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон — и все напрасно. Хозяин мирно поживает; он не проснулся, когда посланная от барыни Парашка будить к чаю, после троекратного тщетного зова, потолкала спящего, хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга, в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями, трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало, сначала темя, потом висок спящего — и все поживал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не стало бы уже человеческой мочи спать,

когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном — и барин проснулся, обливаясь потом. Он побранил было петуха, этот живой будильник, но, взглянув на дедовские часы, замолчал. Проснулся он, сидит и недоумевает, как он так заспался, и не верит, что его будили, что солнце уж высоко, что приказчик два раза приходил за приказаниями, что самовар трижды перекипел. «Что вы нейдете сюда?» — ласково говорит ему голос из другой комнаты. «Да вот одного сапога не найду, — отвечает он, шаря ногой под кроватью, — и панталоны куда-то запропастились. Где Егорка?» Справляются насчет Егорки и узнают, что он отправился рыбу ловить бреднем, в обществе некоторых любителей из дворовых людей. И пока бегут не спеша за Егоркой на пруд, а Ваньку отыскивают по задним дворам или Митьку извлекают из глубины девичьей, барин мается, сидя на постеле, с одним сапогом в руках, и сокрушается об отсутствии другого. Но все приведено в порядок: сапог еще с вечера затащила в угол под диван Мимишка, а панталоны оказались висящими на дровах, где, второпях, забыл их Егорка, чистивший платье и внезапно приглашенный товарищами участвовать в рыбной ловле...

1855 г.

Обед в Обществе
английского литературного фонда

Письмо к автору статьи «О литературном фонде».
«Библиотека для чтения». 1858

Я только на днях прочел вашу статью «О литературном фонде», любезнейший Александр Васильевич (за границей я не видал «Библиотеки для чтения»). Нечего говорить вам, с каким сочувствием приветствовал я вашу мысль. В ожидании ее осуществления мне приходит в голову рассказать вам обед, данный Обществом лондонского литературного фонда и на котором я присутствовал в нынешнем году.

Лондонский литературный фонд обязан своим существованием, как большая часть общественных учреждений в Англии, частному лицу. В конце прошлого столетия какой-то джентльмен, имя которого я, к сожалению, позабыл, пожертвовал дом и довольно значительную сумму денег на основание «фонда». Англичане не только умеют пускать в ход дельные мысли — они мастера осуществлять их, а главное: они мастера поддерживать раз начатое дело; они не скучливы, упрямы, одарены способностью «выдержки» и стыдятся *махнуть рукою*, как мы, грешные; фонд пошел в гору и процветает доныне. Много он принес пользы, много облегчил горя. Поддерживается он процентами с своего капитала и добровольными приношениями и пожертвованиями любителей литературы, во главе которых стоит королева. Многие из этих пожертвований вносятся ежегодно в виде постоянной ренты.

Раз в год (обыкновенно весной) «фонд» дает большой обед под председательством какой-нибудь знаменитости. В нынешнем году он состоялся под председательством лорда Пальмерстона. Я получил приглашение на этот обед чрез посредство г-на Монктона Мильнса, члена парламента, хорошего литератора и самого любезного и обязательного человека в мире. В большой публичной зале (Martin's Hall) был накрыт стол человек на триста с лишком. Гости съехались к шести часам. Тут были артисты, литераторы, политические люди, ученые, простые джентльмены — все во фраках и белых галстуках. Я нашел свой билетик на приборе не в дальнем расстоянии от председателя, между местами г-на Ривса, одного из главных критиков «Эдинбургского обозрения», и Теккерея, который, однако, по нездоровью не приехал. Диккенса тоже не было; он долгое время был одним из ревностнейших участников «фонда», даже играл (он отличный комик) на публичных театральных представлениях в пользу «фонда». Но в прошлом году рассорился с комитетом (члены-участники «фонда» избирают ежегодно возобновляющийся комитет из

нескольких лиц, которым поручается раздача пособий и т.п.). По его понятиям, комитет слишком много тратит денег на содержание секретаря, администрацию и т.д.). Комитет возразил ему брошюрой (по-английски памфлетом), в которой он старался опровергнуть доводы знаменитого романиста; экземпляры этого памфлета раздавались по окончании обеда желающим; свой экземпляр я, к сожалению, оставил за границей. В нем, сверх возражений Диккенсу, находился краткий очерк истории «фонда» с его основания и отчет за прошлый (1857) год. Если не ошибаюсь, сумма розданных пособий значительно превышала тысячу фунтов стерлингов.

Лорд Пальмерстон не заставил долго ждать себя. Его встретили очень радушно и почтительно. Я с особенным любопытством смотрел на этого человека, имя которого стало до того известным в России по милости последней войны, что, помнится, однажды, в самой глуши Полесья, мужик спросил меня: «Жив ли Палмистрон?» Фигура у него аристократически изящная, манеры человека, привыкшего властвовать и породистого, — чего нет, например, у Дизраели, который смотрит фатом и артистом. Пальмерстон происходит, как известно, от старинной фамилии Темплов. Он держится прямо, ходит легко, лицо имеет белое и не очень измятое, с тонкими чертами, — только в глазах заметна, при хитрости, какая-то старческая неподвижность; много равнодушной надменности и упрямства выражают его сжатые губы и опустившиеся щеки; почти голый череп не велик и совершенно лишен органа идеальности, то есть, говоря не френологически, лоб очень покат; уши велики. Когда он смеется, все лицо его оживляется и принимает веселое выражение, что редко у англичан; по словам людей, коротко его знающих, он очень любезный собеседник. Не без некоторой торжественности опустился он на председательское кресло; по левую его руку поместился г-н фан де Вейер, бельгийский посланник, маленький человечек с умными глазами и острым носом, постоянный вкладчик в литературный фонд, лицо очень популярное в литературном английском мире; а по правую руку Пальмерстона, на самом, следовательно, почетном месте, сел какой-то маркиз с идиотическим выражением лица, наследник громадного имени герцогов Бриджватерских; другого права на почет он не имел никакого, но и этого права слишком достаточно в свободной, но уважающей всякую силу, а стало быть и силу денег — Англии. Начался обед довольно плохой, как все вообще публичные обеды. Вместе с жарким появилось шампанское, и стоящий за креслом Пальмерстона «тостмастер» провозгласил здоровье королевы. Все поднялись, и раздалось девять оглушительных «ура» — *three times three* — три раза по три. Тостмастер кричал первый и подавал знак свитком, вроде жезла, который держал в руке. Не всякий может быть тостмастером; для этого нужно иметь представительную наружность и сильный голос. Хорошему тостмастеру платят довольно дорого. Здоровье королевы пили с большим одушевлением; она чрезвычайно любима своими подданными; да и

притом, как заметил мне один мой английский приятель, каждый англичанин, который пьет за здоровье королевы, тем самым и в то же время пьет за собственное здоровье, — как тут не воодушевиться? Клики, сопровождаемые стукотней ножами по столу, утихли и тотчас возобновились. Пальмерстон поднялся и начал свой «списч». Вы знаете, что он незадолго пред тем принужден был за излишнюю угодливость соседнему правительству подать в отставку; популярность его сильно пострадала, но все же не остыли «следы старинного пламени» — *veteris vestigia flammae*. Речь его не принадлежала к числу блестящих: он говорил о значении литературы, сравнивал судьбу писателя с судьбой художника, живописца, ваятеля; сказал несколько слов о расположении королевы Виктории к литературе, — раздались одобрительные восклицания — «cheers», с похвалами отозвался о принце Альберте, «с которым, по его словам, нельзя поговорить, не обогатившись новой идеей», — все промолчали; известно, что супруг королевы не пользуется особенной любовью англичан. Меня более всего занимала дикция Пальмерстона. Он говорил довольно медленно, как будто запинаясь, искал слов, в промежутках их произносил и растягивал букву *a... a...* помогал себе движениями правой руки и всегда находил красивое и точное окончание фразы. Он, видимо, импровизировал свою речь. Эта неловкость, эта постоянно возвращающаяся буква *a*, эти запинки составляют отличительную черту английской речи; люди, подобные Пальмерстону, тысячу раз говорившие публично, на митингах, в палате, на обедах, до конца дней своих не освобождаются от нее; мне сказывали англичане, что Фокс, Питт и Шеридан так говорили, даже блестящий Дизраели говорит так; и, странное дело! — эта черта становится понятна, почти приятна вам, как только вы свыкнетесь с англичанами, с их характером; она придает их речи какую-то естественность, что-то добродушное и неподготовленное, лишает ее всякого оттенка фразы. Голос Пальмерстона немного глух, как у старика, но все еще силен и внятен. (Замечу кстати, что этот семидесятипятилетний старик ел за четверых и в нынешнем же году верхом съездил на Дерби — знаменитое место скачки, отстоящее верст тридцать пять от Лондона.) Пальмерстон сел на свое место среди грома рукоплесканий. Известный геолог Мурчисон, высокий и плотный господин с внушительной наружностью, предложил тост в честь Пальмерстона и произнес речь, в которой изобразил его заслуги самыми яркими красками и кончил тем, что назвал его образцом истинного британца. Пальмерстон поблагодарил его и заметил, что Мурчисону, как геологу, занимающемуся возвышениями и упадками земной поверхности, очень легко делать оценку политических людей, в судьбе которых тоже есть возвышения и упадки... Все засмеялись этой добродушной иронии отставного министра над самим собою, и Пальмерстон сам больше всех рассмеялся. Потом господин фан де Вейер произнес отличным английским языком небольшую речь и кончил провозглашением тоста в честь английской литературы — и доктора Кризи. Кто этот

доктор Кризи? — спросите вы. Дело в том, что предполагалось пить за здоровье Теккеря, и Теккерей, как я узнал после, приготовил было речь, которую он, с свойственным ему тщеславием (автор «Ярмарки тщеславия» — увь! — сам весь заражен осмеянным им пороком), называл превосходной, — но Теккерей заболел перед самым обедом; впопыхах не нашли никого другого, как именно этого доктора Кризи, который только тем и прославился, что написал небольшую книжку о самых замечательных сражениях, начиная с Марафона. Забавно было видеть маленького фан де Вейера, с помощью лорнета отыскивавшего у себя на бумажке имя того ученого мужа, которого заслуги он только что расхвалил с жаром, но имя которого разобрал с трудом. Доктор Кризи отбарабанил свой спич без запинки, без буквы *a*, не хуже любого француза, напыщенно, цветисто и велеречиво. Я должен признаться, что мне решительно не понравилась эта манера, да и прочие слушатели остались холодны. Потом добрейший Монктон Мильнс провозгласил тост в честь литературы других наций и г-на Мериме, известного французского писателя, который тоже находился в числе приглашенных на обед. У Мериме чрезвычайно тонкое и умное, постоянно неизменное лицо; он слышит за эпикурейца и скептика, которого решительно ничто взволновать не может, который ни во что не верит и с вежливой, чуть-чуть презрительной недоверчивостью взирает на всякое изъяснение энтузиазма. Он сенатор и пользуется расположением французского двора. Однако этот скептик побледнел, когда пришлось ему отвечать небольшим заученным спичем на любезные слова Мильнса (Мериме плохо знает по-английски), и голос его дрожал и прервался раза два; видно, самолюбие и в нем волноваться может, и даже сенатору не хочется осрамиться перед многочисленным собранием независимых людей. Потом секретарь «фонда» прочел отчет действий комитета за прошлый год и провозгласил поступившие пожертвования; список их был очень длинен; имена некоторых жертвователей, по значительности вкладов или потому, что принадлежали популярным лицам, встречались громкими рукоплесканиями. Я заметил, что идиотический маркиз, потомок герцогов Бриджватерских, пожертвовал всего пять фунтов стерл., стало быть, и тут он оказался плох: даже щедростью не походил он на Мецената, — а сидел на первом месте, подле Пальмерстона! Впрочем, справедливость требует сказать, что английские меценаты не таковы; у нас на Руси скорее можно найти личности, представляющие забавное, неправдоподобное и тем не менее действительно существующее слияние Мецената, Чичикова и Гарпагона.

Так кончился этот обед; и я ушел оттуда с тем чувством, которое не покидало меня в Англии всякий раз, как мне случалось встретиться лицом к лицу с каким-нибудь выражением ее общественной жизни. Да, — говорил я самому себе, — и тут, как и везде, где проложился этот, исполненный недостатков, но великий народ след своего львиного когтя, — и тут сила, прочность, дельность! Чувство, что хо-

рошее, полезное дело, совершающееся перед нашими глазами, в то же время обеспечено, что ему не позволят разрушиться, иссякнуть, что его поддержат, что ему дадут разрастись и принести все свои плоды, — отрадное чувство. Дай бог, чтобы и у нас затеянное вами предприятие так же принялось, так же преуспевало, как лондонский литературный фонд! Пусть литераторы, журналисты, все люди, которым дорога русская словесность, русская образованность, которые чувствуют ее пользу и важность, соединятся для доброго дела, и оно пойдет на лад — с Меценатами и без Меценатов!

Ив. Тургенев

С. Спасское
30 октября 1858

Лондонские заметки

Общественная и домашняя жизнь

До сих пор я говорил только об улицах и об уличном движении Лондона; но едва ли есть другой такой город, где бы по этой внешней жизни можно было менее судить о характере жителей. Встречаясь с англичанином только на улице, вы заметите, разумеется, что он хлопотлив, деятелен, весь, по-видимому, поглощен денежными интересами, несообщителен и подчас даже очень груб; но очень ошибетесь, если одними этими качествами захотите определить вполне английский характер. Особенно бросятся они вам в глаза, если вы приехали в Лондон из Парижа. Несмотря на огромное торговое движение, в Париже вам почти не попадается на улицах этих постоянно озабоченных лиц, которые придают такой пасмурно-деловой вид каждому уголку Лондона; в Париже все, начиная с приглаженного и припомаженного денди на Итальянском бульваре и кончая неопрятным блузником в грязной и шумной *gue* *Monmartre*, как будто гуляют; в Лондоне даже у иностранца, будь это отчаянный парижский фланер, через два-три дня после приезда как будто вытягивается лицо и принимает деловое выражение. Несообщительность и грубость кажутся необходимым добавлением к этому неугомонному промышленному направлению. Зайдите в Париже в большой магазин или в маленькую лавку; купите и там и тут не больше как на франк, даже на несколько сантимов: купец так вежлив, так предупредителен, что становится даже совестно как-то. Подумаешь, вы оказали ему величайшую услугу. Англичанин, не моргнув глазом, отвечая лишь односложными словами и частями, продает вам на десятки гиней и фунтов и сконфузит вас совсем иным: глядя на него, вы подумаете, что он оказывает вам чуть ли не благодеяние, что меняет, с изрядным барышом, свой товар на ваши золотые портреты Виктории. Он, по-видимому, желает сказать вам своим бесстрастным, полным достоинства видом: «Без меня ведь тебе негде бы купить!», забывая о необходимом дополнении этой фразы со стороны покупателя: «А без меня тебе некому бы продать!» Правда, существуют и в Лондоне лавки с такими усердными зазывателями, как у нас на Щукином и Апраксином дворах или в Париже на маленьких базарах; но в этих лавках нельзя ничего покупать, не рискуя быть обманутым. Озабоченные лица, окружающие вас на тротуаре Сити, не исчезают и в таких местах, где во всяком другом городе, даже в прокопченной табаком и филистерством Германии, кипит обыкновенно веселая, беззаботная жизнь. Такие места — трактиры, кофейные, гульбища. Но и в трактирах, за исключением разве приютов для пья-

ных весельчаков, и на гуляньях — царствует какая-то странная торжественность. Кажется, будто оживленный разговор и веселые лица считаются некстати в месте, где собрались для такого важного и серьезного дела, как еда или приличный моцион. После шумных и веселых парижских ресторанов меня неприятно поразили даже лучшие лондонские трактиры. Несколько дней сряду обедал я, например, в роскошных diningrooms на Флит-стрите, у самого Temple-bar'a, и ни разу не видал там двух человек, обедающих вместе. Все ели в одиночку, и, казалось, ни у кого не было оттого аппетита меньше, как у лошади, одиноко кушающей свой овес и свое сено в отдельном стойле. Может быть, с точки зрения гигиены так именно и надо насыщаться. Когда человек не занят ничем посторонним, он больше обратит внимания на настоящее дело, — это совершенно справедливо; и сидя одиноко над тарелкой густого, как помой, и огненного от перцу честерфильдского супу или супу из бычачьего хвоста, или, наконец, над куском ростбифа, можно лучше обдумать, сколько надо съесть того или другого, чтобы не обременить желудок. Конечно, последнее несчастье случается большею частью за обедами, где болтовня служит необходимою приправой каждого куска. Но что ни говорите, есть одиноко как-то больше под стать кошке, собаке, лошади; человеку же надо слишком много животности, чтобы углубляться, как в философическую книгу, в свой бифстекс и пудинг. Не думайте, что трактир даст вам понятие об английском обеде. Вы узнаете, какие блюда готовят английские повара, в каком порядке их подают; но подумаете, пожалуй, что англичанин за обедом никогда не улыбается, никогда не произносит ни слова. Это будет большой промах. Дело в том, что англичанина следует наблюдать дома, а никак не на улице, не в так называемых публичных местах. Даже общество, собирающееся в Argyle-Rooms на публичные балы, в характере парижского Mabile или бывших петербургских танцклассов, отличается необычайною чинностью. Меня больше всего поразило тут большое количество почтенного вида джентльменов, в черных бальных одеждах, с большими звездами на груди. Отправляясь на бал, я предполагал встретить тут ад сумятицы и беспорядка; а встретил таких почтенных гостей.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к одному русскому, бывшему со мной и больше меня знакомому с лондонскими нравами: — уж туда ли мы попали? Это не департамент ли какой? Это вот как будто директор, а это — начальник отделения; а уж это чуть ли не сам товарищ министра?

— Успокойтесь, — отвечал мне мой спутник, — это все лакеи. Гости же, как вы видите, одеты очень разнохарактерно и бесцеремонно.

Но, признаюсь, и гости, неуклюже и торжественно отплясывавшие вальсы и польки, произвели на меня странный эффект. Мне все-таки казалось, что джентльмены со звездами тут начальники, а

все танцоры — подчиненные, несколько стесненные присутствием начальства. Так все было вяло и натянуто.

Немного больше одушевления и на Hay-Market, где что ни шаг — кофейная или устричная лавка и где часам к двенадцати ночи буквально нет прохода от пышных кринолин. Тут толпятся и на улице и в этих кофейных и устричных лавках не сотни, а, вероятно, тысячи дам всех наций и преимущественно, конечно, англичанок, самого недвусмысленного поведения. Самый кутеж как-то систематичен и холоден, и от этого вдвое противнее и безобразнее. Если же он переходит в разгул, то разгул этот немногим отличается от разгула в матросских кварталах, где не пройдешь вечером шага, не увидав отвратительной ссоры или драки, не услышав площадной брани. Те же разбитые стекла, пущенные в голову бутылки и проч.

Глядя на стены домов, чуть не сверху донизу заклеенные самыми разнообразными афишами, подумаешь, пожалуй, что театр и вообще разные так называемые зрелища играют очень важную роль в общественной лондонской жизни. В этом можно скоро разувериться. Что концерты и театры всегда полны, это очень понятно: их, сравнительно с громадной цифрой народонаселения, очень мало в Лондоне. Драматическая литература Англии лучше всего показывает, как мало у англичан сочувствия к театру. Пуританизм остановил его успехи, и никто о том не жалеет, потому что он пустил глубокие корни и вообще во всю жизнь, во все понятия англичан. Многие видят чрезвычайно отрадный факт в том, что в последнее время в Англии не сходит со сцены Шекспир. Да что же и играть больше, когда Шекспир почти единственный драматический писатель, существующий в Англии? И притом точно ли художественные соображения вызвали его опять на сцену? и точно ли так велико общее сочувствие к поставленному вновь на сцену Шекспиру, как об этом говорят? В Лондоне три миллиона жителей; два театра, на которых играют Шекспира, вовсе не велики даже для любой немецкой столицы; а между тем вы редко рискуете уйти от театральной кассы без билета, как это случается сплошь и рядом в Париже, где театры на каждом шагу и, по-видимому, всем бы должно быть место. Скажут, что Шекспир — писатель не для массы, а для избранных. Правда, опоздавши в театр Фельпса на представление «Ромео и Джульетты» и поместившись в задних рядах партера между публикой низшего разбора, я слышал такой же глупый смех над чудным монологом Ромео, где он сравнивает с небесными звездами глаза Джульетты, как и над клоуновскими выходками второстепенных лиц пьесы; но немного же, значит, в Лондоне и избранных! Как согласить это с тем безусловным почти благоговением к Шекспиру, которым мало-мальски порядочный англичанин проникается чуть не с детских лет? как объяснить бесчисленные его издания и вошедшие в общий оборот как пословицы — фразы, целые стихи его?

Объяснение опять-таки в английском отвращении от общественной жизни в том смысле, как понимают ее французы. (Само собой

разумеется, что я говорю не о политической жизни.) Недаром английский home¹ вдохновлял столько поэтов, и не найдете вы во всей огромной стихотворной литературе англичан ни единой песенки во вкусе Беранже и Дезожье.

Судя по наружности, с англичанином трудно сойтись, трудно проникнуть в его домашнюю жизнь, быть своим человеком в его семье. Это справедливо лишь наполовину. Вежливость, радушие и гостеприимство развиты здесь едва ли не более, чем где-нибудь, но чтобы упрочить за собою приязнь англичанина или, как вообще говорится, сойтись с ним, нужно сходство характеров и убеждений, единство нравственных интересов. Интимные отношения, которые так легко завязываются у нас и во Франции, теряют очень много цены в сравнении с такого же рода отношениями в Англии. У нас, например, очень легко сделаться чуть не ежедневным гостем в доме, узнать даже не одну семейную тайну и все-таки оставаться настолько чужим хозяину или хозяйке, чтобы не быть уверена, переходя за порог дома, что про вас тот или другая не сочинят какой-нибудь сплетни, или зло не насмеются над вами, или подчас даже не оклеветают вас. Спрашивается, что же сводит тут людей? И стоит ли это дикое гостеприимство, едва ли не худшее киргизского, тех восторженных похвал, которыми его обыкновенно осыпают? Не есть ли это просто неразвитие, безразличный взгляд на людские отношения, шаткость и неопределенность убеждений или совершенное их отсутствие? На руку, которую от души протягивает вам англичанин, можно смело опереться. За кого из своих «лучших друзей» положитесь вы дома? Как же не хвалить английской неподатливости на знакомства и дружбу? как же не уважать английского home?

Семья, основания которой сильно пошатнуты во Франции и очень неопределенны или дики в остальной Европе, опирается в Англии на более здравые начала. Само собой разумеется, и здесь, как везде, дело не обходится без гнета ветхих предрассудков, застарелых условий и нелепой рутин; но гнет этот далеко не так тяжок, как в других странах. Семейное счастье — почти миф везде, кроме Англии, при тех формальностях, которые считаются до сих пор необходимыми для санкции отношений между мужчиной и женщиной. Англичане сумели поубавить много деспотизма из этих формальностей и хоть немного осмыслили их, за неимением силы и отваги совершенно отказаться от них. Идиллии, которыми кончается большая часть английских романов, взяты не из мира фантазии с целью обратить заблудшего современного человека к нравам золотого века; нет, это верные и по большей части даже вовсе неидеализированные картины действительности. Многие думают видеть чуть ли не такую же здравость семейных отношений, как в Англии, и в Германии; но едва ли стоит и возражать на это. Нигде женщина не иг-

¹ Домашний очаг (англ.).

рает такой жалкой роли, как у немцев, нигде деспотизм мужчины так презрительно не отталкивает женщины от участия в движении общества. Самая наружность женщин, их лица стали принимать от этого деспотизма оттенок какой-то жалкой беззащитности и выражение кретинизма. Непрактичность немцев сказалась и тут — в семейных, как и в политических их отношениях. Эманципируя человека так последовательно и так решительно в области чистой мысли от всяких стесняющих уз, в жизни они готовы, кажется, держаться до последней крайности даже за давно перержавевшие цепи, связывающие свободу их движения.

Более здоровые семейные отношения создали в Англии более серьезное образование женщины, чем где-либо. Оно дало разумный характер и браку, и домашней жизни, и воспитанию детей. Я не хочу этим сказать, как уже мог заметить читатель, что Англии в этом отношении нечего уже совершенствоваться. Напротив, и тут, как во всех почти сторонах жизни, ей следует еще отделаться от тысячи мелких и тем более тягостных деспотий и предрассудков; но нельзя не похвалить и того, что есть. Другие и до того не добились.

Прочность семейной связи создала в Англии и домашний быт совершенно оригинальный, не похожий на домашний быт немца и француза. Нигде нет той замкнутости семейного круга, того домашнего порядка и комфорта. Эти черные кирпичные дома, ограждающие с обеих сторон улицу своими унылыми, можно сказать тюремными стенами, представляют внутри такой уют, что могут пленить самого отъявленного бездомника и дать ему понять цену семейной жизни.

Кварталы и улицы, в которых, собственно, живут в Лондоне, то есть не торгуют, не занимаются ремеслами, отличаются от кварталов и улиц торговых, как шумный рынок от кладбища. Право, это сравнение ничуть не преувеличено. Оно непременно придет вам на ум, когда с большой проезжей улицы, хоть например с Оксфорд-стрита, вы уклонитесь в сторону и вступите в один из небольших и узких переулков, назначенных исключительно для домашнего комфорта, или к одному из скверов. Вас невольно поразит резкий переход от шума и гама толпы и грохота экипажей почти к совершенному безмолвию. Лишь изредка проедет карета, кабриолет; но не смеют греметь здесь ни омнибусы, ни тяжелые товарные фуры. Только ранним утром появляются зеленщики или продавцы дичи, да и те не оглашают спокойных улиц громким криком, а объявляют о своем приходе или умеренным, почти осторожным окликом, или звоном колокольчика, проведенного в кухню, в подвальном этаже дома. Ни одной лавки не помещается тут, даже с самыми необходимыми припасами. В булочную, в мелочную, в мясную лавку надо идти в смежную большую улицу, где уж зато и не живут, собственно говоря, а только торгуют, хлопочут и шумят. Лавкам в этих жилых улицах и поместиться негде; дома построены исключительно с хозяйственными удобствами. Нечего и говорить, как дороги и необходимы эти удобства для людей, живущих скромно и занятых кабинетными трудами. Ком-

форт, встречаемый здесь всюду, невольно наводит на сравнение с удобствами, представляемыми нашею столичной жизнью. Здесь вы видите, что все эти дома построены для удобства жильцов; у нас дома строятся исключительно для доставления доходов хозяевам, а о жильцах никому нет заботы. Магазин, лавка, трактир, кабаки обыкновенно платят более за помещение, и потому у нас каждый домохозяин считает неперменной обязанностью своей устроить в нижнем этаже своего дома лавки. И будь еще это на больших центральных улицах; а то нигде нет спасенья от кабаков и от трактиров. По ночам вас будят крики пьяных; днем вы, кроме этих криков, можете насладиться из вашего окна и целыми сценами драк и буйств. В Лондоне есть даже такие улицы, что запираются с обеих сторон железными решетками. Это уж роскошь, если хотите; но роскошь такая простая и недорогая, что и в ней я не вижу ничего дурного.

Устройство английского дома, все особенности, отличающие его от континентальных домов, трудно, а иногда и почти невозможно понять из английских романов, которые читаются у нас так усердно. Диккенс или Теккерей пишут для англичан, и им нечего объяснять, что такое библиотека и parlour в английском доме и почему происходит там это постоянное движение по лестницам, up stairs и down stairs¹. Когда Гоголь говорит о лакейской у Плюшкина или у Собакевича, ему нечего много описывать ее: мы сразу сообразим, какова должна была быть эта лакейская и в какой части дома помещаться. Совсем иное дело, если б Гоголь писал для англичан, а не для русских. То, что я хочу рассказать об устройстве английских домов, может, за неимением других достоинств, пригодиться хоть в качестве комментария русским читателям английских романов и повестей.

Прежде всего о наружном виде. Я уже сказал, что кирпичные стены английских домов похожи на тюремные. Они кончаются или, пожалуй, начинаются не в уровень с тротуаром, как большею частью у нас, а спускаются на полторы и на две сажени ниже уровня улицы и образуют по обеим сторонам ее рвы. Рвы эти непокрыты, и в них выходят окна нижнего, собственно подвального этажа; чтобы в туман или в сумерки прохожий не свалился в эти рвы с тротуара и не сломал себе шею, они огорожены железными решетками. Тротуар соединяется с крыльцом дома узеньким мостиком из белой плиты, перекинутым через ров. Любители археологических параллелей находят, что нынешний английский дом есть не что иное, как средневековый замок, приуроченный к новым нравам. Крепостной ров, железный палисад, мост... мост даже подъемный можно бы сделать, если б новые владельцы замков держали так же много прислуги, как старые. У многих домов даже мостик отделен от тротуара железной решетчатой калиткой, запирающеюся на ночь на замок. Решетки иногда так высоки и с такими остриями наверху, что можно поду-

¹ наверх и вниз (англ.).

мать, уж действительно не с оборонительной ли целью выкопан этот ров и воздвигнут этот палисад.

Чтобы попасть в дом, стоит, кажется, только перейти мостик, взойти на две, на три ступеньки крыльца — и дело с концом. Не тут-то было. Извольте сначала ознакомиться с правилами, которые следует наблюдать, стуча у дверей. Звонки существуют здесь еще не везде, и часто вам придется стучать молотком. Молоток, собственно, вовсе не молоток, а просто тяжелая скоба, свободно висящая на двери. Шутники говорят, что это один из труднейших музыкальных инструментов. «Надо обладать тонким слухом, — утверждал один путешественник, — и опытной твердой рукой, чтобы не ввести в недоразумение обитателей дома и не навлечь потом на себя их насмешки. По мелодии молотка узнают обыкновенно, к какому состоянию принадлежит человек, явившийся к дверям. Почталион возвещает о себе двумя сильными, быстро следующими друг за другом ударами; постороннему гостю предписывается нежное, но уверенное *tremolo*. Хозяева дома выделывают молотком более сильную дробь; а слуга, объявляющий о приезде своих господ, обязан, если он только понимает как следует дух своей должности, стучать в дверь, как перун. Напротив, торговцы, мясники, продавцы молока, зеленщики, булочники и т.п. вовсе не стучат, а дергают за боковой звонок, сообщающийся прямо с кухней. Как ни просты, по-видимому, эти правила, они оказываются довольно трудными в практическом применении. Чужестранцы решительного, закаленного временем и опытностью характера, думают обыкновенно, что лучше всего дадут о себе знать, если примутся барабанить молотком с энергией собственного достоинства. Они должны бывають горько разочаровываться. Человека решительного примут, пожалуй, за слугу; нерешительного — за нищего: держаться середины и тут, как везде, самое трудное дело». Путешественник должен благодарить всеосуществующее время, что оно мало-помалу вытесняет эти средневековые молотки, сменяет их современным звонком и делает ненужным изучение всех помянутых приемов.

Каждая дверь, выходящая на крыльцо, непременно снабжена в Лондоне ящиком для почталиона, чтобы ему не нужно было входить в комнату с письмами и газетами. Англичане постоянно франкируют свои письма, и это не отнимает понапрасну времени ни у разносчика писем, ни у получателя их, ни у прислуги. Говорят, во время всемирной выставки иностранцы, не приученные у себя дома к большим удобствам, преимущественно немцы, принимали эти ящики в дверях за почтовые и совали в них свои письма, адресованные куда-нибудь в Карлсруэ.

Прямо с крыльца вы входите в прихожую, или в сени, с громким названием «hall»¹. Вам не нужно проходить грязными воротами, за-

¹ Вестибюль (англ.).

громожденным двором или справляться у темной конурки дворника, как в Германии, во Франции и у нас. Особенно неприятны лестницы во Франции с неизбежными concierges¹ женского или мужского пола и с постоянным их шпионством. Каждая английская квартира есть, собственно, отдельный дом о двух, трех и даже четырех этажах, хотя бы у него было всего два окна на улицу. Каждый нанимающий такой дом погодно или пожизненно, как многие здесь делают, есть уже полный его хозяин, и настоящий владелец дома не отряжает для наблюдения за своею собственностью ни дворников, ни привратников. Дворники-то были бы уже совершенной нелепостью, потому что при английских домах, если это не джентльменские палаты, вовсе нет дворов. Кто держит лошадей и экипаж, держит их обыкновенно в смежном переулке, в особо устроенных для того конюшнях и сараях, куда проведены звонки из его квартиры. Значит, поэтому двора не нужно. Не нужно его и для накопления сору и помоев; для всего этого устроены водосточные трубы. Вода везде проведена в стены домов; стало быть нечего заводить и бочек и прочих украшений наших дворов. Итак, двор вещь совершенно излишняя для английского дома. Остается придумать помещение для топлива. Это уже не так трудно. В Англии топят не дровами, а каменным углем; а для угля надо не так много места. Проходя по тротуару, вы заметите круглые отверстия в его полотне, против крылец домов, прикрытые чугунными заслонками. Черная каменноугольная пыль вокруг этих отверстий показывает их назначение. Сюда накладывается прямо с тротуара каменный уголь в чулан, нарочно для того устроенный под каменным мостиком, ведущим к крыльцу. Заподряженный вами угольщик приезжает в известный срок и наполняет доверху ваш чулан. Пространство вымерено заранее, и вам нечего отряжать для проверки продавца и для приема товара лишнего человека. Все делается так просто и так хорошо. Из этих мелочей становится яснее всего, как стройно и удобно устроена частная жизнь в Англии, как ценится тут труд и время, которое недаром английская пословица называет деньгами.

Английский hall есть в одно и то же время и сени и прихожая. Убранство его зависит, разумеется, от степени богатства хозяина; у кого есть средства, может наставить тут цветов, статуй. Но почти неизбежным украшением этой первой комнаты во всех домах служит чистая клеенка, которою обит пол. К дверям других комнат и по лестнице, ведущей из прихожей в верхний этаж, тянутся обыкновенно суконные или ковровые половики. Ковер есть одно из необходимых условий английского комфорта. Недостаток ковра есть примета бедности. Так, Томас Гуд в своей знаменитой «Песне о рубашке», рисуя жалкую нищету швеи, говорит как о важном лишении о том, что пол на ее печальном чердаке не покрыт (Flat shatter'd roof

¹ Привратниками (фр.).

and this naked floor). Говоря о русском бедняке, никому и в голову бы не пришло сожалеть об отсутствии ковра в его углу. Значит, читателю нечего объяснять, что в каждой комнате английского дома пол должен быть обит или покрыт ковром. Кроме лестницы, ведущей из прихожей наверх, сюда же обыкновенно выходит и лестница, сообщающаяся с нижним, подвальным этажом, где помещается кухня и прислуга.

Из прихожей входите вы в главную комнату дома, столовую, гостиную или, пожалуй, разговорную, как называют ее англичане — parlour. Большой камин, который горит здесь зимою с раннего утра и до позднего вечера, служит центром, около которого группируется вся семья. Здесь завтракают, обедают, пьют чай; хозяйка раздает приказания, хозяин читает, положив ноги на решетку камина, свой «Times»; яркий огонь камина не раз озарял здесь серьезные семейные совещания после обеда; в семействах, неукоснительно следующих пуританским предписаниям, здесь же, в воскресенье, читаются душеспасительные книги. У этого камина принимают обыкновенно гостя, если он явился не в назначенный вечер, когда отворяются двери другой, парадной гостиной, у кого такая гостиная есть. Большие двустворчатые двери занимают почти всю заднюю стену parlour'a и отделяют его от так называемой библиотеки, в которой часто не бывает ни одной книги. Назначение этой комнаты зависит от состава семьи. Тут может быть и кабинет хозяина и классная детей или даже будуар, контора — что хотите, только реже всего именно библиотека.

Вот обыкновенно и все помещение внизу. Таково же оно и во втором этаже, и в третьем. Назначение этих этажей неизменно одно и то же во всех английских домах, исключая, разумеется, большие аристократические квартиры, где уже нет того определенного числа комнат в каждом этаже и где самое распределение их зависит от вкуса и средств хозяина. Итак, во втором этаже помещаются спальни, в третьем — детские и комнаты няnek и мамок. Наконец, если дом о четырех этажах, то обыкновенно небольшие и неудобные горенки под кровлей назначаются для ночлега близким знакомым или родным, которые приехали издалека или живут и не бог знает где, да засиделись вечером поздно.

Лестница, ведущая из сеней в подвальный этаж, и не так широка, как та, что проходит по остальным этажам, и не так, разумеется, удобна. Но и здесь, в кухне и в людских комнатах, вас поражает чистота и опрятность, немыслимая даже у наших Маниловых и Бетрищевых, не говоря уже о Петрушках и Селифанах. И здесь полы обиты цветною клеенкой, окна завешены кисеей, уставлены горшками цветов.

У прислуги тоже есть свой parlour; это огромный камин в кухне, в котором целый день шипит и пылает смолистый уголь и около которого собирается вся домашняя челядь потолковать о том о сем и преимущественно, конечно, о господах. Отчуждение, в которое по-

ставлена здесь прислуга, очень удобно и для нее и для господ; но зато, сильнее чувствуя разницу состояний, она старается взять хоть невидимым и келейным контролем над господами. Малейшее отступление их от правил и законов, предписываемых неподвижным обычаем, обсуживается строжайшим образом в кухонном контроле, и не редкость в Англии кухарка, которая откажется служить у вас, если вы неаккуратно ходите слушать воскресные проповеди. Основанием тут не чувство справедливости, а глубокий антагонизм, которому надо хоть в чем-нибудь одержать победу. Тех добрых и гуманных отношений, какие существуют между прислугой и господами во Франции, нечего искать у англичан.

1859 г.

Две недели в Лондоне 1859 года

Нынешний раз я приехал в Лондон уже к концу сезона, то есть, в последних числах июля. К числу многих оригинальных обычаев, господствующих на британских островах, принадлежит давно установившийся обычай проводить весну и лучшую пору лета в Лондоне, несмотря на то, что здесь всякий сколько-нибудь достаточный человек прежде всего старается приобрести себе поместье и убраться свой сельский дом со всевозможным удобством. Лондонский сезон обыкновенно продолжается во все заседание парламента, то есть, начиная с самой ранней весны до августа; а осень и зима посвящаются на житье в поместьях, на охоту и на путешествие. Впрочем, здешняя зима далеко не представляет такого унылого вида, как например в средней Европе. Здесь зелень в полях и на большей части кустарников и деревьев во все продолжение зимы также свежа и ярка, как в первые летние месяцы, а лондонский климат, столь дурной от ноября до марта, превосходен от апреля до сентября. Притом же та часть Лондона, в которой преимущественно живут высшие и богатые классы, вовсе не так лишена свежего воздуха и природы, как все другие столицы Европы. Лондон, а особенно его West-End, квартал высшего и богатого общества, изобилует парками, садами и скверами с старыми, роскошными деревьями. В этих густых тенистых парках с утра встречаешь множество верховых; дамы в щегольских экипажах разъезжают по этим густым аллеям, как в своих поместьях и очень часто сами правят. Итак, с наступлением апреля, всякий стремится в Лондон, начиная с аристократии, которая здесь дает тон всему. Жители других местностей, исключая разве тех, которым должности, лавки или фабричные дела не позволяют отлучиться, собирая все средства, стремятся в Лондон хотя на одну неделю. Меблированные квартиры, отели, театры, концерты, все публичные зрелища наполняются невероятными толпами жильцов, слушателей и зрителей. Трудно, да я думаю и невозможно определить число меблированных комнат и квартир, отдающихся в наймы на время сезона; количество их невероятно; оне всех цен и во всех степенях комфорта и изящества. Но количество приезжающих в Лондон на время сезона так велико, что выбор между квартирами делается труден, и найти квартиру не легко. Так как англичане — самый чистоплотный народ в мире, с которым могут сравниться в этом разве только наши купцы и особенно купцы-старообрядцы, — то квартиры здесь почти все необыкновенно чисты и опрятны. Цены их в сравнении не только с петербургскими, но даже и парижскими, вовсе нельзя назвать дорогими. Моя квартира во втором этаже, в хорошем и весьма чистом квартале (Cavendish Square) и состоящая из

просторной спальни, к которой с одной стороны примыкает кабинет для одевания, а с другой большая гостиная (sitting room), и все это чисто и прекрасно меблировано, стоила мне 40 шиллингов в неделю (рублей 13 сер.). Так как здесь вовсе нет обычая завтракать в кофейных, как в Париже, да и кофейных здесь почти нет, то завтрак готовят обыкновенно дома. Два яйца, превосходная баранья котлетка и в огромном количестве чай с густыми сырыми сливками, стоит с небольшим шиллинг (коп. 40 серебр.). Что касается до газет, то их можно получать за безделицу на прочтение от 9 до 12 часов: огромное множество уличных мальчиков снискивают себе пропитание тем, что разносят газеты по домам утром и потом приходят за ними после полудня. Отели английские, где без английского языка путешественник решительно пропадает, превосходны, но дороги; а отели, содержимые иностранцами, как например, на Лейстер-сквере, где прислуга говорит по-французски, грязны и дурны. Для людей, желающих провести в Лондоне несколько месяцев и имеющих хотя самые маленькие сведения в английском языке, всего лучше поместиться в английском семействе. Там за весьма небольшую плату они будут иметь квартиру и стол, и сверх того пользоваться английским обществом. В каждом номере «Times» всегда есть много объявлений от семейств, желающих принять к себе такого рода постояльцев, даже женатых. А о превосходном комфорте английской жизни нельзя иметь понятия, не испытавши его. Побывать в Лондоне в течение сезона принадлежит не только к обычаям англичан, но и к условиям фашона (fashion). Англичанин, столь свободный в своих политических мнениях, добровольно подчиняется строгой общественной дисциплине, укоренившемуся обычаю и установившимся нормам жизни. Нет народа в Европе, у которого обычай и установившиеся нормы жизни возводились бы в такой неприкосновенный закон. Оказывая совершеннейшую терпимость ко всякого рода доктринам и мнениям, англичанин считает естественным только то, что получило право обычности, и именно английской обычности. Аристократические части Лондона, пустые и тихие зимою, по которым редко слышится стук экипажа, с наступлением сезона вдруг наполняются своими великолепными обитателями и роскошными экипажами, с кучерами и лакеями в париках, или с напудренными волосами. У отворяющихся дверей домов видны напудренные швейцары. По какому-то непонятному предрассудку, пудра и парик имеют здесь величественное и мистическое значение. Президенты палаты лордов и общин сидят в огромных напудренных париках, и замечательно, что чем больше парик, тем он имеет более важное значение. Судьи тоже заседают в париках, но парики их уже менее парика лорда канцлера, а парики адвокатов менее судейских. Только лорд-мер не надевает парика, хотя он в то же время и полицейский судья в Сити. Аристократические кучера и лакеи непременно, если иногда и не бывают в париках, то всегда с напудренными волосами. Впрочем, это удовольствие здесь может доставить себе всякий; оно вовсе не со-

ставляет исключительного права, принадлежащего аристократическим титулам, а приобретается посредством взноса известного налога, которым обложено право употребления пудры. Но редко кто не из титулованных лиц вздумает напудрить своих кучеров и лакеев. Вы тотчас различите экипаж лорда от экипажа какого-нибудь члена нижней палаты. Первый всегда яркого цвета, лакей и кучер, в коротких штанах и в жилетах из красного плюша, в шляпе с кокардой. Экипаж коммонера гораздо скромнее; если же он глава старинной фамилии в своей провинции, то он может иметь такой же экипаж, как и лорд. Но всякий выскочка особенно должен остерегаться кокарды на шляпах своих слуг. Все это только в обычае, все это не предписывается, но все это соблюдается строго. Также не запрещается придумать для себя какой угодно герб, но никому здесь в голову не придет выставить произвольно герб на своем экипаже; такого все засмеяли бы. Но я начал говорить о париках: особенно жаль мне было смотреть на председателя палаты общин, сидевшего в своем огромном паричище во время страшных июльских жаров нынешнего лета; в иные дни, когда палата была особенно полна, пот градом лил с его лица, походившего цветом на вареного морского рака. Неимоверное здоровье, прежде всех других талантов, должны здесь иметь адвокаты, председатели судов и особенно президент палаты общин. Председательствуя в палате обыкновенно от пяти или шести часов вечера и до глубокой ночи, он в последние месяцы сессии председательствует еще от двенадцати утра до четырех часов. Последний президент высидел таким образом семнадцать лет и конечно уже не даром возведен был потом в перы. Заметьте, что президент не может даже на минуту выйти, чтоб освежиться; для этого он должен прервать заседание, ибо палата без своего президента не имеет никакого значения, а вице-президентов здесь нет. Он может выйти только тогда, когда палата обращается в комитет, потому что у комитетов палаты есть свои председатели. Но палата в комитет обращается не часто. Правда, парламент открыт не целый год, однакож главная сессия продолжается с января и до половины августа. И все это время надо положительно высидеть. Конечно, президент палаты не обязан к большим головным работам, — но президенты высших судов! Лорд-Кембль, например канцлер в теперешнем министерстве и бывший президент уголовного суда, с 10 до 4 часов председательствовал в своем суде ежедневно, где, выслушивая адвокатов и расспрашивая свидетелей, должен потом рассказывать присяжным оправдательные и обвинительные стороны каждого дела, следательно, он с напряженным вниманием должен был следить за речами адвокатов и за показаниями свидетелей; а потом вечером он отправлялся в палату лордов, как член ее, часто говорил там речи. Какое могучее здоровье нужно хотя для одного такого продолжительного сиденья, не говоря уже о головной работе! И не удивительно ли, что все эти великие юристы Англии, Линдгорсты, Брумы, Кембли, вышедшие из небогатого среднего сословия, и за свои юриспруденческие знания и заслу-

ги возведенные в перы Англии, прошедши через все это страшное сиденье и через всю эту подавляющую работу, дожили до 72, 75 и 86 лет, и до сих пор наслаждаются отличным здоровьем. Впрочем, я буду еще иметь случай воротиться к этим могучим английским старцам. Надо признаться, что лондонский сезон обнаруживает некоторые свойства английского характера с весьма комической стороны, и особенно там, где дело касается до изящных искусств. Страшно и дико сказать, чтобы нация, которая произвела Шекспира, Байрона, Вальтер-Скотта, могла отличиться такою посредственностью во всех других изящных искусствах, кроме поэзии, — и однакож, всмотревшись в увеселения англичан, в их национальные произведения, музыкальные, живописные, архитектурные и ваятельные, поневоле приходишь к этому убеждению. Кто, например, не знает, что лондонские директоры опер платят большие суммы, собирая на сезон лучших певцов и певиц со всей Европы. Таким образом бывает здесь в сезон по три итальянские оперы. Но посмотрите на этих, по бальному разодетых, женщин и мужчин во фраках и белых галстуках, наполняющих ложи и партер, какие все равнодушные и серьезные лица, и с какою величавою важностью сидят они! От этой публики не услышит певец симпатического тихого отзыва на глубоко прочувствованную им фразу, отзыва, который мгновенно пробежав по зале, замирает, как шелест, произведенный в листьях нечаянным дуновением стихнувшего ветра. Между певцами и публикой не завязывается здесь та магнетическая связь, вследствие которой публика мгновенно понимает каждую прочувствованную фразу певца, а певец увлекается сочувствием своей публики.

Спросите любого из первоклассных артистов, играющих и поющих здесь во время сезона: они все скажут вам то же самое; они без улыбки не могут говорить об английской публике. Дело в том, что для англичан опера есть не более, как fashionable место; и к числу разных обязанностей настоящего джентльмена принадлежит обязанность непременно бывать иногда в опере. Поэтому здесь нельзя войти даже в партер, иначе как во фраке; истые англичане и этим не довольствуются, а надевают себе белый галстук и берут складную шляпу; сидят серьезно, молча и снисходительно слушают, потому что перед ними поют Марио, Гризи, Тамберлик; они знают, что все это большие европейские знаменитости, и совершенно довольны тем, что присутствуют при их пении. Вследствие всего этого, петь или получать рукоплескания на лондонской оперной сцене считается между артистами вовсе незавидным патентом на знаменитость. Лондонская оперная публика никогда никого не произвела в знаменитость; напротив, она сама требует себе уже готовых знаменитостей, о которых ей протрубили уши. Впрочем, англичане могут утешиться тем, что в своей поэзии и литературе едва ли не превосходят всех других народов, и еще тем, что и римляне были вовсе не артистическим народом. Но не имея сами живого смысла в искусствах, англичане, — и это свидетельствует о высокой цивилизации англий-

ского общества — заменяют его высочайшим уважением к художественным авторитетам. Это особенно бросается в глаза в концертах. Смотря на афиши здешних концертов, всякий должен заключить, что Лондон не только самый музыкальный, но самый классически-музыкальный город в Европе. Лондонский сезон битком набит концертами всякого рода и утренними и вечерними, и каждый из концертов непременно наполнен сочинениями Бетховена, Моцарта, Мендельсона; некоторые концерты восходят до Генделя и Баха. Известно, что англичане сочинили себе из Генделя свою национальную знаменитость, несмотря на то, что он был немец и только прожил несколько лет в Англии. Оратории Генделя даются здесь, особенно в мануфактурных и торговых городах, с огромною обстановкой и посещаются тысячами. Главная причина этому заключается, мне кажется, в том, что для многих религиозных сект театр есть греховное место, а оратория, сделанная на библейский текст, есть в сущности религиозное произведение, слушать которое наставительно. Артисты всех стран и инструментов стремятся в Лондон при наступлении сезона, ибо обыкновенная плата здесь в концертах не менее 10 шиллингов (слишком 3 р. сер.), а нумерованные места дороже. И удивительно, что все концерты бывают полны. Толпы девиц, дам и джентльменов, у которых в домах редко слышатся звуки фортепьян, или бывают слышны только пьесы в роде полек и вальсов, чинно и важно сидят и слушают сонаты и трио Бетховена, или прелюдии и фуги Баха. Всмотритесь в выражение этих правильных и строгих лиц, и вы поймете, зачем они заплатили такую дорогую цену и пришли сюда. А попробуйте объявить концерт без классических композиций, зала будет пуста. Дело в том, что к обязанностям хорошего общества и джентльменства принадлежит — знать и высоко почитать великие музыкальные имена, и вследствие этого бывать в концертах и слушать их классические композиции. Во всем, что касается музыки, англичане не хотят иметь ничего общего с католическими странами, и исключительно смотрят только на одну Германию. Но то, что в Германии вошло в простое, обыденное удовольствие народа, которое доставляет себе всякая горичная, всякий, получающий самое маленькое жалованье, потому что плата за вход в летние концерты не превышает там восьми копеек, здесь принадлежит к удовольствиям одних достаточных людей, которые отправляют его как обязанность, налагаемую условиями хорошего общества, фашона и джентльменства. Положим, что все это имеет свою смешную сторону, но, указывая на смешную сторону, я должен также сказать, что англичане имеют величайшее преимущество перед всеми другими нациями в том, что у них есть идеал, и идеал этот: быть джентльменом. В нашей литературе мы привыкли употреблять это слово в насмешливом смысле, но у англичан оно имеет совсем иное значение. В Англии только тот имеет право на название джентльмена, кто имеет вид порядочного человека; но это название обуславливается не одною внешнею приличностию, оно предполагает

в себе все лучшие человеческие свойства. Самый презрительный отзыв порядочного англичанина о другом заключается в словах: «он не джентльмен», хотя этот другой может быть лордом, пером, или большим богачом. Это напоминает испанскую поговорку: «Король может сделать дворянином, — один Бог делает кавалером». Если англичанин скажет о ком-нибудь: он настоящий джентльмен, — это самый лучший отзыв, самая высшая похвала в английском смысле. «Если взять пять самых первых джентльменов во всей Европе, то они могут составить только одного настоящего английского джентльмена», сказал мне раз один старый и почтенный тори.

Лондонские туманы

Когда на рассвете 25 августа 1852 года я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замарано-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его.

Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал. Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин для того, чтоб снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать.

Я изменил своей логике и забыл, как розен современный человек в мнениях и делах, как громко начинает он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы.

Месяца два продолжались ненужные встречи, бесплодное искание, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидал... чего-то ожидал. Но моя реальная натура не могла остаться долго в этом призрачном мире, я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет.

Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя. Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты, и я чувствовал страшную, невыразимую усталость... Как мне была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения мою исповедь, была бы несчастна моим несчастьем; но кругом стлалась больше и больше пустыня, никого близкого... ни одного человека... А может, это было и к лучшему.

Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне.

Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом в одной из самых дальних частей города, за Режент-парком, близ Примроз-Гиля.

Дети оставались в Париже, один Саша был со мною. Дом на здешний манер был разделен на три этажа. Весь средний этаж состоял из огромного, неудобного, холодного drawing-room¹. Я его превратил в кабинет. Хозяин дома был скульптор и загромоздил всю эту комнату разными статуэтками и моделями... Бюст Лолы Монте стоял у меня пред глазами вместе с Викторией.

¹ Гостиной (англ.).

Когда на второй или третий день после нашего переезда, разобравшись и устроившись, я взошел утром в эту комнату, сел на большие кресла и просидел часа два в совершеннейшей тишине, никем не тормозимый, я почувствовал себя как-то свободным, — в первый раз после долгого, долгого времени. Мне было не легко от этой свободы, но все же я с приветом смотрел из окна на мрачные деревья парка, едва сквозившие из-за дымчатого тумана, благодаря их за покой.

По целым утрам сиживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая; иногда прибежал Саша, но не мешал одиночеству. Гауг, живший со мной, без крайности никогда не входил до обеда; обедали мы в седьмом часу. В этом досуге разбирал я факт за фактом все бывшее, слова и письма, людей и себя; ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлеченье другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот... Были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке; но были и другие, не радостные, но мужественные; я чувствовал в себе силу, я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех.

Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, то есть не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чуждой между посторонними, сочувствовал больше одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен. Оно и прежде так было; но я не замечал этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарад кончился, домино были сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел другие черты, не те, которые я предполагал. Что же мне было делать? Я мог не показывать, что я многих меньше люблю, то есть больше знаю; но не чувствовать этого я не мог, и, как я сказал, эти открытия не отняли у меня мужества, но скорее укрепили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Его образ жизни, расстояния, климат, самые массы народонаселения, в которых личность пропадает, все это способствовало к тому вместе с отсутствием континентальных развлечений. Кто умеет *жить один*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точно так же как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя, ищущему привет, участие, внимание; нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продымленного тумана кислород. Масса спасается завоевыванием себе насущного хлеба, купцы — недосугом стяжания, все — суетой дел; но нервные, романтические натуры, любящие жить на людях, умственно тянуться и праздно млеть, пропадают здесь со скуки, впадают в отчаяние.

Одинок бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями — я много прожил.

Обыкновенно вечером, когда мой сын ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни к кому не заходил; читал газеты, всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу.

С одной стороны прорезываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, с другой — опрокинутая миска св. Павла... и фонари... фонари без конца в обе стороны. Один город, сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся — пусто, только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душе делается тише и мирнее. И вот за все за это я полюбил этот страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голода, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истративши двух фунтов.

Но такого рода переломы, как бы быстро ни приходили, не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени прошло, пока я сладил с новыми мыслями. Решившись на труд, я долго ничего не делал или делал не то, что хотел.

Мысль, с которой я приехал в Лондон, — искать *суда своих* — была верна и справедлива. Я это и теперь повторяю с полным и обдуманном сознанием. К кому же, в самом деле, нам обращаться за судом, за восстановлением истины? за обличением лжи?

Не идти же нам тягаться перед судом наших врагов, судящих по другим началам, по законам, которых мы не признаем.

Можно разведаться самому, можно, без сомнения. Самоуправство вырывает силой взятое силой и тем самым приводит к равновесию; месть такое же простое и верное человеческое чувство, как благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняют. Может же случиться, что человеку в объяснении — главное дело, может быть, ему *восстановление правды* дороже мести.

Ошибка была не в *главном положении* — она была в прилагательном; для того чтоб был суд своих, надобно было прежде всего иметь *своих*. Где же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был отрезан на чужбине, надобно было во что б ни стало снова завести речь с своими — хотелось им рассказать, что тяжело лежало на сердце. Писем не пропускают — книги сами пройдут; писать нельзя — буду печатать, и я принялся мало-помалу за «*Былое и думы*» и за *устройство русской типографии*.

Трагедия за стаканом грока

Тебе, друг мой Тата, дарю я этот рассказ в память нашего свиданья в Неаполе.

28 сентября 1863 г.

Очерки, силуэты, берега беспрерывно возникают и теряются — вплетаясь своей тенью и своим светом, своей ниткой в общую ткань движущейся с нами картины.

Этот мимоидущий мир, это проходящее — все идет и все не проходит, а остается чем-то *всегдашним*. Мимо идет, видно, *вечное* — оттого оно и не проходит. Оно так и отражается в человеке. В отвлеченной мысли — нормы и законы; в жизни — мерцание едва уловимых частных и пропадающих форм.

Но в каждой задержанной былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, — и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется.

I

Я искал загородный дом — утомившись одними и теми же вопросами, одними и теми ответами, я взошел в трактир, перед которым стоял столб и на столбе красовался портрет Георга IV — в мантии, шитой на манер той шубы, которую носит бубновый король, в пудре, с взбитыми волосами и с малиновыми щеками. Георг IV, повешенный, как фонарь, и нарисованный на большом железном листе, не только видом напоминал путнику о близости трактира, но и каким-то нетерпеливым скрежетом петель, на которых он висел.

Сквозь сени был виден сад и лужайка для игры в шары — я прошел туда. Все было в порядке — то есть совершенно так, как бывает в загородных трактирах под Лондоном. Столы и скамьи под трельяжем, раковины в виде руин, цветы, посаженные так, чтоб вышел узор или буква; лавочники сидели за всеми столами с супругами (может быть, не с своими) и тяжело напивались пивом, сидельцы и работники играли шарами тяжести и величины огромного пушечного ядра, не выпуская из рта трубки.

Я спросил стакан гроку, усаживаясь в стойло под трельяжем.

Толстый слуга, в очень истертом и узком черном фраке, в черных и лоснящихся панталонах, приподнял голову и вдруг, как обожженный, повернулся в другую сторону и закричал: «Джон — водки и

воды в 8-й №!» Молодой, неловкий и рябой до противности малый принес поднос и поставил передо мной.

Как ни быстро было движение толстого служителя, но лицо его мне показалось знакомо; я посмотрел — он стоял спиной ко мне, прислонясь к дереву. Фигуру эту я видел... но как ни ломал себе голову, вспомнить не мог; удрученный, наконец, любопытством и уловив минуту, когда Джон побежал за пивом, я позвал слугу.

— Yes, Sir! — отвечал спрятавшийся за дерево слуга, и как человек, однажды решившийся на трудный, но неотвратимый поступок, как комендант, вынужденный сдать крепость, он бодро и величественно подошел ко мне, несколько помахивая грязной салфеткой.

Эта величественность и показала мне, что я не ошибся, что я имею дело с старым знакомым.

...Три года тому назад останавливался я на несколько дней в одном аристократическом отеле на Isle of Wight. В Англии эти заведения не отличаются ни хорошим вином, ни изысканной кухней, а обстановкой, рамами — и на первом плане прислужгой. Официанты в них совершают службу с важностью наших действительных статских советников прежнего времени — и современных камергеров при немецких *задних* дворах.

Главным waiter'ом² в Royal hotel был человек неприступный, строгий к гостям, взыскательный к живущим, он бывал снисходителен только к людям, привычным к отельной жизни. Новичков он не баловал и вместо ободрения — взглядом обращал назад дерзкий вопрос, «как могут котлета с картофелем и сыр с латуком стоить 5 шиллингов?» Во всем, что он делал, была обдуманность, потому что он ничего не делал спроста. В градусе поворота головой и глазами, и в тоне, которым он отвечал «Yes, Sir», можно было до мелочи знать лета, общественное положение и количество издерживаемых денег господина, который звал.

Раз, сидя один в кабинете с открытым окном, я его спросил, позволяют ли здесь курить. Он отступил от меня к двери и, выразительно глядя на потолок, он мне сказал голосом, в котором дрожало негодование: «Я, Sir, не понимаю, Sir, что вы спрашиваете».

— Я спрашиваю, можно ли курить здесь? — сказал я, поднимая голос, что всегда удается с вельможами, служащими в Англии за трактирным, а в России за присутственным столом.

Но это был не обыкновенный вельможа, — он выпрямился, но не потерялся, а отвечал мне с видом Каратыгина в «Корпилане»:

— Не знаю — в мою службу, сэр, этого не случалось, *таких* господ не бывало — я справлюсь у говернора.

¹ Да, сэр (англ.).

² Лакеем (англ.).

Не нужно и говорить, что губернатор велел меня за такую дерзость конвоировать в душный smoking-room¹, куда я не пошел.

Несмотря на гордый нрав и на постоянно бдящее чувство своего достоинства и достоинства Royal hotel, главный waiter сделался ко мне благосклонен, и этому я обязан не личным достоинствам, а месту рождения — он узнал, что я русский. Имел ли он понятие о вывозе пеньки, сала, хлеба и казенного леса, я не могу сказать, но он положительно знал, что Россия высылает за границу огромное количество князей и графов и что у них очень много денег. (Это было до 19 февраля 1861 г.)

Как аристократ по убеждениям, по общественному положению и по инстинктам — он с удовольствием узнал, что я русский. И, желая поднять себя в моих глазах и сделать мне приятное, он как-то, грациозно играя листком плюща, висевшего над дверью в сад, обратился ко мне с следующей речью: «Дней пять тому назад я служил вашему великому князю — он приезжал с ее величеством из Осборна».

— А!

— Ее величество, «His Highness»² кушали лонч, ваш эрчдюк очень хороший молодой человек, — прибавил он, одобрительно закрывая глаза, и, ободрив меня таким образом, поднял серебряную крышку, под которой не простывала цветная капуста.

Когда я поехал, он указал мизинцем дворнику на мой дорожный мешок — но и тут, желая засвидетельствовать свою благосклонность, схватил мою записную книжку и сам ее донес до кеба. Прощаясь, я ему подал гафкрону сверх взятого за службу, он ее не заметил, и она каким-то чародейством опустилась в карман жилета такой белизны и крахмальной упругости, которых мы с вами не допросимся у прачки...

— ...Ба! — сказал я, сидя в стойле трактирного сада, служителю, подававшему мне спички, — да мы старые знакомые!..

Это был он.

— Да, я здесь, — сказал waiter и вовсе не был похож ни на Каратыгина, ни на Кориолана.

Это был человек, разбитый глубоким горем, в его виде, в каждой черте его лица выражалось невыносимое страдание, человек этот был убит несчастьем. Он сконфузил меня. Толстое, румяное лицо его, откормленное до арбузной упругости и полноты мясами Royal hotel'я, висело теперь неправильными кусками, обозначая как-то мускулы в лице; черные бакенбарды его, подбритые на пол-лице, с необыкновенно удачным выемом к губам, одни остались памятником иного времени.

Он молчал.

— Вот не думал... — сказал я чрезвычайно глупо.

¹ Курительную комнату (англ.).

² Его высочество (англ.).

Он посмотрел на меня с видом пойманного на деле преступника и потом окинул глазами сад, деревянные скамьи, пиво, шары, сидельцев и работников. В его памяти очевидно воскресал богатый стол, за которым сидели русские эрцдюк и ее величество, за которым стоял он сам, благоговейно нагнувшись и глядя в сад, посаженный по кипсеку и вычищенный, как будуар,.. воскресала вся столовая, с ненужными вазами и кубками, с тяжелыми, толстыми шелковыми занавесами, — и его собственный безукоризненный фрак воскресал, и белые перчатки, которыми он держал серебряный поднос со счетом, приводившим в уныние неопытного путника...

А тут — гам играющих в шары, глиняные трубки, плебейский джинватер и вечное пиво draft.

— Тогда, Sir, было другое время, — сказал он мне, — а теперь другое!..

— Waiter, — закричал несколько подгулявший сиделец, стуча оловянной стопкой по столу, — пинту гафанаф, да скорее, please!¹

Мой старый знакомый взглянул на меня и пошел за пивом — в его взгляде было столько унижения, стыда, презрения к себе, столько помешательства, предшествующего самоубийству, что у меня мороз пробежал по жилам. Сиделец стал расплачиваться медью, я отвернулся, чтобы не видеть лишний пенс.

Плотина была прорвана — ему хотелось сказать мне что-нибудь о перевороте, низвергнувшем его из Royal hotel'я в «Георга IV». Он подошел ко мне без моего зова и сказал: «Я очень рад вас видеть в полном здравье».

— Что нам делается!

— Как это вам вздумалось прогуляться в *наши* захолустья?

— Дом ишу.

— Домов много, вот тут, пройдя шагов десять направо — да еще другой. А насчет того, что со мной случилось, это точно замечательно.

Все, что я заработал с малых лет, все погубило — все до фардинга... Вы, верно, слышали о типерарском банкротстве — именно тут-то все и погубило. Я в газетах прочитал, сначала не поверил, бросился, как поврежденный, к солиситору — тот говорит: «Оставьте всякое попечение, вы не спасете ничего, а только последнее израсходуете — вот, например, мне за совет потрудитесь 6 шилл. 6 пенсов отдать».

Ходил я, ходил по улицам — день целый ходил — думаю, что ж тут делать, со скалы да и в море — самому утопиться да и детей утопить, — я даже испугался, когда их встретил. Слег я больным — это в нашем деле первейшее несчастье; через неделю воротился к службе — разумеется, лица нет, а внутри словно рана не дает покоя. Говернор раза два заметил, что вид у меня печальный, что сюда, мол, не с похорон ездят, гости не любят печальные физиономии. А тут се-

¹ Пожалуйста (англ.).

редь обеда я уронил блюдо — отроду подобного случая не бывало — гости хохочут, а содержатель вечером отзывает меня в сторону и говорит: «Вы уж себе поищите другое место — у нас нельзя служить невоздержанному человеку».

— Как, говорю я, я был болен.

— Ну, так и лечитесь — а здесь для *таких* места нет.

Слово за слово пошло крупно — он мне в отместку ославил по всем отелям пьяницей и буяном. Как ни бился, нет места — переменял я имя, как какой-нибудь вор, и стал искать хоть на время место — нет как нет, между тем все, даже серьги и брошка жены — ей их подарила герцогиня, у которой она жила четыре года в должности *upperlady-maid*¹, — все пошло на крючок. Пришлось закладывать платье — это у нас первая вещь — без платья ни в одно хорошее заведение не примут. Служил я иногда во временных буфетах и в этой бродячей жизни совсем обносился — я и сам не знаю, как меня принял хозяин «Георга IV», — и он взглянул с отвращением на свой старый фрак, — кусок хлеба могу для детей заработать, и жена... она теперь... — он приостановился — она стирает на других, не надобно ли вам, Sir, вот карточка... она очень хорошо стирает. А прежде никогда... никогда... она... ну, да что толковать — где же нищим выбирать работу. Лишь бы *милости* не просить — а только тяжело...

Слеза, дрожавшая на реснице, блеснула и капнула на его грудь, уже не покрытую жилетом из лубка или латуни с белой эмалью.

— Waiter! — кричали с другой стороны.

Yes, Sir!

Он ушел, и я тоже.

II

Такой искренней, разрушающей боли я давно не видал. Человек этот явным образом подавался под тяжестью удара, разрушившего его существование, и, конечно, страдал не меньше всех падших величин, прибываемых со всех сторон к английскому берегу...

Не меньше?.. Да полно, так ли? Не больше ли в десять, во сто раз страдал он, чем Людвиг-Филипп, например, живший возле «Георга IV»?

Крупные страдания, перед которыми обыкновенно останавливаются целые столетия, пораженные ужасом и состраданием, большую часть достаются крупным людям. У них бездна сил и бездна врачеваний. Удары топора в дуб раздаются по целому лесу, раненое дерево стоит себе, потряхивая верхушкой, — а трава грядой падает, подрезанная косой, и мы, не замечая, топчем ее ногами, идучи за своим делом. Я нагляделся на столько несчастий, что сознаю себя знатком, экспертом в этом деле, и потому-то у меня перевернулось серд-

¹ Главной горничной (*англ.*).

це при виде обнищавшего слуги, — у меня, видевшего столько *великих нищих*.

...Знаете ли вы, что значит везде, и особенно в Англии, слово *нищий* — beggar, произнесенное им самим? В этом слове заключается все: средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи,.. всякой защиты, лишение всех прав... даже права просить помощи у ближнего...

...Усталый, оскорбленный возвращался этот человек в свою конуру из «Георга IV», преследуемый своими воспоминаниями, с своей открытой раной в груди, — и там его встречала старшая горничная герцогини, сделавшаяся по его милости прачкой. Сколько раз, должно быть, бессильный, чтоб наложить на себя руки, то есть покинуть детей на голодную смерть, он искал облегченья у единого утешителя бедных и страждущих — у джина, у оклеветанного джина, снявшего на себя столько бремени, столько горечи и столько жизней, которых продолжение было бы одно безвыходное страдание, одна боль в невидимой мгле...

...Все это очень хорошо — да почему этот человек не стал выше своего несчастья? В сущности, быть напыщенным лакеем в Queen's hotel или скромным половым «Георга IV» — разница не бог знает какая...

— Для философа, — но он был трактирным слугой, в их числе редко бывают философы — я помню только двух: Езопа и Ж.Ж.Руссо — да и то последний в молодых годах оставил свою профессию. Впрочем, спорить нельзя, гораздо было бы лучше, если б он мог стать выше своей беды — ну, а если он не мог?

Да зачем же не мог?

Ну, уж это вы спрашивайте у Маколея, Лингарда и пр., а я вам лучше когда-нибудь расскажу о других *нищих*.

Да, я знал *великих нищих* — и потому-то, что я их знал, я и жалею слугу в «Георге IV», а не их.

Ваал

Я был в Лондоне всего восемь дней, и, по крайней мере наружно, — какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами отгушевался он в моих воспоминаниях. Все так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо идут рука об руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Все это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже зстарелая борьба, борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга — не то обращение в антропофаги! В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния остановиться на *statu quo*¹, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу. Пожалуйста, однако ж, не увлекайтесь высоким слогом: все это замечается сознательно только в душе передовых сознающих да бессознательно инстинктивно — в жизненных отправлениях всей массы. Но буржуа, например в Париже, сознательно почти очень доволен и уверен, что все так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор все что-то побаивается, несмотря на всю самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие, подавляющие картины! Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугушки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайт-чапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую

¹ Существующее положение (*лат.*).

мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж, и в самом деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...

— Ну, это вздор, — скажете вы, — болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения...

— Так, — отвечаю я, — положим, что я был увлечен декорацией, это все так. Но если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух. При такой колоссальности, при такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасения в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины, или если и рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасения в чем-нибудь вроде мормоновщины. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть едаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Все это несет свои еженедельные экономии, все наработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых не-

гров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Все пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и все как-то странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Все это поскорей торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними. В такую ночь, во втором часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут все было так колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только воображали. Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они звать к престолу всевышнего: «доколе, господи». И они сами знают это и покамест отмщают за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясушками, странниками... Мы удивляемся глупости идти в какие-то трясушки и странники и не догадываемся, что тут — отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. Тут последняя, отчаянная попытка сбиться в свою кучу, в свою массу и отделиться от всего, хотя бы даже от образа человеческого, только бы быть по-своему, только бы не быть вместе с нами...

Я видел в Лондоне еще одну подобную же этой массу, которую тоже нигде не увидите в таком размере, как в Лондоне. Тоже декорация в своем роде. Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Все это с трудом толпится в улицах, тесно, густо. Толпа не умещается на тротуарах и заливаet всю улицу. Все это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, все вместе. В этой ужасной

толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач. Слышны ругательства, ссоры, завыванье и тихий, призывный шепот еще робкой красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков. Помню, раз я зашел в одно «Casino». Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство было великолепное. Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделявая па и как будто по обязанности. Наверху, в галерее, я увидел одну девушку и остановился просто изумленный: ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. Она сидела за столиком вместе с молодым человеком, кажется богатым джентльменом и, по всему видно, непривычным посетителем казино. Он, может быть, отыскивал ее, и наконец они свиделись или условились видеться здесь. Он мало говорил с нею и все как-то отрывисто, как будто не о том, о чем они хотели бы говорить. Разговор часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты лица ее были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у ней была чахотка. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием: иначе что же значит лицо человеческое? А между тем она тут же пила джин, за который заплатил молодой человек. Наконец он встал, пожал ей руку, и они расстались. Он ушел из казино, а она, с румянцем, разгоревшимся от водки густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих женщин. В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидел одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Вообще предметы игривые...

И вот, раз ночью, в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета вся в черном, в шляпке, почти закрывавшей

ее лицо; я почти и не успел разглядеть его; помню только пристальный ее взгляд. Она сказала что-то, что я не мог разобрать, ломаным французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и быстро прошла далее. У освещенного окна кофейной я рассмотрел бумажку: это был маленький квадратный лоскуток; на одной стороне его было напечатано: «Crois-tu cela?»¹ На другой стороне, по-французски же: «Аз есмь воскресение и живот...» и т.д. — несколько известных строк. Согласитесь, что это тоже довольно оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, навязывают, суют в руки. Пропагаторов бездна, и мужчин и женщин. Это пропаганда тонкая и расчетливая. Католический священник сам выследит и войдет в бедное семейство какого-нибудь работника. Найдет он, например, больного, лежащего в отребьи на сыром полу, окруженного одичавшими с голоду и с холоду детьми, с голодной, а зачастую и пьяной женой. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнет лечить больного, покупает лекарство, делается другом дома и под конец обращает всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с ругательствами и побоями. Он не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он все снесет, но уж кого-нибудь да уловит. Англиканский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше все кочергами, которыми разворачиваются в камине угля. Это у них какой-то уже определенный к битью инструмент. По крайней мере в газетах, при описании семейных ссор, увечий и убийств, всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходях и жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это религия богатых и уж без маски. По крайней мере рационально и без обмана. У этих убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава: это миссионерство. Исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно

¹ Веришь ли ты в это? (фр.).

разно. Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных, белокурых дочерей с голубыми глазами.

Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно пронесется над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что все спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтоб те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица страус, любит затыкать свою голову в песок, чтоб так уж и не видать настигающих его охотников. В Париже... Но, однако, что ж это я! Я опять не в Париже... Да когда ж это, господа, я приучусь к порядку...

1863 г.

Английские предрассудки

О, горе нам, русским! У нас нет ни малейшей надежды заслужить признание англичан в их стране. Как только у нас появляется приятное для нашего самолюбия представление, что наконец-то мы встретили друга — единственного человека, достаточно умудренного, чтобы усомниться в справедливости всех выдвигаемых против нас бездоказательных обвинений, достаточно объективного, чтобы не выводить общих правил из частных случаев, — как резкий окрик возвращает нас на землю, а откровенное выражение недоброжелательности мгновенно разрушает возникшую иллюзию.

Страх не может служить объяснением этой неистребимой враждебности. Мы в России никак не можем понять, почему англичане позволяют этому страху перед военной мощью России проникать в речи консервативных политиков и вносить элемент предубеждения во взгляды министров. Мы слишком хорошо знаем, как сильна Англия, чтобы воспринимать этот комплимент нашей мощи всерьез. Мы видим, что Англия каждый год присваивает новые территории с такой легкостью, которая изобличает для иностранцев все лицемерие декларируемого ими нежелания расширять границы своей империи. Мы знаем, что Англия непобедима на море, и что ее финансовые ресурсы в полном порядке. Россия, напротив, богатством похвастать не может. Ее привилегия — богатства духовные, которые, в соответствии со старомодными русскими воззрениями, не вовсе заслуживают презрения. Но наше духовное богатство не может угрожать Индии и его не может быть достаточно, чтобы завоевать территории Великобритании. Откуда тогда эта безотчетная паника, которая преследует воображение еще недавно самой уверенной в себе, самой независимой и бесстрашной нации в мире? Будь я англичанином, мне было бы стыдно выказывать подобный страх по отношению к какой бы то ни было державе на земле.

Невозможно поверить, что этот страх, не имеющий никаких реальных оснований, является причиной враждебности, которую многие англичане испытывают к моей стране. Если же это не страх, тогда где же источник русофобии? Простодушному русскому человеку не найти ответа на сей вопрос. Невольно вспоминаются слова Гамлета: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам». Но я надеюсь, что меня простят, если я предположу, что главный источник кроется в невежестве, — простом, тривиальном, незамысловатом невежестве. Позвольте привести пример такого невежества в случае, когда менее всего его ожидаешь. На днях мой знакомый упомянул в разговоре, что великий английский поэт Теннисон ненавидит Россию.

«Неужели? — сказал я, — вот несчастье! Но вы мне можете объяснить, за что?»

«О, знаете ли, — прозвучало в ответ, — мы англичане, не можем мириться с режимом, основанном на кнуте!»

«Как это благородно! — воскликнул я, — но мы с вами в этом совершенно согласны. Объясните только, почему ваш поэт-лауреат живет прошлым и не замечает нового? Поэты вовсе не обязаны ограничивать себя созерцанием ушедших времен. Иногда таким как они приоткрывается будущее».

С озадаченным видом и в большом смнении он заметил: «Но вы же не хотите сказать, что система кнута ушла в прошлое?»

«Это именно то, что я хочу сказать, — ответил я. — Если говорить о фактах, то ничего другого и сказать нельзя. Кнут в России отменили, даже в морском флоте, — добавил я. — Наверно, то же самое можно сказать о девятихвостной плети в английском флоте. Не так ли?»

Не отвечая на мой вопрос, приятель спросил: «С какого же времени?»

«Вскоре после освобождения крестьян, — ответил я. — Россия ушла далеко. Неужели 17 лет недостаточно для того, чтобы новость об этой реформе достигла ушей английского поэта?»

Возможно, мы варвары, но наше уголовное право, если судить о нем по стандартам Ассоциации Говарда, более гуманно, во всяком случае, чем право той страны, где до сих пор во флоте и в армии применяется плеть, где приговоренного к повешению секут и где убийц тайно удушают в дальних закоулках тюрем.

Положим, эти сведения не улучшают нашего положения. Но разве невежество это аргумент? Если англичанин, 17 лет спустя после того как кнут был отменен в России, все еще настойчиво разоблачает Россию за его применение, то на что нам надеяться? У нас в этом споре нет никаких надежд на справедливость. Но, правда, мы и сами избегаем вступать на защиту самих себя от самых несправедливых обвинений. Некоторые из этих обвинений представляются нам столь абсурдными, что мы не можем понять, как на них можно ответить. Вот пример. В прошлом году в Англии была анонимно опубликована целая подборка клеветнических заметок. Мои английские друзья настаивали на необходимости их опровергнуть. Я не раз обращался — и всякий раз безуспешно — к моим друзьям литераторам в России, чтобы они взяли на себя эту задачу. «Как вы можете об этом просить! — возмущались они. — Ни один уважающий себя русский не унижится до того, чтобы опровергать такие чудовищные обвинения. Ваша любимая Англия, очевидно, совсем испортила вас, иначе вы никогда не снизошли бы до рассмотрения подобных нападок».

Да, дело, конечно, в недостатке знаний о России. Ведь те англичане, которые действительно хорошо нас знают — это наши лучшие друзья. Если бы антипатия к русским имела серьезные основания — таких друзей у нас бы не было. Когда существует настоящее врожденное отвращение между двумя субъектами, оно усиливается при

их сближении. В нашем случае — все наоборот: англичане, живущие в России, редко выражают подобную безотчетную антипатию к русским, которую демонстрируют их соотечественники на берегах Темзы. Можно напомнить к примеру те теплые письма, которые появились в «Daily News» и в «Times» в 1876 году, авторами которых были англичане, живущие в Москве. И мне кажется, они отвечают взаимностью на наши чувства к ним.

Положение русского, приезжающего в Англию, далеко не всегда приятно. Англичане намерены видеть в каждом русском скрытого врага, интригующего против английских интересов. Что же удивительного в том, что русские теперь не особенно стремятся в эту страну? И так между двумя нациями происходит охлаждение. Позвольте мне здесь привести эпизод из личного опыта. Как многие русские, я собирался провести лето и осень за границей. Друзья приходили ко мне прощаться, и мы обсуждали предполагаемое путешествие. Как только я объявил, что собираюсь провести несколько недель в Англии, меня перебили сразу несколько голосов. «О чем вы говорите! Как можно туда ехать после всего, что произошло? Уж лучше поехать в Китай». «Что вы хотите сказать? — удивился я. — Как можно одно заменить другим?» «Да это гораздо предпочтительнее, — был ответ. — Китайцы не так боятся иностранцев и не так подозрительны по отношению к нам, как англичане. Кроме того, мы, по крайней мере, не знаем, что они о нас говорят и думают». «Но ведь у меня есть друзья и я хочу их повидать!» — «У вас не может там быть друзей, вы живете иллюзиями!» Это мнение было общим и искренним. Да и может ли быть иначе, ведь русскому нельзя посетить Лондон, чтобы не быть заподозренным в шпионаже.

Тысячи русских ездят во Францию. И каждый француз, узнав об этом, чувствует себя польщенным, он находит это естественным: «Конечно, они восхищаются Парижем, это так понятно!» Но если русский едет в Лондон, на англичанина это производит совершенно иное впечатление. «Интересно, с какой целью он (или она) сюда приехал? Как это странно, эти участвовавшие визиты — в высшей степени подозрительно!» Несчастный иностранец пытается объяснить, что он любит эту страну, его привлекает ее своеобразие, что он любит своих английских друзей, которых отличает редкое постоянство, великодушие и понимание. Но сказанное ничуть не меняет дела, недоверие не исчезает!

Привычка обвинять нас в грехах прошлых, настоящих и будущих несправедлива и плохо влияет на политические отношения. Поставьте себя на наше место и представьте себе иностранца, который слова не скажет об Англии, не прибавив: «Однако же как постыдна ваша торговля опиумом с Китаем — и это в наши дни всеобщего прогресса и распространения христианства!» Что бы вы почувствовали? А ведь этот упрек совсем не так несправедлив как те, которые вы обращаете в наш адрес. Представьте, что этот иностранец пошел бы еще дальше и сказал: «Как можно говорить о цивилизации, о свободе — и в то же

время продолжать терпимо относиться к торговле опиумом!» А чем это было бы хуже, чем обвинение, бросаемое нами англичанам, в том, что мы недостаточно любим наших братьев славян?

В России, когда мне случалось привлечь внимание моих соотечественников к какому-нибудь благожелательному отзыву о нас, меня всегда прерывали вопросом: «Ну хорошо, когда же дело дойдет до «однако»? Когда же нам напомнят о Польше, о нашем варварстве, о кнуте, о рудниках, или хотя бы о последних примерах жестокости властей?» Тем и заканчивались мои попытки примирения сторон. Рудники, Польша, знаменитый кнут — все это действительно почти неизменно появлялось после изъявления благожелательности, а мои безуспешные попытки объяснить, почему я люблю Англию, заканчивались полным провалом.

Трудно убедить тех, кто не знаком с Россией и русскими, в том, что все население моей страны с готовностью отдаст последнее, что имеет, даже свою жизнь, если того потребует наш царь, чтобы продолжить войну за угнетенных славян. Народ направил царю петицию, в которой говорится: «Мы вверяем Тебе нашу жизнь» — и это не пустая фраза. Русская история служит подтверждением тому, что это — реальность. Расчетливые скептические и эгоистические европейцы могут смотреть на подобные декларации и петиции как на разновидность современного красноречия. Но в горячие, решающие исторические моменты такие слова, произнесенные русскими, всегда подтверждаются делом. А ведь отдать жизнь и имущество ради идеи можно только добровольно. Нам, русским, не всегда позволяют провести это намерение в жизнь. Но уж если нам предоставляют такую возможность в святом деле, мы не усомнимся подтвердить свои слова делами и не побоимся последствий. Мощный голос русского народа никогда не звучит впустую.

Разрешите мне напомнить лишь один из множества исторических примеров, характеризующих мой народ. В эпоху Петра Великого, во время войны — не за славян, не за братьев по религии, но всего лишь за обладание балтийскими землями — был поднят вопрос относительно частный. Царь передал в Сенат указ о новых налогах на соль. Когда указ был зачитан, князь Яков Долгорукий вскочил со своего места, и в присутствии всего благородного собрания ко всеобщему ужасу порвал его в клочья.

«Царь!» — воскликнул он дрожащим от возмущения голосом, — тебе нужны деньги? Мы это понимаем! Но почему эта ноша должна ложиться на наших беднейших людей? Разве у тебя нет богатой знати? Князь Меншиков на собственные средства может построить корабль, Апраксин может оснастить другой, и я, конечно, не отстану от своих соотчичей!»

Таков был дух русских людей в те дни. И надо сказать, что со времен Петра Великого русские нисколько не утратили своих достоинств.

Лондон

В 1867 году, когда я впервые попал в Лондон, мне особенно резко бросилась в глаза гораздо меньшая артистичность этой столицы мира, сравнительно с Парижем, в разных смыслах: и по памятникам архитектуры, и по интересу к предметам искусства. Уже одно сравнение зданий Лувра и лондонской Национальной галереи давало характерную ноту. Лувр сам по себе — произведение своеобразного зодчества, особенно когда вы на него посмотрите с внутреннего двора; а лондонская Национальная галерея — тяжеловатое здание довольно-таки дурного вкуса, напоминающее многие наши казенные постройки в стиле классического рококо. Но и тогда уже в мире художественных идей по ту сторону Канала вы могли найти нечто оригинальное и крупное.

Давно уже действовал такой знаток и критик искусства, как Джон Рескин. Его книга об английских живописцах проникла уже и на континент. Ею стали интересоваться и французы и немцы гораздо раньше, чем у нас; в России до сих пор имя Рескина очень мало известно. Прославляя английских пейзажистов и маринистов конца прошлого и начала XIX столетия, Рескин являлся с оригинальным пониманием природы и задач искусства. То же влагал он и в толкование античного искусства, и средневекового. Для него вся природа одухотворена многообразной, бесконечно проявляющейся красотой; но этот культ красоты связан у него с особого рода нравственным мистицизмом, присущим английской душе. Его художественно-критическая проповедь способствовала всего больше и зарождению той школы, которая впоследствии получила название «прерафаэлитов». Она связана с именем художника-поэта Росетти, а в новейшее время — Берн-Джонса. Из этой школы пошло преклонение перед старыми флорентийскими мастерами, предшественниками Рафаэля, откуда — и самый термин.

Флорентийских мастеров первой эпохи Возрождения изучали не одни англичане, и сами итальянцы, и немцы, и французы. Уже к 60-м годам европейская литература обогатилась таким произведением, как книга Тэна о сокровищах итальянского искусства. Для континентальной публики Тэн был положительно самым даровитым руководителем. По натуре своей и философскому направлению он не в состоянии был вдаваться ни в какой мистицизм. Он выработал себе определенный прием и метод и показывал в целом ряде блистательно написанных характеристик, как итальянские мастера все более и более овладевали реальной правдой изображения. Этого было недостаточно для таких ценителей, как Рескин и его последователи. Они

вдались в культ *внутренних настроений* и поставили в этом смысле предшественников Рафаэля гораздо выше позднейших мастеров.

Я не стану разбирать здесь вопроса, в какой степени это английское направление художественно-критических идей заключает в себе истину. Но, во всяком случае, оно самобытно зародилось и развивалось на английской почве и явилось продуктом продолжительного и глубокого знакомства с миром искусства. Оно же в последнее время стало привлекать и французов в Лондон для более детального изучения английских старых и новых мастеров. Лет сорок тому назад туристы заглядывали в *Национальную галерею* больше для курьеза, хотя почти всегда находили, что многие английские живописцы XVIII и первой половины XIX века заслуживали бы большей известности, чем та, какую они имели на континенте. Англичане всегда любили природу и умели придавать своим пейзажам и морским видам особый искренний колорит, в котором сказывалось их *настроение*. В жанре их заслуги также несомненны; не менее того и в портретной живописи, и я хорошо помню, что в сезон 1868 года на выставке портретов английских красавиц XIX века получился богатейший подбор и типов национальной красоты, и талантливых художников, не уступавших в этой специальности своим современникам во Франции и Италии.

Но в конце 60-х годов еще не чувствовалось в Лондоне такого всеобщего интереса к успехам живописи, как в Париже. Да и позднее, по прошествии более четверти века, на тогдашней ежегодной выставке 1895 года, даже после расцвета школ «праерафаэлитов» и «символистов», я не нашел и одной четвертой такой производительности, как в Париже. Но теперь самыми экзальтированными поклонниками английского новейшего символизма в живописи являются некоторые французы. Они смакуют лучшие вещи этой школы с гораздо большей подготовкой, чем англичане. Стоит только прочесть то, что писалось в последние годы парижанами о Лондоне, чтобы убедиться в этом. Зато туристы ординарного типа, приезжающие из Франции и попадающие в Музей и на выставки Лондона, до сих пор очень пренебрежительно относятся к английскому искусству. В этом французы, в массе, такие же заскоруждые шовинисты, как это было и сто лет назад.

На глазах моей генерации произошло в Англии роскошное развитие *прикладного* искусства. Англичане со времени их Всемирной выставки в начале 50-х годов стали делать больше, чем все другие нации, в этом направлении, и *Кенсингтонский музей* явился блистательным результатом этих стремлений. И с тех пор изучение различных стилей художественного производства изощряло таланты и вкусы английских артистов и техников. Между ними в последние годы особенно выделился Морис. Во всех слоях общества повысился интерес к изящной отделке домов, к декоративным украшениям, к стильной мебели, бронзе, посуде, обоям и драпировкам. И свое английское, и континентальное средневековье, и эпоха Возрождения, и

все дальнейшие оригинальные моменты в развитии декоративного искусства нашли в Англии благороднейшую почву.

Когда вы поживете в Лондоне и станете тяготиться казарменным видом тамошних улиц, отсутствием всякой архитектуры целых десятков тысяч домов, перед вами еще резче выступит контраст между такой варварской первобытностью фасадов и художественной отделкой домов и квартир. Фасады изменить трудно, и, вероятно, еще на сотню лет, а то и больше, Лондон на две трети будет покрыт этими кирпичными закопченными ящиками. Зато потребность в изящной обстановке все растет и вкус делается изощреннее. Образцы даже фабричного производства носят уже на себе печать таланта, тонкого изучения различных стилей — и все это не в дюжинно-подражательном роде, а с оттенком чего-то своего, национального, восходящего большею частью к образцам и стилям английского средневековья и Возрождения.

Лондонский сезон 1868 года

Клубную жизнь я хоть и немного, но все-таки имел случай узнать за тот сезон, который оставался в Лондоне, — с половины мая до половины августа L.

Ни в одной столице Европы нет таких клубов, как в Лондоне. Они занимают целые кварталы, как, например, улицу Pall-Mall, которая полна ими.

Приглашение обедать в клуб есть первая форма вежливости англичанина, как только вы ему сделали визит или даже оставили карточку с рекомендательным письмом. Если он холостой или не держит открытого дома, он непременно пригласит вас в свой клуб. Часто он член нескольких, и раз двое моих знакомых завозили меня в целых три клуба, ища свободного стола. Это был какой-то особенно бойкий день. И все столовые оказывались битком набитыми.

Кроме *Атенея* — клуба лондонской интеллигенции, одним из роскошных и популярных считался Reform club с громким политическим прошедшим. Туда меня приглашали не раз. Все в нем, начиная с огромного atrium'a Атриумы, главного помещения (*лат.*), было в стиле. Сервировка, ливреи прислуги, отделка салонов и читальни и столовых — все это first rate¹, с такой барственностью, что нашему брату, русскому писателю, делалось даже немного жутко среди этой обстановки. Так живут только высочайшие особы во дворцах.

Водили меня и в *Гаррик Клуб*, где собираются больше писатели и артисты и где гораздо попроще. И когда вы войдете в обиход таких мужских «обителей», вы поймете, что в них мужчине деловому или

¹ Первого сорта (англ.).

праздному, так удобно, уютно и комфортабельно, как нигде. А для иностранца, нуждающегося в разнообразных знакомствах, это самый ценный ресурс. И тех, кого с вами знакомят, как интересных для вас людей, приглашают всегда в клуб и сводят с вами.

Так, меня на первых же порах свели с двумя братьями Бриггс, теми фабрикантами, которые стали выдавать своим рабочим, кроме задельной платы, еще процент с чистой хозяйской прибыли. Они первые сами пошли на это. И тут сказалось прямое влияние Дж.-Ст.Милля. Оба эти промышленника высоко его чтили. Оба брата во время нашей застольной беседы держали себя очень скромно, без малейшей рисовки своим великодушием.

Нечто вроде клуба собиралось каждую ночь и в старинной кофейной, помещавшейся в здании театра Drury Lane, где тогда шли оперные спектакли, в разгар сезона. Туда меня свел журналист и рассказывал мне историю этой кофейни, где когда-то засиживались до поздних часов и Кин, и Гаррикс, и все знаменитости обоих столетий.

Драматический мир Лондона интересовал меня еще в Париже, и я привез оттуда письма к двум выдающимся личностям из этого мира: одному просто актеру с громким прошлым, а другому драматургу-актеру с совершенно оригинальным положением и родом деятельности.

Просто актер был тоже незадолго перед этим антрепренер одного из видных театров Лондона Lyceum. Это был тот Фехтер, который после блестящей карьеры в Париже вдруг превратился в английского артиста, вспомнив, что он в детстве жил в Англии, и считал себя настолько же англичанином, насколько и французом. В сезон 1868 года он уже из директора театра очутился гастролером в театре, где шла пьеса Диккенса, переделанная из его романа «No thoroughfare»¹. В этой переделке и он участвовал, так же как и в переводе пьесы по-французски, когда ее давали в Париже в старом Vaudeville, где я ее также позднее видел.

С Диккенсом Фехтер водил близкое приятельство. Они вместе покупивали, и когда я, зайдя раз в коттедж, где жил Фехтер, не застал его дома, то его кухарка-француженка, обрадовавшись тому, что я из Парижа и ей есть с кем отвести душу, по-французски стала мне с сокрушением рассказывать, что «Monsieur» совсем бросил «Madame» и «Madame»: с дочерью (уже взрослой девицей) уехали во Францию, а «Monsieur» связался с актрисой, «толстой, рыжей англичанкой», с которой он играл в пьесе «de se Dikcens», как она произносила имя Диккенса, и что от этого «Dikcens» пошло все зло, что он совратил «Monsieur», а сам он кутила и даже «un rochard»², как она бесцеремонно честила его.

¹ «Проезд закрыт» (англ.).

² Пьяница (фр.)

Через Фехтера мне очень легко было бы познакомиться и часто видаться с автором «Давида Копперфильда», но в это время его не было в Лондоне. У Фехтера я видал только родственника Диккенса — романиста Уилки Коллинса, тогда еще на вершине своей известности, но он показался мне преждевременно одряхлевшим. Кажется, у него был легкий удар, и он, быть может, придерживался «возлияний Бахусу».

Но про Фехтера этого сказать было нельзя. Я нашел в нем типичного француза и парижанина, со всеми замашками французского «*sabotin*» высшего разряда. Тогда его прежнее благообразие уже прошло; он пополнел и в корпусе, и в лице, дома ходил в мягкой фуражке и курил из деревянной трубочки-носогрейки. Но на сцене еще сохранял представительность и манеры прежнего «первого любовника». Сам он считал свой «прононс» совершенно английским, но лондонцы (в том числе и театральные критики) говорили мне, что в его произношении чувствовался французский акцент. Быстрый успех в Лондоне лет пятнадцать перед тем он имел сразу, явившись Гамлетом в такой гримировке и в таком костюме, каких никто еще не пускал в ход на лондонских сценах.

На мою оценку (насколько можно было судить по одной роли из современного быта), он остался чисто парижским актером, вроде Бертона-отца, который и играл его роль во французском переводе пьесы Диккенса. Это была смесь романтического тона с тонкой дикцией и красивыми жестами.

Фехтер, хоть и просто гастролер, а не директор театра, продолжал жить баринком, в хорошо обставленном коттедже, и ездил в собственной карете. Но дома у него было все точно «начеку», чувствовалось, что семейная его жизнь кончена и он скоро должен будет изменить весь свой *train de maison*¹.

Водил он приятельство со своим товарищем по Парижской консерватории певцом Гассье, который незадолго перед тем пропел целый оперный сезон в Москве, когда там была его императорская Итальянская опера. Этот южанин, живший в гражданском браке с красивой англичанкой, отличался большим добродушием и с юмором рассказывал мне о своих успехах в Москве, передразнивая, как московские студенты из райка выкрикивали его имя с русским произношением.

Другая знаменитость театрального мира — *Дайон-Бусико* принял меня у себя, где познакомил с женой, бывшей актрисой. Родом ирландец и по профессии писатель, он создал — *первый* — особый род театральной индустрии. Он писал (переделявая их всего чаще с французского) сенсационные мелодрамы и обстановочные пьесы, играл с своей женой в них главные роли, составлял себе труппу на одну только вещь, и вместе с декорациями и всей обстановкой от-

¹ Быт (фр.).

правлялся (после постановки ее в Лондоне) по крупным городам Великобритании, а потом и в Америку.

Этим способом он составил себе хорошее состояние, и в Париже Сарду, сам великий практик, одно время бредил этим ловким и предприимчивым ирландцем французского происхождения. По-английски его фамилию произносили «Дайон-Буссико», но он был просто «Дайон», родился же он в Ирландии, и французское у него было только имя. Через него и еще через несколько лиц, в том числе директора театра *Gaiety* и двух-трех журналистов, я достаточно ознакомился с английской драматургией и театральным делом.

Тогда в Лондоне не было ничего похожего на государственно-национальный театр, как *Comedie Francaise*. Не существовало ничего похожего и на государственную консерваторию. Обучение производилось кое у кого из бывших актеров. Опера велась блестяще в двух театрах — «Ковент-Гарден» и «Друри-Лэн», но это и до сих пор частные антрепризы с некоторой субсидией. Драматические театры (даже самые лучшие) по репертуару стояли *очень низко*. Все — переделки с французского, посредственные вещи домашнего изделия или обстановочные зрелища из лондонской уличной и трущобной жизни. Эти оказывались еще самыми интересными, и обстановка в них, сравнительно с парижской, была последним словом сценического ультрареализма: кебы, целые поезда, мосты, улицы, трущобные притоны — все это чрезвычайно детально и разительно в своем правдоподобии.

Я нашел в тот сезон несколько типичных актеров и актрис: Со-серна, еще на молодых ролях, чету Метьюсов (мужа и жену), двух-трех комиков, молодую актрису Кэт Терри — тогда же покинувшую сцену — сестру Элен Терри, подруги и сподвижницы Эрвинга, который тогда только что начинал.

В комедии и даже в драме у англичан чувствовалось больше простоты, чем в Париже; женщины с более естественной грацией, но по части дикции весьма малая выработка, и жесткуляция бедная, так что французу или итальянцу, не знающему языка, невозможно было бы понять, что вот такой-то «*jeune premier*» объясняется в любви героине.

Поражало всякого иностранца то, что Шекспир находился тогда в полном забросе. В течение всего сезона при мне едва ли не на одном лишь театре (да и то третьестепенном) шел «Король Джон». Уже позднее Эрвинг стал много играть Шекспира.

Зато «зрелища» в тесном смысле и тогда уже процветали: огромные театры для феерий, блестящих балетов и кафешантаннх представлений. *Music-hall* овладели уже и тогда Лондоном едва ли еще не больше, чем Парижем. И все, что там исполнялось — и куплеты, и танцы, — было еще ниже сортом, чем на парижских бульварах, и публика наивнее и, попросту говоря, глупее и грубее.

Та же публика наполняла по ночам тот квартал, где царила и тогда самая бесконтрольная проституция, сортом еще пониже, чем

те кокотки, которые в открытых буфетах Music-hall'ей и в антракты, и во время спектакля занимались своим промыслом.

Я уже по первому своему приезду в Лондон достаточно знал, какой характер носили уличные ночные нравы.

Ночной бульварный Париж тоже не отличался чистотой нравов, но при Второй империи женщины сидели по кафе, а те, которые ходили вверх и вниз по бульвару, находились все-таки под полицейским наблюдением, и до очень поздних часов ночи вы если и делались предметом приставаний и зазываний, то все-таки не так открыто и назойливо, как на Regent Street или Piccadilly-Circus Лондона, где вас сразу поражали с 9 часов вечера до часу ночи (когда разом все кабаки, пивные и кафе запираются) эти волны женщин, густо запружающих тротуары и стоящих на перекрестках целыми кучками, точно на какой-то бирже.

А та, настоящая биржа, куда лились все артерии Лондона и City с его еще не виданным мною движением, давала чувство матерьяльной мощи, которая, однако, не могла залечить две зияющие раны британской культуры: *проституцию* и, главное, *пролетариат*, которого также нельзя было видеть в Париже в таких подавляющих размерах.

Еще в первый мой приезд Рольстон водил меня в улочку одного из самых бедных кварталов Лондона. И по иронии случая она называлась Golden Lane, то есть *золотой переулок*. И таких Голден-Лэнов я в сезон 1868 года видел десятки в Ost End'e, где и до сих пор роится та же непокрытая и неизлечимая нищета и заброшенность, несмотря на всевозможные виды благотворительности и обязательное призрение бедных.

А.И.Бенни говаривал мне с тихой усмешкой:

— Прекрасна конституция в Англии для тех, у кого есть золотые часы... А каково тем, у кого нет и медных?

Лондон, как синтез британской городской культуры, научил меня *чувствовать* все роковые контрасты мировой культуры. Нельзя было и после Парижа не видеть мощи и высоты этой культуры, но в то же время и не сознавать, до какой степени капиталистический и сословный строй Англии тормозил еще тогда истинное *равноправие* в этой прославленной стране свободы.

Тогда в гостиных респектабельного общества нельзя было завести речи на некоторые жгучие темы общественной правды и справедливости. Сейчас же это называли:

— French socialism!¹

С тех пор в каких-нибудь тридцать лет и в светских салонах тон переменился, в чем я убедился еще в 1895 году, когда я ездил «прощаться» с Англией и пробыл часть летнего лондонского сезона.

¹ Французский социализм! (англ.).

Да и в 1868 году рабочее движение уже началось, приняв более спокойную и менее опасную форму «Союзов» — «Trades-Unions»¹. И тогда можно было вынести на улицу любой жгучий вопрос, устроить какой угодно митинг, произносить какие угодно речи, громить парламент, дворянство, капиталистов, поносить даже королеву.

Но все это не пахло настоящим *революционным* брожением. Революция прорывалась только на почве расовой борьбы, в тогдашней Ирландии, в заговорах «фениев», по-нынешнему инородческих анархистов, врагов всего английского.

Процесс их вожakov происходил при мне в одно из моих двух первых пребываний в Лондоне. Я до сих пор довольно живо помню и фигуры подсудимых, и залу, и судей в их на наш вкус смешных париках из конского волоса.

Вот такой суд — с застывшими формами и вековой неподвижностью — всего лучше выказывал, до какой степени в Англии добро и зло переплетены в деле общей правды и справедливости. Суд — свободный и независимый; но с варварским нагромождением старых законов, с жестокими наказаниями, с виселицей; а в гражданских процессах — с возмутительной дороговизной; да и в уголовных — с такими же адскими ценами стряпчим и адвокатам.

Несколько фениев были повешены. И никто-то этим не возмущался в респектабельной печати. Вся жесткая нетерпимость англичан — даже и к расам, которые объединены под общей кличкой «Британия», — выставлялась во всей своей неприглядности.

Да и в мировой юстиции, особенно в City (где судьи из *альдерманов*, то есть из членов городской управы), бесплодность уголовных репрессий в мире воров и мошенников принимала на ваших глазах гомерические размеры. Когда масса так испорчена нищетой и заброшенностью, наказания, налагаемые мировыми судьями, производят трагикомическое впечатление. Я довольно насмотрелся на сцены у альдерманов и у судей других частей Лондона, чтобы быть такого именно мнения.

Свобода, то есть ограждение личных прав британского подданного, делает то, что нельзя и органам власти действовать более энергично и против злоумышленников, и против уличной проституции, и против пьянства.

Лондонские «Public-houses», то есть *кабаки*, и тогда уже поражали иностранца не только своим числом, но и обстановкой. Это и тогда были какие-то храмы пьянства, многие роскошно отделанные, но без *всякой мебели*. В этом и сказывалась двойственность всей публичной морали респектабельной Британии. Пьянство громадных размеров, развращенного вида матроны среди белого дня; драки между пьяными женщинами, нахальный уличный разврат и гнет англиканского ханжества, которое и до сей минуты не позволяет

¹ Тред-юнионов (англ.).

столице в 5—6 миллионов жителей иметь по воскресеньям чисто эстетические удовольствия.

И никто и в 1868 году в общелиберальной печати не поднимал похода против этого запрета. Может быть, и сюффражистки XX века, и революционные социалисты, и анархисты не могут или не хотят добиваться этого законнейшего права *свободных* граждан наполнять свои воскресные досуги тем, что им нравится.

А кутить за городом, в Ричмонде и других местах, обедаться и напиваться на бесконечных обедах в воскресенье — это можно! И я помню, как на таком загородном пикнике (куда я был приглашен) за столом сидели *три часа*, подавали, между прочим, до *шести* рыб и по крайней мере до двенадцати сортов разных вин!

Но нигде, как в Лондоне, нельзя было получить такой заряд всякого рода запросов и итогов по всем «проклятым» задачам культурного человечества. Все здесь было ярче, грандиознее и *фатальнее*, чем в Париже и где-либо в Европе, — все вопросы государства, общества, социальной борьбы, умственного и творческого роста избранного меньшинства.

За каких-нибудь три месяца в моей душе перебивало множество всяких впечатлений, идей, итогов, обобщений, проблем и дилемм, вызывающих тот или иной ответ. Только с того времени поднялся мой интерес к *рабочему вопросу*, к борьбе труда с капиталом. И это сделали не книжка, не чтение «Капитала» Маркса, а картины громадной нужды лондонского пролетариата, возмутительный контраст с теми жертвами безработицы, которых я видал в лондонских доках и в трущобных переулках «Ост-Энда», вроде пресловутой Golden Lane. Такая наглядная школа — выше всего.

Подводя итоги моему сезону в Лондоне, я должен был признать, что кругозор моих идей, наблюдений, запросов — расширился, даже и после Парижа, на большой масштаб. Правда, как писатель-беллетрист, я почти что ничего не сделал более крупного; но, как газетный сотрудник, я был еще деятельнее, чем в Париже, и мои фельетоны в «Голосе» (более под псевдонимом *ббб*) получили такой оттенок мыслительных и социальных симпатий, что им я был обязан тем желанием, которое А.И.Герцен сам выражал Вырубову, — познакомить нас в сезон 1869—1870 года в Париже, и той близостью, какая установилась тогда между нами.

Что бы я ни описывал в своих корреспонденциях и фельетонах в две русские газеты, все это было — оп размерам матерьяла, по картинам лондонской жизни — гораздо обширнее, своеобразнее и внушительнее, чем любая страница из жизни другой «столицы мира» — Парижа.

Митинг ли в Гайд-Парке или на Трафальгар-Сквере, эпсомские ли скачки, массовые ли гулянья в «Кристал-Паласе», концерты ли, монстры, спектакли в опере или вечера в народных театрах с драмами из мира лондонских вертепов, — все это давало чувство той громадной человеческой лаборатории, которая называется Лондоном.

Чисто духовные интересы: наука, философия, искусство — волновали меньше, потому что они не стояли на виду, так, как в Париже, хотя бы и Второй империи. Я уже говорил, что тогдашнее английское свободомыслие держалось в маленьком кружке сторонников Милля, Спенсера и Дарвина, к знакомству с которым я не стремился, не считая за собою особых прав на то, чтобы отнимать у него время, — у него, поглощенного своими трудами и почти постоянно больного. Но благодаря моей статье в «Fortnightly Review» Дарвин получил фактическое понятие о нашем движении 60-х годов.

Покойный В.О.Ковалевский (мой давнишний знакомый еще из того времени, когда он был юным правоведиком) рассказывал мне позднее, уже в начале 70-х годов, как он раз по приезду в Лондон сейчас же отправился к Дарвину, в семействе которого был принят всегда, как приятель. И первое, что ему сказал Дарвин, поздоровавшись с ним, было:

— Я знаю теперь — кто вы! (who are you!)

— Кто же? — спросил Ковалевский.

— Нигилист! (a nihilist!) — ответил со смехом Дарвин.

В моей статье я упоминал об издателях научных и философских книг того направления, которое считали «нигилистическим», называл и Ковалевского. И Дарвину захотелось подшутить над ним на эту тему.

«Дарвинизм» сделался дорог гораздо больше его немецким и русским адептам, чем тогдашним англичанам.

В самом Лондоне научная интеллигенция, кроме ученых обществ, группировалась около двух высших школ: Лондонского колледжа и Университетского колледжа. Если среди их преподавателей и было несколько крупных имен, то все-таки эти подобию университетов играли совсем не видную роль в тогдашнем Лондоне. Университетский быт и высшее преподавание надо было изучать в Оксфорде и Кембридже; а туда я попал только в 1895 году и нашел, что и тогда в них господствовал (особенно в Оксфорде) метефизический дух, заимствованный у немцев.

Мир изящного творчества в Лондоне 1868 года сводился к немногому. Диккенс уже пропел свою песню.

Джордж Элиот также напечатала все лучшее, что она создала, придворный лавреат Тенниссон допевал свои перепевы. Новые силы беллетристики и поэзии, как Мередит, Оскар Уайльд, еще несколько романистов и стихотворцев только еще выступали. А то движение в искусстве и его толковании, которому толчок дал Рескин (и тогда уже довольно известный), все праерафаэлистское движение с Росетти и его единомышленниками — расцвело несколько позднее, а тогда еще ни в интеллигенции, ни в светских салонах не слышно было призывов к новым воззрениям на область красоты.

Британский гений в мире пластического искусства был уже блистательно представлен «Национальной галереей», «Кенсингтонским музеем» и другими хранилищами. В Британском музее с его

антиками каждый из нас мог доразвить себя до их понимания. И вообще это колоссальное хранилище всем своим пошибом держало вас в воздухе приподнятой умственности. Там я провел много дней не только в ходьбе по залам с их собраниями, но и в работе в библиотечной ротонде, кажется до сих пор единственной во всей Европе.

Театр и музыка по своей тогдашней оригинальной производительности, можно прямо сказать, не давали ничего сколько-нибудь ценного сравнительно с тогдашней Германией, Италией и Францией. Мне как специальному изучателю театра, Лондон дал несколько новых деталей по части техники, но, как я уже и заметил выше, ничего выдающегося ни по репертуару, ни по игре артистов. Тогда казалось, что весь *литературный* талант Англии ушел в роман и стихотворство, а театр был обречен на переделки с французского или на третьестепенную работу писателей, да и те больше все перекраивали драмы и комедии из своих же романов и повестей.

По музыкальной части Лондон был (да остался в значительной степени и теперь) огромной сезонной *ярмаркой*. Отовсюду наезжают сюда всевозможные виртуозы, и начинается настоящий шабаш всяких музыкальных «exhibitions»¹.

И ничего своего, английского. Опера — чужая, концерты — монстры или вечера камерной музыки, певцы и певицы, скрипачи, пианисты, виолончелисты, — все это появляется на подмостках, точно на ярмарке перед толпой, которая снует между балаганами. Рьяный потребитель всякой музыки найдет в лондонском «season» нечто вроде «обжорного ряда», но английского во всем этом — только публика, все эти десятки тысяч джентльменов обоюбого пола, у которых припасено на эту ярмарку столько-то гиней и фунтов стерлингов. Может быть, слабая производительность англичан по части музыки оперной и инструментальной объясняется тем, что они так привыкли получать *за деньги* все готовое, играть роль бар, которых разные заезжие штукарки увеселяют целыми днями в течение четырех месяцев...

Уровень музыкального тогдашнего образования лондонцев обоюбого пола стоял, конечно, ниже немецкого и русского, вряд ли выше и парижского, но дилетантство, в виде *потребления* музыки, громадное. В салонах светских домов было уже и тогда в большом ходу пение разных романсов и исполнение мендельсоновских *Lieder ohne Worte*², и все это такое, что часто «святых вон выноси»!

Но ездить в оперу, сновать по всевозможным концертам — это входило в обязательный обиход удовольствий всякого джентльмена и всякой порядочной женщины.

И никакой попытки создать *свою* оперу, даже с иностранным репертуаром, но с английскими исполнителями, хотя бы даже свой

¹ Показов, смотров (*англ.*).

² Песен без слов (*нем.*).

опереточный театр, что явилось уже гораздо позднее. А главное — ничего для народа, для трудовой массы — популярных концертов или общедоступной школы, да и консерватории тогда тоже не было. Весь барско-капиталистический захват привилегированных классов общества сказывался с полной бесцеремонностью и в мире искусства, да сказывается и до сих пор. Большой разницы не находил я и двадцать семь лет позднее, в сезон 1895 года.

Толпа во всяких увеселениях по внешности культурнее, чем где-либо, но по вкусам — низменная, что особенно бросается вам в глаза и в нос во всяких «Music-halls». Атлеты, акробаты, грубое фигурство, канкан (более циничный, чем даже в Париже), бессмысленные песенки, плоские остроги — вот духовная пища лондонской зрительной толпы. При такой политической свободе печатного слова — никакой сатирической жилки, ни в пьесах, ни в номерах кафешантанов. Так было еще и в 1895 году.

Но свобода слова на подмостках, даже для серьезных пьес, до сих пор в Лондоне напоминает наши дореформенные порядки. Довольно того, что когда при мне приехала на сезон французская труппа, то она только после усиленных хлопот добилась постановки «Дамы с камелиями», которая у нас шла гораздо раньше и по-французски и по-русски. А на английском языке ее не пускали на сцену. Такой же цензурный ригоризм для всего, что связано с библией. И цензурный «index» находится до сей поры в руках безответственного придворного чина.

Между дешевыми зрелищами и характером ночной уличной проституции — прямая связь. То, что тогда в Париже 60-х годов смягчалось веселостью, дурачеством, грацией, то в Лондоне носило на себе или совсем мрачный, или тупо-цинический оттенок. Стоило только сравнить: тогдашний парижский студенческий бал «Бюлье» или даже «Мабиль» с самым элегантным увеселительным танцевальным местом «Stemogn-Garden», рекламы которого занимали целые столбцы в самых больших газетах. Это было что-то напоминающее петербургские сады, только с более кричащей обстановкой и волнами ослепительного света.

Если и можно было отдыхать от денных трудов, то, конечно, не в таких «садах», а в парках, когда там нет митингов, и в таком убежище растительного царства, как сад «Кью» за городом, какого тоже нет второго в Европе. Ежедневное катанье в Гайд-Парке с вереницей амазонок и всадников дает, опять-таки единственную, ноту Лондона, как вместилища барско-капиталистического слоя общества, который держал, да и до сих пор еще держит в своих руках *все* и *вся* и слишком редко и неохотно думает о том, что трудовая масса в какой-то момент все это опрокинет.

Но когда?

Пока вся китайщина старой Англии будет держаться: парики судей, парламентские порядки, виселица, церковная казенщина, — нечего бояться и социального переворота. Так по крайней мере чув-

ствовали и рассуждали все защитники британского status quo, все поклонники идолища, на котором написаны были три слова: «Queen, representatives and people»¹. Но «people» — народ значился только в виде той черни («mob»), которая должна была почитать себя счастливой, что она живет в стране, имеющей конституцию, столь любезную сердцу тех, «у кого есть золотые часы», как говаривал мой петербургско-лондонский собрат, Артур Иванович Бенни.

1890-е гг.

¹ Королева, представители и народ (*англ.*).

Письмо из Лондона

Художественные выставки

Всякому, кто знакомится с художественной жизнью различных стран и с ее историей, приходится встречать эпохи, бедные оригинальным творчеством, бесплодные полосы среди цветущего поля. Если судить по последним художественным выставкам, то на английскую живопись нашла именно такая полоса. Это не переходная пора, как во Франции, где завершаются концы реалистического искусства и раскрываются начала искусства декоративного. Это — затишье, томительное и безнадежное, которое может разбудить только ветер с того берега. Как странно говорить так про Англию, страну предсказаний и открытий в живописи! Здесь жил когда-то великий Рейнольдс, чей этюд гуашью на выставке XVIII века, ныне открытой в Парижской Национальной библиотеке, поражает своей опередившей столетия современностью. Констэбл дал здесь начало живому пейзажу, чудесный волшебник Тернер проник в тайны света и атмосферы, а прерафаэлиты раскопали впервые драгоценный клад забытого кватроченто. Уистлер нашел здесь ключ к музыке красок, и ребенок одаренный прекрасной феей фантазии — Бердслей сплел черное и белое в небывалый узор...

Конечно и среди современных художников найдутся несколько таких, которые стремятся выйти из рамок посредственности, охвативших теперь английскую живопись. Но их немного и они, как например Кондер, примыкают тесно к французскому искусству, не оказывая влияния на художественную жизнь родной страны, не нарушая сколько-нибудь заметно будничного тона здешних выставок. Большой ошибкой было бы думать, однако, что общий уровень выставленных в этом году работ оказывается безусловно и во всех отношениях низким. Напротив, приходится признать относительно высокое положение техники, твердый и уверенный рисунок, умелое пользование красками — у большинства. Здесь почти не встретишь такого умильного невежества в употреблении художественных средств, такого любительского рисования и раскрашивания картинок, какое можно найти на наших отечественных выставках. Англичанин-художник стоит, как никак, в цепи сложной и блестящей художественной культуры. Он принадлежит к обществу, питающему глубокое уважение к искусству, уважение, достигающее степени культа по отношению к старым мастерам. В такой стране право на существование искусства не нуждается в доказательствах, оно находит свое реальное утверждение в поддержке общества.

Роль парижских салонов в Лондоне принадлежит ежегодной выставке в Королевской Академии (Royal Academy). Англичане вообще

мало склонны к партийности в сферах отвлеченного действия. Может быть оттого и К.Академия никогда не имела такого охранительного характера, как французский официальный Салон, никогда так ревностно, как он, не вела борьбы с художественной контрабандой. Нельзя поэтому игнорировать выставку в К.Академии на тех же основаниях, на каких можно игнорировать парижское «Societe des Artistes francais». В художественной жизни Англии эта выставка занимает видное место. Тем большее разочарование вызывает она своей приличной пустотой и вялым однообразием. Беда не в том, разумеется, что Альма Тадема по-прежнему удивляет воскресную публику своими мраморами, что неизменны и другие древние академики. Чувство досады вызывают новые сочлены «высокой коллегии» и среди них такой крупный талант, как Сарджент. Им выставлено четыре портрета очень искусно написанных и вместе с тем положительно неинтересных. Времена, когда импрессионизм разрабатывал свою технику, когда виртуозы вызывали восторг своими открытиями в деле использования нового художественного приема, — миновали. Сарджент с честью способствовал тому стремлению к мастерству кисти, которое имело своих героев — Цорна и Бенара, своего клоуна — Больдини. Но теперь, когда это стремление можно считать исчерпанным, когда у более верного и чуткого Бенара уже звучат сильные декоративные ноты, Сарджент продолжает оставаться при прежнем. В лучшем случае он повторяет сам себя, в худшем — пишет такие неумные портреты, как портрет фельдмаршала Робертса. Больше силы и прямоты в портретах старого Херкомера, много технической ловкости и у Дж. Шаннона. Некоторый интерес представляет огромное полотно Фрэнка Брэнгвина: «Венецианские похороны», написанное обычными размашистыми мазками.

Выставка в Новой Галерее (New Gallery) мало чем отличается от академической. В распорядительном комитете ее значатся те же имена, тот же Альма Тадема и проч. Кое-что особое вносят сюда запоздалые отголоски прерафаэлитского движения. Здесь еще можно увидеть золотые яблоки и якобы наивные портреты присланные Стредвиком рядом с аллегориями Уолтера Крэна. В остальном снова Сарджент (Сирийские этюды), Херкомер, снова огромное полотно Фрэнка Брэнгвина, на этот раз более удачное — винный погребок с пузатыми бутылками и раздувшимися тыквами. Лучшие вещи на выставке принадлежат шотландцам — Лэвери и Джорджу Генри. Портреты Лэвери красивы по краскам, написаны с обычной для него легкостью и благородством. Это кисть не только искусника-виртуоза, но и живописца в лучшем смысле этого слова. «Летнее Утро» Джорджа Генри одна из лучших вещей художественного сезона. Чтобы покончить с Новой Галлереей надо упомянуть еще про пейзажи Иста, избранный недавно президентом «Общества Британских художников». Это «Общество» также не может похвалиться своей нынешней выставкой. Когда-то оно было передовым и воевало с академией, но этот героический период относится еще к 30-м годам

прошлого столетия. Попытка оживить «передовые» традиции, принятая вместе с приглашением Уистлера лет двадцать тому назад, окончилась неудачей — дела пошатнулись. Теперь дела очевидно поправились, с академией мир, а на выставке — благополучие и скука. Среди общего вялого и кое-где ученического ее характера благоприятно выделяются работы Фергессона. С этим интересным художником можно лучше познакомиться на специальной выставке в частной галерее. Предисловие к каталогу, написанное в духе Уистлеровских «утверждений», сообщает, что стремление художника к истине, к действительности, познаваемой через свет, является главной его задачей... Но не лучше ли обратиться к намерениям в их осуществлении. Многие из выставленного радует глаз своими густыми блестящими красками. Видно стремление погружать все в один глубоко звучащий и сильный тон. «Сквер в Кадиксе» дает прекрасное впечатление сине-зеленой южной ночи. Хороши портреты с их эмалевыми фонами и вводными декоративными пятнами. «Японская статуетка» говорит об изысканном вкусе, достойном Стевенса. Приятно удивляет значительность и полновесность этюдов-миниатюр. По-видимому Фергессон еще молодой и не вполне определившийся художник.

Если «передовая» роль в английской художественной жизни принадлежала когда-то «Обществу Британских художников», то теперь это ответственное положение занимает «Новый Художественный Клуб», основанный лет пятнадцать тому назад. Выставка «Нового Клуба» выгодно отличается от всех других — больше бодрости заметно на ней, больше свежести, больше чувства и вкуса. Но было бы напрасно и здесь искать крупных проявлений смелого, ищущего творчества, большого и оригинального таланта. Отсутствует темперамент, отсутствует личность, которая бы воплотила весь свой порыв в краски и линии. Чарльз Кондер выставил слишком мало вещей, чтобы быть признанным вполне. На недавней выставке у Дюран Рюэля в Париже этот несравненный и тонкий декоратор высказался во всем совершенстве своего пряного, изысканного искусства. Красивы и здесь его розовые женщины — цветы у сине-зеленых морей, его веер с фантастическими существами испанского рококо, его душистые фруктовые сады в полном цвету. Уильсон Стир — другой интересный художник из «Нового Клуба». Ему хорошо удалась гармония увядшего розового и палевого с серо-черным в интерьере с женскими фигурами. Удачен и портрет-мозаика красиво подобранных белых, зеленых и голубых пятен. Очень уверенно нарисованы и красивы по краскам «Меточницы белья» В.Ротенштейна. К хорошей, серьезной живописи надо отнести также портреты Джона, работы Уолтера Ресселя и Генри Тонкса.

На всех указанных выставках было отведено много места акварелям, ничем не выделяющимся из общего уровня. Кроме того в Лондоне имеются целых две специально акварельных выставки. «Королевский Институт» и «Королевское Общество» культивируют этот

особенно излюбленный англичанами род живописи. Обе выставки, несмотря на высокую технику, далеко не соответствуют старой и заслуженной славе английских акварелистов. Все эти Хопвуды, Монтольбы, Рэкамы и пр. очень умело владеют техникой и изготавливают миленькие картинки, которые так часто можно видеть на страницах «Studio» или на стенах начинающего богатеть семьянина. Исключение составляет кое-что в «Новом Художественном Клубе» и прежде всего талантливые этюды недавно умершего Брэбазона. Более серьезное к себе отношение вызывают «Пастелисты». Выставка этого нового общества, существующего всего восемь лет, привлекла много иностранных известностей, среди них — Ла Гандара, Рене Билотт, Ле Сиданер, и пр. Среди англичан первое место принадлежало бы Кондеру, если бы он выставил что-нибудь более значительное, чем два этюдика на излюбленные ныне «Дегасовские» темы — балерину и скачки. Из остального запоминаются очень хорошие рисунки из детской жизни, присланные Эллен Бедфорд, и красивые сумерки Бюсси. Много интересных набросков покойного Брэбазона, Ливенса, Террик Уильямса, Мурмана и нескольких других.

Очерк текущих Лондонских выставок был бы неполон, если бы не было в нем упомянуто о гостях с континента. В Гильдхолле открыта интересная ретроспективная выставка произведений Бельгийско-Фламандской живописи, где можно видеть вещи Губерта и Яна Ван-Эйнава, Мемлинга и Ван-дер-Госа, извлеченные впервые из частных коллекций. Если сюда прибавить несколько прекрасных портретов Ван-Дейка и Франца Хальса, а из современников — Стевенса, то высокий интерес, представляемый этой выставкой, становится понятен сам собой. Кроме бельгийцев Лондон посетили и немцы. На «Выставке Современного Немецкого Искусства» представлены такие художники как Беклин, Габерман, Калькрейт, Ленбах, Лейбль, Либерман, Менцель, Замбергер, Слефогт, Шух, Штук, Тома, Цюгель, в скульптурном отделе Клиггер и Климт, в прикладном — Ольбрих. Не вдаваясь в подробности, я не могу не вспомнить о тонких гармониях у Заутера, о мощной силе честного реализма у Трюбнера, о прекрасных рисунках Лейбля, Калькрейта и Фогелера.

В стороне от шумных картинных базаров современности стоит небольшая выставка английского художника Блэйка, жившего сто лет тому назад. У него была глубокая душа, душа мистика, духовидца и поэта. И о нем нельзя сказать в нескольких словах, способных измерить лишь мелкие глубины текущей художественной жизни.

1906 г.

Лондон

В имени его я слышу ласковый звон колокола истории, задумчивый возглас из глубины веков, добрый совет старого мудрого опыта:
— Надо больше знать друг друга, люди, больше...

Мне кажется, что чудовищно огромный город, одетый мантией тумана, всегда, днем и ночью, упорно думает о великих драмах своего прошлого, о бесцветных днях настоящего и с тоской, но уверенно ожидает будущего — светлых солнечных дней, полных радости, ожидает пришествия новых людей, полных творческой силы.

Он скучает о тех, которые сделали имя Англии громким в мире, ждет рождения великих детей, подобных тем бессмертным, которых знают всюду на земле. Лондон, кажется мне, жаждет нового Шекспира, Байрона и Перси Биши Шелли, нового Гиббона, Макколея и Вальтер Скотта, трубадуров славы Англии. Что такое слава Англии? Прежде всего ее ненасытная жажда свободы духа... Ныне эта жажда угасает неутоленною. И потому пора снова возбудить ее в душе народа.

Великий город, мне чудится, думает:

— Скоро ли снова придут и зазвучат для всех народов мира колокола моего духа, запоют громкие трубы мои, разнося по земле мысли и надежды народа Англии?

Глухой и темный шум облекает город смутной тучей, он сливается с туманом, кружится, кружится над городом, в рокоте его много силы, но и усталости много.

В тумане я вижу лицо Лондона — это лицо великана старой чудесной сказки, мудрое и печальное...

Город думает и возбуждает думы о жизни...

Могучий, каменный, суровый город богато одет в пышно зеленый плащ садов и парков, он роскошно украшен драгоценными произведениями старого, безумно смелого искусства; в радостном изумлении стоишь перед воздушно улетающей в небо, кружевной громадой Вестминстерского аббатства и с глубоким почтением смотришь на тяжелый серый Тоуэр, вызывающий стройные ряды воспоминаний и великолепную Елизавету впереди всего. Много злого было сделано внутри этих серых камней, много призраков, облитых кровью, витает над башнями замка, но это не делает старый Тоуэр менее красивым. В каждой столице любого государства есть свой Тоуэр, в каждом из них люди выливали на землю кровь людей — я думаю, серый лондонский Тоуэр не грешнее других. И если люди позволяют убивать себя, в этом, отчасти, всегда виноваты сами они. Отчасти, я говорю. Ибо разве есть некто совершенно невинный в

преступлениях, окружающих его, непричастный жестокости, наполняющей жизнь?

Но жемчужиной города, драгоценностью, которой нет цены, лучшим украшением Англии для меня явился Британский музей — панорама жизни всех народов земли, умное и великое создание сильных и длинных рук английского народа.

Этот большой, тяжелый дворец редкостей стоит на земле крепко, как сама Англия. Он является как бы каменным переплетом великой книги о культуре человечества, книги, которую надо читать годы, чтобы прочесть ее всю до конца.

И всюду видишь, как много в Лондоне ума, но думаешь — не слишком ли односторонне тратит нация огромный капитал своего духа за последние десятилетия?

Не слишком ли много увлечения задачами узкими, грубо материальными?

И не стесняет ли увлечение это развития духа свободы внутренней, истинно творческого духа, обогащающего мир ценностями вечными и нетленными?

Бросается в глаза обилие антикварных лавок... Это естественно в стране с такой старой культурой и понятна любовь англичанина к вещам, напоминающим ему о великом прошлом. Старый фарфор и бронза так наивно и пышно красивы, ярки, созданы с горячей любовью, на каждой из них видишь печать работника-поэта.

Образцов современной художественной промышленности меньше. Все они указывают на стремление людей к простоте. Это благородное стремление, но почему-то оно делает вещи скучными, холодноватыми и невольно возбуждает грустную мысль об упадке творчества, о замене его ремеслом. Старые вещи лучше, они сделаны здоровым, веселым человеком.

Смотришь на Россетти, Берн Джонса.

Почему эти нежные и сильные таланты черпали свое вдохновение в прошлом, почему их так пленил Боттичелли, почему они не могли — или не хотели? — подойти ближе к жизни настоящего? Не потому ли, что жизнь культурного общества наших дней стала слишком тесной, бесцветной, скучной, что людьми все более властно командуют темные страсти?

В этой жизни нет места поэтам, они ищут красивого на кладбищах прошлого. Для поэтов современности нет возбуждающего творческую мысль сегодня, нет у них светлого завтра, они живут отдаленным вчера. Грустная жизнь. Она обессиливает творчество...

Власть золота, железа и камня, власть зависти, жадности и злобы закрывают перед нами просветы в будущее тяжелой завесой унижающих нас мелочей жизни. Живая вера в возможность на земле счастья для всех не находит вдохновенных учеников среди общества, измученного нервной суетой дня, истощенного непрерывной борьбой за существование.

Это касается не только Англии, конечно, — все так называемое культурное общество Европы смотрит назад, все оно ищет красоты и радости в прошлом. Верный признак духовного старчества, несомненное указание на необходимость влить новую кровь в жилы дряхлого организма.

Много спорта — и мало оживления.

Люди играют скучно, как будто исполняя необходимую обязанность. Пока она еще не надоела, но уже скоро будет тяготить человека.

Тяжело поразила меня юность проституток, гуляющих по Пикадилли. В этом факте есть нечто грозное для общества. Видно, что девушки поступают на рынок разврата очень рано и очень быстро сходят с него в трущобы, где их ждет голод и смерть. Эта краткая жизнь ночной бабочки вызывает в душе ненависть к обществу, так быстро пожирающему своих беззащитных членов.

Почти не встречаешь солдат, это хорошо, милая, старая Англия! Этим можно гордиться. Зачем держать огромные армии убийц по ремеслу? Их роль прекрасно выполняет капитализм и нищета.

Нравится мне спокойный, корректный «Боби». Он стоит в сутолоке движения, как монумент, олицетворяющий законность, управляет сутолокой движения и удивительно резко подчеркивает механичность жизни.

Хороши старые дома — они напоминают о Диккенсе и Теккере — двух англичанах, о которых всегда вспоминаешь с уважением и хорошей улыбкой в душе.

Уайтчепель не поразил меня, я видел Ист-Сайд в Нью-Йорке.

Славный древний город, задумчивый великан Лондон в конце концов оставляет на сердце грустный налет печали. Это большая красивая печаль, такая же, как и сам город. Лондонский туман можно полюбить, так же как и картины Тернера, за его мягкие прозрачные краски, сквозь дымку которых душа видит что-то неясное, но чудесное, красивое, смягчающее человека. Под этой пышной одеждой города чувствуешь его силу, его крепкий, огромный, способный к долгой жизни организм.

...Мне кажется, несчастье культурных людей — их одиночество, их оторванность от жизни. Их ведь всегда мало сравнительно с массой народа, и они стоят между ним и капиталом, как между молотом и наковальней, в постоянной возможности быть раздробленными.

Где исход из этой драматической позиции?

Привлекайте на свою сторону народ, зовите его к себе интересами духа, дайте ему возможность понять вас, быть таким же духовно богатым, как вы сами.

Тогда вы не будете одиноки — тогда вы будете сильны, и только тогда победит истинно человеческое, только тогда восторжествует

истинная культура. Жизнь станет легка, радостна, и даже камни будут улыбаться.

Если читателю покажется, что я впал в тон учителя — читатель будет не прав.

Прежде всего я учу сам себя, но я хотел бы, конечно, чтобы все люди учились понимать друг друга.

Если мы, люди, хотим встать ближе друг к другу, если мы верим в возможность духовного родства всех со всеми — мы должны говорить друг с другом обо всем, что тревожит нас, обо всем, что нам непонятно в душе другого и отделяет нас от него.

Больше внимания к человеку — вот что я всегда говорю, больше внимания к человеку, люди!

Больше желания узнавать людей — вот что я горячо рекомендую человеку.

Знание да будет нашею страстью, и если мы обратим его в страсть — тогда мы создадим наконец истинную религию всемирного единства людей, мы достигнем духовного родства всех народов земли, — только тогда, говорю я, мы создадим религию, достойную человека и человечества!

1907 г.

Английская губерния

I

Каждый знает по личному опыту, иногда очень неприятному, что представляет из себя русская губерния с Держимордами разных рангов и мундиров, иначе «хозяевами». Последних, как известно, у русского обывателя очень много. Тут его господа с «голубой кавалерией» через плечо, о которой мечтал Сквозник-Дмухановский. Эти могут арестовать обывателя, сослать его, разорить, велеть поджечь его имущество и отнять жизнь на основании закона. Тут есть господа, без всяких кавалерий или только с цветной тряпочкой в петличке, с жгутами или с узенькими эполетами. Эти могут избить обывателя, высечь его или устроить бойню на основании своего рода обычного полицейского права, признанного центральным правительством. Мы все знаем русскую губернию с грозными губернаторами, жандармами, земскими начальниками, полицеймейстерами, паспортами, шпионами разных категорий, и невероятным беспорядком. Порядок в русской губернии сложился так прочно, что его неизмеримо труднее переменить, чем центральное правительство. «Хозяева» всех категорий засели здесь прочно. Их труднее выгнать, чем клеща, всосавшегося в кожу. В губернии «хозяева» привыкли к полному беззаконию и, конечно, не остановятся ни пред чем, чтобы удержаться на местах. Нет такого подлого и кровавого преступления, которое остановило бы Держиморд с «голубой кавалерией» и без нее, когда дело дойдет до их изгнания. А без радикальной чистки провинции всякое завоевание русского народа в центре не даст почти никаких результатов.

Итак, каждый знает, что такое русская губерния. Но на что походит английская провинция, т.е. графство? Быть может, некоторый ответ на это читатели найдут в моих беглых заметках о посещении графства Уоррик, находящегося почти в центре Англии. Графство это — одно из наиболее старинных и типичных. Оно лежит на самой границе между земледельческой Англией и промышленной. Далее на запад и на север лежат центральные или промышленные графства, «черная страна», которую я описывал когда-то очень подробно в *«Русском Богатстве»*. «Black country» занята двумя промышленными мирами, обрабатывающими волокнистые и не волокнистые вещества и определяющими политику Соединенного Королевства. Столица одного из этих миров — Бирмингэм — лежит, собственно говоря, в графстве Уоррик, но составляет отдельную самоуправляющуюся единицу.

Конечной целью моей поездки были те торжества, pageants, которые жители «губернского города» Уоррик и его окрестностей устроили по случаю тысячелетия со времени освобождения от датчан. Уоррик, однако, гордится не только тем, что его жизнь тесно сплетена с английской историей. Графство, это — родина многих великих людей, в том числе — Шекспира. Поэтому туристы, едущие на «pageants», отправляются сперва в Стратфорд на Авоне, а оттуда на лошадях в Уоррик и Лимингтон, и потом возвращаются по железной дороге в Лондон.

Станция Педингтон в Лондоне. На перроне суетится юркий старичок, с подстриженными усами, в грязной соломенной шляпе, на ленте которой вышито: «Cook and Son». Старик указывает, где находятся вагоны, предназначенные для паломников, отправляющихся в Стратфорд на Авоне. В нашем отделении восемь паломников, которые все едут в Уоррик. Из них — шесть американцев. В других отделениях паломники исключительно американцы. В это время года они всегда переезжают «на другой берег Пруда», как они называют Атлантический океан, чтобы, по американскому выражению, «сделать Европу», т.е. осмотреть континент. И первым долгом американцы отправляются на поклонение в Стратфорд на Авоне. Как только поезд тронулся, публика быстро знакомится. Тут представлены многие Штаты. Постоянно смеющийся американец, с оттопыренными ушами и топорным, обветренным лицом, как оказывается, скотопромышленник, родом из маленького городка Покательо, в территории «черноногих» индейцев в штате Айдахо. Скотопромышленник заявляет, что он не только в первый раз на «этой стороне пруда», но никогда не был даже в восточных штатах. Этому легко поверить, судя по его языку. Скотопромышленнику, привыкшему к отчаянной ругани с пастухами и индейцами, по-видимому, стоит не малых усилий помнить, что в вагоне — дамы, и поэтому колоритные выражения — неуместны. Другой американец — из Филадельфии. Как выясняется из разговора, он — шотландец родом, эмигрировал в 18 лет, по-видимому, сильно разбогател и теперь, после 35-летнего отсутствия, приехал посмотреть на родные места. Затем следуют муж и жена из Нэшвиля в штате Тенесси. Жена — очень подвижная молодая дама, ярко наряженная, чуть-чуть подкрашенная, с большими жемчугами в ушах. Остальные две дамы — из «Фриско», т.е. С.-Франциско. Одна из них рыжая, как верблюд, нагружена кодаком, призматическим биноклем, двумя путеводителями, большим ридикюлем, дорожным альбомом и еще чем-то. С американцами немедленно заводит разговор немец, усиленно выдающий себя за англичанина. Судя по его объяснению, он представляет «многие большие фирмы» и постоянно, поэтому, путешествует. Герцен когда-то сделал много очень остроумных замечаний об иностранцах в Англии. Замечания эти верны до настоящего времени. Английская жизнь, —

говорит Герцен, — сначала ослепляет немцев, подавляет их, потом поглощает, или, лучше сказать, распускает их в плохих англичан. Немец, по большей части, если предпринимает какое-нибудь дело, тотчас бреется, поднимает воротнички рубашки до ушей, говорит уes вместо ja и well там, где ничего не надобно говорить. Года через два он пишет по-английски письма и записки и живет совершенно в английском кругу. Входя в английскую жизнь, — продолжает Герцен, — немцы не в самом деле делаются англичанами, но притворяются ими и долею перестают быть немцами. Англичане же в своих сношениях с иностранцами такие же капризники, как во всем другом; они бросаются на приезжего, как на комедианта или акробата, не дают ему покоя, но едва скрывают чувство своего превосходства, и даже некоторого отвращения к нему. Если приезжий удерживает свой костюм, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанин шпыняет его, но мало-помалу привыкает в нем видеть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранец начинает подлаживаться под манеры англичанина, тот не уважает его и снисходительно трактует его с высоты своей британской надменности. Тут и с большим тактом трудно найтись иной раз; можно же себе представить, что делают немцы, лишенные всякого такта, фамильярные и подобоострастные, слишком вычурные и слишком простые, сентиментальные без причины и грубые без вызова.

— Скажите, какого мнения американцы о разоблачениях того, что творится в Чикаго на заводах мясных консервов? — дипломатически начал немец, выдававший себя за англичанина.

— Для нас это не было «разоблачением», — ответил шотландец из Филадельфии, — мы все это давно знаем и никогда не едим мясных консервов.

— Да! Мы слишком хорошо знаем, как готовятся консервы, чтобы любить их! — захохотал скотопромышленник.

А поезд, между тем, мчался. Бесконечные ряды однообразных, закопченных кирпичных домов с щетками красных труб кончились. Потянулся типичный английский ландшафт. Бледное британское летнее небо, покрытое даже в июле легкой дымкой тумана. Яркая, сочная зелень пастбищ, крепкая и прочная, как английский строй. Эта зелень не пропадает даже зимой. По лугам, изрезанным рядами темных буков, высоких вязов и развесистых дубов, медленно бродят жирные, кудлатые, сонные овцы с большими оранжевыми таврами на руне. Задумчивые коровы, гладкие, крупные, с громадным выменем, стоят под ветлами на берегу ручьев. Телята тоже преисполнены британским self-respect. Они чинно стоят у воды, вместо того, чтобы гарцовать по лугу, задрав хвост колом. Среди полей видны столбы с наглыми, назойливыми, крикливыми и бесстыдными рекламами на них: «Пилюли от печени», «Красные пилюли для бледных людей», «Голубые пилюли от плохого пищеварения», «Пилюли, излечиваю-

щие все болезни». Пилюли носят звучные названия неизвестного происхождения, которые должны действовать гипнотизирующим образом на публику. Иные рекламы составлены в стихах; в других — в названии пилюль соблюдена аллитерация, т.е. повторяются первые буквы во всех словах. Все живое в Англии степенно и проникнуто чувством собственного достоинства; зато особенно крикливы и наглы рекламы. Изредка попадаются одинокие мызы, возле которых виднеются нивы, как будто залитые алой кровью от цветущего дикого мака. Всюду в этих местах жирные овцы вытеснили уже землепашцев. Сельские работники перекочевали или в город, или в Канаду. Остались только пастухи. Их заработная плата (15—6 шил. в неделю) выше того, что получают плугари (12—15 шил. в неделю).

Среди волнистой равнины, на берегу реки виден небольшой город с дымящими высокими фабричными трубами. Это — Ридинг, имеющий свою собственную отрасль промышленности. Но читающий мир знает Ридинг не как фабричный центр, не как город, в котором *university extension*¹ поставлено необыкновенно хорошо, а по страшной балладе несчастного Петрония конца XIX в. — Оскара Уайльда. Из окон вагона видны закопченные стены каторжной тюрьмы. Там, пишет о себе поэт,

«We sewed the sacks, we broke the stones,
We turned the dusty drill:
We banged the tins, and bawled the hymns,
And sweated on the mill:
But in the heart of every man
Terror was lying still»².

Оскар Уайльд был наказан не столько за то, что сделал он сам, сколько за пороки других людей, стоящих так высоко, что даже английский закон не может коснуться их. Тут, на ридингской платформе, стоял пред отправкой в тюрьму, ошельмованный, втоптаный в грязь, со скованными руками, великий и несчастный писатель, зараженный ядом пороков пресыщенного общества...

Немец, выдававший себя за англичанина, между тем, подробно объяснял, что в Ридинге существуют «самые большие в Англии бисквитные фабрики», представителем которых он имеет честь и счастье состоять. Поезд опять помчался вперед. Опять замелькали сочные луга, ряды буков и сонные овцы... Мы останавливаемся на две минуты в Оксфорде, потом в Бенбери. Заслышав название станции,

¹ Курсы при университете (*англ.*).

² «Мы шили мешки, дробили камни, переворачивали пыльные тюфяки, стучали посудой, ревели гимны и потели на мельнице-топчаке: но в груди каждого из нас тихо летал ужас».

скотопромышленник захохотал и потом запел известную всему англо-саксонскому миру детскую песенку, в которой этот город играет видную роль. Еще остановка, и — мы в Стратфорде на Авоне.

II

«Про Марло мы знаем только несколько смелых шуток и драку в кабаке, закончившуюся смертельной раной. Что касается Шекспира, то нам известно еще меньше. Вряд ли есть еще другой великий писатель, про которого мы знали бы так мало. Вся юность его исчерпывается двумя малозначущими легендами, почти несомненно, ложными. До нас не дошло ни одного письма, ни одной шутки или изречения, которые характеризовали бы жизнь Шекспира в Лондоне... Сто лет после смерти, Шекспира помнили еще в родном городе. Но самым усердным и добросовестным поклонникам в эпоху Георгов не удалось, несмотря на все старания, найти подробность, хотя бы ничтожную, о жизни Шекспира в Стратфорде, после того, как он оставил Лондон»¹. Этими словами сказано все. Многочисленные и многотомные биографии Шекспира свидетельствуют только об изобретательности их авторов. В действительности мы ничего не знаем про то, каким образом грубый, полуграмотный парень, бежавший в Лондон, где он добывал себе жизнь тем, что смотрел за лошадьми людей, приехавших в театр, — через два года превратился чудесным образом в ученого-энциклопедиста. Для нас загадка, каким образом ученый, опередивший во многих случаях свой век, делал, в то же время, грубые ошибки, очевидные даже для невежественных современников. Мы не можем понять, каким образом автор, так великолепно описавший Венецию, даже не подозревал, что в Милан нельзя приехать морем. Тот же автор утверждает, что Богемия — приморская страна и пр. Если допустить гипотезу, что великий мыслитель, государственный деятель и творец нового научного метода, занимавшийся на досуге писанием беллетристических произведений («Атлантида») и великолепных белых стихов, — написал также несколько драматических произведений; если допустить, что этот автор, считавший подобное занятие несколько зазорным для канцлера, — передал их знакомому актеру, который приспособил их для сцены, что он делал вообще с чужими трагедиями, то смесь глубокого знания с грубым невежеством станет понятной. Бэкон много путешествовал по Италии. Он был и в Вероне и в Венеции. Плохой актер и отличный делец, Шекспир не имел точного представления, где именно лежит Милан, но зато у него был «глазомер», и он знал, что может понравиться публике.

Как бы там ни было, сложился известный культ одного лица, которому, справедливо или нет, приписывается авторство гениальных

¹ F.R.Green «A Short History of the English People», p. 421.

произведений. Каждый культ требует реликвий, при помощи которых вера должна крепнуть в сомневающихся. Когда реликвий не осталось, их можно подделать. Лиха беда только начало. Через два-три десятка лет поддельные реликвии, как известно всем у нас, освящаются уже преданием и временем.

Стратфорд на Авоне, в значительной степени, живет шекспировскими реликвиями. Теперь они все уже освящены временем. Комната, в которой, *по преданию*, родился Шекспир, превратилась уже давно в комнату, в которой он действительно родился. В старой грамматической школе в Стратфорде нашли старинную парту, изрезанную школярами дореволюционной эпохи. Сейчас же составилось такое умозаключение. Шекспир учился в грамматической школе. Парта найдена в школе. Следовательно, Шекспир *мог* сидеть за этой партой. Скамью перенесли в музей, где она фигурирует под названием: «шекспировская скамья». Такого же происхождения все остальные реликвии, показываемые в Шекспировском музее. Старинный домик, показываемый паломникам, свидетельствует, по всяком случае, о глубоком уважении ко всему, что связано с драмами Шекспира: в саду, который прилегает к домику, растут все деревья и цветы, упоминаемые в этих произведениях. К слову сказать, в Англии драмы Шекспира гораздо больше почитаются, чем читаются. В Лондоне есть только один театр, который, по традиции, ставит произведения Шекспира по одному в сезон. Большая публика в Англии из всего Шекспира знает только несколько имен, пять-шесть стихов, превратившихся в избитые поговорки, да речь Марка Антония над трупом Цезаря, которая помещена во всех хрестоматиях. В Америке и в британских колониях Шекспира знают гораздо лучше. Но в Англии, как во всем англо-саксонском мире, культ писателя необыкновенно глубок.

Американцы вошли в домик Шекспира, как в церковь, с непокрытой головой. Даже быкообразный скотопромышленник проникся глубоким благоговением к громадному камину, у которого *мог* сидеть Шекспир, к старинным стульям и к знаменитому «стратфордскому портрету», помещенному над окном и хранящемуся для верности в несгораемом стальном ящике. Скотопромышленник приобрел даже «Шекспировские душеспасительные беседы», составленные каким-то предприимчивым стратфордским попом и продаваемые тут же в домике. Когда посетителям предложили расписаться в книге, скотопромышленник, как человек практичный, справился предварительно, сколько это будет стоить? Узнав, что платить не нужно, он написал полностью три имени, фамилию, город и штат.

Когда мы усаживались в шарабан, чтобы отправиться в Уоррик, оказалось, что одной американки, — рыжей с кодаком, — нет. Ее нашли в верхней комнате, у громадного камина, где она, как объяснила, «искала вдохновения». Существует правильный цикл, который проделывают все паломники в Стратфорде. Из домика, где родился Шекспир, их везут в Шоттери, к коттеджу, где жила Анна Хетвей,

жена поэта, а затем — в церковь, где он похоронен. В коттедже рыжая американка спрашивала можно ли ей полежать на старинной постели, покрытой пестрым одеялом, и сколько это будет стоить. В церкви скотопромышленник попробовал присесть на старинную скамью, но сиденье опрокинулось, и он очутился на полу, на могильной плите, на которой видно было одно полустертое имя «Люси» и «1679 г.». Чтобы выехать на большую дорогу в Уоррик, нам пришлось опять пересечь мутный Авон и сонный Стратфорд.

— Дом знаменитой писательницы Марии Корелли, — показал старик с подстриженными усами. Рыжая американка сейчас же слезла и стала фотографировать дом, обвитый плющом. Излюбленная большой публикой романистка усиленно занята в Стратфорде судебными процессами и саморекламиранием. Она привлекла к суду критиков, отозвавшихся непочтительно об ее произведениях, и получила фардинг (т.е. копейку) за «убытки». Месяца два тому назад она начала процесс против типографа, обвиняя его в том, что тот выпустил в свет открытки с портретом романистки. Мария Корелли нашла, что на портрете у нее «глупый вид», и притянула издателя к суду «за клевету». Присяжные оправдали издателя, и романистка должна была заплатить судебные издержки.

У нас, русских, в Англии тоже есть место, которое будет привлекать многочисленных паломников, когда великая революция кончится, и положение дел даст возможность думать о таких вещах. Я говорю о доме в Теддингтоне (близ Лондона), где много лет прожил А.И.Герцен, где написаны его лучшие произведения и издавался «Колокол». В Англии великий изгнанник пережил сильные бури и обрел надолго душевный покой. Об этом Герцен подробно рассказывает сам. «Когда на рассвете 25 августа 1852 г. я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замарано-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его». Герцен весь находился под влиянием мыслей, с которыми оставил Италию. «Болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом», он не мог ясно взглянуть на то, что делал. «Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин, для того, чтобы снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать»... Герцен был унижен, «самолюбие было оскорблено... Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты». Изгнанник чувствовал страшную, невыразимую усталость. «Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне». По целым утрам Герцен просиживал один. «В этом досуге разбирал я факт за фактом все бывшее, слова и письма людей, и себя. Ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлечение другим. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот... были тяжелые минуты, и не раз

слеза скатывалась по щеке; но были и другие нерадостные, но мужественные: я чувствовал в себе силу, я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех». Герцен поселился в 15 верстах от Лондона, в маленьком городке Теддингтоне, на берегу Темзы. Здесь душевный покой был обретен. «Ошибка была не в *главном положении*, — говорит Герцен, — она была в прилагательном, для того, чтобы был суд своих, надобно было прежде всего иметь *своих*. Где же они были у меня? Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был отрезан на чужбине, надобно было, во что бы то ни стало, снова завести речь с своими — хотелось им рассказать, что тяжело лежало на сердце. Писем не пропускают — книги сами пройдут; писать нельзя — буду печатать, и я принялся мало-помалу за «Былое и Думы» и за устройство русской типографии»¹.

Дом, в котором прожил много лет Герцен, сохранился до сих пор в почти нетронутым виде. В нем помещается теперь теддингтонский городской совет. На лестнице висят семь аллегорических картин, принадлежавших Герцену и вывезенных им из Италии. Сад с громадным, вековым кедром тоже не изменился. Под тенью этого кедра Герцен любил летом писать. Здесь он правил корректуры «Колокола». В сад теперь выходит новое, только что пристроенное здание — бесплатная народная библиотека. Дом Герцена еще крепок и, вероятно, простоит много лет: но сомнительно, долго ли сохранятся Герценовские картины, к которым и теперь уже приторговываются антикварию (одна картина уже продана).

III

Опять потянулись поля и ряды буков. Кони везут шарабан по великолепной дороге, мощеной асфальтом и перерезывающей все графство. Луга чередуются парками и нивами, на которых колосится высокий ячмень. С парками связаны легенды о Шекспире, сложенные много десятков лет после его смерти. Старик показывает американцам «тот самый перелаз», через который перебирался молодой Шекспир, когда отправлялся на браконьерство.

Мы в центре земледельческой Англии. Постоянно попадают обитые плющом нарядные мызы, с кокетливыми занавесками на окнах в свинцовой оправе. Из раскрытых окон иных мыз слышатся звуки пианино. Рядом с мызой находятся одинокие двухэтажные домики. В них живут сельские работники. Каждый домик приспособлен для отдельной семьи. К нему обыкновенно прилегает крошечный огород в несколько квадратных саженей. У дверей бродяг двести курицы. В углу огорода, в деревянном саже, сердито хрюкает свинья. В графстве Уоррик средний размер ферм — 300 акров, хотя

¹ А.И.Герцен. Собрание сочинений. Т. IX (издание 1879 г.), стр. 175—180.

попадают меньшие фермы — в 40 и даже 20 акров. Английский фермер должен обладать капиталом в 5—10 ф. ст. на каждый акр. Не имеющим таких денег помещик не сдаст земли в аренду. Обработка земли обходится в 30—33 шил. за акр. Рента обходится в 30 ш. за акр, что губит земледелие. Между тем, английский лэндлорд берет за землю, лежащую неподалеку от больших центров, дренированную и перерезанную великолепными дорогами, столько же, сколько русский помещик Полтавской или Воронежской губернии за участок, сообщение с которым осенью и весной совершенно отрезано. Английское земледелие убито не иностранной конкуренцией, не ростом фабрично-заводской промышленности, а крупными помещиками. Мелкие фермы в 5—20 акров сплошь и рядом существуют, несмотря на невероятную ренту и на тенденцию помещиков превратить земледельческие графства в луга и в пустыни, поросшие вереском, с целью разведения куропаток. Какие затруднения встречают на своем пути фермеры, видно, напр., из следующего факта, взятого мною из Уоррикской газеты. Тридцать лет тому назад молодой фермер Ходсон снял участок в триста акров у графа Эгмонта. Пшеница стоила тогда 60 шил. за четверть, и дела фермеров шли хорошо; но вскоре хлеб упал в цене, и фермеры начали банкротиться. Помещики обязывали фермеров контрактом, что сеять. Таким образом, им пришлось выращивать пшеницу в прямой убыток себе. Фермер Ходсон добился у своего лэндлорда права выращивать фрукты, вместо хлеба. В контракте значилось, кроме того, что фермер имеет право входить в леса помещика и истреблять кроликов, если лэндлорд забудет сделать это. Фермер затратил большой капитал, насадил фруктовые деревья, завел маленькую фабрику для изготовления варенья, и участок стал приносить большие барыши. Сад и фабрика дали занятие многим работникам. Расход на них составлял около пяти тысяч ф. ст. в год. В 1900 г. лорд Эгмонд продал свою землю другому помещику, некоему Колмэну, который, как и многие крупные землевладельцы, на первом плане ставил свою дичь. Помещик отдал приказ беречь дичь. И вот в лесах развелось неимоверное количество кроликов, которые стали забираться в фруктовый сад Ходсона. В 1901—1902 гг. кролики причинили в саду убытков на 600 ф. ст. В 1903 г. убыток равнялся 270 ф. ст. На просьбы Ходсона истребить кроликов не обращали внимания. Тогда фермер, основываясь на старом контракте, заключенном в 1887 г., сам «вошел в леса» помещика и убил в несколько дней 500 кроликов. Помещик начал процесс. Старый контракт был признан недействительным, и фермер принужден был заплатить 650 ф. ст. (красная цена кролику в Англии — 8 пенсов; рыночная цена убитых 500 кроликов около 16 ф. ст.). Помещик, однако, не удовлетворился этим, а начал еще другой процесс. «Стреляя кроликов, — объяснил помещик, — Ходсон вспугнул и разогнал в лесах 370 фазанов». Каждый из них был оценен в 15 ш., поэтому помещик взыскивал 277 ф. 10 ш. На суде не было доказано, что фазаны вообще существовали в этом месте. Свидетель, выставленный поме-

щиком (лесной сторож), оценил фазанов в 17 ш. каждого. Расчет основывался на ренте, жаловании сторожам, количестве пива, выпиваемого объездчиками, стоимости яиц, которые могли бы снести фазаны, и пр. Помещик и на этот раз выиграл процесс. Иски и судебные издержки совершенно разорили фермера. Он не в состоянии был уплатить ренту, и вот в феврале этого года Ходсона прогнали с фермы, которую он снимал тридцать лет. Громадный фруктовый сад, фабрика и постройка достались помещику. Фермер за них не получил ни фартинга. Теперь постройки снесены, так как помещик желает превратить всю вотчину в садок для дичи.

Приведенный рассказ — один из многочисленных фактов подобного рода. В Шотландии помещики прогнали крофтеров, и там, где когда-то колосились хлебные поля, — теперь растет только вереск да богульник...

Навстречу нам попался красный вагон в роде того, в каком разъезжают у нас по ярмаркам странствующие акробаты. Вагон представлял собою подвижной домик, с беленькими занавесками на крошечных окнах, с дымящейся трубой и козлами в виде балкончика. Молодой человек, с красным галстуком, в сдвинутой на затылок шляпе, погонял сытую, крупную лошадь. Другой молодой человек возился в фургоне с какими-то книжками.

Над фургоном развевался красный флаг. Надпись гласила, что это — фургон, снаряженный газетой *Клэрион*. В таком фургоне разъезжают все лето по английским графствам агитаторы, проповедующие национализацию земли.

Фурунги выезжают из Лондона после первомайской демонстрации, в которой принимают участие. Агитаторы останавливаются на ночь на обочинах дороги, перед въездом в деревню. Они поднимают флаг и возвещают о своем приезде звуками рожка. Когда деревенское население соберется, начинается митинг. Агитаторы объясняют необходимость национализации земли и раздают публике литературу, составленную так, что ее поймет каждый. Совершенно неразвитым сельским работникам аграрный вопрос разъясняется при помощи картинок и графических изображений.

Нужно думать, что в ближайшем будущем аграрный вопрос в Англии вступит в новый и решительный фазис. Англичане люди практичные, дальновидные и отлично понимают значение фактов в роде следующего. «Вопрос о безработных принял под Манчестром неожиданный оборот, — пишет корреспондент *Daily News*¹. — Безработные захватили участок земли на окраине города в Ливеншульме, принадлежащий церкви Св. Троицы, и грозят укрепиться на нем. Движение началось в пятницу 5 июля. Передовой отряд человек в двенадцать, нагруженный сельскохозяйственными инструментами, кухонными принадлежностями и палаткой, расположился ла-

¹ July 8, 1906.

герем на забранной участке. Предводитель отряда Смит объяснил толпе, собравшейся из Ливеншульма, что земля немедленно будет обработана. Если же собственники попытаются прогнать работников, то последние, по примеру буров тридцатых годов, окопаются рвом, соорудят баррикады и станут защищаться до последнего».

«По-видимому, — продолжает корреспондент, — происшествие в Ливеншульме является только частью широко задуманного плана захвата свободной земли безработными. Они говорят, что, если правительство враждебно отнесется к ним, произойдет революция, хотя и бескровная, но решительная. Предводитель объяснил, что отряд, захвативший землю, получает ежедневно деньги на расходы от организации. На другой день лагерь посетили корреспонденты. Они убедились, что захватчики принялись уже за работу и снимают дерн. Джентельмен-фермер вызвался дать им необходимые указания»¹. Предводитель отряда объяснил корреспондентам, что работники не снимут палатки по приказу властей. Товарищи его — все народ решительный. Через несколько дней подобные захваты будут сделаны во многих местах. «До настоящего момента — продолжает газета — не сделано еще никаких попыток прогнать захватчиков, но вряд ли их оставят в покое. Ректор церкви Св. Троицы заявил репортерам, что он не намерен терпеть захватчиков на церковной земле... В Манчестере основалась организация, которая путем захватов намерена осуществить возвращение народа к земледелию». Через несколько дней то же явление повторилось и в Лондоне в округе Уэст Хэм. Под предводительством муниципального советника Бенджамэна Каннинхэма безработные захватили пять акров городской земли, расположились лагерем и принялись обрабатывать участок. В Уэст-Хэме в настоящее время около 4500 безработных. Партия, захватившая землю, состоит из 24 человек в возрасте от 26—65 лет. Они заявили, что будут сопротивляться, если их попытаются прогнать.

Я сказал, что англичане — народ проникательный и способный оценить значение фактов. Если захваты земли, в роде приведенного, действительно станут массовым явлением, то правительство быстро встретит движение широкими аграрными реформами. Здравому смыслу не лишены в Англии ни либералы ни тори. Обе партии в свое время пытались бороться с аграрным движением в Ирландии при помощи законов об усиленной охране и террора. Правительственные меры не уничтожили движения, но вызвали только в ответ красный террор с кинжалами, револьверами, динамитом и восстаниями. После того обе партии давно признали полную негодность и вред белого террора и стали замирать Ирландию при помощи широ-

¹ Нужно помнить, что безработные — горожане, не имеющие, большею частью, никакого представления о том, как обрабатывать землю. Отношение населения к захватчикам — едва ли не самое поразительное в этом движении.

ких реформ. Вряд ли поэтому либеральное правительство решится применить в Англии меры, негодность которых доказана до очевидности в Ирландии.

IV

Старичок с подстриженными седыми усами все уверял нас, что кони, запряженные в шарабан, отменные, что в них «кровь играет ключом». Однако, на пятнадцатой версте, когда предстояло взобраться на холм, кони пристали. Напрасно стегал их кучер, напрасно суетился возле них старичок, размахивая руками. Кони стояли, широко раздвинув ноги и вздрагивая всем телом. Публика стала слезать. Скотопромышленник схватил коня за оброть. Шотландец схватился за колеса, как будто мог двинуть в гору громадный экипаж. Немец, выдававший себя за англичанина, махал зонтиком. Дамы разбрелись. Наконец, отдохнувшие лошади втащили шарабан на гору. Публика с шутками и смехом уселась, и мы опять покатали. Но, едва мы отъехали милю, как кто-то крикнул: «стой!»

— В чем дело? — спросил кучер.

— Человек за бортом! — крикнул скотопромышленник. Действительно, одним пассажиром стало меньше. Рыжая американка с кодаком куда-то исчезла. Сначала в поиски за нею пустился старик, потом — шотландец, потом решено было всем поехать по той дороге, которую мы только что сделали.

Скотопромышленник предложил самую мрачную гипотезу, в которой «трампы», т.е. смиренные оборванцы, встречающиеся иногда на английских дорогах, играли роль черноногих индейцев или сиуксов.

— It will not do, sir! (т.е. предположение не годится), — спокойно ответил кучер, передвинув свой цилиндр с затылка на лоб. — У нас людей на дорогах не похищают.

Неизвестно, какая гипотеза была бы еще предложена для объяснения таинственного исчезновения, если бы на дороге не показались ликующий старик, затем — шотландец, а за ними — рыжая американка, с кодаком в руках. Исчезновение объяснилось очень просто. Американка заметила в стороне мызу, обвитую плющом, и пошла фотографировать ее. Публика уселась, и шарабан покатали по дороге, поддерживаемой в таком отличном порядке советом графства. Мы проезжали места, с которыми связаны наиболее важные моменты в английской истории: Направо виднелся невысокий холм, покрытый купами деревьев. Это — Хедж-Хилл, у которого в октябре 1642 г. впервые встретились роялисты с неопытными парламентскими войсками. Вождь роялистов сэръ Фэтсруль Фортскью опрокинул народное ополчение и погнал его к стенам Уоррика. После этой победы роялисты были убеждены, что гидра революции раздавлена, и что теперь абсолютная власть короля будет признана навсегда. Но революция только что еще начиналась. Восстание скоро создало таких вождей, как Кромвель, и таких воинов, как его латники.

За первой победой роялистов последовали победы парламентских войск при Грантаме, Вайнеби и, наконец, при Марстон-Муре. Английская революция поучительна, между прочим, в одном отношении. При борьбе народа с королевской властью он скорее всего может рассчитывать на поддержку войск в том случае, когда революционеры имеют организованный центр, облеченный известным престижем и располагающий средствами кормить солдат и платить им жалование. Во время английской революции таким центром был парламент. В его руках был контроль над государственными доходами. Парламент мог ввести новый налог, чтобы добыть средства для борьбы, тогда как король, отстраненный от бюджета, нуждался в деньгах и, чтобы платить жалование своим войскам, вынужден был перечекивать серебряную и золотую монеты. Королевские войска не остановились бы пред тем, чтобы заарестовать или расстрелять сколько угодно революционеров; но те же революционеры, выбранные в парламент, представляли в глазах войск уже нечто неприкосновенное...

Исторические места, должно быть, по ассоциации, навели моих попутчиков на разговор о королях вообще и об Эдуарде VII в частности.

— Я еду завтра в Виндзор, — заявил скотопромышленник.

— Хотите посмотреть парк, воспетый в *Виндзорских Проказницах*? — спросила вертлявая американка.

— Нет. Хочу взглянуть на короля и обменяться с ним рукопожатиями.

Старик объяснил, что до короля не так легко добраться, как до Рузвельта, и что обычай *shake-hands* между главой государства и каждым гражданином, существующий в Соединенных Штатах, — не принят в Англии.

— Но я могу вам показать короля, — прибавил старик. — Вы можете сказать в Америке, что видели не только Эдуарда VII, но и всех принцев. — Старик вынул из кармана часы и показал скотопромышленнику циферблат с миниатюрами всего королевского дома.

Из-за густых деревьев показались высокие, старинные зубчатые стены Уоррикского замка. Нас обгоняли теперь автомобили, коляски и экипажи всякого рода, направлявшиеся в «губернский город» на «pageants». Попадались крайне любопытные всадники тамплиеры в кольчугах, в белых колетах с красным крестом, герольды, саксонцы XI века в плащах из звериных шкур, в шишаках, украшенных бычачьими рогами, амазонки в пышных платьях времен Елизаветы. То из соседних городов и деревень собирались участники «pageants», актеры-любители, в собственных костюмах и на собственных лошадях. Особенно забавно было видеть крестоносца, в полных доспехах, с щитом в руках и в макинтоше, накинутом поверх лат. Мы переехали по старинному мосту через Авон. На лугу, от реки до стен замка, расположились лагерьм балаганы, карусели, подвижные тиры. Отча-

янно выли и пищали десятки шарманок, приводимых в движение маленьким локомотивом, вертевшим и карусель.

В русской провинции тут кишели бы стражники, жандармы, казаки. В Англии же удовлетворились двумя полисменами, без всякого оружия.

V

У нас губерния — своего рода садок для начальства всякого рода, главная забота которого следить во все глаза за обывателем. Губернатор, по закону, — «первый блюститель неприкосновенности прав верховной власти, пользы государства и повсеместного, точного исполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов правительствующего сената и предписаний начальства». И до революции, как известно, бесчисленное губернское начальство с необыкновенной подозрительностью относилось к каждому шагу обывателя и в состоянии было сделать человеческое существование невозможным. Теперь, когда почти вся Россия находится на положении чрезвычайной охраны, «хозяева» провинции могут: «передавать военному суду не только отдельные дела, но и целые категории дел одним общим распоряжением; налагать секвестр на недвижимые имущества и арест на движимые имущества; подвергать в административном порядке аресту в тюрьме или крепости; устранять от должности, на все время чрезвычайной охраны, чиновников всех ведомств, а также лиц, служащих по выборам в сословных, городских и земских учреждениях; приостанавливать периодические издания и закрывать учебные заведения». Мы знаем, что в переводе на обыкновенный язык это означает: жизнь, свобода и имущество каждого обывателя в провинции, в любой момент, находятся в полной зависимости от фантазии или каприза ген. Карангозова и подобных ему воинов, выслуживших чины и кресты в походах против своих.

Щедрин когда-то писал, что в его глазах русская бюрократия всегда представляла собою какую-то неразрешимую психологическую загадку. «Несмотря на все усилия выработать из нее бюрократию, она ни под каким видом не хочет сделаться ею. Еще на глазах у начальства она туда и сюда, но как только начальство за дверь — она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относился бы к себе самому, яко к бюрократу, без некоторого глумления, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тем бюрократствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион ходячих психологических загадок! Миллион людей, которые сами на себя без смеха смотреть не могут — разве это не интересно?»¹ Писано это было очень давно, в начале семидесятых годов. Тогда «миллионы ходячих психологичес-

¹ «Благонамеренные речи».

ких загадок» не видели опасности для себя и проявляли даже известное благодушие в провинции. Во всяком случае, в губернии обыватель мог жить сравнительно спокойно под защитой нашего русского Habeas corpus — *взятки*. Теперь «психологические загадки» видят, что дело идет о спасении жирных мест, чинов и права на насилие — и они превратились в бешеных собак, готовых разорвать обывателя. «Благодушный» Держиморда теперь не остановится ни пред чем, чтобы спасти свой оклад; в Петербурге и, отчасти, в Москве есть все же кое-что сдерживающее; но русская губерния представляется мне, присмотревшемуся к английским порядкам, кладбищем в полночь, как оно рисовалось человеку XV века: всюду мечутся с адским воем страшные лары и упыри, залитые кровью. Оборотни люты, как по природе своей, так и потому, что знают неминуемость рассвета, когда придется уходить в могилу. Но сколько человеческой крови в Кишиневе, Одессе, Томске, Киеве, Минске, Екатеринославе, Белостоке выпили эти лары! Очистить центры — трудно; но труднее всего будет «освобождать погосты от упырей».

Совсем иное представляет нам английская «губерния», т.е. графство. Русская «губерния» создавалась искусственно, по воле центрального начальства; английское графство — росло естественно и является результатом совместной деятельности народа. Наша губерния наводнена «хозяевами» всякого рода, смотрящими и приказывающими смотреть за обывателем. Это присматривание стоит народу громадных денег. В английском графстве начальства очень мало, оно совершенно незаметно, права его точно определены, и стоит оно народу очень дешево. Английская провинция перестроена двумя парламентскими актами («County Councils Act», 1888 и «Local Government Act», 1894) на принципе широкого самоуправления. Новый закон не явился результатом канцелярского сочинительства. Составители закона воскресили старый порядок, выработанный самим *народом* в течение веков. Закон был только приспособлен к новым требованиям времени. Аналогию широкому самоуправлению, которым пользуется теперь английская «губерния», мы находим еще во времена англо-саксов. В пятом веке мы видим общины, которые ежегодно распределяли годную для обработки землю между всеми свободными людьми. Выгоны были общие. Агрегат общин (*vici*) составлял *Pagus*, или *gaw*. Совокупность же *Pagi* составляла *Curtas* или *Populus*. В пятом веке англо-саксы имели то, чего теперь добиваются их отдаленные потомки: вся земля составляла национальную собственность и сдавалась на год свободным людям (*freemen*).

Свободные люди представляли тогда, в военном отношении, одну милицию, делившуюся на сотни. Воины, входившие в состав последней, были связаны общей дружкой. Соответственно с этим делилась и земля. Она отводилась всей сотне, а затем распределялась между отдельными семьями. Часть земли оставалась в личном распоряжении вождя. «Таким образом, — говорит исследователь, — мы видим, как 1500 лет тому назад незаметно вползло понятие о част-

ной земельной собственности¹. Земля, принадлежавшая англо-саксонским племенам, делилась на *Folk-land*, т.е. на общинную, и на *Bock-land*, которая передавалась хартией частному лицу на известных условиях. Соответственно с системой владения землей Англия представляла тогда конгломерат самоуправляющихся общин. После норманского завоевания, значение короны стало увеличиваться. Мало-помалу она, а не нация, стала собственником земли. Термин *Folk-land*, т.е. общинная земля, исчезает и заменяется другим — *Terra-Regis*, т.е. коронная земля, сохранившимся до настоящего времени.

Посмотрим, в каком виде существовало самоуправление во времена англо-саксов. Распределение населения находилось в зависимости от системы владения землей. Земской единицей был *vicus* или *tun*, состоявший из группы аллодиальных, т.е. свободных от ленных повинностей, жителей. Каждый *tun* решал свои дела на сходе (*tun gemot*), в котором принимали участие все свободные люди, без различия пола. Группа таких единиц составляла «сотню», *Hundreds* или *Wapentakes*. Следы этих «сотен» сохранились еще до сих пор в различных местах Англии. Таковы, напр., деревни Бернгэл, Десбаро, Стон и Бекс, составляющие до сих пор «Чилтернскую сотню»². Группа «сотен» составляла «Shires», т.е. графство. Слово «Shire» в прежнее время не заключало в себе понятия административного деления, каков, напр., смысл слова «губерния». «Shire» — понятие территориальное и означало площадь земли, отведенную известному племени. Группа «Shires» составляла королевство. Так, напр., группа графств, составляющих теперь мир, обрабатывающий волокнистые вещества, — входила когда-то в состав королевства Мерция. Каждая «сотня» имела свое вече — *Hundred-gemot*, разбиравшее все дела, как гражданские, так и уголовные. На *Hundred-gemot* каждая земская единица присылала своего судью (*reeve*) и четырех представителей. Во главе веча находился выборный «сотник» (*Hundred-ealdor*). Представители от «сотен» собирались на «совет графства». Дела всего графства находились в руках старшины (*ealdorman*) и шерифа (*Scir-Gerefa*, впоследствии *sherff*). Когда-то страшина выбирался всем населением графства: но мало-помалу власть старшины стала наследственной. До норманского завоевания наследственный *ealdorman* должен был вступать во власть с соизволения короля. Шериф назначался королем и, собственно говоря, он наиболее напоминал наших губернаторов, потому что «был первым блюстителем» в графстве «неприкосновенности прав верховной власти». Кроме деревень, в древней Англии мы видим еще города (*Burh*), возникшие обыкновенно из сильно укрепленного поселения вождя. *Burh* управлялся своим советом свободных граждан (*Burh-gemot*).

¹ E.Fordham. «The Evolution of Local and Imperial Government», p. 4.

² См. о них «Очерки Современной Англии», стр. 539.

Обязанности шерифа теперь немногочисленны и «безвредны» для мирного обывателя; но для верности при каждом шерифе существует товарищ его (*under-sheriff*), адвокат, следящий за тем, чтобы «первое лицо в графстве» не нарушило в чем-нибудь закона. Английская «губерния» в высшей степени благоустроена, порядок в ней образцовый, обывателю живется свободно. При внимательном изучении вас поражает, однако, не столько это благоустройство, сколько то, какое ничтожное количество чиновников, в сравнении с Россией, работает в английской «губернии». Там, где в России заседает целая армия провинциальных юпитеров, в Англии скромно и деловито работает *один* клэрк. У нас в провинции шага ступить нельзя, чтобы не понадобилось посетить какую-нибудь «канцелярию» с наглым и грубым чернильным населением. Я не знаю, как на севере, но на юге России нет ни одной канцелярии, где, помимо грубости, невоспитанности и некультурности, не процветало бы еще самое отчаянное и беззастенчивое взяточничество. Английская «губерния» обходится почти без канцелярий и без армии «советников» всякого ранга, содержание которых стоит так дорого народу.

VI

Заведывание делами графства, по «Local Government Act» 1888 г., находится в руках избираемого населением совета графства. Избирателями могут быть как мужчины, так и женщины, совершеннолетние, не опорооченные судом и не получающие пособия из благотворительных учреждений. Избиратель должен, кроме того, занимать известное помещение в графстве или арендовать там землю.

Англия и Уэльс разделены на 62 графства. Число выборных советников зависит от количества населения в графстве. Самое меньшее число советников — 28 (графство Гэтлэн), самое большее — 138 (Ланкастер). Советы графств заботятся о финансах «губернии», общественных зданиях, мостах, дорогах, домах для умалишенных, исправительных заведениях; советы заведуют составлением избирательных парламентских списков, назначают коронеров и контролируют полицию. Государственной полиции, т.е. жандармерии, этого источника произвола, насилия и провокации, в Англии нет. В «губернии» есть только несколько «бобби», заботящихся о безопасности мирных обывателей. Помимо всех других соображений, отсутствие многочисленной полиции, жандармерии, стражников, шпионов, охранников и мундирных громил отзывается крайне выгодно на кармане обывателя. По закону 1902 г., совету графства предоставлено также дело народного образования. В английской «губернии» немалыми конфликты, постоянно возникающие у нас, вследствие вмешательства администрации в школы, грубого устранения учителей, бессмысленных запрещений лекций и чтений и пр. Английские города, имеющие населения больше, чем 50 тысяч, в административном отношении составляют самостоятельные единицы и управ-

ляются, как будто бы составляли отдельное графство. Центральная власть в английской «губернии» представлена очень слабо. Мы имеем в каждом графстве «наместника» (Lord-lieutenant), считающегося военным представителем короны; но это — пост, главным образом, почетный, не связанный ни с какими правами над обывателями, их свободой или имуществом. У нас «хозяин» в губернии дает себя чувствовать на каждом шагу. Провинциальные газеты постоянно говорят о том, что хозяин «отбыл», запретил, сократил, сделал строжайшее внушение, распек, арестовал, выслал, вызвал войска, приказал стрелять или пороть и пр. Теперь, как известно, помимо перечисленного, многие «хозяева» заняты еще организацией погромов. Ничего подобного английский lord-lieutenant не делает и не имеет права делать. Провинциал до самой смерти не знает, если не справится в адрес-календаре, кто у них в графстве «наместник». Вот почему жизнь в английской провинции идет так спокойно. По словам знатного иностранца, цитируемого Щедриным, в России «существует особенное сословие помпадуров, назначение которого в том именно и заключается, чтобы нарушать общественную тишину и сеять раздоры с целью успешного их подавления». Lord-lieutenant, т.е. английский губернатор, считается лишь командующим войска, расположенных в «губернии». Он не имеет права оценивать «благонадежность» обывателей или общественных деятелей, не может устранять их и, вообще, не имеет никакого касательства к «внутренней политике». Нужно ли более поразительное доказательство, чем следующее? Наместником графства Уоррик является теперь граф Уоррик, занимающий старинный замок, выстроенный его предками в X веке. Лэди Уоррик, жена графа, блиставшая недавно на придворных балах своею красотой и умом, — теперь видный член «Social Democratic Federation». В своем памфлете о безработных, изданном в начале этого года, Лэди Уоррик доказывает, что безработица — болезнь, коренящаяся в самом строе современного общества. Никакими палиативами эту болезнь исцелить нельзя. Необходимо радикально перестроить общество. Как видите, английская «губернаторша» так же мало походит на русскую, как графство на губернию.

Кроме «наместника», коронными чиновниками в графстве являются: *custos rotulorum* (архивариус), шериф и коронер. По старинному обычаю, восходящему ко времени Эдуарда II, ежегодно, накануне дня св. Мартына (12 ноября), лорд канцлер и министр финансов назначают по три шерифа на каждое графство. Список представляется потом 3 февраля королю, который прокалывает булавкой первое имя в каждой группе из трех. Отмеченный считается избранным в шерифы. На практике в шерифы избираются местные помещики, но для обывателя они совершенно безвредны, хотя считаются «первыми людьми в графстве». Во-первых, шериф назначается только на год¹, во-вторых, произвол его, если бы он мог даже проявиться, нейтрализован правами каждого гражданина. Шериф председательствует на провинциальных выборах; он заботится о поддержании поряд-

ка в графстве. В случае беспорядков, шериф призывает *posse comitatus*, т.е. все население графства, чтобы оно помогло ему поддержать спокойствие. И все, отказавшиеся исполнить это приглашение, «если им больше, чем пятнадцать лет, и они имеют звание ниже пера», подлежат штрафу или аресту. На практике обязанности шерифа очень скромны. Он присутствует при приведении в исполнение смертной казни, задерживает, по постановлению суда, имущество несостоятельных должников (в этом ему помогает *bailiff*). Когда-то шериф был также и судьей, но этого уже давно нет.

Tun-gemot теперь преобразован в самоуправление «*прихода*» (*parish*). Нынешний «совет графства» является преемником средневековых съездов, с естественной эволюцией. *Burh-gemot* — являются нынешние муниципальные советы. Вся Британская империя состоит из самоуправляющихся единиц. Мы видим самоуправление в приходе, в городе, в совете графства, в Соединенном Королевстве. Сама империя состоит из группы самостоятельных демократий, каждая из которых составляет, в свою очередь, конгломерат самоуправляющихся единиц (напр., Канада составляет союз двух демократий, различных между собою по языку и по вере).

В средние века женщины играли видную роль в общественной жизни Англии. Они были шерифами, судьями и присяжными¹. Ссылаясь на эти прецеденты, английские женщины подали парламенту в 1643 г. петицию, в которой ходатайствовали об участии в общественной жизни страны. «Благородным рыцарям и гражданам, заседающим в палате общин от дворянок, купчих и других особ женского пола прошение», — читаем мы в этой петиции. — «Просительницы признают заботы коммонеров о государственных делах и охотно поддержали петицию, поданную парламентом королю о вольностях граждан и о святости религиозных убеждений отдельных лиц». Женщины просили, чтобы и на них распространялись те привилегии, которых добиваются мужчины. Из мотивов, выставленных женщинами, я приведу только один. Женщины должны пользоваться равными гражданскими правами, «потому что они страдают одинаково с мужчинами от тирании и от преследования религиозных убеждений. Деспотия предоставляет своим агентам право мучить одинаково как мужчин, так и женщин».

VII

Флаги, венки, щиты, гербы графства, разряженные жители... Мы миновали старинную башню, защищавшую когда-то городские ворота, и въехали в Уоррик. Русского в «губернских» английских городах поражает не столько уютность и красота старинных елизаветинских домов с острыми, высокими крышами и выступающими вперед

¹ Примеры приведены в «*Evolution of Local and Imperial Government*», 150.

верхними этажами, — сколько... отсутствие мундирных людей на улицах. Мундир всегда знаменует право произвола, предоставленное одному человеку над другим. Когда после многолетнего проживания в Англии, я приехал в Россию, меня прежде всего поразило обилие мундирной публики. На улицах Лондона еще можно встретить людей в мундирах: солдат, полисменов и швейцаров. В английской провинции солдат нет. Таким образом, в целом «губернском» городе можно встретить только несколько полисменов в мундирах, да и то без оружия. Это отсутствие насилия в ливреях и вооруженных людей как-то особенно внушительно говорит о гражданской свободе. Впрочем, сегодня в Уоррике более двух тысяч людей, выряженных в платье всех веков. Это — актеры-любители, горожане Уоррика и соседних городков, принимающие участие в pageants. Представление дается людьми, не заинтересованными в нем материально. Год тому назад Уоррик решил отпраздновать свой многовековой юбилей. У нас такой праздник принял бы немедленно казенно-торжественный характер, с губернатором, войсками, жандармами, архиереями и витиями, вдохновленными полицейским участком. Да и что вспоминать большинству наших городов, кроме правительственных экзекуций? В Уоррике, когда решено было устроить «pageants», организовалась немедленно лига горожан, которая выбрала председателя и тщательно выработала план. Затем нашлись композиторы, поэты, декораторы, предложившие безвозмездно свой труд. Вызвали любителей. Организован был «комитет археологов», который должен был порыться в Британском музее и в старинных церквах, чтобы составить рисунки костюмов. Доспехи рыцарей тоже были тщательно скопированы. И через восемь месяцев, в начале весны, все было готово, пьеса составлена, роли разучены и начались репетиции. Граф Уоррик предложил к услугам граждан, вместо театра, свой громадный парк. Когда все было срепетировано, публика со всей Англии отправилась смотреть pageants, повторявшиеся шесть дней подряд.

Сценой является громадный луг, почти в версту. Кулисами служат купы развесистых дубов и буков. На заднем плане этого естественного театра — старинный замок с зубчатыми стенами и высокими башнями, за ним — высокий холм, по откосу которого вьется дорога, а вдали — лес. У подножья холма вьется сонный Авон, в который глядятся уродливые ветлы, похожие на гномов, припавших к воде, чтобы напиться. Из за «кулис», т.е. из-под тени дубов, выступают группы разряженных людей, мужчин и женщин, взрослых и детей. Различные эпохи меняются с поразительной быстротой. Представление состоит из ряда картин, или эпизодов, одиннадцати числом. Каждая картина построена на каком-нибудь эпизоде, действительном или легендарном, из жизни города Уоррика. Первый эпизод относится к временам друидов, последний — к XVIII веку. «Театр» так громаден, что слова, сочиненные местными поэтами, почти не слышны: но «pageants» рассчитаны, главным образом, на то, что их будут воспринимать глазами.

Где-то звучат рога и ударные инструменты. Начинается первый эпизод из времен борьбы бриттов с римскими завоевателями. На сцену является король Кимбелин, тот самый, который у Шекспира назван Цимбелином. Король провозглашает разрыв с Римом и обращается к начальнику легиона с патриотической речью, взятой из трагедии Шекспира:

«Пока с нас не взял дани
Насильно Рим, народ свободен был.
Но честолюбие Цезаря росло,
Так что почти расторгло все строение
Вселенной. Он без права и предлога
Надел на нас ярмо; его стряхнуть
Народ отважный должен, а таким
Считаем мы себя».

Провозглашение войны сопровождается человеческими жертвоприношениями. Каменный алтарь, к которому друид, в белом плаще и в венке из омелы, влечет девицу с распущенными волосами, в красном казакине, точно скопирован с древнего городища Стонедж, на Солсбри Плейнс, где до сих пор видны древние жертвенники. В шести последующих картинах выступают графы Уоррик, начиная от легендарного Гая до «свергателя королей», выведенного в шекспировской хронике «Король Генрих VI». Легенды про Гая Уоррика можно найти в каждом сборнике английских сказок. Гай, чтобы замолить грехи, отправился крестоносцем в Палестину. В боях с сарацинами он переродился совершенно и возвратился через несколько лет в родной Уоррик, никем не признанный. Здесь он жил отшельником, со скорбью вспоминая то время, когда насильничал над вассалами. Скоро Гай Уоррик оказал своим согражданам великую услугу, которая заставила их совершенно забыть прошлое. На берегу Авона, под скалой в пещере поселилось громадное чудовище «The Dun Cow», забодавшее рогами десятки людей. Гай Уоррик вступил в единоборство с чудовищем и убил его. «Эпизод» заканчивается тем, что на колеснице влекут громадную голову чудовища. Сзади с песнями и плясками идут дети и женщины. Голова «Dun Cow» сработана местным ваятелем. Величиной она в добрую сажень. Мастер не пожалел киновари для глаз и для языка. Рога чудовища тоже очень внушительны, а чтобы придать голове более страшный вид, мастер снабдил еще ее челюсти четырьмя торчащими острыми клыками, что для «Cow» уже несколько излишняя роскошь. Но зрители не придиричивы и награждают бурными аплодисментами и актеров и мастера. Самая продолжительная картина — десятая. Содержание ее — посещение Уоррика королевой Елизаветой и лордом Лейстером. Мы имеем, как известно, несколько литературных портретов королевы. Шиллер резко отнесся «к царственной лицемерке» и заставил Марию Стюарт воскликнуть:

«Ублюдком осквернен престол британский!
Кривлякой лицемерной одурачен
Доверчивый народ».

Елизавета у Шиллера сама признает себя лицемеркой: «О, рабский гнет служения народу! — говорит она. — Позорное холопство... Как устала я этому кумиру поклоняться, которого в душе так презираю! Когда ж мой трон свободным тронем станет! Должна я чтить общественное мнение, чтоб от толпы стяжать хвалы пустые, — угождать должна я перед чернью, которой лишь фиглярство любо». Англичане считают этот портрет злобной, неверной карикатурой и совершенно отрицательно относятся к трагедии Шиллера. Это тем более любопытно, что характеристика Елизаветы, сделанная одним из самых замечательных английских историков, в сущности, гораздо более беспощадна. Грин отдает должное учености Елизаветы, но зато указывает на грубость ее натуры (на возражение Эссекса, напр., она ответила оплеухой). Поразительное тщеславие, распущенность и лживость Елизаветы хорошо известны. «В бесконечном лабиринте лжи и интриг уважение к ней, как к выдающемуся лицу, почти теряется и заменяется презрением»¹. Мне пришлось как-то указывать, что «восхищение». Елизаветой так же несправедливо, как и «презрение». «Елизавета, как впоследствии Виктория, — были типичными представительницами женщин двух различных фазисов развития страны... Властолюбивая, жестокая, хитрая, ученая и распущенная, Елизавета была типичной представительницей правящего класса того времени. Она признавала палату общин, как неизбежное зло, без которого нельзя вводить новых налогов. Правящий класс признавал в Елизавете то, что считал наиболее достойным для дворянина, и любил ее».

С рождением империализма в Англии создан особый культ «королевы Бетс», т.е. Елизаветы. Ее признали величайшей, мудрейшей и наиболее проницательной королевой всех времен и народов. В «pageants» Елизавета выведена в таком именно свете. Она является на сцену в старинной великолепной, неуклюжей карете, окруженная пышной свитой. Старинные гильдии Уоррика выходят ей навстречу. Елизавета поднимается на престол, и ей представляют семилетнего Шекспира (дело происходит в 1572 г.); затем королева спускается к реке и уплывает в золоченой барке. Pageants заканчиваются апофеозом. Гений города Уоррика принимает «четырнадцать своих сестер»: каждая из них представляет новый город того же наименования, основанный выходцами из метрополии в Америке или в Австралии. Апофеоз символизирует молодые мощные демократии, которые возникли за океаном и создали там новые формы общественности.

¹ J.K.Green, «A short History of the English People», p. 305.

Публика шумно высыпает из широко раскрытых ворот замка. Кареты, omnibusы и кэбы берутся нарасхват. Очень многим приходится пешком идти парком версты две, до Лимингтона, чтобы взять там поезд в Лондон. На дороге звучат веселые беззаботные голоса бесчисленных зрителей и в душе невольно пробуждается чувство зависти. «Чем они лучше нас? — думается русскому. — А между тем, им уже давно удалось устроить себе мирную спокойную, веселую жизнь. Они так давно покончили с деспотизмом, что самое чувство ненависти к нему рассеялось бесследно; они готовы смотреть на это кровавое прошлое, как на интересную и красивую игрушку»...

1908 г.

Борьба с роскошью в Англии

На днях в нашем издании выходит книга К.И. Чуковского «Англия накануне победы». Как известно, К.И. Чуковский был приглашен в английский фронт британским правительством в качестве представителя «Нивы». Его книга и является отчетом об этой поездке. Приводим из этой книги одну главу, посвященную животрепещущему вопросу «о дороговизне».

I

Письма в редакцию

Даже обгорелые спички не пропадают в Германии даром.

Немец, закулив папиросу, не выбросит потухшей спички, а прячет ее бережно в коробочку, чтобы спичечные фабрики снова приделали к ней головку и пустили вторично в оборот.

В результате экономия огромная. Сколько сберегается дерева.

Такое немецкое плюшкинство взбудоражило англичан чрезвычайно. Английская газета «Daily Mail» даже снимок с этой спички напечатала: «Вот урок, достойный подражания».

— У немцев даже спички и те сберегаются, а мы мотаем свое добро, как безумные, — подхватили другие газеты и стали наперебой приводить примеры необузданных трат.

Вот уж полгода как призыв к экономии сделался в Англии лозунгом.

— Долой воротнички и манжеты! — призывает, например, «Daily Mail». — Откажитесь от крахмального белья! Ведь в Англии ежедневно крахмалится пятьдесят миллионов штук манишек, воротничков и манжет! В год два с половиной миллиарда! Сколько тратится крахмала и угля! На семьдесят миллионов рублей!

А какая-то матрона в «Daily News» с энтузиазмом проповедует фартук. Фартук сэкономит миллионы. Благодеяние нации в фартуке. Купите самого простого коленкора, сшейте фартуки детям и взрослым, и пусть носят их, не снимая, весь день. Это сказочно сохранит их одежду.

Начался любопытнейший спорт: кто кого превзойдет в экономии. Во всех газетах замелькали заметки:

— Как из старой шляпы сделать новую.

— Как из газетной бумаги сшить себе матрац и одеяло.

Ведь вот немцы: сделают из газетной бумаги лапшу и подстилают под коров, как солому! По сообщению «Times», гамбургский профессор фон-Менер придумал даже удивительный способ превращать газетную бумагу в корм для домашнего скота!

— Таким образом, — возвещает профессор, — те самые газетные листы, которые питали собою умы и сердца человеческие, сделаются кормом для коров и дадут нам молоко и бифштексы.

Шустрый листок «Daily Mail», захлебываясь, пропагандирует курицу. Если Рим был спасен гусями, то Лондон спасут только куры. Устройте у себя на квартите курятники и кушайте бесплатную яичницу. Лондонцы даже крыши домов превратили в куриное царство. И стали похвалиться в газетах:

— В конце февраля я купил семь кур и получил от них к октябрю 792 яйца. Корм стоит кустяки: 10 рублей, — пишет мистер Фром в «Daily Mail».

— А мои восемь курочек дали мне за три месяца 430 яичек, и какие свежие, крупные! — подхватывает мистер Ланготок.

Все охвачены азартом бережливости. Экономия стала общей религией. И пусть в этих обывательских планах о сбережении национальных богатств много наивного, анекдотического, а все же чувствую в них отражение гениальной английской гражданственности, внушающей всякому Джонсу и Джонсону, будто они страшно ответственны за судьбы Великобританской империи. Ничего, что в экстазе благого порыва многое доведено до смешного! Самый этот экстаз не смешон, самый порыв патетичен. Обществу порою бывает полезно помешаться на каком-нибудь пункте, сделать его своей *idée fixe*, довести его почти до абсурда: тогда-то он и внедрится в сознание самых апатичных и вялых. Пусть экономия превратится в манию; мания ведь бывает заразительна.

Не смейтесь же над смешными проектами: в Англии и из этого мусора умеют извлекать драгоценности.

Всякая, даже самая большая, реформа начинается в Англии именно с «писем в редакцию», с наивнейших, нелепейших проектов.

Без обывательских «писем в редакцию» английские газеты немислимы. Они печатают эти письма в большом изобилии, по десяти, по двадцати ежедневно, куда взбудораженные ими читатели не устраивать на какой-нибудь площади или в каком-нибудь парке под деревом митинг, в результате которого — тут же на воздухе — возникнет многошумная лига.

Лига зашумит, загремит, засыплет всех памфлетами, воззваниями, и вот через какой-нибудь месяц в парламенте уже заседает комиссия, где лучшие умы государства превращают обывательские бредни в стройные и строгие законы.

Сперва отдельные личности, потом общественные союзы, затем правительство, законодательная власть, — таковы этапы, которые в Англии чрезвычайно быстро проходит всякая общественно-полезная мысль.

Мысль о сбережении национальных богатств пошла по тому же пути.

Сначала умные и глупые советы, сочиняемые всякой мелкотой и печатаемые в виде «писем в редакцию». О чем только не говорилось в этих письмах!

О том, что каминные уголья вдвое дольше горят и дают вдвое больше тепла, если их обрызгать соленой водой.

О том, что картошку в военное время выгоднее есть с шелухой.

О том, что для удешевления лекарств школьники должны собирать на каникулах целебные травы.

О том, что вечерней газетой с успехом заменяется пыльная тряпка для вытирания картин и зеркал.

О том, что комнатное разведение кроликов — занятие дешевое и прибыльное.

И так дальше, и так дальше, и там дальше. Все чаще стали вспоминать поговорку: «когда нету мыши, кошка довольствуется и мухами», — и вот две дамы, Мэри и Джон Файндлэтер, напечатали милую повесть под заглавием: «Довольны и мухами», где весело и подробно рассказывается, как экономно они вели хозяйство в Шотландии, без прислуги, сами стряпали и мыли полы.

А некто, скрывшийся под псевдонимом *Survivor*, обнародовал книжку «Как жить без прислуги. Вновь обретенное семейное счастье».

Эти письма, брошюры, статейки вызваны стихийным порывом, не нашедшим еще широкого выхода, не воплотившимся еще во всенародную волю.

Но скоро этот хаос оформился. Разрозненные вопли и жалобы начали сливаться в общий хор. Появилась «Лига экономии», и не одна, а десятки.

II

Лиги. — Выставки экономии

Жена пэра, богатейшая дама, лэди Джульетта Дефф заявила газетным сотрудникам, что в своем доме-дворце она для сокращения расходов почти совсем упраздняет обеды: пожует немного мяса и сыра — вот и весь ее «военный обед». В гости не ходит и к себе не зовет опять-таки во имя экономии; платье носит старые, поношенные и убеждает друзей придерживаться такой же системы¹.

А лэди Корнелия Уимборн основала специальное общество — женскую лигу военной экономии: *Women's War Economy League*. И в это общество демонстративно вступили такие аристократки-богачки, как герцогиня Сутерлэнд, герцогиня Бьюфорт, маркиза Рипон, княгиня Пемброк, виконтесса Ридли, лэди Айлингтон, — хотя им-то для чего экономить! Но каждой барыне, конечно, стало лестно

¹ «Daily Mail». Aug. 7, 1015.

примкнуть к такой сиятельной лиге. Дамы ринулись туда целыми толпами.

Вступающие в лигу обязываются:

1. Носить старомодные платья, не гоняясь за новейшими фасонами.
2. Ходить пешком, отречься от автомобиля. (Прибегать к таксомотору допускается только с благотворительной целью.)
3. Не приглашать никого к обеду ни к себе домой, ни в ресторан.
4. Не покупать заграничных товаров, предметов комфорта и роскоши.
5. Рассчитать лакеев и дворецких, доведя число прислуги до минимума.

Лига сразу приобрела популярность, и так как в Англии средние классы всегда подражали высшим, а низшие тянулись за средними, то теперь, когда с самых верхов раздался призыв к экономии, всякая грошевая скарденность, получив великосветскую санкцию, стала признаком хорошего тона.

Обходиться без извозчика, без портного, без повара нынче высший шик, щегольство.

Ежели маркиза Рипон не шьет себе модного платья, то какая-нибудь миссис Джонс или Джонсон с радостью наденет прошлогоднее, видя в этом верх фешенебельности.

В Англии относятся к костюму очень нетерпимо и требовательно. Этикет деспотически строг. Не только в великосветском, но даже в среднем кругу дамы должны являться к обеду в пышных декольтированных платьях: иначе нельзя, неприлично.

Но и на эту вековую традицию решили англичане посягнуть. В «Times» некая дама, ссылаясь на военные тяготы, обращается к аристократической лиге с мольбой отменить хоть на время войны «сей разорительный и глупый обычай» («Times». Aug. 16).

А сокрушительный мистер Мьюгайр выступает с более эволюционным проектом:

— К черту всякие дамские тряпки! Нам не нужно кокеток и модниц! Их бантики, пуговки, ленточки только разоряют страну. Теперь не до бабьих капризов! Всех женщин без различия возраста одеть, как арестанток, одинаково: в одинаковые кофты и юбки из какой-нибудь дешевой материи, — ни шлейфов, ни декольте, ни корсетов! — вот и будет экономия величайшая, — не то, что от яиц или спичек! Миллиардов сбережется без счета («Times», Aug. 10).

Поднялась невообразимая буря. Женщины всего королевства три дня предавали анафеме этого нелюбезного джентльмена. Его проект, конечно, провалился, но и модницам пришлось нелегко. Вскоре на тысяче фактов английский обшество могло убедиться, что этот призыв к экономии не был газетной шумихой. Я с изумлением, например, прочитал в «Daily Telegraph», что даже фирма знаменитого Ворта должна была, из-за недостатка клиентов, закрыть свое отделение

ние в Лондоне. Сказалась-таки экономия «тряпок»! Двести служащих остались без места.

Лэди Чанс, почти одновременно с лэди Корнелией Уимборн, основала другую подобную лигу, — «Национальную лигу сбережения провизии», устроив в Лондоне и в провинции классы для обучения дам и девиц дешевой и вкусной стряпне, а также издала руководство «Как вести хозяйство на 50 рублей в месяц».

Для пропаганды своих заветных идей, эти общества-лиги, союзы придумали множество средств, и среди них превосходнейшее — «Выставку бережливости», выставку образцов экономии. Такая выставка, очень помпезная, открылась в конце июня в клубе конькобежцев на катке. Чего только на этой выставке не было!

Вольтеровское кресло из сахарных ящиков! Сказочно дешевые козы со сказочно дешевым молоком! Волшебные кастрюли, в которых одновременно, сразу изготавливается несколько разнообразнейших блюд; и суп, и котлеты, и сладкое! Волшебные сундуки, набитые кирпичами и сеном, где без огня кипятятся всевозможные компоты и супы. Шикарные детские курточки, сшитые из старых отцовских штанов!

Выставку в первый же день соблаговолила посетить королева. Лорд-мэр, открывая выставку, произнес вдохновенное слово.

— Бережливость в тылу — это то же, что доблесть в бою!

И тут же пожертвовал пять фунтов стерлингов для выдачи приза тому, кто вкуснее изжарит картошку!

Какая-то графиня вслед за ним предложила приз за лучший фаршук.

На выставке имеется книга, куда посетители вписывают свои собственные проекты и планы удешевления жизни. Кто выдумает лучший проект, тот получит приз.

Тут же кафедра, с которой популярные лекторы ежедневно по таким-то часам проклинаят мотовство. Выставка сделалась истинной школой хозяек: те так и являлись туда, как ученицы, с тетрадочками — для записывания всяческих рецептов.

Из Лондона выставка направилась в Ливерпуль, из Ливерпуля в Манчестер, сделалась «передвижной», в роде нашей художественной, привлекая к своей пропаганде все больше союзов и лиг.

Словом, бессильные, разрозненные обывательские вопли стали постепенно сменяться организацией общественных сил.

III

Цель экономии

Но зачем же англичанам экономить? Разве они обеднели? Неужели их фантастически-богатые лорды уже не в силах наряжать своих жен и нанять себе хоть тысячу лакеев?

Да и самый последний бедняк, — почему он должен сжиматься и ежиться, если именно теперь-то впервые завелись у него лишние шиллинги?

Ведь на угольных коях, на заводах, на фабриках нынче платят рабочим отлично: у многих появились впервые шальные, неподвижные деньги, — куда же их, скажите, девать?

Не только всяческие купцы и подрядчики, но даже солдатские жены, даже фабричные девушки, работающие над изготовлением снарядов, — и те дорвались до таких капиталов, какие им дотоле и не снились¹.

Им, конечно, хочется побаловаться сережками, леденцами, кинематографом, шляпкой, а их за это клеймят, как преступниц, и зовут изменницами родине. Министры, журналисты, священники уговаривают их не франтить, не тратить на глупые прихоти, ибо в этом для Англия пагуба.

Когда же им и тратить, как не нынче!

Они впервые за всю свою жизнь могли бы вдоволь наесться мясного, а их призывают к селедке! «Селедка, салат и сыр вполне заменяют мясо, — уверяет их газета «Daily News». — Вместо масла можно употреблять маргарин... Помните, что каждая рюмка, выпитая вами теперь, способствует продлению войны».

Министерство народного просвещения пичкает их бесплатными книжками с рецептиками дешевых обедов.

Каждый, покупающий в настоящее время серьги, драгоценные камни, меха, объявлен врагом государства. Каждый, кто заботится теперь о комфорте, считается пособником кайзера.

Откуда же такой ригоризм? Почему довольство и сытость признаются теперь, как безнравственность? Разве Англии грозит голодание? Ведь хлеба подвозится вдоволь: океаны в руках у англичан. Ведь в лавках избыток товара. Ведь из всех ныне воюющих наций англичане меньше всего ощутили экономический гнет. Цены растут, но не очень. Фунт превосходного чая — девяносто копеек, рубль. Сахар, по заявлению министра финансов, дешевле, чем где-нибудь в мире. О каких-нибудь хвостах и не слышали. Скажите англичанину, что в России овес вздорожал на 244 процента, — и он подумает, что вы сумасшедший. В Англии только на 30 процентов повысилась стоимость жизни.

У нас бы ликовали и блаженствовали; англичане же кричат карал и основывают целые лиги для бойкота вздорожавших товаров.

Где же основания для такой чрезмерной тревоги?

Во-первых, англичане надеются уменьшением спроса добиться понижения цен. Министр финансов Мак-Кенна, обращаясь к английским рабочим, сказал:

¹ В Англии паек, приходящийся на семью солдата-добровольца, часто превышает ту сумму, которую солдат разрабатывал в мирное время.

— Нужно ли доказывать вам, что ваша расточительность во время войны опасна для всего государства. Усиленно покупая продукты отечественной и иностранной промышленности, вы содействуете повышению цен, способствуете дороговизне предметов и тем обижаете своих беднейших товарищей. Я согласен, что рабочий, у которого увеличился заработок, в праве предоставить жене и ребятам немного больше комфорта и роскоши, — но не теперь же, не во время войны! А если вы будете тотчас же тратить все излишки своего заработка, то цены будут расти и расти, и излишки перестанут быть излишками.

Но дело не в одной дороговизне. Есть и другие причины, побуждающие английское общество проповедывать «святую экономию».

Предвидятся огромные расходы. Согласно недавнему сообщению премьера, англичане тратят на военные нужды 50000000 в день. В четыре дня война поглощает у них столько денег, сколько прежде они тратили в год на просвещение страны. То, что накануне войны составляло годовой бюджет королевства, расходуется нынче в пять недель. На боевое снаряжение армии уходит в день 10000000 рублей, и эти деньги никогда не вернутся.

Нужно покупать не предметы потребления, а облигации военных займов. Нужно через посредство сберегательных касс увеличить ресурсы страны. К концу войны национальный долг возрастет на 20 миллиардов рублей. Одних процентов придется уплачивать ежегодно до 900 миллионов.

Страшное количество денег нужно будет выдавать в виде пенсии и раненым, и семьям убитых. В год не меньше двухсот миллионов.

Словом, государству понадобятся все даже мелкие деньги каждого гражданина-плательщика. Особенно же для него нежелательно, чтобы деньги уплывали из страны. Нации в военное время нужен весь имеющийся у нее капитал и все ее рабочие руки исключительно для ведения войны; те же, кто для удовлетворения собственных прихотей отвлекают от военного дела хоть малую долю ее труда и ее капитала, способствуют ее ослаблению.

— Каждый фунт стерлингов, который вы отложите до окончания войны, — сказал рабочим министр финансов, — обогащает страну ровно вдвое, ибо на двадцать шиллингов увеличивается ваш национальный капитал да на двадцать шиллингов остается в запасе непроданных продуктов.

Из тех пятидесяти миллионов рублей, которые ежедневно тратятся Англией на ведение войны, большая доля остается в стране и распределяется среди населения, работающего в военной промышленности. Вот об участии этих-то денег и беспокоится английское общество. Нужно удержать эти деньги в стране, нужно, чтобы, благодаря их изобилию, не началась эпидемия дороговизны, и, главное, нужно направить эти деньги в сберегательные кассы и в банки, чтобы они снова вернулись в руки военных властей для дальнейшего

ведения войны. Кроме того, отрекаясь от предметов комфорта и роскоши, вы освободите для военной работы множество поездов и судов, которые ныне заняты доставкой этих предметов.

IV «Министерство экономии»

К пропаганде был, конечно, привлечен и могучий трибун городской черни — кинематограф!

По заказу министерства финансов изготовили особую фильму под заглавием: «Для блага Империи», которая наглядно демонстрировала выгоду (и героическую красоту!) спартанского отречения от разных житейских усад.

И вот когда всевозможные «письма в редакцию», митинги, выставки, лиги, плакаты, парламентские речи, памфлеты, кинематографы и проч., и проч., и проч. внушили всем, — даже маленьким детям, — что в бережливости спасение страны, на сцену выступили власти, правительство, наступила третья последняя стадия организации общественных сил.

Возник особый Комитет Военных Сбережений, нечто в роде министерства экономии, и повел затеянное обывателем дело размашисто, широко, по-министерски.

Дело очутилось в руках у городских самоуправлений, у лорд-мэра и провинциальных мэров, и те объединили, сконцентрировали всю дотоле рассеянную энергию лиг и союзов.

Экономия стала государственным делом. Во всей стране появились в продаже особые билетки-сертификаты. Заплатите за этот билетик семь с половиной — и после войны вы получите десять рублей. За 15 1/2 шиллингов вы покупаете 20!.. Но если у вас нет серебряных шиллингов, а есть только медные пенсы, неужели вам стоять в стороне? нет, вы покупаете клочок сертификата — хоть за четыре копейки! — и после войны вам достанется пять.

Всякому приятно купить себе гривенник за восемь копеек, — а государству от этого грандиозная польза. Еженедельно оно получает от самых неимущих слоев населения, по мелочам, по грошам, несколько миллионов рублей.

С каждой неделей количество вкладчиков не убывает, а все растет и растет. Каждую неделю Комитет Сбережений печатает подробный отчет о количестве купленных «сертификатов»:

Так,

в понедельник 3-го июля было куплено	...	253679
во вторник 4-го июля было куплено	...	252946
в среду 5-го июля было куплено	...	262102
в четверг 6-го июля было куплено	...	246364
в пятницу 7-го июля было куплено	...	261949
в субботу 8-го июля было куплено	...	341807
Итого	...	1618875

Помножьте эту цифру на семь с половиной, вы получите изрядную сумму.

Население со спортсменским азартом следит за результатом своей экономии, — а правительство, чтобы этот жар не остыл, распаляет его всякими средствами.

В середине июля оно, например, объявило особую «Неделю воздержания», неделю поста, предлагая гражданам, насколько возможно, воздержаться от всяких покупок, от театров, от пива, от сладостей, и ссудить государству все деньги, какие им удалось сберечь. Успех этого «спорта» был неимоверный. Солдаты присылали из окопов, а матросы из дальних морей свои кровные пенсы и шиллинги. Школьники, к которым министр финансов обратился с горячим воззванием, отказались от любимых леденцов.

Вообще, благодаря Комитету, усиленное потребление всяких нужных и ненужных продуктов значительно сократилось, оттого и цены остались невзвинченными, хотя, конечно, экономия — не единственный способ для борьбы с дороговизной продуктов.

— Никто не требует, — сказал на днях министр экономии, — чтобы бедные люди, у которых впервые появилась возможность освободиться от тисков нищеты, отказывали себе в самом насущном. Нет, пусть купят своим детям башмаки и кровати, но к чему же покупать граммофоны, пианино, меха, зачем ходить в кинематограф ежедневно! Достаточно и одного раза в неделю. Ведь по окончании войны за каждый фунт стерлингов вы купите больше, чем теперь: все будет стоить дешевле. Иначе у правительства не будет возможности тратить на ведение войны 160 миллиардов.

Судя по отчетам английских газет, к началу ноября 1916 года эти грошевые сертификаты дали английским военным властям 450 миллионов.

В гостях у англичан

Прогулка с Конан-Дойлем

На одном из банкетов рядом со мной сидел высокий плечистый человек, с большим ртом полным крепких зубов, с закрученными в стрелку усами и добродушным взглядом светлых глаз. Близко нагнувшись ко мне, он на невероятном французском языке обещал зайти завтра в десять минут одиннадцатого в гостиницу, чтобы со мной и Чуковским сделать часовую прогулку по Лондону. Это был Конан-Дойль, когда-то незаметный врач, пописывающий рассказы, теперь ставший сэром Артуром за историю бурской войны.

Утро было мало пригодное для прогулок. Валила с неба какая-то невероятная гадость вроде снега; по Темзе скользили в желтоватом тумане тени баржей и пароходов. Голубоватые арки и линии мостов пропадали во мгле, где на том берегу едва были различимы готические верхи зданий; на деревьях по широкой набережной, куда выходило мое окно, на верхах автомобилей и трамваев, на зонтиках и шляпках прохожих, — повсюду лежал снег, он залепил с одной стороны иглу Клеопатры, и получился пейзаж, мало знакомый англичанам.

Точно в назначенный час Конан-Дойль позвонил по телефону из вестибюля, и мы втроем, выйдя на улицу, свернули к реке. Там в узком переулке он указал на почерневший от времени кирпичный дом, где во втором этаже жил когда-то Петр Великий, а на набережной, на месте теперешней каменной беседки, стояла в то время его лодочка. В наводнение вода доходила до самого парапета; Петр селся тогда в лодочку и плавал. Мы с Чуковским поверили об этом на слово сэру Артуру.

Затем нам было показано огромное, прокопченное здание военного министерства, где окна подвалов и первого этажа прикрыты железными сетками от воздушных бомб. Мы зашли в гвардейские казармы, выходящие в просторное поле Сен-Джемского парка; в воротах стоял рослый солдат с обнаженной шпагой, в шлеме и красном плаще. У других казарм в глубокой нише сидел на коне другой часовой, как памятник, одетый в латы, неподвижно, величественно.

По пути Конан-Дойль говорил о войне, объяснял формы встречаемых офицеров, вытаскивал из кармана какие-то записочки. По его словам, в 1914 году в Англии было всего 600 тысяч войск. Сейчас на всех фронтах, в маршевых ротах и запасных батальонах — миллион

ны, и столько же рекрутов. Он сам носит рекрутский значок, а его сын дерется во Франции солдатом.

Хлюпая по снегу, прикрывшись от дождя воротниками, мы шли к Вестминстерскому аббатству. Невероятно было предположить, что этот добродушный человек в синем пальто, с обмотанной коричневым шарфом бычачьей шеей, в котелке и с зонтиком, знал, как по цвету сигарного пепла раскрыть таинственное преступление. Услышав имя Шерлока Холмса, он обернулся и, показав все свои крепчайшие зубы, проговорил: «Однажды я пошел на Бекер-стрит посмотреть, кто живет в тридцать седьмом номере (квартира Шерлока Холмса и доктора Вотсона). Оказалось, там — фотография». Это был единственный литературный разговор за всю прогулку.

Мы зашли в Вестминстерское аббатство. Была служба; молились женщины и солдаты, касаясь лбами Евангелий, иные, закрыв руками лицо. Налево в дубовых нишах неподвижно сидели белые фигуры священников. Пели детские голоса. Высоко под готическими коричневато-серыми сводами, опирающимися на мощные колонны, тусклый свет дня лился сквозь силуэты и цветные стекла розы, — круглого окна. Заиграл орган, медленные его звуки наполнили все арки, ниши и дуги храма, и я увидел, что колоннады уходят бесконечно далеко вправо и влево, и храм полон народа. Казалось не одной человеческой силой сложена из камня и цемента эта величественная красота, но слишком человеческое и небольшое нужно усилие (поворот руки, сбрасывающей бомбу с цеппелина), чтобы все это рухнуло в одно мгновение...

«Англичане религиозны, но не слишком: у нас нет фанатиков, — сказал Конан-Дойль, выходя сквозь маленькую дверь на площадь, — а это место — очень памятное для меня и счастливое, — он указал на небольшую часовню, — здесь восемнадцать лет тому назад я венчался с моей теперешней женой». И мне показалось, что как тверды и крепки его зубы, так тверды и крепки мысли и решения его, так же твердо полюбил он на всю жизнь, и хорошо и уютно иметь другом такого человека. Как настоящий англичанин, он и простодушен, и тверд. Он верит, что лодочка Петра стояла именно в конце того переулка, и знает, если Англия решила выставить столько-то миллионов солдат, — именно такое-то число миллионов, а не меньше, будет сидеть в окопах.

Мимоездом он показал простой кирпичный домик, где в квартире в два окна жил лорд Байрон, и повез нас на Флит-стрит — улицу газет и журналистов. Там он внезапно нырнул в узкую дверцу. Мы прошли за ним через ветхий дворик в полутемный и еще более ветхий кабачок, поднялись по деревянной лесенке, посыпанной свежими опилками, в низкие комнаты второго этажа, где все, — столы, кресла, утварь, гравюры на кирпичных стенах, — осталось XVIII века. Здесь за дружеской беседой сживали доктор Джонсон и Бос-

вель. В другой комнате от затылка доктора Джонсона осталось на стене жирное пятно. В третьей — под стеклянным колпаком хранился его словарь.

А рядом, в кухне, на вертелах шипело мясо, девушка разносила в оловянных кружках эль, и посетители ели именно тот самый суп, тот сыр и тот бифстек, пудинг, которые когда-то любил сам доктор Джонсон.

На Флит-стрит мы расстались. Конан-Дойль, как медведь, боком прыгнул в проходивший омнибус и сверху долго еще махал нам перчаткой, потом котелком.

1916 г.

Англичане, когда они любезны

В тот год, когда после отхода из Польши русские войска снова были брошены в наступление на обледенелые высоты Эрзерума, когда правительство и либеральная русская печать в сотый раз заявили о своей верности союзникам и готовности драться до последней капли мужицкой крови, когда под Ипром немцы выпустили хлор и пропахали весь английский фронт тяжелыми снарядами, — тогда англичане стали говорить, что, в сущности, всегда любили русский народ и восхищались им и что русская душа — это особенная душа, загадочная и мистическая, и англичанам именно этой души и нехватало для полноты бытия.

В то время русскому патриотизму, — у которого одно крылышко было подбито на фронте, другое — в Царском Селе, — хороша была и такая подачка. А тут еще похвалил не кто-нибудь, а сама Англия. Патриоты обрадовались ужасно. И от ужасной радости, когда человек не знает, что ему еще выкинуть, — ударились в мистику.

Оказалось, — по их словам, — что русский крестьянин со своей загадочной душой является как бы женской частью европейской цивилизации: призван к восприятию семени европейской цивилизации, и что он это сознает (метафизически) слепым женственным инстинктом и потому слепо и беззаветно будет умирать в боях за свое мужское начало, то есть за союзников.

Подведено было ловко, философски. Сейчас немного странно писать эти слова, а тогда их с упоением повторяли в доброкачественных редакциях, в либеральном дыму, в изящных гостиных, на шумных банкетах, где будущие члены Временного правительства хлопали об пол бокалы с шампанским.

Англичане ответили на энтузиазм энтузиазмом. Шесть русских журналистов и писателей были командированы редакциями в Англию — посмотреть на жар английских чувств. В пути и во все время пребывания гостям были предоставлены восхитительные удобства (бесплатно), — чтобы было чем помянуть гостеприимство.

В промежутки между осмотрами военных заводов, флота и фронта устраивались для гостей банкеты с министрами и с членами королевского дома (с теми, которые любили крепкие напитки). На одном таком банкете герцог Девонширский, — про которого гостям сообщали, что у него «лицо Старой Англии», а лицо у него было багровое от постоянного употребления портвейна (напиток хорошего тона), с большим носом и усами, закрывающими рот, — сказал гостям спич: «Чорт возьми! Я хорошо не понимаю, зачем вы сюда, собственно говоря, приехали, но, видимо, вы — теплые ребята, — да-

вайте выпьем...» (За столом громкий и добродушный хохот, переходящий почти в умиление.)

Это был стиль грубоватого добродушия, так сказать — морской, соленый... (душа Старой Англии). Этому стилю держались почти все, кому требовалось производить впечатление на гостей. Только и видно было добродушнейших, — почти что придурковатых, — людей-рубах. Ты, мол, да я, мол, англичанин да русский, — давай, парень, выпьем...

Даже сэр Эдуард Грей (на другом банкете), задававший тон всей политике, прикинувшись простачком, похохатывал. Когда его спросили (я его спросил): много ли он путешествовал? — он посмотрел на меня детскими глазами:

— Я никогда не был на континенте. (То есть он хотел сказать — в Европе.)

— Почему?

— А я боюсь, что украдут мой багаж.

Другого стиля гостям не показывали. При них неотлучно находились рубахи-парни, офицеры, по всей вероятности, из контрразведки. Они возили гостей и по театрам, и по выставкам, и в кабаки. Ночью Лондон погружался во мрак (из-за цеппелинов). Молчаливая, невидимая толпа шла по тротуарам. Только слышались свистки, вызывающие автомобили. Да время от времени в толпе вспыхивал и сейчас же гас фонарик полисмена, следящего за нравственностью. Белый свет фонарика падал на лицо женщины. Она шарахалась, пропадала в темноте. Рубахи-парни предупреждали: «Не ходите ночью по улицам, не стоит смешиваться со всяким сбродом».

В подтверждение горячего интереса к русской душе в Лондоне наспех устроили русскую выставку. Помещалась она на Пикадилли. Через улицу протянута лента: «Русская выставка». У входа небольшая корректная афиша. Узкая лестница ведет глубоко в подвальное помещение. Там перед дверями на выставку стояли два человека: один — унылый, худой блондин, другой — жирненький, веселый, курчавый. На обоих надеты красные черкески с кинжалами, на голове — высокие боярские шапки из кошачьего меха с большими медными восьмиконечными крестами. Это — русские крестьяне. Так сказать, символ креста и меча. Представители загадочного народа. Далее в сводчатом зале за прилавками сидели в голубых кокошниках старые англичанки из разных благотворительных комитетов. Они продавали изделия русского национального гения — какие-то ржавые замки, крестики, деревянные игрушки, тряпичные куклы. Все это было наспех изготовлено в нищих кварталах Лондона. Здесь же, между прочим, пристроилось несколько блестящих витрин, — обуви, косметики, белья. Но это — между прочим, бочком.

В глубине зала были устроены «уголки России», этой загадочной страны, по которой отныне тосковала английская душа. Вот что-то вроде огромного комода с железной трубой, стол, лавка, на стене —

образа. На комодe лежит опять-таки в черкеске с патронами старик из папье-маше, в лаптях, у комода — лопата и глиняный горшок. Все вместе изображают русскую избу того самого русского крестьянина, который с восторгом готов умереть за английскую цивилизацию.

А вот — нацменьшинства: на стене намалеван пригорок с мельницей. На полу брошена охапка соломы и сидят две куклы — украинка и казак, одетые до крайности странно, видимо, из гардеробной дягилевского балета. Подпись: «Жнитво в Малороссии». Вот елка в клочьях ваты и кукла в кафтане с откидными рукавами, обшитыми перьями, — целится из двухстволки в чучело медведя. Это — Польша. Вот нарисовано море, льдина и эскимос в лодке с гарпуном. Это — предвкушение будущего архангельского фронта. Вот, наконец, зверства немцев в оккупированной Польше: намалеван пожар, немецкая зверская рожа в каске, на полу сломанное колесо и два чучела в лапсердаках, с пейсами, в руках — узлы. Выпучены стеклянные глаза, разинуты рты.

Таков уголок России. Как видите, ничего не забыто. И нищета, и средневековая экзотика. На стене — карта России. Смотри и делай выводы, премудрый сын Альбиона: перед тобой шестая часть земного шара, дикий и нищий народ, занятия: земледелие времен каменного века, охота и кустарный промысел. Ну, чем не место для колонии, когда победоносно окончится война, когда Россия растрясет последние деньжонки и вконец обессилеет. Словом, — по скудоумию ли, или с тайным умыслом, но ловко было подстроено на выставке.

Король пожелал видеть подданных своего кузена, представителей русского народа (шестерых журналистов) и передать им свои симпатии и выражение надежд на будущую вечную дружбу между двумя великими народами. Предстоял момент исторической важности.

Рубахи-парни засуегились, «Хотя, — говорили они, — наш король, как личность, не является какой-нибудь особенно замечательной личностью, например, он приехал на фронт и во время парада упал с лошади, что некоторые мало воспитанные джентельмены приписали действию спиртных напитков, или он не блещет остроумием, как его покойный отец Эдуард, и не стоит во главе мужских мод законодателем... (Вы, например, помните, как Эдуард подвернул брюки во время дождя, и после того весь мир стал шить себе брюки с подвернутыми концами... А галстуки короля Эдуарда! А знаменитая расстегнутая пуговица внизу жилета!)... Словом, наш король — тихий человек, но король — это герб Англии, это символ и честь Англии, идея незыблемости общественного порядка».

«Поэтому вам (шестерым журналистам) нужно приобрести атласные цилиндры и представляться в визитках, при черных галстуках и в перчатках, которые должны отнюдь не быть надетыми на

руки, но лежать в левом кармане брюк (в полоску, при башмаках — верх желтой кожи, головка — лакированная)».

В одиннадцать часов утра журналисты появились в вестибюле Букингемского дворца. Ливрейный лакей саженого роста отобрал у них новые цилиндры и перчатки, положил их на стол, а снятые пальто бросил на цилиндры, считая (с цинизмом), что цилиндры уже сыграли свою роль.

В огромном холодноватом зале, где ноги утопали в малиновом ковре и где за большими окнами, опускающимися до самого пола, расстилалась снежная поляна с зеленеющей кое-где травой и проступали в глубине сквозь туман унылые очертания деревьев, — в этой пустынной приемной представителей загадочного народа встретил министр двора.

Это был человек с седыми усами, грустный на вид, в черном сюртуке. Он говорил вполголоса, так как была война и веселиться и прыгать было просто неприлично. Он бегло осмотрел, все ли в порядке у гостей и направился к высоким дверям, с боков которых стояли два таких же высоких лакея в зеленых ливреях. Двери раскрылись, и журналисты гуськом вошли в королевский кабинет. Министр двора очень ловко, не толкаясь и даже не указывая, но так, как будто это само собой вышло, выстроил представителей наискосок по кабинету, в линеечку. Затем став на левом фланге, слегка покрутил монокль на шнурке. На стенах висели портреты русских царей и цариц, английских королей и королев, австрийских императоров и императриц, а также картины, изображавшие сражения. Электричества, несмотря на туман за окном, не зажигали, видимо, все оттого же, что по случаю войны нечего распрыгиваться с электричеством.

Незаметно вошел маленький человек, причесанный на прямой пробор. Его выпуклые, немигающие серые глаза с кровавыми жилками, как стеклянные, глядели на правофлангового. Поглядели и перекатились к следующему, и так до конца, где министр двора изящно склонился. Маленький человек неожиданно вдруг густо кашлянул. Это был король. Та же бородка, те же усы серпом, что у Николая, но лицо другое — меньше, маленькое, покрытое сеточкой кровавых жилок. Лицо человека, который, видно, хлебнул беспокойства, но держится, разве что в сумерки увидет к себе, один, — сидит, покашливает в пустом кабинете. Герб, символ, — не легко.

Король был одет в черный поношенный сюртук, в теплые брюки, по которым как-то не чувствовалось ног, в поношенные штиблеты (верх желтый, головка лакированная).

Кашлянув, он снова принялся глядеть на правофлангового и заговорил глуховатым голосом:

— Я рад приветствовать вас, мистер такой-то, и вас, мистер такой-то... (Всех помянул...) Надеюсь, что гостеприимство, которое вы встретили, соответствует нашим чувствам. Теперь война, но бог хранит наше оружие. С помощью бога общими усилиями мы побе-

дим. Право, справедливость и нравственность восторжествуют. Передайте вашим соотечественникам, что Англия никогда не забудет тех жертв, которые Россия принесла в эту войну.

Затем король быстро подал руку с правого фланга каждому, министр опять склонился, и король бодро вышел. Историческое мгновение было окончено и запечатлено в душах. Каждый твердо верил в королевское слово о том, что Англия не забудет о принесенных ей в жертву семи с половиной миллионах русских мужиков.

Вот огромный, с железными фермами под потолком, зал спортивного клуба. Шипят дуговые фонари. Места — амфитеатром. Народу много, преобладают солидные бритые джентельмены, в драповых пальто, в котелках. Курят толстые клубские сигары. Лакеи разносят виски.

Посреди амфитеатра внизу — помост для бокса. Там прыгают двое, хлопают по мордам, но на них не смотрят. Сегодня встреча на приз 175 фунтов двух чемпионов — Гарлея и Джипа.

Наконец вот они. Легко отогнув веревку, на помост плавным прыжком вскочил красивый, стройный, сухой юноша, сбросил мохнатый халат. Это был Гарлей, любимец лондонской публики. Это противник, Джип, большеротый блондин, мало кому известный, влез неуклюже; поглядев на толпу, нахмурился. У него были толстые локти и коленки.

«Пятнадцать фунтов за Гарлея»... «Держу»... «Двадцать пять фунтов за Гарлея»... «Держу», — слышались голоса. Бойцам надели перчатки. Тренеры спрыгнули вниз и прильнули лицами к краю помоста. Ожидая сигнала, бойцы стояли в углах, положив руки на веревки. Толпа оживилась. Повсюду поднимались руки с растопыренными пальцами по числу фунтов. Несколько человек, вскочив на скамейки, кричали через весь зал другим, стоящим. Набивали цену.

Раздался короткий свист. Бойцы сошлись, легко отскочили и начали похаживать, кружиться друг около друга танцующими движениями. Зал затих. Жужжали дуговые фонари. Гарлей прыгнул и несооразмерно большой кожаный кулак его въехал Джипу в лицо. Кое-где на скамейках удовлетворенно крикнули. Бойцы сцепились в обнимку и наминали друг другу бока. Первый круг окончен. Тренеры махали на них полотенцами. В разбитый рот Джипу кинули квасцов.

«Пятьдесят фунтов за Гарлея! Кто пятьдесят фунтов за Гарлея?»... Опять выкинутые руки, побагровевшие от крика лица. Второй круг, третий и четвертый прошли однообразно. Джип прыгал, как чорт, махая кулачищами. Гарлей молотил его в глаза, в уши, в рот, под селезенку, свирепо выпятив подбородок, посапывал... «Так его, так его, Гарлей, молоти, молоти!» — слышались голоса. Иногда лицо Джипа сплошь заливалось кровью. В крови белые трусики. Один глаз у него вспух, закрылся. Понемногу лицо превратилось в сырой бифштекс. «Молодец, Гарлей, лупи, малютка!»

Состязание должно было закончиться, разумеется, нок-аутом, то есть ударом, после которого противник терял сознание (а иногда и жизнь). Один из таких ударов — двойной: левой рукой снизу в подбородок, правой — сбоку в челюсть; от этого происходит сотрясение мозжечка, челюсть соскакивает с мосолов, зубы вылетают, и счастливы забирают денежки у букмекеров. К такому удару и готовился Гарлей. Он работал уверенно, сухо, как машина, был сух, только на спине его, на двигающихся лопатках все сильнее разливались красные пятна.

— Ого! — стали поговаривать на скамьях, — эти пятна начинают мне не нравиться. Теплота должна иметь выход из тела. Лучше кровь.

Джип не жалел крови. Лез на кулаки. Но как Гарлей ни старался въехать ему двойным ударом, — Джип летел кубарем, вскакивал весь в кровище (вместо лица у него было теперь одно вспухшее место с дыркой), размахивал кулаками, снова падал на колени, но от нок-аута увертывался. В конце девятого круга его едва сволокли в угол помоста. Облили квасцами, отмассировали.

А в зале фунты росли, лица багровели, густым дымом сигар заволакивались фонари. Весь десятый круг Джип только подставлял лопатки. Морду не давал. «Отдыхает», — с ненавистью прохрипел кто-то из зрителей. А у Гарлея разливались пятна на спине. «Гарлей, подставь нос, кровь, кровь выпусти...» «Тише. Не мешайте работать...» «Алло! Семьдесят фунтов за Джипа...» Много голов с возмущением обернулись на этот голос.

И на двенадцатом круге Джип снова начал попрыгивать, как будто освоился с одной дыркой, заменявшей ему на лице все остальные, и неожиданно въехал Гарлею в зубы так, что у того мотнулась голова. «Ого! Bravo, Джип!»

С плотно сжатым ртом, вытянув шею, Гарлей ходил вокруг противника, обдумывая удар, весь напряженный, как кошка. Вдруг бросившись всем телом вперед, нанес молниеносный двойной удар... И промахнулся. Весь зал глухо вздохнул. Голос: «Стыдно, Гарлей!» Тогда Гарлей, видимо, потерял самообладание и принялся колотить куда ни попало. Джип пятился, увертывался. До конца круга осталась секунда, распорядитель со свистком во рту уже поднял руку. И тогда неожиданно Джип повернулся волчком на одной ноге, выбросился так, что тело его оказалось на прямой линии рук, и раздалось два глухих коротких удара. Гарлей опрокинулся, взмахнул руками, упал на спину, поднял колено и застыл... Стали считать: «Раз, два, три... Десять». Гарлей лежал, не шевелясь, без кровинки в лице... Голос: «Убит?...» Другой: «Похоже...»

Гарлея подняли, понесли, голова его беспомощно висела. А Джип все еще стоял, крепко держась за веревку барьера. О нем точно забыли. Еще бы, — три четверти зала осталось в дураках. Кто-то бросил ему халат, и он неловко полез вниз.

— А кто такой этот Джип? О нем совсем не было слышно.

— Да так, — какой-то рабочий из предместья.

Рубахи-парни привезли гостей в палату депутатов.

При входе их попросили расписаться гусиным пером в древней книге, окованной медью. После этого они долго шли по готическим коридорам, до потолка уставленным книжными шкафами. Провожавший их член палаты, в цилиндре, так как члены верхней палаты заседают с покрытой головой (привилегия), остановился у одного из огромных окон и, подняв брови, значительным жестом указал на паркет:

— На этом месте стоял лицом к народу король Карл I, принужденный выслушать свой смертный приговор, подписанный Кромвелем.

Вот палата лордов. Высокий зал с готическими сводами и стрельчатыми окнами, отделанный темным дубом. Кое-где на скамьях красного сафьяна дремлют лорды. В цилиндрах, сдвинутых на затылок, беседуют вполголоса. Сидит, положив руки в кружевных рукавах на колени, бритый и важный архиепископ. В глубине зала под малиновыми балдахинами — пустые троны короля и королевы. На трибуне, вернее, — у длинного стола, какой-то джентельмен в пиджачке читает доклад. Он уже читает шестой час подряд скучнейшим голосом. Немудрено, что лордов мало на скамьях, — лорды дремлют.

Внизу, посреди пустого места зала, лицом к докладчику сидит на продолговатом сафьяновом ящике страшно худой старик в белом парике из шелка, падающем ему двумя волнами на грудь. На плечах его пурпуровая мантия. Он неподвижен, как статуя в паноптикуме, и похож на мумию. Это лорд-канцлер, председатель палаты. Позади него на столе лежат золотой жезл и свиток хартии вольностей (дворянства).

Сам он сидит на мешке с шерстью. Этот красный мешок считается его приходом, его владениями. Покуда он сидит на мешке, — один господь бог может стащить его с этого места. Разумеется, теперь это лишь высшая привилегия — сидеть на мешке с шерстью (некоторые из лордов также имеют эту привилегию). Шикарно, что и говорить!

Но если покопаться в истории, то скромный мешок с шерстью начнет увеличиваться в размерах, превращаться в немалую земельку, в целый уезд, в графство с великолепным замком, с разрушенными фермами и полями, запущенными под луга для тонкорунных овец. И привилегия сидеть на мешке с шерстью окажется привилегией гнать по шням мужиков со своей земли и разводить овец, торговать шерстью.

Вот нижняя палата. Зал еще больше, — черный дуб, скамья черной кожи. Здесь уже сидят буржуа, капиталисты, промышленники. Зал битком набит. На трибуне — небольшой полный человек с красным от напряжения бритым лицом и седыми волосами. Это — Асквит.

— Мы не вложим шпаги в ножны, покуда Германия не будет уничтожена, раздавлена...

— Хир, хир, хир! — несется по скамьям одобрение.

Но тут происходит то, что в кинотехнике называется «наплывом». Мои воспоминания мешаются, происходит сдвиг. Облачко находит на неумолимого Асквита... И снова яснее... Тот же мрачный зал со стрельчатыми окнами, те же лица на черных скамьях... Но на трибуне вместо Асквита другое лицо, — худое, хищное, неумолимое...

— Мы не вложим шпаги в ножны, покуда Советская Россия...

— Хир, хир, хир! — несется по скамьям.

Ну, и что же, на это можно ответить, вежливо, разумеется, попарламентски, как и полагается разговаривать с просвещенными мореплавателями:

— Джентельмены, позвольте вас поздравить со взятием революционными войсками Свату!..

1927 г.

Из воюющей Англии

Предисловие

В конце января нынешнего года несколько русских писателей и журналистов получили приглашение посетить Англию. Исходило это приглашение от английского правительства, передано оно было великобританским послом, сэром Джорджем Бьюкененом, чрез посредство военной миссии при нашем генеральном штабе. Целью поездки было посещение английского флота и обучающихся войск, осмотр центров мобилизованной промышленности, посещение английского фронта во Франции и Бельгии. Обращаясь к нам с таким приглашением, союзники наши руководились желанием довести до сведения широких кругов русского общества объективные впечатления незаинтересованных лиц, могущих свидетельствовать о том, что они видели.

Англичане хорошо знают, что в этих широких кругах не редкость встретить некоторый скептицизм, когда речь заходит об участии Англии в общих военных операциях. Скептицизм этот основан на простой неосведомленности и на привычке смотреть на Англию, как на невоенную страну. Разрушить его можно только одним способом: «Придите и посмотрите». И мы отправились, смотрели и теперь свидетельствуем.

Состав нашей группы был довольно пестрый. В нее вошло шесть человек: Е.А.Егоров (от «Нового Времени»), Вас.И.Немирович-Данченко (от «Русского Слова»), гр. А.Н.Толстой (от «Русских Ведомостей»), К.И.Чуковский (от «Нивы»), А.А.Башмаков (от «Правит. Вестника») и я (от «Речи»). Таким образом, в группе были представлены четыре крупные политические газеты — две петроградские и две московские, — одна официальная газета и один популярный еженедельник. При более тщательной организации, состав группы, конечно, мог быть полнее и лучше соответствовать существующим оттенкам русского общественного мнения. Но для такой организации не было, по-видимому, достаточно времени. Нельзя, впрочем, не признать, что наладить ее вполне успешно было бы задачей не из легких...

Мы выехали в указанном составе 1-го февраля (по старому стилю). 2-го мы переехали границу, 4-го были в Стокгольме, 5-го в Христиании, 7-го достигли Англии и 8-го к вечеру были в Лондоне. В обратный путь я выехал 12-го марта. С 25-го февраля по 3-е марта я находился (с В.И.Немировичем-Данченко и гр. А.Н.Толстым) во Франции.

Во все время пребывания в Англии и на фронте, мы были гостями английского правительства, оказавшего нам самое широкое и великодушное гостеприимство.

В предлагаемой книжке собраны мои корреспонденции, напечатанные в газете «Речь». В них я внес лишь незначительные исправления и изменения, не коснувшиеся общего их характера. Они не претендуют на то, чтобы развернуть перед читателем сколько-нибудь полную картину современной Англии. Достаточно, если для этой картины они хотя бы отчасти дают пригодный материал добросовестных наблюдений и правдивых впечатлений.

Иллюстрации к настоящей книжке взяты по большей части из «Illustrated London News» и французской «Illustration». Группы, снятые во время путешествия, любезно предоставлены мне г. Вильтоном. Фигура солдата в противогазовой маске, по моей просьбе, воспроизведена А.Ариштамом из «Illustrated London News». Она — как бы символ «воюющей Англии».

Лондон

I

Мы приехали в Англию неделю тому назад, высадившись в прошлое воскресенье в Ньюкэстле. На другой день мы к вечеру были в Лондоне. Сегодня воскресенье, 14 февраля, прошло шесть дней, полных лихорадочной суеты, сегодня первый день тишины и отдыха, и впервые есть возможность собраться со всеми впечатлениями, привести хотя бы в некоторый порядок все виденное и слышанное. К прямой задаче нашей поездки нам еще не дали приступить. Только завтра мы едем на север для осмотра флота. Но жаловаться не приходится. Рядом с целью, поставленной нам в России, — увидеть своими глазами, что сделано Англией в смысле подготовки сил на суше, на море и в деле снабжения, — выросла другая цель, которой мы невольно служим. Цель эта — рост и укрепление нашей духовной близости с Англией. Она — эта близость — должна пережить войну. Значение ее глубже и шире простого братства по оружию. Обстоятельства так сложились, что нам — более или менее случайной группе писателей и журналистов — выпало на долю быть первыми за время войны официально приглашенными гостями из России, на которых англичане стали смотреть, как на представителей русского общественного мнения. Они широко использовали эту возможность, и поездка наша благодаря этому приобрела несколько иное общественное значение. Правда, кое-какие оговорки к этой оценке сделать придется, но о них позже и в своем месте.

Мы выехали из Стокгольма в четверг, 4 февраля, вечером, и на другое утро проснулись в Норвегии. Впервые со дня отъезда засияло солнце, засинело небо. День выдался удивительный: тихий, ясный, морозный. Любуясь открывающеюся то направо, то налево панора-

мою обрывистых холмов, поросших лесом, долин, с замерзшими речками, деревень с разбросанными домиками затейливого вида, то серыми, то палевыми, то кипрично-красными, незаметно мы подъехали к Христиании.

В моих заграничных поездках мне никогда еще не приходилось ездить в старую столицу юного королевства. Она необыкновенно уютна и привлекательна. В противоположность холодно-пышному Стокгольму, она не хочет ни за кем тянуться, и на ее нешироких улицах и маленьких площадях лежит отпечаток старины, покоя, мирной и здоровой жизни. Колоритны и приятны уличные экипажи, — то какие-то вычурные санки, с сидением для возницы позади седока, с широкой спинкой и узким ходом, с гремящими бубенцами, то изящные каретки на высоких полозьях, с английской запряжкой; открыты и веселы лица горожан, то и дело напоминающих осанкой, костюмом, прической, бритыми подбородками, окаймленными широкой бородой, героев и статистов постановок московского Художественного театра.

Увы, так же непонятна речь и так же трудно, как в Швеции, заставить себя понять, прибегая только к английскому или французскому языкам.

В Христиании нам пришлось пробыть только до 3-х часов дня, и значительная часть времени была занята хлопотами в бюро путешествий, визированием паспортов, завтраком, кое-какими необходимыми покупками. Здесь, наконец, одному из членов нашей группы — гр. А.Н.Толстому — удалось найти какое-то чудодейственное, по его словам, «канадское» средство против морской болезни, которого он тщетно искал в Стокгольме, — и лицо его, становившееся все сумрачнее по мере того, как мы приближались к морю, заметно прояснилось. Следуя его горячим убеждениям, я также принял дозу этого лекарства. Не знаю, помогло ли оно мне: настоящей качки не было, и морскую болезнь избегли не только мы двое, но и другие наши товарищи.

Пароход «Bessheim», привезший нас из Христиании в Ньюкэстль, — новый, чистый и нарядный, с уютными и достаточно поместительными каютами, прекрасной столовой, просторной читальней, в которой, впрочем, трудно было сидеть, так как в ней непрерывно дымили какими-то колоссальными сигарами. Большую часть времени я провел на палубе, занимаясь чтением, писанием писем, а, чаще всего, просто поглядывая кругом себя на унылые безлюдные береговые скалы, мимо которых скользил пароход, на воду, розовеющую отблеском заката, на чаяк, все время вьющихся по следам нашего парохода.

Вечером поздно была первая остановка у какого-то городка. Стояли там часа три и двинулись дальше уже глубокой ночью. Море было спокойно, ярко светила луна. Под утро добрались до второй и последней остановки — Христианзунда. К двенадцати часам дня берег Норвегии скрылся за горизонтом. Погода была такая же пре-

красная, воздух такой же бодрящий и живительный. Пароход мерно переваливался с боку на бок — и все те же чайки кружились за нами, то взмывая высоко над мачтой, то спускаясь к самым гребням волн.

Потянулся второй день плавания, а потом третий, и к трем часам этого третьего дня вдали открылась неровная линия английского берега.

II

Подход к Ньюкэстлю — одному из крупнейших судостроительных центров Англии — впервые дает представление о размерах и размахе технических средств Англии. К сожалению, был воскресный день и о работе, обычно здесь кипящей, можно было составить себе представление, только глядя на бесчисленные огромные сооружения, тянущиеся непрерывно по обоим берегам реки. Как я потом слышал, эти сооружения тянутся на несколько миль. Мы не проехали, вероятно, и половины, медленно пробираясь в течение 1 1/2 часов от устья реки к пристани. Там мы были встречены г. Бальфуrom, однофамильцем знаменитого Артура, одним из членов организовавшегося для приема русских гостей комитета, во главе которого находится старый знакомец России лорд Уэрдель (Weardale). Оказалось, что для нас уже все устроено, наняты комнаты, заказаны автомобили, быстро помчавшие нас по темневшим улицам к монументальной гостинице, по соседству с вокзалом железной дороги.

Часа через два стемнело окончательно, — и мы впервые увидели фантастическую картину большого людного города, погруженного в жуткий мрак. В Лондоне все же горят фонари с колапками, закрывающими их сверху. Здесь и этого нет — и просто диву даешься, как могут люди приспособляться к этим необычайным условиям. Правда, меня уверял один англичанин (уже в Лондоне), что благодаря этой принудительной темноте автомобили сделали в Лондоне больше жертв, чем могли бы сделать цеппелины, если бы освещение осталось. Но это едва ли не бутада. Совершенно очевидно, что возможность ориентировки сверху теперь значительно затруднена, а всякому ясно, какое огромное значение имеет такая ориентировка.

Первое, что поражает, по сравнению с привычными впечатлениями в Англии, — это огромное количество людей, одетых в военную форму. Правильнее было бы сказать: одетых в хаки и носящих фуражки с большими козырьками и кокардами. Дело в том, что военных атрибутов этот костюм совершенно не имеет. Холодного оружия не носят, офицеры ходят с палкой или тросточкой в руках. Внешний вид — крайне разнообразный. Практичные во всем, англичане стремятся прежде всего к *удобной* военной одежде. Оттого она имеет у них какой-то спортивный вид: короткое пальто с отворотами, кругом шеи широкий вязаный шарф, толстые шнурованные ботинки из желтой кожи, высокие краги, затягивающиеся ремнями, а при более «домашней» форме — обыкновенные панталоны из

хаки, с завернутыми краями. Под пальто китель, также открытый, белье и галстук защитного цвета. В ненастную погоду сверху пальто надевается overcoat — нечто в роде непромокаемого плаща. Материал, употребляемый на все эти виды одежды, — насколько я мог убедиться, — превосходного качества.

В Ньюкэстле, а потом и в Лондоне, военные встречаются на каждом шагу. Среди них множество приезжающих с французского фронта в отпуск на 1—2 недели. В огромном большинстве — это превосходные представители человеческой расы, рослые и крепкие молодцы. Раненые на улицах встречаются крайне редко.

По дороге из Ньюкэстля в Лондон, о войне напоминает каждая остановка. Все вокзалы кишат солдатами и офицерами, раздаются песни. Нередко видны подвыпившие люди. Кстати скажу, мне уже пришлось слышать (от вице-канцлера King's College на приеме в лондонском университете) глубокое сожаление по поводу того, что английское правительство не поступило так, как русское, запретившее потребление спиртных напитков во время войны. На мое замечание, что здесь это было бы несравненно труднее, вице-канцлер ответил, что надо было воспользоваться подъемом духа в самые первые дни войны, но что теперь, конечно, момент упущен и приходится прибегать к паллиативам.

В Лондон мы приехали засветло и с вокзала прямо проехали в роскошную и удобную гостиницу «Savoy», где для нас было приготовлено помещение. На улицах — обычное оживление, то же впечатление громадного изобилия и богатства в магазинах, те же саженные витрины, переполненные всяким добром. Но все заметно дороже, а так как за один фунт надо заплатить необыкновенно большое количество рублей, то русским путешественникам приходится нелегко.

Другая, сразу бросающаяся в глаза, особенность физиономии Лондона в настоящее время — значительное изуродование этой физиономии плакатами, призывающими записываться в армию. 2 марта (по новому стилю) истекает последний срок для добровольной явки, и плакаты повторяют стереотипную фразу, построенную на каламбуре: «Single men! Will you march too or wait till March 2?», то есть: «Холостяки! Идете ли вы или хотите ждать 2-го марта?» Игра слов в том, что слова march too и March 2 произносятся и звучат одинаково. Эти «posters», большие, малые, гигантских размеров, с темно-красными зачерченными буквами на зеленом фоне, пестрят повсюду: на решетках скверов, на фасадах домов, на заборах и крышах. Своеобразным и, по правде говоря, безобразным барельефом они окружают подножье Трафальгарского памятника. Зато других posters, о которых так интересно и тепло рассказывал Чуковский в своей книге: «Заговорили молчавшие», больше не видать: они стали ненужными.

Я спрашивал по этому поводу двух заслуженных английских генералов, придают ли они значение такому способу пропаганды. И

тот, и другой ответили самым резким отрицанием, а один даже говорил с негодованием и бранью об этой *beastly thing* (гнусной вещи), уверяя, что она не только не способствует делу, но вредит, вызывая своей назойливостью, напоминающей рекламу, чувство раздражения и протеста. «Я ручаюсь, что ни одного человека такими зазываниями нельзя завербовать», — таков был заключительный вывод, который я передаю без всякой оценки, хотя не могу не думать, что некоторое преувеличение этих суждений может корениться в недоверии и предубеждении против «штатских» методов, применяемых к военному делу.

В первый же вечер *committee of reception*, с лордом Уэрделем в главе, чувствовал нас банкетом в великолепном помещении *Reform Club*. В состав комитета вошел ряд выдающихся представителей литературы, периодической печати, науки. Из наиболее известных в России имен назову *Conan Doyle's* и *Ronald Ross's*, известного ученого, посетившего Россию в 1912 году. В первых же речах, произнесенных за банкетом, послышалась та нота, которая потом, на официальном банкете под председательством сэра Эдуарда Грея, на приеме в университете, на банкете в палате общин, на банкете лондонской печати и — *last not least* — в речи, с которой к нам обратился английский король, звучала все громче и полнее.

Здесь, прежде всего, огромное впечатление произвело падение Эрзерума. Не говоря о значении этого факта с точки зрения чисто-стратегических соображений, — англичан поражает его сказочная внезапность, в которой они чувят невероятное напряжение сил, проявление безмерной удали и отваги. Но, и помимо того, — почти не было речи, где бы не слышалось выражение безграничного удивления и восхищения перед качествами русского солдата — его мужеством, выносливостью, терпением. С живейшим энтузиазмом встречалось каждое упоминание о нашем солдате, — носителе основных качеств всего русского народа.

Другой мотив речей связан был с задачами нашей поездки. Англичане догадываются, что в России далеко не все осведомлены, — и не могут быть осведомлены, — о размере усилий, сделанных и ежедневно делаемых Англией на всех поприщах и во всех направлениях для возможно большего развития своего военного могущества. Они уверены, что здесь нет предвзято-отрицательного отношения к ним. Все-таки, ведь, факты говорят за себя. Англия, быть может, — выражаясь тривиально, — «раскачалась не сразу». Причин для этого очень много. Едва ли не главная, — психологического характера. Благодаря своему географическому положению, англичане не могут так непосредственно чувствовать войну, как континентальные державы. Но раз «раскачавшись», англичане, несомненно, дойдут до самого конца: — «*to the bitter end*», — как они говорят... И они убеждены, что и мы этому поверим, осмотрев хотя бы бегло то, что у них делается во флоте, в армии, в мастерских.

Пока, правда, мы видим другую, не менее поразительную сторону дела. Война как будто нисколько не отразилась на темпе лондонской жизни. Огромные, роскошные залы гостиницы, где мы живем, каждый вечер полны «до отказа» разодетой толпой, гремит музыка, льется шампанское, везде кругом в пух и прах расфранченные и чрезмерно оголенные дамы и девицы, — не закрылся ни один из модных ресторанов, театры и места развлечений работают превосходно. Мне приходилось слышать, что Англия и сейчас еще «не чувствует» войны, но это, конечно, неверно. Не говоря о том, что внешняя показная сторона жизни характеризует отношение сравнительно небольшой части населения — той части, на которой фактически всего менее отразилась война, — очень много в этом на вид беспечном и шумном веселье как раз связано с войной и ее ужасами. Тут и желание забыться и отдохнуть от гнетущих впечатлений, и какой-то вызов, бросаемый судьбе, и реакция после крайнего нервного напряжения, испытанного там, в окопах и разных «nasty places», — скверных местах, в роде ***, где непрерывно каждый день смерть делает свое дело.

И третий мотив речей: он идет дальше войны, предвидя ее конец и рисуя будущее. В этом будущем тесное сближение Англии с Россией рассматривается, как нечто неизбежное и плодотворное для обеих наций. «У каждого из наших двух народов есть чему поучиться друг у друга», — так сказал сэр Эдуард Грей на официальном банкете в Lancaster House. И это — не пустая фраза. И здесь англичане уже начинают энергично и настойчиво приниматься за дело.

Сегодня меня посетил профессор университета в Бирмингаме и сообщил мне, что там в настоящее время собран капитал в размере десяти тысяч фунтов стерлингов для обеспечения содержания кафедры русского языка и русской литературы, которую постановлено учредить, причем открытие курса последует в октябре. В Шеффилде известный Вилкерс на ту же цель ассигнует 300 фунтов в год, — и также будет учреждена кафедра. Несомненно, этому примеру последуют и другие крупные центры.

Обсуждается и обдумывается вопрос о командировании английских студентов в Россию. Будут ходатайства и о том, чтобы посылать и нашу учащуюся молодежь в Англию. Несомненно, в скором времени начнутся поездки к нам английских журналистов и писателей. И писания таких «авторитетов», как Stephen Graham, обратятся в смешной анахронизм.

Нужно признать, что это стремление англичан к сближению с нами, выразившееся с чрезвычайной яркостью и составившее, как мне кажется, наиболее существенную — в общественном смысле — черту минувших дней, посвященных «русским гостям», — менее всего похоже на сантиментальничанье и чуждо некоторых неприятных оттенков, свойственных первым годам франко-русского альянса. Но совершенно естественно, что иные вопросы, неминуемо

вытекающие из этого сближения, в настоящее время как бы сознательно игнорируются.

Ни для кого не тайна, что именно в Англии всего живее и болезненнее было отрицательное отношение к некоторым внутренним сторонам русской жизни, с которыми не могло мириться английское сознание, выросшее на почве уважения к свободе и праву. В настоящее время об этих сторонах англичане умалчивают. Я не имею в виду прямых разговоров, так как, помимо всего остального, личный такт англичан удержал бы их от иных тем. Нет, даже печать тщательно обходит эти темы. Другое отношение сейчас, конечно, невозможно. Но нет ни малейшего сомнения в том, что истинное сближение в будущем окажется несовместимым с таким замалчиванием всего, что по существу препятствует взаимному сочувствию и пониманию.

В связи с только что сказанным приходится отметить, что события, сопровождавшие возобновление занятий Государственной Думы, встретили здесь самый радостный отклик.

III

На второй день пребывания в Лондоне я обедал в одном частном доме в обществе Артура Бальфура. Меня живо интересовала фигура этого замечательного государственного человека, пережившего такое большое политическое прошлое, столько лет боровшегося бесплодно в рядах оппозиции, сперва против Кампбелль-Баннермана, потом против Асквита, — под предлогом утомления передавшего лидерство оппозиции Бонар Лоу, а ныне, волею судеб, вновь очутившегося у власти на одном из важнейших постов в кабинете своего политического противника, с которым его связывают самые дружеские личные отношения. Бальфур не только политический деятель, но и глубокий мыслитель, особенно интересующийся вопросами религиозной философии. В то же время он типичный англичанин, до последних годов увлекавшийся спортом, любитель лаун-тенниса и гольфа.

В разговоре я упомянул об этом и напомнил Бальфуру о фотографии, снятой с него несколько лет тому назад и изображающей его в обществе каких-то знаменитых чемпионов. «О, я с тех пор сделал большие успехи», — отшутился он. Обаятельна его наружность, манера говорить, простота, отсутствие всякой чопорности. С величайшей симпатией относится он к русскому визиту. В беседе мы коснулись жгучих вопросов дарданелльской неудачи и похода в Египет, но я не считаю себя вправе оглашать сказанное совершенно частным образом. Замечу только, что Бальфур не видит в последнем предприятии ничего особенного угрожающего.

Был и другой вопрос, с которым я обращался к очень многим из числа наших гостеприимных хозяев: это вопрос о том, в какой мере можно считать новый билль об обязательной военной службе поворотным пунктом в истории Англии? Есть ли основание ожидать, что

этот билль действительно останется временным, или же это только первый шаг на пути к принятию начала всеобщей воинской повинности? Должен сказать, что до сих пор мне не приходилось слышать ответа в последнем смысле. По мнению всех тех, с которыми я говорил, — и Бальфур не составляет исключения, — после войны Англия вернется к прежней системе. Самое большое, чего можно ожидать, — это введение обязательного воинского обучения, как элемент общего образования.

Здесь же можно попутно отметить, что в настоящее время газеты полны отчетами о судебно-распорядительных заседаниях, в которых рассматриваются ходатайства об изъятиях (exemptions) от военной службы по основаниям, указанным в билле. При этом судьи в общем относятся крайне сурово к этим ходатайствам, в особенности к тем из них, которые основываются на так назыв. conscientious objection, то есть на том, что совесть данного лица не позволяет ему становиться в ряды войск. Диалоги, происходящие по этому поводу между судьями и просителями, напоминают диалоги в «Анне Карениной» между Левиным и Кознышевым: «А что бы вы сделали, если бы увидели»... и т.д. На днях один такой objector заявил, что он не стал бы стрелять в цеппелины, даже если бы увидел, что цеппелин собирается бросить бомбы на его собственную деревню. Этот ответ вызвал взрыв негодования, — и просителю было отказано.

Другому ставят вопрос: «Как бы вы поступили, если бы на ваших глазах немцы стали насиловать вашу жену или резать вашу мать?» Ответ: «Я не считал бы себя вправе вмешиваться». И в этом случае суд отказал в exemption. Нужно прибавить, что conscientious objectors вообще не освобождаются от военной службы, а только зачисляются в ряды не-комбаттантов. Но и тут бывают возражения. Objector'ы иногда заявляют, что они не считают для себя нравственно дозволенным ходить за ранеными, если такой уход будет иметь последствием возвращение этих раненых в строй. Трудно сказать, разумеется, в какой степени эти conscientious objections искренни и основаны на истинных религиозных убеждениях, а не являются простым предлогом уклониться. Но общее отношение к ним очень отрицательное, и смысл предлагаемых судом вопросов сводится к тому, чтобы установить непоследовательность людей, отговаривающихся требованиями христианской морали при призыве на войну и совершенно не считающихся с безусловностью этих требований в обычной своей жизни.

Как я уже упомянул, на официальном банкете председательствовал сэръ Эдуард Грей. Личное общение с ним оставляет впечатление несколько неожиданное: какого-то незлобивого простодушия, совершенно не свойственного вообще дипломатам. Правда, один из его друзей мне сказал, что сэръ Эдуард больше всего любит посидеть в деревне на траве, слушая птичек или удить рыбу, а один из врагов прибавил: «Немцы думают, что Грей хитер: это совершенный вздор, — Грей вовсе не хитер, he is simple». Любопытно, что за всю

свою жизнь Грей всего дважды уезжал из Англии. Он свободно говорит только на родном языке. При всем том, он чудесный представитель английской прямоты, нравственного благородства. Невозможно себе представить, чтобы он мог кого-нибудь обмануть. В его дипломатии нет места лжи. Что это — сила или слабость? Я думаю — первое. Я думаю, прошло время, когда дипломат был синонимом какого-то жулика высшего порядка, — когда признавался аксиомой дипломатического искусства известный афоризм о слове, данном человеку для того, чтобы скрывать свою мысль...

Нам очень повезло при посещении палаты общин: мы как раз застали речь Асквита в ответ на речи Сноудена и Тревелайана, доказывавших необходимость вступить с Германией в переговоры для выяснения возможных условий мира. Говорят, что Асквит очень редко дает волю своему ораторскому темпераменту. Здесь он говорит с большим жаром, разгоряченный и взволнованный. Я видел Асквита в палате два года тому назад. С тех пор он заметно постарел, волосы его совсем побелели. Но держится он так же прямо, голос его так же звучен и авторитетен. По-прежнему он в палате пользуется большим обаянием. Правда, он по существу ничего нового не сказал, повторив заявления, сделанные им очень давно в Гильдхолле. Но восторженные и продолжительные клики, которыми палата приветствовала его, когда он кончил и сел на свое место, показывают, что у пацифистов сейчас в английском парламенте мало шансов. Здесь дело даже не в аргументах, а в силе внутреннего убеждения, властно диктующего Англии — как и России, и Франции — единственно возможный образ действия, во имя блага и жизни страны.

IV

Еще с одним очень интересным человеком пришлось за эти дни встретиться и довольно продолжительно беседовать. Я говорю об издателе «Times», лорде Нортклиффе, не так давно называвшемся просто мистер Гармсворс. Общеизвестно огромное значение, какое он имеет в лондонской прессе, располагая массой газет, и в их числе такими, как «Daily Mail» и «Evening News». Сейчас он стоит в резкой оппозиции правительству, с ним очень считаются, его боятся, зная, какое могущественное оружие в его руках. Человек исключительных деловых способностей, он меньше всех интересуется идеями и принципами. Для него важна одна только практическая сторона дела, так, как он ее понимает. Ни в его наружности, ни в манере нет ничего общего с теми двумя государственными людьми, о которых я говорил выше. Лицо его было бы даже вульгарно, если бы на нем не лежала печать несокрушимой энергии и силы воли. Вот человек, который знает, чего хочет, и сделает все, чтобы добиться своей цели: — такая мысль невольно приходит в голову при первых же словах Нортклиффа. Он крайне сожалеет, что ему не придется быть на бан-

кете печати (я его видел накануне), в виду своего отъезда на французский фронт, куда он отправился «to see the battle of Verdun», — чтобы видеть битву под Верденом.

Как я уже сказал, мне не приходилось слышать здесь от кого-либо мнение, что воинская повинность останется в Англии после конца войны. С Нортклиффом на эту тему говорить не пришлось, но я знаю, что он держится другого мнения. Он думает, что Англия вообще еще далеко не развила всей своей мощи, которая еще понадобится, так как война, по его мнению, должна продлиться «еще несколько лет». Последнее утверждение — самое, пожалуй, любопытное, что нам здесь до сих пор пришлось слышать, и высказано оно было с большой авторитетностью.

Мы были приняты королем на третий день нашего приезда. Речь, с которой король к нам обратился, выражая свое искреннее удовольствие по поводу нашего приезда, поздравляя нас с падением Эрзерума и высказывая надежду на прочность и постоянство сближения России с Англией, не могла не произвести на нас глубокого впечатления. Король говорил громким, энергичным голосом, раздельно и отчетливо выговаривая слова. Одет он был в черный сюртук и держался в высшей степени просто и любезно. Говорят, он теперь совсем оправился от последствий несчастного случая, приключившегося с ним во Франции, когда под ним опрокинулась лошадь и дважды его придавила. Теперь он выглядит бодрым и здоровым. Во время речи короля мы стояли перед ним полукругом, причем я был ближе всех, справа от короля. Этим объясняется, что, по окончании речи, король обратился ко мне, спрашивая, был ли я уже в Англии раньше. Отвечая королю, я от имени всей нашей группы высказал, как глубоко мы тронуты его милостивым вниманием и как будем рады передать о нем русскому обществу. При аудиенции присутствовал и представлял нас русский посол граф Бенкендорф, отнесшийся к нам с большой предупредительностью и любезностью и оказавший нам всякое содействие. То же самое я должен сказать и о других чинах посольства.

Всего менее любезности, по отношению к нам, проявила лондонская погода. На другой же день после нашего приезда все небо заволочло тучами и начал падать мокрый снег, быстро накопившийся в больших массах и очень стеснявший при ходьбе по улицам. Так продолжалось до сегодня. Все же выпадают часы, когда небо проясняется, проглядывает красноватое солнце и жидким золотом играет в водах Темзы, окутанных легким полупрозрачным туманом. Она протекает перед моими окнами. Выглянув в окно направо, я вижу заостренный обелиск «иглы Клеопатры» (Cleopatra's needle), за ним железнодорожный мост к станции Charing Cross, а там, — в глубине, — стройные громады вестминстерских башен, мягко вырисовывающиеся в утреннем тумане.

Завтра вечером мы едем в Шотландию.
Встречи: Хагберг Райт. Уэллз. Лорд Китченер

VIII

«Уэллз ждет нас к себе в деревню завтра. Я заеду за вами в половине десятого утра».

Это приглашение было мне передано в одну из суббот, проведенных в Лондоне, Хагбергом Райтом, — человеком, мало известным в широких кругах в России, но поистине заслуживающим не только известности, но и самого глубокого уважения и горячей признательности со стороны каждого русского. Брат знаменитого врача, Хагберг Райт (Hagberg Wright) заведует обширным книгохранилищем London Library, но большая часть его времени в настоящую войну посвящена другому делу. Райт — знаток России, он много раз и подолгу бывал в ней, прекрасно изучил ее литературу, перевел на английский язык несколько наших былин и народных песен. Он относится к России с совершенно исключительной любовью и живым интересом. Побуждаемый этими чувствами, он поставил себе задачей нравственно облегчать бесконечно-тяжелое положение наших пленных — и офицеров, и солдат, — томящихся в германских лагерях. Он доставляет им книги на русском языке. Несколько лиц ему помогает. Конечно, он находится в постоянных сношениях с нашим посольством в Лондоне. С тех пор, что Райт принялся за дело, и до настоящего времени им отправлено книг нашим пленным более, чем на сто тысяч рублей. Пакеты он посылает индивидуально, ведет огромную переписку и с офицерами, и с солдатами. Последние больше всего требуют учебников, и Райт выбивается из сил, стараясь доставить эти книги из России. Своей энергией и любовью к предпринятому делу он заразил служащих в London Library, и все они добровольно и бескорыстно оказывают ему содействие. В этом ирландце, в чьих жилах течет и шведская кровь (мать его — шведка), чувствуется, под несколько суровой внешностью, пылкий энтузиазм, благородная преданность идее. Встреча и общение с ним — одно из самых драгоценных впечатлений моей поездки в Англию.

На следующее утро после приведенного разговора Райт, действительно, приехал к нам в гостиницу и забрал Чуковско, Толстого и меня в автомобиль. Мы поехали на Ливерпульский вокзал. Уэллз живет в деревне, верстах в шестидесяти к северо-востоку от Лондона. Он арендует в обширных поместьях лэди Уоррик (Warwick) — известной поборницы социалистических идей — небольшой участок земли и живет в уютном старом двухэтажном доме, значительно расширив его и введя всякие удобства и усовершенствования. До Уэллза в течение многих и многих лет в этом доме жило несколько поколений священников, — «quite a lot of fat parsons», — как он шутливо заметил. Переход от них к Уэллзу — довольно резкий и стоя-

щий, очевидно, в связи с «передовыми» идеями собственницы, с которой Уэллз находится в приятельских отношениях.

Добравшись до станции назначения и выйдя из вагона, мы издали увидели хорошо знакомую мне небольшую, плотную фигуру знаменитого писателя, спокойно и приветливо оглядывающего нас своими умными, несколько лукавыми голубыми глазами, светящимися из-под густых косматых бровей. Поразительно моложавый для своих пятидесяти лет, коренастый и загорелый, он мало или даже совсем не изменился со времени нашей встречи в Петрограде три года тому назад. Помню, как тогда его несколько прозаическая наружность меня поразила своим несоответствием с тем представлением, которое естественно создается об авторе стольких замечательных книг, то блещущих фантазией, то изумляющих глубиной мысли, яркими мгновенными вспышками страсти, чередованием сарказма и лиризма. Поневоле ждешь чего-то необыкновенного, — думаешь увидеть человека, которого отличишь среди тысячи. А вместо того — как будто самый заурядный английский squire, — не то делец, не то фермер. Но вот, стоит ему заговорить со своим типичным акцентом природного лондонца среднего круга — и начинается очарование. Этот человек глубоко индивидуален. В нем нет ничего чужого, заимствованного. Иногда он парадоксален, часто хочется с ним спорить, но никогда его мнения не оставляют вас равнодушным, никогда вы не услышите от него банального общего места. По природе своей, по складу своего таланта, он представляет редкую и любопытную смесь идеалиста и скептика, оптимиста и сурового едкого критика. Эти противоречивые черты его духовной сущности выражаются и в книгах его, и в его разговоре. Он очень многого ждет от человечества, от Англии, — и очень малого от современных людей, от англичан. Он с увлечением строит политические и социальные утопии, — но он не знает и не интересуется знать, кто в парламенте представляет его округ, и, конечно, он в выборах не участвует. Поразительная его плодовитость (порою вредящая законченности и продуманности его произведений, особенно последних) объясняется не только его талантом и трудоспособностью, но и всем складом его жизни. Работе он постоянно отдает большую часть своего времени, живя в деревне и проводя два—три дня в неделю в небольшой своей квартире, в Лондоне, где у него очень небольшой круг близких людей. В лондонском обществе он мало бывает, и, конечно, все его время распределено с тем умением и той экономией, которых, увы, нам так недостает в России. Оттого имя Уэллза можно встретить на страницах газет *исключительно* в связи с его литературными произведениями. Каких-либо других «выступлений» он абсолютно и органически чужд.

Оказалось, что от станции до дома с полчаса езды на моторе. У Уэллса свой собственный небольшой автомобиль, которым он умело правит. Было прекрасное утро, — солнце, кажется, впервые выглянуло со дня нашего приезда в Англию. Днем, впрочем, оно

снова скрылось, начал хлопьями падать снег, надвинулись тучи, — словом, пошла обычная картина. Мы ехали по старой римской дороге, здесь пролегающей и окаймленной живой изгородью. Кругом желтели поля, окутанные утренним туманом. Кое-где подымались холмы, открывались неглубокие долины. Проехали деревню, с аккуратными домиками, крытыми черепицей и обвитыми плющом, и очутились в обширном, сильно запущенном парке, с редкими огромными деревьями и домами сторожей, выбегающих на звук автомобильного гудка, чтобы отворять ворота. Еще несколько поворотов — и показался кирпичный старинный домик, весь одетый зеленью, с характерным английским порталом и несколькими великолепными хвойными деревьями, окружающими въезд. Этот дом арендован Уэллзом на шестьдесят лет. «Как видите, я успею в нем состариться», — заметил он. Около дома — огород, небольшая оранжерея, а дальше — очень оригинальный сарайчик, приспособленный для badminton — игра в мяч, напоминающая лаун-теннис, но с тем главным различием, что ракеты отсутствуют и мяч ловят руками. В эту игру мы после завтрака играли с большим азартом, причем наибольшую ловкость и наибольшее оживление проявлял хозяин дома.

IX

На пороге дома нас встретила г-жа Уэллз — худенькая шатенка, с бледным лицом и красивыми задумчивыми глазами. Дети Уэллза отсутствовали: я сейчас не помню, где они: кажется, в школе. В доме гостила г-жа Вандервельде, англичанка, жена известного бельгийского вождя социалистов, ныне принявшего министерский портфель, — очень бойкая дама, поразившая меня смелостью и непринужденностью замечаний по адресу ее соотечественников, даже очень «высокопоставленных». К завтраку приехал со своей семьей издатель «Daily Express», одного из реакционнейших английских листков, от всей души презираемых Уэллзом, — что не мешает ему поддерживать добрососедские отношения с издателем. При этом Уэллз отнюдь не стесняется высказывать своему деревенскому приятелю истинное свое мнение об его издательской деятельности. «Это одна из наших особенностей, кажется. Мы можем очень хорошо уживаться в наших личных отношениях с людьми, расходясь с ними глубоко в политических и общественных взглядах». Так сказал, между прочим, Уэллз. Для меня это не было новостью. Я знал, что, например, Бальфура и Асквита всегда связывала близкая приязнь, на которой отнюдь не отражалось их политическое соперничество, нередко принимавшее форму ожесточенной партийной борьбы. За время своего пребывания в Англии мне пришлось бывать в обществе людей, политически далеких друг от друга, часто враждебных. Я никогда не замечал никакой натянутости — не говоря уже о неприязни — между ними. На завтраке Institute of Journalists председателст-

вовал Гардинер, руководитель «Daily News». Произнесение тоста за его здоровье было поручено лорду Бернгаму, издателю «Daily Telegraph» (политические враги!), и он сказал такое убежденное и восторженное похвальное слово по адресу Гардинера, которое дай Бог услышать от союзника и друга. Мне кажется, что такие отношения возможны только там, где борьба на общественной арене не переходит в грубую свалку, — где люди остаются — в английском смысле слова — «джентльмэнами» при каких бы то ни было условиях, и, наконец, где существует известный — и довольно высокий — этический минимум, которому каждый должен удовлетворять, если он хочет оставаться общественным или политическим деятелем.

На внутреннем устройстве дома, где живет Уэллз, лежит печать изящества, комфорта, простоты. Прелестна гостиная с большим окном-дверью в сад. По трем ее стенам идут полки с книгами, четвертая, полукруглая, занята окнами. Желтоватые занавески дают мягкий приятный свет. Среди книг много классиков, в переводах: Гомер, Платон, Цицерон. Великолепное старинное издание сочинений Маккиавелли, очевидно, послужившее материалом при писании романа «The new Macchiavelli». Такое же превосходное собрание сочинений Фильдинга. В другой небольшой комнате, по соседству с гостиной, где Уэллз работает, целый шкапик, наполненный его произведениями, которым он сам, — по его словам, — уже потерял счет. На одном из столиков в этой комнате лежит скромный кожаный бювар с адресом, поднесенным Уэллзу покойным «Всероссийским Литературным Обществом» во время его приезда в Петроград. Камин расписан — очень затейливо и остроумно — самим хозяином дома. На стенах старые гравюры и литографии. Из них одна, особенно нравящаяся Уэллзу, изображает всю Royal Family в 40-х годах, чопорно гуляющую на берегу пруда, у подножья Виндзорского замка, в милых костюмах того времени, таких красочных и таких неудобных и нелепых. В другой комнате висят русские лубочные картинки с изображением Троицко-Сергиевской лавры, Соловецкого монастыря, монашеской трапезы. Нижний этаж занят столовой, гостиной, рабочей комнатой и детской, переполненной старыми игрушками. Верхний — многочисленными спальнями, отчасти предназначенными для гостей у Уэллза приятелей, тремя или четырьмя уборными с ваннами, помещениями для прислуги. Уэллз с видимым удовольствием водил нас по всему дому. Устройство его и приспособление ко вкусам и привычкам новых владельцев (дом занят Уэллзом всего два года назад), очевидно, были предметом тщательных и долгих забот.

Мы приехали часов в одиннадцать и почти сразу отправились, с хозяином во главе, гулять по окрестностям. Уэллз хотел нам показать английскую деревню, оговариваясь, что она для Англии вообще не типична, так как уровень благосостояния жителей выше нормального: большинство их владеет участками земли, выкупленными у лэди Уоррик, — надо думать по справедливой оценке... — Мы хо-

тели посмотреть деревенский «public house» — полу-кабачок, полу-ресторан, с крошечными комнатами, низкими закопченными потолками, маленькими решетчатыми окнами, потемневшей и истертой деревянной мебелью. По случаю воскресенья он был закрыт, но жена хозяина, из любезности к Уэллзу и его русским гостям, согласилась нас впустить и даже показала свою собственную жилую комнату, всю увешанную старыми и новыми картинками, портретами короля, Китченера, еще кого-то, уставленную всякими безделушками. Пошли дальше по деревне. Все такие хорошенькие, словно игрушечные, домики, большей частью обвитые плющом, выбеленные, с зелеными ставнями, не скученные. Жителей не видно: сейчас воскресное утро — кто в церкви, кто сидит дома. Мы хотели было попросить Уэллза провести нас к кому-нибудь из деревенских жителей посмотреть на обстановку и домашнее устройство, но оказалось, что он мало с кем знаком, а войти прямо в дом к незнакомому, да еще целой компанией, — неудобно: хозяева могут смутиться и даже, пожалуй, обидеться. Прошли дальше по большой тенистой аллее к очаровательной старинной церкви, совсем маленькой, с несколькими часовнями и великолепными мраморными гробницами семейства Уоррик XVI и XVII веков, со статуями, медальонами, рельефами — все произведения итальянских мастеров, которых английская знать, побывавшая в Италии Ренессанса, выписывала в Англию для выполнения заказов. На стенах еле заметные следы очень старых фресок. На скамейках и пюпитрах (это, кажется, неподходящее слово, но я другого не знаю) остались молитвенники, hymnbooks, Евангелия, обозначающие место каждого прихожанина. Около церкви старое кладбище. А по той стороне дороги, перед домом церковного сторожа — красноречивый остаток старины: «the stocks» — деревянные колодки с железными цепями. Сюда, еще в начале прошлого века, сажали местных жителей за всякие мелкие провинности, лицом к дороге, с ногами и руками, защемленными в отверстия колодок, на потеху и поругание прохожим. Теперь цепи заржавели, дерево местами погнило, но сторож бережет этот «исторический памятник» и, видимо, гордится им.

После завтрака погода испортилась, и мы отправились играть в badminton. В углу сарайчика стоит пьянола, за которую уселась г-жа Вандервельде и принялась аккомпанировать нашей игре всякими плясовыми мотивами, причем и Уэллз, и другие ухитрились играть, приплясывая и притаптывая и, очевидно, всей душой отдаваясь забаве. Очень бы хотелось в эту минуту сфотографировать Уэллза, со смеющимся лицом, с мячиком в руках, в деревенской куртке и высоких сапогах, подпрыгивающего на месте и хитрыми глазами высматривающего — в какое бы место запустить мяч, чтобы побольше насолить противникам. Как он радовался каждой удаче и как ребячески досадовал на неловкость своих партнеров и на собственные промахи!

Часа в четыре пили чай, а там наступило время отъезда. Подали автомобиль, Уэллз уселся на место шофера — и мы покатали на станцию. Уже проводить нас в вагон, за минуту до отхода поезда, он вдруг воскликнул: «Ах, да, ведь, есть, по крайней мере, двадцать вещей, о которых я хотел вас спросить, и не успел! Что Дума, какие у вас виды на будущее, что делает ваше правительство, и т.д. Вот досада!» Правда, мы обо всем этом не говорили, — но я немного сомневаюсь, интересуется ли это сейчас Уэллза. Он слишком занят другим: войной, будущим Англии, будущим Европы¹.

Два месяца тому назад Уэллз кончил большой роман, который в ближайшем будущем начнет печататься в одном из лондонских периодических изданий. Тема этого романа — изображение переживаний, мыслей, настроений, чувств, связанных с войной. «В сущности, я взял свою собственную среду, вот этот деревенский уголок, где никто никогда серьезно не думал о войне, ни об отношениях с Германией, ни о внешней политике вообще, ни о возможности набора, — где не существовало никакого представления о реальных опасностях, связанных с войной, и где все это вдруг стало живой действительностью, требующей от каждого определенной и ясной точки зрения».

Уэллз, конечно, не договаривает. События этой войны постепенно привели Англию к пересмотру всех установившихся точек зрения, всех политических *sic*, даже всех предрассудков. Не избежал общей участи и он сам, и едва ли он теперь подписался бы под теми своими статьями, в которых он доказывал, что Англия должна употребить все усилия, чтобы избежать войны с Германией, так как история готовит ей борьбу *бок о бок* с Германией, — на равнинах Польши... Сборник этих статей, под заглавием: «An Englishman looks at the World»², вышел в свете уже после начала войны, и приведенные строки прозвучали в нем тяжелым диссонансом. Для Уэллза, как и для многих англичан, будущее могущество и рост России искони представлялись наиболее грозной опасностью, и притом — не политической только. Не знаю, отказался ли он окончательно от этого взгляда, но дети его учатся русскому языку, и сам Уэллз также убежденно говорит о необходимости прочного внутреннего сближения с Россией. В его романе есть и личные переживания. У него в доме жил в качестве воспитателя его детей молодой прусский немец, которому пришлось уехать в Германию. «Он был расстроен до последней степени, плакал, как ребенок, и уезжая, забыл свою скрипку, с которою я теперь не знаю, что делать». Уэллз не принадлежит к

¹ В день своего отъезда из Лондона, я завтракал с Уэллзом (которого случайно встретил дня за два на улице) и убедился, что мое первое впечатление было ошибочным. Уэллз подробно расспрашивал меня — если не о двадцати вещах, то о существеннейших, особенно интересуясь положением польского и финляндского вопросов.

² «Англичанин смотрит на мир» (англ.).

числу тех, кто скрежещет зубами при одном упоминании о немцах. Это не значит, конечно, что он их защищает или им симпатизирует. Но, во-первых, он между ними различает обманутых и обманщиков, а во-вторых, он не вменяет гнусностей и жестокостей одних всем другим. С этим связан и другой его взгляд — на возможный конец войны. Он с горечью указывает на огромную популярную литературу, инспирируемую немцами и направленную к тому, чтобы пропагандировать немецкие объяснения войны, сеять рознь и возбуждать недоверие между союзниками. «Мы же, — говорил он, — палец о палец не ударим, чтобы бороться с этой пропагандой и постараться добраться до сознания разумной части населения». Уэллз думает, что в Германии возможна в близком будущем революция, соединенная с свержением прусского ига и всех его нынешних проявлений. Он считает, что это было бы лучшим, исторически наиболее справедливым и наиболее прочным исходом войны, — и что есть возможность этому содействовать. Я боюсь, что здесь он становится утопистом...

Сейчас Уэллз «отдыхает», то есть пишет не роман, а социально-психологические этюды на тему о том, что будет после войны. Он, конечно, не сомневается в ее колоссальных последствиях, которые отразятся на всех сторонах жизни, на индивидуальной и общественной психологии, на политическом и социальном строе. И он хочет угадать, какую форму примут грядущие изменения.

Х

Видели мы и лорда Китченера. Правда, это было мимолетное свидание. Нас «показали» друг другу. Конечно, для нас зрелище было интереснее. Китченер — очень застенчивый человек. Для него пытка говорить публично или хотя бы обращаясь к группе лиц. В парламенте и при других публичных выступлениях он ограничивается чтением по бумажке заранее подготовленной речи. При этом он читает очень плохо, невнятно, слишком тихо, торопясь и путая. Кстати замечу, сами англичане в общем считают себя — за исключением профессиональных политиков — плохими ораторами и очень ценят способность говорить не смущаясь и находчиво, когда этого требуют обстоятельства.

Китченер принимал нас в своем просторном кабинете в War Office, большом здании против Уайт-холля, с монументальной лестницей и снующими по коридорам чиновниками. Нас ввел не то секретарь, не то другой «чин», одетый в штатское платье. Китченер стоял у стола и встретил нас обычным английским приветствием: «How do you do». Затем произошел краткий разговор: Китченер спросил нас о наших впечатлениях и высказал несколько лестных замечаний по адресу русских солдат. Каюсь, я больше разглядывал Китченера, чем слушал то, что он говорил. Импонирует, прежде всего, его стройная, высокая фигура. Он держится удивительно бодро для своих лет. Как

лорд Weardale уверяет, это потому, что Китченер всю жизнь оставался холостым. Его смуглое лицо, с густыми усами, освещается большими глазами навывкат, прямо и пристально смотрящими из-под слегка нависшего лба. Выражение этих глаз — повелительное, властное — придает Китченеру отдаленное сходство с Бисмарком.

Как бы ни оценивать таланты Китченера и способность его стоять во главе War Office, — если даже согласиться, что он для этого человек неподходящий, и что постепенное ограничение его власти и сокращение его функций — основательно и разумно, все же невозможно отрицать огромную роль, которую сыграли в начале войны и в деле набора его обаяние, популярность, его личность, его громкое имя. Трудно, даже невозможно назвать кого-либо другого, который в этом отношении мог бы с ним соперничать. Теперь, несомненно, эта роль уже в значительной своей части — в прошлом. Теперь не редкость даже в парламенте услышать ядовитые замечания по адресу Китченера, и всего несколько дней тому назад правительству пришлось отвечать на ряд весьма нескромных и не очень тактичных вопросов, смысл которых сводился к тому, что содержание, получаемое Китченером, не находится в соответствии с пользой, приносимой его деятельностью. Во всяком случае и сейчас эта крупная личность, с таким большим историческим прошлым, производит яркое, глубокое впечатление¹.

1916 г.

¹ Эти строки появляются в печати после того, как трагическая кончина Китченера окружила новым ореолом эту исключительную историческую фигуру. Могли ли мы думать, смотря на этого стройного, крепкого, полного жизни старика, что смерть уже стоит за его плечами?

Испытания дипломата

Глава II

Насколько радужна была природа и приветливо дружелюбны люди при моем отъезде из Индии — настолько же мрачен, холоден и угрюм был Лондон, когда я добрался до него после всевозможных злоключений, начавшихся еще в Средиземном море, где пароход наш в течение двух суток подвергался преследованию подводных лодок. Ко всему человек привыкает — даже к климату Лондона. Но после 3 1/2 лет, проведенных в лучезарной Индии — Лондонские туманы и зимние бури переносятся с трудом.

Русским послом в Великобритании я застал графа Александра Константиновича Бенкендорфа. Среди русских дипломатов старой школы он занимал одно из первых мест. Владея в совершенстве французским, немецким и итальянским языками, он говорил довольно свободно по-английски и не только, таким образом, мог находить «общий язык» с английскими министрами, но и с послами Великих Держав. К сожалению, русский язык он знал недостаточно, а потому на соотечественников производил впечатление иностранца. Впечатление, разумеется, поверхностное и в корне ложное, ибо граф Бенкендорф был горячим и просвещенным патриотом. Он был не только предан «Державе Российской», но и русскому народу, и служил интересам России с пламенной верой в свою родину. По рождению и личным родственным и дружеским связям он принадлежал к самому тесному придворному кругу и к высшей аристократии. Несмотря, однако, на эту принадлежность к кругам, ненавидевшим всякое проявление живой политической мысли, всякой общечеловечности, словом, к той среде, где даже рыхлые «мирнообновленцы» считались опасными — наш посол резко отличался от этой среды в своих взглядах на внутреннюю русскую политику. Вряд ли можно сомневаться в том, что тринадцатилетнее пребывание в Англии, где до настоящего времени монархический принцип так мудро сочетается с широчайшей политической свободой — сильно повлияло на графа Бенкендорфа и внушило ему такие взгляды на русское самодержавие, которые казались преступною ересью его друзьям и сверстникам в России. Среди англичан граф пользовался всеобщей любовью и уважением. С тогдашним главою правительства Асквитом, с сэром Эдуардом Греем, с французским послом Полем Камбоном — его связывали узы личной дружбы. У графа Бенкендорфа была одна замечательная особенность: в разговоре он излагал свои мысли с необычайной ясностью, и мысли эти всегда были настолько проникновенны, обличали такое глубокое понимание истинных

пружин, двигавших международные отношения в Европе в период 1905—1915 годов, что на самого предубежденного слушателя он производил впечатление подлинного мудреца. Но как только он брался за перо (писал он *всегда* по-французски) — так в большинстве случаев эта яркость и проникновенность мысли куда-то улетучивались. Телеграммы и политические письма его редактированы были то изысканно, длинными, запутанными периодами, то отрывочными фразами — так что подчас трудно было уловить его мысль. В этом, пожалуй, единственном недостатке графа, как одного из важнейших деятелей русской международной политики — заключалось серьезное несчастье. В своих донесениях и телеграммах за последние годы он не раз указывал, что продолжение в России режима репрессий неизбежно приведет к катастрофе для монархии, что английское общественное мнение не может не относиться отрицательно к таким вопиющим явлениям, как, например, премьерство Штюрмера. Но излагал он эти свои предостережения так, что они теряли свою убедительность.

В 1915 году убит был любимый сын посла, и смерть эта очень сильно на него подействовала. За время войны произошло значительное охлаждение между ним и Сазоновым. По поводу одного из совещаний представителей Англии, Франции и России в Лондоне, на котором приняты были некоторые решения в связи с вступлением в войну Италии, Сазонов написал личное письмо графу, содержащее в себе резкую критику его действий. Сазонову всегда свойственна была неприятная резкость не только в личных отношениях, но в особенности в переписке. Скажу с уверенностью, что от впечатления, произведенного на графа этим письмом, резким и оскорбительным, он никогда не оправился.

За время (год) моей службы в Лондоне при графе — он не держал меня в курсе своей работы — иначе говоря, я знал, только то, что знали секретари. Участия в дипломатической работе, в тесном смысле слова, я, таким образом, не принимал.

К началу 1916 года — когда мне пришлось стать непосредственным наблюдателем, на месте, течения событий в Англии в связи с войною, положение было, в кратких словах, следующее: английские войска, совершив целый ряд геройских подвигов и понесши огромные жертвы, очистили Галлиполи — что было тяжким ударом для их самолюбия. В то же время отряд генерала Тоунсенда оказался осажденным в Куте, в Месопотамии, и войска, посланные ему на выручку, не сумели выполнить своей задачи. В рабочем районе на реке Кляйде происходили рабочие беспорядки. Ирландия оказалась исключенной из билля о воинской повинности. В то же время английская армия продолжала увеличиваться и совершенствоваться, производство вооружения росло с чрезвычайной быстротой. Замена лорда Френча сэром Дугласом Хейгом на посту главнокомандующего была армией встречена сочувственно. На западном фронте начался период «окопной» войны, уносившей крупное число жертв, но не приво-

дившей к «эффективным» результатам. В феврале началась эпическая оборона Вердена, и единственным благоприятным для общего дела союзников ярким событием было взятие Эрзерума русскими войсками. Чувствовалось уже, хотя смутно, что для достижения победы понадобится напряжение всех сил *всех* союзников. Этим определялись и взаимоотношения союзников, начинавших уже с крайней чуткостью относиться к малейшим признакам «упадка энергии» друг у друга.

Россия была в этот момент в апогее популярности. Впервые за целое столетие оказавшись нашими «братьями по оружию», англичане словно хотели изгладить из памяти своей и нашей все прежние недоразумения и прежнюю вражду, Крым, Берлинский конгресс, сочувствие к Японии, дипломатическую затяжную распрю в Персии. Официальные сферы, в особенности военные, широко шли навстречу нашим требованиям, щедрою рукою давали нам снаряжение. Наиболее отзывчивым к нуждам России был в то время лорд Китченер. Как известно, единственным крупным государственным деятелем, при самом начале войны предсказавшим, что война будет затяжная — был Китченер. Срок, им намеченный, был — три года, и предсказание его, вероятно, сбылось бы точно, если бы не развал русской армии, предвидеть которого он не мог, ибо он не мог учесть тех роковых для государства последствий, которые повлекла за собою безумная мера царского правительства — одновременная мобилизация многомиллионной армии, прокормить, обмундировать и вооружить которую не могло бы никакое правительство, а тем менее наша бюрократия, отказавшаяся от содействия общественных сил. Мне известно, что бывали случаи, когда лорд Китченер по своей инициативе санкционировал поставки нам боевого материала в *больших* размерах, нежели мы сами просили. Китченер придавал первостепенное значение русскому фронту и готов был на крупные жертвы, чтобы поддержать его. Не подлежит сомнению, что трагическая кончина этого замечательного человека была крупною потерей не для Англии только, а и для России.

Симпатии к России проявлялись чрезвычайно ярко во всех слоях общества. Появился целый ряд книг о России, организовывались по всей стране «англо-русские» общества, имевшие целью культурное сближение. В нескольких университетах на частные пожертвования открылись кафедры по русскому языку. Мне лично пришлось выступать на собраниях, устраиваемых в этих целях, и неизменно наблюдалось искреннее сочувствие присутствовавшей публики. К какой бы аудитории мне ни приходилось обращаться (и в то время, и в позднейшее) — аргументом, или, вернее, свидетельством, производившим сильное впечатление, бывало указание на популярность в России английской литературы, на нашу любовь и преклонение пред Шекспиром, Диккенсом, пред великими поэтами, в течение прошлого столетия вдохновлявшими русскую музу. В сознание широких масс английской интеллигенции начинала проникать мысль,

дотоле чуждая, что русская культура не исчерпывается романами Льва Толстого, Достоевского и Тургенева. Принести хоть небольшую пользу в этом деле культурного сближения Англии и России казалось для меня тогда особенно благотворным заданием, а отзывчивость англичан служила могучим стимулом. Теперь об этом вспоминаешь с глубокою горечью, теперь, когда русская культура с каждым днем гибнет, разрушаемая беспощадными руками развращенных большевиками невежественных подонков русского населения. Не будет преувеличением сказать, что за первые два года войны на пути культурного сближения с Россией Англия пошла гораздо дальше, нежели Франция за 25 лет своего с нами союза. И это вполне понятно. Союз России с Францией был чисто утилитарным, существовал для одной определенной цели; до русского народа, его психологии, творчества, истории — французам не было никакого дела. Свободолюбивый английский народ инстинктивно ненавидел русский *режим*. Тот патриотический подъем, который вызвала в России война, тот героизм, с которым шли на верную смерть несметные русские солдаты, показал англичанам «подлинный лик» России... и им стало стыдно своего невежества.

Весною 1916 года Англию посетила депутация журналистов, а позднее — в мае — депутация от Государственной думы и совета. Депутация журналистов имела в своем составе: Василия Ивановича Немировича-Данченко, графа Алс.Толстого, Чуковского, Башмакова, Егорова и В.Д.Набокова, причем «вожаком» Немировича, ни звука не понимавшего по-английски, служил корреспондент «Таймса» в Петрограде Вильтон. Каждый из членов делегации дал, насколько мне известно, отчет в русской печати о своих впечатлениях, так что о пребывании ее в Лондоне мне было бы излишне распространяться. Депутация была разношерстная и не всех ее членов можно было счесть подходящими для выполнения цели, то есть, ознакомления с настроениями политических и общественных кругов. Прием, оказанный английским правительством и печатью этой делегации, бывшей для всех «анонимами» (за исключением моего брата) — явился, однако, ярким показателем симпатий англичан к России. Вскоре после отъезда этой депутации в Россию граф Бенкендорф, по моему усиленному настоянию, возбудил переписку с Петроградом о желательности приглашения в Россию «ответной» депутации английских журналистов. Переговоры эти умышленно затягивались министерством иностранных дел в Петрограде. Сначала оно предложило, чтобы составлена была смешанная делегация из французских и английских журналистов — под тем предлогом, что наши журналисты побывали и во Франции. Мы возражали, что такая амальгама несуразна, что одновременное присутствие в России двух групп, говорящих на разных языках, вызовет трения и затруднения, вполне очевидные. Наконец, после долгой переписки, получено было принципиальное согласие на приезд английской делегации. Путем переговоров с издателем газеты «Daily Telegraph»

лордом Бернамом, согласившимся стать во главе делегации, удалось разрешить трудную задачу подыскания среди журналистов, представляющих различные политические течения — охотников на поездку в Россию. Тогда начались снова разговоры о сроке приезда. Из Петрограда под всякими предлогами начались оттяжки. Затем английский посол телеграфировал своему правительству, что по политическим соображениям приезд делегации нежелателен... и в конце концов поездка так и не состоялась. Этот факт, сам по себе незначительный, не мог не послужить для здешнего правительства, а тем более для печати, руководители которой были непосредственно заинтересованы в вопросе о поездке делегации, некоторым тревожным указанием на то, что в России — то есть, в Петрограде, на фронте и в тылу — не все благополучно. О падении духа армии, о беспорядках в тылу, о бесчинствах Распутина и потере престижа царской власти уже тогда ходили смутные слухи, к которым здесь стали, с этих пор, прислушиваться с все возрастающею чуткостью.

Несколько раньше, в середине мая 16-го года, Англию, Францию и Италию посетила депутация от Государственной думы и совета. Составленная из членов, принадлежавших к различным партиям, включавшая тогдашних лидеров оппозиции и критиков правительства, как то Милюкова, Шингарева — депутация имела целью подтвердить правительствам и общественному мнению главных Союзных держав полную солидарность всех партий в деле доведения войны до победы. В то время, разумеется, никто не предугадывал головокружительно быстрого крушения всех умеренно-либеральных элементов в России, наступившего после падения монархии. Тогда казалось, что одержание этими именно умеренными элементами победы над ультра-реакционными влияниями, давившими на монарха, — явилось бы желанным разрешением назревавшего кризиса. Исходя из этой мысли, англичане, естественно, приветствовали одновременные выступления таких людей, как Гурко, Милюков, Протопопов (числившийся в то время либералом). И в этом отношении делегация, несомненно, свою задачу здесь отчасти выполнила и подкрепила ненадолго веру в прочность участия России в войне.

В Англии с делегацией произошло немало тяжелых и неприятных инцидентов «внутреннего порядка». Началось с того, что не было подобающей встречи со стороны посольства. Вышла какая-то невообразимая путаница; поезд пришел в 5 часов утра; депутаты начали вылезать из своих спальных вагонов в 7 утра, и оказавшийся на вокзале к этому времени неопытный и мало находчивый секретарь посольства только подлил масла в огонь негодования «государственных» людей, проявивших по этому поводу не вполне достойную их высокого звания мелочную обидчивость. Впрочем нам, лондонскому посольству, всегда нарочито не везло с «встречами». То попадали мы не на тот вокзал, то поезд приходил за полчаса до получения нами телеграммы о прибытии «особы». Мы, в конце концов, прими-

рились с этим роком, и наши faux pas в этой области служили всегда с тех пор предметом товарищеских шуток.

Немедленно по приезде делегации произошел, однако, инцидент более серьезный. При составлении программы чествования русской делегации, английское министерство иностранных дел прежде всего пожелало узнать, кого из членов ее следует почитать старшим. Кто, следовательно, должен быть посажен на «банкете» под председательством премьера на почетное место, и кто будет отвечать на приветствие. В виду того, что по служебному своему положению барон Р.Р.Розен, как бывший посол в Вашингтоне, несомненно был старшим, посольство в таком смысле и ответило. По приезде в Лондон, барон Розен, как давнишний коллега графа Бенкендорфа, посетил его отдельно, и они сговорились о том, что барону Розену будет доставлен проект приветственной речи Асквита, как только посол его получил из канцелярии премьера. Барон Розен должен был, составив свой ответ, в свою очередь предварительно обсудить его с графом Бенкендорфом. Вернувшись из посольства в гостиницу, барон Розен пригласил к себе своих товарищей по Государственному совету и сообщил им о принятых мерах. Тут-то сыр-бор и загорелся. Один из членов делегации, человек громкий, решительный и резкий, определенно заявил, что барон Розен не имел ни права, ни полномочия единолично решать вопрос о старшинстве; тут же сделаны были крайне оскорбительные для Розена намеки на его «инородчество» и германские симпатии. Розена это страшно потрясло. Граф Бенкендорф имел, разумеется, полную возможность и полное основание уладить этот инцидент должным образом, указав строптивому недругу Розена, что послу в такого рода делах принадлежит решающий голос. Но барон Розен настолько почувствовал себя оскорбленным, что немедленно и бесповоротно решил отстраниться от делегации. Он пошел на первый банкет, но после этого уклонился от дальнейшего участия в странствиях делегации: не поехал ни в экскурсию по Великобритании, ни на континент, оставался в Лондоне и проводил большую часть времени в клубе. Среди бывших сослуживцев, подчиненных барона Розена, наиболее близкие отношения сохранялись у него с князем Н.А.Кудашевым, ныне посланником в Пекине, и со мною. Расходясь с Розеном в оценке им самим подписанного Портсмутского договора с Японией, не разделяя его в то время — то есть в период 1905—1911 годов — крайне реакционных взглядов, я тем не менее ценил и уважал в нем живость ума, огромный опыт и убежденность. Во что он верил, он верил упорно и искренно. Тут впервые, в Лондоне, разномыслие наше обострилось настолько, что привело к охлаждению личных отношений. За время своего пребывания в России после оставления поста посла в Америке, Розен оторшился от своих реакционных убеждений. Всем памяты красноречивые предупреждения, с которыми он обращался к правительству с трибуны Государственного совета. Казалось бы, Розен должен был быть убежденным сторонником «борьбы до конца» с герман-

ским абсолютизмом. Между тем, — потому ли, что обстановка, при которой он вышел из делегации в Лондоне, повлияла на него настолько сильно, что затмился его политический кругозор, или счел он себя вправе свободно высказывать мне, как частное лицо, свои затаенные мысли, — но он неожиданно стал с горячею убежденностью доказывать мне, что Германию победить нельзя, что все наши мечты о Константинополе — мираж, и что союз наш с Англией и Францией — фатальная ошибка. В одном барон Розен был прав. Он говорил, что «Америка права, воздерживаясь от участия в бессмысленной *бойне, которая ни к чему, кроме крушения Европы, привести не может*». Но в этот момент оправдывание позиции, занятой Америкой под лидерством Вильсона — казалось ересью, ибо в странах Согласия, веровавших в правоту своего дела и терпевших зверства врагов — позиция эта возбуждала негодующее недоумение. В английской печати со времени большевистского переворота появлялись сбивчивые и отрывочные сведения о деятельности барона Розена. Хочется верить, дабы не омрачать светлого облика выдающегося русского дипломата, что все эти сведения — сплошная клевета.

Так как Россия, как указано выше, была в то время в апогее популярности в Англии, прием оказан был делегации самый горячий. Мне пришлось сопровождать делегацию в ее путешествии по Великобритании и быть свидетелем того исключительного внимания, которым она была окружена, и интереса, ею возбужденного. Особенно памятен мне банкет в Глазго. На этом банкете тосты за Россию, речи русских гостей принимались с энтузиазмом, которого трудно было ожидать от невозмутимых шотландцев. Характерно то, что огромное большинство присутствовавших — общее число которых было свыше 500, были люди пожилые. На этом обеде от имени делегации речь на английском языке произнес А.Д.Протопопов, и произнес вполне удовлетворительно, хотя сам, кажется, не понимал и половины произносимых им слов. Протопопов, которого мы в посольстве увидели впервые, произвел на нас странное впечатление. Сквозь маску либерального патриотизма нет-нет да проглядывала какая-то паясническая гримаса. Граф Бенкендорф выразился про него кратко и, пожалуй, не вполне исчерпывающе: «*c'est un imbecile*». Приняв с остальными членами посольства ласково-интимный тон, он рассказывал нам самые невероятные вещи про то, что творилось при дворе, про Распутина, про митрополита. Но раза два обмолвился такими презрительными фразами по адресу Государственной думы, что оставил нас в недоумении. Сэр Эдуард Грей, говорят, выразился про Протопопова: «В нем есть что-то персидское».

Впечатление, произведенное на английское общественное мнение посещением русской делегации, было быстро изглажено под влиянием событий, имевших место вскоре после ее отъезда: Ютландского морского боя и гибели лорда Китченера. Затем наступил и продолжался месяца три период, сравнительно бледный событиями. На западном фронте шли непрерывные бои, с переменным счастьем, но

без решительных результатов. Успех наступления генерала Брусилова снова усыпил тревогу за положение русской армии. Прошли осенние месяцы, и наступила роковая для русской монархии зима. Хотя граф Бенкендорф отнюдь не усматривал в Сазонове непогрешимого оракула по иностранной политике, тем не менее уход его и назначение Штюмерера повергли графа в глубокое уныние. Когда пришла телеграмма из Петрограда с известием об этом назначении, граф сказал: «*c'est de la demence*» («это — безумие»). Всякий раз, когда до него доходили слухи или подлинные вести о различных попытках (Самарина, Родзянки, княгини Васильчиковой, сэра Джорджа Бюканана) повлиять на Императорскую чету и открыть им глаза на истинное положение вещей, посол загорался надеждою, что Николай II, наконец, образумится и призовет к власти ответственное, либеральное министерство. Речь Милюкова в Думе и уход Штюмерера подняли его дух. Когда же все снова пошло по-старому и хуже, когда стало ясно, что кризис неминуем, граф окончательно пал духом. Последним событием, несколько его подбодрившим, было назначение Н.Н.Покровского министром иностранных дел. «*Celui-la, au moins, c'est un honnete homme*», говорил он. Но уже в то время у графа начала проявляться некоторая безнадежность. Хотя он мне почти никогда не передавал содержания своих бесед с Греем (а потом Бальфуром) — все же было ясно, и сквозило даже в его секретных телеграммах Покровскому, — что английские государственные люди с чрезвычайною тревогою следили за событиями в России.

В конце 1916 года произошел в Англии министерский кризис, вызванный, главным образом, упорною агитацией «прессы лорда Нортклиффа» («*Times*», «*Daily Mail*» и др.) против Асквита, которого эта влиятельная часть печати упрекала в недостатке энергии, в нерешительности. Во главе кабинета стал Ллойд Джордж, в течение сравнительно краткого времени занимавший последовательно посты канцлера казначейства, министра «военного снаряжения» («*munititions*») и военного. Сэр Эдуард Грей в новом коалиционном министерстве заменил Бальфур. Уход Асквита для России был явлением, скорее, благоприятным, так как симпатии Асквита в международной политике клонились, конечно, не в нашу сторону. Страна поверила, что Ллойд Джордж — тот человек, который сумеет вдохнуть в бюрократическую машину максимум энергии и поддержать в массах патриотическое настроение на высоте, достаточной для принесения новых и тяжчайших жертв во имя победоносного окончания войны.

В начале января 1917 года граф Бенкендорф простудился, заболел воспалением в легких и через пять дней скончался (12-го числа). До самой последней минуты он не сознавал близости конца и живо интересовался делами. Таким образом он скончался, как часовой на посту; прекрасный конец, завершивший прекрасную карьеру просвещенного патриота. И счастье для него, что не дожид он до сегодняшнего дня. Всех тех унижений, которые несчастная Россия пере-

жила за последние три года, покойный граф и представить себе не мог... и эти унижения свели бы его в могилу нравственно разбитым и истрадавшимся. Этих страданий он, благодарение Богу, избежал.

На другой день после смерти посла я получил ряд писем, выражавших соболезнование. Лорд Хардинг писал: ...Смерть его для меня — тяжелый удар, ибо мы очень хорошо знали друг друга и очень велико было наше взаимное доверие. Потеря не только для вашей страны, но и для моей: ни один посол не пользовался таким уважением общества, как он, и всякий знает, какое огромное участие он лично принял в деле улучшения отношений между Англией и Россией, улучшение, которое уже представляет собою величайшее политическое событие нынешнего столетия». Французский посол Камбон писал: «Страшное несчастье, о котором я узнал по возвращении в Лондон, глубоко меня огорчает. Будучи коллегой графа Бенкендорфа в Лондоне в течение более одиннадцати лет, я имел с ним дружеские отношения, ежедневно становившиеся более тесными. Я более, чем кто-либо, ценил его крупные и чарующие качества. Это потеря для России и для Франции, где он воспитывался. Франция знала, сколько опыта и мудрости он вносил в сложнейшие переговоры, которые велись в Лондоне».

1921 г.

Кэмбридж

Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова. Неправда ли? Хороша природа за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить; а, спервоначала, оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя не лучше сухенькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий (именуемых колледжами) стройно тянется ввысь; горят червонные циферблаты на стремительных башнях; в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона; а против этих самых ворот пестроют выставки современных магазинов, кошунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги.

Взад и вперед по узким улицам шмыгают, перезваниваясь, обрызганные грязью велосипеды, кудахтают мотоциклы и, куда не взглянешь, везде кишат цари града Кембриджа — студенты: мелькают галстуки на подобие полосатых шлагбаумов, мелькают необычайно мятые, излучистые штаны, всех оттенков серого, начиная с белого, облачного и кончая темно-сизым, диким, — штаны, подходящие на диво под цвет окружающих стен.

По утрам молодцы эти, схватив в охапку тетрадь и форменный плащ, спешат на лекции, гуськом пробираются в залы, сонно слушают, как с кафедры мямлит мудрая мумия и, очнувшись, выражают одобренье свое переливчатым топаньем, когда в тусклом потоке научной речи рыбкой плеснется красное словцо. После завтрака, напялив лиловые, зеленые, синие куртки, улетают они, что вороны в павлиньих перьях, на бархатные лужайки, где до вечера будут шелкать мячи, или на реку, протекающую с венецианской томностью мимо серых, бурых стен и чугунных решеток, — и тогда Кембридж на время пустеет: дюжий городской зевак, прислонясь к фонарю, две старушонки в смешных черных шляпах гагакают на перекрестке, мохнатый пес дремлет в ромбе солнечного света... К пяти часам все оживает снова, народ валом валит в кондитерские, где на каждом столике, как куча мухоморов, лоснятся ядовито-яркие пирожные.

Сию я бывало в уголке, смотрю по сторонам на все эти гладкие лица, очень милые, что и говорить, — но всегда как-то напоминающие объявления о мыле для бритья, и вдруг становится так скучно, так нудно, что хоть гикни и окна перебей...

Между ними и нами, русскими, — некая стена стеклянная; у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которея заводят нас, Бог знает, в какие небеса и бездны; у нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено, — гуляй, душа! Для англичанина это непонятно, ново, пожалуй, заманчиво. Если, напившись, он и буянит, то буянство его шаблонно и благодушно, и, глядя на него, только улыбаются блюстителю порядка, зная, что известной черты он не переступит. А с другой стороны, никогда, самый разымчивый хмель не заставит его расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку о землю... Во всякое время — откровенности коробят его. Говоришь, бывало, с товарищем о том, о сем, о стачках и скачках, да и сболтнешь по простоте душевной, что вот, кажется, всю кровь отдал бы, чтобы снова увидеть какое-нибудь болотцо под Петербургом, — но высказывать мысли такие непристойно; он на тебя так взглянет, словно ты в церкви рассвистался.

Оказалось, что в Кембридже есть целый ряд самых простых вещей, которых, по традиции, студент делать не должен. Нельзя, например, кататься по реке в гребной лодке, — нанимай пирогу или плот; не принято надевать на улице шапку — город де наш, нечего тут стесняться; не полагается здороваться за руку, — и, не дай, Бог, при встрече поклониться профессору: он растерянно улыбнется, пробормочет что-то, споткнется. Не мало законов таких, и свежий человек, нет-нет, да и попадет впросак. Если же буйный иноземец будет поступать все-таки по-своему, то сначала на него подивятся — экий чудак, варвар, — а потом станут избегать, не узнавать на улице. Иногда, правда, подвернется добрая душа, падкая на зверей заморских, но подойдет она к тебе только в уединенном месте, боязливо озираясь, и навсегда исчезнет, удовлетворив свое любопытство. Вот отчего, подчас, тоской набухает сердце, чувствуя, что истинного друга оно здесь не сыщет. И тогда все кажется скучным, — и очки юркой старушки, у которой снимаешь комнату, и сама комната с ее грязно-красным диваном, угрюмым камином, нелепыми вазочками на нелепых полочках, и звуки, доносящиеся с улицы — крик мальчишек-газетчиков: пайпа! пайпа!..

Но ко всему привыкаешь, подлаживаешься, учишься в чуждом тебе подмечать прекрасное.

Блуждая в дымчатый весенний вечер по угомонившемуся городку, чуешь, что кроме пестряди и суеты жизни нашей, есть в самом Кембридже еще иная жизнь, жизнь пленительной старины. Знаешь, что ее большие, серые глаза задумчиво и безучастно глядят на выдумки нового поколения, как глядели сто лет тому назад на хромого, женственного студента Байрона и на его ручного медведя, запо-

¹ Газета.

мнившого навсегда родимый бор, да хитрого мужичка в баснословной Московии.

Промахнуло восемь столетий: саранчей налетали татары; грохотал Иоанн; как вещий сон, по Руси веяла смута; за ней новые цари вставали золотыми туманами; работал Петр, рубил с плеча и выбрался из лесу на белый свет; — а здесь эти стены, эти башни все стояли, неизменные, и все так же, из году в год, гладкие юноши собирались при перезвоне часов в общих столовых, где, как ныне, лучи, струясь сквозь расписные стекла высоких окон, обрызгивали плиты бледными аметистами, — и все так же перешучивались они, юноши эти, — только, пожалуй, речи были бойче, пиво пьянее...

Я об этом думаю, блуждая в дымчатый весенний вечер по затихшим улицам. Выхожу на реку. Долго стою на выгнутом, жемчужно-сером мостике, и поодаль мостик такой же образует полный круг со своим отчетливым, очаровательным отражением. Плакучие ивы, старые вязы, празднично пышные каштаны холмятся там и сям, словно вышитые зелеными шелками по канве поблекшего, нежного неба. Тускло пахнет сиренью, тиневеющей водой... И вот по всему городу начинают бить часы... Круглые, серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине, и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными, вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких, туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем... И глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения — будто рисунок по фарфору — я задумываюсь все глубже, — о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем...

1921 г.

Другие берега

1

Летом 1919-го года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916-го года приезжал туда, с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский), по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого, Чуковский, как многие русские, преувеличивавшие литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравятся лондонские туманы — «бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни. ...

Брат мой и я поступили осенью 1919-го года в Кембриджский университет — он в Christ's College, а я в Trinity.

2

Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканый иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой, чтобы представиться Гаррисону, моему «тьютору», наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынный и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка прикрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня; в кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами «Моя фамилия —» и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышевого кресла Гаррисона. С недовольным криком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрежную горсть, а затем шлепнул обратно в

чайник, черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжестей, ошибок и всякого рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение трех-четырёх последовавших лет.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители друга White Russian¹, так что сначала я делил квартиру в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, прочитать «Протоколы Сионских мудрецов» да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется «L'homme qui assassina² Фаррера. В конце года, он не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был согласно регламенту покинуть Кембридж, и остальные два года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства, ибо, — как теперь мне ясно, — я, метя в Англию, рассчитывал попасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад в красочное младенчество, которому именно Англия, ее язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просиженный, пылью пахнувший диван, мещанские подушки, тарелки на стене, раковины на камине, и, на видном месте, ветхая пианола с грыжей, ужасные, истощные и трудные звуки которой квартирная хозяйка позволяла и даже просила выдавливать в любой день, кроме воскресений. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швейцары в котелках грозили, скажем за гулянье по мураве, — просто традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам пятисотлетний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальне не полагалось топить. Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже проточной воды; приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломничество в ванное заведение при колледже, идти по моему переулочку среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в клеенчатом мешке подмышкой. Я часто простужался, но ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой, после чего поражали иностранцев тем, что зимой гуляли без пальто. Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет с рукавами (джерпер) и спортивный пиджак с хлястиком. Модники предпочитали пиджак от хорошего костюма, ярко-желтый джерпер, бледно-серые фланелевые штаны и

¹ Белый русский (*англ.*).

² «Человек, который убил» (*фр.*).

старые бальные туфли. Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок. Не буду продолжать описывать этих маскарадных впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, — ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лени души, усыпанной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда мало осознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от размычивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, — и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку. ...

3

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Из моего английского камина запыльхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность, Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолепной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников, открывавших новых птиц и насекомых в Средней Азии. Однажды на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горацийев Толковый словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерно, отмечая прелестные слова и выражения: «ольял» — будка на барже (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно впрочем сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то дон-Кихотскими нагромождениями томов (тут были и Мельников-Печерский и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно — стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелла до Хаусмана, которыми был заражен

самый воздух моего тогдашнего быта. Но боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно. Тошнило от выкуренных двадцати турецких папирос. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не столько бессонницы, сколько сердечных перебоев, да того редкого, хоть и пустого недуга, которому я всегда был подвержен, *anxietas tibiae*¹ — когда ноги «тянет», как у беременной женщины. В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий закат сквозь лишаи бора; — и, подкинув еще угля, я утраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского «Таймза». Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой как барабанная шкура, и прекрасной как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там — и в могучий рев, оранжево-темное пятно появлялось посредине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице. ...

Но странно: что-то было такое в Кембридже... Не футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожками, — словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил, как приволье времени и простор веков. На что ни помотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того, что в физическом пространстве это было не так, т.е. тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные дали времени и веков. У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом. На независимого юношу среда только тогда влияет, когда в нем уже заложена восприимчивая частица; такой частицей было во мне все то английское, чем питалось мое детство. Мне впервые стало это ясно в последнюю мою кембриджскую весну, когда я почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда то, чем я только и занимался три года, кропотливая реставрация моей может быть искусственной, но восхитительной России, была наконец закончена, т.е. я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда. Один из немно-

¹ Боль в голени (*лат.*).

гих «утилитарных» грехов на моей совести это то, что я употребил (очень правда небольшую) долю этого драгоценного материала для легкой и успешной сдачи экзаменов. Едва ли не самым замысловатым вопросом было предложено описать сад Плюшкина, — тот сад, который Гоголь так живописно заселил всем, что набрал из мастерских русских художников в Риме.

4

Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, сладостный гавайский вой граммофонов, плывших сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной parasol, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста. Белые и розовые каштаны были в полном цвету, их громады толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier¹. Теплый воздух пропитан был до странности крепкими запахами, чуть ли не мушмулой. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими отражениями в воде три волшебных овала, и в свою очередь вода наводила переливающийся отсвет на внутреннюю сторону свода, под которым скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что, наперекор жрецам подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; было страшно, что фокус не выйдет, что благословенное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется, и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось, — с точностью слов поэта, которые встречаются на полпути его или читательское воспоминание.

1954 г.

¹ Рельефно (*фр.*).

Герберт Уэллс

I

Самые кружевные, самые воздушные соборы построены все-таки из камня; самые чудесные, самые нелепые сказки всякой страны — построены все-таки из земли, деревьев, зверей этой страны. В лесных сказках — леший, лохматый и корявый, как сосна, и с гоготом, рожденным из лесного ауканья; в степных — волшебный белый верблюд, летучий, как взвеванный вихрем песок; в полярных — китшаман и белый медведь с туловищем из мамонтовой кости. Но представьте себе страну, где единственная плодородная почва — асфальт, и на этой почве густые дебри только фабричных труб и стада зверей только одной породы — автомобили, и никакого другого весеннего благоухания — кроме бензина. Эта каменная, асфальтовая, железная, бензинная, механическая страна — называется сегодняшним XX столетия Лондоном, и, естественно, тут должны были вырасти свои железные, автомобильные лешие, свои механические, химические сказки. Такие городские сказки есть: они рассказаны Гербертом Уэллсом. Это — его фантастические романы.

Город, нынешний огромный, лихорадочно бегущий, полный рева, гула, жужжания пропеллеров, проводов, колес, реклам — этот город у Уэллса всюду. Сегодняшний город с некоронованным его владыкой — механизмом, в виде явной или неявной функции — непременно входит в каждый из фантастических романов Уэллса, в уравнивание любого из уэллсовских мифов, а эти мифы, как мы дальше увидим, именно логические уравнения.

С механизма, с машины — начал Уэллс: первый его роман — «Машина времени», и это — сегодняшний городской миф о ковресамолете, а сказочные племена морлоков и элоев — это, конечно, экстраполированные, доведенные в своих типичных чертах до уродливости, два враждующих класса нынешнего города. «Грядущее» — это сегодняшний город, показанный через чудовищно увеличивающий, иронический телескоп: тут все несется со сказочной быстротой — машины, машины, машины, аэропланы, турбинные колеса, оглушительные граммофоны, мелькающие огненные рекламы. «Спящий пробуждается» — опять аэропланы, провода, прожектора, армии рабочих, синдикаты. «Война в воздухе» — снова аэропланы, тучи аэропланов, дирижаблей, стада дредноутов. «Борьба миров» — Лондон, лондонские поезда, автомобили, лондонские толпы, и этот выросший на асфальте типичнейший городской леший-марсианин, стальной, шарнирный, механический леший, с механической сиреной — чтобы можно было завывать и гоготать, как подобает всякому

исполняющему обязанности лешего. В «Освобожденном мире» — городской вариант сказки о разрыв-траве: но только разрыв-трава найдена не на поляне в ночь на Ивана Купалу, а в химической лаборатории, и называется внутриатомной энергией. В «Человеке-невидимке» — снова химия: сегодняшняя, городская, химическая шапка-невидимка. Даже там, где на минуту Уэллс как будто изменит себе и уведет вас из города в лес, в поля, на ферму — даже и там все равно слышно гуденье машин и запах химических реакций. В «Первых людях на Луне» — вы попадаете на уединенную ферму в Кенте, но оказывается — «в погребе стоят динамо-машины, в садовой беседке — газометр, и все надворные постройки обращены в мастерские и лаборатории». И точно так же институтом экспериментальной физиологии оказывается уединенная лесная избушка в «Пище богов». Как бы ни хотел Уэллс уйти от асфальта, — он все-таки оказывается на асфальте, среди машин, в лаборатории. Сегодняшний химикомеханический, опутанный проводами город — основа Уэллса, и на этой основе выткан он весь, со всеми причудливыми и на первый взгляд парадоксальными, противоречивыми узорами.

Мотивы городских уэллсовских сказок — в сущности те же, что и всех других сказок: вы встретите у него и шапку-невидимку, и ковер-самолет, и разрыв-траву, и скатерть-самобранку, и драконов, и великанов, и гномов, и русалок, и людоедов. Но разница между его сказками и, скажем, нашими русскими — такая же, как между психологией пошехонца и лондонца: пошехонец садится под окошко и ждет, пока шапка-невидимка и ковер-самолет явятся к нему «по шучьему веленью»; лондонец на «шучье веленье» не надеется, а надеется на себя — лондонец садится за чертежную доску, берет логарифмическую линейку и вычисляет ковер-самолет, лондонец идет в лабораторию, зажигает электрическую печь и изобретает разрыв-траву, пошехонец примиряется с тем, что его чудеса — за тридевять земель и в тридесятом царстве; лондонец хочет, чтобы чудеса были сегодня, сейчас же, здесь же. И потому для своих сказок он выбирает надежный путь: путь, вымощенный астрономическими, физическими, химическими формулами, путь, утрамбованный чугунами законами точных наук. Это звучит сперва очень парадоксально: точная наука и сказка, точность и фантастика. Но это так — и должно быть так. Ведь миф всегда, явно или неявно, связан с религией, а религия сегодняшнего города — это точная наука, и вот — естественная связь новейшего городского мифа, городской сказки с наукой. И я не знаю, есть ли такая крупная отрасль точных наук, которая не отразилась бы в фантастических романах Уэллса. Математика, астрономия, астрофизика, физика, химия, медицина, физиология, бактериология, механика, электротехника, авиация. Почти все сказки Уэллса построены на блестящих, неожиданнейших научных парадоксах; все мифы Уэллса — логичны, как математические уравнения. И оттого мы, сегодняшние, мы, скептики, так подчиняемся

этой логической фантастике, оттого она так захватывает, оттого мы так верим ей.

Уэллс вводит читателя в атмосферу чуда, сказки — с необычайным лукавством: осторожно, постепенно он ведет вас с одной логической ступеньки на другую. Переходы со ступеньки на ступеньку совсем незаметны; вы, ничего не подозревая, доверчиво переступаете, подымаетесь все выше... Вдруг — оглянулись вниз, ахнули — но уж поздно: уж поверили в то, что по заглавию казалось абсолютно невозможным, совершенно нелепым.

Возьмите наудачу любую из фантазий Уэллса: «Человек-невидимка». Какой абсурд! Как нас, людей XX века, заставить поверить в такую детскую сказку, как человек-невидимка?

Но позвольте: что такое вообще невидимость? Невидимость — не больше как самое простое, самое реальное явление, подчиняющееся физическим законам — законам оптики, и зависит невидимость от способности поглощать или отражать световые лучи. Кусок стекла — прозрачен; тот же кусок стекла в воде — невидим. А если истолочь стекло в порошок — порошок будет белого цвета, порошок будет непрозрачен, будет видим очень отчетливо. Стало быть, одно и то же вещество может быть и видимым и невидимым, все зависит от состояния его поверхности. Вы скажете: да, но человек — живое существо. Но что же из этого. В морях живут морские звезды — почти прозрачные, и некоторые морские личинки — совершенно прозрачные. Вы скажете: да, но то — какие-то личинки, а то — человек, это две вещи разные. А знаете ли вы, что теперь в медицине для учебных целей уже пользуются совершенно или частично прозрачными анатомическими препаратами человеческого тела? Я назову вам даже изобретателя этих препаратов: немец, проф. Шпальтегольц. А раз мы можем сделать прозрачной одну руку, — мы можем сделать прозрачными и две руки, а если две руки, — то и все тело. И если этой прозрачности удалось добиться на мертвом человеке, — может быть, удастся добиться и на живом? Ведь прозрачность, невидимость — и живой организм — понятия, вовсе не исключают одно другое, это мы уже видели. А следовательно... И вы уж думаете: «А что ж, пожалуй, и в самом деле»... — вы уже опутаны, вы уже прицеплены к стальному логическому паровозу, и он увлечет вас по рельсам фантастики туда, куда заблагорассудится Уэллсу.

Точно так же заставит вас Уэллс поверить в «Остров д-ра Моро» — ученого хирурга, искусными операциями превращающего зверей в людей; заставит поверить в «кейворит» — вещество, заслоняющее от земного притяжения, и в том, что на кейворитовом аппарате — это уже ясно — можно отлично прокатиться на Луну: заставит поверить в изобретение «Гераклеофорбии», питание которой до гигантских размеров увеличивает рост человека, растений и животных; заставит поверить в возможность путешествия не только в пространстве, но и во времени; заставит поверить в войну с марсианами, в вы-

шедшую из моря на курортный пляж сирену, в страну слепых, в новейший ускоритель, в приключение м-ра Платтнера с четвертым измерением; заставит поверить, что любая из его фантазий — вовсе не фантазия, а действительность, если не сегодняшнего — то завтрашнего дня.

Да и как, правда, в наше время — время самых невероятных, самых неправдоподобных научных чудес — как можно в наше время сказать: то или это невозможно? Тридцать лет назад смеялись бы над человеком, который бы всерьез стал говорить о том, что можно перелететь из Лондона в Париж, из Парижа в Рим, из Нью-Йорка в Австралию. Тридцать лет назад можно было только в сказке читать о том, о чем мы читаем сегодня в газетах: о беспроводном телефоне, о том, что в Лондоне говорят в какую-то трубку, а в Нью-Йорке слышно каждое слово. Тридцать лет назад никто не поверил бы, что можно видеть через непрозрачные предметы, а сегодня любой школьник знает о рентгеновских лучах. И кто знает, может быть, еще через тридцать лет — через десять — через пять — мы так же равнодушно будем смотреть на машину, отправляющуюся на Луну, как теперь смотрим на аэроплан, чернеющий в небе чуть заметной точкой.

Уэллсовская фантастика — это фантастика, может быть, только для сегодня, а завтра она уже станет бытом. Мы можем сказать это с тем большим основанием, что многие из фантазий Уэллса — уже воплотились, потому что у Уэллса есть странный дар прозорливости, странный дар видеть будущее сквозь непрозрачную завесу нынешнего дня. Впрочем, это неверно: странного здесь не более, чем в дифференциальном уравнении, позволяющем нам заранее сказать, куда упадет выпущенный с такой-то скоростью снаряд; странного здесь не более, чем в прозорливости астронома, предсказывающего, что затмение солнца будет такого-то числа, в таком-то часу. Здесь не мистика, а логика, но только логика более дерзкая, более дальнобойная, чем обычно.

Перенесемся в старый Лондон — в Лондон лет 25 назад. Как будто недавно, но эти 25 лет — век: так непохоже на теперешнее. По улице мирно плетутся кэбы: на высоких козлах сзади — важные, в цилиндрах, с длинными бичами кучера. Цокая по камню копытами, громыхают конные омнибусы. В небе лениво помахивает крыльями галка, в небе — никаких туч: благословенное царствование Виктории, в мире все прочно осело и твердеет, твердеет, твердеет, никогда больше не будет никаких войн, революций, катастроф... И только, может быть, один Уэллс сквозь все это тихое и мирное житие уже тогда видел сегодняшний буйный, сумасшедше-стремительный день...

В ту пору, когда еще еле ползали первые автомобили, когда они существовали еще для того только, чтобы потешать уличных мальчишек, — Уэллс в книге «Прозрения» уже точно описывал теперешнюю быстро мчащуюся лондонскую улицу, полную такси, автобу-

сов, моторных грузовиков, — улицу, где увидеть лошадь так же мало шансов, как на нынешней российской улице — увидеть господина в цилиндре.

И в небе — Уэллс видел совсем другое. Об аэропланах тогда мечтали только разве самые отпетые фантасты. Где-то в Америке по рельсам еще неуклюже разбежался предок теперешнего аэроплана — машина Хирама Максима. А Уэллс в романе «Спящий пробуждается» уже слышал высоко в небе жужжание аэропланов, пассажирских и боевых, уже видел бои аэропланов эскадрилий, рассеянные повсюду аэроплановые пристани.

Это было в 1893 году. А в 1908 году, когда еще никому не приходило в голову всерьез говорить о европейской войне, — он в безоблачном как будто небе уже разглядел небывалые, чудовищные грозовые тучи. В этом году он написал свою «Войну в воздухе». Вот несколько строк оттуда — и сколько в них пророческого:

«Воздушные корабли носились всюду, бросая бомбы... А внизу происходили экономические катастрофы; голодающее, безработное население восставало... Целые округа и города, вследствие затруднений в транспорте съестных припасов, были переполнены голодающими... Это вызывало правительственные кризисы и осадное положение, временные правительства, советы и революционные комитеты, и все эти организации ставили своей задачей все снова вооружать и вооружать население... Деньги исчезли, запрятанные в погребах, ямах, стенах домов и всевозможных тайниках. Остались только обесцененные бумажки. Вместе с исчезновением денег — настал конец торговле и промышленности. Экономический мир зашатался и пал мертвым, как будто в жилах живого существа внезапно свернулась кровь... Все организованные правительства в мире рассыпались, как фарфоровые чашки от удара палкой... Те, кто пережил эти ужасы, были охвачены смертельной апатией... Это было всемирное разложение...»

И среди всего этого грохота рухнувшей старой цивилизации — такие нам знакомые детали: воздушные бои, аэропланы, цеппелины, ночные налеты, паника, потушенные огни, изрезанное прожекторами небо, постепенное исчезновение книг, газет, вместо газет — нелепые, противоречивые слухи; и в конце — одичавшие, в холодных, темных, развалившихся домах люди, все свои силы тратящие на первобытную борьбу с голодом и холодом... Все это рассказано человеком, как будто уже пережившим наше время. В 1908 году роман был фантастическим — теперь он стал бытовым.

Образ грядущей мировой войны и связанного с ней небывалого мирового переворота — очевидно, неотступно преследовали Уэллса, потому что к этой теме он возвращается не раз. Вот чудесная его сказка «Борьба миров» — 1898 год. Если прочитать ее теперь, после мировой войны и революции, — сколько знакомых голосов услышим мы из-под сказочных масок. Вот сражение с марсианами. Марсиане опередили человека в технике — и их снаряды — «ударившись

о землю, разбивались и выпускали целые тучи тяжелого, черного дыма, который сначала подымался кверху густым облаком, а потом падал и медленно расползался кругом по земле. И одно прикосновение этой ползучей струи, одно вдыхание этого газа — приносило смерть всему живому».

Откуда это? Из фантастического романа, написанного 20 лет назад — или из какой-нибудь газеты 1915—1916 года, когда немцы впервые пустили в ход свои удушливые газы?

И снова мировая война — в романе «В дни кометы» — и предсказание, что эта война закончится коренным переворотом в человеческой психологии, закончится братским объединением людей. И опять мировая война — последняя война — в романе «Освобожденный мир». Тут в точности намечена даже комбинация воюющих держав: центральные европейские державы напали на Славянскую Федерацию, а Франция и Англия — выступили на защиту этой Федерации.

В романе «Освобожденный мир» вся самопожирательная сила старой цивилизации дана в одном сжатом, концентрированном символе — атомической энергии. Это — та энергия, которая со страшной силой сковывает в одно целое атомы вещества, та энергия, которая из стальной атомической пудры делает крепчайшую сталь, та энергия, которая медленно освобождается при таинственном переходе радия в другие элементы.

Уэллсу видится, что с атомической энергией случилось то же, что с аэропланами: овладев атомической энергией, человек использовал ее не только — или, вернее, не столько — для созидательных, сколько для разрушительных целей. Во время всесветной войны, описываемой в романе «Освобожденный мир», атомические бомбы истребили целые города, страны — истребили самое старую цивилизацию. И на развалинах ее — начинает строиться новая, на новых началах.

Все дело строительства берет в свои руки Всемирный Конгресс и создает единое Всемирное Государство. Конгресс упраздняет парламентаризм в его старой форме — парламентов отдельных для каждого государства — и, после краткого периода самочинной организационной работы, объявляет всемирные выборы в единый мировой правительственный орган. Конгресс вводит единую для всего мира монетную единицу, вырабатывает *lingua franca* — единый всемирный язык, поднимает уровень развития отсталого земледельческого класса и самое земледелие преобразует на коллективных началах. Конгресс освобождает мир от экономического гнета — и вместе с тем в полной мере «обеспечивает свободу запроса, свободу критики, свободу передвижения». Конгресс сам же постепенно сводит свою власть на нет. И водворяется свободный, безвластный строй, наступает эпоха, в фантастической уэллсовской всемирной истории именуемая «эпохой цветения»: подавляющее большинство граждан — это художники всех видов, подавляющее большинство населения занято высочайшей областью человеческой деятельности — искусством.

И, наконец, в 1922 году, когда народы Европы стали понемногу залечивать жестокие раны после мировой войны, Уэллс ведет за собой читателя в счастливую страну Утопии, где люди — братья: один из последних его романов — «Люди как боги».

Во всех пророчествах Уэллса читатель, вероятно, уже успел нащупать еще одну черту уэллсовской фантастики — черту, неразрывно связанную с городом, этой каменной почвой, в которой все корни Уэллса. Ведь сегодняшний городской человек непременно зоополитикон — животное социальное; и отсюда — почти без исключений — социальный элемент, вплетающийся во всякую из фантазий Уэллса. Какую бы сказку он ни рассказывал, как бы она на первый взгляд, ни казалась далека от социальных вопросов, — к этим вопросам читатель будет неминуемо приведен.

Ну, вот хотя бы «Первые люди на Луне» — как будто уже чего дальше от Земли и от всего, что творится на Земле? Вы несетесь вместе с героями романа на кейворитовом аппарате, высаживаетесь на Луне, путешествуете в лунных долинах, спускаетесь в лунные пещеры... И вдруг, к изумлению, видите, что и на Луне все те же наши земные социальные болезни. То же самое деление на классы господствующие и подчиненные, но рабочие здесь уже превратились в каких-то горбатых пауков, и на безработное время их просто усыпляют и складывают в лунных пещерах, как дрова, пока опять не понадобятся.

На «Машине времени» мы умчались вместе с автором на 80000 лет вперед — и опять вы находите там те же наши два мира: подземный — мир рабочих, и надземный — мир рабочих, и надземный — мир праздных людей. И тот, и другой класс выродились: одни — от тяжелой работы, другие — от тяжелого безделья. И классовая борьба приобрела жестокие, звериные формы. В 80000 году выродившиеся потомки угнетенных классов просто — по-звериному — пожирают своих «буржуев». В уродливых образах жестокого зеркала уэллсовской фантазии — мы опять узнаем себя, наше время, последствия все тех же болезней старой европейской цивилизации.

«Спящий» проспал двести лет, проснулся — и что же? Опять все тот же, сегодняшний город, сегодняшний общественный строй, только в десятки раз глубже пропасть между белыми и черными — и рабочие, под предводительством пробудившегося «спящего», восстают против капитала. Раскрываем «Грядущее» — самый острый, самый иронический из уэллсовских гротесков, — снова великолепная пародия на современную цивилизацию. И, наконец, «Война в воздухе» и «Освобожденный мир» — это детальный анализ эпохи, предшествовавшей всемирной войне, эпохи, когда миллиарды трагичались на дредноуты, цеппелины, пушки, эпохи, когда в подвалах дворца старой цивилизации накопились горы пироксилина, а наверху люди — как это теперь ни странно — спокойнейшим образом жили, работали, веселились — над пироксилином. С убедительностью необычайной показывает Уэллс, что мировая война — только

естественный вывод из всего силлогизма старой цивилизации; громче, чем где-нибудь, в этих романах Уэллс зовет людей опомниться, пока еще не поздно, зовет их вспомнить, что они не англичане, французы, немцы, а люди, зовет их перестроить жизнь на новых принципах.

Принципы эти до сих пор не были названы. Но читатель уже, несомненно, услышал это еще не сказанное вслух: принципы эти, конечно, социалистические, Уэллс, конечно, социалист. Это бесспорно. Но если какая-нибудь партия вздумала приложить Уэллса, как печать к своей программе, — это было бы то же самое, что Толстым или Розановым утверждать православие.

Я ни в каком случае не хочу сравнивать Уэллса с Толстым, масштабы их, как художников, — конечно, совершенно неодинаковы, но все же Уэллс прежде всего — художник. А художник — более или менее крупный как Иегова в библии — творит для себя свой особенный мир, со своими особенными законами — творит по своему образу и подобию, а не по чужому. И оттого художника трудно уложить в уже созданный, семидневный, отвердевший мир: он выскочит из параграфов, он будет еретиком.

Уэллс, повторяю, прежде всего — художник, и оттого у него все свое, и оттого его социализм — это социализм свой, уэллсовский. В его автобиографии мы читаем:

«Я всегда был социалистом, но социалистом не по Марксу... Для меня социализм не есть стратегия или борьба классов: я вижу в нем план переустройства человеческой жизни с целью замены беспорядка — порядком».

Цель переустройства — ввести в жизнь начало организующее — ratio — разум. И потому особенно крупную роль в этом переустройстве Уэллс отводит классу «able men» — классу «способных людей» и прежде всего образованным, ученым техникам. Эту теорию он выдвигает в своих «Прозрениях». Еще более любопытную — и, надо добавить, более еретическую окраску — эта мысль приобретает в его «Новой Утопии», где руководителями новой жизни являются «самураи», где новый мир предстает нам в виде общества, построенного до известной степени на аристократических началах, руководимого духовной аристократией.

Есть еще одна особенность в уэллсовском социализме — особенность, может быть, скорее национальная, чем личная. Социализм для Уэллса, несомненно, путь к излечению рака, вьвшегося в организм старого мира. Но медицина знает два пути для борьбы с этой болезнью: один путь — это нож, хирургия, другой путь — более медленный — терапия. Уэллс предпочитает этот последний путь. Вот опять несколько строк из его автобиографии:

«Мы, англичане, парадоксальный народ, — одновременно и прогрессивный, и страшно консервативный; мы вечно изменяемся, но без всякого драматизма; никогда мы не знали внезапных переворотов... Чтобы мы что-нибудь «свергли», «опрокинули», «уничтожи-

ли», чтобы мы начала все «сызнова», как это бывало почти с каждой европейской нацией, — никогда!»

Красное знамя Уэллса окрашено не кровью. Человеческая кровь, человеческая жизнь — для Уэллса — неприкосновенная ценность, потому что он, прежде всего, гуманист. Именно поэтому умеет он находить такие убеждающие, острые слова, когда говорит о классах, брошенных в безысходный труд и нужду, когда говорит о ненависти человека к человеку, об убийстве человека человеком, когда говорит о войне и смертной казни. По Уэллсу, виноватых — нет, злой воли — нет: есть злая жизнь. Можно жалеть людей, можно презирать их, можно любить их — но ненавидеть нельзя.

Выпуклей, чем где-нибудь, эта мысль запечатлелась в его романе «В дни кометы». Герой романа — молодой рабочий-социалист, с мышлением примитивным: он убежден (я цитирую) «в жестокосердном бесчувственном заговоре — заговоре против бедняков». Он полон первобытной ненависти, он думает прежде всего о мести злонамеренным заговорщикам. И дальше гуманист Уэллс заставляет своего героя признаться: «Жалкой, глупой, свирепой нелепостью покажутся вам понятия моей юности, особенно в том случае, если вы принадлежите к поколению, родившемуся после переворота». Самый переворот этот, совершившийся под чудесным влиянием «зеленого газа» столкнувшейся с землей кометы, — самый переворот этот состоит в том, что люди органически потеряли способность ненавидеть, убивать, органически, неизбежно пришли к любви. Такого же идиллического типа переход от «Века смятения» к счастливой утопии в романе «Люди как боги».

И тот же гуманизм в романе «Война в воздухе»: стоит только вместе с автором — глазами автора — увидеть хотя бы сцену казни одного из матросов воздушного немецкого флота. И то же самое в «Острове доктора Моро»: там доктор Моро становится жертвой своих слишком жестоких опытов. И то же самое в «Невидимке»: этому гениальному утописту Уэллс не может простить человекоубийства. И то же самое в «Машине времени»: в этой жестокой карикатуре, какую Уэллс дал в образе своих людоедов-морлоков.

Вот что открывается нам, когда мы войдем внутрь этих причудливых зданий — сказок Уэллса. Там рядом: математика и миф, физика и фантастика, чертеж и чудо, пародия и пророчество, сказка и социализм. Если из заоблачных башен мы спустимся в нижние этажи, если от фантастических романов Уэллса мы перейдем к его реалистическим романам — к среднему периоду его творчества, — этих странных парадоксальных сочетаний мы здесь уже не увидим: здесь Уэллс весь на земле, весь в прочном мире трех измерений. И только в последних романах, написанных в те дни, когда в вихре войн и революций закружился мир трех измерений, — Уэллс вновь отделился от земли, от реальности, и в этих романах мы вновь встретим сплавы идей, на первый взгляд, самые неожиданные и странные.

Когда я лет 10—12 назад впервые увидел полет самолета, и аппарат опустился на луг, когда летающий человек вылез из своих полотняных крыльев и сбросил странную стеклянноглазую маску — я, помню, был как-то разочарован: летающий человек — бритый, толстенький, краснолицый — оказался точь-в-точь такой же, как мы все; носового платка он не мог достать, — руки заоченели, — вытер нос пальцем. И такое чувство — что-то вроде разочарования — непременно будет у читателя, когда после фантастики Уэллса он раскроет его реалистические романы. «Как, это тоже — Уэллс»? Да, тоже Уэллс, но только не на самолете, а пешком. Летающий человек — на земле оказался не так уж резко отличающимся от других английских романистов. И если раньше, по двум страницам, не читая подписи, можно было сказать: это — Уэллс, то теперь уже нужно взглянуть на подпись. Если раньше в области научно-фантастического, социально-фантастического романа — Уэллс был один, то теперь он стал «один из». Правда, один из больших, самых содержательных и интересных английских писателей, но все же только «один из».

Причина, несомненно, в том, что Уэллс, как и большинство его английских товарищей по перу, значительно большее внимание обращает на фабулу, чем на язык, стиль, слово, — на все то, что мы привыкли ценить в новейших русских писателях. Своего уэллсовского языка, своего уэллсовского письма он не создал, да и некогда было: надо было успеть написать те 40 томов, которые он написал. Свое, оригинальное, исключительное у Уэллса было в фабуле его фантастических романов; и как только он слез с самолета, как только он взялся за более обычные фабулы, — часть оригинальности он утерял.

Стремительный, самолетный лет сюжета в фантастических романах Уэллса, где все свистит мимо глаз и ушей — лица, события, мысли, этот стремительный лет делает для читателя просто физически невозможным взглянуть в детали, в стиль автора. Но медленный, неспешный ход бытового романа позволяет временами присесть, взглянуть на лицо рассказчика, на его костюм, жесты, улыбку. Как будто что-то знакомое. Но что? Еще один внимательный взгляд — и станет ясно: Диккенс — Чарльз Диккенс — вот славный предок Уэллса. Та же самая медлительная для сегодняшнего читателя, подчас слишком медлительная, речь; те же сложные, кружевные, готические периоды; та же манера давать полную законченную проекцию героя во всех измерениях, часто с самого появления его на свет; тот же способ — повторяя один какой-нибудь резкий штрих, врезать внешность действующего лица в память читателя; и, наконец, как у Диккенса — постоянная улыбка. Но у Диккенса — это ласковый юмор, это — улыбка человека, который любит людей все равно, какие бы они ни были, любит их даже черненькими. У Уэллса не то: он любит человека и одновременно ненавидит его — за то,

что он не человек, а карикатура на человека — обыватель, мещанин. Уэллс любит острой, ненавидящей любовью, и потому его улыбка — улыбка иронии, и потому его перо часто обращается в кнут, и рубцы от этого кнута остаются надолго.

Даже в самых его невинно-забавных и остроумных сказках, написанных как будто для 12-летнего читателя, даже там более внимательный глаз увидит все ту же ненавидящую любовь. Вот «Пища богов»: от чудесной пищи цыплята — величиною с лошадь, крапива — как пальмы, крысы — страшнее тигров, и, наконец, гиганты с колокольню — люди. Вы читаете о принце, который стоит внизу, сквозь монокль с ужасом поглядывает на великаншу-невесту, который боится взять ее замуж, «чтобы не попасть в смешное положение»; это смешно. Вы читаете о крошечном полицейском, который пытается арестовать гиганта и хватает его там, внизу, за ногу; и это тоже смешно. Вы читаете о десятках смешных столкновений гигантов с пигмеями, и прожектор уэллсовской иронии все яснее вырезает жалкую фигуру — пигмея-обывателя, который хватается за привычную, удобную жизнь в страхе перед грядущим, мощным гигантом Человеком — и становится уже не только смешно. Вот «Борьба миров», мировая катастрофа, все рухнуло, все гибнет, и вы среди грохота вдруг слышите голос благочестивого священника: «Ах, погибли все наши воскресные школы!» Вот великолепный гротеск «Грядущее», вы бродите по улицам Лондона XXII столетия, и перед глазами у вас мелькает изобретенная все той же злой любовью автора реклама на фронтонах церквей: «Быстрейшее в Лондоне обращение на путь истинный! Лучшие епископы, цены твердые! Остерегайтесь подделок! Моментальное отпущение грехов для занятых людей!»

Еще яснее эта ироническая основа в ткани каждого из реалистических романов Уэллса. Великосветские дамы, основной субстанцией которых являются корсетные кости; свирепонравственные старые девы; деревянноголовые школьные учителя; епископы, которые уволили бы от должности Христа за то, что Он плохо одет и говорит неподобающие князю Церкви слова; биржевик, искренно уверенный, что именно Господь Бог внушил ему купить тихоокеанские акции... Вероятно, Англии просто жутко смотреть в это жестокое зеркало злой любви. И, кажется, нигде так не сверкает лезвие иронии Уэллса, как в «Тоно-Бенге», лучшем из реалистических его романов. «Мне случалось встречаться не только с титулованными, но даже с высокими особами. Однажды — это самое светлое из моих воспоминаний — я даже опрокинул бокал с шампанским на панталоны первого государственного человека в империи»... Это мы читаем на первой странице романа, и дальше до самого конца всюду змеится ирония, на каждой странице, в каждом приключении незабвенного м-ра Пондерво, гения рекламы и шарлатанства.

Мир знает Уэллса-авиатора, Уэллса — автора фантастических романов; эти его романы переведены на все европейские языки,

переведены даже на арабский и китайский. И, вероятно, лишь немногим в широких читательских кругах известно, что Уэллс-фантаст — это ровно половина Уэллса; у него 14 фантастических романов и 15 реалистических. Фантастические: «Машина времени», «Чудесный гость», «Остров доктора Моро», «Невидимка», «Борьба миров», «Спящий просыпается», «Грядущее», «Первые люди на Луне», «Морская дева», «Пища богов», «В дни кометы», «Война в воздухе», «Освобожденный мир», «Люди как боги»; реалистические: «Колесо фортуны», «Любовь и мистер Льюишэм», «Киппс», «Мистер Полли», «Новый Макиавелли», «Анна-Вероника», «Тоно-Бенге», «Брак», «Бэлби», «Страстная дружба», «Жена сэра Айсека Хармана», «Великие искания», «Мистер Бритлинг», «Джоана и Питер» и «Тайники сердца». И особняком стоят два его романа: «Душа епископа» и «Неугасимый огонь», открывающие какой-то новый путь в творчестве Уэллса¹.

Если у читателя хватит времени прочитать все 15 реалистических романов Уэллса, если у него хватит времени пройти через эту длинную анфиладу густо заселенных людьми зданий, то в первых из них он встретит самого м-ра Уэллса. Не отвлеченно, не потому, что всякий эпос в той или иной мере лиричен, а потому, что в первых романах читатель найдет часть автобиографии Уэллса. В молодости жизнь дала Уэллсу слишком много и слишком ощутительных пинков, чтобы он мог забыть их. Посыльный мальчик в галантерейном магазине; затем приказчик за прилавком, в бессонные ночи пополняющий скромный багаж грамотности, вынесенный из начальной школы; дальше студент Педагогической Академии и школьный учитель в английском захолустье. Все эти крепкие, трудные, тяжелые годы жизни Уэллса, полные упрямой работы над собой, борьбы с нуждой, увлечений, широких планов и разочарований, все эти годы отпечатались в трех первых бытовых романах Уэллса: «Колесо фортуны», «Любовь и мистер Льюишэм» и «Киппс». В «Колесе фортуны» приказчик магазина суконных товаров Хупдрайвер — это, конечно, Уэллс; и Уэллс — приказчик Киппс из романа «Киппс»; и Уэллс — студент Педагогической Академии Льюишэм из романа «Любовь и мистер Льюишэм». Все это — такие же автобиографические документы, как «Детство» и «В людях» Горького, как «Детство и отрочество» Толстого.

С конца 90-х годов, после «Машины времени» и «Борьбы миров», приказчик Уэллс и школьный учитель Уэллс — стал сразу

¹ Кроме перечисленных 29 романов, четырех томов фантастических рассказов и нескольких десятков книг, Уэллс написал еще ряд социально-политических, научных и философских книг: «Предвидения», «Созидание человечества», «Новый мир для старого», «Взгляды англичанина на мир», «Что впереди?», «Война и будущее», «В четвертый год», «Современная утопия», «Будущее Америки», «Социализм и семья», «Первое и последнее», «Спасение цивилизации», «Бог — Невидимый Владыка», «Россия в сумерках», «Очерк всемирной истории» и др.

популярным писателем. Колесо Фортуны повернулось к нему на 180°, и о последствиях этого поворота он так пишет в своей автобиографии:

«Пускай хоть немного посчастливится твоей книге, — и в Англии тотчас же ты превращаешься в человека достаточного, вдруг получаешь возможность ехать куда хочешь, встречаться с кем хочешь. Вырываешься из тесного круга, в котором вертелся до сих пор, и вдруг начинаешь сходитья и общаться с огромным количеством людей. Философы и ученые, солдаты и политические деятели, художники и всякого рода специалисты, богатые и знатные люди — к ним ко всем у тебя дорога, и ты пользуешься ими, как вздумает!»!

Уэллс вырвался из тесного круга, поле его наблюдений чрезвычайно расширилось. И это тотчас же отразилось в зеркале бытовых его романов: личный, автобиографический элемент из них исчез, и через них проходят толпы людей самого различного общественного положения — философы и ученые, солдаты и политические деятели, художники, богатые и знатные люди. Впрочем, прошлого своего Уэллс не забыл и теперь и часто поднимается в верхние, ярко освещенные и комфортабельные этажи только для того, чтобы обитающих там, наверху, счастливых и беспечных людей увести вниз, в подвалы, к голодным и нищим («Жена сэра Айсека Хармана», «Душа епископа»).

Бытовые романы Уэллса становятся социологической обсерваторией, и его перо, как перо сейсмографа, систематически записывает все движения социальной почвы в Англии начала XX века. В начале 900-х годов эта почва на островах Джона Буля еще чрезвычайно прочна, устойчива, и записи Уэллсовского сейсмографа дают, соответственно, кривые очень местного, небольшого размаха: проблема семьи и брака, школьного воспитания, суфражистский вопрос («Брак», «Страстная дружба», «Жена сэра Айсека Хармана»). Более общие, коренные социальные вопросы пока еще дремлют в статистическом состоянии где-то глубоко под поверхностью и так же статически отражаются в романах Уэллса. Но понемногу все слышнее становятся подземные гулы, в незыблемой почве — расселины вглубь до самой сердцевины, и сквозь них красная, огненная лава небывалых войн и небывалых революций. И, начиная с «Мистера Бритлинга», это мировое землетрясение становится единственной темой романов Уэллса. Так, постепенно, из автобиографических — бытовые романы Уэллса становятся летописью жизни современной нам Англии.

Если мы теперь на минуту отойдем в сторону и на реалистические романы Уэллса взглянем издали, так, чтобы глаз улавливал только основное, не отвлекаясь деталями, то отсюда, издали, нам станет ясно: архитектор, построивший воздушные замки научных сказок, и архитектор, построивший шестизэтажные каменные громады бытовых романов, — один и тот же Уэллс. Как и в фантастике Уэллса, в реалистических его вещах все тот же самый непрекращающийся

штурм старой европейской цивилизации; все те же красные рефлекс-сы своеобразного, уэллсовского, социализма; все тот же его гуманизм, все то же его «обвиновать никого нельзя», о чем говорилось раньше; и все тот же бензиновый, асфальтовый, мелькающий рекламами город.

И вдруг, на асфальтовом тротуаре, среди бензиновых фимиамов, красных знамен, патентованных средств и людей в котелках, вы встречаете... Бога. Социалист, математик, химик, шофер, аэроплан-ный пилот — вдруг заговаривает о Боге. После научной фантастики, после реальной реальности — вдруг трактат: «God the invisible King» — «Бог — невидимый король»; роман «Душа епископа» — о религиозном перевороте в душе англиканского священника; роман «Неугасимый огонь» — в сущности не роман, а спор о Боге; роман «Джоана и Питер», герой которого ведет диалоги с Богом.

В первую минуту это поражает, это кажется невероятным. Но после, приглядевшись, опять узнаешь все того же Уэллса, вечного авиатора. Этот, как будто неожиданный поворот Уэллса к темам о Боге произошел недавно, в наши последние дни — годы, с началом мировой войны, с началом европейских революций, и это объясняет все. Случилось только то, что вся жизнь сорвалась с якоря реальности и стала фантастической; случилось только то, что осуществились фантастичнейшие из прозрений Уэллса, его научная фантастика свалилась сверху на землю. И, естественно, неутомному фантасту пришлось искать нового фантастического материала, лететь куда-то еще выше, еще дальше, на самое верхнее небо — и там, вдали, ему видится туманный образ Бога. Нелепая как будто война, неоправданная как будто гибель миллионов людей перед многими поставила мучительный вопрос: зачем? за что? не есть ли вся жизнь просто бессмысленный хаос? И от этого вопроса, конечно, не мог уйти и Уэллс.

Разрешает его он, как и надо было ожидать, отрицательно; нет, жизнь не бессмысленна; нет, в жизни все же есть смысл и цель, и мудрость. И оказывается, еще очень давно, в 1902 году, в своих «Прозрениях» он писал: «Можно или признавать, что вселенная едина и сохраняет известный порядок в силу какого-то особого, присущего ей качества, или же можно считать ее случайным агрегатом, не связанным никаким внутренним единством. Вся наука и большинство современных религиозных систем исходят из первой предпосылки, а признавать эту предпосылку для всякого, кто не настолько труслив, чтобы прятаться за софизмы, признавать эту предпосылку — и значит верить в Бога. Вера в Бога означает оправдание всего бытия...»

Так на фундаменте разумности, целесообразности всего бытия Уэллс строит храм своему Богу — и рядом, на том же фундаменте воздвигает свои научные лаборатории, свои социалистические фаланстеры. И вот такой, как будто неожиданный, такой, как будто непонятный, поворот Уэллса к религиозным темам — становится по-

нятным: у Уэллса это, конечно, результат оземления, материализация его прежней фантастики, а не «богоискательство» в обычном смысле этого слова.

Первый из упомянутых романов Уэллса о Боге — это «The soul of a Bishop» — «Душа епископа». В написанном для одного издательства предисловии к переводу своих сочинений Уэллс называет этот роман «ироническим отражением перемен, происшедших в англиканской церкви под напором времени». Но именно иронии-то здесь меньше, чем где-нибудь у Уэллса, и чувствуется, что автор еще раз для себя решает вопрос: годится ли ему английский, достаточно чопорный и лицемерный Бог? Наполовину реальное, наполовину фантастическое содержание романа очень ясно отвечает на этот вопрос. Перед читателем — достопочтенный английский епископ, богатый, счастливый в семейной жизни, делающий великолепную карьеру. Как будто все хорошо, как будто нечего больше желать. Но у епископа заводится что-то в душе — маленькое, незаметное, как соринка в глазу. И соринка не дает покоя ни днем, ни ночью, соринка вырастает в мучительный вопрос: да есть ли тот Бог, которому служит епископ? и есть ли этот Бог тот самый Христос, какой заповедал все отдать неимущим? Епископ пробует лечиться у одного, другого психиатра и, наконец, попадает к молодому врачу, одному из излюбленных Уэллсом дерзких научных революционеров. Этот начинает лечить епископа совсем по-иному, чем все: он не тушит, а наоборот, раздувает беспокойное пламя в душе епископа; он снабжает епископа чудесным эликсиром, который подымает его дух до состояния какого-то экстаза, уводит его из нашего трехмерного мира в мир высших измерений, и епископ своими глазами видит Бога и беседует с Ним один раз, другой и третий. Этот Бог совсем не тот, которому до сих пор служил епископ, и епископ уходит от старого Бога, уходит от богатства, уходит от семьи. Епископ становится в ряды религиозных и социальных еретиков.

Второй из романов Уэллса о Боге — это «The Undying Fire» — «Неугасимый огонь». Роман открывается грандиозной, слегка гротескной картиной:

«Два вечных существа в великолепных ореолах, одно — в ослепительном белом одеянии, другое — в сумасшедшей пестроте красок, ведут беседу; обстановка — невообразимые громады. Громады эти, по традиции, похожи на дворец, но в них теперь уже замечается явный космический элемент. Они не расположены в каком-либо определенном месте; они — за пределами материальной вселенной. И сцена производит такое впечатление, как если бы прежние прерафаэлитские декорации перерисовал футурист, основательно знакомый с новейшей физико-химической философией и вдохновленный неким религиозным замыслом».

Огромные колонны, кривые и спирали. Солнце и планеты мелькают, сверкают сквозь златоискрящиеся глубины пола из кристаллического эфира. Огромные, крылатые тени, выкованные из звезд,

планет, свитков закона, пламенеющих мечей, — непрестанно поют «Свят, свят, свят». Один из собеседников, конечно, Бог, «о котором, — добавляет Уэллс, — не без основания хочется сказать, что ему необычайно скучно глядеть, как все, что ни случается, уже непременно известно ему». И Бог с живейшим интересом слушает, что говорит другой участник диалога — сатана.

После одного непочтительного замечания сатаны архангел Михаил хочет поразить сатану мечом. Но Бог останавливает ретивого архангела:

« — А что же мы-то будем делать без сатаны?

— Да, — говорит сатана, — без меня пространство и время замерзли бы в некое хрустальное совершенство. Это я волную воды. Это я волную вас. Я — дух жизни. Без меня человек до сих пор был бы все тем же никчемным садовником и попусту ухаживал бы за райским садом, который все равно не может расти иначе, как правильно... Только представить себе: совершенные цветы! совершенные фрукты! совершенные звери! Боже мой! До чего бы это все надоело человеку! До чего надоело бы! А вместо этого разве я не толкнул его на самые удивительные приключения? Это я дал ему историю...»

И все же сатана находит, что человек глуп и слаб. Сделал ли он хоть сколько-нибудь заметный шаг вперед на эти 10000 лет? Люди все так же без конца, бесцельно истребляют друг друга. И скоро конец: скоро все человеческое обиталище охладится, замерзнет, — конец.

« — Конец в том, — возражает Бог, — что человек будет властвовать над миром. В человеке — Мой дух».

Сатана предлагает Богу кончить их вечную шахматную игру: игра становится слишком жестока, все человечество сейчас — это Иов, и не будет ли самым милосердным сразу убить всех?

Между высокими собеседниками завязывается спор об Иове: кто выиграл тогда, во времена Иова, и кто проиграл? Бог утверждает, что тогда выиграл Он, Бог, потому что, невзирая на все несчастья — неугасимый, неумирающий огонь все же остался в человеке.

И вот Бог разрешает сатане еще раз повторить опыт с Иовом. Этот новый, сегодняшней Иов — английский школьный учитель мистер Хасс. Одно за другим на него обрушивается целый ряд несчастий: он получил известие, что его единственный сын, летчик, погиб на французском фронте; после пожара мистера Хасс разорился, рухнуло его любимое дело — школа; и, наконец, он заболел раком. Сегодня, может быть, последний день мистера Хасса: сегодня ему сделают операцию. Перед операцией к нему приехали три джентльмена: один из его бывших сотоварищей по школьной работе и два капиталиста, вложившие свой капитал в школу, — приехали, чтобы уговорить его отказаться от управления школой. И вот дальше, на протяжении 200 страниц — двухчасовой спор о религии, о Боге между этими джентльменами, при участии врача, который

лечил мистера Хасса. У каждого из участников спора — уже своя, готовая религиозная концепция; у одного портативный, карманный обывательский Бог, отнюдь не мешающий, даже и в страшные дни войны, жить комфортабельно и делать дела; другой — верующий адепт спиритизма; третий из спорящих — доктор, последовательный материалист, — у него нет никакого Бога; и, наконец, четвертый — новый. Иов, мистер Хасс, явно излагает теологию самого Уэллса. В прежнюю формулу Уэллса: «мир целесообразен — следовательно, есть управляющий миром высший разум», для которого Уэллс берет термин «Бог», — в эту формулу жестокая бессмыслица войны внесла поправку. Сейчас человеческая жизнь, полная жестокостей, болезней, несчастий, нищеты, — сейчас она нелепа, неразумна, бессмысленна; но человек в силах все это победить, он победит, он победит непременно, он построит прекрасную жизнь на земле — и больше: он разобьет хрустальную тюрьму нашей планеты в пространстве и с земли шагнет в невидимые дали вселенной. А раз так, раз это будет неизбежно, то есть сила, толкающая человека на этот путь, и для этой силы Уэллс пользуется прежним термином «Бог». И этот путь человека начертан вовсе не каким-нибудь слепым, стихийным процессом, — нет: стихии сами по себе неразумны, мир и человек, предоставленные стихиям, идут к закату, к ущербу. Нет — это высший организующий Разум — Бог — и это Его неугасимый огонь горит в человеке.

Так говорит новый Иов, измученный несчастьями, в свой предсмертный час. И его пламенная вера в мощь человека — ерго в Бога — вознаграждена: операция кончилась удачно, получена телеграмма, что сын м-ра Хасса не погиб, а в плену у немцев. В великой шахматной игре сатана еще раз проиграл...

Отголосок все того же грандиозного, извечного спора между сатаной и Богом слышен и в последнем романе Уэллса «Джоана и Питер». Но только здесь вся колоссальная, космическая шахматная доска помещается внутри микрокосма — человека. Этот человек — Питер, английский летчик во время последней войны. И уже не сатана, как в предыдущем романе, а Питер выступает в парике и мантии обвинителя в этой тяжбе человечества с Богом. Весь израненный, изуродованный после боя с немецким авиатором, Питер в бреду бросает Богу упрек:

— Отчего Ты не проявляешь себя? В мире так много зла... Эта ужасная трата жизней на войне... Как Ты можешь переносить всю эту жестокость и грязь?

— А что? Это вам, людям, не нравится?

— Нет.

— Тогда измените все это.

И дальше современный Бог излагает новую, современную главу теологии: «Я вовсе не самодержавный злой тиран, как некоторые из вас думают; если бы это было так, я бы уже давно тебя первого пристукнул громом. Нет, я управляю на демократических началах и

предоставляю вам самим работать за себя. Я вам не мешаю. Отчего вы, например, не уничтожаете своих королей? Вы можете». Люди могут, но они недостаточно хотят.

И Питеру становится все более ясным, что «Великий Древний Экспериментатор» прав и мудр: зло так же целесообразно в космическом организме, как боль в организме человека: это — предупреждение, что надо поторопиться лечить болезнь.

Пусть для одних этот «экспериментатор» такая же личность, как сам Питер, пусть для других он еще более абстрактная идея, чем -1. Важно одно: научить людей всеобщему братству. Не смешно ли биться насмерть из-за вопроса о том, как именно произносить слово «братство»?

Так из этого последнего романа Уэллса мы узнаем еще одно слабое в уэллсовской формуле — Бога. И если мы проинтегрируем эту формулу — станет совершенно ясно, что и в своих религиозных построениях Уэллс остался все тем же Уэллсом. Станет ясно: конечно же, его Бог — это лондонский Бог, и, конечно, лучшие фимиамы для его Бога — это запах химических реакций и бензина из аэропланного мотора. Потому что всемогущество этого Бога — во всемогуществе человека, человеческого разума, человеческой науки. Потому что это не восточный Бог, в руках которого человек — только послушное орудие: это Бог западный, требующий от человека, прежде всего, активности, работы. Этот Бог знаком с английской конституцией: он не управляет, а только царствует. И хоругви этого современного Бога, конечно, не золотые и не серебряные, а красные: этот Бог — социалист.

Циркульная окружность ограниченного землей социализма и уходящая в туманную бесконечность гипербола религии — такое разное, такое несовместимое. Но Уэллс пытается разорвать окружность, разогнуть ее в гиперболу, один конец которой упирается в землю, в науку, в позитивизм, а другой теряется в облаках. Это искусство невредимым проходить сквозь самые тесные парадоксы — нам уже знакомо: мы видели его в сказках Уэллса, где он сумел сплavit в одно фантастику и науку.

Последний из бытовых романов Уэллса — «Джоана и Питер» — самый сегодняшний из всех романов. Там есть Англия — накануне и во время войны; там есть эхо вчерашней и сегодняшней России. И, наконец, в этом романе есть остроумные, большой художественной ценности страницы, написанные каким-то обновленным и помолодевшим Уэллсом. Вот, например, несколько строк из начала романа, где рассказывается о детстве Питера, о первых его впечатлениях от вселенной:

«Теория идеалов играла в философии Питера почти такую же роль, как в философии Платона. Но только Питер называл их не «идеалы», а... «игрушки». Игрушки — это упрощенная квинтэссенция вещей, чистая, совершенная и управляемая. Реальные вещи неудобны, чересчур сложны, неподатливы. Ну хотя бы реальный поезд:

это — жалкая, огромная, неуклюжая, ограниченная вещь, которая должна непременно ехать либо в Кройдон, либо в Лондон. А игрушечный поезд доставит вас куда угодно: в страну чудес, в Россию, вообще куда захочется. Там есть, например, великолепная мягкая кукла, по имени «Полисмен», с сияющим красным носом и вечной улыбкой. Вы можете взять Полисмена, треснуть им по голове Джоанну, подругу детства — ничего. Насколько неудобней настоящий, живой полисмен: попробуйте-ка схватить его за ногу и запустить в угол, — пожалуй, уж не будет улыбаться, как игрушечный, а начнет ворчать или даже что похуже».

И дальше — живет перед вами весь оригинальный детский мир Питера, где вещи — одушевленные существа, а люди — это вещи. Удобный и питательный предмет — нянька Мери, и рядом «медноглазое чудище с тройным брюхом, по имени Комод, которое не спускает с вас глаз и всю ночь скрипит по комнате». Неудобная, слишком громкая, раздражающая вещь, по имени «Дадди» — «отец», и рядом живой, фарфоровый мопс Нобби, защитник от комодов, отцов — и вообще от всего страшного.

Незаметно из идеального, игрушечного мира Питер переходит в реальный мир, попадает в одну школу, другую, третью, в Кембриджский университет. И, наконец, последняя ступень воспитания Питера и Джоаны, — это война, которая научила их самому главному, — самому глубокому. «История воспитания двух душ» — такой подзаголовок дал Уэллс всему этому роману.

Незадолго до войны Уэллс был в России, и, ясно, именно тогдашние свои впечатления он описывает на тех страницах книги, где рассказывается о путешествии в Россию Питера и его опекуна Освальда.

Вот какую увидел Уэллс Москву: «Красные стены Кремля; варварская карикатура Василия Блаженного; грязный странник с котелком в Успенском соборе; длиннородые священники; татары-официанты в ресторанах; публика в меховых шубах — так нелепо богата на английский взгляд». Затем — поразительная панорама Москвы с Воробьевых гор, синева снега, цветные пятна крыш, золотое мерцание бесчисленных крестов. И отсюда, сверху, глядя на Москву, Освальд — или, вернее, Уэллс — говорит:

« — Этот город — не то, что города Европы: это — нечто свое, особенное. Это — татарский лагерь, замерзший лагерь. Лагерь из дерева, кирпича и штукатурки...

— Тут лучше начинаешь понимать Достоевского. Начинаешь представлять себе эту «Holy Russia» — «Святую Русь», как род эпилептического гения среди наций — нечто вроде «Идиота» Достоевского — гения, настаивающего на моральной правде, подымающего крест над всем человечеством...

— Да, Азия идет на Европу с новой идеей... У них, русских, есть христианская идея в том виде, в каком у нас, в Европе, ее нет. Христианство для России — обозначает братство. И этот город с его бес-

численными крестами — в гармонии с русской музыкой, искусством, литературой...»

Холодный, застегнутый деловой Петербург англичанину, конечно, показался гораздо больше похожим на Европу, на Англию. Ничего татарского, азиатского англичанин здесь уже не увидел, пока не попал... в русский парламент, в Государственную Думу.

Над всем парламентским залом царил, все заслоняя собою, — чудовищно-огромный портрет. «Фигура самодержца, четверо больше натуральной величины, с длинным, неинтеллигентным лицом, стояла во весь рост, попирая кавалерийскими сапогами голову председателя Государственной Думы. «Вы и вся империя существуете для меня», — явно говорил глуполицый портрет, держа руку на эфесе шпаги. И эта фигура требовала лояльности от молодой России».

Последние главы романа тоже связаны с Россией: в России — уже пожар, и искры от него долетают в Англию. Англия уже прошла жестокую школу войны; побывавшие в этой школе — и Питер в том числе — поняли, что по-старому жить нельзя. Старое нужно разрушить, чтобы на его месте построить мировое государство, Союз Свободных Наций. Главное теперь — работать, работать, не щадя своих сил. «Мы должны жить теперь, как фанатики, — говорит Питер на последней странице романа. — Если большинство из нас не будут жить как фанатики, — этот наш шатающийся мир не возродится. Он будет разваливаться все больше — и рухнет. И тогда раса большевистских мужиков будет разводиться свиней среди руин».

Так суммирует Уэллс мнение английского интеллигента (надо добавить — радикально-настроенного) о сегодняшней России. Нечего и говорить о джентльменах и леди, которые не спят ночей из-за страшных «Volos», как сокращенно называют в Англии большевиков. Эта часть общества представлена в карикатурной фигуре леди Сайдэнгэм.

Свои личные взгляды на коммунистическую Россию, свои впечатления от недавнего пребывания у нас — Уэллс изложил в ряде статей, напечатанных в газете «Sunday Express» и изданных затем отдельной книгой под заглавием «Russia in the shadow». Статьи эти дают обширный, — часто, впрочем, легковесный, из окна вагона — материал, но он уже не укладывается в объем настоящей задачи — показать Уэллса-художника. Я приведу оттуда одну только фразу, которая, мне кажется, может быть взята эпитафией ко всем этим статьям. «Я не верю, — говорит Уэллс, — в веру коммунистов, мне смешон их Маркс, но я уважаю и ценю их дух, я понимаю его».

И тот Уэллс, портрет которого дан на этих страницах, не мог иначе сказать. Еретик, которому нестерпима всякая оседлость, всякий катехизис, — не мог иначе сказать о катехизисе марксизма; неугомонный авиатор, которому ненавистней всего старая, обросшая мохом традиций земля, не мог иначе сказать о попытке оторваться от этой старой земли.

Аэроплан — в этом слове, как в фокусе, для меня вся наша современность, и в этом же слове — весь Уэллс, современнейший из современных писателей. Человечество отделилось от земли и с замиранием сердца поднялось на воздух. С аэропланной головокружительной высоты открываются необъятные дали, одним взглядом охватываются целые нации, страны, весь этот кусочек засохшей грязи — земли. Аэроплан мчится, — скрываются из глаз царства, цари, законы и веры. Еще выше — и вдали сверкают купола какого-то удивительного завтра.

Этот новый кругозор, эти новые глаза авиатора — у многих из нас, кто пережил последние годы. И эти глаза уже давно у Уэллса. Отсюда у него эти прозрения будущего, эти огромные горизонты пространства и времени.

Аэропланы — летающая сталь — это, конечно, парадокс: и такие же парадоксы везде у Уэллса. Но парадоксальный как будто — аэроплан весь, до последнего винтика, насквозь логичен: и так же весь, до последнего винтика, логичен Уэллс. Аэроплан, конечно, чудо, математически рассчитанное и питающееся бензином: и точно такие же чудеса у Уэллса. Аэроплан, дерзающий на то, что раньше дозволено было только ангелам, — это, конечно, символ творящейся в человечестве революции: и об этой революции все время пишет Уэллс. Ничего более городского, более сегодняшнего, более современного, чем аэроплан — я не знаю — и я не знаю писателя более сегодняшнего, более современного, чем Уэллс.

1921—1922 гг.

Город-сфинкс

Эти беглые, случайные, бессистемные наброски не претендуют, понятно, дать полное понятие о городе-сфинксе, Лондоне. Это только материал для большой будущей книги. Это мелочи Лондона: в мелочах иногда легче схватить главное.

Почему «город-сфинкс»?

Ни об одном городе в мире нельзя услышать столько разноречивых, совершенно противоположных мнений, как о Лондоне.

Мрачный, печальный с первого впечатления. Самый большой в мире и самый мрачный в мире. «Лондонские туманы»... Обескураживающий и давящий, прижимающий нового человека к земле своей громадностью и своей суровостью...

И такой уютный внутри, когда обживешься, приживешься, узнаешь тайники этого десятиллионного города.

Климат такой неприветливый и такой мягкий...

Город, где находили спокойный приют даже анархисты, куда ехали русские и всякие другие эмигранты отовсюду гонимые; где нашли второе отечество триста тысяч русских евреев и полюбили его искренно; где живут лучше чем дома сто тысяч негров и китайцев... И вместе с тем страшный город!

Город скрытный, все спрятавший для нового глаза. Дома окружены высокими каменными заборами. Чтобы не видно было внутрь...

Такова и душа этого народа.

Громадная, глубокая, загадочная, привыкшая править, холодная и добрая. Начинаешь кое-что понимать в ней, только долго долго присмотревшись. И внимательно изучивши, опять узнаешь, что далеко не все понял, и не так понял...

Загадочнее этой души только русская.

Автор

Берлин. Февраль 1922.

Во всех больших городах, во всем мире: западная часть — богатая, аристократическая, восточная — бедная, пролетарская.

Почему это?

В Лондоне это разделение тоже резко подчеркнуто, хотя Лондон такой громадный, 10-ти миллионный конгломерат, что теперь часто это правило нарушено. Теперешний Лондон состоит из десятков бывших отдельных городов, и в каждом из них были бедные и богатые. Получилось так: дорогой квартал, шикарные особняки, а соседняя улица — грязный рынок, и ютится беднота. Какой-нибудь Ву-

льич или Ричмонд, куда ездили во времена Диккенса в дилижансах, теперь тот же Лондон, сплошной город Лондон.

И все-таки здешние люди, больше чем-где либо, привязаны к своему месту. Часто за всю жизнь счетом несколько раз был в других частях города.

В замке Кингсвуд, верстах в двадцати от Лондона, я разговорился с садовником. Он говорил о Лондоне, как о чужом городе.

— А часто бываете в Лондоне?

— Нет, не часто... года два, как не был, — ответил он. И это не исключение. И это не потому что он занят: просто он живет своей жизнью, в своем Кингсвуде.

Это определенная черта в англичанах: они бродят по всему свету, живут в колониях и совсем чужих странах, но в конце концов возвращаются домой, редко приживаются к новому месту. Если кто-либо из членов семьи и обоснуется в новом крае, остальные из семьи остались в Англии, и связь с ними никогда не нарушается. В этом отчасти секрет такой прочной связи колоний с метрополией. Казалось бы что колонии совсем особые государства, ничем не скрепленные со страной-матерью, вот-вот совсем уйдут и объявят себя совсем независимыми: и никогда этого не случается, всегда они одно целое с Англией, и всегда Англия их родная страна.

Это блестяще подтвердилось хотя бы в последнюю войну, когда колонии добровольно сделали не меньше, чем сама Англия, чтобы победить во что бы то ни стало. Английские нервы оказались крепче. Поразительная у них была уверенность даже в самые трудные минуты.

— Англия проиграть не может...

— Я не знаю, как и когда мы выиграем, но я знаю, что Англия не может проиграть... Так все говорили.

Помню в самый трудный момент, во время последних германских наступлений, я говорил в Японии с англичанами. Они признавали свои большие неудачи и потери, но вывод был все тот же — «Англия не может проиграть»...

— Но ведь германцы могут на днях взять Париж?!

— Да... могут...

— Что же тогда?..

— Тогда война будет еще лишних три года.

Признавали все возможным, но «Англия не может проиграть»... Ругали свои порядки, неподготовленность, медлительность, непедусмотрительность, и все-таки — «Англия не может проиграть»...

* * *

Для тех, кто был в Лондоне давно, теперь после войны он совсем иной. Лондон изменился за время войны, пожалуй, больше, чем всякий другой город на земном шаре, за исключением разве Петрограда и Москвы.

Когда-то туристов возили к половине 9-го утра на Лондон-бридж (мост) смотреть на толпу клерков, которые сплошной толпой идут в Сити на службу, со станции Уотерлу. Было замечательно тем, что все эти десятки, сотни тысяч людей, одеты были один как другой, в длинных сюртуках и цилиндрах. Ничего этого не осталось. Цилиндр почти ушел из Лондона и его только изредка видишь в шикарном автомобиле или на настоящем упорном лондонце — потертom и обношенном, но не желающем расстаться с традицией. Даже на разъезде из оперы, не все цилиндры.

В Англии, в Лондоне, традиция — все. Традицией живет нация и в этой традиции ее неизмеримая сила. Но меняется кое-что и в неизменных традициях. Вместе с цилиндрами ушли и бывшие «хэнсэмы» — лондонские извозчики, каретки на двух колесах, с кучером наверху; их съели мотор-кары, и теперь «хэнсэм» стоит, как достопримечательность, в Кэнсингтонском музее.

Нет и белой палочки у лондонского полисмэна, у «боби». Палочка ушла под напором идей современности: палка — не демократично, символ насилия, грубая сила — нельзя больше. Теперь «боби» делает просто знак ручкой и этого жеста слушаются не меньше.

Лондонская полиция — лучшая в мире, и даже не лучшая: она совершенно особенная, ее не с чем сравнивать, нигде нет подобной. Нету на свете существа спокойнее, чем лондонский «боби». Я наблюдал его в самые юмористические моменты.

Вот такой хотя бы случай.

В провинции я купил 50 живых кур и послал за ними человека с двумя корзинами. Оказалось, что в корзину можно посадить, «по закону», не больше восьми кур. Посланному пришлось купить большой ящик. В этом ящике он привез моих кур на лондонский вокзал уже ночью, во втором часу. Ящик был так велик, что не влезал ни в один из «ванов» (крытых телег), и пришлось оставить его на вокзале, а кур пересадить прямо в «ван», насыпью, так сказать.

В третьем часу ночи «ван» подъехал к моему дому. Среди абсолютной ночной тишины кур открыли, чтобы по несколько штук перенести в курятник. Но куры, как известно, совершенно обалдевают, если потревожить их ночью, да еще под ярким электрическим фонарем. Как только дверь вана была открыта, они с необычайным диким кудахтаньем все вылетели на широкую улицу и разбежались с дикими воплями. На улице подняли такой переполох, какого, вероятно, не бывало со времени Кромвеля.

Сидя за занавеской в спальне, я смотрел на эту трагикомическую историю и не показывался, ожидая, чем это кончится.

На углу, как всегда, стоял городской. Мне было особенно любопытно — что он сделает? Но он ничего не сделал. Он продолжал так же спокойно стоять, пока в течение полутора часов неистово кричащих кур ловили в разных концах улицы.

Здесь не было нарушения закона, здесь не было нарушения тишины по злой воле — и городской был спокоен. И только на лице его видна была улыбка, которую он старался сдерживать. Мне ужасно хотелось, чтобы он принял участие в ловле кур, но мне не удалось этого увидеть. Боби был спокоен, как статуя и сохранял свое бобино достоинство.

Год назад боби вздумали бастовать из-за экономических требований. Газеты выпустили большие заголовки и портреты боби:

— «Не бастуй, боби... будь старым, верным народу боби»...

И боби в самый последний момент забастовку отменили.

* * *

Старый Лондон остался только кое-где, в переулках, куда меньше проникла война. Там Лондон прежний, самый интересный. Большая улица демократизировалась в самом худшем смысле слова, тут перестали уважать традицию, она живет в переулках.

Ночью на улицах Лондона появляются тени прошлого — кэбы, хэнсэмы, торговцы горячим, с лотком освещенным маленькой керосиновой лампой, и выходят люди, которых днем никогда не увидишь, в каких то особых давнишних костюмах. Днем в них показаться нельзя, они слишком стары и годятся только для ночи, и на них днем смотрели бы как на маскарадные.

Моют мостовую и вытирают ее автомобилями-щетками. На скамейках парков и набережной сидя спят люди — им не хватило места в ночлежках или нет трех пенсов заплатить там. Мягко, мелодично шурша по гудрону, плывут моим «Рольс-Ройсы», самые дорогие в мире автомобили, 8.000.000 марок штука; и в них колье по десять миллионов, по двадцать...

* * *

В Париже такси мчатся с гулом и ревом; не так велика скорость, как шум малосильной машины, и шофер все время трубит. Полная противоположность Лондону. Там ездят молча и тихо. В лондонских инструкциях для городских сказано:

«Помните, что каждый шофер и каждый кучер ваш приятель и помогите ему во всяком затруднении, как вы помогали бы своему лучшему другу».

Нигде в мире нет такого порядка и уверенности в движении, как в Лондоне. Английскому шоферу веришь безусловно; французский ездит превосходно, смело, и нагло, но все время держишь его под сомнением.

Немецкий шофер ездит также хорошо, аккуратно, но он нервничает, ругается с извозчиком и прохожими, много трубит, и поэтому нет той веры, как в английского.

Английские деньги кажутся сразу абракадаброй.

В шилинге двенадцать пенсов, в фунте двадцать шилингов. Когда нужно подводить итог из таких цифр:

3 фун. 12 шил. 9 пенс.

— 18 5

17 11 11

с непривычки теряешься, путаешь; в магазине получая сдачу, ве-ришь на слово, стыдно признаться, что не умеешь сосчитать без ка-рандаша.

Если стоит полтора пенса, англичане говорят — «три половины» и тоже сразу не понимаешь. Два с половиной шилинга — это «хаф-краун», полкороны, потому что когда-то была «корона», пять ши-лингов. Чеканятся два шилинга и полкороны и их постоянно пута-ешь, они почти одинаковы.

Для фунта сохранилось еще старое название — «соверен», и иногда говорят фунт, иногда sovereign.

Плата врачу, недельная плата за квартиру, торг на аукционах ве-дется не в фунтах, а в «гинеех». В гинее двадцать один шилинг. Когда-то чеканили такую монету для колоний; ее давно нет, но счет остался. Часто видишь в окне надпись —

«17 1/2 гиней» —

и долго не привыкаешь соображать, что это 18 фунт. 7 шил. 6 пенс.

Шилинг зовут часто «боб», и говоря вместо шилинга боб, можно выказать, что не совсем новичок в Англии. Но зато как смеются, если по аналогии шилинг — шилингс (множ. число), паунд (фунт) — паундс, сказать «три бобс», или «пять бобс»: боб не имеет множественного числа и нужно говорить «один боб», «три боб», «сто боб»...

Есть «пять пенсов», «десять пенсов», но нет «одного пенса», а «одно пенни»... Два пенса правильно «ту пенс», но хотя это правиль-но, никто так не говорит, а говорят — «тапенс»... И это не «кокнэй», тот особый язык Лондона, на котором говорят в Сохо и Уайтчепеле, говорят извозчики, уличные торговцы, городовые, и т.д. — так гово-рят все, сам Ллойд Джордж и сам король.

Единственное место на земном шаре, где сейчас платят золотом и за бумажки надо платить премию — Гавайи, Гавайские — они же Сандвичевы острова, штат Север. Американ. Соедин. Штатов. Везде в остальном мире — бумажки. В Англии золота в обращении нет, но если придти в Английский Банк и потребовать золотом — дадут зо-лотом. На беленьких английских бумажках написано:

«По предъявлении платится золотом» — это не отменено ника-ким биллем парламента и поэтому каждый вправе требовать золото. Если спросить золото, чиновник банка напомним, что это не патри-отично, что золотую монету нельзя переплавлять или вывозить из Англии, но если все-таки настаивать — дадут золотом...

Недавно был громкий процесс. Несколько типов ходили в Банк ежедневно и меняли бумажки на золото. В течение нескольких месяцев они наменяли больше 100.000 фунтов. Им продолжали менять, но полиция следила. Наконец накрыли, когда они переплавляли монеты в слитки, всех судили, понятно, и присудили к «тяжелым работам».

* * *

Меры веса не лучше.

Фунт имеет то шестнадцать унций, то двенадцать, смотря для чего. Большая мера — «hundred weight» в переводе буквально — «вешающий сто»; но к удивлению в этом «хандрэдуэйте» не сто фунтов, а сто двенадцать... И считают пол этой меры, четверть этой меры, и цена в гинеях: попробуйте рассчитывать цену фунта...

Еще до войны был поднят вопрос о введении метрической системы. Несколько лет заседали по этому поводу специальные комиссии и недавно, наконец, исписавши томы, решили... **старого счета не менять!**

* * *

С английским языком можно спокойно ездить по всему свету, зато в Лондоне без английского языка очень плохо и даже с плохим английским плохо. Один русский два дня возился с багажом из-за того, что называл вокзал не «Юстон», а «Истон». Ему нужно было на «Юстон», Euston Station, а его все время за справками возили на Истон, Eastearn R-у, совсем в другой части города. «Другая часть» в Лондоне не близко. Город-гигант. Самый большой город в мире и по населению и по пространству — едешь, конца нет. И все растет. И все шансы расти дальше

Дивный город... Город-сфинкс. Центр мира уже не Париж — а Лондон теперь центр мира.

Я всегда мечтал с раннего детства жить в самом большом доме в мире и в самом большом городе в мире и издить на самом быстром поезде в мире. Самый большой дом я тогда представлял себе этажей в семь-восемь, потому что самый высокий в нашем городе был в пять этажей. От первого желания я давно отказался, но от второго и третьего — нет.

Жизнь в таком городе, как Лондон, имеет свои прелести, манит к себе, и, привыкнувши к ней, нельзя уйти. Лондон давит нового пришельца, борьба за жизнь страшна тут. Всегда так: чем больше город, тем страшней «struggle for life»¹. Но тот, кто ужился тут — не хочет уходить даже и в лучшее в маленький город, если можно жить в большом.

¹ «Борьба за жизнь» (англ.).

Мне нужно было найти в Лондоне Kingsland Green. Попробуйте найти в Лондоне такое место.

Мне нужно было найти учреждение, где вносят плату за новый телефон. На бланке значилось — Kingsland Green. Ни на одном плане такой улицы не оказалось; по буквам частей города, я знал приблизительно где это: далеко за Ливерпульским вокзалом, на bus'e, на трамвае, потом долго пешком. Кондуктор трамвая уверял меня, что такого места нет, потом, чтобы отвязаться, указал на первую попавшуюся зелень в чьем-то саду: «грин» — значит зелень. Я долго ходил туда и назад. Из двух городских того района только один наконец догадался и то не сразу. Долго подумавши, он сказал:

«Может быть там». Действительно, оказалось там... Когда-то там был «грин» — лес или парк. Его давно нет, все застроено и один из переулков назван «Kingsland Green». Никто этого имени не знает и надписи с названием такой улицы нет. Единственный дом на этом переулке — это телефонная контора, которую я искал, и никому название этого переулка не нужно, потому что никто не спрашивает «Kingsland Green», а все спрашивают главную телефонную станцию. Я этого не знал и искал сначала улицу, а потом думал уже на улице искать станцию.

— Трудно найти вас, никто не знает такой улицы, — сказаал я чиновнику.

— О yes... никто не знает, — согласился он.

А переулок будет называться так в официальных бумагах еще сто, двести, а может быть пятьсот лет.

Сейчас англичане много говорят о неэкономном использовании пищевых продуктов. Война дала лозунг: экономия во всем, и он остался. Но до сих пор англичане выбрасывают начавшее киснуть молоко. Когда я им показывал как делать творог и сметану, они смотрели, но сами этого все-таки не делали. Они до сих пор не имеют понятия, что из кислого молока готовятся такие вкусные вещи, как творог и сметана.

Англичане до сих пор не умели чистить дымовые трубы тем простейшим способом, которым у нас чистят их столетия: берется метла, к ней привязывается кирпич, все это навязывается на веревку и опускается в трубу. Только недавно в лондонских газетах сообщалось, что кто-то в Англии выдумал, наконец, этот удивительный способ и что это очень удобно, дешево и просто...

Но как многому могли бы мы научиться у англичан. Я не говорю о серьезном — об их культуре вообще и государственности, уважении к закону, порядку и т.п., даже в пустяках.

Например, их холод в квартирах. Климат в Лондоне считается одним из самых нездоровых. Или это ошибка, или англичане спасают себя холодными квартирами, — но здесь простуживаются меньше, чем где-либо. Когда привыкнешь к холоду английской квартиры и к спанью зимой с открытым окном — простудиться действительно трудно. Однако, то что хорошо в странах с сырым климатом, находящихся под влиянием гольфстрема — то может оказаться скверным в континентальном. В сухом климате спать ночью с открытым окном гораздо опаснее, чем в лондонской сырости.

В Берлине тщательно закрывают дверь трамвая и омнибуса: в лондонском омнибусе и дверей вовсе нет.

Когда едешь в поезде между Лондоном и Берлином, сразу можно узнать в каком купе сидят англичане, в каком немцы: у англичан все раскрыто, даже в мороз, окно и дверь, и вентилятор; у немцев все притворено и сидят еще в шубах...

* * *

Английская еда имеет одну характерную черту: готовить так, как скорее, проще. Стэк, но не котлеты или какие-нибудь голубцы. Котлеты много выгоднее, экономнее, но с ними больше труда, а со стэком — отрезать и бросить на сковороду, и через 15 минут готово.

Внутренности курицы, ножки, крылья, здесь выбрасывают, так как готовить их слишком много возни. У рыбы отрезаются и выбрасываются хвост и голова с добрым куском мякоти — с ними много возни. Чуть-чуть подморозило сверху кочан цветной капусты — выбрасывается весь: слишком долго разбирать его по частям, не стоит затрачивать дорогой труд.

В Англии многие живут бедно, многим жить трудно. Но если сравнить стандарт жизни рабочего английского с рабочим немецким — это целая пропасть. Жена второго может сварить обед из того, что выбросит жена первого.

* * *

«Стэком» у нас в былое время доморощенные снобы звали почему-то палку с ремешком на конце, хлыст, с каким ездят жокеи. Палка по-английски «стик», но у нас произносили всегда «стэк», шикарнее как-то... Печенье по-английски «кэк», но у нас звали всегда «кэкс».

К нам это шло через Германию и по дороге испортилось: в Германии тоже «кэкссы».

Об «иглиф» вместо «хайлайф», «фифоклок» вместо «файвоклок-ти» нечего и говорить, — все знают.

Английское название маленького автомобиля — runabout — «ранабаут» (run — бегать, about — около) пришло к нам через Францию и стало «рюнабо». Даже англичане, забывши что это их «ранабаут»,

звуют по-французски «рюнабо»... Чужое слово кажется шикарнее, знатнее, своего собственного.

«Парикмахер» мы взяли у немцев, а немцы зовут явно французским «фризер», и даже во время войны, в период гонения всего французского, остались при этом. Даже международное «телефон» заменили «Fernsprecher'ом», а явно французского «фризера» оставили.

* * *

С громадной осторожностью нужно критиковать порядки чужой страны. Я много раз упирался в это, давал себе слово быть осмотрительнее. Худо соваться в чужой монастырь со своими уставами.

Один богатый русский, умный и изворотливый — настолько умный и изворотливый, что сумел и сквозь революцию пронести свои миллионы — приехавши недавно в Лондон, купил дом и стал перестраивать на свой вкус.

Понятно, первым долгом тепло. Устроил центральное отопление и посмеивался над глупыми англичанами, которые сидят у негреющих каминов и небо греют — «руки греешь — спина мерзнет, спину греешь — ноги мерзнут»... Получилась теплая и сухая квартира. Но в этой сухости сырой воздух Лондона стал осаждать тонкую, тонкую угольную пыль. Чем больше вентилировали комнаты, тем больше осаживалось этой черной, тончайшей пылью. Обивка мебели, ковры, платья пропитывались ею. Стоило немного посидеть в этой «теплой и сухой квартире», как руки становились черными, точно трубы чистил...

Тут стали смеяться уже англичане.

Кроме того: жившие в квартире постоянно простуживались.

* * *

Когда-то рестораны Лондона славились своими специальностями. У Симпсона были знаменитые ростбифы, такие, каких нет нигде в мире; у Скотса — необычайные омары, устрицы и лангусты. В итальянских ресторанчиках Сохо — знаменитые ризотто. Каждый ресторан имел свою специальность.

Это ушло. Англичане едят так же много, как и раньше, но не так изысканно, как раньше. И рестораны потеряли свои «специальности».

В театрах, в партере, нет больше фрака с белым жилетом, теперь пиджаки и смокинги, и только изредка прежний изысканный фрак с белым жилетом.

Лондон необычайно демократизировался. В былое время было бы невозможно прийти не только в оперу, но даже в такой «мюзик-холл» как Альгамбра, иначе, как во фраке. Теперь можно идти в чем угодно, — даже в цветной рубашке вечером...

Белые перчатки всегда носили масоны; белые перчатки дарят в Англии судье за счет общины, если у него не оказывается дел для разбора, и белые перчатки носят до сих пор с фракком.

Глядя от нас, из России, это кажется сейчас таким пустяковым, нестоящим внимания. А там важно, в силе, там это кирпичинки, из которых построена культура...

* * *

Если купить в Лондоне башмаки точно по мерке и в них приехать на континент, они начинают жать ногу. Это не шутка. Английский остров, остров целиком лежащий в Гольфстреме. Климат Англии исключительно влажный. Кожа башмака в этом влажном климате несколько эластичнее и остается растянутой, как ее растянули на сапожной колодке. Попавши в климат континента, она быстро ссыхается и съезживается, и начинает жать. Если в том же башмаке приехать, скажем, в Рио-де-Жанейро, где еще влажнее, башмаки будут еще свободнее, чем были в Лондоне и все стельки отклеются и свернутся.

Со мной был такой случай, и я по неведению винил тогда гостиничного боя, что это он выдрал, неаккуратно чистя... Чем больше человек знает, тем осторожнее он в осуждении других за что-либо. Самые некультурные судьи — самые строгие судьи.

Я купил в Лондоне чемодан с туалетным прибором. Три флакона точно и плотно вставлялись в кожаные чехлы. Теперь здесь в Берлине ни один не лезет в предназначенное ему место. А стоящий сейчас у меня на столе большой альбом видов Шотландии, переплетенный в дерево, изогнулся дугой от здешней сухости. Переплет сделан в 1870 году, в Англии он сох пятьдесят лет и не высох...

Привыкнувши к сырости Англии, даже несколько болезненно начинаешь ощущать сухость континента. И глядя на англичан, может быть самых здоровых людей в мире, начинаешь верить, что эта сырость Гольфстрема благоприятна человеческому организму. Я, по крайней мере, о ней тоскую.

Эта сырость стоит англичанам громадных денег. Как быстро портятся в ней вещи! Железо насквозь проедается ржавчиной, медь зеленеет, камни протачиваются мхом и лишаями. Постройки разрушаются в Англии гораздо быстрее, чем на континенте.

Зато какая зеленая, ярко-зеленая, радостная и свежая трава; как красивы газоны и кусты, какие мягкие и свежие краски у леса и береговых скал Дувра. Может быть поэтому и живопись у англичан совсем своя, сочная, полная, свежая.

Но тут в живописи, вообще во всем английском искусстве, во всем укладе жизни, в культуре их — еще больше влияния традиции, боязни новшеств. Футуризм везде имел своих адептов, но только не в Англии. Самое строгое искусство в Англии. Составилось это из бо-

язни новшеств и иногда из ограниченности, из узости мышления и вкуса, и даже из шовинистической ревности к чужому.

Разве только в модах англичанки слепо идут за Парижем и принимают все оттуда как истину. Но те марки шампанского, которые особенно любят французы, англичане держат в подозрении: им Франция готовит шампанское особых марок.

Мистрис Барделль, с которой судился мистер Пиквик у Диккенса, пила всегда портвейн. И до сих пор все англичанки пьют портвейн, и портвейна в Англии выпивается много больше, чем во всей остальной Европе. Вино, так должно быть вино, а не жиденький брандахлыст вроде медака или рейнвейна. Пиво — так «басс», темное и густое, почти мальц-экстракт, которым нас кормили в детстве от кашля. Или «эль» грабусов в 18...

В чайник сыплут пригоршню чаю и чай крепок, как кофе, и к нему жирные сливки и хлеб, толсто намазанный датским маслом.

У нас во дворе жил доковый рабочий. Он говорил:

— Я люблю кофе только настоящий. Чтобы чашка была большая, три куска сахара и половина кофе, половина сливок, и лить в чашку то и другое одновременно, чтобы кофе кипел, и сливки кипели, чтобы сверху была пена...

Это говорил доковый рабочий.

Приехавши в прошлом году в Берлин, я пил что-то и был уверен, что чай, чай с каким-то привкусом.

— Хотите еще кофе? — любезно спросила хозяйка.

— Кофе... ах, нет, благодарю вас, — понял я наконец.

Богачи и нищие. И богачи хотят еще взять от нищих...

* * *

В пульмановском вагоне чисто и удобно. Ресторан, соединен с тем удобнейшим креслом, которое дают в Америке тоже за особую плату, но не в ресторане. Скатерть, салфетка, цветы, люди не плюют и не галдят. Это не замечаешь привыкши, но какая разница с тем, что там, в дешевых странах.

Боже мой! Почему такими вагонами могут пользоваться только англичане, да и то не все, а только некоторые из них. Когда в таких поедет былой русский мужик?! Поедет — только когда? Это наивно и избито, но все-таки повторю: если бы люди не воевали, уже все могли бы ездить, все люди, сколько их есть на земле, на всех хватило бы таких вагонов... Как много прекрасного, доступного людям в этом мире, а они сами закрыли его себе.

* * *

На знаменитых партиях крикета, футбола и тенниса собираются десятки тысяч народа. Но самые дорогие, буквально шальные цены — на бокс. Когда бокс бывает в лондонской Олимпии и выступает какой-нибудь «премьер» — первые места стоят 15 гиней, а где-

нибудь далеко — 2 гиней... И по этим ценам собирается десятка два тысяч зрителей. Никакой Шаляпин, Патти и Карузо не получали столько, сколько боксер.

Когда француз Карпантье дрался с Бекетом и в течение пяти минут положил этого гиганта, толпа пришла в такое неистовство, что можно было ожидать какой-то ужасной катастрофы. Я думал, что все здание разнесут вдребезги, что оно рухнет от сотрясения... Стоял рев. Люди кричали и прыгали, как угорелые. Возбуждение бывает на скачках, но ничего подобного такому не бывает. Тут не узнаешь англичан, — это не англичане, а испанцы. калабрийцы...

Когда Бекет упал, сидевший рядом со мной почтенный джентльмэн — и не он один, а многие — вскочили вдруг на стулья и стали на них подпрыгивать как можно выше, и махать руками и неистово кричать, хотя им совсем не следовало радоваться, так как победил француз...

Прежде всего fair play, чистая игра. Интересна борьба с равными силами, такая, где исход может зависеть от умения, ловкости. Где слишком большой перевес, где уже предрешено — это не спорт, не интересно.

Когда англичане играют в «бридж» и один из партнеров слишком долго думает над ходом, другие говорят:

— Скорее... будь спортсменом...

Важно не только то, чтобы сделать непременно правильный ход, а нужно затратить на него не больше времени, чем затрачивает противник. Можно, собственно, думать сколько угодно, но тогда это уже не спорт, не игра, а вымучивание.

Даже на войне, перед лицом смерти, в англичанине часто говорит спортсмен, и тут должно быть fair play.

Когда после знаменитого морского боя у Фалкландских островов английский крейсер подобрал тонувших немцев, один из английских офицеров сказал:

— Напрасно вы ввязывались в бой с нами, силы были неравные, это не fair play...

Об этом инциденте рассказывает старший офицер крейсера «Гнейзенау» в своей книге об этом бое.

Спорт — это полжизни Англии. Знаменитый крикетист — это не меньше, чем большой государственный деятель. На днях я читал у одного серьезного английского писателя:

«...Кто знает — быть может из этого ребенка выйдет большой человек и английский народ будет гордиться им, как знаменитым крикетистом, философом или министром»...

И тут нет иронии.

* * *

Читая английские газеты, сразу ошибаешься, глядя на сенсационные заголовки; потом перестаешь ошибаться.

Только что поселившись в Лондоне, я прочел, что «bus»ы (автобусы) номера такие-то, после обсуждения в нескольких комиссиях решено наконец отменить. Одним из этих «басов» я иногда пользовался. Я пожалел, что его отменили. Иду через три дня и вижу, что «бас» ходит, как и прежде.

— Отменили его на один день! Разве можно его отменить совсем, — сказал кондуктор и удивленно посмотрел на меня: как это живет на свете такой наивный человек, который думает, что может быть совсем отменен какой-нибудь рейс «баса».

Именно, разве можно?! Шестьсот лет так ходит. Как же можно отменять?! На один день и то вызвало много недоразумений и потребовало обсуждения в трех комиссиях.

Это не «бас», разумеется, ходит 600 лет, но жизнь Англии идет 600 лет по тем же традициям.

Другой раз о тех же «басах» писали:

«Окончательно решено сделать значительные изменения в рейсах «басов» с целью урегулирования уличного движения. Теперешняя система во многих случаях способствует стеснению улиц»...

Я думал, что действительно какая-то реформа. Вместо одних улиц — пойдут по другим? Может быть вместо левой стороны пойдут по правой? Знаете что сделали? В девяти местах (это на Лондон-то) передвинули пункты остановок саженей на десять...

Теперь я уже не ошибаюсь, когда читаю жирные заголовки о реформах.

* * *

«Все парки запаханы в Англии» — писали за время войны — «все свободное пространство утилизировано для огородов и посевов»...

Сейчас мы проехали верст 250 от Лондона до Брайтона, и обратно по другому пути, весь Surrey: ни одного запаханного парка, вообще ничего запаханного, все — лужайки и площадки для футбола, для охоты, просто для ландшафта — для красоты и сельской поэзии...

Пусть там, в колониях — в Австралии, в Новой Зеландии, в Малайских штатах, сеют; пусть Аргентина старается увеличивать посевную площадь, пусть Канада шлет хлеб, а здесь, в метрополии, англичане предпочитают организовывать и управлять... Здесь управляют и любят ландшафтами.

В Брайтоне завтракали. Итальянец, мэтр дотель, ужасно обрадовался, точно старых друзей увидел, и добавил нам «специальное» сладкое — только для почетных посетителей. Это оказалось — «клубника Мельба», десять шилингов за порцию, а ведь завтрак стоит 4 шилинга; итого завтраки стоили 1 фунт, добавочное сладкое — 2 фунта 10 шилингов...

По дороге обратно пили чай там, где его обязательно все пьют.

Как и двести лет тому назад, та же веранда и те же газоны, и те же сосны даже, и так же к чаю подают салат, варенье и молоко. И

нам кажется удивительно: салат к чаю! А англичане удивляются, если к чаю спрашивают лимон.

* * *

Если можно выбирать, где жить и есть свободные средства — то жить, разумеется, лучше всего в Англии. Самая богатая в мире страна. Здесь едят самый вкусный пирог. Плоды 600-летней культуры тут в пользовании каждого: дороги, мостовые, канализация, парки, площадки для футбола, специальные места для «голфа» со всеми прихотливыми требованиями этой своеобразной игры; музеи, картинные галереи, библиотеки лучшие в мире, сколько угодно театров. Хотя театры сильно упали за время войны и только медленно поднимаются.

* * *

Иные животные даже. Возьмите собак: ни одной дворняги, все собачьи принцы крови, все голубая кровь. Скоч-тэрьеры, похожие на медвсжат, но в действительности — глубокомысленные философы, самая думающая собака, самые самолюбивые и самые понятливые. Безносые пекинские спаньели — такие же фаталисты, как их родичи китайцы. Безучастно смотрящие на мир безносые японские спаньели, белые с черным, проникнутые расовой враждебностью ко всякой другой собачьей породе — как и сами японцы... Выродившиеся неврастеники той-тэрьеры, дрожащие от нервозности и в прохладную погоду и в июльскую жару, жалующиеся каждому встречному на жестокое обращение с ними, хотя это — сплошная ложь.

Символы самой Англии — бульдоги с искареженной физиономией, высунутыми языками и оскаленными зубами; ужасно страшные, но вместе с тем очень добрые, никого не трогающие, кроме взрослых самцов своей же породы, и кошек... Длинношерстные фокс-тэрьеры, родственники знаменитого благородного «Боба из Эдинбурга», которому там стоит памятник на одной из площадей... Сплошь — собачья аристократия Берклей и Гровенор-сквэров.

* * *

Собак в Англию нельзя ввозить иначе как с 6-месячным карантинном, и даже для того, чтобы отдать в карантин, нужно специальное разрешение министерства земледелия. Мы из Японии привезли на японском пароходе в Ливерпуль маленького «Джэппи» — японского чиня, потом ставшего знаменитостью: как только показался маяк Lands End'a (в переводе — «Конец земли») — это первый маяк, который видят, подходя к Англии с юга Атлантического океана, — капитан парохода обязан был сообщить по радио-телеграфу, что на

борту имеется собака, и нас долго не пускали в порт. А когда пустили, то пришло трое специальных полицейских наблюдать за Джэппи (Джэппи вести 3 фун.) — как бы он не пробрался в Англию без карантина. Когда Джэппи, вопреки обыкновению, выдержал карантин, стал полноправным собачьим гражданином Великобритании, он захотел участвовать в выставке. Собачьих выставок бывает в Англии в год около 50-ти; везде выдаются денежные премии. Джэппи пошел записываться на выставку.

— А паспорт его?.. — спросили в секретариате выставки.

— Какой паспорт?!

Нам объяснили, что в Англии никогда раньше не требовалось паспортов для людей, но для собак паспорта требовались всегда.

— Но где же получить паспорт?

— Паспорта выдает Kennel Club — Собачий Клуб.

Собачьих клубов в Англии есть полсотни. Одних бульдожьих клубов десятка два; отдельно клубы пекинской породы, тэрьеров и т.д.

Отправились в Kennel Club —

— А кто был отец и мать Джэппи?

— Джэппи родился в Японии; отец и мать его неизвестны...

А для паспорта требуется не только отец и мать, но даже бабушка и дедушка, даже прабабушка и прадедушка.

Оказалось, что Джэппи получить паспорт не может, но кто-то сказал, что особенное присутствие соединенных клубов в Англии имеет право выдать паспорт и безродному песику, если будет установлено, что он аристократической крови, чистопородный и вообще заслуживает особенного внимания. Так как Джэппи особого внимания заслуживал, то его повели в соединенное заседание собачьих клубов и 24 седых и благородных эксперта единогласно решили, что хотя он без роду и племени, бродяга и, может быть, самозванец, но ему может быть выдан собачий паспорт Великобритании, — и Джэппи паспорт выдали и опубликовали в «Известиях соединенного собачьего клуба» — своего рода «Сенатских Ведомостях» — что такому-то, Джэппи, привезенному тогда-то из Японии и, по показанию свидетелей родившемуся там-то, в таком-то году — выдан собачий паспорт Его Королевского Величества короля Великобритании. И Джэппи с тех пор участвовал в выставках, как полноправный собачий гражданин, и получил много призов, и стал чемпионом японских спанелей.

* * *

Нигде в мире нет такой любви к животным, особенно к собакам, — как в Англии. Можно ударить на улице человека — на это никто не обратит внимания, разве сам пострадавший ответит хорошим боксом, — но не рекомендуется тронуть собаку — сейчас же вступится любой прохожий и обидчик окажется в участке.

Десятки обществ покровительства животным. Каждая пожилая дама — непременно почетный член такого общества, — и она ходит от нечего делать по улицам, живя на свою ренту, и наблюдает, не обижает ли кто-либо бедных песиков.

Есть специальные приюты для больных и заблудившихся собак, для больных кошек.

Есть дамы, которые все свое свободное время — а оно все свободное — посвящают облегчению участи бедных собачек или милых кошечек. В центре Лондона, в Гайд-парке, имеется собачье кладбище и там стоят памятники с трогательными надписями, — настолько трогательными, что даже либеральное английское духовенство несколько раз заявляло протест по поводу их: там говорится о собачьей душе и встречах с нею в загробном мире...

* * *

Я встретил богатую англичанку, которая ездила по Лондону и разыскивала небольшой, но хороший дом с большим садом. И первый вопрос ее был: как относятся соседи к собакам?

— Зачем вам дом? У вас есть свой особняк, такой роскошный.

— Это я не для себя... Это я для моих бульдожиков.

У нее 16 французских бульдогов. Она уже получила 248 наград на собачьих выставках и ищет дом, чтобы там поселить специально своих бульдожиков.

— Вы не говорите, пожалуйста, об этом другим, — тихо и ласково добавляла она. — Знаете, сейчас такое время, эти рабочие, эти большевики... Я не хочу, чтобы знали, что я ищу дом для моих бульдожиков...

И она же спокойно читает ежедневно в английских газетах, что люди принуждены ютиться в землянках, на лодках: во всем мире после безумия войны квартирный кризис, хотя далеко не такой, как в Германии.

* * *

Недавно фокс-тэрьер, тоже «Боб», принадлежащий бедной вдове, разорвал кому-то штаны. Тот обратился в суд. Судья вызвал, как это полагается, владелицу собаки и самого виновного — Боба. Какой-то свидетель показал, что Боб вообще злая собака. Судья нашел Боба виновным (а для собак в Англии только одно наказание — смертная казнь) и несчастный Боб был приговорен к смертной казни, как собака злая, опасная и вредная. Вдова обратилась к соседям, в особенности к детям местных школ, которые знали Боба. У дома вдовы были положены подписные листы, и в течение нескольких дней на них расписалось около 40 тысяч человек, удивившихся, что они знают Боба лично, что Боб вообще вполне приличная и добрая собака и что они ходатайствуют о помиловании его.

Газеты писали об этом ежедневно. Была подана апелляциянная жалоба; дело перешло в верховную инстанцию, было вызвано больше ста свидетелей и жизнь Боба была спасена: приговор судьи был отменен. В этот день лондонские газеты продавались с большими плакатами крупным шрифтом — «Боб спасен».

* * *

Не только так с собаками — так и с лошадьми, и с коровами, и со свиньями, и с кошками и даже с курами.

Нет просто курицы, — того куренка, которого некуда выгнать было толстовскому мужику, — а есть породистые легхоны, плимутрок, вайондот, род-айланд и еще сотни полторы других чистопородных кур; все «голубой крови», ни одна порода совсем не похожа на другую. Одни несут только темные яйца, большие, но немного; другие — белые, маленькие, 250 штук в год. Одне куры — очень хорошие наседки, другие совсем не высидивают цыплят и их можно разводить только с помощью инкубатора и т.д.

Курам посвящено несколько журналов. Каждую неделю где-нибудь куриная выставка. За курицу из хорошего гнезда платят по пяти гиней и больше.

Оригинальна торговля однодневными цыплятами. Известно, что только что вылупившегося цыпленка не следует кормить в течение 30—36 часов: его желудок полон еще желтком материнского яйца. На этом построена торговля однодневными цыплятами. Их пакуют, сразу как вылупятся, в картонные коробки с дырочками, по 2—3 дюжины, и пересылают по почте по всей Англии. Воспитывают таких цыплят в особых грелках, какую не трудно устроить самому, — лишь бы им было где греться. Такие цыплята превосходно вырастают и чувствуют себя не хуже, чем с наседкой.

* * *

В зоологическом саду катаются на слоне и тот же слон в свободное время обыскивает посетителей, нет ли чего-нибудь съедобного.

Особенно хорош был солдат с пасхальными булочками — «бансами». Он их приготовил себе, а не слону, целый десяток. Бансы пекутся только в Страстную Пятницу и традиционны так же, как наш пасхальный кулич или рождественская «штолэ» у немцев. Каждый должен их есть. Слоны увидели мешочек с бансами и полез к нему хоботом — этим страннейшим инструментом. Солдат стал отнимать мешочек, слон — настаивать. Одна булочка выпала и пока слон подхватывал ее с травы, солдат сообразил и закинул мешок за скамейку. Тогда слон полез через солдата искать мешок в траве. Нашел его и тихонько, храпя от удовольствия, отправил в рот сразу десять бансов вместе с мешком. Солдат бледный, как полотно, под добродушный

смех публики ушел и только у выхода из сада начал ругаться. И все были на стороне слона, а не солдата...

* * *

Жизнью животных здесь интересуются больше, чем где-либо. О жизни зоологического сада ежедневно есть статьи в газетах, и эти статьи читают с большим интересом, чем самую серьезную политику, самые серьезные люди. Однажды пингвин снес яйцо. Газеты поместили большию статью. Через неделю пингвинша села на это яйцо, но муж ее, пингвин все время сгонял ее, ему самому хотелось посидеть на этом яйце. В течение нескольких дней пингвин воевал с пингвинихой — кому сидеть на яйце. Наконец администрация сада сообразила: пингвину дали другое, поддельное яйцо, на которое он уселся и успокоился. Об этом все газеты много писали, помещали фотографии.

* * *

Никогда не делалось переписи кошек. Если бы сделать, то в Лондоне оказалось бы в десять раз больше, чем-где либо. В каждом доме есть обязательно кошка; если не у самих хозяев, то у кухарки, у горничной, неизвестно кому принадлежащая, но она гуляет по забору у дома и приходит в нужные часы на кухню есть. И все кошки жирные, выхолненные и самолюбивые, относятся свысока ко всем кошкам в мире, кроме английских.

Бульдоги и кошки ведут вечную войну, но я ни разу не видел, чтобы мальчишка на улице науськивал собаку на кошку. И собака, и кошка — полноправные граждане: в Англии все полноправные. Англия далеко не рай для бедных, в Англии есть страшное богатство и страшная бедность. Но все-таки Англия ближе всех к лучшему будущему человечества, к тому далекому, которое по Чехову придет «через триста лет». А может быть это еще раньше придет и именно в России: я верю в это.

В Риджент-парке живут на свободе белочки, много, сотни. Они настолько верят людям, что спокойно берут из рук орехи. Невероятно, чтобы кто-нибудь вздумал поймать белочку. Самый отъявленный хулиган не сделает этого. Это в крови англичан, любовь к животным, любовь трогательная, больше чем к людям. Любовь к цветам и животным, может быть то первое, с чего надо начинать облагораживание душ. Когда наш бывший мужик перестанет захлестывать с яростью свою несчастную лошаденку, бить ее сапогом в живот, тогда мы уже на рельсах к великому будущему.

Я отвожу англичанам первое место, но все время имею в виду, что там дальше, это первое место перейдет к нам русским... Наверно перейдет, никакого сомнения нет — вопрос только как скоро.

Некоторые музеи только недавно открыты: все еще были заняты войной.

Война прошла, но организм нашей планеты еще надолго отравлен ее ядами и смрад еще стоит над землей...

Совсем новый отдел открыт в анатомическом музее при королевском медицинском колледже. Завоевания медицины на войне. Удивительнейшие операции. Зашивание простреленного сердца, свинчивание сломанных костей винтами. Но особенно поразительны пластические операции лица. Раненому, у которого снарядом снесло все лицо, сделали 48 операций и в конце концов вылепили ему новое лицо... Вырезывали куски мяса из лба, с груди, и приращивали это постепенно на лицо, вернее, на то место, где раньше было лицо. Человек вынес ряд этих мучительных операций и оказался вновь с лицом, хотя совершенно не похожим на то, которое было у него раньше. Челюсти были тоже разбиты в куски — их предварительно сшили золотой проволокой, добавили недостающие части.

Меня интересовали в музеях русские отделы. Они печально бедны, беднее всех других.

Где есть что-либо русское, оно отнесено в отделы восточных искусств, в восточный мир. Русские иконы стоят рядом с изображениями Будды и Кванон, или же с атрибутами культа Зороастра.

В хранилище манускриптов, в Британском музее, недавно стало доступным для публики знаменитое собрание лорда Керзона — собрание восточных манускриптов. В числе их есть удивительное евангелие XIV в. на древнеславянском языке. Это тот же язык, которому нас учили в четвертом классе гимназии.

Это знаменитое евангелие отнесено к Болгарии.

Русские памятники древней письменности распаханы по разным другим народам и России ничего не осталось.

В отделе графики Британского музея, в русском отделе я наткнулся на курьезы. Администрация вняла моим заявлениям и исправила каталог. Классификацией занимался «ориенталист», не знающий русского языка. Под буквами «Ф» значился художник «Федор», — в действительности это было, понятно, его имя, а фамилию не разобрали... Фамилии вносились в каталог по разному правописанию, один и тот же гравер распадался на три-четыре. Был, например, Пожалостин, Поялостин, Поджалостин — все одно и то же лицо, а здесь о каждом из них были особые биографические данные. Зато Чемесова, лучшего русского гравера XVIII в., совершенно не имеется. Ни слова о нем. Ни одной русской цветной гравюры; ни одной цветной акватинты или меццотинты. Хотя мало, но они все-таки были в России.

В этой области нам необходим еще новый Ровинский: собрать, систематизировать, напомнить, что у нас было... Хотя и такое маленькое в сравнении со здешним, с французским, итальянским, германским...

* * *

Англия — страна тишины.

Всем известна тишина лондонского воскресенья. Только утром иногда слышны нескладные оркестры «Армии спасения», да звонят церковные колокола. Но их мелодичный звон не нарушает тишину, а точно подчеркивает ее.

Театры закрыты, даже зоологический сад закрыт.

Мертвый город.

В Шотландии в воскресенье даже смеяться громко неприлично.

После полудня говорят речи в Гайд-парке, но там тоже нет шума.

Когдаходишь в лифт подземной дороги — в большую комнату, где помещается больше ста человек, — слышно, как летает муха и как у кого-то бурчит в животе...

Это осталось в Лондоне.

* * *

Англия — страна молчания. Но это верно только отчасти.

В Шанхае у меня была учительница английского языка — сухая, сварливая и пожилая англичанка. Она все время говорила громким, скрипучим голосом. Муж писал из Англии, что он не советует ей возвращаться, так как в Англии теперь очень плохо. Я не удивлялся ему: другой на его месте стал бы уверять, что Англия вообще провалилась сквозь землю и что на месте Англии осталась дыра — лишь бы она не приехала...

Но зато какие есть и красавицы среди англичанок! Вспомните хотя бы лэди Гамильтон...

Женщины в 50 лет считают себя в Англии совсем молодыми, а в сорок — еще ребенком.

— Как она выходит замуж такой молодой?! Ей всего 42 года.

А если венчается пара, где обоим вместе 140 лет, это никого не удивляет:

— Да, уже не молодые, — говорят англичанки. Но никто не скажет — старые.

Пифагор заставлял своих учеников молчать пять лет для того, чтобы они научились думать. Кто не выдерживал, тот не мог думать.

Недавно в английском суде по просьбе мужа был дан развод, так как совместная жизнь была невозможна, столько жена говорила,

— Она заговорит меня до смерти, — серьезно говорил муж на суде.

Даже в самой молчаливой Англии женщины говорят в десять раз больше, чем следовало бы.

В мире животных гораздо крикливее и шумливее самец — у людей наоборот. Это пропущено Дарвиным в его биологических исследованиях.

* * *

Аукционы существуют во всех больших городах, но нигде нет ничего подобного аукционам Лондона. В одном Лондоне аукционов больше, чем во всем остальном мире. Вероятно так же, как персидских ковров, относительно которых кто-то подсчитал, что в Лондоне их больше половины всего земного запаса. Еще кто-то другой подсчитал, что люди, живущие в Лондоне, в параллелограмме между Гайд-парком, Пикадилли, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит — владеют имуществом полмира. Может быть подсчеты и гиперболичны, но нечто вроде этого есть.

На аукционе в Лондоне можно купить решительно все, начиная от рудников, имения, дома, и кончая произведениями искусства, самыми дорогими, самыми редкими «униками», и породистыми курами и старым платьем.

Во всех других городах успешному развитию аукционов мешает то, что маклаки, торговцы-скупщики данной специальности, сговариваются между собою и покупают по пониженной стоимости: один не набавляет против другого, а платит ему маленькое отступное. В Лондоне такие «блоки» невозможны. Лондон слишком велик для этого, сюда стекаются покупатели со всех концов света и всем сговориться нельзя. На интересные аукционы приезжают с континента, из Нью-Йорка, из Буэнос-Айреса.

* * *

Если развернуть ежедневно «Times» или «Daily Telegraph» там есть табличка аукционов на данный день. Это — целый столбец мелкого шрифта, и каждый аукцион занимает одну строчку. И на каждом аукционе продаются сотни номеров.

Есть десятки больших аукционных зал; некоторые из них существуют 100—150 лет. В конторе висит старая гравюра: «Аукционный зал такой-то в 1772 г.». И зала осталась та же самая, их зала, в которой они торгуют ежедневно и посейчас.

Самая знаменитая зала — Кристи. Туда посылают самые дорогие предметы искусства, картины, гравюры, редкостную старинную мебель, старое серебро. Обыкновенных вещей Кристи не берет, и если вещь попала на аукцион к Кристи, она уже пропущена через критику экспертов и за нее кое-что порядочное уже выручится. Для самого покупателя продажа вещей у Кристи есть уже своего рода аттеста-

ция: дорожа своей репутацией, Кристи не берет всякую дрянь и подделки. Ошибки бывают, но редко.

* * *

Я был на аукционе лорда Гамильтона. Одного из тех самых Гамильтонов, которые всегда отличались эксцентричностью; такая семья, как Гульды в Америке. Ряд поколений Гамильтонов увлекался боксом и в известном романе Бернарда Шоу «Кашель Байрон», выведен Гамильтон, покровительствующий молодому боксеру, который сам потом становится миллионером, женившись на самой интересной и самой капризной аристократке Англии...

На этом аукционе продавалось и несколько сот портретов знаменитых боксеров. Но я хочу сказать о другом. Был, между прочим, небольшой стол-бюро, с опускающей крышкой — *secretaire*. Действительно превосходной работы, работы XVIII в., удивительная инкрустация и бронза. Я долго смотрел на него и трогал руками бронзу. (Известно, что бронзу легче всего отличить хорошую, потрогавши руками, хотя бы зажмуривши глаза.) Бронза была удивительная.

Я прикидывал, сколько за него выручат и, зная страшные цены на редкую мебель, считал, что вероятно дойдут до тысячи гиней.

Самое большое, что я предполагал — это 1200 гиней. Бюро было продано за 6800 гиней! Это по прежним золотым рублям — 70 тысяч рублей. И купил торговец, который на этой цене еще заработает.

* * *

В большой коллекции картин продавалось полотно Ромнея — большой портрет двух девочек, дочерей какого-то лорда. Первая цена была предложена 1000 гиней; набавляя по 100, потом по 200, потом по 500, — дошли до цены 50 тысяч гиней! Произошел некоторый перерыв, минуты две аукционист все не опускал молоточка. Кто-то добавил еще тысячу, потом еще тысячу и цена дошла до 58.000 гиней!.. Я ушам не верил.

Однако на этот раз, как я узнал потом, продажа была фиктивная. Владелец картины, тоже английский лорд, рассчитывал, что американцы непременно пожелают купить этого Ромнея и назначил минимум 60.000 гиней! Американцы действительно были на аукционе, но до этой сумасшедшей цены не дошли.

* * *

Существует убеждение, что если хотят приобрести для Америки какой-нибудь художественный уник, то платят что угодно. Во многих случаях так и было. В Лондоне есть крупные торговцы художественными предметами, которые специально скупают их в Европе, по любой цене, лишь бы прима-примиссима. Везут в Америку и там

продают в своих магазинах по еще более колоссальным ценам, платя еще 40 проц. ввозной пошлины. Но это, разумеется, верно только для действительных «уник», для вещей, у которых есть «паспорт», подлинность которых неоспорима. Если за Тициана, подлинного, но без «паспорта», то есть без указания в каких замках он провисел столетия и от кого и к кому переходил — если за такого заплатят 500 гиней, то за того же Тициана с «паспортом» дадут 3.000. Это и действительно очень важно. Самые большие знатоки могут ошибаться. А если известно, что вещь стояла в таком-то замке, висела на той-то стене, на том-то крюке триста лет — то сомнений не может быть.

Помню, как в отделе графики Кенсингтонского музея я рассматривал папку цветных гравюр. Одна была безусловно новая репродукция, а не подлинная старая гравюра. К этому мнению склонялся сам хранитель гравюр. Но когда справились в каталоге, то оказалось, что она лежит в портфелях музея уже больше ста лет. Сомнений в подлинности не могло быть!..

* * *

Есть люди, — помимо торговцев подержанными вещами и антиквариетов — просто любители, которые проводят целые дни в помещении аукционов. Купить ценный редкий фарфор на аукционе фарфора за бесценок почти невозможно: всегда найдутся несколько специалистов, которые не пропустят вещи действительно стоящей. Но бывает, что где-нибудь в провинции распродается обстановка дома. Там мебель, вещи домашнего обихода, картины, но фарфоровых вещей 3—4 номера, и специалист по фарфору туда смотреть не поедет, ему время стоит дороже. На таком аукционе можно купить редкую фарфоровую вещь за бесценок. Можно купить партию фарфора, все что сложено в большом ящике — за полтора фунта, а потом одна маленькая вещица из этой груды может быть продана за 10 фунтов. Но нужно потратить много времени, на десяти аукционах впустую, пока попадется случай.

Есть любители, которые охотятся на такие вещи. Для них главное — не вопрос выгоды, а своего рода спорт. Они проезжают по железным дорогам и в автомобилях 30 фунтов и потом на маленькой вещице при перепродаже заработают 10 и будут очень довольны своей удачей. Я не говорю о коллекционерах, которые собирают для себя, — те вообще с расходами мало считаются: из-за какой-нибудь Вустерской чашечки такого рисунка, которого нет ни в одном музее, он поедет и в глушь Ирландии и даже на континент.

* * *

Но мало осталось уже такого, чего нет в английских музеях. В особенности из английского фарфора — все есть. Англичане особенно любят свое, английское. Это, — у каждого народа, но у них в осо-

бенности. Превосходный фарфор с континента, старый, подлинный, ценится много дешевле, чем какая-нибудь подлинная вещь своих английских заводов, хотя этот английский фарфор много хуже. Здешняя глина дает слишком мягкую массу: английская чашка бьется при малейшем толчке. С технической точки зрения этот фарфор очень плох, но с точки зрения художественно-исторической, для англичан, он имеет разумеется особую ценность.

* * *

Особенно интересны и удивительны аукционы книг. Есть аукционы, где книги продают массами, целыми ящиками, и тот, кто покупает, даже не видит, что там в ящике — некогда терять времени и смотреть. Такой ящик можно купить за 10 шилингов, штук двести книг.

Есть следующий разряд аукционов, где книги уже каталогированы, каждая уже поименована и продают их по одной штуке или по несколько в номере. Тут цены доходят до десятков фунтов за номер.

Но есть аукционы первого разряда, вроде Сотбай на Бонд-стрит. Сюда берут книги только подлинно старые, не моложе XVIII столетия. Здесь продаются книжные уники. Об этих аукционах публикуется не только в английских газетах и журналах, а по всему миру, и сюда едут коллекционеры из Парижа, Нью-Йорка, из Бостона. Громадных цен достигают книги XV столетия — начала книгопечатания. Особенно Кэкстоны. Кэкстон — был первый английский печатник, современник Гутенберга на континенте. Подлинные Кэкстоны середины XV столетия продаются по тысяче гиней маленький полуживой томик. Экземпляр известной библии Мазарини был продан при мне за 5200 гиней. Были случаи, когда старые Кэкстоны продавались по 8.000 гиней! Одна маленькая книжка!! Недавно маленький томик Шекспира — одна из его трагедий, первое издание, номинальной цены 2 пенса — продан за 3.500 гиней... О таких книгах, прежде их продажи, газеты пишут целые статьи, им иногда посвящены в свою очередь целые книги...

* * *

Каталоги аукционов издаются как роскошные издания, с воспроизведением факсимиле отдельных страниц, переплета, гравюр, если они есть в книге.

Собирание самих каталогов книжных аукционов тоже своего рода коллекционерство, и коллекции таких каталогов продаются за порядочные суммы.

Есть журналы, посвященные специально книжным аукционам. Там регистрируются точно все цены, вырученные за книги, и в Европе и в Америке.

Сравнивая цены, видишь, как неизменно и правильно они растут из десятилетия в десятилетие. Торговцы смело платят шальные цены.

Разумеется, такие редкие книги известны наперечет; каждому коллекционеру известно сколько всего копий на свете — две, пять, восемь; в каких музеях или частных коллекциях они находятся, и если вдруг на рынке появляется еще новая копия, то это — событие. Доискиваются откуда она взялась, и после долгой экспертизы специалистов устанавливается ее подлинность или фальшивость.

* * *

Даже не особенно любя книги, можно ходить на эти аукционы, чтобы наблюдать за людьми, которые охотятся на них. Это — почти мания, нежнейшая любовь, большая чем к ребенку, к любимому существу. Иной раз полжизни коллекционер мечтает именно о данном томике, и тот день, когда он его приобрел, отмечается в его жизни как величайшее событие.

Недавно вышло несколько томов воспоминаний таких коллекционеров — одновременно и в Англии, и в Америке. Они рассказывают о своих переживаниях. Совсем особенный мир переживаний. И несомненно, в такие переживания можно уйти настолько, что вся остальная жизнь мира отодвинется на задний план.

О книжных аукционах Лондона можно написать целый том и все будет еще материал. Это необычайно сложная организация, сложившаяся веками.

* * *

На аукционах, по этим часто шальным ценам, можно продать только уник. Вещи среднего художественного достоинства идут часто за бесценок, и в Лондоне их можно купить дешевле, чем где-либо.

Англия удивительна тем, что какую бы мудреную вещь ни привезти туда, всегда найдутся специалисты, которые оценят ее действительную стоимость. Специализация дошла тут до максимума. Специалисту не нужно справляться в подсобных изданиях и справочниках, — он только мельком взглянет на вещь и знает чего она стоит. Но за то он понимает только в своей узкоограниченной области. Может быть, он знает только английский фарфор и совсем не понимает в континентальном фарфоре. Он знает только английский пьютер (pewter — особый сплав, из которого в Англии в прошлые века делали посуду), но не знает никакой другой металлической посуды, и если ему попадается кружка из меди, вместо пьютера, он отставит ее:

— Я в этом не понимаю.

Есть специалисты манускриптов, но они мало понимают в новых книгах и даже в старых печатных книгах. Их дело только писанный манускрипт.

А другой специалист только по иллюминированным манускриптам, украшенным цветными виньетками и рисунками. Но зато его мнение решающе. Ему нужно только взглянуть на манускрипт, чтобы сказать, что это итальянская работа XIV века. Он свой век просидел на манускрипте и мир для него наполовину, если не больше, состоит из манускриптов...

Обыкновенное серебро продается на аукционах теперь, когда сильно упало, по 3—4 шиллинга унция, а старое XVII и начала XVIII ст. — по-прежнему расценивается гиней за унцию, 30 шиллингов за унцию, и выше.

Понизились цены на обыкновенные вещи, но цена на предметы настоящего искусства или старины не упала.

У меня было несколько десятков старинных монет, золотых и серебряных; большинство настолько стертых, что еле виден был рисунок чеканки. Я хотел разобраться сам. Рылся в нумизматических справочниках, но ничего не добился. Пошел в аукционную залу, где специально продают монеты. Попросил их специалиста посмотреть. Тот высыпал монеты на стол, посмотрел несколько секунд, отодвинул две из них:

— Это эю 1720 г. ... Это гиней, чеканенная специально для Гвианы в 1690 г. ... Эта стоит два фунта, эта стоит четыре с половиной — пять фунтов. Остальное «раббиш» (дрянь)...

Другой раз я повез несколько десятков фарфоровых вещиц, которые я считал редкими. Письменно назначили свидание с экспертом по фарфору: сразу к нему не попадешь. Специальный рабочий раскрыл чемодан, выставил все на стол. Пришел специалист. Минуту он смотрел на все расставленные вещицы, потом взял в руки три из них, одну поставил обратно, одну долго рассматривал на свет и под увеличительным стеклом (но как долго? — две-три минуты) и потом вынес приговор:

— Это настоящая китайская тарелочка для пикулей династии такой-то; за нее можно выручить фунтов двадцать... Это старая фигурка Бау (название английского фарфора). За нее дадут фунтов пять... Остальное ничего не стоит...

Иначе говоря, остальное они не могут принять на свой аукцион, ибо берут только ценные вещи. К стыду моему должен сознаться, что то, что я считал особенно ценным — то было забраковано как не ценное...

Специалисты ошибаются редко. Один раз вещь может быть продана немного дешевле, другой — дороже, но обыкновенно за нее будет получено то, чего она действительно стоит.

Нередко на аукционе сто номеров подряд идут за шилинги, а потом вдруг 101-й — восемьсот фунтов! хотя все эти вещи стояли вместе, и эта 800-фунтовая ничем не отличалась, для глаза неспециалиста.

Раньше, говорят, на лондонских аукционах проделывались всякие фокусы, всякие сговоры и комбинации. Постепенно против фокусов явились другие фокусы и в конце концов стало очевидным, что единственно верный путь и самый выгодный — продавать честно. И часто честная продажа дает больше выручки, чем подтасованная. Подтасовка тотчас учитывается и перестают набавлять цену... Разумеется, нельзя идти на лондонский аукцион сразу приехавши из Бугульмы или даже из Тулы...

У того же Кристи. Аукцион фарфора и бронзы.

Темно-синие, точно полинялые, старые китайские вазы, то что знатоки зовут «mazarin blue».

Высокие, непривычной формы, как вытянутые, удлиненные амфоры. Сразу кажется, что слишком вытянуто, некрасиво, но когда глаз немного привыкает, в этой вытянутости видит особую прелесть... Совсем простые крышечки, в виде правильных гладких полшарий с шариками, тоже простыми. Благородная утонченная простота. Обделаны тяжелой французской бронзой... Кстати сказать: в Англии никогда бронзы не делали, разве какую-нибудь рыночную, штампованную, да и то только в последнее время. Серебро, медь, пьютер, фарфор, стекло, кожаные кружки и жбаны, но бронзовых не было.

Бронза вычурная, но тоже красивая: удивительный такт и вкус в этой вычурности.

Китайский старый «поттери», «горшок», и французская бронза XVIII века. Эта комбинация всегда красива, если со вкусом. Новейшая доделка к старому портит обыкновенно, а здесь наоборот — одно подчеркивает прелесть другого.

Две Леды в виде кариатид, и около них лебеди обхватили крыльями верх вазы, изогнули шеи там, где должна быть ручка вазы, и целуют Лед. Клюв опущен вертикально сверху, к чувственной улыбке Леды, и еле-еле касается ее губ...

Выдуманно, но выдуманно так умно, с таким художественным чувством и вкусом, что не чувствуешь этой выдуманности и искусственности, точно так и должно быть...

Вазы были проданы за пятьсот с чем-то гиней. Чем исключительнее вещь, тем легче ее продать в Лондоне. Обыкновенную, «хорошую» вазу часто не купят, предложат цену слишком низкую — но если это что-нибудь исключительное, первоклассное, уник — тогда покупатель непременно найдется и цена будет неожиданно высокой. Всегда найдутся двое желающих, и станут набивать цену один против другого...

* * *

Японский товар дрянь. Все, что они делают в подражание европейскому искусству и промышленности, все дрянь непроходимая.

Единственное, что я нашел там совершенное, не превзойденное, оригинальное — это японская деревянная гравюра.

По всей Японии я лазил по музеям, лавчонкам, выставкам, частным коллекциям, чтобы изучить японскую гравюру. Но только поселившись в Лондоне, побывавши в здешних музеях и частных коллекциях, я увидел лучшие образцы этого искусства. Здесь они выбраны и отсортированы белым мозгом, европейским знанием, выбраны из массы хлама. Здесь эти гравюры кажутся несравним художественнее и ценнее для мирового единого искусства.

Сами творцы этих гравюр, своими желтыми мозгами, не отобрали бы как лучшее то, что отобрано в лондонские музеи. Этот отбор сделан белыми мозгами и может быть потому он и понятен больше белым мозгам...

Но все-таки, как бы то ни было, лучшие японские деревянные гравюры хранятся в Лондоне, а не в Токио или Киото.

Лучший японский лак тоже в Лондоне. И слоновая кость тоже.

Лондонские музеи самые богатые в мире, за малыми исключениями. Но все-таки хочется сказать: как бедны еще современные музеи, как далеки от того идеала, к которому нужно бы было подойти; как далеко им еще до той полноты и систематичности, какая нужна бы. Даже в самые богатые все покупается случайно, и случайно одна область, один период, одна школа оказываются представленными богато и полно, а другое бедно или совсем нет.

* * *

Каждый англичанин уверен, что самая умная книга в мире — Библия... Ни единого момента в этом не усомнится. Если указать ему на явный абсурд или противоречия в этой книге, он тотчас без доли сомнения ответит:

— Мы не так это понимаем... только потому это кажется абсурдно...

Конституцию может изменить какой-нибудь ирландский вопрос, но Библию ничто не изменит.

Крупные государственные деятели Англии и знаменитые ораторы всегда ссылаются в своих речах на Библию. Нигде Библия так много не цитируется, как в Англии. Самый спокойный и терпимый к мнению другого англичанин способен рассердиться, если при нем начать непочтительно отзываться о Библии. Это вошло в сознание людей с молоком матери и живет в душе каждого.

«Хартия Вольностей» Иоанна Безземеельного оказала меньше влияния на склад политической жизни Англии, нежели Библия. Есть люди неверующие, неходящие в церковь, но Библию они все-таки читают.

Я не помню, чтобы в русской журналистике встретился фельетон по поводу какой-нибудь главы Библии. К этому иногда подходил покойный В.В.Розанов, но и то очень издалека. В Англии очень часто попадаются фельетоны известных журналистов, разбирающих ту или иную главу из книг Ветхого Завета.

* * *

Английские спички. Есть восковые английские спички с красной головкой, которые чиркаются о подошву собственного ботинка — это второй сорт; а есть те же спички с коричневыми головками, для любителей, — те чиркаются обо что угодно и трещат при чиркании, что очень нравится любителям. А потом эти большие, толстые, солидные деревянные спички, звенящие, если потрясти в руке!.. Они по средствам только англичанам.

Даже в спичке англичанин хочет получить некоторое удовольствие.

Читал в берлинской газете заметку:

«На Унтер-ден-Линден гаванские сигары продаются по двести марок штука... И американцы из Адлона покупают целые коробки — 25 штук 5000 марок!..»

В Лондоне я часто разговаривал с хозяином маленькой курятной и рыбной лавки в нашем квартале. Он ходил всегда в жилете без пиджака, в переднике, с грязными руками, и постоянно с сигарой в зубах.

— Хорошая сигара, — сказал я как-то.

— Да... я дешевле полкороны не курю, — ответил он.

Это 145 марок! А у *Harrods'a* (лондонского Вертгейма — еще много больше) продают сигары по 7 шилингов штука и в день расходятся две-три коробки, поштучно...

* * *

В Лондоне всегда были грязные руки, но необычайно чистые цилиндры. Это осталось только наполовину — грязные руки. Сделан маникюр, по всем правилам, а руки сами грязные. При лондонской саже действительно трудно иметь чистые руки, — но тут это особен-

но подчеркнуто, известного рода спортивность. Чистью перчатки поверх грязных рук — это нередко...

* * *

В таверне «Белой Лошади» продается специальное виски. Еще у Диккенса упоминается эта таверна. Отсюда ходили дилижансы в Брайтон.

Есть таверна «Белая Лошадь» и есть виски «Белая Лошадь». Я познакомился с хозяином этой таверны и пришел к нему около 12-ти часов дня, когда он готовит свой знаменитый напиток. Ему принесли два больших ведра полных виски. Он вынул из шкафа большую грязную бутылку с чем-то вроде чернил, и влил полбутылки в одно ведро, полбутылки в другое. Потом большой метелкой размешал это все. Взял в стакан смесь, посмотрел на свет и сказал: «Well — хорошо...»

Эта прибавка к виски какой-то черной мерзости и есть секрет «Белой Лошади». Своими виски «Белая Лошадь» знаменита 180 лет.

— Что это в бутылке?

Он хитро улыбнулся, подумал и потом сказал неожиданно правду; правда была так проста, что никто в нее не поверит, не мог же быть так прост секрет «Белой Лошади»:

— Это просто краска для цвета... Когда виски темней, то выглядит крепче... всем нравится — хитро улыбнулся он.

Это секрет «Белой Лошади».

* * *

Небывалый в истории дипломатических отношений казус возник между Соединенными Штатами и Англией.

Как известно, в Америке действует закон, запрещающий всякие спиртные напитки.

Долго шла борьба за этот закон, но наконец он был проведен. Стремление к алкоголю, однако, не умерло. Оно живет в людях со времен библейского Ноя. Лот также был известный развратник и пьяница, однако, Бог пощадил его при гибели Содома и Гоморры.

Начались всякие злоупотребления и обходы. Начали пить одеколон, лаки, вежетали и брильянтины. Появилось тайное винокурение. Стали конфисковать частные винные погреба у более запасливых людей. Начались всякие кары, а алкоголь все-таки пьют потихоньку.

Теперь все предусмотрено и все запрещено, но все-таки пьют. Одним джинжер-эле́м или мороженым с содовой водой не прожить. По ночам снится доброе старое виски и бывшие коктейли. «Душа требует» и люди идут на преступление...

* * *

Закон о запрещении спиртных напитков коснулся и американских пароходов. На них уничтожены бары и иметь на борту спиртные напитки запрещено.

Это запрещение оказало колоссальное влияние на количество пассажиров: тогда как на английских пароходах всегда переполнено, американские стали ходить наполовину пустые. Американские пароходные компании взвыли.

Отменить такой закон нельзя пока даже и под давлением всемогущим миллиардеров, владельцев пароходных компаний. Хотя они все могут в Америке. И стали искать другой выход.

Высший американский суд разъяснил, что закон о запрещении иметь на борту спиртные напитки должен распространяться на все суда, входящие в американские порты.

Таким образом, всякий английский пароход, имеющий у себя на борту бар, или даже просто бутылку виски, при строгом толковании закона не может войти ни в один американский порт.

Американские пароходные компании обрадовались. Конкуренция устраняется. Но один из видных сенаторов предостерег от слишком строгого применения закона.

— Если мы запретим английскому пароходу входить в порты Америки, когда у него на борту имеется бутылка виски, то завтра английский парламент может издать закон, по которому ни один пароход, не имеющий на своем борту дюжины бутылок доброго виски, не может войти ни в один порт Англии!..

Сначала это приняли как «джок», шутку, но, подумавши, серьезные государственные деятели пришли к заключению, что такой ответный закон действительно возможен.

Дело осталось на мертвой точке.

В Англии тоже велась в последнее время сильная агитация за запрещение, но она встретила необычайно решительный отпор всех слоев населения. Д-р Джонсон, известный «пущифут», как зовут англичане непьющих¹, приехавший из Нью-Йорка в Лондон для пропаганды, уехал обратно без глаза. Выбили. И обещали выбить второй, если он еще раз приедет...

* * *

У нас в России в былое время, если нужно было произвести ремонт в доме, то звали какого-нибудь Петрушку или Тимошку и он заделывал дырки в полу, клеил обои, белил потолок, чинил замки, вставлял стекла...

В Англии мне нужно было перестлать ковер на лестнице. Для этого потребовалось пять разных специалистов: один снял ковер и отправил его на завод для выбивания к специалисту; третий специалист починил два медных прута; четвертый специалист вставил выпавшее из каменной ступеньки медное ушко. Когда я спросил того,

¹ «Пусси» — кошка, «фут» — нога; т.е. ходящий на кошачьих ножках, а кошки, как известно, боятся всего мокрого.

который чинил прутья, отчего он сам не починил ушко, он даже удивился — он работает только по меди, а ушко вставляется на свинце! Еще один специалист понадобился, чтобы зачинить ковер. Итого — снятие ковра, его чистка, починка двух прутьев, вставка ушка и постилка ковра на место, стоило мне 7 фунт. 10 шил. или на германские марки — около 9 тысяч.

Это в Англии называется специализация. Но зато действительно, если что-нибудь делают, то делают основательно. Перестилали недавно мостовую на Оксфорд-стрит. Бетон толщиной в полтора фута выламывали, потому что он в некоторых местах стал рыхлым. Это выламывание старого бетона стоило дороже новой торцовой мостовой, какая была у нас в Петербурге. Выломанный старый бетон отвозился и клался новый, сверх него торцы, пропитанные креозотом и поверх еще слой гудрона. Такая мостовая, при самой усиленной езде, будет стоять 50 лет. Но чего она стоит?

* * *

В Англии мало ограничений для иностранцев, почти совсем нет. Делай что хочешь, никто не мешает, городской не приходит. Но чужому, не англичанину, делать что-либо трудно, очень трудно, труднее чем где-либо.

Странно: ничто не мешает, никаких ограничений, а делать трудно?.. Сколько хотя бы русских, в последнее время, начинали, затрачивали до последнего и прогорали. И как будто мысль, расчет, были правильны...

Почему?

Трудно понять почему. Какое-то скрытое противодействие; молчаливое, никем не высказанное, что-то вроде бойкота...

Это с одной стороны.

С другой — давление больших капиталов, капиталов в фунтах. Самая большая единица в мире — фунт, и будто в таких единицах деньги сильнее давят?!.. Давление традиций, давление инерции: конкуренты торгуют уже сто лет, полтораста лет, триста лет. Как будто все в новом предприятии лучше, а идут по инерции к старому: через маленькие двери идут во второй двор, во второй этаж, и проходят мимо шикарного зеркального входа с улицы...

Когда знаменитому мошеннику Америки Уолингфорду, надувавшему всех остальных мошенников Америки, нужен был «честный адвокат», он шел к такому, где нет большой медной вывески, контора с протертой и покривившейся мебелью и с закопченными стенами. Этому он научился от англичан...

В Англии надо, чтобы дед и прадед торговали этим же товаром, на этой же улице и даже в этом же доме — тогда будут покупать. Иначе пройдут мимо.

* * *

Сейчас я читал отчет фирмы «Братья Леве́р» (Lever Brothers Ltd.) за 1921 год, год необычайно тяжелый для всех предприятий Англии. Это они делают знаменитое мыло «Pears» и «Sunlight».

«Братья Леве́р» получили в 1921 году прибыли 4 миллиона фунтов!

«Основано в 1747 году», говорится в проспектах «Братьев Леве́р».

Хорошенький деловой опыт, достаточная образовалась инерция; достаточное протекло время, чтобы накопить «запасные», «резервные», «чрезвычайные», «экстраординарные» и еще какие угодно капиталы.

Чтобы делать свое мыло, «Братья Леве́р» завели громыдные плантации кокосовых пальм в Бельгийском Конго, в Нигерии и других колониях Западной Африки, даже на Соломоновых островах, у каннибалов...

Попробуйте конкурировать с таким делом.

* * *

Или вот еще другое: маленькие общедоступные ресторанчики «Lyons»... Самая дешевая еда в Лондоне у Лайонса. В среднем входящий в ресторан тратит меньше шиллинга. Мелочная торговля! Но по обороту, по получаемой прибыли, по совершенству организации Лайонс одно из лучших дел в мире...

Ресторанчиков у Лайонса больше тысячи. Везде одна отделка, белыми изразцами, один шрифт, одна форма у подающих девушек, одинаковые мраморные столы, одинаковая прочая мебель... Все ресторанчики на самых лучших, самых бойких местах — в Лондоне, в Манчестере, в Ливерпуле, Глазго. Много собственных домов. Громадные пекарни, прачечные. Свои склады чая, свои холодильники, автомобили, вагоны, специальные свои пароходы, чтобы возить мясо из Австралии или Канады, или яйца из Египта, или чай со своих плантаций на Цейлоне...

Колоссальные лондонские пекарни устроены так, что в одном конце сыплют муку, а в другом выходят готовые булочки: рука человека не прикасается ни разу, все машина, машина точно знает, когда булочка готова и надо вынимать из печи.

Организация контроля в этом сложнейшем деле считается совершеннейшей в мире: говорят, что если из парохода яиц одно будет раздавлено, то директор фирмы точно будет знать, когда и где оно раздавлено и кто виноват в этом...

* * *

Так во всем в Англии. Везде сидят какие-нибудь братья Леве́р или Лайонс и они дают маленькое предприятие, даже не заботясь об

этом, автоматически. И иностранное в особенности — тоже автоматически.

И все-таки непонятно.

В Америке тоже давление чудовищных глыб капитала, но там чужой устраивается значительно легче...

Японцы в последнее время выжимали от себя иностранцев. В Японии велся открытый бойкот всякого не японского дела. Выжали всех. Кроме англичан...

* * *

Жизнь в Германии много дешевле, чем во Франции или Англии, но разумеется иная жизнь.

Немцы жестоко заплатились. Французы настойчиво и упорно будут брать все, что можно взять. Опять души людей будут заряжаться враждой и, как лейденские банки, будут готовы к разряду. И опять этот разряд выразится в виде войны, войны еще более страшной. Если не одумаются. Око за око, возмездие за возмездие — и так без конца...

Опомнитесь люди, опомнитесь более высокие духом.

Греческий философ Плотин утверждал, что каждое зло, неизбежно и неумолимо, помимо нашей воли, отплачено должно быть таким же злом: это необходимо для равновесия мировой справедливости, за этим следит неусыпно Адрастея, Немезида. И выводы приводили к абсурдному. Но после Плотина был еврейский философ Иисус Христос, более великий и мудрый, и он говорил обратное.

Недавно профессора Оксфордского университета написали немецким ученым письмо, в котором протягивают им руку мира и предлагают опять работать вместе на прогресс человечества. Какую бурю негодования вызвало это письмо в английской печати!.. Безумные люди, они не понимают, что нужно остановиться наконец, и что остановиться должен первым тот, кто считает себя более культурным, более высокого духа.

1922 г.

Отрывки из «Повести в письмах», которую скучно кончить

...В море на корабле, когда мы проходили Па-де-Калэ, Ла-Манш, шли мимо берегов Голландии, матросы мне много рассказывали, как гибли здесь в Великую войну корабли, как плескались здесь субмарины, как умирали здесь люди, на каждую квадратную морскую милю здесь приходилось три погибших морских корабля, — можно было бы построить прекраснейшие огромнейшие города, оторвать у пустыни Сахару на те деньги, на тот человеческий труд, который — в жутком морском просторе, в страшной смерти матросов — ушел здесь под воду. Здесь крепко гуляла смерть.

А в Англии, в каждом поселке, на каждой площади, на каждом косяке церковных дверей, на памятниках и могилах, и на скорбных листах приходов — десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч скорбных имен погибших в последнюю «великую» войну. На их могилах всегда живые цветы, — эти цветы принесли матери, отцы, невесты. Здесь горько бродила смерть, здесь крепко гуляло горе.

Смерть всегда вяжет с прошлым, с веками: века ушедшие всегда связаны со смертью, с навозной смертью, пусть прекрасной, века впереди всегда связаны с жизнью, пусть я не проживу до них, пусть я проживу смрадно, оставшись навозом. — В Англии на кладбищах, как в Лондоне, так и где-нибудь в Борнемусе, в Файгате, на кладбищенских намогильных белых камнях, для всех одинаковых (точно такой же камень и на могиле Маркса), на деревенских могилах высечены даты смертей, хранящие память об отошедших. — 1423, 1517, 1398-ой... — О могиле Маркса лишь маленькое словечко: на могиле растет самая настоящая наша русская, с суходолов, кашка. — И еще — в канонном Лондоне, канонных англичан, должно быть, очень коробят, — ведь англичане немзыкальная нация, — музыканты на перекрестках, скрипаки, флейтисты, органщики, — очень коробят художники на тротуарах, на асфальте рисующие картины, со шляпой вверх дном на панели, — понятно ли им, что клоуны и акробаты на «сэркусах» — страшнее могил?

В древнейшем европейском университетском городе, в древнейшем монастырском городе Англии, я пережил строгую минуту гордости за человечество, гордости, что я человек, что нами, людьми, так много сделано. Это мне трудно сейчас передать. Это было в древнем Оксфорде. Моя спутница, жена английского профессора мистера Николл, английская писательница, миссис Жозефина Калина, бывшая студентка Оксфорда, перед вечером, после дня осмот-

ров, привела меня на башню Кэмры, оксфордской библиотеки и музея, на крышу высокой средневековой башни, ставшей над городом, над тишиной колледжей и буднями улиц; туда мы лезли по круглой лестнице так же как лазили туда пятьсот лет назад; время шло к сумеркам, наверху над городом было очень тихо, и тогда на всех сорока девяти башнях колледжей зазвонили куранты, — это было без четверти четыре, и эти без четверти четыре — мне не забыть. Мне совершенно ясно показалось, что я не в этих теперешних днях, — я в пятнадцатом веке, — над городом, где глаз видел только средневековые крыши, башни и стены, неслась музыка, точно такая же — фактически — какой она была в тысяча четыреста девяносто четвертом году, ровно за четыреста лет до моего рождения; эта музыка была прекрасна; я не слышал ее на улицах города, за шумихой улиц, тэкси, бэссов и трамваев, — здесь над городом была только она одна. — Да, человек много сделал, если четыреста лет назад была такая музыка. Да, — но эта музыка не случайна в Англии, как не случайно то, что английский парламент, первый в мире, вот уже много веков заседает в монастырском помещении — в Вестминстерском Аббатстве...

...Оксфорд, Кэмбридж — университетские города. И до сих пор вокруг каждого колледжа монастырская, средневеково-крепостная стена из серого камня; там за стеной, в дальней стороне от главных ворот — собор, и имена колледжей: — «Колледж св. Мадлэны», «Колледж Христовой Церкви», «Колледж св. Мартына», «Колледж св. Джона», — должно быть, отсюда пошло — «храм науки». Колледж — готика; посреди двор, обнесенный вокруг колоннами, под колоннами гробницы, плиты гробниц — пол, под колоннами ходы в аудитории, в трапезные (где профессора и студенты вместе «ленчат»), в библиотеку, и в читальной огромный камин, такой, что в него можно сразу положить пол нашей русской избы, у камина — кресла, в креслах — студенты в студенческих мантиях, как пятьсот лет назад, как на стенах на картинах от поза-позапрошлого века, где изображен потолок в готических сводах — этой же самой читальни; под колоннами — ходы в келии студентов; под колоннами ход, маленький, потаенный, в парк, где пруды с лодками, с черноклювыми белыми и красноклювыми черными лебедями, несущими грацию и тишину, — где поляны для отдыха, площадки для тэнниса, для крикета, для голфа, — где тенистые аллеи для размышлений над книгой и наукой... На соборной башне бьют куранты, на соборных скамьях внутри пред алтарем — у каждого студента и профессора — свое место, — а в парке цветут рододэндроны лиловым цветом и можно по пруду поплавать на лодке...

Миссис Николл и я, мы завтракали в ресторане, который называется «Старая комната дуба» и в котором потолок, стены, полы, скамьи — вот уже много сотен лет — из дуба. Потом мы бродили по колледжам... Шэлли умер — утонул — где-то в Италии, он был здесь студентом, — вот тема рассказа о прекрасной провинции — в Бод-

лэн-либрари, в библиотеке Бодлена, под стеклом хранится гитара с оборванной струной; на этой гитаре Шэлли играл — и пел под гитару — Марии, его первой любви, здесь в Оксфорде, когда был студентом; — там дальше, за поворотом залы висел и портрет Марии, как раз против портрета Шэлли, — она была прекрасна своей молодостью, гордыми губами, волосами, как рожь, скромным до чертей взором; так вот, она не любила Шэлли, она любила его друга и отдала ему свою жизнь, — и этот старый друг, когда состарился и когда умер Шэлли, подарил библиотеке старую гитару Шэлли. За окнами библиотеки, как в студенчестве Шэлли, должны были быть — пруды, черные, красноклювые лебеди на прудах, Мэри, зеленые лужайки и тихие аллеи... В колледже св. Мадлены, там на лугу, паслись прирученные олени и летали фазаны; мы сели на скамейку над ручьем, где любил сидеть Адиссон, покурить и отдохнуть...

...Вспомните русское сельское кладбище, — кресты на нем не живут больше десяти лет; вспомните городское, губернское, столичное наше кладбище, — могилы на нем не живут больше двадцати лет, ведь наши исторические имена свои могилы хранят — ну, от начала прошлого века. В Англии, на сельском кладбище — могилы хранят даты четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого столетий. Спросите английского фермера, клэрка, рабочего, кто из его предков жил в тысяча пятьсот сорок пятом году, как его звали, как он прожил свою жизнь и умер, и где его могила? — он вам расскажет, — он это знает так же, как историю своего народа, — он знает историю йоркширских свиней, если он фермер, как и полагается грамотному сельскому хозяину, и, конечно, он лучше свиной должен знать историю своего рода...

...В Англии я не видел ни разу проселков, т.е. таких путей, которые состоят из двух колеи на грунте да пыли летом, да грязи по осени, — я много сотен миль поколесил по Англии вдоль и поперек, и поездом и автомобилем, — и я заметил, что, если в лесу начинаются разработки, то первым делом туда прокладывают асфальтовое шоссе и потом уже едут в лес, — я не видел в Англии не асфальтового шоссе. В Англии на тридцать два человека один мотор, и по шоссе мчат автомобили, мотоциклы... — каждый из нас знает цыганские обозы, и в Англии есть цыгане, так там они тащат по шоссе свои обозы на буксире огромным автомобилем, у руля которого сидит цыган же, курит трубку и напевает, а из шалашиков повозок торчат головы цыганят... — каждый из нас, должно быть, слышал об английских клубах, — так вот, к месту, чтоб дать понятие об английских клубах, — о клубе автомобилистов: — шоферу (а почти все англичане умеют править машиной) надо уметь только пустить машину и править ей; через каждые десять миль по всей Англии разбросаны починочные мастерские и гаражи клуба; через каждые две мили на дорогах стоят телефонные будки клуба; в каждом населенном месте есть маленькие гостиницы клуба и огромные гаражи; англичанин

выходит утром из дома, идет в ближайший гараж, где стоит его автомобиль, автомобиль его уже вычищен, залит, исправен; англичанин берет его и едет, ему надо съездить за двести миль от Лондона; по дороге у него случилась порча; он оставляет автомобиль, идет к ближайшей будке, где телефон, звонит в ближайший гараж и через десять минут у него специальный мастер чинит машину, — если же крупная порча, тогда автомобиль и его владельца везут в ближайший гараж, автомобиль там оставляется для починки, а ездуку дается запасный; по праздникам, когда особенно сильное движение, от клуба разъезжают по дорогам агенты, указывают о состоянии дороги, о загруженности ее, о скорости, с какой можно здесь ехать... — Шоссе обсажено с обеих сторон вьющимися растениями, в зелени, асфальт, как зеркало, кругом в зелени, в цветах уютные двух- или трехэтажные домики с палисадом, с дорожками около, обсыпанными щебнем и желтым песком, иной раз около дома старик с трубкой, с бакенами, в пиджаке, клетчатом шерстяном жилете, в желтых башмаках... На перекрестках дорог стоят под стальными крышами, как наши дорожные кресты, крашенные в густо-красное столбы, когда разглядишь их вблизи, узнаешь, что это — автоматические почтовые конторы, где можно опустить заказное письмо, простое, поговорить по телефону, а также купить спичек, шоколаду, сигаретку.

...Лондон!..

...Впервые я подъехал к Лондону — днем, в прилив по Темзе (Темза подвержена морским приливам и отливам, в приливы это мощная река, где идут корабли из океана, в отливы же она похожа на пересыхающую лужу). По Темзе мы шли целый день, эти шестьдесят верст, и по обеим сторонам реки все эти шестьдесят верст был один сплошной завод, доки, корпуса, краны, трубы, дым, гудки, плачи сирены, корабли, катера, парусники, опять доки, опять корпуса, опять краны, кидающие тысячи тонн грузов...

Лондон!.. Мы сошли с корабля где-то, где к самой воде пододвинулись огромные, глухие лабазы с железными воротами прямо к воде, эти лабазы пропахли морем, солью, столетьями, копотью, каждый стоял, как крепость. Нас провели их лабиринтами и вывели в узенький закоулок, где не должно быть солнца, а кольца, засовы, замки на безоконных домах говорили, что, должно быть, еще не изжиты пиратские времена, — я ведь тогда еще не знал, что десять веков английской цивилизации сдвинуты в Англии в одну плоскость, и четырнадцатый век — вот сегодня — там так же здравствует, как двадцатый... Там, в закоулке нас взял автомобиль — тэкси — и он выкинул нас на несколько минут в — по русским нашим масштабам — в двадцать второй век. Уже вечерело, и было ясно, что в Лондоне светлее ночью, чем днем, и было совершенно ясно, что я и мой спутник с первым делом должны угодить под эту вереницу экипажей, что запруживали улицу. После тишины русских полей и починок, после безлюдья морей показалось, что мы попали в очень веселый

праздник, в страшно нарядную толпу на подбор красивых людей, в музыку на углах, в повозки с цветами. Над домами, на крышах, на стенах, на площадях — мчались, плясали, кружились огни, всех цветов, всяческих скоростей: там извергался вулкан, очень угрожающе, потом он лопался и из него возникало расписание пароходов энного ллойда, лучшего в мире, — там, с крыши стекала кровь огня и из нее повисали соблазнительные слова «скотч-уиски», — там танцевал джентльмэн из огня с огненной тростью. Светили сотни фонарей. По улицам катились сотни тэкси, бэссов, трамваев, карров (извозчиков не было, они вышли из употребления, их заменил автомобиль, понемногу сокращаются и трамвайные линии, заменяясь тубами под землей и бэссами на улицах, — трамваи уже стареют); бэссы ходили на неуклюжих красных слонах, на спине которых — на крышах — сидело до полусотни людей; тэкси ходили на черных жучков-навозников; они шли — почти бесшумно — не по правой, как у нас, а по левой стороне; на перекрестках, по мановению руки бобби, огромного, точно иной породы, человека, они замирали, чтоб дать возможность перейти улицу пешеходам. По тротуарам сплошной массой шла толпа, мужчины в черном, в цилиндрах, женщины в белом, почти все в розовых шляпках; где-то на площади метались в воздухе живые акробаты; на углах у цветочных повозок играли музыканты на скрипках, на виолончелях, играл орган, кто-то пел... потом я узнал о могилах этих музык и пений, но в первый день это было необыкновенно. — Мы проезжали Стрэнд. На моменты захолаживала душу необыкновенная красота старины, двух соборов на Стрэнде, зданий судебных установлений в начале Флит-стрита, королевского университета, прекрасных серых громад, сохранивших себя от средневековья — сохранивших средневековье теперешним дням...

А потом —

автомобиль свернул в переулочек, где все дома точь-в-точь, как один, серые, трехэтажные, под черепицей, с палисадом у парадного; в переулочке была тишина, точно он в глухой провинции и лег спать с семи часов; прохожие были редки, и для русского глаза здесь скука легла и степенное спокойствие так же крепко, как у нас в Чухломе — пыль, — но пыли здесь не было, и асфальтовая улица казалась только что вымытой. — И через четверть часа мы были — в диккенсовской комнате, в отельчике, сохранившем свой быт не только от времен Диккенса, но и еще за двести лет до него (в этом отельчике до сих пор сохранился еще «пудр-кюзет», где в старину, чтобы не пылить всего жилья, пудрили парики... впрочем, и до сих пор, в особо торжественных случаях, на приеме у короля и в палате лордов в парламенте, люди появляются в париках). Нам дали две смежных комнаты, у которых была общая комната для умывания. В каждой комнате было по камину и по мягкому креслу у камина, а окна были квадратные, с частым переплетом рамы, причем в окнах было только по одной раме, эта рама поднималась и опускалась на шнурке, плотно не приставала и каждую ночь морозила нас, а мы недоумевали,

что делать: камин, что ли, топить среди ночи? — Впрочем, кровати были такие, что на них можно было спать как угодно — и вдоль, и поперек — и даже стоя, утопая в пуховиках. Кроме кровати в каждой комнате было по туалету, по огромному зеркалу, по гардеробу, по запасному (кроме того, что в умывальной комнате) умывальнику, — и больше ничего, — так что мы, запирая поплотнее дверь, планы Лондона раскладывали, как какие-то заговорщики, на полу — благо он был абсолютно чист; письменных принадлежностей в комнате не было, — чтобы пописать, надо было идти вниз, туда надо было идти и есть; в наших комнатах были веселенькие обои, располагающие ко сну... За решетчатым нашим оконцем был дворик, садик, и рядом фыкала маленькая какая-то фабричка...

...Лондон от одного края до другого, скажем, от заставы до заставы, имеет шестьдесят верст длины. В нем сейчас семь с половиной миллионов населения. По Лондону проложены свои, лондонские железные дороги, но главная его артерия — мэтрполитэны и тьюбы — проложены на десяток саженей под землей, куда людей сбрасывают сотнями лифтов и где подземные поезда мчат людей с головокружительной быстротой из конца в конец города, даже под Темзой — стало быть — под океанскими кораблями. В Лондоне есть улицы, которые невозможно перейти днем с одной стороны на другую — из-за запруженности их тэкси, бэссами, каррами, — и около Бэнка, у Тоттенгам-коорт-роада на Оксфорд-стрит, на Пикадилли-серкус сделаны проходы под землей, где пешеходы обходят улицу; у Чаринг-росса из-под земли и под землю идут движущиеся панели, — это тоже к тому, чтоб облегчить и ускорить движение. Город работает огромной турбиной капиталов, воли, труда, сметки, смертей, в городе десятки телефонных станций и теперь вводят новую систему телефонов, таких, когда голос собеседника слышен в комнате так же, как если бы этот человек был в комнате; над каждой крышей (особенно этим увлекаются рабочие кварталы) висят проволоки радио-телефона, и радио-телефон разбрасывает по домам политические новости, биржевые новости, сообщает о новых модах в Париже и Нью-Йорке, имя лошади, пришедшей первой к старту, рассказывает сказки детям, дает концерты и танцевальные вечера... В Сити, в древнейшей части города, где когда-то была крепость и названия хранят о ней память, — в Сити закоулки, тупички, старина многовековая, камень и железо, церковки спрятались, отодвинулись куда-то подальше, — по улицам, по тупичкам лавкой идет толпа черных пальто и цилиндров и на глаз видна ее непреклонная воля (от глагола «волить») и знание себе цены, — тяжелые грузы краны передают по крышам... впрочем здесь мало магазинов: Сити не торгует мелочью; — Сити — это торговая часть Лондона, здесь английские миллиарды и здесь показывают дом, где под ним в кладовых лежит английское золото, — вон маленький дом, в нем сохранилась еще круглая комната масонских заседаний, в нем сидит пятнадцать

джентльмэнов, все как один, за счетами и счетными книгами, все очень чопорно и мирно, как в монастыре, — это контора крупнейшего синдиката и какая-то четверть Австралии принадлежит ей; вон еще меньше контора, там только пять «благочестивых» человек, но это их чайные грузы несут корабли по всему свету и где-то в Индии и Китае и на Ново-Зеландских островах индусы, китайцы, малайцы — их рабы на чайных плантациях; вон тот домик шлет по всему свету библию и другие божественные книги... Сити — недавний хозяин, а теперь полу-хозяин капиталистического земного шара... Так вот, в четверть шестого Сити — четверть шестого вечера — совершенно пуст, мертв, безмолвен, — миллион людей бросился из него — тюбами, мэтрополитэнами, бэссами, каррами... Через полчаса половина этих людей, отпив «файф-клок-ти», будет играть в тэннис, в крикет, в голф, в полло... По костюму в Лондоне нельзя отличить рабочего от предпринимателя, хауз-кипершу от лэди, — все одеты одинаково, все высокие, очень стройные, сухолицые, ловкие, покойные, вежливые, внимательные, все как один, все как — как их жилые кварталы...

На тех улицах, где живут англичане, нет магазинов, только разве на углу «публик-хауз» (дословный перевод «публик-хауз» — публичный дом, но так в Англии называются кабаки), — и глазу здесь не на чем остановиться: по обеим сторонам заасфальченной улицы идут абсолютно одинаковые трехэтажные дома с дверью наружу, при чем на каждой двери от старины до сих пор обязательно висит вместо звонка медная колотушка; перед каждым домиком палисад, подрезанный в рост человека; дома абсолютно одинаковы, и, если не знать номера, ни за что не найдешь нужного дома, хоть был до этого в нем десять раз. И в каждом доме все одинаково; каждый дом — это отдельная квартира; в каждой квартире три этажа: внизу приемная комната с камином и «дедовским» креслом у камина, узенькая лестенка ведет во второй этаж, где столовая, и в третьем этаже — спальни с квадратными окошками... И в каждом доме безразлично, у капиталиста, рабочего, клерка — половина «девятого» «брэк-фест», когда каждый англичанин обязательно ест «порич» (овсяную кашу), «бэкен», а кофе пьет с маслом и вареньем из апельсиновых корок; потом англичанин идет на свой «бизнэс» (дело), каждый англичанин — «бизнес-мэн»; каждый житель Лондона связан с Сити; в час дня каждый англичанин сидит где-нибудь в лайнсе или кормер-хаузе — за завтраком, за «ленчем»; потом он опять работает — до пяти; в пять — «файф-клок-ти», день бизнэса закончен; до половины седьмого англичанин проводит время за спортом; половина седьмого он переодевается в ивнинг-дрэсс и приступает к торжественнейшему за день — к обеду, со всей семьей; нарядные, как в праздник, торжественные, как на рождество, они едят священнодейственно; после обеда Гайд-парк с «сюит-хартом», кинематограф, музыкхолл, кружка стаута в публик-хаузе на углу, роман с приключениями и благополучным и благодетельным (обязательно с благополучным,

где торжествует благодетель и, она находит «его!») концом, — кому что вздумается... Так вот живет многомиллионный город, хозяин полумира, сплошь из мышц, трижды в день — кушающий мясо, начинающий день на глаз русского — с ужина со сладким из апельсинов... А в четверть двенадцатого вечера — город пуст, совсем пуст, никого нет на улицах, все умирает на ночь, англичане легли спать, и все должно спать добродетельным сном, ночной жизни в Лондоне, как вообще в Англии, нет... только разве в Вест-Инде, Уайт-Чапле, в Доках да в Имбенкменде у Темзы и Вестминстера, — но этим вообще негде спать на этом свете, они поют днем на улицах, рисуют на асфальтах картины, акробатничают, музыканят, потому что «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет», — это сказано про англичан, где запрещено, не должно существовать нищенство, как, к слову, «не существует, не должна существовать» проституция...

Сити пустеет с четверть шестого, Лондон замирает на ночь с четверть двенадцатого. И еще Лондон пустеет — каждую субботу; с понедельника до часа дня субботы весь Лондон — в бизнесе, в делах, в труде, кипит огромная турбина человечески-нечеловеческих дел, воле, организаций, выполнений, — в субботу после ленча в час дня англичане едут на «вик-энд», конец недели, за город, из Лондона, на природу; одни едут к морю и будут там сидеть неподвижно на лонг-шэзе на пляже, жуя апельсины тысячи людей рядом, лонг-шэз в лонг-шэз, в молчании любуясь морем; другие едут во внутрь страны, там в гостиничке выполняют до умопомрачения все этикетки за табль-д-отом и играют в тэннис, а кругом их лес; третьи снимают на полтора суток лодку и плывут на ней по Темзе, всей семьей, вверх или вниз, на таких лодках есть шалашики от дождя, с собой забирается провизия и керосинка, чтоб готовить еду, на дно лодки навалены подушки и матрасы... таких лодок уходит из Лондона тысячи, они идут тучами, со стороны похоже на карнавал, но англичане не замечают друг друга и каждый наслаждается природой и семейной добродетелью самостоятельно, точно он в пустыне; четвертые, кто победнее, едут с юга Лондона на север, в парки, в Гайд-парк, в Нью-гардэнс, в Ричмонд: в Англии, в Лондоне, огромные парки, каждый на десяток квадратных верст, там разрешается ходить и лежать на траве, — и в праздники все они сплошь, так что трудно ходить, завалены людьми, семьями и парами, лежащими на траве под зонтиками...

...Лондон, как вся Англия, как каждый англичанин, живет традициями, консерватизмом, обычаями. Четырнадцатый век прет не только из Вестминстера и Сент-Пола, но и из каждого англичанина, с каждой улицы: пусть этот четырнадцатый век клином заехал в ребро теперешних дней, все равно, англичане сохраняют этот клин, и клиньев этих очень много, которым, казалось бы, давно надо умереть, но которые здравствуют. Отсюда два очень частых в Англии ощущения: лицемерности нации англичан (и это ощущение невер-

ное, ибо англичане очень правдивы и честны, только надо уловить их мироощущение) и — второе — какого-то омерщвления, осклероживания английской цивилизации, — когда англичанин обязательно — обязательно — начнет с тобой разговор словами о погоде и будет говорить только о бизнесе, когда можно годы дружить с англичанином, бывать у него запросто, и все же не узнаешь, во что он верует, как верует, чем живет, о чем мечтает, — когда ни одна женщина не узнает, что она стареет, ибо все, даже мать и отец будут всегда поздравлять ее с тем, что она помолодела и похорошела. Мне это пахло каким-то Китаем... В Англии все идет от Вестминстера и приводит к нему. Недаром парламент в Англии вот уже восемь веков помещается в аббатстве. Не случайно на колонне Нэльсона на Трафалгер-сквере высечено уже столетия: «соотечественники, собирайте деньги на борьбу с королем», и кинг Джордж мирно проезжает мимо этого изречения... Не случайно, должно быть, в Сити, рядом с конторой, правящей порядками в Индии, где до сих пор англичане погоняют туземцев резиновыми жгутами, где до сих пор офицеры туземных войск не смеют подать руки великобританскому солдату и должны встать перед ним, а в Лондоне, в университете, когда русская девушка-студентка стала работать по химии с индусом, ее вызвал профессор и спросил, как она, белолицая, осмелилась так третиловать свою кровь, что стала работать с желтокожим и не коммунистка ли она? — не случайно в Сити рядом с конторой, правящей порядками в Индии, контора миссионеров, рассылающих по всему миру библии и прочие божественные книги...

...Вестминстерское аббатство для Англии — то же, что московский Кремль для России. В Вестминстере коронуются короли, там заседает парламент, там похоронены все великие англичане (а англичане умеют чтить своих великих соотечественников), там похоронен Ньютон, там похоронен Адам Смит...

...В Вестминстерском аббатстве помещается английский парламент, древнейший в мире, — судьи на заседаниях королевского суда в Англии заседают до сих в тогах и париках, как шестьсот лет тому назад, — в Англии все держится на обычаях, там даже почти нет писанной конституции, в этой древнейшей парламентской стране. И вот, если на суде свидетелями выступают одна женщина и два мужчины, мужчины показывают одно, а женщина другое, судья должен верить и верит женщине; когда женщина входит в трамвай, в андерграунд, в комнату, в зал, все мужчины поднимаются, чтобы дать ей место, и женщина кланяется первая, не подавая руки; слова: «лэдис фирст» (женщины впереди, первые) могут остановить толпу, движение на улице, чтобы дать возможность пройти женщине; если женщине покажется, что на нее нескромно взглянул мужчина, — не надо никаких свидетелей, чтоб этот мужчина оказался в тюрьме; по всем гражданским делам женщина не ответственна, за нее отвечает или отец, или муж, — но она и не правомочна в гражданских

делах, — лэдис фирст! При замужестве не женщина, а мужчина несет приданое, — и — вот. Статистика устанавливает, что англичане очень поздно женятся, это, главным образом, потому, что по английским обычаям, а стало быть и по законам, англичанин может жениться, когда у него все есть для семьи, все, начиная с квартиры, кончая установленной обычаем дюжины салфеток и десертных вилок; этот обычай обязателен и для капиталиста, и для рабочего, и для клерка, — и они женятся в тридцать, сорок, пятьдесят лет, когда соберут все до последней скатерти и кочережки для камина... И этот обычай создал, как я назвал бы, институт сюит-хартства — институт «сладкого сердца»: англичанин делает предложение девушке и она фактически становится его женой, и он уже не может отказаться жениться на ней в будущем, за это не только общество клеймит его позором, но и суд заставит платить девушке большую долю его доходов, не дав ему возможности жениться на другой; у них, у двух сюит-хартов, могут рождаться дети, — это не считается позорным, потому они будут усыновлены... нно... но до тех пор, пока они не повенчались, он может придти к ней в дом только к файф-клок-ти или к динэр, и они будут в лоне семьи, не дальше столовой, — если он пройдет к ней в комнату, если они останутся наедине — ей в этот же день предложат покинуть этот дом; она может придти к нему так же обедать и пить чай, и так же, если она окажется у него в комнате, его сгонят с квартиры; они вынуждены встречаться вне дома, на улице... Англия канонная, консервативная страна, — а в первые дни мне все время казалось, что она страна очень неприличная, так как в парках можно было видеть тысячи пар, лежащих на траве под зонтиком, нежно целующихся и обнимающихся, — так как кинематографы в Англии, главным образом, к тому, чтоб там целоваться, да там сплошь все и целуются, а не смотрят Чарли Чаплина, — под каждой подворотней тоже целующиеся пары; целуются друг при друге, не стесняясь, не обращая на посторонних никакого внимания, как и посторонние не замечают этого, а если выкажут, что замечают, рискуют получить хорошую затрещину боксом, и не только от обиженного, но и от любого проходящего мимо; англичане очень добродетельны и аккуратны, — и я на своей Хандел-стрит изучил с терраски всех сюит-хартов: один приходил ровно пять минут восьмого и она в этот момент спускалась с крылечка, — другой поджидал на углу семнадцать минут восьмого, с тростью и цветком в петлице, и так изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, пока они не соберут денег на последнюю пижаму для нее. Это характерный пример «лицемерности» английской нации, того, как четырнадцатый век въехал в ребро теперешних дней...

В Лондоне днем часто увидишь у публик-хауза детскую коляску и в ней спящего ребенка: это значит, что мать зашла в публик-хауз выпить сода-уиски, женщины там выпивают наряду с мужчинами... Раза два я видел, как матери на улице давали своим детям хорошие подзатыльники и никто не обращал на это внимания; но я видел од-

нажды скандал на улице, когда иностранка, француженка, ударила плетью собаку, был составлен протокол, и я узнал, что в Англии детей бить — можно, но, если кто-нибудь ударит животное, он будет судим. Это тоже пример английского лицемерия, особенно, если принять во внимание английскую колониальную политику...

...Вестминстерское аббатство... Мне очень памятли те дни, когда я бродил по его векам. Древнейшего, красивейшего, величественнейшего здания никогда больше я не видал. Кружево каменных глыб, более легкое, чем кружево из полотна, шло из двенадцатого века к небу, ввысь; оно росло, строилось, старилось вместе с нацией англичан; оно серое, кажется, — собор построен из костей, и, когда подойдешь близко, видно, как столетья изъели камни, как вода, ветры, холода источили известняки, как изъели какие-то черви, и тогда казалось, что эти камни сложены не человеком, не человеческими руками, или иначе — человек теперь не может создать такого здания, потому что он не найдет у себя в помощниках столетий. Внутри здания полутемно, и свет идет сквозь цветные стекла наверху; там пустынно и просторно; там я стоял у могилы Ньютона: надгробная плита вделана в пол, как все плиты пола — могилы, многие уже полустертые ногами проходящих, и плита могилы Ньютона тоже полустерта, — страшно ступить на нее и все же я ступал, и было понятно, что Ньютон в здании английской культуры — только звеньшко, как вон неподалеку могила мистера Адама Смита и его жены миссис Смит — тоже только звеньшко английской и европейской культуры. ...В Национальной Галерее я читал письма лорда Байрона, где он просил одолжить ему двадцать пять фунтов... В Британском Музее, где собраны экспонаты всей человеческой — со всего земного шара — культуры, все прекрасное, что создал человек за всю свою историю, в книгохранилищах музея я стоял придавленный, испуганный и гордый, что я стою там, где собраны все книги, вышедшие на земном шаре...

Я говорил уже, что старина, отошедшее, памятники мне говорят — о смерти. Мне казалось, что Вестминстер и Британский Музей — из костей, окостенели, обизвестняковились. Мне было ясно, что огромная, почти геологическая, нечеловечески-человеческая эпоха настигает, накрывает тех людей, которые живут — живут не около, а — под ней. А вот англичане живут — с нею, в ней, она — их, они — ее. Так — есть. Так живет канонная Англия... Но — если эти известняки английской культуры уподобить гигантскому какому-нибудь глетчеру — из-под него должны стекать ручьи.

От Вестминстера не надо далеко идти. Надо от него и Темзы подняться по улице министерств до Трафалгер-сквера (у Трафалгер-сквера Национальная Галерея), там свернуть на Стрэнд, там зайти в «кормер-хауз», — и ты попадешь в «пошлость», это полу-ресторан, полу-кафе, — здесь то, что надвигается на Европу и скоро надвинется, если она останется такой, как она есть; эта «пошлость», как все в Англии закрывается в 11, — и это не Берлин, где в любой «пошлос-

ти» можно достать *все*, но и здесь можно получить почти — все; здесь сидит «шибер», европейский нэпман, нуво-риш, он очень подвижен, у него десяток говорящих телефонов, у него друзья на всех биржах, он сидит за столиком и от избытка энергии ковыряет в зубу и подрыгивает — совсем не по-английски — тугой ляжкой, его национальность стерта, он боится полиции и у него есть свой «свет», с которым он считается, — поэтому он почти незаметно переписывается с барышней, подающей кофе, он убеждает ее быть его «сюит-хартом» и поехать с ним куда-нибудь подальше на «вик-энд», и она — убеждена; он недоволен, что газеты начинаются с передовой, а не с биржи, точно биржа не решающая все передовая, и он читает «Дейли-Мэйл» и уголовный роман; это ему по его вкусам играет оркестр облетевшего всю Европу одесско-константинопольского «Алешу-ша из Одессы-мамы», он не пойдет вечером в театр, он пойдет или в киношку, так и зовет — киношка, или в музык-холл, он, конечно, ничего не знает о Шекспире... он завтра полетит «на пару часов» в Париж, и это от нечего делать он переписывается с продавщицей, чтоб не случилось так, что ему будет скучно.

В Лондоне пустеют театры; во всем Лондоне нет ни *одного* оперного театра и балета, — это переселилось в музык-холлы, там поют про «Алешу-ша», и музык-холлы ломаются от людей; кинематографы ломаются от Чарли Чаплина. В Англии отмирает классическая литература: романы Джона Галсворди, величайшего современника, которого, к сожалению, не знают у нас, но которого надо поставить в ряд со Львом Толстым, — его романы выходят в какой-нибудь тысяче экземпляров, но в сотнях тысяч экземпляров выходит всяческий бульвар, вроде «Тарзана» и «Пинькертон», с обложкой, где режут голую женщину, и с концом обязательно мещански-добродетельным...

Правда, Англия очень крепка известняками своей культуры, каждый англичанин произвестняковился ею, у англичан на первом месте «бизнэс», англичане до *наивности* консервативны, до лицемерия канонны, — и эти ручейки из-под глетчера культуры, цивилизации, очень слабы (отмирание большой литературы, театра, музыки, культуры духовной — можно объяснить и «осклерозиванием», замиранием в веках дней теперешних, замиранием веков), — шибера в Англии увидишь с трудом, он еще прячется, еще, как сто и триста лет назад, в одиннадцать часов Лондон засыпает и по улицам с фонариками ходят лишь бобби, досматривают — заперты ли двери, все ли почует в английских канолах, — иной раз, если увидят в окне свет в неурочное время, постучат в колотушку и спросят, страшно извиняясь, не случилось ли здесь несчастья и не может ли он помочь?

...Но, матросы рассказывают, — в английских водах на каждую милю три погибших корабля, моря стали кладбищами; в каждом английском поселке, у каждой церквушки, на каждой площади — памятники погибшим на войне, на полях Шампани, в Бельгии, на

морях, — их много, умерших и принесших в тихие дома горе и бедность... Англия — большой завод, завод для всего мира; Англия выиграла войну; но пока она воевала, пока ее заводы дымили, строя пушки, чтоб ими убивать, и корабли, чтоб топить их, — в Австралии понастроились шерстепрядильные и бумаготкацкие фабрики, в Китае, в Канаде задымили домны, в Индии возникли свои мануфактуры... Англия — большой завод. Англия выиграла войну, — но завод может существовать только, когда у него есть сбыт, — и Англия очень много, очень многое потеряла, победив: лондонский Сити был хозяином мира, и теперь «хозяин» мира переселился из Англии, — из Европы в Америку, в нью-йоркский Сити; Англия — страна мореплавателей, и в английских портах многие сотни кораблей вот уже много лет стоят и ржавеют в бездействии; Англии очень туго, в Англии больше двух миллионов безработных, — это они поют на перекрестках, это они рисуют на асфальте тротуаров картинки, это они спят под открытым небом в Имбенкменде, их два миллиона, огромная армия не имеющих труда, здоровых людей... Англия — организованная страна, ей очень трудно, Англия — страна заводов, где заводы не дымят...

Как выйдет отсюда английский народ?

Сейчас мне хочется помянуть два учреждения, которые связаны с Россией: это книжную лавочку Н.С.Макаровой около Британского Музея и кружок англичан, собирающихся в Кингс-колледже (королевском университете) в Лондоне, полюбивших и изучающих Россию. Книжная лавочка, очень маленькая и тихая, чуть-чуть похожая на книжную лавку писателей в Москве, когда она была в Леонтьевском, — была единственным литературным местом — русским литературным местом — в Лондоне, в чужом городе, где мы, литераторы, собирались, чтоб посмотреть новые книги (русские, из России, книги в Англии редкость, и к Макаровой они доходили по одному, по два экземпляра, хотя нужда там в них большая), чтоб повидаться, поговорить, поспорить, покурить, — там было всегда очень уютно и хорошо: ведь все мы чувствовали себя в Англии — на чужбине, а тут дым сигареток и дым разговоров был «дымом отечества». И — субботы в Кингс-колледже: там собирались англичане, они все учились говорить по-русски, и научились, — все они — студенты славянского факультета; заезжих русских они всегда приглашали читать у них, читали и мы; — и вот о чем речь: — после каждой лекции студенты, англичане, люди, страшно далекие нам и по воспитанию, и по национальной культуре, по всему, — пели англичане, пели наши русские песни, «Дубинушку», «Во поле березынька», очень странно было слышать из их уст слова:

«Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь»...

И эти песни в далеком, чужом городе, наши, родные песни, где все небогатство наше, где вся грусть наша, — очень бередили душу, — они пели, в сущности, плохо, но эти плохие песни в Англии —

самые значительные для меня из всех песен, когда-либо слышанных мной, — спасибо им за эти песни! — я всегда буду помнить вечера после них на набережных Темзы, около кружевного и нечеловечески прекрасного Вестминстэра...

...Когда корабль, привезший нас в Англию, подходил к Лондону, к нему подплыла таможенная моторная лодка, и таможенный инспектор крикнул снизу, очень весело; приветствие; капитан с мостика ответил ему так же весело: инспектор спросил:

— Откуда корабль?

Капитан ответил:

— Оттуда-то.

— Сколько груза?

— Столько-то.

— Сколько пассажиров?

— Столько-то.

— Сколько из них из дружественных нам держав?

— Столько-то.

А сколько — из недружественных? — спросил инспектор.

— Двое, — ответил капитан.

Эти двое были мы — я и мой спутник, — мы, граждане Российской Республики... Комментировать — не стоит. Но все же я должен сказать, что в Англии у меня осталось очень много друзей, которые очень многое переродили во мне.

...

Никола-на-Посадьях

22-е сент. 1923 г.

Английские зеркала

«Первый блин»

Наконец, моря нет. Мы вошли в Темзу. Унылые, скучные берега и бурая вода. Мы идем очень медленно, делая не больше 7 узлов в час. Над водою летят, купая грудку в воде, серые дымные чайки. Где-то вдали холмы и аккуратные подстриженные леса, а среди этого подстриженного, зеленого — из давних, запачканных временем, камней сложенный высится замок. На замке флаг приспущен. Значит, в доме несчастье. Так мы въехали в Англию.

Солнце стоит только на одном борту — на левом. Сюда собралась вся публика, чтобы погреться, но лонгшезы — длинные парусиновые стулья — были принесены только для англичан. Из пассажиров 1-го класса иностранцев только трое — один француз и мы — двое русских. Остальная компания исключительно английская, человек 7, главным образом, коммивояжеры, возвращающиеся из России. Некоторые из них по 5—7 лет жили в России, знают язык, но никто никогда не сказал ни одного слова с нами по-русски, несмотря на то, что переход от Либавы до Гринвица 4 1/2 суток, и за эти 4 1/2 суток мы каждый день по три раза встречались за одним столом в салоне и часами просиживали бок-о-бок в курительной комнате — в smoking room.

Англичанин на английском пароходе чувствует себя, как гражданин метрополии, попавший в колонию. У него лучшие воротнички, лучшие ботинки, прекрасный желудок, хорошие деньги, а его язык — единственный в мире язык, и не понимать англичанина все равно, что не понять воскресную проповедь в Арму Salvy (Армия Спасения). Нас за столом сажали на отшибе, но были корректны, вежливы, убийственно любезны, от этого становилось даже немного тошно.

Все это касается лишь корабля.

«Лучше я буду лаять по-английски, чем говорить на каком-нибудь ином языке» — такая жила пословица. Но в метрополии — на островах Англии — я нигде не мог этого заметить. Только в колониях англичанин сух и корректен, дома он обязан быть предупредительным. Умение жить, умение ввести жизнь в такие пределы, где никакая расхлябанность, никакая истерика не осядет прочно — основное и первое английское правило. Интересно наблюдать английский спор: — противники, которым хочется перегрызть друг другу горло, мирно сидят рядом, откалывая друг другу любезные шуточ-

ки, а если не договорятся словами, так же мирно выходят из кафе на улицу и на перекрестке начинают упражнение в боксе. Скопляются мальчишки-газетчики, старушка, два франта, зевака, любитель спорта. В такт бьющимся, точно по команде кричат:

— АЙСИ (вот так)!

А в сторонке, отвернувшись от драки широкой синей спиной, в корректной, но представительной суконной каске, стоит полисмэн (бобби, так их зовут сокращенно и ласково). Полицейские правила — правилами, а обычай — обычаем. Никто не имеет права отказаться от бокса. Подравшись — утрутся и мирно расходятся в стороны. Этим, конечно, нечего восхищаться, еще более — смешно строить из этого идиллические картинки. Это привычка, морщина на английском лице — которую нельзя не отметить так же, как и не вынешь трубки изо рта английского джентльмена, ибо 95% из них курят, — и поезда в подземных, надземных, электрических и паровых железных дорогах имеют в составе $\frac{3}{4}$ вагонов для курящих и $\frac{1}{4}$ только для некурящих. Курить принято — можно не удивляться, если чопорная леди набьет трубку и займется пусканием синих, ароматных колец.

За полчаса езды до Лондона к нашему пароходу подъехал катер — «морская статистика». Капитан стоял на мостике. Катер пришвартовался. Люди в катере в простых, черных, морских пиджаках вынули записные книжки и начался опрос. Капитан отвечал с мостика.

— Какие грузы?

— Такие-то, такие-то и такие-то.

— Сколько тонн?

— Столько-то, столько-то и столько-то.

— Сколько пассажиров?

— Столько-то.

— Больные есть?

— Больных нет.

— Сколько мужчин, женщин, детей?

— Столько-то, столько-то, столько-то.

— Сколько пассажиров из дружественных нам держав?

— Столько-то.

— Сколько из недружественных?

— Двое!

Весело отвечал капитан.

Эти двое — были, конечно, мы, я и Б.П.

Наши физиономии вытянулись.

— Но что до вас английскому империализму! — сказал француз.

«Статистика» кинула на борт пачку свежих газет, чтобы британский подданный, прежде чем вступить на метрополию, имел понятие об ее делах, подсчитала цифры, спрятала свои записные книжки в аккуратные карманы аккуратных морских пиджаков — и мирно отчалила.

Тронулись дальше. Англичане-комми повеселели. В газетах говорилось о разрыве с Советской Россией. Началось «склонение» лорда Керзона. Это имя потом в течение месяца не давало мне покоя.

Удивительнейшее английское свойство, узнав о разрыве, англичане стали еще любезнее по отношению к нам. В этом была какая-то игра на лоск, желание щегольнуть не своей шириной, как это бывает у русских, а выдержанностью, тем — что называется тоном.

Мы проезжали мимо верфей и доков. Много судов стояло в ремонте. Били молотки, поднимались и опускались краны, трубы захлебывались в дыму, в воздухе пахло углем и гарью. Финикиянки работали. Финикиянки чинились. Торговали. У набережных дремучий строй мачт. Тут же в мутной грязи Темзы ползали, как микроскопические черепахи, крошечные ялики, вылавливая из мути дрова. Проходили обитые броней барки на буксирах, наполненные баллонами с нефтью.

Империя работала. Рабы в блузах покорно выработывали положенные часы, чтобы вечером пойти в угловой кабаке выпить на шиллинг, а потом купить в вечерней лавке для семьи кусок рыбы, прожаренной на оливковом масле, вонючей — как Восток. В 10 вечера кабаки закрываются — можно идти домой, спать до утра, чтобы утром снова нести по подземной железной дороге с рабочим ранним поездом к верфям, и снова выколачивать для славы британского льва. А в 12 часов ночи — другой англичанин, благородный лорд, еле-еле стоя на широкой лестнице «Савой», красный от сигар и от порто, медленно спускается к лакированному автомобилю, чтобы ехать в загородный коттедж к Полли.

Пароход остановился в Доках Принцессы. Таможенники произвели осмотр. Врач проверил здоровье пассажиров III класса, только они подвергаются осмотру. Наконец, в курительной комнате уселась особая комиссия из представителей таможни, полиции и Скотланд-ярда для проверки пассажирских документов. Быстро были пропущены англичане — и другие пассажиры, последняя очередь осталась за нами.

Тут произошла примечательная сценка.

Нас со всех сторон засыпали вопросами на английском языке. Мы языка не знали. Не обращая на это внимания, агенты из Скотланд-ярда продолжали с нами разговаривать по-английски минут 15—20. И вот, вогнав нас в пот и краску — один из них, с типичной большой головой и широко развернутыми плечами, с добродушной улыбкой на красном, здоровом лице — вдруг обращается к нам по-русски, на прекрасном и чистейшем языке.

— А хорошо в России...

— Как? Вы говорите по-русски?

— А как же не говорить... Я 20 лет прожил в России, там реальное училище окончил, был в университете... Я прекрасно знаю Россию.

— Зачем же вы выпрашивали нас по-английски?

— А чтобы узнать, знаете вы язык или нет.

Но рассказав это, надо рассказать и о другом.

Через 1¹/₂ часа мы, остановившись в маленькой частной гостинице, оставив там свои вещи, вышли посмотреть город. Был уже 11-й час вечера. В это время публика спешит по домам. На одном из перекрестков Стрэнда мы встречаемся как раз с одним из тех полицейских чиновников, которые допрашивали нас в доках.

Он подумал, что мы заблудились, и очень любезно повел нас от полицейского к полицейскому, пока не выяснилось из долгих разговоров — что пристанище нами найдено и что полиция может о нас не беспокоиться.

Английский полицейский — состоит на службе. Он это чувствует твердо. Он связан. Он приходит на помощь, когда его зовут. Он должен уйти — если ему отказывают в приеме. В семье одного английского рабочего мне пришлось наблюдать следующее.

В соседней квартире (тоже рабочей) начался скандал, брань, женский плач, крики. Соседи побежали к полиции, на ближайший пост. Когда полицейский пришел и осторожно постучал в квартиру, оттуда вышел рабочий.

Спросит.

— Я у себя дома. Я могу драться. Я вас в квартиру не пушу. Я никого не убил.

— У вас плачут?

— Плач — это мое семейное дело.

Полисмэн приложил руку к каске и ушел.

Город

Лондон город шума. Шум административного центра метрополии, маховое колесо огромной британской машины. Тут заводится механизм, чтобы точно — минуту в минуту шла работа. Отсюда Англии, как единый организм, живет.

Утро — прошли рабочие поезда. Тут на окраинах началась жизнь, завозился Уайчапль (еврейский квартал), к рынкам на автомобилях везут молоко, овощи, мясо. Маленькие автомобильчики катят по тихим, сырым мостовым, останавливаясь у подъездов, чтобы положить у дверей несколько пинт молока, потом придут жильцы дома и заберут это. В грязных блузах, в протертых ээпи, с невыспавшимися глазами, идут по серым набережным Темзы рабочие из «умбэнк»'а и на ходу закусывают в передвижных лавочках. Эти лавочки торгуют утром или вечером — после закрытия магазинов. Там за несколько пенсов можно получить кружку чая с молоком, сэндвич с яйцом или сосиску. Рабочий живет, ест и пьет на ходу. Вон там околачиваются безработные, и у каждого из имеющих работу — только одно желание — какими бы то ни было усилиями, какой угодно ценой, лишь бы сохранить ее. Что значит здоровье —

когда надо платить в школу, за газ, за паспорт, выданный в police office (полицейском участке). Рабочий платит за газ ведь столько же, сколько и лорд. Но для лорда открыт счет в любом английском банке на изрядное количество фунтов, рабочему же надо надеяться лишь на 8 шиллингов своей поденщины. А газ и электричество дороги — для рабочего управления не скинут ни фартинга, ибо в этой стране «все — равны».

Я многих видел этих рабочих — утомленных или работой, или истощенных безработицей, у которых глаза так же протерты усталостью и голодом, как их кэпи протерты временем.

Вот опускаются лифты на 15—30 сажен в землю. Там — в облицованных кафелью подземных вокзалах электрические поезда идут в тоннелях под рекой. Доставляют к заводам рабочих. Трубы уже коптят. День начался.

Часом позже на омнибусах и поездах, с окраин Лондона, с окрестностей под Лондоном, так как люди малоимущие и даже среднего достатка избегают, не могут жить в Лондоне — отовсюду с городских «отшибов» (если применимо это слово к английскому обиходу) — торопятся служащие в банки, в конторы, в заводы. Поезда набиты, переполнены, идут один за другим через каждые пять минут. Газетчики суют каждому в руки еще сырую газету и, на лету схватив пенс, бегут дальше, выкрикивая новости. В 10 утра начинается работа везде, в 10 — ровно. Никаких отступлений, аккуратно, как ход в машине. До часу работа, — до часу ни один клэрк не имеет права закурить за работой папиросу. От 10-ти до часу улицы наполовину пусты. Зато в час — открываются двери фабрик, заводов, контор, банков и редакций — в улицы вливаются опять спешащие толпы мужчин и женщин, чтобы в привычном баре, кабачке, кафе — чего-нибудь перекусить и выпить. От часу до двух — это час завтрака, «лэнч». В этот час вся Англия завтракает. Жизнь идет везде одинаково, без отступлений, вся жизнь приноровлена к этому. От 4-х до 5-ти все пьют чай. От 6-ти до 7-ми — обед. Никаких отступлений.

В этом городе, где свежему человеку, в центре, трудно перейти через улицу, где омнибусы тянутся друг за другом непрерывной цепью, где в автомобиле вы едете в среднем со скоростью русского извозчика, не потому что плохи автомобили, а потому что велика уличная каша, где улицы набиты движением — пешеходами, собаками, автомобилями, трамваями, омнибусами, как килечная коробка кильками, в этом городе нельзя жить с отступлениями. Все должно идти по точному расписанию, не из аккуратности, потому что англичане вообще не отличаются аккуратностью, а из страха, что если не выполнить расписания, то жизнь собьется в кучу, разлетится в обломки, вдребезги.

Нашему русскому лихому мотористу, привыкшему к автомобилю, как к лошади, не советую ездить на машине по Лондону. В первый же выезд он произведет революцию. Впрочем, это хорошо...

Жалко только, что весь Лондон, с его благородным, городским запашком бензина, взлетит на воздух.

Вечером по Стрэнду, по Пикадилли — море световых реклам, целые светящиеся, динамические (благодаря переключению лампочек) живые картины. На Трафальгер-Сквере, против колонны Нельсона, бегут по фронтому дома световые газеты. В кафе играют оркестры. Скромно ходят проститутки (не то, что в Берлине). И опять, опять крики газетчиков о вечерних выпусках.

Газеты выпускаются в Лондоне 4 раза. Утром, в 12 часов, в 3 часа и в 7 вечера.

И пока на набережной — у набережной, в барах, где написано — «спирит», рассчитывая пенсы на пиво, собираются рабочие, по паркетной и гладкой, и блестящей улице Пэлл-Мэлл, улице клубов — катятся автомобили, чтобы отвезти сэров, баронэтов и просто благополучных английских джентльменов в привычные для них клубы, где можно поужинать, выкупаться, сыграть в покер, выпить и вкусив все, что может вкусить скучающий джентльмен — вернуться домой.

В этом городе, где все так добротное, так пахнет традицией и стариной, где магазины полны прекрасными товарами (по сравнению с Германией!), где вы не встретите суррогатов, где прекрасные дома, газ и электричество, где совсем не знают, что такое дрова, и почти не употребляют угля — иностранца поражает одно: *обилие нищих*.

То, что удобно для Константинополя, то стыдно Лондону, стыдно этой богатой стране выпускать на улицу — калек, старух, стариков, инвалидов. А они на каждом шагу.

Но англичане церемонны — «британец» не имеет права протягивать руку, — полиция живо упрячет нищего, если он прямо обратится к вам за помощью и протянет руку. «Нет, он должен работать».

И они — «работают».

Они играют на свистульках, на шарманках, на передвижных фисгармониях, на простых гармониках, на флейтах... даже на пианино... и просто на губах. Они поют. Они показывают фокусы. Они разрисовывают цветным мелом тротуары. Или — они скромненько сидят на скамеечке, глядя в одну точку, держа в коленях чашечку, а на груди висит картон, где точно обозначены его инвалидность и текст о помощи. Иной раз рядом черная собака — это у слепых.

За последнее время жизнь в Лондоне близка к довоенной — цены повышены на 50—75%.

Жизнь катится, как колесо. Джентльмены устроили так, чтобы жилось спокойно, островитянин любит «покой» и твердую ренту в банке, и крепкий банк, и крепкую валюту. Только однажды можно выйти из себя, ночью — в толпе у мюзик-холлов, после окончания спектаклей, когда любимые актеры показываются на подъездах боковых театральных выходов. Тогда толпа шумит, как батальоны на параде, в один голос — разом: *Hugga*.

В половине первого кончается движение «бассов» (омнибусов), автомобилей, мэтрополитена, андерграунда (подземной железной

дороги), трамваев. Улицы почти, почти голые, все уже дома — надо спать. И даже в окнах домов — редкие, редкие огни.

Однажды был такой случай.

У нас засиделись гости — часы показывали четверть второго. А двери балкона мы забыли завесить портьерой — следовательно с улицы был виден свет.

Вдруг кто-то осторожно стукнулся в квартиру. Открывают дверь. На пороге стоит полисмэн и, вежливо приложив руку к каске, спрашивает.

— Простите, у вас не случилось несчастье?

— Нет. А в чем дело...

— Никто не заболел?

— Никто.

Мы недоумеваем. Полицейский улыбается.

— Ну, прекрасно. Извините, что я беспокою. Я думал — несчастье. Сейчас уже четверть второго, а у вас еще горит свет.

В этот час — почти не встретишь пешехода. Только газ голубыми пятнами ложится в сверкающие, как зеркало, асфальты. Пробежит запоздалый тэкси (автомобиль). В диккенсовском проулке, узком, как палец, еще не может расстаться любовная парочка, случайно ускользнувшая от глаз строгого, синего, нравственного полисмэна, да в старых аббатствах на скамьях, где днем молятся, ночью спят бездомники.

День кончен.

Митинг в Трафальгар-Сквере

Целую неделю от 7-го до 15 мая Лондон живет точно накануне войны. Все газеты полны Россией, большевиками, русским вопросом. На этой же неделе открывается новая сессия парламента, и лорд Керзон, выступая по вопросу о кредитах, должен будет дать отчет парламенту о деятельности и о планах правительства, в связи с русскими делами. Газеты сообщают о скором приезде в Лондон Л.Б.Красина. В десятках лондонских газет, в сотнях провинциальных — склоняются «большевики» вдоль и поперек. Все внимание, как свет в фокусе объектива, собрался на одной точке — на России.

Уже газетчики не кричат о чемпионах-боксерах. Они кричат о Красине. Они кричат — в каком часу вылетел аэроплан мистера Красина из Москвы.

Главный лай против России, призывая к немедленному выступлению, ведет «Morning Post» — аристократическая и консервативная газета. Газеты, поддерживаемые торговыми и промышленными кругами, несколько осторожнее, но основное настроение такое же — надо «сорвать» с России. 95% печати высказывается в сущности за разрыв, некоторый процент из этого — за немедленное выступление. Королевское адмиралтейство мобилизует к Архангельску эскадры — страна кипит.

Все это вскипело совсем неожиданно. Весь конфликт из-за английских рыбаков, задержанных нами в русских водах. Конечно, это только повод. Причина другая, она ясна младенцу. Лорд Керзон — представитель родовой аристократии, должен ненавидеть большевиков. И он их ненавидит. И в ненависти своей готов обречь страну войне. Промышленникам война невыгодна — они на пост премьера выдвигают другую фигуру — государственного казначея Болдуина. В стране намечается министерский кризис. Лорд Керзон не хочет уступать. Работают канцелярии министерства, пишутся ноты, скрипят перья, еще громче кричат газетчики. Все шире и шире разворачивается политический ажиотаж.

Болдуин — укрепителъ курса английской валюты, сразу поднявший фонд государственного банка. Рассказывают, что когда он посетил Америку для улажения инцидента о процентах, выплачиваемых Америке в счет английского долга, то все предполагаемое повышение процентов сразу упало, когда он заявил, что он может в настоящее время целиком уплатить весь английский долг в золоте. Болдуин был в конфликте Россия—Англия стороной, которая, хотя и хочет что-то «сорвать», но в то же время хочет и столкнуться.

Когда наметился кризис кабинета, «Morning Post» несколько сбавил тон и стал разговаривать несколько миролюбивее, ибо было очевидно, что большая часть «лейбер» (рабочей) партии, большая часть консерваторов из торгово-промышленного класса выскажутся против активных действий, не говоря, конечно, уже о коммунистах, имеющих в парламенте всего два места (всего же членов английской коммунистической партии насчитывается до 10.000 челов.).

Тред-юнионы в центре и в провинции выступили с подписными листами своих членов, предлагавших правительству держаться более осторожной политики и не ввергать страну в новую авантюру. В воскресенье 15-го мая был назначен митинг в Трафальгар-Сквере. Это место является традиционным. Находится оно в самом центре города — в торговой его части, в конце Пикадилли, и представляет собою огромную площадь с большим водоемом и фонтаном и высокой Нельсоновской колонной; на фундаменте этой колонны стоят четыре британских льва. Фоном для площади служит большое многоколонное здание Национальной Художественной Галереи. Площадь вмещает до 40 тысяч человек.

Митинг был назначен в 3 часа.

Ровно к 3 часам со всех концов города подтянулись к колонне рабочие демонстрации, у многих в петлицах красные ленточки. Рабочие несут красные флаги, плакаты с лозунгами — «долой войну». Массы заливают площадь. Играют оркестры. Коммунисты пришли с лозунгами: — «Да здравствует III коммун. Интернационал». На Нельсоновской колонне — защитника короля — были прикреплены два огромных плакатных портрета Ленина и Троцкого.

Весь внешний вид демонстрации напоминает революционную Россию. От этого немножко странно — и жутко, и приятно. Орке-

стры начинают играть «Интернационал». Оркестры фальшивят. «Интернационал» аранжирован плохо. Пение тоже чем-то напоминает псалом. Так было и у нас в 1917 году.

В сторонке, осторожно и сумрачно посматривая, стоят парочками полисмэны.

Площадь велика. Народу много. На импровизированной трибуне — цоколе колонны — стоит президиум рабочей партии. Ораторы говорят одновременно с четырех сторон, так как публика стоит кругом. Основное свойство английского оратора — говорить весело и недолго. Ни одна речь не должна продолжаться свыше четверти часа. Без шутки же вашу речь не будут слушать. Ораторы сменяются, но тема одна: мы не позволим правительству втянуть нас в новую войну с Россией; однажды обжегшись на авантюре, они хотят ввести нас в новую, а если они пойдут, так пусть узнают, что такое русский снег и что такое русские волки; не мешало бы и самому лорду Керзону принять участие в этой «рождественской» прогулке; они из наших сыновей хотят сделать военных рабов, мы и так рабы их банков и заводов; довольно обмана, нужно заглянуть правде в глаза; мы предлагаем правительству бросить эту затею, а если оно не послушается — мы сбросим его.

Резолюции были решительны.

Среди выступавших ораторов был один англиканский священник, человек «новой формации».

Он говорил так:

— Вам говорят, что все дело в рыбе и в рыбаках. Не верьте, дело, конечно, не в этом. Если тут пахнет рыбой, то очень вонючей. Принохайтесь, пока не поздно. В 1914 г. из-за выстрела в Сараеве загорелась европейская великая война. Теперь хотят создать вторую. Наше правительство все объясняет гуманными целями и защитой человеческих прав, защитой русской церкви, защитой Тихона. А я вам скажу, что это не наше дело. Если он шел против своего народа, значит он вор, и дело народа объявить его своим врагом, а нам смешно впутываться в это семейное дело. Когда в старой царской России происходили польские и еврейские погромы, наше правительство молчало. Не потому ли оно боялось проявлять свои «гуманитарные» чувства, что находилось в родстве с русским царем?.. А вот теперь, когда родниться не с кем, оно объявляет поход с целями «гуманизма». Этот гуманизм выразится в еще новом количестве вреда, который мы нанесем России, никак нам не мешающей, это только лорду Керзону может рабочее правительство стать поперек дороги. Но если он стянет им галстух, то мы ему стянем еще туже.

Рабочие кругом смеются враз. Из всех глоток сразу одно одобрительное и хриплое: «Yes!» (Иес). Потом выступает миссис Бойс — хрипая, грубая, как площадная плясунья, которая не говорит, а пляшет, не требует, а орет:

«Парни, вы не смеее оставлять девчонок, вы не смеее уходить на войну...»

Эта сменяется Ньюболдом (член коммун. партии и бывший член парламента).

Громче аплодисменты и крики. Список ораторов наконец кончен. Но публике не хочется уходить. Разбрасываются листовки.

Но вот оркестры становятся в голову процессий. Затягивают песню о «могильщике». Полисмэны улыбаются концу. Процессии трогаются обратно. Строят ряды. Веселей затягиваются шарфы на шее.

На следующий день провинциальная печать выступает еще оживленнее, еще сильнее требует от правительства уступок. Еще больше подписей собирают трэд-юнионы. Лорд Керзон терпит поражение. Болдуин играет решающую роль. Кабинет находит, что положение прекрасно, что Британия всегда шла путем компромиссов, «Morning Post» умерила пронесшиеся дикие выклики, все на пути к миру...

Через несколько дней дипломаты приступили к новому соглашению. Старый торговый договор Англии с СССР не нарушается.

В одной из газет потом писали, что будто бы 15 мая в 3 часа дня какое-то инородное тело затмило свет над Трафальгар-Сквером и на секунду тьма объяла Англию... что будто бы это инородное тело было не чем иным, как аэропланом, на котором летел русский полпред... и дальше — будто бы аэропланом торжественно спустился при звуках Интернационала на площадь к английскому пролетариату...

Товарищи,
не верьте. Этого
не было!

Но... один совет. Нельзя ли английскому пролетариату послать парочку хороших капельмейстеров? Иначе Интернационал они поют, как «Коль славен».

**О нравах, о выборах, а главное —
о веселом отношении к жизни**

Русский человек, попадая в Англию, не знает — что прилично и что неприлично.

Неприлично подойти к незнакомой даме на улице и познакомиться — три месяца тюрьмы¹.

Неприлично жить в Умбэнке (дешевый квартал) — потому что бедность для джентльмена просто неприлична.

Неприлично пойти с барышней в кинемо и не поцеловать ее там ни разу — обидится за пренебрежение к ее особе.

Неприлично не взять от англичанина табаку или папиросу, если это вам предлагается.

¹ Случай индивидуальный: все, конечно, зависит от дамы.

Неприлично совать спутнику в омнибусе стоимость вашего билета, если спутник уплатил уже за вас кондуктору.

Неприлично иметь родственника в тюрьме.

Неприлично идти в театр без смокинга — не пустят.

Неприлично платок держать в кармане — платок прячется в левый рукав.

Неприлично при встрече не спросить о погоде, а приглашенным на обед не справиться у хозяина и у гостей о том, как идут их дела.

Неприлично жаловаться на дождь — его англичане не замечают.

Неприлично удивляться, если вас назовут случайно «сэр».

Неприлично говорить о Шекспире и о футуристах.

Неприлично ругаться «чертом» (в книге этого не пропустит суд и привлечет автора¹) и т.д.

Вся жизнь состоит из неприличий. Я, собственно, до сих пор толком не знаю, что в Англии прилично.

Правда, все это несколько веселое отношение к вещам, но все это в сущности существует в природе. И не могу понять — я ли обидел англичан или англичане обидятся на меня, что я — большевистский невежа — не перечислил сотни других, более важных и более ответственных параграфов из кодекса английского тона.

Эта подглавка этой главки несколько веселая и потому — пусть серьезные читатели не обижаются на легкомысленность ее стиля.

Стиль зависит от настроения, а настроение от состояния желудка.

Вернемся к англичанам...

Еще одно правило неприличия.

Неприлично — есть рыбу не ножом, а вилкой.

У них все наоборот. Мой слабый ум путается и я не в силах продолжать дальнейшее неприличие.

Этот кусочек для нэпманов. Надо же и им дать «литературу».

Еще: портрет англичанина.

Обычно представляется так.

Выбрит, как апельсин, пробор, большие скулы, волосы неопределенного цвета, во рту шерлок-холмовская трубка, зубы съедены табаком и боксом.

Пальто — необычным клешем, в клеточку, костюм тоже, но в грандиозную клеточку. Яркий галстук и цилиндр.

Слов не выговаривает. Только одно — all right — оль райт...

Таких я не видел. Все очень обыкновенны и все как у всех. Даже есть с бородками. Ново-приезжие русские, увидя это, считают себя навеки оскорбленными.

Вообще не рекомендуется знакомиться с Англией ни по Диккенсу, ни по Конан-Дойлю — два общеупотребительные в России справочника — ничего похожего.

¹ У нас, кажется, неприличны другие слова.

У английской женщины есть одно приятное свойство — любит выпить, никогда не прочь разделить компанию с мужем. Хозяйства не знает. Детей воспитывает случайно. Младенцы с детства тоже пьют, потому что пьют матери. Ребятам, чтобы не кричали, суют в рот рожок, намоченный в пиве. Старухи — почти алкоголики. Угрюмо сидят в барах, выйдя на улицу, осторожно отходят на 3 шага от тротуара и, засунув 3 пальца в рот (какая симметрия!), освобождают желудок от лишнего, чтобы потом идти на перекресток и слушать, как оркестр из Армии Спасения наигрывает марши. После того, как марши кончатся и соберется достаточное количество зевак и гуляк, на передвижной трибуне появляется офицер Армии и произносит проповедь о добродетелях господина бога, о том, что надо быть кроткими на земле, потому что все блага предоставлены человеку не здесь, а на небе, что бедность — это счастье, ибо бедному легче достичь царствия небесного, и что простому человеку вообще не следует искать благ земных, когда нас ждут небесные...

Старухи, гуляки и зеваки, послушав проповедь, снова отправляются в бар, чтобы вкусить хоть малое от сих земных благ.

А по вечерам, когда зажигается газ и появляются веселые девушки, на других переулках другие офицеры и офицерши из Армии Спасения уговаривают братьев и сестер бороться с соблазнами. Но соблазн, видимо, велик, так как к 12 часам ночи борьба доходит до того, что офицерши исчезают, а офицеры, под руку с веселыми девушками, слегка качаясь, смеясь и икая джином, пробираются парочками по темному переулку.

Это, кажется, совсем новая Англия. Эта же новая Англия лежит парочками по всем лужайкам городских парков, на скамейках и под скамейками. Явление послевоенное.

Но к девушке придти мужчине в гости нельзя — позор. Если есть в комнате кровать — то в этой комнате нельзя оставаться ни минуты мужчине с женщиной — это тоже позор и блуд. Жениться, не прикупив семейной обстановки — тоже позор.

Тяжелое положение.

В английский парламент женщины, конечно, тоже допущены. Вот кое-что об этом.

Одна из них — опереточная певица Филипсон — собрала в рабочем квартале 11 тысяч голосов. В парламенте она объявила себя консерватором. В прежние годы она агитировала за своего мужа, бывшего членом парламента. Агитация происходила следующим образом. Миссис Филипсон путешествовала по всему кварталу, заходя в каждую квартиру. Придя, она принималась хвалить хозяйку, посуду или мужа — кому что более нравилось.

Или уже совсем просто:

— Ах, какой у вас чудный ребенок. У меня точно такой же... Между прочим... я советую вам вотировать за моего мужа, он прекрасный человек и любит бедняков.

На предыдущих выборах кандидатура ее мужа была отклонена, тогда она выставила свою кандидатуру.

Вообще опереточные певицы играют некоторую роль в жизни Англии и даже менее на сцене, чем в жизни.

Другая певица оперетки, де Фриз, использовав театральные знакомства, провела в парламент своего мужа, сэра баронэта де-Фриз.

Мало-помалу английский парламент станет совсем семейным учреждением.

Все это может быть в тихой, прекрасной Англии, где так священна старина и так святы обычаи, где женщина, даже родившая ребенка, остается невинною...

— ?

Да, это так...

Последний год весь Лондон взволнован процессом лэди Россэл с ее супругом. Суд прошел уже две инстанции. Супруг отказывается признать ребенка своим, доказывая — что он не может иметь детей, и что поэтому этот ребенок не его; он на этом основании требует развода с женой. Жена развод принимает, но ищет с мужа соответственную часть на содержание ребенка, отвечая, что отец ребенка — он. На процессе вытряхивались все семейные перины хорошенькой женщины и ее супруга, лорда. Не было процесса скандальнее, чем этот. Нередко зал суда освобождался от публики и дело слушалось при закрытых дверях.

Отмечалось, что суд был убежден в виновности лэди Россэл и возмущался ее наивностью.

Однажды на процессе во время допроса лэди Россэл судом зашел разговор о происхождении ребенка.

Лэди Россэл заявила: — Не знаю...

Судья: — Как? Вы не знаете, как делаются дети?

Лэди Россэл: — Я не знаю...

Судья (в ярости подымается с кресла): — Ах, вы не знаете, так я вам сейчас покажу.

Пресса протестовала против подобного образа доказательств королевским судом.

На втором процессе — положение лэди Россэл изменилось к лучшему.

Не доказал ли что-либо судья...

Нечто о колледжах и литературе

Нине Окс.

Англия — богатая страна. Это чувствуется сразу, когда приезжаешь туда из Германии. Английский студент — всегда, за редкими исключениями, сын богатого, состоятельного человека. Англия — классическая страна университетов — колледжей, некоторые насчитывают за собою вторую тысячу лет. Самое характерное для универ-

ситетской жизни Англии — это два города: Кембридж и Оксфорд. История этих двух городов — история университетской Англии.

Но сперва скажем кое-что о лондонских университетах.

Присутствие их в центре Англии, среди шума тэкси, подземок, надземок, среди банков, бирж и спекуляций, в самом купеческом пекле современной Финикии — значительно выветривает в них тот аромат старины, который носят колледжи; этот аромат силен так, что колледжи нередко кажутся отмершим, высохшим телом, близким к мумии, что это не живое, учебное дело, а музейный раритет. В самом Лондоне этого не заметно. Здесь колледжи — здания современные, земля не пахнет традицией. Здесь настоящая деловая атмосфера, здесь вы скорее встретите бедного студента, потому что здесь учатся жизни, делу, наукам, а не умению завязывать аристократические связи.

Программы занятий — практичны. Из лондонских университетов выходят лингвисты, химики, механики, историки, ботаники, инженеры, врачи. Программа нагнетена специальностью, потому что Лондон торговый и биржевой хочет получить не парламентских болтунов, а людей практики, умеющих работать в лаборатории, в школе, на заводе, а не расшаркиваться в салоне той лэди, что в данное время дает тон политике, вернее — поддерживает этот тон.

Это усвоено особенно теперь — так сказать последняя мода, точно так же, как изучение русского языка. В королевском лондонском университете (Кингс-колледж) — сейчас работает специальный славянский отдел, где изучаются право, быт и литература славянских народов. При этом отделе организовано русское общество, *russian society*, где каждую неделю собираются взрослые англичане, изучающие русский язык и русскую литературу. Тяготение к русскому языку началось с войны, советская Россия еще повысила этот интерес, они хотят знать ближе «дикарей». С другой стороны, конечно, это изучение сопряжено с практическими целями. Преподаватели русского языка в Лондоне между прочим отмечают, что среди их учеников — большое количество английских офицеров.

Но даже здесь, в современном городе, где воздух пахнет только бензином, английское студенчество отдает дань прошлому, старине, традиции, предрассудкам. Студенты носят корпорантские цвета и, как истые британцы, презирают ирландцев, цветных и русских. Мне рассказывали русские студенты и студентки, что им всегда достаются худшие места в лабораториях и в классах. А одну англичанку, но очень близкую к русским советским кругам в Лондоне, чуть не предали остракизму за то, что она не была шокирована, когда ей дали общий лабораторный стол вместе с негром-студентом, и она согласилась с ним работать. Англичане-студенты после этого хотели выкинуть свою соплеменницу из их общества. Не лучше отношение английских студентов и к метисам. Только британец — человек. От русских студентов при поступлении в университет университетское начальство тррбует, чтобы они не были большевиками, всякий по-

дозрительный элемент немедленно будет изгнан из университета. Вообще студенту, имеющему советский паспорт, поступить в английский университет гораздо труднее, нежели верблюду пройти сквозь игольное ушко. Но все-таки такие студенты имеются. Английское студенчество относится к ним с большой осторожностью. Англичане хотят отмежеваться от большевистской заразы и предварительно, прежде чем допустить такого студента в стены своей школы, устраивают допрос, где прощупывают студента со всех сторон. Большинство же русских студентов, конечно, из белых элементов. По правде говоря, большая часть из них также сильно нуждается, заниматься наукой не могут, так как дни принуждены отдавать работе или службе. И тот, кто имеет хоть какой-нибудь заработок, боится его потерять. Один из таких студентов-эмигрантов рассказывал мне, что он служит в конторе перса — торговца коврами, получает 1½ фунта в неделю, когда минимальный заработок английского рабочего 4 фунта. Но ему приходится держаться за это место, потому что никто из англичан не принимает русских. Аристократические элементы русского студенчества, конечно, находятся в ином положении.

Английское студенчество политикой не занимается. Университет — просто школа, которую надо скорее окончить, чтобы потом, по требованию какого-нибудь города или местечка, получить себе соответствующую работу. Часто английское студенчество напоминает ребят, посаженных за букварь, чтобы в свободное от учебы время отдаться забаве, отдыху. Отсюда поголовное увлечение спортом. Впрочем, в лондонских университетах это менее заметно. Тут важную роль играет и социальное качество студенческих кадров, и бытовые условия большого торгового города. Но даже и в таких условиях увлечение пустой забавой, шуткой — старой, традиционной — настолько сильно, что современность, быстро перемежающаяся острота ее политических моментов, пробегают как будто мимо, никак не задевая, никак не отражаясь в юношеских сердцах.

Так, лондонский колледж (гор. Лондона) имеет фетиш, его специальное наименование «мэскот» — т.е. вещь, приносящая счастье. Этот фетиш представляет собой деревянную безобразную куклу-человечка, имя ему Финеас-Пи-Эч. Финеас-Пи-Эч стоит в витрине близлежащего к колледжу табачного магазина и, пока он стоит там, университет бережен, счастье витает над университетом. Все студенты и студентки (корпорантский цвет их — лилово-голубой) очень озабочены судьбой Финеаса. Другой колледж стремится этот фетиш украсть, чтобы счастье перетянуть на свою сторону, так фетиш переходит из рук в руки, от университета к университету. Несомненно, что владельцы Финеаса тщательно его оберегают. Недавно весь Лондон был встревожен борьбой. Ист-лэндский колледж (цвет желто-голубой) украл у лилово-голубых, у городского колледжа, Финеаса. Начались поиски. Наконец, виновники нашлись. Газеты следили за этапами этой борьбы. Печатались об этом отчеты. Пришел день,

когда был назначен поединок колледжей. И вот на поле за Лондоном состоялось боксерское сражение. Похитители были побиты. Кругом глазела толпа и студентки, которые следили за тем, как дерутся их «бои» (мальчики), фотографы производили снимки для журналов. День, в который Финеас-Пи-Эч был добыт и торжественно водружен на прежнее место, был, несомненно, очень важным днем. Англичане очень любят забавные мелочи и пустяки. Так, совсем недавно, в августе месяце организовалось общество из членов парламента — холостяков. Газеты дали обширнейшие отчеты о первом обеде этого общества и привели полное содержание речей, сказанных на этом обеде холостяками, членами парламента.

Жизненная бутафория — основное качество английского характера. Англичанин средних слоев — добрый, благодетельный буржуа, выдумавший глупости, в важность которых он искренно верит и очень умиляется, когда его сынки не отстают от папаша. Этот быт, когда Европа стоит на кратере, когда ежеминутно грозят извержения, кажется какой-то ширмой, поставленной специально затем, чтобы затенить то, что кажется неприятным. Сколь долго продержатся эти ширмы, это, конечно, вопрос, который здесь не разрешить...

Интересно мнение одного писателя, с которым мне пришлось беседовать на политические темы. Это очень известный английский писатель и журналист, по своим убеждениям — консерватор, что не мешает ему трезво смотреть на вещи (типичная черта английского консерватизма).

— ...Не думайте, что Англия благополучна. Многое зависит от континента. Если там начнет колебаться почва, а ведь угрожающие толчки там мы должны отметить, то и нашему острову не избежать социального землетрясения. Играть на руку Франции мы не будем, надо ее сдерживать, а она зарвалась с этим Руром; военно наше островное положение никак нас не защищает, теперь иные способы войны, нас могут бить с воздуха. Социально — Австралия который год тянется, чтобы оторваться от нас, Индия — больное место нашей политики, Ирландия уже раскололась на два государства... Нет! Мы вовсе не так благополучны, как это кажется вам.

Оксфорд и Кембридж — царство английской готики. Она особенно прекрасна в утренние, тихие часы, когда поют колокольни. Это старое царство средневековой романтики поет колокольнями какую-то древнюю музейную песню. Кажется, что попал в хранилище, где века, как фолианты на полках, что здесь нельзя жить, что дома защиты паутинами, что на вещах лежит толстая пыль времени.

Я был в Оксфорде и Кембридже уже ранней осенью, когда лениво неяркое английское островное солнце, и черная готика колледжей, и белые тротуары, и дети в пестрых тряпках с полными корзинами лавенды — поют о лавенде старую, вышедшую из веков песенку:

Друзья, купите лавенду!
Прекрасная, прекрасная лавенда.
Купите лавенду,
Всего за пучок одно пенни...
Купите, купите лавенду!

По улицам шли школяры, в мантиях, в черных острых шапочках и белых воротничках, и профессора и студенты тоже в мантиях и в шапочках, посаженных на темя, с верхом, напоминающим польские конфедератки. Оксфордские мещане и ремесленники покупают лавенду, чтобы хранить ее в комодах с бельем, белье от этого прекрасно пахнет. Студенты идут тоже с корзинками, а в корзинке — книги, это обычай, следа которому нигде не найдется в Европе, ибо Оксфорд до сих пор несет в себе средневековье, упорно не хочет смести пыль, отряхнуть время. Кажется, будто смотришь цветные легкие гравюры Морланда и Варта. И до сих пор в Оксфорде ежегодный выпуск студентов в экзаменационном колледже Оксфорда. При наделении студентов учеными степенями доктора и бакалавра, сеньор проректор в старинной мантии читает над ними, коленопреклоненными, старую латинскую молитву: «in nomine Domini, Patris, Fillii, et Spiritus Sancti». Студенты по очереди встают, проходят боковым ходом круглого, экзаменационного зала, где на ярусных балконах сидят невесты и разряженная городская публика, и — перерядившись из студенческой мантии в мантию доктора — возвращаются обратно.

Там же, в Оксфорде, в Bodleian Library (библиотеке Бодлея) хранятся в витринах манускрипты Шекспира и первый оригинал:

Mk. William
Shakespeares
comedies,
histories &
tragedies.

А в другой витрине — детская погремушка Шелли, его часы, книга Софокла и медальон с двумя локонами: локон первый — черные волосы Марии, его невесты, и локон второй, белокурый, голубоглазого нежного Шелли. Здесь — по этим же плитам Бодлея — ходил Шелли. The Bodleian Library — одна из старейших общественных библиотек в Европе, основана Гимфреем, графом Глочестера, и открыта в 1444 году при Генрихе VI. В 1597 году сэр Томас Бодлей ее реформировал. Эта библиотека в истории своей тесно связана с Божественной Школой. До сих пор она стоит, как прекрасный орган, построенный в пять корпусов, ее стены — их кладка органическими трубками, все здание уносится и поет в эти пять веков. Всего в Оксфорде 67 колледжей. Все они, как монастыри, посвящены какому-нибудь святому или евангельскому событию, все старинны (за редкими исключениями), все построены по одной системе и одним стилем. Колледж обязательно обнесен стенами, очень часто в стенах башни с бойницами, кровли стен усыпаны битым острым стеклом,

чтобы нельзя было перелезть через стену — в средние века студенты враждовали с мещанами и студенческим колледжам приходилось обороняться в стенах от ярости возмущенных ремесленников. Ведь студенты привыкли жить королями города — это и приводило к недоразумениям. И до сих пор дошло это «королевство». Кембридж и Оксфорд существуют для студентов. Студенты задают тон этим городам. И в забавах своих не стесняются. Так, оксфордский экзаменационный колледж обнесен стеной, где на цоколях бюсты великих людей. Студенты, разбушевавшиеся на пирушке, всем «великим людям» отбили носы и оторвали уши.

Внутри колледжа двор, обнесенный крытой галереей, посреди двора просто лужайка, или газон, или же газон с фонтаном. В каждом колледже своя библиотека и большая, готическая столовая для студентов и профессоров, и огромные кухни, где помимо современных плит, сохранились старые очаги и вертела. Везде образцовая чистота. На втором дворе колледжа — внутреннем — разбит маленький парк, часто с беседками, с прудом, с лебедями и обязательно с площадкой для тенниса.

Английский студент в Оксфорде — аристократ или богач, или то и другое вместе. Первые два года своей университетской жизни он живет светскими удовольствиями и спортом. Это — блестящий виван, оживающий только на гребных гонках или на теннисе, веселый с женщиной, и ленивый с книгами. В России никогда таких студентов не водилось и не будет водиться. В третий год кое-как получается диплом. Не было случая, чтобы кто-нибудь не кончил колледжа. Единственное препятствие к этому — «безбожное поведение». Чти бога, короля и старших — и все остальное приложится к тебе. Вот основная заповедь такого студенчества. Они проводят молодость в колледже, чтобы завести здесь хорошие знакомства и связи. Если вы заглянете в спальную студента, то вы не должны поражаться — как в восхитительном порядке вычищены и уставлены, точно солдаты в строю, стоят 18 пар различной обуви на все случаи жизни английского молодого джентльмена. Для нас это необычно, странно и как будто... преступно. Но там другая порода людей. В этой монастырской тишине, в этой свободе, довольстве, незанятости, отсутствии всяких обязательств, кроме светских, воспитывается юноша, который прежде всего должен хорошо устроить свою жизнь. Отсюда рождается уверенность и «непогрешимость» английского аристократа, предназначающего себя к государственной деятельности. Для такого общества важны три доктрины: бог, король и нравственность. Мне вспоминается по этому случаю большой литературный обед на 150 человек, данный в честь приезжих гостей Р.Е.Н. Пен-Клоб — это международная писательская организация, в президиуме которой лучшие имена английской литературы. Когда нас торжественно пригласили на обед, то просили приготовить речь. Когда же обед наступил, то оказалось, что речи отменены, и председатель обеда — известная современная английская писательница Ре-

бекка Вебст, — ограничилась простым приветствием. Не побоялись ли английские литераторы, могу я думать, что мы — писатели Советской России, забыв английскую тактичность, вздумаем ниспровергать английские основы — бога, короля и нравственность? Среди присутствующих были Голсворти, Уэллс, Невинсон, Гарнет, Стивен Грем и проч. Интересно, что многие писатели, с которыми приходилось беседовать, беседу свою начинали с религии. Это — английская традиция, так же как вопрос о делах и о погоде. Очень сильно интересовались они современным положением церкви, ее расколом и сектами. Дамы главным образом спрашивают о браке. Между прочим — это наболевший английский вопрос. Вопросы брака и развода у англичан — как в средневековье: это, конечно, не мешает никак падению нравственности, для безнравственных — это родит лицемерие, для честных — муки. Понятие английских женщин о «большевистском» браке самое юмористическое. Так, одна английская писательница, очень умная и тонкая, с каким-то тайным, сочувственным вздохом спросила меня:

— Правда, что у вас свободная любовь?

Я поспешил ее уверить в этом.

Вернемся к университетам.

Кембридж более демократичен, чем Оксфорд. Число колледжей приблизительно одинаково. Они также готичны, с тем же укладом, также монастырски построены. В каждом из них маленькое студенческое общество из сотни или полутора ста человек, живущих старым бытом, установившимся несколько веков тому назад. И страсти студенческие — пунш, дама, трубка, гребля — все те же. К этому, пожалуй, прибавилось одно новшество — это мотоцикл. Иметь свой мотоцикл — признак хорошего тона. Вот внешнее новшество, всосавшееся в студенческий быт, где даже студенческие лакеи одеты в курточки XVIII столетия.

Кембридж стоит в садах и в воде.

Если вы просмотрите целую серию открыток, изображающих Кембридж, то почти во всех вы непременно наткнетесь на узкие гонимые лодки — и парочку в лодке: студент и молодая лэди. Это — тоже кусочек быта, настолько прочный, что он даже отразился в такой современно-механической штуке, как фабрикация *post-cartes*.

Встречаться с дамами и девушками можно только вне дома. Дома же вас принимают только в салоне.

Это юмористика — но надо же выход...

И выход найден — в лодке.

Один прекрасный обычай и еще о бродячем актере

Англия почти не имеет праздников, кроме воскресений. Работа же и жизнь в больших городах, несомненно, изнашивает организм. Организм требует смены. От работы — к воздуху, к природе, к безде-

лю. Это учли англичане. И потому в субботные дни, зимой и летом, англичанин уезжает за город. Там занимается спортом, гуляет, отдыхает у моря, купается в купальный сезон. Эти окрестности часто бывают под боком. Часто носят дурную славу, как лесные уголки для влюбленных парочек. Но дело не в этом, дело в обычае. Обычай же — целесообразен.

Кроме этих субботних вик-эндов (концы недели), когда везде — в заводах, конторах и банках работа кончается в 2 часа дня — в английском календаре существуют еще праздники: это бенк-голидей (банковские праздники). Сперва они были устроены только для банковских клэрков. Но в Англии, коммерческой стране, если не работают банки, должно остановиться все. Постепенно бенк-голидей стали праздновать все. Голидей бывает два раза в году — весной и осенью. Весною этот праздник протекает вяло. Земля еще холодная, не прогрелась, зелень бледна, купаться невыносимо. Но конец августа и начало сентября — лучшая пора в Англии. В этот осенний голидей отдыхает вся трудовая Англия. От всех городов, по всем направлениям в загородные морские местности идут специальные поезда с удешевленным тарифом. Там на море в одних купальных костюмах, разувшись, лежат в песке, купаются, горят на солнце, сидят часами.

Праздник этот продолжается обыкновенно от 3-х дней до 2-х недель, в зависимости от отпуска. По всей Англии к этому празднику производится осенняя распродажа во всех английских магазинах. Это называется sale — базар, распродажа — со скидкой от 15 до 30%. Рабочие и служащие запасаются новыми вещами на голидей и на зиму.

Осенний голидей я провел на севере Англии за Кардифом, в небольшом морском городке Бэрри (Вагг-Док). От 5-го до 10-го сентября на морском берегу, в песке, в зелени, в камнях стоял непрерывный гомон и шум. Каждый день приезжали битком набитые поезда. Берег кишел людьми. Собралось на берегу около полутора ста тысяч народу. Лежали, курили, пили тут же. Море пестрело купальщиками. Торговали сладостями, съестным, водами, чаем раскидные палатки, прибрежные ресторанчики. Кабинки, где раздеваются, брались с боя. Но большинство раздевалось тут же на берегу, так как никаких кабинок не хватало. Тысячи детей устраивали игры. В море шли увеселительные яхты. Наверху берега, на холме, играли оркестры, крутились карусели, качели всевозможных сортов, стреляли в тирах, бросали мяч, выжимали тяжести, смотрели фокусников, снимались на автомобиле у бродячего фотографа-моменталиста, играли в рулетку, в летающие яйца, пускали в воздух шары... и пили, несомненно, пили, но вот — я не видел ни одного пьяного, уткнувшегося по российской привычке куда-либо ничком, носом в лужу.

10-го берег был уже пуст. Только сотни бутылок, мириады окурков, клочки бумаги, кучи апельсиновых корок дожидались зимнего прибоа, чтобы вылизать и смести в море весь этот праздничный сор.

Так прошел на Бэрри-Айланд праздник.

Актеры собирают свои ящики и тоже уезжают обратно в города.

Кстати об актерах и о пресловутой английской нравственности.

В Англии еще сохранились бродячие труппы. Правда, старинный репертуар маленьких уличных пантомим сменился скабрзными военными песенками, шимми и фокстротом. И нередко на улицах Лондона, в какой-нибудь из боковых улиц, где меньше движения, останавливается пестрая компания из пяти, шести человек. Под передвижной органчик, они поют свои песенки и танцуют. Больше убожество, большую нищету, наверное, трудно увидеть. Лица испытые, кожа да кости, эти вот кости выкрашены в невозможный грим. На теле еле держатся кое-какие яркие тряпки. Юбки у женщин выше колен, под юбкою почти нет белья, низкий корсаж. Они парочкой танцуют канкан, припадая к мостовой, падая, закидывая ноги за голову, а кругом стоит чинная толпа джентльменов, внимательно разглядывающая все прелести этого танца... все чинно, никто не улыбнется, будто они слушают воскресный хорал.

Холод этого уличного развратца неприятен.

Благочестивая Англия или английская романтика¹

Вот конспект этого дела.

Место действия — Лондон, тихий, приятный квартал, где дома с садами, точно коттеджи, а в садике между серебряных лип площадки с подстриженной для тенниса травой, а за площадкой маленькая, уже пальца, гряда, на которой сам хозяин дома, для своего собственного удовольствия сажает кресс-салат, чтобы потом, после милого обеда с 2—3 друзьями, приглашенными скоротать по-семейному вечер, похвастать этим самым друзьям о салате, о необычайном урожае салата, которого хватает на все домашние потребности. Кресс-салат так вкусен с крепкими, сваренными вкрутую яйцами или с ветчиной.

Один из таких домов принадлежит мистеру Томсону.

Мистер Томсон каждый день меняет белье, раз в неделю, в воскресенье, после обедни дарит своей жене подарок — медальон, брошь, духи, патентованный несесер или что-нибудь из дамской мелочи. В прошлое воскресенье он подарил ей модный зонтик, очень короткий, длиною в два локтя, с модной ручкой из тигровой кости, добытой в Мадрасе, где женщины темны и вкусны, как шоколад. Но мистер Томсон никогда не видал таких женщин — 55 лет своей жизни он провел в Лондоне, никуда не выезжая, лишь постепенно повышаясь по общественной лестнице. С 10 лет, т.е. с того

¹ Материал взят из недавнего процесса в Лондоне по обвинению миссис Томсон.

момента, когда всякий дельный мальчишка начинает считать себя сознательным и начинает спекулировать хотя бы пробками, он передвигался от Ист-Энда до центрального Сити, пока не сколотил солидный текущий счет в U.K.V.L. Тогда ему стукнуло ровно полсотни, в этот же день он сделал предложение мисс Хилл — розовой, провинциальной девушке из Дэвоншира. Дэвоншир — прекрасный округ, он поставляет хорошие овощи и красивых, нежных и, пожалуй, не в меру мечтательных девушек. Последнее исключительно следует поставить в вину дэвонширской природе, ее лучам, паркам и ручьям.

Ежедневные приятели мистера Томсона по ресторанчику «Старая Британия» не без основания считали, что мистер Томсон был счастлив в браке, ибо за все 5 лет брака они всегда встречали его в ровном настроении, он никогда не забывал менять блистательные воротнички и все пуговицы его костюма крепко держались на принадлежащих им местах. Кроме того, мистер Томсон никогда не жаловался на жену, она никогда не называла его ни старым дьяволом, ни стоптанной туфлей. И если были между ними маленькие недоразумения, то и их можно насчитать не более двух за все эти полдесятка лет. Да и тогда причины к этому были совсем микроскопические — мистер Томсон забыл переменить в библиотеке роман. А миссис Томсон считалась страстной любительницей чтения и глотала романы быстрее шоколадок.

В одно утро мистер Томсон был найден в кровати мертвым. Миссис Томсон еще более побледнела, еще более сделалась мечтательной, но вся ее печаль ограничилась трауром.

Но даже приятели не могли требовать от молодой вдовы большего.

Бедняга Дик все-таки был ей не парой.

И когда опущен был гроб в одну из тщательнейших могил Хейгетского кладбища, друзья спокойно одели цилиндры и, проводив вдову до дому, отправились в «Старую Британию» помянуть покойного Дика ежедневной порцией, от которой, наверное, и он бы не отказался, если бы сумел воскреснуть из гроба, уподобившись благочестивому Лазарю.

Прошло некоторое время.

Все было бы спокойно. Но что не делает на Западе власть денег, когда человек в погоне за шиллингом может сбежать десять раз туда и обратно от Саучильза до Ливерпуля?

В одно утро мистер Томсон был найден мертвым. В другое утро миссис Томсон было предъявлено обвинение в отравлении своего мужа. Дело было возбуждено родственниками, искавшими добычи в наследстве.

Пришлось потревожить покой старого Дика. Вскрытие установило в желудке мистера Томсона присутствие джина и мышьяка. Миссис Томсон была арестована.

Вместе с нею был арестован ее любовник, молодой юноша 23 лет, корреспондент одной газеты. Родственники тоже обвиняли его в соучастии. На суд была представлена вся их жизнь, вся переписка миссис Томсон и юноши, которого она любила в течение 2-х лет.

Вся Англия с жадностью накинулась на процесс.

Любовники были посажены в тюрьму.

На суде выяснилось, что миссис Томсон, нежная, мечтательная, влюбленная и ждущая — не получила от «бедняги Дика» той любви, той романтики, о которой мечтает всякая молодая женщина. «Бедняга Дик», во 1-х, был старенок, во 2-х, происходил из людей совсем иного сорта, чтобы вертеться у дамской юбки, как бы она ни была мила, кроме того, днем он был занят делами, а вечером не в меру *утомлялся* в «Старой Британии».

Жене он счастья дать не мог. Она тосковала три года, удовлетворяясь воскресными подарками.

На четвертый год она встретила юношу. Между ними началась тесная, хорошая дружба. Оба были молоды, оба были связаны общими интересами к мечтательности, к любви к прекрасному. Так тянулось год. Но любовь должна была чем-то завершиться — и, *переступая заповедь* английского господ бога, в один очень уютный, незабвенный вечер, после долгих, нежных ласк — они стали любовниками. Они благословляют этот день. Он в первый раз узнал женщину, она же в первый раз почувствовала — что такое любовь.

Если есть седьмое небо, то им оно казалось девятым. Так в этом романе, в дружбе, в любви, в романтике жили они на девятом небе. Они принуждены были скрывать, так как развода мистер Томсон ей не дал бы. Все это было мучительно, тяжело, но непреложно. Общество не потерпело бы такого позора. Человек может быть должен смиряться, но для себя, только для себя, для своего внутреннего мира им хотелось любви и счастья, и они жили затаенно, как мыши, не показывая никому о том, что, наконец, это счастье найдено, хотя иной раз обоим хотелось крикнуть об этом на весь мир от восторга. Когда юноша должен был по поручению своей газеты уехать на несколько месяцев в Новую Зеландию, они еженедельно обменивались длинными письмами, записочками, фотографиями, засушенными цветами — более сантиментальной и нежной, более пылкой и необыкновенной переписки еще не видело ХХ-е столетие. Казалось, что мир только голубой, что солнце — необычайно, что любовь единственное, чем живет вселенная, что вся вселенная втиснута в любовь, как рука в перчатку. Казалось, что старые мифы о Дафнисе и Хлое, о Поле и Вирджинии вновь посетили мир.

Вот впечатление от их рассказов на суде.

Они не отказывались от любви, они сознаются в этом, но со слезами, с криками, с клятвами отрицали свое участие в отравлении. Миссис Томсон вела себя геройски, она всячески старалась вытеснить юношу из дела. Но суд был против этого, суд утверждал, что если он ее любовник, то тем самым он является ее соучастником. Они говорили: «Мы виноваты во всем, кроме отравления. Мы любовники, а не убийцы».

Присутствие мышьяка в желудке мистера Томсона, миссис Томсон объясняла тем, что мистер Томсон лечился мышьяком (это показывал и пользовавший его доктор), — и что, по всей вероятности и в тот несчастный день, употребив с приятелями джину через край, он несоразмерил дозу и в мышьяке.

Дело темное. Никто ничего не мог бы тут сказать или доказать, если бы не одна, случайно промелькнувшая, фраза в одном из писем миссис Томсон к ее возлюбленному:

— ...*надо его удалить...*

На основании этой фразы суд обвинил их в отравлении. Миссис Томсон со слезами на глазах объясняла, что в этом письме к своему милому она писала об аборте, и что из всего содержания письма видно, что оно не относится прямо к мужу. Суд признал иначе. После этого все дело повернулось иначе.

Только женщины способны на героизм. Миссис Томсон хотела отвести страшную кару от той головы, которую она так любила — и всю вину, *целиком* — приняла на себя. *Суд не согласился к этим. Суд приговорил обоих к смертной казни.*

Любовников, потерявших чувство, вынесли из судебной залы.

Они сидели в одной тюрьме, но в разных камерах. Они думали только друг о друге. Друг другу писали ласковые записки, чтобы поддержать, утешить и приласкать в эти последние дни друг друга.

Ее родственники хлопотали перед королем и просили помилования. Король отказал.

Мать его писала королю. Она писала, что он ее единственный сын, ее единственный свет, ее надежда, что он наивен, нежен и совсем не преступен. Она просила только об одном короля, чтобы он даровал ему жизнь. Он еще молод, он может вынести долгие годы тюрьмы... Но главное жизнь, жизнь.

Король отказал матери.

Приближался день казни. Они сгорали в разных концах тюрьмы, снедаемые камнем, любовью и страхом.

Она не выдержала. Она послала умоляющее письмо к властям, чтобы последнюю ночь перед казнью им позволили провести вместе.

Но власти медлили. Власти искали палача. Ее письмо было оставлено без ответа.

Ранним утром, густым рыжим туманом, их обоих вывели на тюремный двор, к двойной виселице. Это было их обручение. Там, перед смертью, они поцеловались.

Чудесная скрипка

Милой Зое.

Это было в Англии, в провинции Уэллс, в черных кварталах, где живет уголь и докеры. Уже второй месяц в доках шла забастовка — бастовали ирландцы, сингалезы и англичане, были тут и индусы с Бомбея, и негры с Конго, и даже русские — все бастовали, потому что в таком деле нет различий. И если иной раз в кабаке под пьяную руку кой-кто кое-кого и пырлял ножом по рукоятку, так это было в пьяном деле, это было тогда, когда они различали друг друга, т.е. англичане не любили индусов, ирландцы вечно дрались с неграми, а сингалезы, после крепкой порции джина, на русских боках пробова-ли силу своих кулаков, все это было очень давно, когда еще никто из них не думал о забастовке, все это было очень-очень давно, когда еще можно было ходить в кабаки, а в лавчонке покупать жареную на оливках рыбу; но ни в кабаки, ни за рыбой вот уже никто не ходит второй месяц, и даже не второй, а скоро третий месяц пойдет этому — вот в этот-то третий месяц все они забыли о разном цвете своей кожи, о своих языках, ибо все они стали докерами, только докерами... Тогда они решили, что дальше ждать нельзя, что в черных кварталах перемрут дети, что джин замерзнет в кабаках, что желудок разучится принимать пищу, а жены забудут мужей, руки отвыкнут от работы, а кожа сама, как у ящерицы, слезет с костей.

В черных кварталах, где жили докеры, было очень голо, каменно, грязно. Линиями тянулись, как казармы, дома, такие одинаковые, что легче различить гвозди из одной пачки, нежели распознать эти дома без номера; во дворах не было ни одного кустика, только по субботам пестрело повешенное для просушки на веревках замытое кое-как белье голодных, потому что ведь воду они не покупали, и если деньги, отпускаемые из союза, приходилось пенсами рассчитывать на хлеб и если хлеб в лавочке не отпустят даром ни на фартинг, то за воду управление могло еще дожидаться, словом, в воде экономии не было.

Днями пекло солнце. Правился на улицах асфальт. У домов бега-ли голые дети, просили молока у матерей. Но фургоны с молоком уже месяц, как перестали ездить в черный квартал.

Докеры ждали. Они надеялись сломить упорство корабельных контор. Конторы надеялись сломить упорство докеров.

Бой долгий, немой, длился. От этого становилось только страш-нее, но ни на капельку легче.

Эдвард Диксон — управляющий главной конторой — через своих агентов передал забастовщикам:

— Вот наше последнее условие: чтобы через три дня все встали на работу, иначе все будут рассчитаны окончательно, прогульное время оплачено не будет, мы идем навстречу, мы прибавляем шиллинг к недельному жалованью. Что вы хотите? В противном случае — ворота доков будут закрыты для вас навсегда. Я так сказал!

Эдвард Диксон был очень тверд, он даже не горячился, отдавая это приказание. Эдвард Диксон брил усы, а из-под подбородка на шее вместо бороды рос у него огненно-красный клочок джутовой пакли. Эдвард Диксон был несколько похож на Иуду, 35 лет, звали его в доках Рыжим Иудой... Это было очень давно, когда он только что начинал здесь службу младшим клэрком и по приказу управления в осенних расчетах при каждом недельном расчете обсчитывал каждого докера на 5 шиллингов, так как этих расчетов было 6, а докеров в округе в те времена — 27 тысяч, то управление в результате этой несложной бухгалтерской операции получало довольно сложную сумму в 40.500 фунтов стерлингов... Это было очень давно. Нынче он главный агент.

Докеры думали сломить упорство Диксона. Но Диксон был крепче стальных тумб, к которым канатами притягиваются суда. Диксон не привык сдаваться. Каждые 2 часа он давал телеграмму на Лондон своей компании. Компания запрашивала, министерство осведомлялось у своей группы в парламенте, и когда парламентская группа в черных строгих сюртуках, с розовыми, вымытыми до лоска, затылками, одобрительно кивала министерству, тогда министерство дружески поддерживало компанию, а компания телеграфировала своему главному агенту Эдварду Диксону —

«не уступать ни на йоту».

Так вилась твердая, неразрывная, спаянная цепь. Отдельные смельчаки, пробовавшие в одиночку разорвать звенья этой цепи, падали под палками полицейских, потому что полицейские — честные, несокрушимые, большие, — получая маленький, но верный кусок от компании, министерства и парламента, служили честно компании, министерству, парламенту.

Ночью — аннамиты с Кохинхины и сингалезы в негритянском квартале в старых домах Ричмона, где днем продаются старые тряпки, а с вечера торгуют телом негритянки, там между тюков с хлопком и старыми тряпками они устроили митинг. Там же Джон Блэк, их лидер, при свете огарка, так как за полчаса до митинга полицией были перерезаны электрические провода от станции к этому кварталу, говорил так:

— Черные, темные и белые друзья. Мы не хотим больше ждать, пусть нас подобьют, как голубей на джентльменской охоте, но ждать больше нельзя. В доках стоят пустые суда, но на путях полные составы с углем, баллоны с парафином и нефтью, мы должны все это пустить к дьяволу. Отступая сейчас, мы стали бы уступать и дальше. Человек, отошедший назад на две пяди, отойдет и на четыре, а потом и

совсем обратится вспять. Поздно, друзья. Надо кончать теперь или никогда...

И аннамиты с Кохинхины, и сингалезы, и случайные белые, попавшие на этот митинг цветных, бешено обивали ладоши, крича сотнями голосов своему лидеру Джон Блэку с Конго: «Так, Джон. Ты прав».

Они уже построились в десятки, чтобы стройно, рядами выйти из кирпичных складов Ричмона и пойти к докам, зажигая на пути огнем поезда, мосты, пристани, краны, уголь и нефть.

Тронулись в темноте ряды, шуршат по асфальту сотни отчаянных ног, как шиллинги, блестят с неба ночные звезды, в рядах кашляют, хрипят и кричат. Массы черные, твердые, как кардифский уголь, идут к черным кварталам, и из тьмы кварталов, из камня переулков вдруг выбросилась в ночь, в тьму, в наступающих отчетливая перебежка дисциплинированных ног, а за перебежкой от кварталов, от переулков сухая дробь полицейских карабинов. Дрогнули в темноте ряды, сверкнули веером огни, и снова затушила их дробь полицейских карабинов и вода из пожарных шланг залила их, шуршали по асфальту струи воды, стучали о камень стен пули, ряды побежали, проклятие несло в улицах. Джон Блэк был пойман.

Через трое суток суд вынес ему приговор — казнь.

В четвертую ночь неизвестно кто разбил главную контору. В кварталах полицейский не рисковал появляться в одиночку — ходили только тройками или парочками, и часто по кварталам проезжали тихой рысью конные полицейские, тогда из окошек квартала высывалась чья-нибудь кудлатая и голодная голова, чтобы крикнуть конным вслед:

— Козаки!

Но конные не оборачивались. Они получали жалованье от компании, министерства и парламента, и не обращали внимания на пустяки. В доках собрались толпы детей, с корзинками. Они подходили к кораблям и выпрашивали у матросов еды, матросы наполняли корзинки объедками, а детей кормили остатками супа.

Докеры в черных кварталах кричали: «Ленин», и не сдавались.

То, что не сумел бы придумать Эдвард Диксон, придумало министерство. Об этом оно сообщило по телефону парламенту и банкам. Парламент и банки — редакция своих газет. А газеты на следующий день известили всей Англии:

— Ленин — нечестный торговец. Он не верует в бога, он гонит бога, он презирает справедливость, он, если вы передадитесь ему, обокрадет вас и наполнит вашу страну фальшивой монетой. Он нарушает права Британии. Мы должны объявить ему войну.

Правительство разослало по стране агентов, вопивших на площадях, на станциях, на дорогах, на фермах — о войне, о мести, о защите свободы и культуры против полоумных и фальшивомонетчиков.

Каждый день в каждой газете прибавлялось по два добавочных бюллетеня. Вагоны поездов, улицы, кафе, бары и мюзик-холлы были забиты газетными листками. Световые рекламы на центральных площадях торговой части столицы кричали со стен о войне. Фунт стерлингов десять раз в день подымался и падал на бирже. В дипломатических миссиях шушукались дипломаты с сыщиками. Банки совещались с правительством. Приемные доски на телефонной станции отмечали работу телефонов парламента, банков, миссии, министерства. В гуле государственной машины не слышно было отдельных голосов, телефонные барышни перестали соединять частных абонентов. Машина была пущена вовсю, страна дрожала, как стены завода, поставленного на полный ход.

В эти дни никто не вспоминал о докерах. По черным кварталам стали похаживать вербовщики, приглядываясь к рекрутам. Ножи прожекторов резали небо над страной. Статистические фонографы, поставленные во всех углах империи, отметили в эти дни, что из 100% сказанных в стране слов — 87% относились к войне, 10% к революции и 3%... к любви.

Компании доков, промышленников, вначале примкнувшие к правительству, потом испугались и не знали, что им выбрать — войну или уступки, но, успокоенные правительством, пошли за ним. Правительство обещало им осторожность, льготы и военные заказы. А об остальном позаботится полиция.

В эти дни никто не хотел подумать о черных кварталах, предполагая — что люди там, действительно, подобны углю, хоть он и крепко и горючо, но покорен кирке и лопате.

Но в эти же черные дни, в этих же черных кварталах случилось что-то необычайное.

На стенах вдруг появились белые афиши. Их спокойно расклеивали подростки, держа под мышкой пачку афиш, в одной руке ведро с клейстером, а в другой кисть.

А полицейские, улыбаясь, чинно шагали мимо.

В афишах было напечатано:

Завтра 1-е мая
МИСТЕР САМУЭЛЬ

и

ЕГО СКРИПКА

приглашают всех друзей

и

граждан

послушать его игру

на

Большом поле,

в 3 часа дня

В черных кварталах хорошо знали мистера Самуэля, он был другом докеров, он беседовал с докерами о Ленине и о странной, пре-

красной стране, которую зовут Советами, но еще лучше, чем языком, он беседовал своей скрипкой. Докеры любили музыку мистера Самуэля, он волновал их музыкой, она действовала на них крепче джина, от нее сильнее кружилась голова.

И не только в кварталах, но даже по всей стране мистер Самуэль слыл за великого музыканта, оригинала и чудака, а его скрипка — за необычайную, чудесную скрипку.

В день, назначенный мистером Самуэлем, на Большом поле сошлось до 75 тысяч народу. День был тих и солнечен. И от каменных стен, окружавших поле, хорошо собирался звук, так что музыку мистера Самуэля могли слышать все собравшиеся. Тихо стояла толпа, не дыша — точно мертвая, сжав глотки, уткнув глаза в землю и выставив из-под шарфов уши, чтобы лучше слышать. Две тяжелые бочки с парафином были поставлены в центре поля, стоя на них — играл мистер Самуэль. Он играл старые английские песенки о сварливых королевах, отрезавших носы своим подданным, о королях, вытасненных из окон дворцов и тут же обезглавленных разъяренной толпой, он играл о бунтах, о походах, о революциях, когда вскипает человеческий дух, что вода на хорошем огне.

Толпа распутывала шарфы. Видно было, как кровь приливает к затылку толпы, как среди тишины вдруг кто-то, не удержавшись, вздохнет, а за ним вздохнут и все остальные разом, будто по команде, и от этого ухает эхо в стенах.

А мистер Самуэль все играл.

И от его игры толпе становилось все теплее, все жарче, точно костры разжигал он в поле, а не играл на скрипке.

Вдруг в несольких концах поля послышались возмущенные крики и одинокие фигуры из этих концов стали пробираться к бочкам, стоя на которых играл мистер Самуэль. Эти фигуры кричали так:

— Эй, скрипач! Кончай свою болтовню. Разве ты не знаешь, что мы накануне войны? Или ты тоже идешь за предателями, или ты за золото продал свою родину? Завтра будет война, а мы вместо того, чтобы собираться в батальоны, развесили уши... Довльно предательства...

Эти фигуры были агентами правительства. Они продолжали кричать, но мистер Самуэль остановил их движением смычка.

— Я? Я никого не предаю. Я только играю песни. Я никого не продаю, я только отдаю самого себя им. Я не знаю, о чем кричите вы. Сдается мне, что о войне. Сдается мне, что вы хотите усласть их всех в русские снега. Зачем — чтобы они замерзли... Против кого — против себя же. Друзья мои, вам незачем туда ходить, у волков крепкие клыки и быстрые ноги. Вас предают войне, чтобы не слышать вас. Вас продают, зная — что смерть — выгодный для них покупатель. А я, я только играю песни. Я музыкант, а они слушатели. Слу-

шайте, друзья, я сыграю вам про Ленина... Нет, про вас самих я сыграю сейчас.

Он заиграл Интернационал.

Тут встали толпы, двинулись, пошли и впереди всех шел, играя на чудесной скрипке, мистер Самуэль.

Они шли по проселкам, по местечкам, по городкам и городам, и к ним присоединялись рабочие с ферм, и фабрик, и заводов. Стояла пыль над толпами, а они все шли, как заколдованные. Префекты не знали, что делать, они выносили им пищу, потому что если бы их не накормить, то они все смели бы на своем пути. Так они пришли в главный город, в торговую его часть — с криками: «Ленин!»

15-го они остановились на огромнейшей площади, от которой веером растекается пять широких улиц. На этой площади стоит колонна, а в четыре стороны от этой колонны четыре британских льва. У каждого льва встало по оратору и каждый в площадь, в улицы в человеческий океан крикнул одно:

— Мы не пойдем воевать с Лениным. Пусть только еще раз заикнется об этом правительство, и мы завтра же разорвем его в клочья.

Толпы в один голос отвечали: «Верно!»

У них была одна общая глотка.

В этот день в городе умолкли банки, министерства, компании.

В этот же день правительство капитулировало и во всем уступило победителям.

В пылу победы толпы не заметили одного: мистер Самуэль и его чудесная скрипка были захвачены переодетыми полицейскими. Мистера Самуэля бросили в тюрьму. Он просил только об одном, чтобы ему в камеру дали его скрипку.

Но чудесная скрипка была разбита полицейскими о камни тюремного двора.

Это было в Англии...

Зрелища Англии

Зрелища — отдых джентельмена.
(Из английских разговоров).

Англия. Лондон. Сырые, тоскливые дни. Центр города — собственно отдельный город — Сити — сердце, от которого бегут нервы. Улицы центра — Стренд, Пикадилли, Оксфорд-стрит. Стены — плакаты о зрелищах, в несколько сажен. По вечерам светящиеся рекламы, разыгрывающие, путем переключения тока на лампочках — целые сцены.

Лондон имеет 5 видов зрелищ, совершенно равноправных: ипподром, кино, бокс, мюзик-холл... и театр.

О театре можно говорить меньше всего. Англичанин не заботится и не думает о театре. И о шекспировских традициях театра Елиза-

веты — никто не помнит. Так же, как и о Шекспире. Шекспир при-
ткнулся где-то на задворках Лондона, в предместье, где «ревнители»
старых традиций показывают еще публике классику. Но если на эти
спектакли смотреть с русской точки зрения, то и в смысле постанов-
ки, и в исполнении — они не выше, а может быть даже и ниже рус-
ского любительского спектакля в Чухломе. Этот шекспировский
театр преимущественно имеет свою местную, рабочую публику —
публика центра, одевающая с 7 часов вечера ивнинг-дресс, вечерние
туалеты, цилиндр, не рискует туда заехать.

В больших театрах центра господствует легкая комедия. Гвоздем
минувшего летнего сезона была пьеса Дж.Барри (автора «Белой
птички») в 3-х актах — «То, о чем знает каждая женщина». Тема
ее — любовь парламентария, выбившегося из низов студента, печаль
его нелюбимой жены, взятой замуж по обещанию, торжество рафи-
нированной аристократки, делающей ему карьеру — но финал, ко-
нечно, приносит победу жене. Английская комедия так же лицемерно
целомудренна, как и английский быт. Любовница — всегда по-
срамлена. Комедийка эта — очень простая, милая, литературная, с
хорошим теплым юмором — как и все вещи Дж.Барри.

В большинстве же театров пьески типа американского, — «Пота-
ша и Перламутра». О них не стоит и говорить.

За последние два года большим литературным успехом пользует-
ся исторические пьесы Дринквотера, особенно пьеса его «Оливер
Кромвель». Но для постановки пьес этих большой сцены найти
нельзя, и автору приходится ютиться в небольшом театрике Восточ-
ного Сити у Кингс-Кросса. Зритель, привыкший к шутке и к куре-
нию папирос в театре, на серьезные пьесы не ходит. Большие же те-
атры считаются только со вкусом публики.

Театр вполне заменен Мюзик-холлом. Программа — обозрение,
варьете, акробатика. Можно пить чай, кушать фрукты, курить.
Самое излюбленное развлечение англичан. Самый первый мюзик-
холл Колизеум вмещает 15 тысяч зрителей. Другой из известных
мюзик-холлов «Палладиум» — более «демократичен» и несколько
меньше по вместительности.

Кино: — фильмы английские и американские. Немецких нет.
Кинематографы Сити, как театры — с партером, бельэтажем, ложа-
ми, балконами, ярусами. За Темзой и в Ричмонде — кино меньше.

Фильмы — действия непрерывной динамики, стихия авантюры,
никакой психологии

Антрактов нет. В некоторых кино — вокальные номера и кон-
церты. Музыка плохая.

В фильмах, по-моему, перепроизводство ковбоев. Нравы цело-
мудренные — герой в бурю не осмеливается зайти в дом, где спит
девушка, его невеста, и укладывается во дворе, под дождем.

Чарли Чаплин — герой комического. В Уайчепеле много говорят
о своем герое. Гордятся тем, что он воспитанник его мусорных улиц.
Там у кабаков он научился боксу и пинкам. Там же научился спо-

койствию и каменности у джентльменов, терпеливо ожидающих на ступеньках открытия дверей кабака. В Лондоне кабаки закрыты до часу и с 3-х до 5-ти. В рабочее время.

Уайчапель — еврейский квартал Лондона. Недавно, в последний приезд Чарли из Америки в Лондон, там его широко приветствовали, пробивая затылки друг другу палками.

Другой герой английского кинематографа Джеральд Ллойд (Herold Lloyd). Его у нас совсем не знают. В этом одна из ошибок моды и капризы успеха. Юмор Джеральда — мягче, красивее, элегантнее, нежели кулаки и застывшее спокойствие Чарли. Джеральд — умный и культурный актер. Ему по праву принадлежит первое место в Англии. Чарли же — счастливый и талантливый тупица.

Это очень похоже и на успех литературы.

В России огромным весом пользуется Уэллс. В Англии же он ничто, по сравнению с недавно умершим Томасом Харди, которого англичане называют «новым Диккенсом». Мы же не имеем почти ни одного перевода Харди.

О боксе и скачках — подробностей не знаю. Знаю только, что боксеры и наездники зарабатывают от 15 до 50 тысяч фунтов стерлингов в год. Цифра — заманчивая даже для английского министра. Лучший бокс, первого класса — в мюзик-холле «Ипподром». Фамилий боксеров не помню. Англичане же очень их уважают и чтят. Каждая газета, вне зависимости от направления, обязательно каждый день печатает отдел бокса и портрет кого-либо из первых боксеров.

В Брикстоне есть специальный боксерский кабачок, где боксеры сражаются не по заказу, а для тренировки в своем благородном искусстве.

Из боксеров сейчас — 50% черных.

Из скачек — самый знаменитый и торжественный в Англии день — это Дэрби. В этот день играет вся Англия. Все газеты полны статей и скачковых подсчетов. В день Дэрби падает курс, потому что биржа замирает. На Дэрби сотни тысяч народу, букмекера в старинных костюмах, в фантастических цилиндрах, где написано: «Ваше счастье в *Папирусе*». «Папирус» — имя лошади. Нередко эти бродячие букмекера удирают с деньгами. В Лондоне у букмекерских контор в эти дни стоят хвосты за покупкой билетов. Играют все — начиная от портье и кончая первым министром господина короля. Да и король, конечно, тоже играет. Лошадь, взявшая Дэрби раз, в следующий год не может быть поставлена в список кандидатов. Жокей, чья лошадь берет приз, получает в подарок, помимо наград, кошелек с золотом и хлыст, осыпанный бриллиантами.

Дэрби — 6 июня. В этом году первый приз взят — «Папирусом». Второй — «Фарэ» и третий — «Парс».

Скачки и Дэрби — это главное, пожалуй, массовое зрелище Англии. Сюда же относятся и спортивные состязания. На последнем весеннем футбольном матче за Лондоном, где присутствовало свыше

100 тысяч народа, где был и король, обрушились новые трибуны. Произошла паника. Много жертв. Нечто напоминающее «Ходынку».

Русское театральное искусство за истекший сезон было представлено «Летучей Мышью» Балиева, двумя концертами Шаяпина, весенним и осенним, в одном из поместительнейших мюзик-холлов около Риджент-стрита, и хореографическими концертами Анны Павловой, гастролирующей по всей Англии, вплоть до Кардифа — царства угля, доков и шахтеров Уэллса (западная провинция).

Большим успехом этим летом пользовались французские гастролеры во главе с Сашей Гитри, ставившие комедии в небольшом театре на Оксфорд-Стрит.

В октябре ожидается приезд в Лондон 3-ей студии Художественного театра. Труппа же Комиссаржевского, пробовавшего организовать зимой правильное русское театральное дело в Лондоне, кончила прогаром.

В июле месяце на одной из аристократических улиц Лондона — Нью-Бон-стрит в художественном салоне была устроена выставка Сорина — «Десять портретов». О выставке много писали. Один из портретов («Девушка в тюрбане») был приобретен и уже поставлен в одном из лучших музеев Англии, Fitzwilliam Museum — в Кембридже.

Немножко странно было видеть на мольберте коричневатобелый, изящный картон Сорина среди монументальных работ Винчи и тяжелой фламандской школы.

Вот все зрелища — все новое Англии этого лета.

Тайна мистера Бэкши
(*Английский импрессионизм*¹)

Посвящается M-rs B.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот рассказ о мистере Бэкши — моем спутнике по поездке в Германию. Мы провели с ним много хороших дней в Потсдаме и в Берлине.

Несколько слов о мистере Бэкши. Родом он из крымских евреев. По русскому паспорту его фамилия — Бакшеев. Учился в Казанском университете, в 1907 году эмигрировал в Англию, как политический эмигрант. За границей очень быстро отошел от политики и втянулся в жизнь европейца. До 1920 года жил в Лондоне. В 1921 году приехал в Москву. Женился на чудной и милой девушке, и через два месяца вместе с нею вернулся в Лондон.

Мистер Бэкши — известный английский театальный критик. То, что это не мифическое лицо, а живое — свидетельство тому его

¹ Кстати: — молодые английские новеллисты бредят нынче Чеховым.

последняя театральная работа: Modern Teatr., изданная в Лондоне в 1923 году.

Книги его вы можете найти в пыльных и путаных каталогах Британского музея.

Мистер Бэкши — немножко устал и разочарован, немножко заражен тем английским сплином, что по Пушкину просто «русская хандра». Он часто и хорошо думает о России, но думы его не действительны, а просто милы, как красивый фарфор.

Этим летом я встретился с ним в Лондоне. От него на 3 месяца уехала жена — отдыхать в Корнволл, на запад Англии. Он очень любит свою жену. Но в этот срок — произошла у него встреча — желание — любовница, словом, этого не назовешь... *Любовь* тоже сюда не годится...

И вот на корабле мы болтали о женах и любовницах. Это — какая-то неясная нам обоим тема рассказа, это просто — *тайна*, вложенная в книжку, между листами, как засохший цветок, напоминающий о приключении юности.

«Stockport» идет уже 19-й час. И девятнадцатый час качает Северное море. Волны сырым туманом, как из пульверизатора, добираются до верхней палубы — и окна кают мокры. Палуба та, что к северу, мокра и так же — будто сейчас льет дождь.

В smoking-ruom сидит мистер Бэкши. Ушел в кожаный диван. Рядом в кесе рукописи. Он пересматривает их лениво. Сегодня он еще не выходил на палубу. Пароход полон больных. Если смотреть в окно на тент средней палубы, то видно, как она, вдруг подскочив, медленно тянется вверх к небу — выше дыма, бегущего штопором от корабля, то опять углом ухает в воду и, идет, чертя зеленую пену по воде.

Мистер Бэкши читает. На руке (на правой) — кольцо. Он его только что одел, потому что едет в Германию, в Англии же у мужчин не принято носить обручальные кольца. Он курит с большими перерывами толстые, короткие папиросы. Это из зеленой коробочки. Рядом с ним апельсиновые корки. Иногда он бросает папиросу и начинает медленно чистить апельсин. Ест, собирая косточки в ладонь. И потом смущенно ищет — куда бы их кинуть. Не найдя — кидает прямо на пол.

Он смотрит — как вертятся верхние части кресел. Это от качки. Ибо качка идет кругом — бортовая и килевая.

И думает:

— Я не ел уже 18 часов ничего, кроме апельсин.

Но то, что он ест — дает ему возможность переносить качку. Он улыбается — и думает о Лондоне, об аркадах около главного суда — темных, белых, пришедших еще от феодалов. Там, под аркадами, в последний лондонский день он говорил с той, которую, может быть, назовут его любовницей. Но это непонятно. И около, шагах в десяти за ними следили два полисмена. А под аркадами было насорено.

Когда они вышли, она не хотела сесть в такси, в то, что было из очереди, стоявшей напротив, у церкви.

Она сказала:

— Они смотрели.

И дальше на улице взяли первый, свободный. Шофера не было. Он вышел из погребка, малиновый — готовый лопнуть, серые глаза спутницы мелькнули испуганно и она сказала:

— О, — он совсем пьяный...

Но они поехали. Автомобиль путался по Лондону, не зная, где их выбросить. Этого Бэкши не помнит. Только одно осталось — как горела щека у щеки...

Когда он думал об этом, в smoking вошел какой-то комми, англичанин, но с лицом ярославца-парнишки, и спросил его: «В каком часу — обед?» Бэкши сказал: — «В семь»... Англичанин повторил: «Семь». И вышел.

Опять один. Ему — хорошо думать. Ему хотелось бы написать письма: жене и той. Бэкши любит жену, жизнь с нею — как невыпитая бутылка вина, до дна еще далеко. Он получает от нее неясные, девичьи письма (девичьи — в наивности, в женских глупостях и провалах, которые он любит; любит же их потому, что сам он — тихий, медленный и умный человек).

Бэкши думает об обеих. Ему хотелось бы обоим написать письма об этом. Но он знает, что Полли он напишет все, а жене — никогда не напишет о Полли. От этого ему немножко смешно и страшно. Он вспоминает жену, когда она была еще девушкой — и когда они говорили о правде, дружбе и верности, и потом, что каждый из них должен всегда прийти к другому, рассказать, чтобы все понять, чтобы все объяснить, ибо в них большие сердца и большая дружба.

Он сейчас думает о своем приятеле — и тех сплетнях, что вчера на пересадке к Гримсби, на станции Редфорд рассказал ему один их общий знакомый.

Ему немножко грустно и совестно. Лучше думать о женщинах.

Опять о жене. Почему сюда пришло — это неясное и темное — скрытность. Не два ли круга нашей жизни в этом. Т.е., что для кольца и в кольце и то, что за кольцом. И какой брак ни создавать, если будет сознаваться, как брак, трещины из внешнего выйдут. Ему — писателю, вот это — сегодняшнее — интересно ощущать, как писателю только. Но душа, гнется также влево и вправо на 45°, как стол от качки, на котором он пишет. Мир странен, любовь еще страннее. Он вспоминает последние дни с Полли, когда пришел в Лондон шквал, и когда все вместе (т.е., он — Бэкши, Полли и ее муж, Полли ведь была замужем) или порознь они пытались разобраться в этом. Шквалом — назвала она свою любовь к мистеру Бэкши. Вместо разъяснений оказалась ложь. И с этой ложью он уехал. А когда вернется — чувствует, что родится другая ложь. Хорошо только минуты. Когда она, уйдя в один шопот, в одно дыхание, в ночи, в смятых простынях, в рассвете сером сказала тихое: —

«Ты знаешь, у меня это первое, большое, непонятное, то, что я неслла, может быть, целые шесть лет, когда жила с мужем, не любя и не отдаваясь, вдруг все ухнуло, пошло... Я люблю только тебя одного, маленького, ласкового»...

И дальше неясный, томительный обряд, минута тишины, усталости и любви.

Вот, может быть, и это тоже уйдет. Уйдет тогда, когда они разучатся понимать друг друга. Если стараться разгадать эту странность — ничего не найдешь. А, ведь, такая сила, и кровь — как руда, большое желание и большой смысл.

Куда же это все уходит потом... точно сливается, как вода с палубы.

Мистер Бэкси пробует встать. На ходу думается легче, но полкаюты толкает в сторону и он опять ложится на диван и думает о родине, от которой он почти отвык.

Мистер Бэкси вспоминает тут другую женщину, недавно встретившуюся. Ей — лет 35. 20-ти лет она выехала из России со своим мужем-англичанином. 15 лет жизни развернулись, как в географии, на серию карт: Япония, Корёя, Ямайка, Канада и, наконец. Англия. Ее родители — сибирские купцы, старинные, кондовые, с той стариной, что не меняясь, проходит через века, как осьмиконечный раскольничий крест все тот же. Но вот через 15 лет она встречается с русским. И этот русский русскую в ней не может признать. Она уже не так сидит, у нее чужие, нахватанные манеры, она говорит с акцентом и даже думает по-английски. Сейчас, получив от мужа «деворс» — развод, она заботится только о детях, отданных в одну из известных провинциальных школ. Это — ее жизнь. Она не поедет никогда в Россию, Россия ей — чужда.

Мистер Бэкси спрашивает себя: где же закон крови, сила земли той, что нас подымает, те места, где впервые ребенком мы начинаем понимать смысл и красоту деревьев, травы, неба. Ибо русское небо все-таки русское и никаким другим быть не может.

Есть в физике закон энтропии, т.е. закон необходимой потери энергии, уходящей в пространство. Если бы не было этой дыры в соотношении космогонических механизмов, и все, пущенное, мы могли бы собрать в какую-либо особую лейденскую банку, то этой энергией можно было бы существовать столетия.

Но этого нет, и не будет. И вечный mobile — работа. Жизнь — работой. Надо что-то отдать, чтобы найти другое. Т.е. так же, как жертвой покупается счастье. Любовь — тоже вечное, уходящее, выпускаемое, т.е. тоже лежащее в энтропии.

Бэкси встал. Собрал бумаги со стола. Вспомнил о Полли. Хорошо улыбнулся. Решил, что это письмо он может послать только Полли, а не жене.

Сказав — «пошлю», он снял бумажку с апельсина. На бумажке розовой и тонкой — написал: «Matildeta — quarantee of first guality».

Улыбнулся. И вышел на палубу. Качка продолжалась. Поминутно падал мундштук со стола. На часах стрелка подходила к семи. Волны, острее крыльев, на круглом море носились, как птицы.

Стюарт звонил в гонг к обеду. В коридорах кают плыл медный звон. Бэкши зашел к товарищу в каюту — рассказал ему о письме.

Товарищ смотрел черными, непонятными глазами. И когда Бэкши кончил рассказ, ответил ему:

— Человек — самое ужасное животное. Нет, зверь лучше.

Бэкши удивился:

— Это вы почему?

— Это... Так, впечатление. О непосредственности. Непосредственности нет.

Если бы ткнуть пальцем в рану, только что открытую, нельзя было бы сделать больше мистеру Бэкши. Бэкши вымыл руки, понюхал, как они пахнут от душистого мыла. Запах напомнил ему Полли. Вспомнил, что это мыло покупала ему Полли (—... наверное, она моется этим же...). Все это для того, чтобы сдержаться, но не одолев сдержанности, он сказал соседу:

— Вы думаете про чеховского Тригорина из «Чайки». Нет.

И, рассердившись на себя, на то, что пустился в разговоры и откровенности — мистер Бэкши пошел к обеду.

За обедом приборы стояли в клетках, качка еще мутила море. И за стол село только семь человек, восьмой капитан. Седые волосы и ласковая розовая кожа делали его похожим на рождественского немецкого деда. Он был ирландец и твердо выговаривал ч.

Капитан считал своей обязанностью разговаривать с пассажирами. Сегодня между рыбным и мясным, пока замешкались стюарты, он успел рассказать следующую историю:

— Когда я был молод, я плавал на океанских судах. В каждом порту у меня была своя птичка, и каждую я любил по-своему. И ни одной я не говорил худого слова. Только однажды черная Мэри из Манчестера обиделась, когда я назвал ее любовницей. Этого женщины не признают... не понимают, а может быть не признают. Не знаю, как сказать вернее.

Вечером качка прошла.

Бэкши сидел в теплой большой каюте. В открытую дверь на палубу глядело ночное, как шелк, море. В каюте светило много ламп. От света становилось деловито, покойно и радостно.

Бэкши сидел в кресле. Заказал стюарту «басс». И пока пилося это горькое и холодное, точно иголки, пиво, он думал о жизни, о том, что теплей и ясней встать самому в кольцо — и мир, и любовь — поставить за это кольцо, что лучшее и благодатное чувство, — это чувство одиночества. Он думал о родине, о революции, о тяжелом и легком своей страны, о жене, — думал о том, что ему надо иметь от жены ребенка и что его жена прекрасна, он думал и жалел о том, что она перестала быть той романтической девушкой, как тогда, когда была русская весна, русский теплый апрель и когда в одну тихую ро-

зовую ночь они стали близкими и как потом она прислушивалась к его шагам на каменной лестнице.

О чем ни думается, когда медленно тает дымом в руках папироса.

Уже показалась Эльба — входили в устье. Горели маяки и сигналы. Море шумело по-старому, как тысячу лет назад — и также вперед на тысячу. Мистер Бэкши сложил листки в карман и решил — *письма не посылать*.

А в это время, в Лондоне, на очень скучной и копченой улице, та, что называли его любовницей, лежала в кровати, вспоминала данные им ласковые имена и думала о Зеленом Острове.

Зеленый Остров — это было условное место встречи у моря, в песке и солнце — туда, к ней, куда он должен был вернуться на обратном пути в Англию. В соседней комнате спал ее муж. Она же боялась шевельнуться, чтобы цветом глаз, чтобы движением даже не выдать как-нибудь свою тайну и свое ожидание.

Над морем и над землей в этой полосе пела ночь. Тоже тайна, как всякая тайна мира, большая и прекрасная. О тайне не расскажешь, не докажешь ее словами. Надо поверить.

Когда мистер Бэкши укладывался спать, он опять думал. Думал же он целый день потому, что был одинок. И как всегда по старой привычке шутил с собою, и улыбался самому себе.

— Хорошо вспоминаются только минуты. Минуты, минуты... Горе тому, кто будет их длить годами.

Простыни были сырые, холодные. Завтра утром он проснется в Германии. Письмо же не будет отослано, оно останется там, в кезе, где лежат газеты, мыло и бритва.

Перед сном, даже засыпая, бредилось о любви, непонятной и темной, как море. И такой же неверной и зыбкой. И о шквалах.

Через четыре месяца, в одно зимнее, ясное утро, мистер Бэкши был счастлив безмерно. Он наслаждался счастьем, он плавал в счастье, как в теплой ванне, приготовленной дома заботливой, нежной рукой.

В это утро жена сказала ему:

— Милый, у нас будет ребенок.

1924 г.

Письма из Англии

Палец собственника

Арнольд Бенет, остроумный автор многочисленных, насыщенных бытом романов, в одном из них делит всю Англию на два класса людей. Одни каждый день берут ванну. Другие моются по субботам в большом тазу. Это меткая шутка. Но роман написан лет двадцать тому назад и с тех пор стремление заменить таз ванной разрослось, перегнало предложение.

Не только в деревенских коттеджах, но и в городских закоулках, где ютятся люди, живущие физическими трудами, далеко не всегда есть ванны.

Зато они есть в каждом из новых домиков, которые вырастают сейчас, как грибы по всей Англии. За пять последних лет их выстроено около полумиллиона и все-таки жилищная проблема продолжает беспокоить консервативное правительство, как она беспокоила либеральное и рабочее.

Тут не только ванны, но основная потребность иметь благоустроенный дом и быть в нем хозяином. Между тем домов не хватает и цены на них разошлись с заработками. Это острый вопрос для всех классов и поэтому все политические говоруны превращают жилищные споры в орудие партийной борьбы.

Сейчас вспыхнул довольно любопытный спор между Болдвинным и трэд-юнионами.

Премьер сказал, что одной из причин недостаточного количества новых построек является замкнутость союза строительных рабочих. Они очень хорошо оплачиваются, но боятся конкуренции и неохотно принимают новых членов.

Спрос на руки, при общей безработице в этой отрасли, все время превышает предложение.

На это секретарь союза строительных рабочих дипломатически ответил, что они принимают новых членов всегда, когда найдут это нужным.

Но и помимо рабочих, вся постановка жилищного вопроса в Англии полна трудностей, правовых наслоений и технической нескладицы. Начать с того, что городская земля принадлежит немногим счастливым.

В Лондоне до сих пор не распались границы старых поместных владений. Около парламента царствует герцог Вестминстерский, около Британского музея — граф Бедфорд и т.д.

Они не продают участков, а чаще всего сдают их в аренду, правда, иногда на 99, а иногда и на 999 лет. Получаются очень сложные

формы владения, стесняющие предприимчивость и частных строителей и городского управления.

В Лондоне рабочие теснятся в маленьких запущенных неустроенных комнатухах, а в соседней более нарядной улице средний класс, да отчасти и высший пропадает, раздавленный размером своих домов и комнат.

Маленькие дома ценятся дороже больших, да их и нет почти на рынке. Семья в 4—5 человек, по английской статистике, это среднее количество жителей на дом, размещается в 5—6 этажах, в каждом по одной или по две комнаты. Поддерживать чистоту, бороться с углем и копотью Лондона, содержать и найти прислугу — все это очень трудно.

Несмотря на традиционную любовь к отдельным домам, хозяйки мечтают о квартирах. Их очень мало. Надо бы взять ряд домов и вертикальное расположение повернуть на горизонтальное, т.е. растянуть квартиры по этажам. Это делается, но очень медленно, неудобно, дорого. Отдельные части старых больших домов сдаются по очень высоким ценам. Еще дороже стоят квартиры в специально построенных зданиях.

Квартира в пять спален в хорошем квартале ценится фунтов в 400 в год и больше. А дом можно найти за 200, включая немалые городские налоги. При этом квартирные дома выстроены без всякого умения экономить место и свет. Половина комнат обычно темные, окнами в узкие дворики.

Так и хочется послать английских архитекторов на выучку к нашим русским, или вообще, к строителям квартир на Континенте. Кстати, и отоплять жилища, может быть, они научились бы.

Мне недавно пришлось обедать в доме миллионеров. (Это со мною редко бывает, но иногда все-таки случается.) Когда мы после обеда проходили через огромную переднюю, отделанную мрамором и красным деревом и два ливрейных лакея раскрывали перед ее лэдишин (по-нашему «сиятельство») двери в гостиную, бедная хозяйка, у которой на шее висело целое состояние, ежась в своем черном кружевном платье, сказала:

— Это ужасно, какой у нас холод.

Ей, англичанке до мозга костей, кажется, что холод в доме такое же стихийное явление, как холод на улице.

Новые полмиллиона домов построены гораздо хуже старых и в такой же легкомысленной уверенности, что в домах не может не быть холодно, не может не быть сыро.

У нас под окнами выстроили целый ряд небольших домов. Стены тонкие, верхние полтора этажа просто из досок, снаружи черепица, внутри штукатурка и больше ничего. Стоят прямо на земле, без подвалов и без фундамента. И это даже для богатых людей, стоят они около 5000 фунтов и то не в собственность, а в долгосрочную аренду.

Как же выстроены все те дешевки, которыми сейчас покрывается Англия, как грибами? При этом климат здесь такой сырой, что серебряные вещи чернеют недели две после чистки, булавки и стальные кнопки в бумагах ржавеют, а у жителей чуть ли не у всех поголовно ревматизмы и шишки на ногах.

Но ни улучшать постройки, ни отоплять их англичане не торопятся. Не та у них психология.

Можно ли строить дома на новый фасон, если скреплять сделку на дом надо тем же способом, как это делалось еще до появления в Альбионе римлян — приложением к актовой бумаге большого пальца правой руки?

Среди рабочих высших категорий — углекопов, железнодорожников, каменщиков и т.д., среди мелких конторских служащих, многие уже успели приложить к купчей палец, многие обзавелись собственными домиками. Тем более, что кредитные строительные товарищества дают широкий кредит.

Прочие всего будет такое правительство, которое даст возможность наибольшему количеству людей припечатать свой палец к домово́й купчей крепости. Это куда более важная задача, чем тот земельный вопрос, который пытается поставить Ллойд Джордж. Англичанин, по существу, горожанин, даже когда он живет в деревне: ему довольно безразлично, есть ли, куда выгнать куренка или нет.

А вот стать на пороге своего дома и сказать — мой дом, мой замок — это он очень оценит.

Продолжая парадокс Арнольда Бенета, можно разделить англичан на тех, что уже приложили палец к купчей, и на тех, кто об этом еще только мечтает.

28-1-26. Лондон.

Джером Джером

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский R.E.N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества.хлопоты насчет визы и расходы по поездке клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спастись в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услышал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел в комнату среди почтительно расступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть, какой вы, позать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука, — настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, не писателя со всемирной славой.

1927 г.

Английские впечатления

1

Изумительная своею гладкостью широкая дорога спускается извилами с Чилтернских холмов. Обширный пейзаж открывается нам на короткое время: мягко очерченные группы деревьев, цветущие сады, тихая речка, зеленые луга, нежно туманившийся горизонт. Сельская Англия — прекрасная, с огромной заботливостью содержимая, благоустроеннейшая страна. Быть может, на некоторый вкус уж слишком заботливо содержимая, уж слишком благоустроенная. В лесу на дереве висит телефон, и в ста верстах от столицы по асфальтированной тропинке, бегущей рядом с шоссе, совсем городская нянька спокойно катит детскую коляску. И стоящий на перекрестке среди полей полицейский, совсем как в Лондоне, готов остановить для нее движение быстрых машин. Прелестная небом своим и воздухом, украшенная роскошью зеленых лугов и статностью столетних развесистых деревьев, английская деревня, это все же странная деревня на взгляд русского человека.

Удобства английской деревни говорят о многолюдности ее. В пейзаже английском всюду видно жилье — улицы однообразных поселков, фермы, имения. Кто-то из англичан сказал, что величайшая опасность для английской деревни — это любовь англичан к деревне. Городской человек в Англии мечтает о деревенской жизни, о завершении деревенским отдыхом городских трудов. Мечта не несбыточная вовсе и осуществляемая многими, может быть даже уж слишком многими, в размерах и формах и трогательных, и смешных, и милых, и уродливых. Проезжая по Франции точно видишь, как пустеет деревня и как Париж притягивает к себе людей. Здесь, напротив, не собирается в кучу, но безмерно и беспримерно располагается Лондон, расширяет без конца предместья свои и пригороды, но и этого мало: люди текут из него по всем железным и мощеным дорогам, расселяясь в деревне, заселяя с недеревенской плотностью ближайшие части Англии, готова для всей страны в недалеком уже будущем какую-то новую часть жизни не сельской более, но и не городской.

Подальше от Лондона, однако, на высоте Оксфорда жилье попадает несколько реже. Пустых, неогороженных земель и здесь, правда, нет, но тут все же владения человеческие разделились и разгородились довольно широко, без мелочности и лизерности нынешнего экономического поселка. Зажиточные отдельные фермы окружены садами, и зелень парков указывает господские имения. Мы приближаемся к Тюсмору. Уже совсем, как в России, величавая и

заброшенная аллея старых вязов увела нас через гулкий деревенский мостик вправо от шоссе. Белый классический дом на просторном зеленом лугу бывшего парадного двора, увы, не скрывает своей обреченности: его правая часть сломана. Под многообхватными дубами расположилось десятка два машин. Дом полон гостей, очевидно, не званых хозяевами. Через три дня пойдет здесь с молотка все, что наполняет эти комнаты — мебель эпохи королевы Анны, фарфор, сотни картин, книги в библиотеке. То, что похуже, снесено в службы, но будет продано тоже и это, — разная домашняя утварь и кухонная посуда, и даже какие-то простыни, и одеяла, и чучела птиц, и коллекция минералов, и детские игрушки, среди которых нашелся заводной органчик сороковых годов. Кто-то из торговых гостей завел его и вот исполняет он один за другим гимны, заканчивая их нашим Боже Царя Храни.

Распродается в Англии не один Тюсмор. В определенные дни страницы «Морнинг Поста», «Таймса», «Манчестер Гвардиана» полны бесчисленными объявлениями о продажах домов и угодий сельской Англии. Содержимое этих домов продается изо дня в день в Лондоне в десятке аукционных зал. В то время, как новый городской человек стремится по-своему заселить деревенскую Англию, наследственный ее обитатель распродает свое добро и исчезает неизвестно куда. Продаются фермы времен Тюдоров, палладианские дворцы XVIII века с парками, прудами, оранжереями и охотами, продаются исторические средневековые замки, такие на самом деле подлинные и такие странно театральные в газетном об их продаже объявлении.

Распродается и меняется не только одна сельская Англия. Пройдитесь по Лондону, по той части его, которая своим милым и суетным именем Мэфер напоминает всегда о прелести Лондона тем, кто познал эту прелесть. В окрестностях Баркли Сквэр и Гровнор Сквэр продается или отдается внаймы каждый второй или третий дом. Не только торговые улицы, как Пикадилли или Риджент, быстро теряют свой характер. Вот и Парк Лен разрушается на наших глазах. Проезжая мимо Дорчестер Гауза я не мог каждый раз не смотреть на него без содрогания. Дом обречен на слом. После смерти его последнего владельца Голфорда, два года назад, была продана его замечательная коллекция картин. Затем аукционные залы постепенно продавали гравюры, мебель, фарфор, книги. Последнее объявление предлагает желающим покупку того, что еще можно выломать из стен Дорчестер Гауза — мраморные каминные, лестничные, подоконники. Стены эти скоро рухнут, чтобы уступить место вульгарному, дорогому американскому отелю.

Меняется облик английской жизни, меняется конечно и сущность ее. Меняется прежде всего потому, что *здесь есть еще чему меняться*. После выезда из России я жил в Германии, в Италии, во Франции. Нигде, однако, не вспоминалась мне так, как в Англии прежняя русская жизнь, благодаря одной черте ее, которая только в

одной Англии кажется еще не утраченной. Эту черту трудно назвать правильно, мне несколько страшно назвать ее *барством*, ибо этому слову дается обыкновенно осудительный смысл, и все же это слово ближе всего сюда подходит. В Англии сохранилась еще «барская» жизнь, в том смысле, в каком она была знакома нам в России и вовсе не в том, в каком является она достоянием лишь очень богатых людей в Германии, во Франции, в Италии. Понятие «джентльмэн», как и понятие «барин» в России, ведь вовсе не равносильно понятию богатый человек. Англия остается еще далекой от американского упрощенного взгляда на вещи, согласно которому значение человека расценивается размером его доходов или наличием капиталов. Этот взгляд с большей легкостью прививается на континенте, нежели на Британском острове. Я несколько не хочу сказать, что англичане большие бессребренники. Напротив, совершенно ясно, что «барский» или «господский» уклад их жизни свидетельствует прежде всего об относительно высоком имущественном и материальном ее уровне. Англия богата. Да, но не богатством все же гордится англичанин и не богатство считает он критерием достоинства.

Быть может, «барская» жизнь, это всего только некий ритм жизни, ритм неторопливый, можно сказать медленный. Париж после Лондона кажется нервным и беспокойным городом, и улицы Парижа веют лихорадкой, очевидно все тою же «золотой лихорадкой» американизированной фортуны. Лондон просыпается поздно. В домах Мэфера и Бэзуотера многочисленные слуги выглаживают разнообразные наряды и готовят обильные брекфэсты. В почтовом отделении на Олбемарль стрит в десять часов утра позевывает одинокая дежурная барышня. Лавки Бонда и Пикадилли больше, гораздо больше, похожие на лавки Петровки и Кузнецкого моста, нежели на лавки в окрестностях Вандомской площади, нехотя открываются. Перед полуднем в окнах клубов на Ст.Джемс и Пэл-Мэл появляются прочно засевшие в глубокие кресла джентльмэны, рассеянно просматривающие утренние газеты. Перед лэнчем Бонд стрит и Пикадилли особенно оживлены. Толпа элегантна, нетороплива, она у себя дома. Здесь гуляют, как гуляли в Петербурге и в Москве и как разучились гулять в Париже и в Берлине. Американцы, американки не чувствуют себя здесь, в этой толпе, теми всемогущими существами, какими чувствуют себя в других странах, на других улицах. Они здесь «элемент» слегка комический, слегка неприятный, иногда вульгарный, иногда снисходительно приятный. Если хотите узнать о лондонских огорчениях богатейшей американской четы, прочтите последний роман Льюиса Синклера — «Додсворт».

Признаюсь, я не без удовольствия читал об этих светских разочарованиях четы Додсворт, принадлежащей по своей роли и главным образом по своим деньгам, к тем «хозяйевам положения», на которых работает в Париже столько моих соотечественников, изготовляя для них платья, напитки, кушанья, зрелища, безделушки. Отчего, думалось мне, лондонский Мэфер не заставляет испытывать ни смуще-

ния, ни неприязни, ни неловкости русского эмигранта, прогуливающегося по его стогнам с пустым карманом, в то время как все эти досадные эмоции выпадают на долю американского автомобильного магната, покинувшего свой родной Zenit с солидным аккредитивом на лучший банк? Отчего немного ленивая и несомненно праздная «барская» жизнь, протекающая в домах западного Лондона, так естественна для нас, так нам знакома, что мы можем войти в нее без малейшего усилия, тогда как чем-то едва ли не «феодалным» и «средневековым» кажется она для бессмысленно и тупо проработавшего весь свой век американца?

Я знаю отлично все «отрицательные стороны» этой жизни. Я знаю, что вывески о продаже или сдаче внаем украшают те самые дома Мэфера, куда по вечерам еще съезжаются красавицы с лицами Ромнея и Гэнсборо, и где блещут еще огни многолюдной «парти» на старом серебре, которое скоро перейдет в аукционный зал Кристи или Хэркома. Я знаю, что леность клубов, многочисленность приглашений, длительность «уик-энд» не способствуют энергии делового ритма. Живущая барской жизнью часть Лондона работает мало, работает вероятно плохо. Она слишком ценит досуг, она не упустила еще несвоевременного по нынешним временам представления, что человек живет для собственного своего удовольствия. Английский джентльмэн, русский барин познаются прежде всего по этому представлению, идущему вразрез с нашим веком.

Мы слишком хорошо знаем, к каким результатам приводит «барская» жизнь и какими бедствиями прерывается жизнь «для ради собственного удовольствия». Все это так. Грозят ли подобные результаты Англии, суждено ли милому Мэферу испытать те же бедствия? Бог весть. Едва ли все-таки Англия обречена революциям и катастрофам, хотя дух перемены веет в ней ветром, все свежающим и свежающим и достигающим уже многих «баллов». Ветер этот опрокинет многое. Если и не достигнет он силы бури, вероятно все же сметет он прочь и в этом последнем убежище Европы последние явления барской жизни.

Она, конечно, осуждена на исчезновение неизбежным ходом событий. Зная это, не закрывая глаз на малую ее сопротивляемость иному порядку вещей, не будем все-таки возводить на нее напрасной клеветы. Пусть большевицкому воображению рисуется барская жизнь в виде пьяного толстяка во фраке со сдвинутым на бок цилиндром, обнимающего одной рукой полуголую женщину, а другой сжимающего бутылку шампанского. Предоставим советским людям завистливо мечтать о такого рода «барском житье», а также и осуществлять его посылно в кабаках Парижа и Берлина. Не будем упрекать «барина» и «джентльмэна» и за то, что слишком большое внимание уделяет он внешности. Да, внешность жизни, форма жизни — великое дело, ибо без нее не находит себе выражения и образ жизни. Этот образ жизни определяют ведь вовсе не деньги, но признаки воспитания, последствия образованности, привычки,

вкусы и склонности, сложившиеся в кругу людей и событий, в разнообразии путешествий и впечатлений, в чтении книг.

Писатель, ученый, серьезный журналист, художник, имеющий больше заслуг перед своей родиной, чем перед перекрестком Монпарнаса, — все они принадлежат в Англии к обществу и участвуют в «господской» и «барской» жизни. Для нас русских в этом нет ничего удивительного: так было в России. Но это не так на континенте, где под влиянием Америки складывается теперь своего рода общество, грубо построенное лишь на размерах дохода или капитала. Да, здесь, к этому «обществу» принадлежит, пожалуй, лишь тот писатель, ученый или художник, который «ездит в Довиль» и на сем основании считает себя «баринном». Пусть и утешится он этим в том денежном кругу, который наивно верит в свое не знающее вчерашнего дня джентльмэнство...

Английский писатель и английский ученый не только «господа», но и «интеллигенты». Не замечательно ли это, что в единственной из европейских стран, в Англии русское слово, русское понятие, «интеллигенция» глубоко вошло в жизнь, стало совсем своим! Не свидетельствует ли это, что «интеллигенция» есть некая производная от «барства», некий продукт барской жизни. Достоинства и недостатки «продукта» этого мы хорошо знаем. Утратив и барство, и интеллигенцию, мы, в качестве умудренных «историей» наблюдателей, всматриваемся в английскую жизнь, в которой так много мы узнаем «своего». Мы видим в ней и кающегося лорда и разочарованного промышленника-социалиста, и жажду «эмансипации», и всяческий бунт против устоев, и мучительное разгадывание смысла жизни и поиски человеческой и божеской правды. Все это отражает современная английская литература, и вот почему я не знаю другой литературы в Европе, столь же значительной, столь же интересной, столь же — я бы сказал — *понятной* для русского читателя.

2

Заговорив о современной английской литературе, я не собираюсь представить сколько-нибудь полный ее обзор. Сомневаюсь кроме того и в полезности таких обзоров. Читатель быстро утомляется, видя перечень имен, пробегая глазами краткие упоминания о книгах, составленные с должным для обозревателя «беспристрастием». Беспристрастие! Но стоит ли говорить «с непристрастием» о книге или картине, когда зачастую лучшие из них — воплощенная страстность, воплощенное «пристрастие»...

Современная английская литература весьма обширна. Наше время отличается большой шумливостью и пестротой. В этой шумливости отдельные голоса слышатся смутно, иногда лишь скорее как отдельные вскрикивания; в этой пестроте яркости сливаются в не имеющий цвета калейдоскоп. От всех технических усовершенствований слух наш не сделался более острым и мало выиграла наша

способность видеть вдаль. С берега Франции, столь недалекий «Альбион» виден неявственно сквозь плохо проницаемый покров своей сложной и переменчивой ныне духовной атмосферы. Я часто думал об этом в Англии. Моруа, например, считающийся среди французов «знаток» Англии, высказал об английской литературе в сущности лишь несколько довольно случайных и довольно поверхностных суждений.

С легкой руки Моруа на одно из первых мест выдвинута изящная писательница Вирджиния Вульф. Ее книги искусно написаны и крайне искусственно придуманы. В «Миссис Даловэй» все «действие» (действия, впрочем, решительно никакого и нет) происходит в промежуток времени менее одного дня. Это литературный фокус, конечно, образец которого ясен — все тот же слишком прославленный «Улисс» Джойса. Какая отталкивающая книга этот «Улисс»? Какая нечеловечная, несмотря на цель автора проникнуть как раз во все тайные уголки и извилины человеческого «психического» аппарата. Маниакальная пристальность этих «клинических записей» слишком многим из молодых писателей показалась замечательной и заслуживающей подражания. Но прибавила ли что-нибудь, серьезно говоря, к нашему опыту о человеке эта «регистрация» в огромном и скучнейшем томе всех еле уловимых ассоциаций мыслительного аппарата за один день?

В своей последней книге «Орландо» Вирджиния Вульф искусственна по-другому, но все в той же мере искусственна. Ее героиня продолжает жизнь от времен Шекспира до наших дней, меняя обстановку, наряды и даже самое свое отечество, становясь в угоду литературным обстоятельствам то мужчиной, то женщиной. Писательница в этом замысле нашла многие случаи забавных, умных, находчивых, иронических, а иногда и чувствительных словесных узоров. Но я не могу найти никакого очарования в «изящнейшей» этой и вместе с тем мертвенной книге. Ах, сколько же более волнительно может быть и не столь «декоративное», но более живое слово!

Но придет и для Вирджинии Вульф пора быть живее и проще. Влияние искусственностей Джойса понемногу убывает в Англии. Влияние его резкостей и беспощадностей, его склонности говорить о вещах, о которых недавно непринято было говорить, его привычки называть вещи «своими именами» — остается. И это конечно к лучшему: английская книга должна была освободиться, наконец, от смешных условностей, смешных «приличий» английского романа XIX века. Насколько освободилась она, это даже странно представить себе тому, кто не знал английской прозы далее Беннета или Голсуортси. У современного английского писателя (а может быть, более того — у читателя) есть как бы даже особый уклон к «вольности». Пройдите по улице Одеона в Париже. На правой руке, если идти к театру, там есть специальная лавка «передовой» английской книги на континенте. При смелости моральной, которая допущена ныне для книг, циркулирующих на острове, надо в самом деле нечто

весьма специфическое, чтобы оказаться книгой, изъятый из обращения в Англии. В окне книжной лавки на улице Одеона господствует, конечно, во всех видах «Улисс» Джойса, мелькает «Путь одиночества», написанный англичанкой, представляющей себе уединение вдвоем несколько иначе, чем это определено природой. Продаются запретные книги Д.Лоренса, писателя очень известного, беспокойно говорливого на тему преимущественно «проблемы пола» и вместе с тем несносного, неряшливого и, кажется, просто мало талантливого.

Остановившись у этого окна, я с удовольствием не нашел там «запретной» компании книги моего любимца Альдуса Хексли. Не верю в то, что «запретная» книга вообще может как-то двигать литературу и что большой и настоящий писатель, каким кажется мне Хексли, имеет необходимость в средствах высказывания, нарушающих «добрые нравы» своей страны. Тем более, что нравы эти ныне совсем уже терпимы, очень свободны. Книги Хексли, выходящие в Англии и зачастую в дешевых изданиях, содержат чрезвычайно волные места и весьма резкие страницы...

Не буду пересказывать содержания этих довольно уже многих книг. По большей части это сборники рассказов, очерков, заметок о путешествиях. Шутливый или вернее иронический его роман «Древний Танец» относится к годам, непосредственно за войной следовавшим. Сдвинутое войной со своих петель повседневное бытие никак не могло тогда обрести настоящей реальности: фигуры и события 1920 года так легко поддавались насмешливой, иронической и все же в основе своей к счастью очень «доброй» и очень душевной перерисовке и перетасовке, затеянной автором, по молодости лет любившим «Кандида».

Но вот большой роман Хексли, вышедший в прошлом году, «Контрапункт», изображающий жизнь, «как она есть», написанный с огромным и страстным вниманием к тому, «что она есть» — с таким настойчивым разгадыванием ее мучительного смысла, что чисто литературные достоинства книги здесь как-то отходят на второй план. Да, они есть, эти достоинства: автор умен, и слово послушно ему, и напряженность строк и страниц его книги, хотя и весьма неравномерная, в иных местах так велика, так убедительна, так человечна, как только надо того пожелать. Но может быть и не в этом дело. В «Контрапункте» Хексли, как показывает самое название его, проведены линии многих и разнообразных человеческих судеб, бегущие ярко и вдруг потухающие, мирные и трагические, выходящие плавно и ломающиеся углом, однако не ради того, чтобы образовать непроницаемый хаос, ибо подчинены они высшей воле, послушны таинственной музыке предназначения. В таком романе, в подобном замысле, не могла не отразиться нынешняя Англия, не мог не обрисоваться нынешний английский человек.

В залах торжественной резиденции на Пэл Мэл, в уютных «флэтах» западного Лондона, в очаровательных старых усадьбах на склонах Чилтернских холмов, в клубах, в редакциях, в лабораториях, в

итальянских ресторанах Сохо встревожены раздумьем люди Хексли, болеющие «сладким недугом» существования. Быть может, спокоен среди них лишь владелец дворца на Пэл Мэл, старый лорд Тантамаунт, старый чудак, забросивший лет тридцать тому назад дела и удовольствия ради подвигов чистой науки — великий ученый теперь, спускающийся одиноко по лестнице своего наследственного дома, блистающего модным концертом. Его спокойствие держится только на том, что он далек от всех людей, даже от близко к нему стоящих. Он не знает, что его жена никогда его не любила и что знаменитый художник Джон Бидлек, стареющий «лев» начала века, был ее единственной в мире привязанностью. Он не знает и опустошенную, отчаянную жизнь, которую ведет его дочь Люси Тантамаунт. Он не понимает того, что его ассистент по лаборатории Иллидж — коммунист, переполненный злобой и завистью, мечтающий о разрушении и почерпающий лишь силу ненависти в рассуждениях старого естествоиспытателя «идеалиста»...

Лорд Тантамаунт работает по ночам, являя пример бессильно бодрствующего добра. Но бодрствует и деятельное зло. В ту же ночь Люси Тантамаунт и коммунист Иллидж странно встречаются. Ее очередная «жертва» — молодой Уолтер Бидлек. После концерта их можно найти в итальянском ресторане в Сохо, в обществе литературных людей, очень много пьющих и очень бесстрашно рассуждающих о самих себе. Один из них сопровождает Люси и Уолтера по лондонским улицам после закрытия ресторана. Это некий Спандрель, ведущий намеренно грешную и нарочито грязную и «злую» жизнь. Люси охвачена желанием бродить без конца в эту пьяную и бессонную ночь, и Спандрель ради забавы, ради любопытства приводит наследницу славного рода в известный ему притон, где застают они коммуниста Иллиджа и других революционеров.

После этой ночи Уолтер Бидлек бросает для Люси женщину, которая ушла к нему от мужа и которая ждет ребенка. Но любопытство Люси лишь на короткое время занято этой вспышкой направленной к ней страсти. Скука владеет ею. Скоро Уолтер останется один и будет читать ее письмо из Парижа, где с таким откровенным, почти добродушным, бесстыдством расскажет она ему все подробности одной уличной встречи, окончившейся в грязном номере маленькой гостиницы... Его жизнь, едва успевшая начаться, кажется опустошенной. Но и вокруг него действуют разрушительные силы. Сестра его, очаровательнейшая Элинор, ее муж, милейший Филипп, так много понимающий в жизни, так благородно думающий и чувствующий писатель, вступают в опасную полосу «неизвестно откуда взявшихся» непониманий и неладов. Элинор придумывает назло философическому спокойствию Филиппа, назло своей как бы остановившейся жизни, увлечение Эверардом. Эверард Вэбли — человек действия, он занят спасением отечества и состоит главой могущественной национальной федерации молодых людей, устроенной по фашистскому образцу. Фигура «положительная» и резко отличаю-

щаяся от других фигур книги своею явною нереальностью. Видимо в современной Англии еще нет места для Эверарда Вэбли...

Фигура однако необходимая для автора, как явная антитеза «действию злу» Спандреля. Коммунист Иллидж ненавидит вождя федерации и теоретически доказывает необходимость его уничтожить. Но коммунист Иллидж труслив и подл, он сам никогда не решится на убийство. Спандрель, презирающий бессильное зло так же, как и бессильное добро, решается на это. Он равнодушен в сущности к Эверарду и к его «национальной федерации», но он совершает преступление, чтобы сделать последний опыт, чтобы бесстрашно ступить последний шаг на пути зла...

В книге Хексли является много других людей, проходят линии многих других жизней. Раздумия и рассуждения, которых не перечесть, занимают многие страницы большого тома. Искушенные в жизни и в мыслях люди — Филипп Кворльс, Марк Рампион, Спандрель, разговаривают о смысле всего сущего так много и так длинно, так беспомощно и так безвыходно, как не разговаривают в книгах даже «представители русской интеллигенции». Но вот в раздумьях и рассуждениях их выясняется главная тема Хексли. «Контрапункт» свой обретает он в душевной участи как раз самого несчастного и грешноаго из своих героев. Спандрель решил обратить в зло все, что даровано ему жизнью. Тем самым он борется с Создателем своим. После бессонной ночи в любовно-разбойничьем гнезде Люси Тантамаунт он признается вдруг, что «единственный путь к познанию Бога, это его отрицание». Страшный опыт совершенного им злодеяния это и есть по мысли автора отчаянная попытка вызвать над собою суд Божий и так *признать явление Бога* в последний час изломанной жизни. Решившись на гибель, Спандрель заводит на граммофоне квартет А минор Бетховена. И в священной музыке его он слышит, наконец, присутствие Бога за одну минуту до того, как вызванные им самим друзья Эверарда придут, чтобы убийством его отомстить за совершенное им преступление...

В воскресный, полный глубокого отдыха день, в малолюдном поезде, бежавшем к недалеким окрестностям Лондона, мы говорили о только что прочитанном романе, жалея и вспоминая печальных героев его, к которым привыкли, читая роман, как к живым людям. В Сэрбитоне мы сошли на станции, направляясь к столь неожиданно возникшей в этих местах русской усадьбе. На чердаке деревенского дома в крохотной домовый церкви шла обедня. Мы пришли к концу «Херувимской», к той трогательной части литургии, которая содержит прекрасный и глубоко таинственный диалог между священнослужителем и хором. Древняя красота нашего богослужения вновь поразила меня.

Следя за легким дымком ладана, вытекавшим сквозь открытое окно в бледное, дымчатое английское небо, я вспомнил снова мучительные страницы «Контрапункта». Спандрель, полагавший себя мятежником, восставшим на Бога, восстал в сущности лишь против

протестантской морали со всем ее арсеналом «греха» и «возмездия». Да, он, как и все другие его друзья-литераторы, как и сам Хексли, читали, конечно, Достоевского, но чтобы понять Достоевского, надо воспитанным быть в «иной вере» и слышать в детстве своем не обличения с кафедры протестантского проповедника, но вот этот священный диалог светлого литургического действия. Мне думалось о том, каким вообще глубоким пластом залегает «вера отцов» в условиях жизни народа. Персонажи современного романа Хексли весьма далеки от русла какой-нибудь определенной «конфессии». Они все знают, читали все, судили обо всем. Но в безмерной интеллектуальной их свободе скрыто где-то пленное бессознательное начало духовного роста. Все их свободнейшие умонастроения есть все же умонастроения, выросшие на исторической почве протестантской нации.

И мне думалось в стенах скромной домашней церкви Сэрбитонской усадьбы о том, каким духовным богатством, каким сокровищем древней вселенской веры владеем мы. В каком-то более глубоком аспекте, все что у нас есть, наши книги, наши искусства, наши навыки мысли и наши способности чувства есть, то более, то менее прямое, то более, то менее близкое выражение или отражение православного духа. Русская культура в глубокой и часто совсем невидимой основе своей есть православная культура. Православие роднит нас с очень древними «контрапунктами» славнейших гармоний, созданных человечеством. В романе Хексли один из теоретизирующих писателей, — Марк Рампион, охотно противопоставляет правду и силу язычества слабости и лицемерию христианства. Но то христианство, которое ведомо Марку Рампиону, — это не христианство Достоевского и Константина Леонтьева, это не наше христианство, и вот пущенные им критические стрелы летят в какую-то цель, но мимо нас. Наследие античности, ведь это не только фрески в Тарквинии, о которых грустит Марк Рампион... Да, для него это лишь литературная тема. Для нас мистериальная древность — часть нашей жизни, простое, полузабытое, детское воспоминание о лике иконы, об эллинском великолепии действий и слов литургии.

3

Но что же такое, наконец, современная Англия — с ее во всем усомнившейся пытливой литературой, с ее жадной новизны и перемены, с ее враждебной старым традициям интеллигенцией и заморающим в могучей инерции Сити, с ее барски равнодушным к своей участи Мефэром, с ее меняющей своего хозяина деревней, с ее переходящей от кризиса к кризису фабрикой — с ее обеспокоенным купцом, обезработившимся рабочим, обессилевшим парламентарием? Потерявшая вкус к власти, готова она всегда к двум противоположным политическим решениям, столь быстро призывая к управлению то ту, то другую партию, что очевидно, она не верит более ни одной

из них. Правительства и программы сменяются, но общая черта присуща им при всех их различиях — их слабость, их непрочность, их неубежденность.

В упомянутой прошлый раз новой книге Вирджинии Вульф есть одно любопытное место. Писательница изображает наступление XIX века. Облако спустилось на Англию, самый климат ее изменился. Туман сгладил все резкие и ясные очертания, которые были присущи Англии XVIII столетия. Начался дождь, распространилась сырость, зеленый плющ увил стены деревенских домов и в одинаковых городских жилищах, в их однообразных гостиных зажегся камин. Жизнь собралась к домашнему очагу, появилась и укрепилась мораль. Дети стали рождаться в изобилии. Женщина укрылась от искушений в броню тяжелого закрытого платья. Библия и торговая книга стали любимым видом литературы. Настала эра умеренности, солидности, семейности, накопления; начался Викторианский век.

Велика сила так называемых ходячих представлений. Современную Англию и до сих пор многие представляют себе, как Викторианскую Англию. Лицо страны, дух народов вообще меняется. Германия Бисмарка сменила Германию Шуберта и Шумана. За «старой, веселой Англией» Шекспира последовала пуританская Англия. Бесстыднейший и легкомысленнейший двор четырех Георгов сменился чопорным и скучным двором королевы Виктории. Современная Англия стремится быть во всем решительнейшей антитезой Викторианской Англии. Прежним «ценностям» придает она отрицательное значение и видит достоинства как раз в том, что считалось недостатком. Да, чтобы понять английскую современность, надо знать Викторианский век: он позволяет нам иметь суждение по противоположности.

Быть может, самый талантливый из пишущих людей в Англии, сейчас, это историк Литтон Стречи. Его последняя книга «Елизавета и Эссекс» — быть может лучшее, что было когда-либо и кем-либо написано о прошлом. Если бы вся история человечества была так изображена, у нас не нашлось бы более интересного занятия, чем всю жизнь читать с начала и до конца ее книгу. Писать о Елизавете, впрочем, весело. Но надо преклониться перед автором, умевшим занимательно, живо и ярко написать о королеве Виктории и некоторых выдающихся людях ее эпохи. «Выдающиеся Викторианцы» — кардинал Мэннинг, Флоренс Найтингель, Гладстон, генерал Гордон — были людьми замечательными и в высшей степени скучными. Быть может, это и есть самое замечательное в них, что они могли быть выдающимися людьми, оставаясь необыкновенно скучными. Морально «плохая погода», сырость по выражению Вирджинии Вульф, окружала их. Все они были весьма деятельными людьми, — честолюбцы как Мэннинг, лицемеры, как Гладстон, героини долга, как Флоренс Найтингель, чукаловатые рцари, как генерал Гордон. Все они чувствовали себя строителями Англии, заставляя служить свой прирожденный авантюризм благу страны. В таком

виде этот авантюризм становился добродетелью. Все они были безумно добродетельны. Но вот современная Англия не уважает более их настойчивой и скучной деятельности. Она не находит более вкуса в полезном и добродетельном их авантюризме. Она утратила вкус к добродетели вообще и потеряла какой-либо интерес к умению обратиться на благо даже порок. Она идет так далеко, что видит скорее вред самой добродетели. И она готова где бы то ни было и в чем бы то ни было призвать к ответу главную Викторианскую добродетель, главный с точки зрения нашего времени порок — лицемерие.

В нынешней Англии невозможны более такие судьбы, как судьба Р.Л.Стивенсона. Рожденный замечательнейшим, быть может, английским стилистом XIX века, этот превосходный писатель не мог высказаться и в половинной мере своего дарования. Р.Л.Стивенсон так и остался автором «Острова Сокровищ»; книги его пребывают в отделах литературы для юношества. И это автор, который в личном опыте своей молодости пожелал изведать жизнь мятежную, бурную, неуравновешенную. Но Викторианский век быстро «урезонил» и этого беспокойного человека. Практическая его жена направила его к наименее опасным сторонам опасного ремесла. Мы можем теперь лишь угадывать, чем мог бы быть Р.Л.Стивенсон. Во своей «главе о снах» он рассказывает о сюжете романа, который грезился ему настойчиво. Трагические персонажи болезненной истории — любви к одной женщине отца и сына — жили в его снах последовательной и яркой жизнью. Им не суждено было воплотиться: для Викторианской морали, для Викторианской общественной цензуры эта история была «скандальной историей». Англия XIX века так и не узнала лучший быть может свой и ненаписанный роман.

Да, современная Англия не желает больше приносить в жертву какой-то общей цели радостей и печалей личного существования. В этом, как и во всем, есть свое хорошее и плохое. Отдельный человек перестал быть однообразно ориентированным, как ориентирует магнит железные опилки. Магнитное поле английского ума и характера нарушено разнообразными и противоположными токами. Жизнь стала пестрее, свободнее, краше и беспорядочнее. Усомнился во всем не только мятежный интеллигент, но и еще недавно уравновешенный политический деятель. Правящий класс утратил большую долю охоты к власти. Иные «политические семьи» раскололись пополам: у консерватора Болдвина сын оказался в рабочей партии. Трудно убеждать людей в правильности своих взглядов, когда в их ложности убежден собственный сын. Лорды, светские дамы испытали жажду раскаяния и отречения, сделались рабочими лидерами и социалистками.

При таких условиях исход выборов был неудивителен. Страна качнулась справа налево, так же, как в следующий раз качнется слева направо. Я видел эти выборы. Никто не сомневался, что Болдвин добропорядочен. Все знали, однако, что он скучен. Современная Англия больше всего не любит скуки, даже если это вполне

добродетельная скука. «Рабочая власть» сулила неожиданность и новизну. Ведь это только мы такие счастливы, что узнали и пережили новизну «рабочей власти». Кроме того где-то в душе избирателя таилось убеждение, что власть эта все-таки не будет настоящей властью. Рабочее правительство бессильно выполнить сколько-нибудь серьезные свои программные предначертания. При существующем соотношении сил это, собственно говоря, лишь правительство «обозначенное», но не существующее реально. Предвидеть это было легко, но избиратель видимо не побоялся остаться без правительства. Он голосовал за социалистов не потому, что политическая вера его переменилась, но потому что у него утратилась вера во всякое политическое решение.

Решение новая Англия ищет в культуре и в экономике. Здесь однако и современнейший англичанин не может отказаться от чисто английского взгляда на взаимоотношения между политикой, экономикой и культурой. Государственность английская выростала не по воле правительства, но добровольным действием, молчаливым усилием граждан. Англичанин и до сих пор верит, что правительство лишь создает условия благоприятные для роста культуры и экономики, но не творит ни культуру, ни экономику. Благополучие Англии создавалось «само собой», естественным и дружным к нему порывом «неизвестного солдата» государственности.

Этого порыва более нет, этого «неизвестного солдата», что-то не видно. Добрая воля колеблется, а принуждения нет. С большим удовольствием Англия думает ныне, нежели действует. Духовность ее выигрывает от этого, но экономика от этого конечно не улучшается. Экономический аппарат ее живет прошлым и не перестраивается для будущего. Интеллигенция подвергает все сущее смелому критическому усилию; в области культуры оно превращается в усилие творческое, в области экономики оно не приводит ни к каким результатам.

Устои имперской жизни явно колеблются. Как некогда русской, так ныне английской, интеллигенции близка идея эмансипации «угнетенных стран». Освобождение Индии ни в ком не имеет таких друзей, как в среде английских High brow. Один из лучших писателей, Форстер, с правдивой прямоотой, изображает картины англо-индийской трагедии. В говорящем кинематографе мне пришлось видеть «Письмо» Соммерсет Могама. По сюжету его переделанной для фильма новеллы жена колониального человека убивает из ревности своего любовника. Улик нет и она будет оправдана по необходимости самозащиты. Но улика — ее письмо, приглашающее на свидание, — находится в руках китайки, возлюбленной убитого. Китайка предлагает адвокату продать письмо. С трудом удается ему достать нужную сумму. Китайка требует однако, чтобы деньги передала ей сама подсудимая. Она встречает ее в народной таверне. Подвергнув белую женщину всяческим унижениям, она возвращает ей письмо в тот момент, когда откидывается занавеска и когда скрытые

за нею китайцы и малайцы радостно приветствуют позор белой женщины, упавшей на колени перед цветной соперницей.

Новелла Соммерсет Могама несколько отличается от этого фильма. Не знаю, кто ставил его, но вероятно известный писатель и драматург согласился на переделку. «Письмо» вызвало сожалительные замечания Болдвина, еще бывшего тогда премьером. Каким образом, сказал он, мы можем требовать уважения к белым в наших колониях, когда мы сами изображаем себя в таком виде в глазах туземцев, которые будут смотреть этот фильм? Протест премьера был кажется единственным. «Письмо» пользовалось в Лондоне огромным успехом и затем перекочевало куда-нибудь в Сингапур...

Все это вместе взятое есть конечно *кризис* и вероятно довольно опасный кризис. «Температура» нынешней Англии не слишком тревожна, но это во всяком случае не нормальная температура. Современная английская жизнь полна большого, острого очарования, за которым таится все же некоторая забота. Состояние Англии интересует не только друзей Англии. Только живя там, понимаешь, какой важной долей входит она в европейское единство. В послевоенной Европе Англия составляет главный оплот американизму. В то время как американизм является идеалом для Германии, для новых государств, отчасти для Италии и для советской России, в то время как Франция хотя бы теоретически благосклонна к нему, Англия продолжает смотреть на него сверху вниз, вопреки всем его соблазнам и успехам. Она упорствует в своем нежелании идти по течению американской волны. Быть может она жертвует многим из-за этого. Но жертва эта быть может необходима для спасения от полной гегемонии Нового Света над старым миром.

1929 г.

Город-притча

Города — это те же книги: пыль и бессонница. Кому не известно, что Венеция — сказка для влюбленных или для англосаксов; что Вена — томик новелл, невзыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман, — тянется, тянется через узкие улицы паутина корысти, ревности, скупости. Нетрудно определить и жанр Берлина: это, скорей всего, философское изыскание, переплетенное совместно со справочником — так угрюмые парадоксы, справки о конце мира, словесная эротика и тысячи различных «измов» перемежаются с колонками сигарных лавок, пансионов или пивных. Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы, который столь мощен, что к его дыханию прислушиваются и Париж и Берлин, в котором традиции, монументы, Макдональд, золотые джунгли Сити и который все же прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше семи миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший и в то же время самый неотвязный из всех литературных жанров, это не город, а притча.

Лондон все вмещает: рядом с небоскребами маршируют часовые в своих опереточных мундирах, парик спикера колышется в такт дебатам о социализме, вокруг дворцов, вознесенных банками или трестами, копошится миллион нищих, он все вмещает, этот огромный город, и он ничего не совмещает, отдельной жизнью живут в нем несхожие века и враждующие классы. Это просто, как мораль: вот жизнь и вот смерть, вот рай и вот ад. Если выйти рано утром из квартала Доков, где верещат голодные китайцы, где рахитичные дети валяются на мостовой, как невыметенный сор, можно к вечеру добраться до Гольд-Грина, до одинаковых улиц с одинаковыми домами, где горничные в белых наколках, каминь, чай, все благообразии пуританского Эдема с Адамами в халатах и со змием, давно забывшим о своих начальных обязанностях, ставшим вместо сводника и соблазнителя рупором семейного радио или коробкой патефона, — словом, зрелым змием тысячелетнего уныния. Длиннен путь, и длинен город, однако не милями надлежит измерять его: ведь проходите вы через круги ада, через чистилище, через райские кущи, через средневековье, через Америку, через всю человеческую жизнь, а что длиннее ее? Вся беда в том, что если говорить о ней без должной фантазии и без смягчающих дело рифм, то получается короткая назойливая притча.

В июньский вечер Пикадилли-Серкус кажется не городской площадью, но проповедью нового Савонаролы или, если угодно, очередной постановкой советского режиссера. Из театров, кино, ресторанов, клубов выходят леди в длинных бальных платьях с голыми, густо напудренными спинами. На джентльменах фраки и цилиндры. Это не бал, это даже не премьера, это обыкновенный вечер. Капитал джентльменов измеряется фунтами, как все мужественное и героическое, как нефть или каучук. Что касается туалетов леди, то они измеряются гинеями, как все высокое, я сказал бы, возвышенное, как жемчуг, картины, трубки Донхиля и породистые кобели. Светел северный вечер, в его белом свете особенно зловещи цилиндры, мучнистые спины, шлейфы, бриллианты, справки о гинеях и справки о фунтах. Среди леди и джентльменов снуют босяки в лохмотьях; они дуют в дудочки, открывают дверцы автомобилей, предлагают спички — это вечерняя мошкара, налетающая на прославленный свет Пикадилли. Это также беглая справка о пособиях безработным, о стоимости не фунта стерлингов, но фунта хлеба, о тяжелых грубых пенсах. Я сказал, что это напоминает постановку советского режиссера, я забыл добавить — захоластного. В Москве постарались бы смягчить контрасты, чтобы сохранить некоторую правдоподобность. Но Пикадилли не подмости, это просто площадь, ей незачем бояться рецензентов, она вправе показать себя лицом: фраки, шлейфы, воющее тряпье.

Потом?.. Потом джентльмены направляются в западные кварталы: они меняют фраки на халаты и чинно лакают чай. Что касается нищих, то нищие плетутся в Трафальгар-сквер или под мосты Темзы, — ведь у них нет ни халатов, ни даже тривиальной «крыши».

Лондонские улицы прежде всего дидактичны. Вот Бонд-стрит — витрины портных, ювелиров, парфюмеров. Витрины здесь устанавливают на славу. Дешевая вещь берется отдельно, ей придают индивидуальный блеск, она становится уникалом. Зато дорогие товары: шотландское сукно, шелковые пижамы, колье, меха — все это наваливают грудой, ошеломляя не редкостью, но изобилием. Окно, заваленное черно-бурыми лисицами. Окно, заваленное сумками из кожи страуса. Окно, заваленное воистину небесными подштанниками. Табачный магазин «Абдулла» — окно, заваленное дорогими сигарами. Ящик на ящике, сотни, тысячи, десятки тысяч сигар. Благословим же богатство правящего класса! Помилуйте, они платят обременительные налоги, говоря иначе, они «содержат миллионы лодырей», но, отдавая свои капиталы за границу, они все же получают достаточные барыши, чтобы, например, вечером выкурить вот такую сигару, благообразно, у камина, без позы, буднично — обыкновенная сигара, конечно хороший табак, отборные листья, особо искусные мулатки тщательно скатывают их на голых бедрах, потом сигары держат в кладовых, похожих не то на инкубаторы, не то на храмы, где зоркий глаз надсмотрщика, что ни минута, проверяет ртуть «Фаренгейта» и стрелку гидрометра, их сушат и их увлажняют, их холят,

их лелеют, но все же это обыкновенные сигары и в конце концов их выкуривают.

Авторы авантюрных романов, любители легкой экзотики издавна облюбовали восточные кварталы Лондона. Какая пожива! Сначала Уайт-Чепль: голодные евреи с таинственными обрядами и с не менее таинственными бородами. Еще несколько миль на восток — китайцы, преступления, будды, раскосость, опиум, загадка. Рядом квартал ирландцев: бумажные розы вокруг глупеньких мадонн, хоругви, песни, поножовщина. Здесь же негры, грузики, индийцы, сутенеры... Не стоит даже совершать кругосветное путешествие — все увлекательное несчастье нашей планеты оказывается рядом — полчаса «подземкой».

Однако, взглянув на Поплар просто, забыв о проклятой «живописности», видишь лишь нищету, обыкновенную нищету большого города, нищету северных кварталов Берлина или же парижского Бельвилля, нищету сдержанную и угрюмую. Если и поражает она чем-нибудь, то только своими размерами: это нищета оптом, нищета, которая распространяется на много миль и на много веков, добротная нищета, без демонстраций и без выхода. На мостовой — голодный котенок и голодный мальчишка, оба обглаживают кости трески. Между ними и сигарами «Абдуллы» столько-то остановок автобусов. Между ними также вся человеческая жизнь.

Лондон не боится контрастов, только ими и живет он. В других городах имеются свои цензоры: стыд или страх. Здесь все — наружу. Ах, я знаю, англичане на редкость стыдливы! Они не выносят ни «собачьих свадеб», ни даже некоторых библейских текстов. В стране, которая кичится своей свободой, могут, например, конфисковать роман Джойса. Лондонские проститутки на вид вполне благонамеренны, они могли бы состоять в «Армии спасения». Фиговый листок, пожалованный Купидону, сделан явно на рост. Одна богиня здесь вправе ходить голышом, ее не остановит добродушный полицейский, и даже самый рьяный квакер не попрекнет ее в сердцах. Это — Фортуна. Она непогрешима. Из ее рога сыплются и фунты и гинеи. Ее ведет под руку сэр Меркурий. Как бог он может быть и без штанов — зачем богу штаны, но он завсегда с Сити, следовательно, его украшают и цилиндр, и титул баронета.

Только в Лондоне можно понять Диккенса. Извне он кажется сентиментальным, да и слегка простоватым; снова злодеи и обиженные злодеями добряки!.. Прогулка по лондонским улицам убеждает, что это просто быт. Ни автобусы, заменившие омнибусы, ни несколько великодушных «биллей», принятых за очередное столетие парламентом, ни американские замашки клерков, ни небоскребы — не меняют картины. Лондон остается все той же нравоучительной трущобой, где горевал маленький Копперфилд, где в сочельник бедняки едят плюм-пудинг и где в прочие дни года они ничего не едят, где много традиций, уюта и человечности, но где человек так несчастен, так гол и одинок, что остается только плакать над романами

того же Диккенса или дуть черный, как смерть, портер. Правда, там, где томилась крошка Доррит, теперь в ее честь устроена «детская площадка» — куча песка среди черных глухих стен. На песке — детвора, большеголовая, кривоногая, золотушная детвора рабочего квартала. Лондон, город святок, пушистых игрушек, сказок, детский рай, — но где вы найдете столько злосчастных ребят, заброшенных и ожесточенных, играющих жестяной или осколками бутылки, осыпаемых пылью и пинками, ангелочков на побегушках; херувимов среди заводской вони, среди зеленоватой плесени не раз уже описанных контор?.. Здесь что ни двор, то томик Диккенса. Какие дворы! Закоулки, проходы, черно, повсюду черно, черный город, черные дни. Вот Грез-Ини — квартал адвокатов, должников, виновато сморкающихся в большие фуляры, и неисправимых сутяг. Вместо скрипа гусиных перьев — цоканье «ундервудов». Но проветрить дома так и не успели: затхлая жизнь, закорючки «толкований» закона такого-то века, параграфы и паутина, паутина паука, в которой гибнет муха, и паутина закона, в которой жужжит, погибая, вот этот мистер с фуляром. Сити — держава мира, главная квартира «единого фронта», золото земли и ее мудрость. Кого же хоронят эти субъекты в цилиндрах? Нет, это только маклеры, они поднимают каучуковые акции. В полдень — зеленые лампочки и розовые глаза сгорбленных клерков: ни солнца, ни жизни. Туман. Цифры. Биржа, в ней бюст Линкольна (так порой кончаются биографии: тиражами Людвига и бронзой среди маклеров!). Снова — чернь и резерв отчаявшихся — Темза. Самоубийцы ищут баграми. Потом — доки, дым, лохмотья, портер, горе на столько-то часов ходьбы. Все вместе это — Лондон, Лондон Диккенса и Лондон 1930 года, вечный Лондон, город, о котором сказал Казанова: «Здесь бы я хотел умереть, чтобы не грустя расстаться с жизнью...»

Здесь свои меры, сложные денежные единицы, своя манера ездить и есть. Календарь здесь, наверное, тоже особенный, и чужестранцу трудно определить даты. Бутафория средних веков мирно уживается с механической выправкой, навязанной Лондону Новым Светом. Превосходные автобусы и комические такси — эти прадеды наших автомобилей едут рядом по той же мостовой, никак друг друга не стесняясь. Маленькие домики с отдельным входом: англичане ведь любят уединение, еще вчера они были либералами, они никак не могут жить стадом. Многоэтажные домищи — обжорки «Лайнса», где в каждом зале созвучно жуют тысячи людей. На письменном столе — стихи, годные разве что для недоразвившихся барышень, и биржевой бюллетень. Презрение к Америке и американизация всего быта; американские фильмы, американская архитектура, американские магазины, даже походка американская, не говоря уже о жевательной резинке. Сеть нелепейших условностей. В ресторане посетитель заказывает бутылку пива. Служанка просит деньги вперед: они, дескать, не имеют права держать пиво у себя, но они могут послать за ним в соседнюю лавочку. Бутылка оказывается здесь же,

за стойкой, — кому охота бегать под дождем?.. Закон соблюден, и все довольны. Это не борьба с алкоголизмом, это просто условность, как молитвы в воскресенье или как целомудрие до замужества. Протестовать? Но зачем?.. Это ведь значит беспокойство, крик, ряд излишних движений. Лучше, вытянув ноги, вздремнуть...

Лондонские улицы, слов нет, оживленны, но оживление это механическое: столько-то миллионов передвигаются на работу или же домой, иногда в церковь, иногда в театр, иногда на матч «крикета». Улица — это неприятность, которую надлежит возможно скорее миновать. Никому не придет в голову, что на улице можно жить. Этим летом один иностранный ресторатор устроил перед своим заведением веранду: четыре столика на тротуаре. Столики тотчас же сфотографировали, на них приходят глазеть туристы, но никто за них не садится. Вероятно, скоро их перенесут в музей.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома, как один. Можно идти часами — все то же и то же. Войдите в такой дом ночью, и, не чиркая спичкой, вы определите: здесь камин, здесь вот кипа иллюстрированных журналов, здесь ситечко для чая, здесь спит супруг, а рядом его супруга. Англичане любят все индивидуальное, однако эта идиллическая казарма никак не смущает их. Ведь каждый заведомо равнодушен к тому, что происходит в соседнем доме, и каждый убежден, что он-то скучает по-своему.

Приторен отдых Лондона, он как те нежно-розовые или лазурные пирожные, которые выставлены в окнах кондитерских. Их лучше не пробовать: это даже не пирожные, это грезы мистера, миссис и мисс. Внутри: чай, нежнейшее звяканье ложечек, тишина. Забава? Богослужение? Или еще одна разновидность унылого сна?

В восточных кварталах пьют не чай, но пиво, крепкое горькое пиво. В пивнушках — стойка и десяток схематичных самоубийц, которые стараются от 6 до 10, пока разрешена продажа крепких напитков, опорожнить возможно больше кружек. Может быть, это спорт, а может быть, и профилактика — трудно ведь взять и броситься в Темзу. Вдоль стены — скамья, на ней сидят столь же унылые пропойцы, они сидят молча, как в приемной департамента или на узловой станции. А у входа — женщины; за их юбки цепляются малыши, перепуганные ревом шарманки или редкой отрывистой бранью. Женщинам пиво выносят наружу, они сладострастно тянут темную жижицу, отрывивая и мечтая. 10 часов. Хозяин сипло выкрикивает: «Джентльмены, пора!»... Какой-то из джентльменов напоследок спешно выхлестывает еще одну кружку. Гаснет последний огонек. О том, что происходит дальше, знают только черные дома, тщательно сторонящиеся друг друга, дома-святыни и дома-тюрьмы. Иногда об этом узнает и бурая вода Темзы.

Какой же нестерпимо яркой, какой нежной кажется трава лондонских парков! Нигде нет травы зеленее. Ее можно топтать, на ней можно валяться, на ней можно даже умереть, она не поблекнет, не поникнет, не сдастся. За нее и островной климат и традиции; она

ведь призвана врачевать болезненные души, эта изумрудная непорочная трава.

Иностранцу, конечно, не преминут показать рядом с легендарной зеленью всю, не менее легендарную, фауну Гайд-парка — наглядный урок английской терпимости и английской свободы. Вот красноносый пьяница (что делать — по утрам пивные закрыты) хрипло поет псалмы и, покрикивая, как Держиморда, спасает души прохожих. Вот длинноногая уродка хлопочет о свободе разводов. Вот индеец в чалме настаивает на полной независимости Индии. Вот, наконец, безработный: красный флаг, сжатые кулаки, «советы»... Все они говорят, что хотят и о чем хотят. Их слушают или не слушают. За шиворот никто их не хватает. Умиленный иностранец готов упасть на единственную в мире траву и заплакать. Урок дан. Стоит ли спорить? Стоит ли при виде того же индийца припомнить, что, вздумай он проповедовать не в лондонском парке, но, скажем, на базаре Калькутты, он узнал бы, вместо шелковистой травы, обыкновенные тюремные нары? Стоит ли усомниться в кулаке безработного?.. Или просто выслушать, умилиться, поблагодарить?.. Ведь свобода такая же условность, как любовь или как свежий воздух. Не будем придиричивыми, прославим свободу этой горькой и абстрактной проповеди среди зеленой, как сон, травы!

Свобода, человечность, человеческая гордость и человеческая тоска — столько-то миль, столько-то миллионов, коттеджи, трущобы, туман, старина. Темза. За всем этим ощущение нереальности, никчемности, тщеты. Дивен Лондон, и тот, кто однажды прошел по его набережным, никогда не забудет этого испуга и отрешенности. Откуда он взялся, город-титан, на острове хмеля и вереска, в стороне от жизни, среди сырости и постоянной печали? Как властвовал и как угнетал? Как поколебался, дрогнул, смутился, заполнив собою шкафы с мирными трактатами и с увлекательными романами? Как живет он, еще храня парики, огни Пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета? Как познакомился он с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработными и с самоубийствами?

Ни спортивные штаны, ни утренний «порридж», ни розовые щеки, ни книги Уэллса не обманут чужестранца: Лондон прозрачен, вымышлен и неточен, как сон. Другим столицам можно завидовать, можно их также презирать. Лондон вызывает к себе высокую человеческую жалость, жалость к любому рахитику, к изумрудной траве, к раненой индустрии и к надуманной «богеме», к воскресным проповедникам, с их «спасенной душой» или же «бескровной революцией», жалость ко всей жизни, которая еще кажется кипучей, помпезной, жизнью-моделью для других стран и которая завтра может легко оборваться, как бы завершая должным образом простую жестокую притчу.

Обед в «Пен-клубе»

Литература в Англии на положении палаты лордов: ее уважают, но она никому не нужна. Тираж книг весьма ограничен, и все издатели — маклеры: их главный заработок — перепродажа авторских прав в Америку. Произведения самого значительного из современных английских авторов Джойса продаются из-под полы, как кокаин. Куда разумней в Англии быть стряпчим или даже псарем, нежели писателем.

Писателей, однако, на острове немало; еще больше людей, пишущих, почитающих и обожающих литературу. Легко догадаться, что основное их занятие это посещение десяти литературных клубов. Один из наиболее известных — «Пен-клуб». Это благонравная английская мечта, нечто вроде объединения «чистых» на Ноевом ковчеге, интернационал профессионалов, якобы отрешенных от своей профессии, занятых исключительно взаимным сближением, а также пропагандой универсального мира. В секретариате лондонского «Пен-клуба» висит карта Европы с воткнутыми флажками. Оказывается, нет на континенте злосчастного захолустья, где бы не было своего «Пен-клуба». Лондон и здесь остается диктатором: наряду с трубками и с низкорослыми терьерами народы Европы спешно обзаваются «Пен-клубами».

Какова цель этих почтенных учреждений? Услышав подобный вопрос, любой журналист Варшавы мигом превратится в Льва Толстого: он начнет говорить о всех преимуществах мира над войной. Пережив четыре затруднительных года, европейские писатели решили предаться пацифизму. Эти разговоры, как известно, ни к чему не обязывают и заканчиваются они в день мобилизации. Писатели, в свое время взывавшие к «священной ненависти», могут подымать тосты за «всеобщее братство». В этом году они избрали для буколических воздыханий самое подходящее место, а именно Варшаву. Правительство Пилсудского их нежно приветствовало. Они пили вволю и «старку» и «рябиновку», вволю говорили о мире. В их оправдание можно добавить, что другой международный съезд литераторов заседал недавно в стране, также прославленной своим миролюбием: в Румынии.

По уставу, все «Пен-клубы» обязуются никак не касаться политики. Это, конечно, придумано англичанами. Жизнь на острове достаточно абстрактна, работа писателей никому не нужна, следовательно, им нипочем и безработица. Болдуин или Макдональд — не все ли равно? Они любят мир и красоту. Они против грубой политики. Стараясь угодить этим чистоплюям, польские «пилсудчики» на полчаса забыли о своих прямых обязанностях. Лондонский «Пен-клуб» радуется: как же, он показал всем, что писателей объединяет нечто высшее, вот даже на съезде в Варшаве речь шла не об арестованных украинцах, но исключительно об умиротворяющей роли литературы...

Занятия «Пен-клуба» хоть и возвышенны, но несколько однообразны: раз в месяц «Пен-клуб» устраивает обед в честь какого-нибудь иностранного писателя. Речь идет не о гастрономических восторгах: кормят на этих обедах весьма посредственно, но только о взаимном сближении.

Этой весной я получил от лондонского «Пен-клуба» любезное приглашение. В повестке, которая рассылалась всем членам, было указано, что такого-то числа состоится очередной обед, под председательством Голсуорси. Вслед за этим весьма обстоятельно описывалось, какой костюм наиболее приличествует трапезе. Горячо рекомендовался смокинг. После трактата о костюме шла короткая справка о том, чем примечателен приглашенный гость.

В салоне, примыкающем к обеденному залу, был выставлен большой план — где кому сесть. Имелись столы: А, В, С, D. Размещение приглашенных, согласно их рангу и возрасту, требует, видимо, немалых усилий. Члены клуба взволнованно изучали план. В качестве «почетного гостя» я был посажен за стол А, рядом с вполне маститыми членами. Самому молодому из них было лет за шестьдесят. О том, кто их очередной гость, члены имели самое смутное представление. Некоторые полагали, что я французский поэт, другие уверяли, что я немецкий философ. Один, впрочем, твердо усвоил, что я русский, и поспешил меня порадовать:

— Я был представителем великобританского командования при штабе генерала Деникина.

Обед проходил вполне благообразно, классический английский обед, посвященный предпочтительно перемене ножей и вилок и перестановке официантами стаканов с одного места на другое. Рядом с председателем лежал большущий деревянный молоток. Постучав им, он начал задушевный спич. Прежде всего он меня представил членам клуба: «создатель замечательного фильма: «Любовь Жанны Ней», потом он рассказал, как чудесно кормили и поили милые поляки английскую делегацию. Соседи также занимали меня разговорами, причем я мог убедиться, что устав клуба соблюдается только в части, касающейся костюма: разговор шел предпочтительно на политические темы. Члены «Пен-клуба» сокрушенно вздыхали над судьбами восточных варваров. Одна леди, достаточно пожилая и, следовательно, достаточно обнаженная, к концу обеда наконец выяснив, что я не французский поэт и не немецкий философ, с подлинным соболезнованием сказала мне:

— Но что же сделали большевики с вашим маленьким бедным генералом?..

Я вежливо подсказал ей:

— Наверное, съели.

Леди побледнела, из ее руки выпал десертный ножик. К счастью, час был, на лондонский взгляд, поздний, «взаимное сближение» кончалось, и ее вскоре отвезли домой.

Конечно, и среди членов «Пен-клуба» имеются настоящие писатели, конечно, и помимо «Пен-клуба», существует английская литература. Я встречался в Лондоне с молодыми писателями, которые достаточно непочтительно отзывались о столах А, В, С, D. Однако обеды «Пен-клуба» не просто водевиль, это, скорее, клинические данные, это старческий лепет, это агония. На континенте жизнь куда грубее; там люди толкаются, влезая в трамваи, там в ходу цензура, доносы и тюремная баланда. Писатели там быстро усвоили навыки времени. Если они и устраивают идиллические спевки «Пен-клубав», это лицемерие и мода. Не то в Англии: даже леди, допрашивавшая меня о «маленьком генерале», и та отнюдь не кривила душой. Подслеповатость здесь еще обязательна для человека, имеющего дело не с издателями, — какая пошлость! — но с музами. Для писателей нет места в жизни, зато они уютно и в то же время пристойно устроились над нею.

— Куда вы едете из Лондона? — спрашивали меня затворники «Пен-клуба».

Я отвечал: в Манчестер. Тогда по лицам, нежным и отвлеченным, как бы сделанным одним из прерафаэлитов, проходила легкая тень недоумения. Что интересного в Манчестере? Это грязный и скучный город: там нет ни древностей, ни музеев, ни изысканного общества, ни морских закатов. Затворники никогда не бывали ни в Манчестере, ни в Глазгове. Они не бывали даже в восточных кварталах Лондона. Они ездят на озера в Уиндермер или, еще охотней, во Флоренцию. Они изучают Европу в монастырях Умбрии или на пляжах Нормандии. Потом они возвращаются домой, в маленький коттедж под Лондоном, где ярко-зеленая трава, камин и томики стихов в замшевых переплетах. Там они пишут романы, элегии, пьесы, философские или моральные, о прелести осени, об отваге изобретателя или о душевном конфликте мистера такого-то. Этот мистер живет рядом в таком же воображаемом коттедже, и этого мистера нет нигде. Под ними глухо трясется земля, двадцатый век, несколько запоздав, вступает наконец-то на остров. Они не слышат гула и досадливо отряхиваются, когда новая жизнь сыплется на них с серых листов газет. Этот разрыв воистину патетичен, он заставляет отнестись с должным соболезнованием даже к смокингам и молоточку, он превращает каждую из месячных трапез со столами А, В, С, D в тайную вечерю, за которой — гик толпы и уксус, но без правды и без воскресенья.

1931 г.

Лондонские воскресенья

Большой город — большое одиночество.

Фрэнсис Бэкон

Каждую субботу, ровно в одиннадцать утра, к неуклюжему дому на безлюдной улице не слишком отдаленного от столицы городка подъезжает оркестрион, запряженный низкорослою кобылкой; бородатый мужчина в куртке с поднятым воротником угрюмо поворачивает ручку, и надтреснутый вальс дребезжит, старательно разрезая сонливую, пасмурную тишину. Вращается валик, с трудом выбрасывая вверх слежавшиеся звуки потрепанной мелодии; расставаясь вприпрыжку с машиной, лошаденкой и бородачом, они ширятся, смелеют, заполняют все уличное пространство, прижимаются к стенам, доползают до верхнего этажа; здесь в застекленной клетке, под стеклянной крышей пишущий за конторкой клерк поднимает голову, переглядывается с соседом, на минуту кладет перо: штраусовский Синий Дунай возвещает ему свободу. Через час в густой толпе писарей, счетоводов и рабочих он протискивается в загроможденную велосипедами подворотню, выйдет на улицу, неузнаваемо оживленную теперь, зайдет ненадолго домой и, наспех чего-нибудь перекусив, опять в толпе, направится к вокзалу, станет в очередь у кассы, где продают обратные билеты: до утра понедельника он — как все, свободный человек.

Поезд тронулся, и вот уже вьется среди порыжелых холмов, оголенных деревьев и размытых дождями декабрьских полей. С полдороги начинаются рельсы и рельсы, кирпичные стены, трубы, угловатые фабричные корпуса, рабочие поселки с домами, вытянутыми по ранжиру, где мелькают все те же, да те же закоптелые балкончики, крылечки, переплеты оконных рам.

Пока сквозь нескончаемые предместья паровоз проберется к городу, пойдет дождь и начнет смеркаться. Под стеклянным вокзальным небом зажигают белесые фонари. После глухого грохота колес, кажутся резче городские шумы. Вереница старомодных таксомоторов тянется вдоль поезда; но лучше, минуя ее, выйти на площадь и сразу окунуться в пахнущую камнем и железом влажную лондонскую ночь. Не успело стемнеть — и день уже забыт; субботний вечер — это ночь на воскресенье. Фонарные лучи пронзают мелкую сеть дождя, зияют витрины просветом в нездешние миры, торгуют цветами в электрической пестрой полутьме, многоцветные афиши восхваляют зиму в Египте и раннюю сицилийскую весну, на склизкой бурой стене синееет залив, сверкают белые гостиницы Монако, и на весь мир прославленный игорный дом блещет бумажным мрамором. Погружаешься в улицы, и улицы тебя уносят, чем дальше, тем все быстрее и быстрее. Приезжего омутом втянет пятиэтажный, с

музыкой, ресторан и, насытив, выкинет опять на мокрую панель, где шаги его сами собой направятся в ближний кинематограф, или на сияющую нестерпимыми огнями театральную Шефтсбэри авеню. Усталый возвращается он после полуночи в дальнее жилье по нескончаемым улицам, сопровождаемый бесчисленными фонарями. И так мертвенно светят они, о таком одиночестве беседуют с прохожим, что хочется задуть их свет и навсегда провалиться с ними в непроницаемую, в крошечную городскую ночь.

Просыпаешься — и как поражает эта размеренная тишина, эта пристойная пустынность улиц. Крыльцо с колоннами, три ступеньки, и, вот, куда ни глянешь, под трезвым утренним небом — все такие же кирпично-красные трехэтажные дома, такие же ступеньки и колонны, и звонки, и коврики, и дверные ручки, такой же повсюду превосходный, но у всех одинаковый уют. Зажиточные эти кварталы не богаче фантазией, чем бедные, и для всех один и тот же заповедный седьмой день, пустоватый, чинный и достойный. Все закрыто: аптеки и музеи, библиотеки и кондитерские; только опустив монету в автомат, можно раздобыть почтовую марку или папиросы; только все утро пробродив по выметенным воскресным тротуарам, можно понять, что такое это необозримое скопище человеческих жилищ, упорядоченное не циркулем и линейкой, не волей великаго строителя, а однообразием самих веками установленных потребностей; чередованием жизней, наслаением смертей. Если не заблудиться в улицах, похожих одна на другую, не перепутать скверов — прямоугольник деревьев, обрамленный прямоугольником домов — можно с запада на восток, минуя оазисы парков и лагуны круглых площадей, пройдя вдоль тысячи тысяч опущенных железных штор и молчаливо-ненужных вывесок, перекочевать, наконец, к самому сердцу этой праздничной пустыни. До завтра оно мертво. Священнослужители покинули Банк и Биржу, затихло молитвословие пишущих машинок, нет толпы, еще вчера питавшейся хлебом и вином тех цифр, что пишут мелом на доске, стирают и выписывают снова. Вместо огромных автобусов, цвета бычьей крови, одни лишь мальчишки, сыновья величественных швейцаров, на роликах снуют по Ломбард-стрит. Скоро исчезнут и они; только гранитные фасады вдоль опустелой мостовой будут до вечера глядеть друг другу в глаза и поблескивать тяжело черными дырами зеркальных окон.

Сегодня не писец на доске, а проповедник белою рукой набрасывает в воздухе уверенный чертеж всеми признанного нравственного закона. В соборе св. Павла, в Вестминстерском аббатстве, торжественно раздаются спокойные учительные слова. Им предшествует и их завершает дружное хоровое пение. Поют везде на один лад и в католических, и в протестантских храмах всех исповеданий. Почти повсюду полно, но для опоздавшего охотно потеснятся на скамье и дадут заглянуть в молитвенник, если свой он оставил дома. Есть удовлетворение в том, что все вокруг так очевидно находятся в столь превосходном расположении духа, хотя нельзя не понять, что этим и

исчерпывается для многих смысл их пребывания здесь, как о том свидетельствуют усилия проповедника ничем не потревожить веками завещанный обычай воскресного благочестия и благополучия. Правда, если в Вестминстерском аббатстве и не молятся слишком горячо, то всегда и за всех возносит молитву сам этот древний храм — всем своим прошлым, своей архитектурой, каждой могильною плитой. Никак не уподобить его капищу «Христианской науки», недавно построенному в Чельси и похожему на зал кинематографа. Здесь тоже — без креста, без единого евангельского текста на стенах — происходит служба: попозже и с большим комфортом, чем где-либо. Нарядные девицы раздают программы и усаживают посетителей в глубокие откидные кресла, расположенные восходящими рядами и обитые красным бархатом. На эстраде — две кафедры: с одной мужчина читает отрывки из Библии, с другой женщина, чередуясь с ним — отрывки из писаний миссис Эдди. Внимают всему этому и подтягивают заключительный хорал необыкновенно маститые голоса, вполне способные затратить немалые средства на то, чтобы не проходя сквозь игольное ушко, со всеми удобствами, кратчайшим путем обрести исцеление болезней и наследовать Царствие Небесное.

Перед полуднем, по окончании церковных служб, улицы становятся оживленней. Приезжий, если он не отправился послушать бродячих ораторов в Гайд-парк, неизменно в блужданиях своих повстречает какую-нибудь процессию из тех, что в этот час по всем направлениям пересекают город. Маршируют пожарные и городовые, шествуют корпорации граждан, сражавшихся за отечество, стекаются к Уайт-холлу женщины с младенцами на руках, привороженные красными мундирами конногвардейцев, и тут же, по направлению к памятнику убитым на войне, движется длинной вереницей с музыкой, флагами и цветами отряд Армии Спасения: старые девы, школьницы, резвые девицы, в нарядах, соответственных чину и летам. На Трафальгарской площади довольно густая толпа слушает проповедника, нагромоздившегося на пьедестал Нельсоновой колонны. Он размахивает руками, потрясает Библией, вопит, топает ногой, говоря о собственной греховной жизни и покаянии, призывая покаяться всех во грехе живущих христиан. Слушатели пожимают плечами, но он разгорячается все больше: нет, нет, — кричит он, — не шутите с дьяволом, грех это не просто плюнуть и растереть; тут он и в самом деле плюет на черный переплет священной книги и растирает рукавом плевков. Раздаются смешки, но он, не смущаясь, продолжает площадную свою исповедь. Вот он кончил, и его уносит уже автомобиль куда-нибудь на другую площадь, к другой толпе, вот туда, может быть, где нет ни души, но еще не исчез запах рыбного рынка, или подальше, где выстроились по тротуарам любители военной музыки встречать приближающийся оркестр. Высоко взлетели палки барабанщиков, раздался терпкий, набивающий оскомину звук флейт, и вот уже раскидисто шагают солдаты по черноватой улице, близ Тоуэра.

В час открываются музеи. За вялой колоннадой Национальной галереи, чей куполок непочтительно прозван перечницей, открываются сокровища и чудеса: картины, великолепные картины, ревниво охраняемые сияющим стеклом, где воскресный посетитель слишком часто находит отражения чужих лиц с написанными на них чванством или скукой. Еще потерянной будет он блуждать в огромных залах музея Виктории и Альберта, где есть ресторан, вроде вокзального буфета, и где имеются персидские ковры и картины Рафаэля, майссенские статуэтки и китайские шелка, бодисатвы и распятия. Но всего вероятней, предпочтет он лишний раз спугнуть голубей под черным портиком Британского музея. В зимние дни, когда не хватает солнечного света, здесь зажигают мутно-молочные электрические шары и Парфенонские мраморы от них начинают казаться прозрачными, неживыми, — такими скучными и серыми, что если силою воображения не воскресить их в собственной душе, можно подумать, что они превратились в копии самих себя, в бледный осколок своего величия. Нет, лучше уж уйти в чужое, в Египет или Вавилон, или дальше еще, поднявшись во второй этаж, погрузиться в скрежет зубовный и плач первобытного колдовства и людоедства. В страшном мире чужой веры и чужих искусств бродят одинокие ротозеи и вздрагивают невольно, увидя в витрине, среди оскаленных масок литого золота и усыпанных изумрудами змей Кветцалкоатля, сверкающий впадинами глаз и провалом носа неистребимый, торжествующий, мерзостно-прозрачный череп из горного хрусталя.

Звенит колокольчик, скрипя затворяются двери, скоро и дню конец. Но час, что пришел теперь — лучше всех, глубже всех; глубже всех; не его ли предрекала вчера глупая утренняя музыка? Нет ничего прекрасней и грустней предзакатного сияния, преображающего город. В четыре часа, в Петербурге, на набережной, зимой ложится тень на розоватый снег, бесшумно скользят полозья, чуть вспыхивают фонари, и в окнах Зимнего дворца, как в каждом встречном лице, светит отблеск гаснущего неба. Париж над рекою пронзают закатные лучи; разрываются тучи, чернеют островерхие мансарды, изгибают спину мосты, тусклой ржавчиной отсвечивают башни, и кажется, оба острова, один за другим, снимутся с якоря сейчас и отплывут в самую глубь заката. Но еще пустынной и огромней беспощадный каменный мир, и улыбка неба еще сладостней вот здесь, среди скудных деревьев Лестер-сквера. Тьмы воробьев чирикают на голых ветвях; если палкой постучать о ствол, они снимутся всей стаей, черными точками усеют побледневшую воздушную голубизну и минуту спустя прилетят обратно. Когда выходишь на Пикадилли, слабый свет еще струится с высоты на грузные ящики домов с какою-то застенчивою лаской. Сейчас он потухнет, и тогда останутся только брести к вокзалу, на вагонной скамейке уползая во тьму, думать о подворотне с велосипедами, о конторке под стеклянной крышей и на всю неделю, а быть может и навсегда сохранить в душе эти нежные лондонские сумерки.

Англия

Скорость передвижений суживает мир, но и две тысячи лет назад не требовалось дня, чтобы переплыть из Галлии в Британию. Века и приблизили остров к материку, и отделили его — не узким морским рукавом, а океаном накопившихся различий. Пролив пересечен, и все неузнаваемо: голый берег, бутылочное стекло воды; полицейские, пристань, таможня; воздух, земля и дождь. Первый встречный движется по-иному, не тем взглядом глядит, не так спрашивает, не так отвечает. Различия не резки: это все та же Европа; китаец их вряд ли почувствует. Но, как нигде, они последовательны, равномерны; как нигде, распространяются на все.

В каждой новой для него стране путешественник найдет смесь знакомого с неизвестным, всеобщего с местным и единственным. Здесь — все знакомо, но и во всем есть неизвестное; нет внезапных отклонений, но неукоснительно во всякой мелочи чувствуешь: не совсем так, не совсем то. Недаром в английской речи ни один гласный звук не сохранился в том виде, в каком он существовал у саксов или у норманнов, и буквы латинского алфавита меньше, чем где-либо, отвечают звуковому строю языка. Ничто не отброшено, но все изменено; цепь не порвана, но звенья сочетаются по-иному.

* * *

Однообразны английские города, однообразен Лондон, однообразны жилища рабочих и короля и оксфордские трехэтажные дома, окруженные деревьями и цветами. Но однообразие это отнюдь не простирается из подчинения единому замыслу, строгому расчету: оно результат не закона, а обычая. В Лондоне нет ни одной настоящей площади, ни одной улицы, хотя бы отдаленно напоминающей Театральную улицу в Петербурге или парижскую рю де Риволи. Огромные пространства застроены одинаковыми домами, где в одинаковых столовых одинаковые лампы в одно и то же обеденное время освещают одинаково накрытые столы. В Оксфорде каждый дом сам по себе мил и уютен, но уютен и мил совершенно в том же духе и в той же мере, как и любой соседний дом. Происходит это, однако, не оттого, что какой-нибудь английский барон Осман возымел один за всех непревзойденную идею городского совершенства, а оттого, что каждый лондонский домовладелец и каждый обитатель Оксфорда построил свой дом по собственному вкусу и вкус этот оказался вполне подобен тому, каким руководился его сосед, и другой сосед, и все соседи его соседей. Архитектуре, особенно городской, не обойтись без строжайшей планировки, без вез-

десушей геометрии, но геометрия насилует жизнь. Очарование Лондона, несмотря на все его однообразие и на всю его бесформенность, в том, что циркуль и линейка в нем подчиняются жизни, а не диктуют ей своих законов.

Лишь одна архитектура была у англичан, отвечающая этому особому их чувству. Зато она и продержалась у них больше, чем любая другая, в любой другой стране. Английская готика никогда не умирала. Здание парламента, построенное в середине прошлого века, не кажется мертвенной стилизацией. В оксфордских колледжах новейшие пристройки сливаются с ветхим остовом так непринужденно, как более нигде. Английские соборы похожи на оратории Генделя (которого недаром похоронили в Вестминстерском аббатстве): в них та же жизнерадостная широкость, то же беззаботное умножение составных частей, та же щедрость, — без счета и расчета, — черты, враждебные сосредоточенной выразительности немецкой готики и мудрому равновесию готики французской. Единственная архитектура Англии не создала Реймского или Ульмского собора. Отказавшись от вершин, она как бы уступила жизни, но зато и глубже проникла в жизнь.

* * *

Незадолго до войны один немецкий автор написал об Англии книгу, озаглавленную «Страна без музыки». Быть может, музыки здесь и правда слишком мало, но главное: слишком много музыки. Англичане не очень любят слушать музыку, но вслушиваться в нее умеют редко. Для них она чаще всего — приятный и позволенный дурман. Опьяняются ею тем охотнее, что все знают: музыка — искусство, а значит и хмелю можно придать неприсущий ему художественный смысл. Опьянение переходит иногда и в отравление. Особенно разрушительное действие оказывает русско-цыганский романс — как насморк, превратившийся в тяжелую болезнь, когда впервые занесен был в Полинезию. Звуки более привычные содействуют пищеварению или вызывают аппетит. На каждом этаже многоэтажных лондонских ресторанов оркестр исполняет «попури из любимых опер», в котором никогда не отсутствует отрывок из «Кармен». Одна из крупнейших грамофонных фирм объявила о выпуске нового каталога пластинок, разбитых на отделы по признаку первенствующего «настроения». Вы можете потребовать не Мориса Шевалье или Шопена, а просто «бодрящее номер два» или «меланхолическое номер десять».

У китайцев один и тот же иероглиф означает радость и музыку. У современных англо-саксов замена музыки музычкой приводит к сходным результатам, хотя далеко не столь возвышенным. В Англии, правда, до этого еще не дошли, но в Америке слово музыка все чаще употребляется в смысле веселости, забавности. «В нем есть музы-

ка» — говорят о шутнике, об остряке, о присяжном рассказчике анекдотов. В Бетховене, нужно признаться, не было никакой музыки.

* * *

В Англии отдыхаешь. Даже в Лондоне, как он ни огромен, нет парижской сутолоки и пестроты. Весь жизненный ритм здесь не тот, что на континенте: он, быть может, неизбежней, чем где-либо, но и размеренней, спокойней, чужд лихорадочного напряжения. Ритму этому подчинены как бы и самые отношения между людьми, а потому отдыхаешь здесь еще и в другом, более глубоком смысле. Здесь личность защищена не только законами страны, но и доверием, оказываемым ей всеми, с кем ей приходится столкнуться. Если вас уличили во лжи, доверие навсегда потеряно; но пока вы не уличены, вам верят, и без основания никто не станет сомневаться в правде ваших слов. В тысяче случаев, где во всякой другой стране от вас потребуют доказательств и документов, в Англии удовлетворяются устным или письменным вашим показанием. Лицемерия в Англии много, но прямая ложь редка. В первом встречном предполагают искренность. Недаром, прилагательные, соответствующие французским *ingenu* и *candide*, не имеют для англичан того иронического или презрительного смысла, который им присущ во Франции. Даже примененные в характеристике политического деятеля, они означают прямоту и откровенность, а не свойства простофили и упавшего с луны дурачка. Словесные различия отвечают различиям душевным.

* * *

Чрезмерных любезностей в Англии не любят. Формулы вежливости здесь нередко проще континентальных, но правила общения и общежития соблюдаются строже и точней. Одно правило покрывает собою остальные: надо быть, как все. Стремление к этому — огромная сила, и вся тайна Англии, должно быть, в том, что это сила, не нивелирующая, а воспитывающая. Английский нищий, даже по манере носить одежду, бывает чаще похож на английского джентльмена, чем итальянский министр или немецкий финансист. Единообразие нравственных воззрений, жизненных вкусов и привычек — большое преимущество. Его изнанка в том, что если в зимний день выпадет снег, это называется дурной погодой, и противоположное мнение, высказанное вами, будет воспринято, как неучтивая безвкусица.

Есть один способ не быть, как все: прослыть чудачком, и, конечно, ни в одной стране нет такого количества чудачков, как в Англии. В этой карьере затруднительно лишь начало, если же пошла о вас слава, как о чудачке, то с этой минуты и на всю жизнь то, что запрещено другим, вам позволено. Вы можете высказываться, как угодно,

о снеге и о дожде, не отвечать на письма в день их получения, явиться к обеду в пиджаке и поднять на воздух графин с хересом, передавая его соседу; вы можете целовать ручку дамам, с утра надевать шелковые носки, ругать спорт и за чайным столом говорить о делах, а не о погоде. Никто не станет вас осуждать, если вы даже и попросту наденете дурацкий колпак и привесите к воротнику бубенчик, вместо галстука. Вы — чудак, и, как всем чудачкам, вам закон не писан.

* * *

Англичанам не сидится в Англии. Британская империя — создание непоседливых людей. Но империя не была бы укреплена, если бы в самый дальний угол эти люди не принесли с собой упрямую память о своей стране и прочную к ней привязанность. Наследники, как и предки, любят путешествовать, любят убежать к солнцу от своей сумрачной зимы, но везде на континенте они заставили создать английские островки, хотя бы в виде гостиниц, устроенных на английский лад, в Англии же нигде не найти островков, оазисов Европы. Кто имеет хоть какие-нибудь средства не проживет безвыездно всю жизнь в Англии. Но даже иностранец, хоть полгода проживший там, поймет, что желанию отъезда ответит в точности рано или поздно настоящая жажда возвращения.

Что бы ни прогнало вас из Англии, климат или скука, вы еще и по этой скуке будете скучать. В английский быт удивительно втягиваешься, хотя и не перестаешь чувствовать тесноту его и тяжесть. Скука в Англии скучнее всех сук, и, все-таки, можно примириться с ней, потому что подавляет она не самое главное в вас, не самые глубокие потребности человека. Конечно, передышки желательны, но если с одной Англией мудрено прожить, то всякому, кто сколько-нибудь близко ее узнал, покажется мудрено прожить и без Англии.

* * *

Смешное, скучное указать легко; гораздо труднее определить очарование. Вернее всего, что оно в меньшем, чем где бы то ни было насилии над человеком, в естественности исторического роста, в ограниченности развития...

В Оксфорде, все знают рассказ об американском богаче, пораженном доселе невиданной им густой и ровностью газона в саду одного из колледжей. На нетерпеливые его расспросы садовник спокойно отвечал: «Посадите траву, поливайте, подстригайте ее пятьсот лет, и ваш газон будет нисколько не хуже нашего».

Письмо к В.Ф.Ходасевичу

15-го апреля 1934 г.

Когда я, несколько лет тому назад, впервые подъезжала к Лондону, он был весь во мне — полный и цельный: сразу утренний, ночной, дождевой, с факелами, с Темзой, одновременно втекающей в море и вытекающей из него, весь Лондон с Темзой *aller et retour*¹, с лордом Байроном, Диккенсом и Оскар Уайльдом — сосуществующими, Лондон всех Карлов и Ричардов, от А до Z, весь Лондон, втиснутый в мое представление о нем, вневременное и всевременное.

Когда же я приехала в Лондон, я его не узнала. Было ясное утро — но где Лондон туманов? Нужно ждать до вечера; но где Лондон факелов? В Вестминстерском аббатстве я вижу только один бок — но где оно — целиком, со всех сторон сразу?

Мгновенности: места в автобусе, табачные лавки, монеты, опускаемые в отопление, случайности времяпрепровождения и собственного самочувствия, и — всюду лицо N, в моем Лондоне непредвиденного.

Город на моих глазах рассыпался день за днем, час за часом, рассыпался на собственные камни, из которых был построен, я ничего не узнавала, всего было слишком много, и все было четко и мелко — как близорукий, внезапно надевший очки и увидевший ³/₄ лишнего.

Лондон на моих глазах рассыпался — в прах. И только когда его не стало видно, отъехав от него приблизительно на час, я вновь увидела его, он стал возникать с каждым отдаляющим от него оборотом колес — весь целиком, и полнее, и стройнее; а когда я догадалась закрыть глаза, я вновь увидела его — мой, целый, с Темзой *aller et retour*, с Гайд-парком, соседствующим с Вестминстерским аббатством, с королевой Елизаветой об руку с лордом Байроном, Лондон единовременный, единоместный, Лондон вне- и всевременный.

Конечно, это — налёт. Останься я в нем, живи я в нем, без посещений Музеев и Аббатств, где-нибудь в норе, не глядя на него, но так, кругом ощущая — он бы вошел сквозь мои поры, как я в него — сквозь его, каменные.

¹ Приливной и отливной (*фр.*).

Англия

Рано утром 20 июля Г мы были в Калэ. На пристани нас уже ждал колесной французский пароход, на матросах были синие шапочки с красными помпонами, но почти все пассажиры были англичане и на пароходе царил дух Англии. Я в первый раз видел северное море с его то зеленоватыми, то свинцово-серыми волнами, с туманом и холодным, несмотря на июль, ветром. Вскоре показались белые, меловые скалы острова. Перед нами была владычица морей, долголетняя, упорная соперница Российской Империи. Пароход вошел в маленькую гавань Дувра. По склонам холмов громоздились ряды удивительно похожих друг на друга домиков, а над ними высился суровый силуэт грозной, серой крепости. Англия была готова дать отпор каждому нежелательному иностранцу, и мы сразу испытали это на себе.

Первым человеком, бросившимся мне в глаза, был внушительный охранитель порядка, — высокий, массивный полицейский в черной каске, с невозмутимым лицом следивший, как спускали мостки с парохода и как пассажиры не спеша сходили на английскую землю.

Наша встреча с Англией была не очень приятной. Англичане сразу пошли на поезд, небольшая группа иностранцев была задержана на короткое время для проверки паспортов, но, когда мы показали наши документы, они возбудили немедленно подозрения у чиновников. Очевидно они никогда не видели беженских удостоверений, выданных нам в Белграде. Хотя на них стояли английские визы, это оказалось недостаточным. Начались бесконечные расспросы: зачем мы приехали, где будем жить, сколько времени намерены оставаться в Англии. К счастью Клепинин говорил по-английски и мог отвечать на все эти вопросы. Пограничники долго мучили нас. Они о чем-то совещались между собою, куда-то уносили наши документы, возвращались и снова проверяли их. Мы начали бояться, что или пропустим поезд, или что нам не разрешат остаться в Англии. Мы чувствовали себя лицами, подозреваемыми в каком-то преступлении. В последний момент нам все же разрешили перешагнуть барьер. Мы бросились к поезду. Он сразу двинулся с места. Очевидно, он ждал решения нашей участи.

Перед нами открылся совершенно новый мир. Все вокруг нас было необычайно, привлекательно и не похоже на остальные страны. Сам поезд поразил нас: вагон третьего класса был лучше, чем первый в других частях Европы. Ковры, мягкие сиденья, фотографии на стенах, а главное, — пассажиры по своей одежде и поведению не имели ничего общего с третьим классом, привычным нам. В

вагоне царило чинное молчание, никто не обращал внимания на своего соседа, не старался расспросить, кто куда едет. А за окнами быстро мчавшегося поезда раскрывалась тоже непривычная для нас панорама. Ярко-зеленые поля, огороженные от соседних, маленькие городки, ни широких просторов, ни лесов, ни дикой природы. Ближе к Лондону потянулись бесконечные ряды одинаковых двухэтажных домиков, садиков и заборов. На платформах пригородных станций стояли толпы прекрасно одетых людей. Всюду были следы довольства и образцового порядка. Наш поезд пересек Темзу и остановился под огромной стеклянной крышей вокзала Виктория. Тут тоже все было особенное. На другой стороне нашей платформы стояли такси. Один из них, забрав наш багаж, повез нас в Россел Сквер в Студенческий дом. Мы проехали мимо Букингемского дворца, красочный штандарт развевался над ним, у ворот стояли гвардейцы, в высоких, бобровых шапках и в красных мундирах. Это был настоящий дворец, в котором жил правящий монарх! Я попал в страну, свято хранящую свои традиции, не потрясенную анархией и не разрушенную революцией. У меня стало легко и радостно на сердце.

Студенческий дом был полон иностранной молодежи. Нас повезли показать город. Мы взобрались на открытую верхнюю платформу высокого красного автобуса и двинулись в путь. Насколько Париж показался мне старым знакомым, настолько Лондон был не похож ни на что, раньше виденное мною. Все здесь привлекало мое любопытство: движение шло в противоположном направлении обычного, автобусы были двухэтажные и разных цветов, трамваи не имели электрических дуг, вместо грузовых автомобилей двигались по улицам паровички, с ними соперничали огромные, высокие фургоны, запряженные тяжелыми битюгами, возницы сидели высоко на козлах, с длинными бичами в руках, прикрытые кожаными фартуками огромных размеров. Автомобили тоже были необычных фасонов: их кузов стоял прямо на тонких колесах. Вся эта масса повозок двигалась не спеша, беспрерывным, мощным потоком. Здесь не было ни шума, ни напряжения Парижа, но чувствовались еще больший размах и еще большая сила мирового центра. Среди уличной толпы выделялись мужчины в цилиндрах и с зонтиками, город принадлежал им так же, как Париж казался городом женщин. На углах улиц стояли полицейские в черных касках и, когда один из них протягивал руку, десятки высоченных автобусов и пылящих паровичков сразу останавливались и покорно ждали, пока рука не опускалась и им разрешалось двигаться дальше. Если Париж считался блестящей столицей Европы, то Лондон был хозяином мировой империи, и это ощущалось на каждом шагу. Он никому не подражал и ни с кем не соперничал. Он жил сам по себе. Он захватил мое воображение, и мне захотелось понять англичан, разгадать секрет их успеха в построении политической и социальной жизни.

В этот первый осмотр Лондона мы видели стройный, построенный в готическом стиле, парламент, высокую колонну Нельсона

(1758—1805), площадь вокруг нее со множеством голубей: посетили мы также Вестминстерское аббатство. Оно дало мне много материала для размышлений. Рядом с центром политической власти возвышалось это древнее, пощаженное историческими переменами христианское святилище. В нем время как бы остановилось. Внутри аббатства мы увидели двор, заросший ярко-зеленой травой. Он сохранился с тех отдаленных времен, когда аббатство было населено монахами. Суровое, средневековое здание не было мертвым памятником прошлого, оно жило прошлым, полное бесчисленными надгробными плитами и барельефами, иногда помпезными и безвкусными, но свидетельствующими о признательности народа тем, кто отдал силы на строительство империи. Вся история Англии была представлена в этом единственном во всем мире храме-памятнике. С горечью думал я о нашей трагической судьбе, об отсутствии чувства преемства, любви и уважения к своему прошлому, о нашей готовности надругаться над своими святынями.

Оксфордский университет

(Работа для получения докторской степени.
1930—1932 год)

Я попал в Оксфорд в первый раз в 1926 году. Я был тогда случайным посетителем, недавно пережившим крушение великой империи и очутившимся в знаменитом центре христианского гуманизма. Вековые устои в нем оставались непоколебимыми, жизнь продолжала течь по своему привычному руслу. Я не мог привыкнуть к этому контрасту. Оксфорд казался мне обреченным на уничтожение¹.

Прошло четыре года, и я снова был в Оксфорде, но на этот раз не как посторонний наблюдатель, а как один из избранных, допущенный в это древнее святилище науки. Я был зачислен кандидатом на соискание докторской степени. Для получения ее я должен был предварительно быть принятым членом в один из колледжей и провести не менее 6 семестров, т.е. двух лет резидентом в городе. По истечении этого срока я имел право представить мою диссертацию, но большинство кандидатов на степень доктора остаются в Оксфорде три или четыре года. Моя маленькая стипендия не давала мне этой возможности. Мне удалось закончить мою работу в минимальный срок. В конце пятого семестра я подал ее в трех экземплярах. В середине шестого семестра я выдержал экзамен и 23 июня 1932 года стал доктором философии Оксфордского университета. Своей темой я выбрал: «Единство Церкви и соединение Церквей». Я подошел к ней с исторической точки зрения, исследовав этот вопрос на протяжении первых четырех веков.

Оксфорд не похож на другие университеты, он своеобразен, так как сохранил многое из своего средневекового прошлого. Я опишу его таким, каким я нашел его в начале тридцатых годов. В то время он состоял из 20 мужских и 5 женских колледжей. Университет является федерацией и его коллегиальное устройство составляет его главную особенность. Каждый колледж независим, имеет своего главу, своих «фелло»-«содружников» (преподавателей) и студентов, свой бюджет и свои традиции. Одни колледжи богаче других, некоторые имеют репутацию высокого академического уровня, другие славны спортивными трофеями, иные хранят аристократические

¹ Я пишу эту главу через 40 лет после получения мною доктората. Большую часть этого времени я провел в Оксфорде, но и теперь, как и в мое первое посещение, я ощущаю себя пришельцем в этом, ставшем столь дорогим мне, городе. Я думаю, что человек, видевший кровавый лик революции и одержимость толпы, никогда не сможет освободиться от сознания хрупкости культуры и всех земных достижений.

традиции прошлого. Студент, принятый в один из колледжей, мог ходить на лекции в другие, но свое основное обучение он получал обычно у «тьютора» назначенного его колледжем. Тогда в Оксфорде было около 5 тысяч студентов и тысяча преподавателей и профессоров.

Старейшие из колледжей были основаны в 13 веке, каждое последующее столетие прибавляло новые колледжи к их числу и это продолжается до сих пор. Оксфорд никогда не был разрушен войной или революцией и он представляет поэтому единственное в мире собрание архитектурных памятников. Многие из колледжей исключительно красивы. Они не являются мертвыми остатками прошлого, а живыми центрами культуры, так как продолжают служить образованию молодежи и помогают развитию научных знаний. Жизнь Оксфордского университета развивалась в течение столетий без скачков и потрясений, она строилась на традициях, проверенных долгим опытом. Новые веяния сочетались с старыми не уничтожая их.

Сидя за длинными обеденными столами в своих колледжах студенты видели на стенах портреты своих предшественников, сделавших вклады в историю человечества. Одни из них были одеты в строгие пуританские костюмы 17 века, другие в напудренные парики 18-го, третьи в прозаические пиджаки нашего времени. Студенты были преемниками славных дедов и прадедов и их связь с предками выражалась в тех же академических черных безрукавках, которые из поколения в поколение носили все члены Оксфордского университета. На лекциях, во время вечерних трапез в колледжах и на улицах с наступлением темноты поверх обычной одежды надевались эти «гауны». Они — разной длины и покроя. Самые короткие давались молодым студентам. Если они преуспевали в науке, гауны удлинялись. Более импозантные гауны носились бакалаврами и магистрами. Самая длинная полагалась канцлеру. Во время университетских торжеств ее подол должен был нести паж. В таких случаях доктора облачались в разноцветные мантии, обозначающие их научную дисциплину.

Лекции не были в центре преподавания в Оксфорде. Оно сосредоточивалось во время еженедельных встреч с преподавателем — «тьютором». Студент приносил с собой заданное ему сочинение — «эссе» (пробу), читал его, выслушивал критику и вместе с тьютором обсуждал те вопросы, на которые ему придется отвечать на письменных экзаменах в конце университетского курса. Последние подводили итог работы, проделанной в течение трех лет. На основании этих выпускных сочинений студент получал степень бакалавра первого, второго, третьего или четвертого класса. Если студенту не удалось кончить учение в три года и он оставался на более долгий срок, степень давалась ему «без класса», ради справедливости в соревновании. Первый класс считается редким отличием и тому, кто добивается его, обеспечен успех в его дальнейшей карьере. Этот метод обучения приучал к самостоятельной мысли, к навыку разбираться в

материалах, в различных, иногда противоречивых мнениях авторов, он помогал выработке своего мировоззрения и способствовал умению защищать его.

Расписание времени у студентов было своеобразно. Утром до часа дня шли лекции. Они не были обязательны, однако большинство выбирало некоторые из них. В это время другие работали в библиотеках, писал свои «эссеи» или обсуждали их с тьюторами. От двух до четырех университетская часть города затихала. Молодежь занималась спортом. В парках, на зеленых полянах в любую погоду происходили состязания. Спортивные успехи, закаляющие характер, засчитывались студентам наравне с их академическими достижениями. С пяти до семи библиотеки вновь наполнялись читателями. Для старших студентов устраивались семинары. После ужина с восьми до десяти происходили собрания всевозможных клубов и обществ, на которых как преподаватели, так и студенты спорили на политические, религиозные, общественные и научные темы. Эта деятельность, особенно ее организация, тоже имела значение для аттестации студента.

В 11 часов массивные ворота колледжей запирались. Опоздавшие должны были стучать, пока ночной привратник, звеня огромными ключами, не отворит им двери. Полагался штраф за опоздание. Звонков Оксфорд не признавал, проводить ночь вне колледжа не позволялось. Стены их были высоки и полны препятствий, но некоторые предприимчивые юноши умели находить способы проникать в колледж, незамеченными начальством. По средневековой традиции городская полиция не имела права контроля над членами университета, которые поэтому и должны были по вечерам носить свою академическую одежду. Университет выбирал (и сейчас выбирает) двух прокторов, которые, в сопровождении мускулистых помощников, обходили университетские кварталы города, и если нужно было, наводили порядок.

Религия занимала значительное место в воспитании, получаемом в колледжах. Каждый из них имел свою часовню и капеллана, обычно ученого богослова. Кроме преподавания, он вел и пасторскую работу среди студентов. Раньше посещение ежедневных богослужений было обязательно, в мое время это было отменено. Однако на всех службах всегда бывали студенты, а по воскресеньям часовни были полны. Капелланы колледжей были священники англиканской церкви, но римо-католики, пресвитеры и методисты тоже имели своих капелланов, обслуживающих весь университет. Только православные не были представлены.

Большое впечатление на меня произвел личный подход к каждому студенту, на котором была построена вся система преподавания. Учителя и ученики образуют в колледжах единую общину. Они знают друг друга, вместе обедают, делают совместные прогулки, а главное еженедельно встречаются на «тьюториях». Это постоянное общение молодежи с профессорами помогает быстрому созреванию

студентов и превращает неопытных юношей и девушек, за три года интенсивного обучения, в людей, способных брать на себя ответственность за работу в самых разнообразных областях жизни. Оксфорд налагает печать на своих членов, которая обычно никогда не стирается. «Оксфорд ман» — человек из Оксфорда, выражение понятное каждому образованному англичанину. Оно указывает на выдержку, умственную дисциплину и известные моральные устои.

Таким я нашел Оксфорд сорок лет тому назад. Многие с тех пор переменялось в его жизни. Вместо пяти тысяч студентов, теперь насчитывается более одиннадцати. Это делает личную связь между членами университета более затруднительной. Мешает ей также пестрое социальное происхождение учащихся. Для некоторых из них весь уклад жизни в Оксфорде находится в резком контрасте с их семейной обстановкой. В шестидесятых годах рядом с обычными студентами появилась «длинноволосая» молодежь, умышленно грязно одетая, требующая всеобщей нивелировки жизни и стремящаяся к отмене тех традиций, которые выделяют Оксфорд из других университетов. Обычаи важные и неважные, курьезные или красивые, свято соблюдавшиеся в течение столетий, подвергаются ломке. К этому прибавляются политические застрельщики, устраивающие демонстрации по разным поводам.

Самое серьезное в создающемся переходном и критическом положении — капитуляция перед этими «нигилистами» многих преподавателей, считающих бесполезной борьбу против подобных тенденций и потому готовых идти на все уступки. Зато более обнадеживающим является сопротивление этим разлагающим влияниям другой части студенчества. Во многих колледжах подавляющее большинство студентов отказывается быть по поводу у крикунов. В настоящее время трудно еще сказать, какая сторона победит и сумеет ли Оксфорд творчески пережить смуту, приникшую в его академическую и общественную жизнь.

Я попал в Оксфорд из совершенно другого мира и сначала мне было не легко разобраться в незнакомой обстановке. Только благодаря Н.М.Терещенко я добился, ко всеобщему удивлению, того, что меня, окончившего никому не известный Белградский университет, Оксфордский факультет признал кандидатом на степень доктора философии, а Кибл колледж, по обещанию доктора Кидда, принял меня в свои ряды, без чего я не мог бы вступить в университет. Этот колледж, основанный в 1868 году, носящий имя Джона Кибла (1792—1866), вождя католического возрождения его Церкви, всегда был оплотом англиканства, и я был в нем исключением, не будучи членом этой Церкви.

Мои друзья нашли мне комнату на окраине города, в доме пожилой вдовы. Это сокращало мои расходы. Миссис Тарлинг хорошо относилась ко мне и часто выражала беспокойство обо мне, так как я проводил все время за книгами и, вопреки оксфордской традиции, совсем не занимался спортом. Я счастливо провел под ее кровом все

два года. Рано утром на велосипеде я мчался в город и большую часть дня проводил в читальном зале, помещавшемся в большом круглом здании, называемом «камера».

Она стояла в самом центре города рядом с величественной средневековой церковью университета (14 века). Дерзновенный шпиц церкви св. Марии подобно стреле был направлен к небу. Ее готика говорила о желании человека найти свое завершение в небесных сферах, о горении духа, о свободе от земных забот и страстей. Камера была построена в середине 18-го века, на четыреста лет позже церкви. Ее прекрасный, гармонический купол провозглашал торжество человеческого разума и его власть над космосом. Камера не стремилась к небу, она хотела охватить всю землю, включить природу в круг своих точных наук. Эти два здания, стоявшие рядом друг с другом были символичны для Оксфорда. Богословаие, гуманитарные и точные науки не боролись, а сотрудничали в его ограде.

Оксфордская библиотека, наравне с Лондонской — наилучшая в Англии. В ней хранятся все книги, изданные в стране и многочисленная иностранная литература на всех языках мира. Моей первой задачей было научиться плавать, а не тонуть в этом океане книг. Я не имел навыка в научной работе, никто меня здесь этому не учил. Кандидат на докторскую степень считался обладающим опытом научных исследований. Зима, проведенная в Мерфильде, была мне очень полезной и к концу первого семестра я стал разбираться в огромном каталоге и в выборе нужного мне материала. Другой моей задачей было научиться писать по-английски и это было труднее всего. Вначале я унывал, не замечая прогресса; я боялся, что не смогу написать диссертацию. Однако и тут медленно, но неуклонно наметилось движение вперед. Помогли мне мои английские друзья, терпеливо поправлявшие мои писания и дававшие мне частные уроки языка. Третьей моей задачей было найти людей, с которыми я имел общие интересы в области церковной истории. Университет назначил мне руководителя занятий (супервайзора), пожилого, приветливого профессора церковной истории, д-ра Ватсона (1859—1936). Латинские тексты интересовали его больше, чем проблема церковного единства. Я ходил к нему каждую неделю. Он выслушивал мною написанное, поил меня чаем и никогда не делал никаких замечаний. Только раз он проявил интерес к моему чтению и поправил меня — это было когда я сделал ошибку в латинской фразе. Гораздо полезнее были для меня встречи с д-ром Киддом. Он был автором трехтомной истории ранней Церкви и его указания всегда были ценны. Больше всего я нашел понимания и сочувствия у Эдуарда Евери (р. 1909). Он был тогда молодым студентом, захваченным, как и я, задачей примирения Востока и Запада. Мы могли часами говорить на эти темы и плодотворно делиться нашими знаниями и мнениями.

Круг моих знакомых и друзей начал расти. Я должен был два раза в неделю ужинать в колледже. Большинство студентов было на де-

сять лет моложе меня, за столом они обсуждали спортивные события и свое ученье. Я казался им странным человеком и они обращали на меня мало внимания. Но и среди них я нашел постепенно друзей. С другими студентами я знакомился через Британское Христианское Студенческое Движение, которое тогда процветало в университете. К весне у меня было сравнительно много знакомых. Мы приглашали друг друга на чай, делали прогулки в прекрасных парках Оксфорда, катались на лодках.

Я все больше увлекался моей работой и мог читать и писать часами. Мысли постоянно рождались в моей голове. Мне удалось найти новый подход к некоторым спорным вопросам церковной истории и эти открытия доставили мне большое удовлетворение¹. Но ни мое вдохновение, ни мой напор не были бы достаточны для предоставления моей диссертации в кратчайший срок, имевшийся в моем распоряжении. Я мог это сделать только благодаря жертвенной помощи моих английских друзей в Лондоне и Оксфорде, которые исправили мой текст и помогли мне привести его в должный вид.

В начале мая 1932 года я подал мою диссертацию. Она выглядела учено, как полагалось в Оксфорде, с обширной библиографией и множеством примечаний. Двое профессоров были назначены прочитать ее. Я был вызван на устный экзамен. Мои объяснения и все, мною написанное, было сочтено удовлетворительным. В конце июня я был участником торжественной церемонии, возводившей в различные степени кандидатов, представленных разными колледжами. Все мы были облачены в академические тоги. Дошла очередь и до меня. Вицеканцлер положил мне на голову Библию и произнес традиционную латинскую формулу. На меня надели красную шелковую мантию с синими рукавами и я стал «доктором философии».

Был солнечный прекрасный день. Я был счастлив и благодарил Бога. Вся моя жизнь в Оксфорде, сама возможность попасть туда и получить степень казались чудом. Только об одном я жалел, что ни Милица, и никто из моей семьи не был со мной в этот знаменательный для меня день. Это осуществилось тогда, когда в 1966 году я получал степень «Ди-Ди», высшую по богословским наукам².

¹ Моя последующая работа не дала мне возможности продолжить эти мои исследования по истории древней Церкви. Все же мне удалось напечатать несколько статей на темы, занимавшие меня во время писания диссертации: см. «Eusebius and the Paschal controversy». Church Quarterly Review April 1933. «St. Stephens and the Roman community». Church Quarterly Review January 1934.

² «Ди-Ди» — степень доктора богословия.

Из воспоминаний о Бернаде Шоу и Герберте Уэллсе

Бернард Шоу

Джордж Бернард Шоу стал одним из моих постоянных духовных спутников с начала первой мировой войны. Я был тогда в Лондоне и жил на положении эмигранта из царской России.

Настроения мои были антивоенными. Я страстно искал единомышленников среди политических и общественных деятелей, которых не захлестнула мутная волна шовинизма, затоплявшая тогда Англию. И вдруг в мои руки попала только что опубликованная книжка Шоу «Common sense about the war» («Здравый смысл о войне»). В ней, как и во всем, что когда-либо выходило из-под пера Шоу, было много спорного и парадоксального, но, во всяком случае, ясно было одно: Шоу сохраняет независимость мысли, Шоу критически относится к войне и даже обвиняет в ее развязывании не только германских, но и британских империалистов. Он говорит, что германский, британский, французский национализмы — это только игрушки, которыми потешают народы, а что истинные их интересы лежат в победе социализма над капитализмом. Я с жадностью читал и перечитывал произведение Шоу, пропагандировал его среди товарищей. Вполне естественно, меня сильно заинтересовал автор.

Отсюда пошло мое близкое заочное знакомство со знаменитым драматургом. Конечно, я знал его по имени и раньше, но как-то не обращал на него особого внимания. Теперь я стал жадно читать все его произведения, смотреть на сцене его вновь появляющиеся пьесы, прислушиваться к его часто очень парадоксальным выступлениям, с улыбкой наблюдать за его нередко экстравагантными действиями. Короче, Бернард Шоу твердо вошел в мой духовный мир и стал его прочным обитателем.

Летом 1931 года, когда я был советским полпредом в Финляндии, Бернард Шоу вместе с Асторами¹ и Лотиеном² посетил СССР и

¹ Лорд и леди Астор были крайними консерваторами, в доме которых перед второй мировой войной собирались сторонники мюнхенской политики, однако в начале 30-х годов они еще старались разыграть роль свободомыслящих тори, готовых кокетничать даже с большевиками.

² Лорд Лотиен (Филипп Кер) был одним из секретарей Ллойд-Джорджа в эпоху первой мировой войны и тогда принадлежал к либеральной партии. Впоследствии он стал все больше праветь и в конце концов занял такую позицию, что его трудно было отличить от консерватора.

беседовал со Сталиным. В Москве он отпраздновал свое 75-летие. Это заставило меня еще больше задуматься над сложными путями его развития. И когда осенью 1932 года я ехал в Лондон в качестве вновь назначенного посла СССР, я заранее решил сделать один из первых моих визитов знаменитому писателю. Шоу, однако, опередил меня. Вскоре после вручения мною верительных грамот мы с женой получили от супругов Шоу любезное приглашение пожаловать к ним на завтрак, и в первых числах декабря 1932 года наше личное знакомство состоялось.

Мы с женой поехали на завтрак к супругам Шоу. Они встретили нас на пороге своей городской квартиры (у них был еще загородный дом в Айоте под Лондоном), помещавшейся в одном из верхних этажей большого отеля, в самом центре столицы, в двух шагах от резиденции премьер-министра. Я с интересом взглянул на хозяина, рассчитывая увидеть старика: ведь Бернарду Шоу было в то время уже семьдесят шесть лет. Я был приятно поражен: в стоявшем передо мной человеке нельзя было открыть никаких признаков дряхлости. Миссис Шоу — невысокая, слегка располневшая женщина с набок склоненной головой — выглядела значительно старше. Хозяева дружески приветствовали нас с женой и тут же познакомили со своими гостями; из гостей мне больше других запомнился консервативный министр земледелия Вальтер Эллиот, с которым в дальнейшем у меня установились добрые отношения. Эллиот был умный шотландец, очень некрасивый, но очаровательный, и относился к той группе консерваторов, которая отстаивала политику англо-советского сближения.

Я все время внимательно наблюдал за знаменитым драматургом. Он был очень высок, костляв, и невольно казалось, что тело у него складное. Это тело было в непрерывном движении. Шоу не мог долго сидеть на стуле, часто вскакивал с одного места и пересаживался на другое или начинал торопливо ходить на длинных, тощих ногах из угла в угол. Особенно беспокойны были руки. В такт своим словам Шоу то выбрасывал их вперед, то подымал кверху, то раздвигал в стороны, но больше всего он любил хлопать тыльной частью правой руки по ладони левой, точно заколачивая свои мысли в голову собеседнику, как заколачивают гвоздь в стену. Это был любимый жест английских ораторов на небольших уличных митингах. Впоследствии я узнал, что тут не было никакой случайности: в молодые годы Шоу часто выступал на рабочих собраниях, в клубах, в Гайд-парке. На красном лице писателя с густыми, нависшими бровями сверкали — именно сверкали! — колючие, насмешливые глаза. Большая седая борода свешивалась на грудь. Вся фигура Шоу была яркая, необычная, оригинальная. Она по-особому украшала его хорошо обставленную интеллигентскую квартиру. Она сразу привлекала также внимание на улице, тем более что Шоу всегда ходил стремительно и торопливо, широко размахивая руками, точно боялся опоздать на какое-то важное свидание.

За столом Шоу доминировал. Во время завтрака он все время говорил, говорил со своим мягким дублинским акцентом, говорил ярко, быстро, интересно. Это был настоящий фейерверк остроумия. Шоу сыпал парадоксами и шутками. Ругал министров, высмеивал политические партии, издевался над писателями, артистами и художниками. Поносил Гувера и американцев. Соединенные Штаты он особенно не любил. Хлестал бичом англичан и демонстративно подчеркивал, что он не англичанин, а ирландец. Миссис Шоу говорила мало и лишь любовно поглядывала на мужа, как мать смотрит на расшалившегося ребенка, точно хотела сказать: «Вот он у меня какой — настоящий вундеркинд!»

Не в пример другим английским домам завтрак у Шоу был очень вкусный, хотя и несколько необычный. Шоу принадлежал к ордену строгих вегетарианцев, и, хотя для гостей готовились мясные блюда, сам хозяин щипал за столом какие-то травки и шелкал орешки.

Когда завтрак кончился и мы с женой стали прощаться, Бернард Шоу громогласно заявил:

— На днях мы с миссис Шоу отправляемся в длительное морское путешествие... Это для нас обоих лучший отдых... Проплываем месяца три... Надеюсь за это время написать новую пьесу... Но когда мы вернемся, то должны обязательно снова встретиться.

Я подтвердил, что таково же и наше желание.

Мы действительно встретились с супругами Шоу после их возвращения в Англию. Часто встречались с ними и в последующие годы. Бывали в гостях у них, они — у нас, в советском посольстве. Стали друзьями. Шоу присылал нам свои новые произведения с авторскими надписями. Мы отдаривали его интересными новинками советской литературы. Время от времени по разным поводам обменивались письмами.

Когда сейчас, много лет спустя, я пытаюсь определить, что же именно так сильно привлекало меня к Бернарду Шоу, я без колебаний говорю: необычайная сила жизненности, кипевшая в каждой жилке его существа. Конечно, талант, остроумие, блеск, слава играли свою роль, но не это было главное. Главное состояло в том, что в этом физически слабом теле жил могучий жизнеутверждающий дух, оптимистический, любознательный, воинствующий, твердо уверенный в том, что, несмотря на все глупости, мерзости, преступления, которые творятся в окружающем его капиталистическом мире, человечество все-таки идет вперед по пути прогресса.

Я не случайно упомянул о физически слабом теле Шоу. Дело было не только в том, что он отличался феноменальной худобой и что костюм болтался на нем, как на вешалке. Серьезнее было то, что родители вообще не снабдили его в жизненный путь крепким здоровьем. Шоу много и тяжело болел. В середине 80-х годов, когда материальное положение Шоу было очень печально, его поразила такой страшный недуг, как белокровие. К счастью, молодость взяла свое, и он все-таки встал с одра болезни. В конце 90-х годов он едва не умер

от тяжелого истощения организма, в чрезвычайной степени усугубленного колоссальным переутомлением (на протяжении шести лет он создал около десятка пьес), а также театральными неудачами и острыми финансовыми затруднениями. Врачи считали положение Шоу безнадежным. Его спасла женитьба. Вот как это случилось.

Беатриса Вебб, сама одна из замечательнейших женщин Англии¹, как-то рассказала нам с женой историю воскресения Бернарда Шоу.

— Сидней и я были большими друзьями с Шоу, — говорила миссис Вебб, — и нас очень тревожило его состояние. Он был сильно болен и очень беден. Ему также не хватало постоянной женской заботы о нем, о его здоровье... В молодости у Шоу были, конечно, связи с женщинами, даже много связей, но они не носили серьезного характера. Может быть, потому, что по натуре он был малоэмоционален. Шоу увлекали идеи, а не женщины...

— Вы хотите сказать, — прервал я миссис Вебб, — что Шоу был человеком не сердечных, а головных страстей?

— Вот именно! Это удачно сказано, — откликнулась миссис Вебб и затем продолжала: — Я считала, что Шоу надо жениться, тем более что ему было уже за сорок. Имелась и подходящая невеста — тоже наш друг, миссис Шарлотта Фрэнсис Пэйн-Таундсенд. В ней было что-то возвышенное и романтическое. Она располагала независимыми средствами, но не удовлетворялась светской жизнью богатых людей и хотела приносить пользу народу. Это привело ее в Фабианское общество, где мы с ней и познакомились. Политические взгляды Шарлотты были довольно неопределенны, но настроения благо-

¹ В 1884 году в Англии было основано Фабианское общество. Инициатором его являлась группа буржуазных интеллигентов левого толка, среди которых особенно большую роль играл Сидней Вебб, один из младших работников министерства колоний. В начале 90-х годов он женился на Беатрисе Поттер, дочери крупного дельца, также разделявшей левые взгляды. Супруги Вебб стали основным стержнем новой организации. Бернард Шоу, вместе с Сиднеем Веббом, в 1884 году также вступил в состав Фабианского общества. Много позднее, уже в начале XX столетия, его членом стал и Герберт Уэллс. На первых порах идеологические концепции этого общества были довольно смутны и неопределенны, но постепенно они выкристаллизовались в программу и тактику правосоциалистического реформизма. Фабианцы считали, что капитализм должен смениться социализмом, а социализм постепенно вырастет в капитализм и что длинная цепь последовательных социальных реформ сделает переход от капитализма к социализму почти незаметным. Особое значение фабианцы придавали местному самоуправлению и стремились к широкому развитию муниципализации. Фабианское общество навсегда осталось организацией левых английских интеллигентов, число членов которой не превышало двух—трех тысяч, но имело и до сих пор имеет большое влияние на британское рабочее движение как мозговой трест тред-юнионов и лейбористской партии. Свое название общество взяло из истории Древнего Рима, где в эпоху пунических войн известный полководец Фабий Кунктатор (то есть медлительный) в борьбе с карфагенянами, избегая открытых битв, стремился одержать победу путем изматывания врага с помощью мелких стычек, засад, нападения на обозы и так далее.

родны и демократичны. Шарлотта была страстной поклонницей Шоу как писателя и даже питала к нему более нежные чувства. Мне казалось, что Бернард и Шарлотта были бы хорошей парой, к тому же она обладала деньгами, могла бы освободить его от всяких финансовых забот и, самое главное, увезти его в Швейцарию, Италию и другие страны, где он мог бы отдышаться и поправиться. Я решила стать свахой, но это оказалось нелегко...

— Почему? — вырвалось у моей жены. — Разве Шоу не хотел жениться на Шарлотте?

— Нет, этого я не сказала бы, — ответила миссис Вебб, — но Шоу — очень своеобразная натура... Я уже говорила, что у него всегда было мало эмоций. Любовь он признавал в лучшем случае как физиологическую необходимость. На нее он не хотел тратить много сил... Посмотрите на произведения Шоу — ведь у него нет ни одной пьесы о любви... Разве это не характерно?.. В отношениях с женщинами Шоу проявлял мало активности, инициатива обычно исходила от женщин. Если этого не было, ничего не получалось. Перед тем как Шоу женился на Шарлотте, у него был трехлетний роман в письмах с известной актрисой Эллен Терри. Переписка была очень интересна. Но так как Эллен Терри проявила известную сдержанность, то этот роман так и остался незавершенным. Зная характер Шоу, я постаралась поближе свести Бернарда и Шарлотту. Летом 1896 года я предложила нанять загородный дом, где Сидней и я могли бы жить вместе с некоторыми нашими друзьями. Мы пригласили к себе Бернарда и Шарлотту, а также Уоллеса, известного биографа Шелли. Все мы были членами Фабианского общества. Сближение между Бернардом и Шарлоттой пошло очень успешно — может быть, потому, что Шарлотта проявила инициативу... Я надеялась, что они быстро поженятся, но тут возникло новое осложнение...

— В чем было дело? — спросил я.

— Видите ли, — пояснила миссис Вебб, — Шоу — очень гордый человек... Он был беден, а Шарлотта богата... Шоу считал невозможным жениться на Шарлотте, пока его материальные дела не улучшатся. Пьесы же Шоу, которые ставились тогда в Англии, не приносили никакого дохода. Только в 1897 году он впервые много заработал на постановке пьесы «Ученик дьявола» в Америке. Это развязало ему руки. Летом 1898 года, когда Шоу почти умирал, Шарлотта вышла за него замуж. Она немедленно увезла его из Лондона, и около года они прожили в Италии. Климат, лечение, спокойная обстановка, а главное, заботы жены, в любви которой как-то причудливо смешивались любовь женщины к мужчине и любовь матери к ребенку, вернули Бернарда Шоу к жизни и творчеству. С тех пор Бернард и Шарлотта не разлучались. Я рада, что мне пришлось сыграть в этой истории маленькую роль.

Да, брак оказался удачным, и это благотворно отражалось на состоянии духа и здоровья Бернарда Шоу. Однако это были люди сложной и противоречивой психологии. При всей их близости и вза-

инной любви они до конца так и не узнали друг друга. Лучшим доказательством этого может служить тот факт, что, как выяснилось после смерти Шарлотты, ее супруг нашел письма и дневники своей жены, которые оказались для него новостью. Из них он узнал, что Шарлотта, которая всегда была несколько склонна к мистической философии и увлечениям разными религиями, поддерживала связи с совершенно неожиданными для него лицами. В частности, она вела переписку со столь экстравагантной фигурой, как «Лоуренс Арабский» — крупный английский разведчик времен первой мировой войны, носившийся с идеей создания большого арабского государства на Ближнем Востоке...

Впрочем, несмотря на все заботы Шарлотты о здоровье Бернарда, он все-таки не смог совсем освободиться от болезней. В 1928 году Шоу поразил тяжелый недуг. Он долго лежал с высокой температурой и временно потерял интерес ко всему окружающему. Только с большим трудом врачи поставили его на ноги.

В 1938 году Шоу снова долго и тяжело болел. Лето этого года мы с женой провели в СССР. Я был в отпуске и отдыхал и подлечивался в Барвихе. Когда в августе мы вернулись в Лондон, то узнали, что во время нашего отсутствия Шоу был сильно нездоров. Беатриса Вебб прислала нам открытку, адресованную ей. Открытка являлась ответом на письмо Беатрисы Бернару Шоу, в котором она сообщала о болезни своего мужа. Шоу писал:

« 6/6/38. Теперь моя очередь. Я не могу ходить. Два патолога, которых Шарлотта обрушила на меня, поставили диагноз: анемия. Но они утверждают, что могут меня вылечить. Истина состоит в том, что я устал, как собака, и сейчас, после того как я окончил пьесу для Молверна¹, послал к черту все, кроме отдыха. Я лежу в Уайт-холле² и провожу семь восьмых дня на спине за чтением. Я в силах сам одеваться и ползать из комнаты в комнату. Моя голова в порядке, однако вся моя еще остающаяся энергия должна быть сконцентрирована на том, чтобы в течение примерно ближайших шести недель абсолютно ничего не делать — за исключением отправки Вам этой открытки. Д. Б. Ш.».

Было очевидно, что с Шоу случилось что-то серьезное, ибо приведенная открытка была датирована 6 июня, а два месяца спустя, в августе, газеты все еще писали о болезни Шоу. 22 августа я отправил ему письмо, в котором, извещая Шоу о нашем возвращении из отпуска, просил сообщить, как он себя чувствует, и пожелал ему скорейшего выздоровления. 28 августа моя жена получила ответ от миссис Шоу. Шарлотта писала:

¹ Молверн — небольшой городок в Западной Англии, где ежегодно устраиваются театральные фестивали. Речь идет о пьесе «Женева».

² То есть на городской квартире.

«Д. Б. Ш. был сильно тронут любезным письмом Вашего мужа, — спасибо Вам и ему за сочувствие! Да, мы пережили тяжелое время, были моменты, когда Д. Б. Ш. сильно болел и находился в большой опасности, но, к счастью, было найдено хорошее лекарство, и сейчас он фактически опять здоров. Это настоящее чудо! Он снова чувствует себя самим собой с той лишь оговоркой, что ему — увы! — уже восемьдесят два года. Мы поселились в этом тихом отеле (в Молверне. — *И.М.*) дней десять назад, для того чтобы присутствовать на последней неделе фестиваля в Молверне. Здесь ставится его новая пьеса «Женева», а также его прежняя пьеса «Святая Иоанна» с немецкой актрисой Элизабет Бергнер в главной роли. Постановка не очень удачна, но публика принимает ее дружелюбно.

Мы очень надеемся вскоре встретиться с Вами. Приятно слышать, что Ваш отпуск прошел хорошо. Мы рады, что Вы чувствуете себя здоровыми. Я сообщу Вам, когда мы вернемся в Лондон, — вероятно, это будет в конце сентября. С наилучшими воспоминаниями. Ш. Ф. Шоу».

Бернард Шоу снова ушел из объятий смерти и, хотя время от времени продолжал прихварывать, прожил еще двенадцать лет. В 1943 году на него обрушился страшный удар: умерла его дорогая и любимая жена.

Но даже и после этого потрясения он продержался еще семь лет, продержался бы, возможно, и дольше, если бы случайно не сломал себе ногу. Только в девяносто четыре года Бернарда Шоу не стало.

И когда я стараюсь объяснить себе изумительное долголетие этого физически слабого и болезненного тела, я невольно думаю, что такое чудо стало возможным только потому, что в нем жил столь могучий, жизнеутверждающий дух.

Ярче всего эта духовная сила проявлялась в области литературы. Здесь Шоу выступил и до конца своих дней остался бунтовщиком, но бунтовщиком-одиночкой (ведь он не создал никакой школы)... Конечно, бунтовщиком по-английски, но об этом подробнее ниже.

Мне вспоминается один большой разговор с Шоу по вопросам его художественного творчества. Произошло это так. В 1934 году в Москве состоялся Первый съезд советских писателей с Горьким во главе. На съезд в качестве гостей был приглашен ряд прогрессивных писателей из-за рубежа. В числе их находился и Бернард Шоу. Приглашение ему было прислано в лондонское посольство с просьбой переслать его адресату. Я это сделал, сопроводив приглашение небольшим письмом от себя лично. Я ожидал, что Шоу живо откликнется на призыв советских писателей. Он действительно живо откликнулся, но — и это было в духе Шоу — самым неожиданным образом. Спустя несколько дней я получил от него ответ, в котором Шоу писал, что благодарит за любезное приглашение, но в Москву не поедет, ибо вообще не сочувствует подобного рода съездам. Почему? Вот собственно слова Шоу: «Писатели склочны, как старые сви-

нии. Не могу понять, зачем Советскому правительству понадобилось выставлять напоказ всему миру это безобразие» (Шоу считал, что в Советской стране все, что делается, делается правительством). Так Шоу и не поехал в Москву.

Вскоре после этого мы встретились с ним на завтраке, и разговор, естественно, коснулся вопросов литературы. Я спросил Шоу:

— Как вы стали драматургом?

Шоу лукаво сверкнул своими голубыми глазами и с усмешкой ответил:

— В этом повинны два «И» — Ирландия и Ибсен.

— Что вы хотите сказать? — изумился я.

— Каждый ирландец, — начал объяснять Шоу, — потенциальный бунтовщик против всего английского... Когда в конце 70-х годов прошлого столетия я попал в Лондон, то сначала стал писать романы. Писал я подтянув живот, настойчиво, упорно. Писал каждый день ровно по пяти страниц — ни больше и ни меньше. Написал пять романов в течение пяти лет, но не получил за них ни пенни. Их никто не хотел печатать. Тогда я перешел к другому жанру... Пробовал писать политические статьи в газете «Стар». Куда там! Редактор отказался их печатать, заявив, что они обогнали время по крайней мере на целое столетие. Пришлось перейти на роль критика — сначала музыкального, а потом драматического... Вот тут-то и заговорил во мне ирландский бунтовщик... Да к тому же в это время я стал социалистом...

Шоу порывистым жестом погладил свою классическую бороду и, ударив ладонь о ладонь, с оживлением продолжал:

— Английская сцена конца прошлого века была тошнотворна... Пустые и бездарные пьесы о пустых и бездарных вещах... Мелкие любовные интриги, ревность, измены и раскаяние в измене... Обязательно happy end (счастливый конец)... Ни серьезной мысли, ни действительного глубокого чувства... Беспросветное засилье настроений сытого, самодовольного, ни о чем не думающего английского среднего класса...¹ Это было отвратительно!.. У меня руки чесались побить стекла в театральной цитадели богатого викторианского мещанства, но как?.. Здесь мне на помощь пришел Ибсен.

Шоу нетерпеливо мотнул головой, точно отмахиваясь от назойливых мух, и несколько вызывающе воскликнул:

— Ибсен — истинно великий драматург! Он выше Шекспира!

Мне стал понятен жест Шоу (ему, видимо, не раз приходилось отбиваться от возражений по этому поводу), но я все-таки сказал:

— Вы преувеличиваете, мистер Шоу... Я тоже очень высокого мнения об Ибсене, Ибсен оказал большое влияние на мое духовное развитие, когда я был студентом, но все-таки... Шекспир есть Шекс-

¹ Под именем «среднего класса» англичане обычно понимают буржуазию и буржуазную интеллигенцию.

пир! Это величайший драматург всех времен и народов... Это Эверест мировой драматургии!

Но Шоу ни за что не хотел согласиться.

— В пьесах Шекспира даже под лупой вы не откроете ни цели, ни философии! — возмущался Шоу. — Для чего они написаны? Только для развлечения!.. А театр должен воспитывать людей! Пьесы должны затрагивать большие социальные и политические вопросы, которые волнуют людей!.. Ничего этого нет у Шекспира!.. Совсем иначе у Ибсена!.. В 1889 году Чарльз Каррингтон и Дженни Арчер впервые поставили в Лондоне «Кукольный домик»¹. Это было настоящее откровение!.. Я сказал себе: вот что нам нужно!.. И я решил писать пьесы, но пьесы нового стиля — пьесы, посвященные серьезным проблемам... Моя первая пьеса, «Дома вдовца», где я показал, как английская респектабельность вырастает на базе эксплуатации лондонских трущоб, явилась настоящим шоком для тогдашней английской сцены. Ее не хотели ставить. Однако нашелся один смелый театр во главе с мистером Грейном, который сыграл мою пьесу. Ее обругали в прессе, но зато вокруг нее был создан шум, а это имело большое значение... Так родилась новая драма. Потом я написал пьесу «Профессия миссис Уоррен», в которой остро поставил вопрос о проституции и публичных домах... Она долго не могла появиться на сцене из-за театральной цензуры, но шум около моих пьес еще больше увеличился... Дальше я написал пьесы «Майор Барбара» — сатиру на наших дельцов, наживающихся на производстве орудий смерти, и «Дилемма доктора», в которой я доказывал необходимость муниципализации врачебной профессии. Потом родился «Пигмалион» — эта насмешка над поклонниками голубой крови... Каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия... Меня ругали, надо мной смеялись, обо мне сочиняли всякие небылицы, но все-таки новая драма постепенно пробивала себе дорогу.

— Но как вам все-таки удалось преодолеть сопротивление театра и публики, общественного мнения викторианцев?

Шоу громко рассмеялся и, точно перебирая приятные воспоминания, стал рассказывать:

— Для того чтобы повлиять на людей, их прежде всего надо *поразить*... Да, да, именно поразить чем-либо новым, необычным, оригинальным... Пусть даже неприятным, но чем-то таким, чего они до того не видели... Я так и делал... В 90-х годах, например, я создал вместе с несколькими такими же атеистами, как я, «Общество по отмене рождества»... Это был шокинг, страшный шокинг в викторианской Англии, но зато мое имя стало широко склоняться во всех падежах... Обо мне заговорили как об *enfant terrible*². Создавали всевоз-

¹ В России эта пьеса шла под названием «Нора».

² Ужасный ребенок (*фр.*).

можные трудности для постановки моих пьес на сцене — тогда я начал их публиковать и даже сопровождать специальными предисловиями, в которых подробно разъяснял смысл пьесы и преследуемую мною цель... Это тоже было необычно, и шум вокруг моего имени еще больше усилился...

Я мысленно пробежал вереницу известных мне пьес Бернарда Шоу и действительно вспомнил, что у некоторых из них имеются предисловия, всегда публицистически острые, а иногда длинные, даже очень длинные. Так, предисловие к «Дилемме доктора» — несомненно, одной из лучших пьес Шоу — по размерам едва ли меньше самой пьесы.

— До того, — продолжал Шоу, — ремарки в пьесах были чрезвычайно кратки и адресованы только режиссеру; я стал превращать их в подробные описания ландшафта, комнаты, обстановки и т.д. с расчетом заинтересовать зрителя или читателя. Списка действующих лиц я не печатал в начале пьесы, как то было принято, а давал их имена постепенно, по мере появления соответствующих персонажей на сцене, да еще сопровождая их острыми характеристиками... Вообще я стремился сблизить драму с повестью так, чтобы ее интересно было не только смотреть, но и читать... Все это противоречило установившимся в театре канонам, вызывало протесты, критику, нападки... Шум увеличивался, а мне этого только и было нужно... В течение многих лет я терпел материальный убыток, но зато к началу нынешнего столетия создал себе репутацию... Многие считали меня *stank* № 1 (чудаком № 1), но я не обижался... Мне удалось «поразить» воображение публики, и она стала меня слушать, хотя большей частью и не соглашалась со мной. Это меня, однако, не смущало. Я получил возможность выполнять свою миссию: я всегда писал и пишу пьесы с вполне определенной целью — привлечь на сторону своих взглядов народ.

— Выходит, — со смехом заметил я, — что для привлечения публики на свою сторону ее надо крепко ударить по голове.

Шоу тоже рассмеялся и ответил:

— Да, да, крепко ударить по голове...

Он задержался на мгновение и затем dokonчил:

— ...но не слишком крепко... Иначе публика перестанет вас слушать.

Я сразу почувствовал бунтовщика по-английски.

В памяти у меня остался еще один интересный разговор с Шоу, касающийся также творческих процессов.

Дело происходило в начале апреля 1935 года. Супруги Шоу — Джордж и Шарлотта — были у нас в посольстве на ленче. Сидели вчетвером за столом — моя жена была хозяйкой — в небольшой столовой наверху, где мы обычно принимали более близких друзей и знакомых. Никого посторонних не было, и это, естественно, располагало к более откровенным и интимным разговорам. День выдался весенний, ясный, что случается в Лондоне нечасто, и лучи солнца,

врываясь в окна, играли на стенах и создавали за столом какую-то теплую и доверительную атмосферу.

В разговоре жена случайно упомянула, что недавно мы видели в одном из лондонских театров пьесу нашего гостя «Дилемма доктора» и что пьеса нам очень понравилась.

Бернард Шоу, по обыкновению сыпавший перед тем остротами и парадоксами по вопросам текущей политической и литературной жизни, вдруг неожиданно остановился и как-то раздумчиво сказал:

— «Дилемма доктора»... Да, да... Эта пьеса невольно переносит мою мысль к далеким временам молодости...

— Может быть, вы расскажете, почему? — попросил я.

— Охотно расскажу, — ответил Бернард Шоу, — это и для вас может быть интересно: речь идет о людях, к которым вы относитесь с большим уважением...

Бернард Шоу усмехнулся и затем продолжал:

— В конце 70-х годов прошлого века я вращался в среде английских радикалов, которых в Лондоне в то время было немало. Потом, с начала 80-х годов, меня стали все больше привлекать социалистические идеи... Нет, нет! Это не был марксизм, хотя я и читал «Капитал» Маркса! — с улыбкой воскликнул Шоу. — Я предпочитал английский социализм, менее точный, более туманный и неопределенный. В 1884 году я принял участие в создании Фабианского общества и ряд лет очень активно в нем работал, часто выступал на собраниях, конференциях, уличных митингах. Я прошел тогда хорошую школу пропаганды и агитации. Помню, в самом начале 90-х годов, вскоре после объявления 1 Мая международным праздником рабочих, мне пришлось быть председателем и оратором на майском празднике в Гайд-парке, устроенном социалистическими организациями Лондона. Митинг кончился. Все стали расходиться. Я тоже направился к выходу из парка, и вдруг на дороге мне встретился человек выше среднего роста, в коричневом костюме, с умным лицом и живыми движениями. Он остановился и спросил: «Не узнаете?» Я ответил, что лицо его мне знакомо, но я не могу припомнить, где мы встречались. Мой собеседник весело воскликнул: «Я Энгельс, Фридрих Энгельс!» Я ответил: «Ах, вы Энгельс! Знаменитый Энгельс!» — и крепко пожал ему руку. Год спустя, опять на первомайском митинге в Гайд-парке, я снова встретился с Энгельсом. Он с усмешкой спросил: «Ну что, узнаете меня теперь?» Я ринулся к нему, обнял и воскликнул: «Великий Энгельс, как я рад видеть вас!»

Моя жена поинтересовалась, не встречался ли Шоу с Энгельсом в более интимной, домашней обстановке.

— Нет, более близкого знакомства с Энгельсом у меня как-то не вышло, — ответил Шоу, — но я часто видел его в связи с различными общественными делами.

Шоу на мгновение задумался и затем, точно глотнув из источника какого-то внутреннего вдохновения, вдруг загорелся и горячо заговорил:

— Зато у меня были очень хорошие, дружеские отношения с младшей дочерью Маркса Элеонорой — ее в семейном кругу звали Тусси. Это была действительно изумительная натура: красива, умна, образованна, великолепный оратор и притом на нескольких языках. Тусси пользовалась большой популярностью в тогдашних социалистических кругах Англии как пропагандист и агитатор, талантливый автор листовок, памфлетов, журнальных статей. Наибольшим успехом она пользовалась на различных международных конференциях тех лет, где она часто играла роль переводчика... Но что это был за переводчик! Тусси не просто правильно и точно переводила речь оратора, — она вливала в перевод свое вдохновение, делала ее гораздо более сильной, яркой, убедительной (особенно если речь ей нравилась), чем был сам оригинал. Нередко после таких переводов делегаты устраивали Тусси настоящие овации... Да, это была замечательная женщина, настоящая жемчужина среди сереньких улиток повседневной жизни. И вот...

Шоу неожиданно прервал свой рассказ и, с раздражением махнув рукой в сторону, точно от отрубал от себя что-то неприятное, продолжал:

— И вот такая женщина вышла в 1884 году замуж за английского социалиста Эдуарда Эвелинга! Я не хочу быть несправедливым к Эвелингу... Он был большим специалистом по естественным наукам, много сделал для популяризации учения Дарвина, стал учеником Маркса, активно работал как социалист, обладал большими ораторскими и организационными способностями, но... но ему не хватало — как бы это сказать? — обычной человеческой порядочности. Приведу один маленький пример. Эвелинг был профессором университета. Часто он занимался репетиторством — давал уроки малоуспевающим студентам. Нормальный курс у него был двенадцать уроков. Он брал с учеников деньги за все двенадцать уроков вперед, потом давал один—два урока, и на этом все кончалось. От остальных уроков он уклонялся с помощью самых неприличных способов. На этой почве вышло немало скандалов, но Эвелинга они совершенно не трогали...

Шоу весь покраснел и, энергично ударив тыльной стороной руки о ладонь левой, еще более вскипел:

— Когда Эвелинг сошелся с Тусси, у него имелась уже законная жена... Тусси была смелая и твердая женщина, и она согласилась жить с Эвелингом в гражданском браке. Вы хорошо представляете себе, сколько бедной Тусси в условиях викторианской Англии пришлось из-за этого переносить всяких унижений, оскорблений, насмешек от уважаемых обывателей и особенно обывательниц, даже в среде так называемых передовых интеллигентов, но она гордо шла с высоко поднятой головой. Молодец была девчонка!.. Ряд лет Эвелинги были как будто бы счастливы. Они вместе работали в социалистическом движении, вместе выступали на митингах и собраниях, вместе писали различные литературные произведения. Впро-

чем, Элеонора иногда кое-что публиковала и одна. Но потом, уже в 90-е годы, картина стала меняться: Эвелинг начал изменять Тусси с другими женщинами, потом пошли кутежи, разврат и долги, долги без конца и без отдачи. Однажды Эвелинг пришел ко мне и попросил в долг 5 фунтов. Я отказал. Он стал настаивать и убеждать, что деньги я получу обратно. В качестве решающего, как ему казалось, аргумента Эвелинг заявил: «Я вам дам расписку. Если вы предъявите ее Элеоноре, она перевернет весь мир, но заплатит вам». Я был глубоко возмущен словами Эвелинга и выгнал его из дому.

Вспомнив этот эпизод, Шоу даже пристукнул кулаком по столу. Потом он вновь заговорил:

— Вы понимаете, конечно, что жизнь Тусси, которая и раньше была не очень сладка, теперь превратилась в настоящий ад. Но она все-таки не хотела бросать Эвелинга. Она надеялась, что ее любовь спасет Эдуарда от самого себя, что он справится, станет наконец на ноги. Эвелинг не раз давал Тусси такие обещания, но сразу же потом забывал о них, и все продолжалось по-старому... В конце 900-х годов умерла законная жена Эвелинга. Открылась возможность наконец официально оформить его брак с Элеонорой... Что же делает Эвелинг? Он женится на другой женщине и уходит от Тусси!.. Измученная вконец прежними страданиями, обидами, унижениями, Тусси не смогла перенести этого последнего удара и в марте 1898 года она умерла. Ей было тогда только сорок два года...

Шоу замолчал и устремил взгляд куда-то вдаль. Точно тяжелая тень упала на наш стол. Несколько мгновений царил полная тишина. Наконец я просил:

— Какое же отношение рассказанная вами история имеет к пьесе «Дилемма доктора»?

— Видите ли, — вновь оживляясь, начал Шоу, — наблюдая в течение ряда лет семейную драму Эвелингов, я все время задавался вопросом: как это может быть, чтобы умная, благородная, красивая женщина так любила человека, стоявшего бесконечно ниже ее? Как из-за него она могла пожертвовать своей жизнью? Почему?.. Я много думал над этим вопросом и — сознаюсь откровенно — не нашел на него удовлетворительного ответа... Мне захотелось, однако, разработать такую тему для сцены, и я написал «Дилемму доктора».

Как бы предвидя мой дальнейший вопрос, Шоу опять сделал привычное ему движение уличного оратора и затем окончил повествование:

— Конечно, в моей пьесе вы не найдете ни Элеоноры, ни Эвелинга, ни тогдашней социалистической среды Лондона... В пьесе вообще нет ни слова о социализме... Главный герой пьесы — молодой талантливый, но беспутный художник, в него страстно влюблена его красавица жена, которая готова на все, чтобы излечить мужа от пожирающего недуга. Около этого стержня разыгрывается основное действие пьесы... Тут входит другой элемент — врачи... Сознаюсь, я питаю к этой профессии большую неприязнь — может быть, пото-

му, что в молодые годы я сильно и долго болел и имел не слишком-то приятный опыт с нашими английскими частными врачами... В пьесе я даю остросатирическую галерею английских эскулапов начала XX века, которая подводит зрителя к выводу: не должно быть частных врачей, надо, чтобы медицинская профессия была муниципализирована... Как видите, моя творческая мысль прошла много этапов, оплодотворилась многими образами, размышлениями, выводами, прежде чем нашла себе законченное выражение в определенном произведении. Но все-таки исходным толчком для всего этого процесса и порожденной им пьесы явилась трагедия бедной Элеоноры¹

«Последние годы жизни Элеоноры были омрачены тяжелой личной драмой. Эвелинг был человеком, недостойным Элеоноры. Бесхарактерность привела его к тому, что он опустил морально, стал эгоистичным, способным на интриги, непорядочным в денежных делах. Эвелинг пользовался все более скверной репутацией среди товарищей по партии и среди знакомых. Элеонору заставляло глубоко страдать его поведение. Эвелинг стал исчезать из дому, кутил, продавал вещи, вел себя в отношении Элеоноры крайне непорядочно... И все же Элеонора, проявляя огромную силу воли, выдержку и терпение, пыталась исправить положение, надеясь на то, что Эвелинг изменится, тем более что он давал обещания исправиться. Но обещания оставались обещаниями. Он продолжал прежний образ жизни... Глубокое личное горе сломило жизненные силы Элеоноры. Тяжелое нервное потрясение, вызванное поведением Эвелинга, привело ее к самоубийству. Утром 31 марта 1898 года Элеонора была найдена в своей комнате мертвой» (стр. 149—150).

Первая мировая война оказала сильное влияние на творчество Бернарда Шоу. Все противоречия, свойственные капиталистическому обществу, чрезвычайно обострились, ход событий во время и после войны грубо сорвал со многих явлений действительности пеструю мишуру, раньше скрывавшую их сущность. Все это не могло не отразиться на взглядах и настроениях писателя. С его палитры почти совсем исчезают социально-бытовые мотивы, которые доминировали до 1914 года, и, напротив, на ней начинают ярко переливаться мотивы острополитические. Меняется и форма построения пьес. Если раньше, например, в таких произведениях Шоу, как «Профессия миссис Уоррен», или «Майор Барбара», или «Пигмалион», автор рисовал полнокровную картину реальной жизни, сквозь ткань которой лишь просвечивала волновавшая его социальная идея, то теперь происходит как раз наоборот. Политическая идея,

¹ В небольшой, но хорошо обоснованной книжке О.Б.Воробьевой и И.М.Синельниковой «Дочери Маркса» (изд-во «Мысль», 1954), между прочим, сказано следующее:

которая овладевает сознанием Шоу, играет центральную роль, она бьет в лоб, а факты реальной жизни лишь слегка прикрывают ее. Таковы, например, пьесы «Тележка с яблоками», имеющая подзаголовок «Политическая экстраваганца», — злая насмешка над английским парламентаризмом и лейбористской партией, или «Женева» — политический фарс, резко заостренный против фашистских диктаторов Бомбардоне (Муссолини), Баттлера (Гитлера) и Фланко (Франко). Чаше, чем раньше, Шоу прибегает теперь к методу парадокса, сарказма, гротеска, буффонады, отравленной шутки.

В смысле длительной художественной ценности эти пьесы стоят подчас ниже его прежних произведений, написанных до Первой мировой войны, но зато они гораздо эффективнее как оружие прямой политической борьбы. Нередко они становятся острыми политическими памфлетами, лишь облеченными в форму драматического произведения.

В пьесах, созданных после 1918 года, Шоу особенно ярко выступает как проповедник, учитель жизни — свойства, присущие ему с самого начала литературной деятельности, но окончательно созревшие только между двумя мировыми войнами. В этот период, даже обращаясь к далекому историческому прошлому, например, в «Святой Иоанне» (посвященной эпопее Жанны д'Арк) и в «Золотых днях доброго короля Карла» (рисующих Ньютона и Карла II с его окружением), драматург всегда старается извлечь мораль, представляющую важность для сегодняшнего дня. Не случайно в подзаголовке этой последней пьесы поставлено: «Урок истории». А другая пьеса, «Горько, но правда», написанная в 1931 году, называется: «Собрание проповедей со сцены».

Я был знаком с Шоу в годы, когда он жил и работал целиком под знаком проповедническо-политического начала, и мне не раз приходилось иметь с ним разговоры о текущих проблемах современности. Помню, как-то в январе 1935 года он прислал мне верстку своей новой пьесы «Простак с неожиданных островов» с любезной авторской надписью. Я с большим интересом прочел эту остроумную фантазию, имеющую ближайшее отношение к английскому лицемерию и Британской империи. Вскоре после этого я встретился с Шоу на одном приеме. Обстановка для большой беседы была неподходящая, но я все-таки успел ему сказать, что «Простак» мне понравился. Шоу был доволен и, сделав свой характерный жест ладонями, воскликнул:

— Разве я не прав? Разве Британская империя не пережила себя?.. Никакой Киплинг теперь не возродит ее!.. В своем «Простаке» я указываю наиболее благородный и безболезненный способ ликвидации империи: Англия объявляет, что выходит из ее состава!

И затем, весело рассмеявшись, он с искринкой в глазах добавил:

— Кабинет министров уже обсуждал мой проект!

Конечно, это была шутка, но Шоу сделал вид, будто бы сообщает мне, советскому послу, самую последнюю политическую новость.

Я спросил его, почему он облек свою пьесу в фантастические одежды Страшного суда. Шоу усмехнулся и саркастически бросил:

— Почему?.. Разве вы не знаете, что кое-кто зовет меня архиепископом вселенной?

Примерно год спустя, в первых числах января 1936 года, я прочитал в газетах, что в Вене была поставлена новая пьеса Шоу «Миллионерша». В Англии она еще не была опубликована. Я написал Шоу, прося прислать мне пьесу, хотя бы в рукописи. В ответ я получил корректуру «Миллионерши», на которой было написано:

«Айот Сен-Лоренс. Велвин.

Херфордшир. 8 января 1936 года.

Мой дорогой Майский.

Книга еще не готова. Все, что могу вам сейчас послать, — это первую корректуру, не выправленную мною. Прочитайте и затем бросьте ее в огонь. Когда выйдет весь том целиком, состоящий из трех пьес, вы увидите, что в нем находятся два предисловия, оба относящиеся к России. Д.Бернард Шоу».

«Миллионерша» была насквозь политическая пьеса, олицетворявшая все пороки капитализма в лице Елифании, наследницы 30 миллионов фунтов и обладательницы бешено авторитарического характера. Она ни с чем не считается и все и всех ломает в угоду каждому своему капризу.

Месяца два спустя Шоу, встретив меня, сказал в виде комментария к своей пьесе:

— Капитализм — это, конечно, бумажная утопия, но капиталисты — весьма реальная вещь.. И часто они бывают отвратительны. Вот это я и хотел показать в «Миллионерше».

Шоу был верен себе: его парадокс был направлен и против марксистов и против буржуа. Но пьеса с общедемократической точки зрения была полезна, а это самое главное.

В начале второй мировой войны я получил от Шоу подарок: чудесное издание пьесы «В золотые дни доброго короля Карла» с иллюстрациями известного польского художника Феликса Топольского. На книге была надпись: «Моим друзьям Майским. Д.Бернард Шоу, 2 декабря 1939 года». Эта пьеса была, пожалуй, последним могучим взлетом творчества Шоу (ему к тому времени исполнилось семьдесят четыре года). Пьеса так и блещет яркими образами, глубокими мыслями, остроумными парадоксами. Превосходны фигуры Ньютона и короля Карла II, хороши фигуры королевских любовниц — артистки Нелль Гвин, герцогиня Клевленд и Портсмус. Даже второстепенные персонажи невольно привлекают к себе внимание, особенно экономка Ньютона миссис Башэм. Формально пьеса посвящена далекому прошлому, однако вы все время чувствуете, что автор писал ее, думая о важнейшей проблеме сегодняшнего дня: как

создать такое общественное устройство, такую власть, чтобы всем людям хорошо жилось? В пьесе нет удовлетворительного ответа на этот вопрос. Даже больше: в ней, по существу, вообще нет ответа на такой вопрос. И как-то, встретившись с Шоу, я упрекнул его в этом.

Он невесело усмехнулся — впервые я видел его в таком настроении (правда, дело происходило во время войны) — и затем сказал:

— Я знаю только одно: закон богов — это закон изменений, но куда они ведут, не всегда ясно.

Здесь Шоу невольно обнаружил свою ахиллесову пяту: он был бунтовщиком по-английски.

Ирландские традиции и собственная натура сделали из Бернарда Шоу бунтовщика-одиночку. Однако он не стал ни Бакуниным, ни Кропоткиным, которые тоже вышли на историческую дорогу бунтовщиками-одиночками. И дело тут было совсем не в том, что Бернард Шоу обладал художественным талантом, а Бакунин и Кропоткин его не имели. Дело было в том, что Бакунин и Кропоткин выросли на русской почве, а Бернард Шоу — на английской. Как ни любил Бернард Шоу подчеркивать, что он ирландец, как ни поносил он английское общество, не подлежит все-таки ни малейшему сомнению, что английская жизнь и английская культура наложили на него очень большой отпечаток, гораздо больший, чем он сам хотел это признавать. Вот почему, повторяю еще раз, Бернард Шоу сделался бунтовщиком-одиночкой по-английски.

В чем это выражалось? Ответом могут служить некоторые характерные факты его биографии.

Когда в конце 70-х годов прошлого века Шоу попал в Лондон, он был молодым человеком с мятущейся душой, но без всяких определенных политических взглядов. Он стал искать своего пути. Бросался туда и сюда, ходил по дискуссионным клубам, сам выступал в качестве уличного оратора — в Гайд-парке и других местах. Потом начал работать в Британском музее.

— В течение нескольких лет, — рассказывал мне как-то Шоу, — я бывал в Британском музее почти ежедневно. Его читальный зал стал моим кабинетом. Я собирал там нужный мне материал и писал...

Шоу хитро усмехнулся и прибавил:

— Из всех учреждений Британской империи я признаю только одно — Британский музей.

— Чем же именно вы занимались в Британском музее? — задал я вопрос.

— О, разными вещами, — ответил Шоу, — много времени я посвятил Марксу и Вагнеру. Да, да, Марксу и Вагнеру, — рассмеявшись, повторил Шоу, — на моем столе в читальном зале в течение нескольких месяцев лежали «Капитал» Маркса по-французски (тогда английского перевода еще не было) и партитуры опер Вагнера. Я изучал их попеременно. Было очень интересно!

— Но почему такое сочетание? — не успокаивался я. — Какое отношение Маркс имел к Вагнеру и Вагнер к Марксу?

— О, это легко понять! — громко рассмеявшись, отпарировал Шоу. — Викторианское общество не признавало ни того, ни другого, именно поэтому я решил изучить и того и другого.

— Какое же впечатление произвел на вас Маркс?

— Замечательная голова! — с энтузиазмом воскликнул Шоу. — Он ярко показал тот ад, в котором массы находятся при капитализме. Капитализм до сих пор не может оправиться, да и никогда не оправится от нанесенного им удара. А что касается общей философии Маркса...

Шоу немного запнулся и затем твердо добавил:

— В ней много спорного... Я читал в Британском музее также Рикардо, Генри Джорджа, Уильяма Морриса и в конце концов не стал марксистом, хотя я всегда глубоко уважал Маркса и считаю, что он оказал большую услугу человечеству. Я был знаком лично также с Энгельсом. Он мне нравился, но зато я терпеть не мог Гайндмана, который в начале 80-х годов основал Социал-демократическую федерацию и считал себя чем-то вроде марксистского архиепископа в Англии.

Итак, Шоу не принял Маркса даже в пику викторианскому обществу. Вместо этого он приземлился в Фабианском обществе, о котором речь была выше.

— В одном из дискуссионных клубов, — продолжал Шоу, — я встретился с Сиднеем Веббом... Мне было тогда двадцать три года, Сиднею — на год или два меньше... Он показался мне очень начитанным и интересным. Мы подружились, и Сидней ввел меня в кружок таких же, как и он, молодых интеллигентных людей, которые в 1884 году образовали Фабианское общество. Я с самого начала стал членом этого общества, потом стал членом его исполкома, потом редактором его памфлетов, и составителем многих его важных документов — манифестов, докладов и т.д. Мы начисто отвергли баррикадные бои, о которых мечтали анархисты, и колонии праведников, которые проповедовали утописты вроде Фурье и Кабе. Мы задались целью сделать социализм, который тогда рассматривался как дьявольское наваждение, конституционным, практичным и респектабельным. И мы в этом успели.

Как видим, Шоу еще раз оказался бунтовщиком по-английски, настолько по-английски, что, например, во время англо-бурской войны 1899—1902 годов он принял сторону британского империализма. Только первая мировая война заставила Шоу многое пересмотреть в своих прежних взглядах и сделала его решительным противником английского господствующего класса.

Бунт по-английски имел следствием известную слепоту Шоу на один глаз. Он превосходно видел все пороки капиталистического общества и резко громил их. Перебирая полсотни пьес, оставшихся после драматурга, замечаешь, что его внимание привлекали и город-

ские трущобы, и проституция, и болячки буржуазной семьи, и разложение аристократического общества, и угнетение Ирландии, и кризис империи, и война, и фашизм, и многое другое. Здесь его зрение отличалось изумительной остротой, а в его творческом колчане находились убийственные стрелы, которые он беспощадно метал в адрес хозяев жизни. Ему доставляло особое удовольствие жестоко высмеивать все самые общепринятые и уважаемые взгляды и институты капиталистического общества.

Шоу не щадил и тех, кто, не будучи буржуа по своему социальному положению, вольно или невольно служил буржуазии. Как-то в конце 1933 года супруги Шоу были у нас на завтраке, и речь зашла о лейбористской партии. Шоу сразу разгорячился и резко атаковал оба правительства Макдональда (1924 и 1929—1931 годов). С искринкой в глазах, то и дело лукаво подмигивая, он гремел:

— Капитализм обанкротился, но и лейбористская партия тоже обанкротилась!.. Да, да, тоже обанкротилась!.. Я это ясно показал в моей «Тележке с яблоками»... Что должна была сделать лейбористская партия, придя к власти? Она должна была прежде всего хорошо разработать *технику социалистической администрации*, но она этого не сделала. Вот почему оба лейбористских правительства показали себя лишь способными администраторами капиталистического государства... Да, да, капиталистического!.. Они управляли делами буржуазии и во внешней и во внутренней политике гораздо лучше, чем консерваторы... А о своем социалистическом рабочем деле они забыли...

Шоу сердито хлопнул тыльной стороной правой руки по ладони левой и в виде окончательного вывода бросил:

— От нашей лейбористской партии можно ждать социализма с таким же успехом, как яичницы от швейной машины!

Все сидевшие за столом громко рассмеялись.

Да, Шоу прекрасно понимал, что капиталистическое общество насквозь изъедено тяжелыми недугами. Но вот когда дело доходило до вопроса о том, что надо сделать для устранения этих недугов и построения действительно здорового человеческого общества, сразу же обнаруживалось, что второй глаз Шоу видит очень плохо. Не то чтобы Шоу был совсем слеп на второй глаз, — нет, этого нельзя было сказать! Однако все, что доносил до него второй глаз, было расплывчато, неясно, противоречиво.

Так, Шоу считал, что, как он выражался, во избежание гибели цивилизации необходимо уничтожить бедность, установить принцип равенства в распределении доходов и продуктов, освободить брак от всяких коммерческих расчетов, национализировать промышленность, социализировать или муниципализировать профессии (например, врачей) и т.д. Большое значение Шоу придавал воспитанию детей. Однажды в разговоре со мной он сказал:

— Детей надо воспитывать так, чтобы человека только потребляющего, но не возвращающего соответственный эквивалент обществу они считали воров.

Совершенно ясно, что полусознательно Шоу правильно нащупывал то направление, в котором следует идти человечеству.

Ну, а реальный путь к достижению всех таких целей? На этот вопрос у Шоу не было определенного ответа. Классовой борьбы в марксистском понимании слова он не признавал. Как-то в ответ на мое замечание, что без признания этого принципа человек уподобляется моряку без компаса, Шоу нетерпеливо ответил:

— Мир вовсе не состоит только из пролетариев и буржуа... Среди английских рабочих, может быть, больше буржуа, чем среди капиталистов... По крайней мере меня легче понимает интеллигентный буржуа, чем потомственный пролетарий.

Это был колючий парадокс в стиле Шоу, но он только показывал, что писатель не знает прямого пути к манящему его идеалу. О том же говорила и частая апелляция драматурга к общественной совести, к моральной революции, которые должны переродить мир и привести к социализму.

Вместе с тем чем старше становился Шоу, чем выше подымалась его звезда, тем больше укреплялся его индивидуализм, его почти болезненная страсть к самостийности, к оригинальности и даже экстравагантности, его тяготение к самовозвеличению и саморекламе. Ведь Шоу тоже был человек, и атмосфера шумного успеха и ажиотажа вокруг его имени, окружавшая драматурга с начала XX века, не могла не оказать на него известного влияния.

Я уже рассказывал, что Шоу ставил Ибсена выше Шекспира. В Лондоне ходили слухи о том, что и самого себя Шоу тоже считает выше Шекспира. Думаю, что эти слухи несколько преувеличены. Однако зерно истины в них, видимо, имелось. Ибо как иначе объяснить, что сам Шоу свою пьесу «Цезарь и Клеопатра» называл «улучшенным изданием шекспировского Цезаря»?.. Рассуждая однажды о развитии своего творчества и о разнице между своими более ранними и более поздними произведениями, Шоу говорил: «Подобно Гете, я все знал...» и т.д. Нет, скромностью Бернард Шоу совсем не грешил!

Растущий индивидуализм Шоу привел его в 1911 году к выходу из Фабианского общества. Правда, сам Шоу официально объяснял этот шаг желанием дать дорогу молодому поколению фабианцев. Весьма вероятно, что этот мотив играл свою роль в решении Шоу. Однако мне кажется, что дело было значительно сложнее. В 1911 году Шоу исполнилось лишь пятьдесят пять лет. По-английски это совсем немного. Он мог совершенно свободно работать вместе с фабианской молодежью. Но личное мироощущение Шоу к 1911 году значительно изменилось по сравнению с концом прошлого столетия. К этому времени он добился всеобщего признания как драматург и оригинал. Его положение окончательно упрочилось. Он стал в

глазах Англии (да и не только Англии) чем-то вроде пророка-обличителя, с которым можно не соглашаться, но которого обязательно надо выслушать. В конечном счете индивидуализм, свойственный Шоу с детских лет, теперь полностью созрел, и его стала стеснять даже та более чем скромная дисциплина, которую накладывало на своих членов Фабианское общество. Шоу хотел чувствовать себя совершенно свободным и безответственным, идти без всяких помех только собственным путем. И он добился этого. Но результатом было то, что в поведении Шоу стали порой обнаруживаться большие странности и неожиданности. Приведу только один пример, о котором мне рассказала Беатриса Вебб.:

— В 1927 году супруги Шоу провели месяца два в Италии и там встречались с некоторыми весьма ловкими представителями Муссолини... После этого Шоу вдруг публично заявил, что диктатура Муссолини намного превосходит демократию, как она применяется в Англии. Произошла страшная сенсация... В социалистических кругах не знали, что делать... Итальянские эмигранты заявили резкий протест... А Муссолини, разумеется, использовал выступление Шоу в своих интересах... Шоу обедал у нас по возвращении из Италии... За столом вышел жаркий спор, и чем больше мы с Сиднеем нападали на итальянский фашизм, тем упорнее Шоу старался доказать свою правоту: он ведь страшный упрямец, особенно когда ему возражают. Мы чуть не поссорились, но я постаралась предупредить разрыв, и, к счастью, мне это удалось.

— Чем вы объясните поведение Шоу? — спросил я.

— Думаю, что тут сыграли роль две вещи. Во-первых, в те годы английское общественное мнение было настроено резко против Муссолини. — Шоу в пику ему решил проявить независимость. Но еще важнее было другое обстоятельство. В течение многих лет Шоу издевался над английским парламентаризмом, над его волокитой и традиционностью, над неумением нашей демократии быстро и решительно принимать нужные меры. Муссолини поразил Шоу своей способностью делать дело без проволочек — неважно, какое дело! Под впечатлением момента, не продумавши последствий — с Шоу так часто бывало, — он сразу ударил в колокола, тем более что это гарантировало большой шум в прессе и политических кругах. Мы с Сиднеем слишком хорошо знали Шоу и были уверены, что его увлечение Муссолини долго не продержится. Так оно и вышло. Скоро Шоу одумался и изменил свою точку зрения. Он очень не любил вспоминать тот кратковременный эпизод из его общественно-политического прошлого.

Да, Шоу, несомненно, одумался: в пьесе «Женева» он свирепо свел счеты с Муссолини, изобразив его там под именем диктатора Бомбардоне.

Особое отношение у Бернарда Шоу было к нашей стране и к нашему народу.

Еще до Октября он очень интересовался русской литературой — Л.Н.Толстым, И.С.Тургеневым, Ф.М.Достоевским, А.П.Чеховым, А.М.Горьким. У него даже была переписка с Львом Николаевичем. Однако ближе всего Бернару Шоу был Горький. Помню, я встретился с Шоу вскоре после смерти Горького. Он был сильно потрясен, но выразил свои чувства так, как мог это сделать только Шоу.

— Мы с Горьким были лично знакомы, — говорил Шоу, — впервые я столкнулся с ним много лет назад в Лондоне и затем опять совсем недавно в Москве, когда я посетил вашу страну... Между нами создались сердечные отношения... Как жаль, как жаль, что его больше нет!

И затем, качнув головой, с хитринкой в глазах Шоу продолжал:

— Я страшно встревожен: мои современники по XIX столетию уходят с такой быстротой, что мне становится стыдно моего долголетия... Мне кажется, что молодежь с укоризной смотрит на нас, детей прошлого века, и думает: чего вы еще задерживаетесь?.. Пора, пора нам, реликвиям старины, исчезнуть!

Иное отношение у Шоу было к нашему знаменитому физиологу И.П.Павлову. Он его не любил и не раз критиковал его учение. Думаю, главным образом потому, что Шоу был не только строгим вегетарианцем, но и не менее строгим антививисекционистом. Я слышал, как однажды он доказывал, что если для научных открытий необходимо подвергать мучениям собак, то лучше отказаться от этих открытий.

В тот раз, после разговора о Горьком, Шоу вдруг вспомнил об И.П.Павлове. Услышав вновь его нападки на нашего великого ученого, я стал его защищать, указывая на громадные достижения И.П.Павлова в исследовании центральной нервной системы. Шоу как-то сразу взорвался и воскликнул:

— Какие достижения? Какие открытия?.. Вы все преувеличиваете! Уж если хотите знать правду, так все открытия Павлова задолго до него сделаны мною, Бернардом Шоу!..

И Шоу начал ссылаться на ряд своих статей и предисловий к пьесам конца прошлого века, в которых он будто бы предвосхитил открытия И.П.Павлова, в частности учение об условных рефлексах. Я не соглашался. Шоу разгорячился, и мы долго пикировались. Потом оба остыли и, как всегда, расстались друзьями.

Вообще от Шоу по любому поводу можно было ждать самого неожиданного парадокса. У него была почти болезненная страсть к парадоксам. Помню такой случай. Как-то вскоре после нашего знакомства, когда Шоу был еще полон впечатлений от своей поездки в СССР, мы с женой были у него в гостях. Шоу с большой экспрессией рассказывал о некоторых эпизодах этой поездки. Под конец я спросил:

— Какое же впечатление осталось у вас от путешествия в Советский Союз?

— О, великолепное! — откликнулся Шоу. — Меня принимали у вас, как королевскую персону...

И затем, несколько отодвинувшись от стола, чтобы легче было взмахнуть руками, Шоу продолжал:

— Ваша страна — замечательная страна. Ваша революция — это трагедия, комедия, мелодрама, все вместе, и притом поставленные на гигантской сцене... Как драматург я чувствую это особенно остро. Ваша революция справедлива!

Вспоминается мне еще один любопытный разговор с Шоу. Когда в 1934 году разыгралась знаменитая эпопея челюскинцев и мировая пресса в течение недель на все лады освещала события, происходившие в ледовом лагере, а портрет О.Ю.Шмидта не сходил со страниц газет, Шоу как-то со смехом мне сказал:

— Вы поразительная страна!.. Полярную катастрофу вы превратили в национальное торжество и в качестве главного героя нашли человека с бородой Деда Мороза... Вы можете смеяться, но заверяю вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи друзей в нашей стране.

Это был еще один парадокс, но в нем было кое-что от истины. По традиции англичане привыкли представлять себе русского человека с большой бородой. Тот факт, что у Отто Юльевича оказалась большая борода, был очень созвучен этой традиции и как бы наглядно подтверждал, что на льдине находятся русские, настоящие русские, и вот какие они молодцы!

А полтора года спустя, в декабре 1935 года, Шоу выступил с яркой, как всегда, парадоксальной речью на Конгрессе мира и дружбы с СССР в Лондоне, где основной фигурой был О.Ю.Шмидт. Я познакомил их, и Шоу не скрывал своего удовольствия от встречи с героем челюскинской эпопеи. На этом же конгрессе Шоу в ходе своего выступления под бурные рукоплескания собравшихся воскликнул:

— Капитализм надоел самому себе, и чем скорей он исчезнет, тем лучше!

Да, Бернард Шоу относился с большой симпатией к СССР. Он не всегда хорошо нас понимал, не во всем был с нами согласен, однако с первых же дней Октябрьской революции он стал на ее защиту. В период гражданской войны и интервенции Шоу был с теми, кто написал на своем знамени «Руки прочь от России!» Позднее он не раз выступал в печати, отбивая атаки реакционеров против Советской страны.

Как-то он прислал мне номер «G.K's Weekly» («Еженедельник Д.К.Честертон») от 3 декабря 1936 года, в котором была помещена статья «В защиту России». Шоу упрекал «Еженедельник» в том, что он занимает «зверски антирусскую» позицию, и доказывал, что «враги России являются врагами человеческого рода». Ибо, так аргументировал Шоу, спасением человечества может быть только построение общества, в котором все блага и богатства распределяются равномерно между всеми его членами, а СССР является пока един-

ственной страной, которая идет по пути осуществления этого принципа. Тем самым она расчищает дорогу для спасения всего человечества. Статья заканчивалась словами:

«Не надо быть особо проницательным дипломатом для понимания того, что, если Англия и Франция не бросят весь свой военный вес и всю моральную поддержку на чашу весов России, новый фашистский пояс вокруг Средней Европы в союзе с Японией может организовать крестовый поход для расчленения России и восстановления в ней капитализма — короче, положить конец надеждам на создание общества с равномерным распределением благ и богатств. Результатом этого было бы расчленение не только СССР, но и Британской империи».

Шоу здесь переоценивал возможности врагов СССР и недооценивал возможности СССР, но тогда подобные взгляды были широко распространены в Европе даже среди наших друзей. Во всяком случае, статья с полной ясностью говорила о том, на чьей стороне был знаменитый драматург.

Однажды в ноябре 1936 года мы с женой были у супругов Шоу в их загородном доме в Айоте. За чаем зашел разговор об опубликованном незадолго перед тем проекте новой Конституции СССР. Я рассказал Шоу о сущности этой конституции и о том, что проект ее теперь передается на всенародное обсуждение. Шоу очень заинтересовался моими сообщениями, и я пообещал ему прислать проект новой конституции в английском переводе. Я выполнил свое обещание. Посылая Шоу английский текст проекта конституции, я хотел просто оказать ему любезность и вместе с тем информировать о содержании столь важного документа. Я не ждал от него никакого ответа.

И вдруг в первых числах декабря 1936 года я получил от миссис Шоу записку следующего содержания:

«Д.Б.Ш. просил меня переслать вам это. Он надеется, что оно представит для вас интерес. Искренне ваша Ш.Ф.Шоу».

К письмецу миссис Шоу было приложено большое послание самого Шоу, датированное 16 ноября 1936 года. Оно занимало две с половиной страницы машинописного текста и представляло собой замечания Шоу по отдельным статьям проекта конституции. Излишне говорить, что стиль послания был настоящим стилем Шоу и изобилует парадоксами, остротами, хлесткими словечками. Приведу несколько примеров.

По поводу ст. 123, устанавливавшей, что равенство всех граждан СССР является непреложным законом, Шоу писал: «В политике не может быть непреложных законов. СССР не должен цепляться за догмы».

По поводу ст. 127, гарантировавшей неприкосновенность личности, Шоу писал: «Авторы этой статьи, очевидно, имели в виду только свободу от ареста. Но в России опасность медицинской тирании гораздо больше, чем опасность полицейской тирании, ибо боль-

шевики очень ревниво относятся к власти полиции, но безгранично доверяют всезнанию и непогрешимости таких... как Павлов».

Что имел Шоу в виду, говоря о медицинской тирании, явствует из сделанного тут же замечания, что «английский солдат фактически вынужден мириться с насилием над его личностью, осуществляемой при помощи целой серии вакцинаций и инъекций».

В пояснение должен сказать, что Шоу был не только антививексионистом, но и антивакцинистом.

По поводу ст. 135, 136 и 141, гарантировавших равное право выбирать и быть выбранным для всех граждан СССР не моложе восемнадцати лет, Шоу писал:

«Положение, что депутат не нуждается в определенной подготовке для общественной работы, не имеет значения в капиталистическом управлении, основанном на принципе «laissez passer»¹, ибо целью его является предупреждение всякого государственного вмешательства в область частного предпринимательства, однако в коммунистическом управлении неподготовленный депутат может принести большой вред. В будущем, несомненно, для депутатов будут установлены испытания в знаниях и компетентности, хотя они едва ли будут напоминать нынешние академические испытания, которые более чем бесполезны».

Я ответил Шоу, что перешлю его послание в Москву, а при ближайшей встрече с ним высказал ряд возражений против сделанных им замечаний. В частности, я обращал его внимание на то, что новая конституция еще не является конституцией коммунистического государства. СССР еще не дошел до этой стадии развития. Пока речь идет лишь о конституции социалистического государства.

— Но погодите! — закончил я. — Дайте срок! Наступит день, когда мы создадим в СССР коммунизм... Тогда у нас будет стопроцентная коммунистическая конституция!

— Но ваша медицинская тирания... — начал было Шоу.

— Не беспокойтесь о ней, — возразил я. — Благодаря Павлову и другим советским ученым, врачам, всей организации нашего медицинского дела уровень здоровья советского населения год от году повышается.

Шоу не хотел со мной согласиться. Он упрямо отстаивал мысли, изложенные им в своем письме. Под конец мне все-таки удалось его убедить, что внесение в конституцию слов «кто не работает, тот не ест» вполне правомерно. Но зато в вопросе о медицинской тирании Шоу остался при своем. Когда мы расставались, Шоу со смехом заявил:

— Советское правительство передало проект конституции на всенародное обсуждение... Вот я и принял участие в его обсужде-

¹ Буквально: «оставьте совершаться», то есть не вмешивайтесь (*фр.*).

нии... Я, правда, не советский гражданин, но ведь вы интернационалисты!

Года два спустя, когда новая Советская конституция была уже окончательно принята и вошла в жизнь, Шоу как-то в разговоре со мной весело сказал:

— Я вижу, что мои поправки к конституции не приняты... Тем не менее я вполне удовлетворен нынешней Конституцией СССР.

Перебирая в памяти сейчас, много лет спустя, все мои многочисленные встречи и беседы с Бернардом Шоу, все его выступления и писания за время нашего долгого знакомства (а также до и после него), все его поведение с момента возникновения Советского государства, я с полным убеждением говорю: да, несмотря на все свои парадоксы и капризы, Бернард Шоу был и навсегда остался другом Советского Союза, другом в хорошую и плохую погоду.

Последняя встреча с Шоу и его женой окрашена в моей памяти в траурные цвета.

В июле 1943 года я был вызван из Лондона в Москву для консультаций по вопросам послевоенного устройства. Затем меня назначили заместителем наркома иностранных дел. В конце августа я вернулся в Лондон для ликвидации дел, и дней за десять до окончательного отъезда в СССР мы с женой посетили супругов Шоу, для того чтобы с ними попрощаться. Они приняли нас в своей городской квартире.

Бернард Шоу, несмотря на свои восемьдесят семь лет, был по-прежнему бодр, активен, остроумен. Но зато его жена стала почти калеккой. Правда, она вышла к нам, как всегда, тщательно одетая и подтянутая, но она не могла поднять головы от груди. Моей жене Шарлотта рассказала, что лет тридцать назад ее выбросила из седла строптивая лошадь и она сильно ушибла позвоночник. Тогда ее лечили и как будто бы совсем вылечили. Однако к старости позвоночник стал давать знать о себе, и чем дальше, тем больше. Теперь врачи оказывались бессильными. В последние недели ее совсем скрючило, и она все время лежала в постели. Только сегодня, чтобы проститься с нами, она встала и оделась.

Разумеется, в такой обстановке наша встреча, несмотря на все попытки Бернарда Шоу оживить ее, прошла в каких-то приглушенных тонах. Мы благодарили супругов Шоу за то дружеское отношение, которое они неизменно проявляли к нам на протяжении одиннадцати лет нашего пребывания в Лондоне, и за ту немалую помощь, которую они оказывали нам в борьбе за донесение истины о Советском Союзе до широких кругов английского общественного мнения. В ответ Бернард Шоу сказал:

— Мы считали своим долгом, поскольку это было в наших силах, разорвать ту пелену вопиющей лжи и злопыхательства в отношении Советской России, которую за минувшие четверть века так усердно создавала английская и американская печать. Мы только жалеем, что не смогли сделать большего.

С каким-то недобрým предчувствием мы крепко пожали на прощание руки супругов Шоу.

Мы уезжали из Лондона в середине сентября 1943 года. По условиям военного времени наше путешествие было обставлено секретностью и различными строгими ограничениями. В самый день отъезда я открыл утренние газеты, и вдруг у меня сжалось сердце. Печать сообщала, что накануне умерла миссис Шоу. Первым нашим движением было отправиться к Бернарду Шоу и лично выразить ему наше глубокое соболезнование в понесенной им тяжелой утрате. Но поезд, которым мы должны были уезжать, вот-вот уходил, а отложить поездку в тогдашней обстановке было невозможно. Я взял лист бумаги и написал:

«Мой дорогой Шоу, мы страшно потрясены печальной новостью, которая дошла до нас в самый момент нашего отъезда из Лондона. Примите наше искреннее и глубокое сочувствие в постигшем Вас тяжелом горе. Вы потеряли Вашу многолетнюю спутницу в жизни, ту, которая всегда была так жизнерадостна, которая проявляла такую сердечность в своей дружбе, которая давала так много всем ее знавшим. В этом году мы потеряли двух дорогих друзей — Вашу жену и Беатрису Вебб¹. Мне так хотелось бы, если бы это было возможно, увидеть Вас, чтобы лично выразить свои чувства... Еще раз прошу Вас принять от нас обоих самую теплую и искреннюю симпатию».

Час спустя мы сидели в поезде, уносившем нас в Глазго, откуда должно было начаться наше длинное и опасное морское путешествие домой, на родину...

Когда пишешь воспоминания, невольно подводишь итоги жизни и событиям. На предыдущих страницах я рассказывал о Бернарде Шоу, и теперь, в заключение, мне хочется сказать следующее.

Бернард Шоу был большой писатель и большой человек, натура сложная и противоречивая. Воспитание и обстановка, в которой проходила его жизнь, наложили на Шоу свой отпечаток. В его литературной и общественно-политической деятельности имелись слабости и ошибки. Однако, окидывая одним взглядом всю историю знаменитого драматурга в целом, мы можем смело сказать, что, подобно Гейне, он был воинствующим гуманистом и «лихим барабанщиком» свободы, как она понимается в нашу эпоху. Лучшим доказательством тому является отношение Бернарда Шоу к Советскому Союзу.

Герберт Уэллс

Имя Герберта Джорджа Уэллса ярко и стремительно ворвалось в мой духовный мир, когда я был еще на гимназической скамье. В 1898 году Уэллс опубликовал свой знаменитый научно-фантастичес-

¹ Беатриса Вебб умерла весной 1943 года.

кий роман «Борьба миров», повествующий о нашествии марсиан на Землю. Вскоре этот роман был переведен на русский язык и появился в издававшемся тогда либеральном журнале «Мир божий». Я проглотил залпом произведение Уэллса. Оно произвело на меня огромное впечатление, тем более, что как раз в это время я очень увлекался астрономией и даже собирался посвятить жизнь свою изучению небесных светил. Правда, в дальнейшем ветер революции унес меня совсем в другую сторону, но в те дни, четырнадцатилетним мальчиком, я с жадностью поглощал страницы уэллсовского романа. Имя английского писателя прочно закрепилось в моем сознании.

Впервые я встретился с Уэллсом лично в 1927 году в Лондоне. Я был тогда советником нашего полпредства в Англии и заведовал отделом печати. По характеру работы я очень внимательно следил за английской прессой, и то, что зимой 1926/27 года разыгрывалось на ее столбцах, могло вызвать у меня только чувство крайнего возмущения и раздражения. Консервативный кабинет Болдуина явно готовил почву для разрыва дипломатических отношений между Англией и СССР, установленных в феврале 1924 года первым лейбористским правительством Макдональда. Особенно большую активность в этом отношении проявляли министр внутренних дел Джойнсон Хикс (или в просторечии «Джикс») и министр по делам Индии лорд Биркенхед. Им несколько более осторожно вторил министр иностранных дел Остин Чемберлен, старший брат «героя Мюнхена» Невиля Чемберлена. В парламенте, в печати, с церковной кафедры велась бешеная антисоветская кампания. Атмосфера в англо-советских отношениях с каждым днем накалялась все больше. Со страниц британских газет непрерывным потоком выливались на СССР целые ведра клеветы и самых фантастических выдумок.

И вот вдруг в одном из январских номеров бивербрукского «Сандей экспресс» появилась статья Уэллса по жгучему вопросу — о взаимоотношениях между Лондоном и Москвой. Она резко выделялась на черном полотне тогдашней английской печати. В ней слышался голос здравого смысла и проявлялось понимание исторического значения происходящих событий. Не со всем в аргументации автора можно было согласиться, но главное — горячий призыв к улучшению англо-советских отношений — вызвало лишь глубокое сочувствие с нашей стороны. Я решил немедленно реагировать и 26 января 1927 года отправил Уэллсу письмо, в котором говорил, что в создавшейся обстановке его выступление производит «воистину ошеломляющее впечатление», ибо оно обнаруживает «оригинальность мысли и взглядов» автора. Я не скрывал, однако, от Уэллса, что кое-что в его статье кажется мне спорным и заслуживающим обсуждения.

Должно быть, мое письмо произвело на Уэллса известное впечатление, потому что вскоре после того я получил письмо от его жены, Катрин Уэллс, любезное письмо, в котором она приглашала меня и мою жену запросто, по-семейному, у них пообедать. С уче-

том того, что я был тогда не посланцем, а только советником, жест Уэллсов означал несомненную заинтересованность во встрече со мной.

Действительно, 6 апреля обед, о котором писала Катрин Уэллс, состоялся. Он происходил в городской квартире писателя, постоянно жившего в те годы неподалеку от Лондона, в дачном местечке Данмоу. Присутствовала семья Уэллса — он сам, его жена и дети, уже взрослые и выходявшие на самостоятельную дорогу люди. Как полагается по английскому этикету, я сидел по правую руку Катрин Уэллс, а моя жена по правую руку Герберта Уэллса. Это означало, что обед устроен в нашу честь.

Разумеется, я внимательно присматривался к хозяевам, особенно к самому Уэллсу. Ему было тогда около шестидесяти лет, но выглядел он очень бодро и крепко. Красивым назвать его было нельзя: большой торс, маленькая голова, короткие руки и ноги (для портных это, вероятно, представляло трудную проблему), аккуратно подрезанные усы, морщины под глазами, спокойно-небрежные манеры, тонкий, чуть скрипучий голос... Но все это искупалось мощным, массивным лбом и ярко блестящими под ним слегка насмешливыми глазами. Они, эти глаза, были очень выразительны и изменчивы: то искрились сарказмом, то горели вдохновением... Да, да, вдохновением! Ибо во время разговора с Уэллсом вы все время чувствовали, что какое-либо слово, выражение, фраза, даже жест вдруг высекали из его духа яркую искру, которая сразу освещала все его лицо. И тогда Уэллс становился необычайно обаятельным.

Жена писателя, Катрин Уэллс, мне очень понравилась. Она не была красавицей, но обладала тем, что гораздо важнее красоты, — женским очарованием. Было в ней что-то высокоинтеллектуальное и благородное. Чувствовалось, что она много перевидала и пережила (ведь большие писатели обычно бывают очень трудными мужьями), но сумела многое преодолеть и подняться над различными ухабами жизни.

Во время обеда, как это принято у англичан, никаких серьезных разговоров не было. Рассказывали последние политические и театральные новости, шутили, смеялись, поддразнивали друг друга. Расспрашивали нас о наиболее интересных постановках в Москве, о выходе книг известных писателей, о некоторых общих знакомых.

Под конец обеда произошел один комический инцидент. На сладкое внесли какой-то большой, пышный шар с замысловатыми сосульками, похожий на гору легко взбитого безе. Прежде всего подали старшей гостье, то есть моей жене. Она была в затруднении: никогда раньше она не видала такого кушанья, и ей казалось, что, стоит лишь дотронуться до блестящего шара ложкой, как вся эта предательская гора обрушится ей на платье. Мгновенное замешательство... И затем жена с очаровательной улыбкой обратилась к хозяину:

— Будьте пионером в этом вкусном предприятии!

— Охотно! — откликнулся Уэллс. — Хотя мне запрещено это есть: я ведь диабетик.

Писатель взял ложку и ткнул в шар... Какое разочарование! Шар оказался сделанным из сахара и был так тверд, что куски от него пришлось отбивать ножом. Так иногда бывает обманчива внешность.

Когда обед был кончен и подали кофе, опять-таки в соответствии с английским этикетом начались более серьезные разговоры. Они вращались в основном около тогдашнего состояния англо-советских отношений и позиций различных партий и политических деятелей в этом вопросе. Выступал главным образом Уэллс. Бернард Шоу как-то заметил, что Уэллс всегда говорит сам, но никогда не слушает собеседника. Но и Бернард Шоу страдал тем же грехом, пожалуй, еще в большей степени. Однако в тот вечер я должен был убедиться, что Уэллсу действительно очень нравится быть главным оратором за столом, и мне нелегко было выбирать момент для высказывания своих мнений. Говорил он быстро, резко, остро, не щадя ни людей, ни организаций, ни учреждений.

Я все время подчеркивал, что Советский Союз хочет только мира и нормальных, деловых отношений с Великобританией, но что с английской стороны он не встречает в этом отношении взаимности. Уэллс зло критиковал и высмеивал английских консерваторов, либералов, лейбористов, издевался над их тупостью и слепотой и энергично развивал мысль о необходимости смягчения англо-советского напряжения. В заключение Уэллс обещал сделать все возможное для предотвращения грозящего разрыва между обеими странами.

Я ушел с обеда с чувством большого удовлетворения: я был доволен, что познакомился с Уэллсом и что его политическая позиция оказывается столь дружественной СССР.

Недели две спустя, в конце апреля того же 1927 года, Уэллс и его жена были у нас на обеде. Они относились к нам с явной симпатией и хотели продолжить только что начавшееся знакомство. Мне кажется также, что Уэллс был рад возможности встречаться с живым большевиком в частном порядке и беседовать с ним на разные интересующие его темы. Сужу так потому, что у нас на обеде он подробно расспрашивал меня о моем происхождении, воспитании и революционном пути. При этом он особенно отметил, что мой отец был врач и что, стало быть, я не являюсь выходцем из рабочей среды. В дальнейшем ходе разговора я понял, почему писатель обратил столь большое внимание на мою генеалогию.

В свою очередь, я поинтересовался происхождением и воспитанием Уэллса, о которых знал тогда больше понаслышке.

— Мое происхождение? Год рождения — 1859, — с усмешкой ответил Уэллс. — О, мое происхождение не блещет чем-либо замечательным... Мои родители принадлежали к верхней прослойке помещичьих слуг: отец был садовником, а мать сначала горничной поме-

щицы, потом экономкой в поместье. Воспитание?.. По совести могу сказать: я воспитал себя сам в резкой оппозиции ко всему тому, чему меня учили мои родители, особенно мать... Мать моя была очень богомольна и страстно обожала «нашу дорогую королеву Викторию», она считала также, что мир, в котором она жила, вечен и неизменен... Но я родился бунтовщиком... Мать рассказывала, во время крещения я так неистово кричал, что все присутствующие были совершенно шокированы!.. Позднее меня всегда возмущали узколобый догматизм моей матери и ее преклонение перед всеми «высшими». Именно поэтому я стал атеистом, антиклерикалом, ненавистником королей, республиканцем и проповедником изменчивости всего существующего.

— Вы говорите, — заметил я, — что сами себя воспитали, но ведь были же все-таки какие-либо влияния со стороны? Например, со стороны школы?

— О нет, — возразил Уэллс, — та убогая школа, которую я прошел в детстве, способна была только убить во мне всякий дух протеста. Потом я попал приказчиком в лавку, где продавались ткани. Мать считала, что это лучшая из всех возможных карьер, и упорно старалась убедить меня в ее преимуществах, но тщетно... В семнадцать лет я окончательно сбежал из лавки... Тут случай помог мне стать на научно-педагогическую дорогу и сделаться биологом, а потом открылись литературные перспективы... Очень многим я обязан чтению, пестрому, беспорядочному (ибо руководителя у меня не было), но сильно расширившему мой горизонт... Особенно большое впечатление на меня произвела «Республика» Платона.

Передо мной, несомненно, сидел «self made man» (человек, который сам себя создал), как говорят американцы. И это, конечно, многое объясняло в характере, взглядах и психологии Уэллса.

За тем же обедом или, точнее, после обеда у меня произошел разговор с Уэллсом по большим, принципиальным вопросам. Мне известны были некоторые его произведения, касавшиеся проблем исторического развития человечества, социализма, Советской России, Коммунистической партии, но все они были написаны в более или менее отдаленном прошлом. Меня же интересовало, что думает Уэллс на эти темы сейчас. Вот почему я направил разговор так, чтобы получить от него желательные мне ответы. Уэллс охотно пошел мне навстречу (в нем всегда сидел пропагандист) и, слегка потряхнув головой, начал излагать свое кредо.

— Мне было лет двадцать, — говорил Уэллс, — когда я заинтересовался идеей социализма и даже выступил с первым докладом по этому поводу, но то было полудетское увлечение: я надел красный галстук и мечтал о молочных реках и кисельных берегах... Я был тогда студентом-биологом и не видел никакой связи между естествознанием и общественными науками (если таковые вообще существуют). Так продолжалось до конца 90-х годов прошлого века. Все мои первые романы научно-фантастического характера были напи-

саны в представлении, что естествознание идет одной дорогой, а наука об обществе — другой, и обе дороги нигде не соприкасаются.

Уэллс выпил несколько глотков вина и затем продолжал:

— Однако примерно около 1900 года я усомнился в правильности такого взгляда и задумался о будущем человечества не только с биологической, но и с социальной точки зрения... Так родилась моя первая книга в новом духе — «Предвосхищения», идеи которой потом подробнее были развиты в моем романе «Современная утопия». Я пришел к выводу, что спасти человечество от вырождения и гибели может только создание всемирного государства с плановым хозяйством. Конечно, в те дни всемирное государство было лишь мечтой, о которой никто не хотел говорить всерьез... После войны 1914—1918 годов я думал, что Лига Наций явится зародышем всемирного государства, но скоро должен был в этом разочароваться. Тем не менее я считаю, что сейчас, в наши дни, имеется реальная возможность создания всемирного государства, *только возможность!* Нет никакой неизбежности! Этой возможностью надо воспользоваться, иначе человечеству грозит смерть!

— Ну, а как вам рисуется путь к этому всемирному государству? — задал я вопрос.

— Главная предпосылка, — ответил Уэллс, — формирование группы людей, которые могли бы создать такое государство. В «Современной утопии» я за неимением лучшего имени назвал их «самураями». Это нечто вроде ордена крестоносцев, состоящего из специально воспитанных, целеустремленных, всецело преданных общественным интересам людей. Они должны быть готовы на все ради осуществления своей цели.

— Но откуда могут прийти ваши «самураи»? — вновь спросил я.

— Отовсюду! — несколько вызывающе откликнулся Уэллс. — Да, да, я знаю, марксисты считают, что только пролетариат может и должен совершить социалистическую революцию и построить социалистическое общество. Я с этим не согласен. Элита, способная перестроить современное общество на более справедливых основаниях, сложится из инженеров, техников, врачей, администраторов, учителей, просвещенных промышленников, руководителей транспорта, даже банкиров... Не смейтесь! Да, даже банкиров! Конечно, среди банкиров есть много людей, занятых только наживой. Но есть и другие, которые в силу самого существа банковского дела смотрят шире и понимают, что их операции все больше приобретают международный и даже мировой характер, — разве из их среды не могут выйти сторонники всемирного государства?.. Число таких примеров можно было бы сильно увеличить... Вот из всех этих элементов и может сложиться элита, но требуется длительная и настойчивая пропаганда идеи всемирного государства.

— Допустим, вы создали подобную элиту, — снова поставил я вопрос. — Как она будет действовать? С помощью каких методов и средств она сможет создать всемирное государство?

— Только с помощью открытых путей воспитания, пропаганды и переубеждения... В секретные заговоры и восстания я не верю! Я сам по мере сил стараюсь действовать в этом направлении — несколько лет назад, например, я опубликовал большую книгу «Основные линии истории», в которой даю совершенно иную интерпретацию исторических событий, чем это принято в Оксфорде и Кембридже. Мой очерк истории наталкивает мысль читателя на важность построения всемирного государства. Он вызвал большой интерес и разошелся в количестве двух миллионов экземпляров по всему миру. Думаю, что моя книга является полезным вкладом в ту воспитательную битву, которую приходится вести сторонникам моих взглядов.

— Ну а если реакционные силы воспрепятствуют переходу ко всемирному государству, что тогда? — поинтересовался я.

— Надолго они не смогут этого сделать: мощь общественного мнения — непреодолимая сила. Вы, русские, всегда его недооценивали.

И затем, как бы подводя концовку тому, что он изложил, Уэллс сказал:

— Полагаю, что у меня и у вас, коммунистов, одни и те же цели. Разве не так?

Теперь пришла моя очередь отвечать. Я начал с того, что социализм в конечном счете, безусловно, ведет к созданию всемирного государства или, точнее, всемирной организации человечества, ибо на определенной стадии развития государство должно отмереть. Но это еще очень и очень далекая перспектива, и ставить ее сейчас как задачу практической политики — значит увлекаться утопией, морочить людям голову и отвлекать их от решения действительно нужных проблем.

— Как же вы представляете себе путь ко всемирному государству? — нетерпеливо прервал меня Уэллс.

— Как я представляю? — повторил я вопрос писателя. — А вот как... Надо учиться у истории... Вспомните, в 1789 году во Франции произошла великая революция. Человечество вступило в эпоху буржуазного господства в *мировом масштабе*, однако потребовалось около столетия для того, чтобы эта новая форма утвердилась во всех важнейших странах. В 1917 году произошла еще более великая революция в России, Октябрьская революция. Человечество вступило в эпоху диктатуры пролетариата опять-таки в *мировом масштабе*, однако потребуется, очевидно, немало времени прежде, чем эта новая форма победит во всех важнейших странах... Сколько именно времени? Не берусь сказать, но немало... Вот когда диктатура пролетариата станет фактом в Англии, Франции, США и других, ныне капиталистических странах, настанет момент всерьез думать о всемирной организации человечества.

— Но ведь это значит, — почти негодуяше воскликнул Уэллс, — что вы откладываете рождение всемирного государства по крайней мере на полвека, а может быть, и больше!

Я пожал плечами.

— Не знаю... Не могу гадать... Может быть, это случится раньше, а может быть, и позже... События покажут.

— Вы слишком пессимистично смотрите на людей и их сознание, — возразил Уэллс.

— А мне кажется, только реалистично, — отпарировал я. — Но вопрос о длине и этапах пути ко всемирной организации человечества — это лишь один пункт моего несогласия с вами. Есть еще и другой, не менее важный...

Тут я в немногих словах развил марксистскую точку зрения на историческую роль пролетариата как могильщика капитализма и на полную фантастичность планов Уэллса об элите и ее возможностях. Это взорвало Уэллса, и он с раздражением воскликнул:

— Вы же не рабочий, а служите делу социализма! — Тут только я понял, почему Уэллс так интересовался моим происхождением. — Красин был не рабочий, а служил делу социализма!.. Да и сам Ленин — разве он был рабочим?

Мне опять пришлось терпеливо объяснять Уэллсу, что марксизм отнюдь не сбрасывает со счетов интеллигенцию, что, наоборот, он предусматривает переход на сторону пролетариата более передовых представителей интеллигенции, но что все-таки основной силой, преобразующей капиталистическое общество в социалистическое, может быть только рабочий класс. В заключение я не без скрытой иронии прибавил:

— Если не ошибаюсь, вы пытались создать свой орден «самураев» из Фабианского общества, — что из этого вышло?

Такую попытку Уэллс действительно сделал в 1903 году, войдя в состав Фабианского общества, но после дискуссий, споров и конфликтов ушел оттуда три года спустя.

При упоминании о Фабианском обществе Уэллса как-то передернуло, и, презрительно махнув рукой, он в некотором замешательстве ответил:

— Я был тогда наивен... Фабианцы оказались просто самовлюбленными интеллигентскими снобами, а не «самураями»: они думали не о создании нового общества, а о пропитывании старого общества своими взглядами и были совершенно равнодушны к идее всемирного государства.

— Вот видите, — заметил я, — а ведь фабианцы — как-никак социалисты, хотя и на английский манер... Чего же можно ждать от вашей пестрой и расплывчатой элиты?

В дни, когда мы с Уэллсом беседовали о будущем человечества, события в сфере англо-советских отношений развертывались со стремительной быстротой. Джиксу и Биркенхеду удалось все-таки добиться своего: британское правительство решило пойти на разрыв

отношений с СССР. Подготовка к этому акту отличалась топорной неуклюжестью. 12 мая 1927 года Джикс произвел налет на «Аркос» и советское торгпредство, помещавшиеся в одном здании, причем английские полисмены разбивали двери и расплавляли замки сейфов. Британские агенты искали если не оружия, то хотя бы «компрометирующих документов», которые дали бы возможность обвинить «Аркос» и торгпредство в том, что они являются лишь ширмой для «злокозненной» деятельности Коминтерна. Ничего такого Джикс не нашел да и не мог найти, ибо советские торговые организации действительно занимались только торговлей, но, чтобы спасти свое лицо, министерство внутренних дел заявило, будто бы «коминтерновские материалы» имелись в «Аркосе», но накануне налета были оттуда увезены большевиками. Это звучало малоубедительно, тем не менее под вой и улюлюканье твердолобых правительство Болдуина 25 мая объявило о разрыве отношений с Москвой. На эвакуацию полпредства был предоставлен срок в десять дней.

Едва мы получили ноту о разрыве отношений, как я немедленно же известил об этом Уэллса. В суতোлке тогдашних событий я не имел времени заехать к нему и потому информировал о создавшемся положении письменно. В тот же день я получил от Уэллса ответ. Он был написан красивым бисерным почерком, который в дальнейшем не раз доставлял мне немалые огорчения: разгадать смысл этих микроскопических знаков не всегда было легко. Уэллс писал:

«25 мая 1927 года. Дорогой мистер Майский, большое спасибо за присланное вами подробное сообщение. Я слышал, что в результате наших недавних грабежей со взломом вы покидаете Лондон в пятницу... Я очень огорчен. Я надеюсь, однако, в недалеком будущем мы опять встретимся — в Лондоне. Мои наилучшие пожелания мадам Майской. Искренне ваш Г.Д.Уэллс».

Накануне нашего отъезда из Англии я зашел к Уэллсу проститься. Он был глубоко возмущен действиями британского правительства, ругал последними словами Болдуина, Чемберлена, Биркенхеда, Черчилля и Джикса. Но больше всего его негодование обращалось против лейбористов.

— Я еще могу понять консерваторов: они открытые враги Советской России, и они поступают, как враги, хотя это глупо и вредно для нас самих... Но лейбористы!.. Ведь они со всех крыш кричат о своей дружбе с вашей страной, о большой заинтересованности рабочих в развитии англо-советской торговли, о том, что они сочувствуют успеху «социалистического эксперимента» в России... А что они сделали для предотвращения разрыва? По существу, ничего. Нельзя же в самом деле считать борьбой против разрыва те робкие словесные протесты, которые они время от времени позволяли себе в парламенте. Я совершенно убежден, что если бы Макдональд, Сноуден и другие лейбористские лидеры действительно хотели предотвратить разрыв, они сумели бы это сделать, но они не хотели!

— Почему? — спросил я.

— Да просто потому, что лейбористская верхушка — это мещане, которые больше всего хотят прослыть уважаемыми англичанами. А массы их терпят.

И затем, вспомнив, очевидно, о нашем недавнем споре, Уэллс вызывающе воскликнул:

— Вот каков ваш возлюбленный пролетариат!

Момент был не таков, чтобы возобновлять нашу дискуссию, поэтому я сказал:

— Сейчас, когда политические и экономические связи между нашими странами не по нашей вине будут разорваны, особая ответственность ложится на представителей культуры обеих стран. Надо хотя бы в этой области сохранить общение между Англией и СССР. Я надеюсь, мистер Уэллс, что вы лично приложите все усилия для осуществления такой задачи. Вам тут и книги в руки.

— Вы совершенно правы, — откликнулся Уэллс, — обещаю вам, что за мной дело не станет.

В октябре 1932 года я приехал в Лондон в качестве посла СССР. Одним из первых моих шагов было навестить Уэллса. Мы встретились как старые друзья. Вспоминали прошлое, говорили о настоящем, обменивались мнениями и спорили по вопросам литературы и политики. Уэллс по-прежнему возмущался поведением британских консерваторов в отношении Советского Союза, по-прежнему ругал лейбористов за их пассивность в этом важном вопросе, по-прежнему обещал свое содействие в области сближения между обеими странами. И не только обещал — делал! Связи у Уэллса имелись большие и в самых разнообразных кругах, и он использовал их для смягчения напряжения в англо-советских отношениях. В частности, он сильно помог мне в этот первый, наиболее трудный период моей работы как посла, облегчив знакомство с людьми, влиятельными в сфере политики, экономики и культуры. Годы 1932—1934 были наиболее безоблачной полосой в моих отношениях с Уэллсом. Мы близко сошлись, часто встречались, запросто бывали друг у друга. Я очень ценил мою дружбу с Уэллсом — не только с утилитарно-дипломатической, но и с чисто человеческой точки зрения. Уэллс представлял собой какой-то искрометный фонтан идей, образов, построений, гипотез, теорий, фантазий, фонтан бурный, стремительный, неудержимый, и всякое соприкосновение с ним подымало дух, стимулировало мысль, расширяло горизонт.

Мне хочется вспомнить несколько встреч и эпизодов этого периода.

Я хорошо знал о поездке Уэллса в Советскую Россию осенью 1920 года. Я знал, что вместе со своим сыном он провел у нас пятнадцать дней (главным образом в Петрограде), что в это время он много общался со своим старым знакомым — Максимом Горьким, что в Москве он имел большую беседу с Лениным и в опубликованной им после возвращения в Лондон книжке «Россия во мгле» он

назвал Владимира Ильича «кремлевским мечтателем». Было совершенно очевидно, что, несмотря на сочувственное отношение Уэллса к русскому народу и к стремлению большевиков перестроить Россию на социалистических началах, он не понял ни Ленина, ни значения Октябрьской революции. Все эти факты, естественно, отложились в сознании советских людей и создали среди них представление об Уэллсе как о близоруком мещанине, неспособном осознать всю важность совершившихся в России событий. Такое представление закрепилось, повторяясь из года в год, и стало своего рода традицией, еще не изжитой вплоть до настоящего дня. А между тем оно не вполне правильно. Это представление соответствовало 1920 году, да и то с оговорками, ибо тогда же, в 1920 году, вернувшись в Англию, Уэллс резко выступил против интервенции. Но это представление уж никак не соответствовало более позднему времени, когда Уэллс имел возможность посмотреть на Октябрьскую революцию и оценить Ленина в свете известной исторической перспективы. Думается, наступило время восстановить истину и воздать справедливость большому английскому писателю.

По целому ряду симптомов я видел, что к тому времени, когда мы вновь встретились с Уэллсом в начале 30-х годов, его взгляды на революционную Россию проделали значительную эволюцию, и мне очень хотелось подробно узнать, что он думает по этим вопросам сейчас. Я воспользовался первым подходящим случаем для того, чтобы получить на них ответ.

Дело происходило весной 1933 года. Мы с Уэллсом сидели в прелестном ресторане в Ричмонде, под Лондоном, откуда открывался чудесный вид на Темзу, извиляющуюся стальной полосой где-то глубоко внизу, в долине, и на зеленый лес за Темзой, и на какие-то широкие-широкие дали за этим лесом. Может быть, под влиянием задумчивого пейзажа, расстилавшегося перед нами, настроение у нас обоих было тихое, умиротворенное, располагающее к откровенным разговорам. Я спросил Уэллса о том, о чем мне давно хотелось его спросить, но чего я долго не решался касаться, — что заставило писателя поехать в Советскую Россию в 1920 году.

— Меня всегда интересовало, — ответил Уэллс, — все новое, необычное... Мой ум скучает, когда сталкивается с привычным, обыденным, — это пресная пища... Мой ум загорается, только когда я встречаю какую-нибудь загадку, непонятную проблему или явление из ряда вон выходящее... Таким уж я родился... Так вот, когда в 1917 году большевики сделали свою революцию, а потом создали Советское государство, я сразу почувствовал: это что-то новое, такого еще никогда не бывало на земле, надо посмотреть на это собственными глазами... Тогда я решил поехать.

— Стало быть, просто из любознательности? — суммировал я.

— Не совсем, — возразил Уэллс. — Конечно, любознательность играла немалую роль. Но не только она... Как вы знаете, уже за много лет до вашей революции меня увлекала идея всемирного госу-

дарства и планового хозяйства. Я даже пропагандировал создание «ордена самураев» для перестройки человечества на новых началах... Должен признаться, когда я писал свои «Предвосхищения»¹, мне и в голову не приходило, что первый опыт плановой экономики может быть проделан в России... Мы всегда недооценивали революционные потенции России... Однако после большевистской революции мне стало казаться, что именно в России возникает кусок того планового общества, о котором я мечтал. Меня также очень интересовала партия, созданная Лениным... Эти обстоятельства еще более подстегивали меня в стремлении посетить Москву и лично познакомиться с Лениным.

— Я читал вашу книжку «Россия во мгле», — заметил я, — и знаю, какие впечатления вы тогда вынесли из своего визита в Советскую Россию...

— И вы, конечно, с ними не согласны, — саркастически бросил Уэллс.

— Да, я с ними во многом не согласен, — подтвердил я, — но не это меня в данный момент занимает... Гораздо больше меня интересует, согласны ли с ними сейчас вы сами.

Уэллс усмехнулся и ответил:

— И да и нет.

— Как это понять? — спросил я.

— Видите ли, — начал он объяснять, — когда я приехал тогда в Россию из благополучной и упорядоченной Англии, меня страшно потрясла господствовавшая у вас разруха... Особенно в Петербурге. Это была полная катастрофа, распад всех нормальных функций цивилизованного общества... Мне казалось просто невероятным, что Россия сама, без энергичной помощи извне, сможет встать из бездны, в которую она упала... И когда Ленин в такой обстановке стал развивать передо мной свой план электрификации России, я невольно подумал: «Вот мечтатель!» Я так и назвал его в моей книжке о поездке в Россию — «кремлевским мечтателем». Ведь я-то знал, что ни английские, ни американские капиталисты денег большевистскому правительству не дадут... Я плохо был знаком тогда и с гигантскими энергетическими ресурсами, которыми обладает Россия.

Уэллс задумчиво взглянул вдаль и затем продолжал:

— При всем моем скептицизме я сочувствовал вам: я считал, что ваш эксперимент, как бы он ни кончился, является украшением истории человечества... Я относился с величайшим презрением к русским белогвардейцам, которые околачивались тогда в передних Керзона и Клемансо. Деникина, Юденича, Колчака я считал просто политическими бандитами. Я пытался повлиять на наших правителей и убедить их в нелепости интервенции... Помню, сразу после возвра-

¹ В 1900—1901 годах.

шения из Советской России я пришел к Керзону, который тогда занимал пост министра иностранных дел, и стал ему доказывать, что Советское правительство при всех своих несовершенствах является сейчас единственно возможным в России правительством и что, каковы бы ни были личные чувства британских министров, с ним необходимо наладить приемлемый модус вивенди...

— Что же вам ответил Керзон? — с усмешкой спросил я.

— Что ответил? — пожал плечами Уэллс. — Он просто не мог меня понять. Для него большевистская Россия была только преступником, которого нужно возможно скорее уничтожить... Мы говорили на разных языках... Но я не пожалел сил, чтобы оказать воздействие на наше общественное мнение, и, кажется, кое-что мне тогда удалось сделать: вскоре после того интервенция была закончена, а затем Ллойд Джордж вопреки Керзону заключил с вами первое торговое соглашение.

Я мысленно пробежал события, о которых упоминал писатель (в том числе торговое соглашение 1921 года): конечно, Уэллс несколько преувеличивал свою тогдашнюю роль, однако не подлежало сомнению, что он внес свой полезный вклад в дело разрядки англо-советских отношений.

Уэллс выпил несколько глотков содовой воды.

— Впрочем, я отвлекся, — заговорил он опять. — Так вот, когда я сейчас вспоминаю те дни, должен сказать, что мои впечатления о тяжчайшем положении, о нужде, голоде, распаде городской жизни, которые тогда царили в Советской России, были правильны... Подумайте только, у Горького был всего лишь один-единственный костюм, который он носил всегда — в будни и в праздники, днем и вечером!

Уэллсу этот факт казался особенно потрясающим. Какие еще нужны были доказательства происшедшей в России катастрофы?

— Нет-нет! — продолжал Уэллс. — Тогдашнее состояние России изображено у меня правильно... Тут мне нечего пересматривать... Но вот Ленин!.. Его я сильно недооценил, и здесь я признаю свою ошибку.

— Что же вы думаете о Ленине сейчас? — спросил я.

— Ленин оказался, — ответил Уэллс, — не мечтателем, а пророком!..

И затем, подумав мгновение, Уэллс стал развивать свою мысль:

— Должен сознаться, что до личной встречи с Лениным я был сильно предубежден против него... Почему? Видите ли, Ленин называл себя учеником и последователем Маркса.

Я сразу вспомнил о почти болезненной «марксофобии» Уэллса и заранее знал, что последует дальше.

— Да, так Ленин называл себя учеником и последователем Маркса, — повторил писатель, — а у меня Маркс с молодых лет всегда вызывал острое чувство оппозиции. Я признаю за Марксом известные заслуги: он первый показал, что капиталистическая сис-

тема не вечна, что она в самой себе несет семена внутреннего распада, — это очень важно. Однако Маркс мне всегда казался сухим теоретиком с известной узостью взглядов... Когда я ехал в Москву, то рисовал себе Ленина в том же духе, но Ленин оказался совсем иным. Ленин был Лениным и создал ленинизм... Вы называете это развитием марксизма, в известной мере это так и есть, хотя я предпочел бы иное определение... Самое же главное состояло в том, что, если жизнь требовала, Ленин менял те или иные звенья теории, истолковывал привычные положения и формулы в таком духе, чтобы они не мешали, а содействовали движению вперед. Он был живой, очень живой человек!.. В нем была бездна творческого духа!.. Он был хозяином теории, а не ее рабом! Именно поэтому Ленин наложил такой неизгладимый отпечаток на весь ход развития России: ведь Россия и сейчас идет путем, намеченным Лениным. Он сумел также создать партию, которая стала костяком новой России. Скажу прямо: если бы Ленин в своей жизни не сделал ничего больше, как только создал большевистскую партию, он завоевал бы себе почетное место в истории. Благодаря наличию такой партии ваша революция оказалась на несравненно более высоком уровне, чем первая французская революция с ее хаотическими и эмоциональными порывами...

— Не станем спорить, кто был более велик — Маркс или Ленин, — возразил я, — мне кажется, что каждый из них был по-своему велик.

Уэллс снова заговорил о своей поездке в Россию:

— В 1920 году я не думал, что вы сможете подняться из руин без содействия Запада, но вы поднялись сами!.. Это еще раз свидетельствует о гениальности Ленина.

— Согласен, — перебил я Уэллса, — Ленин сделал колоссально много для преодоления разрухи... Колоссально много сделала партия... Не забывайте также народа, его роль очень велика.

— Вы преувеличиваете значение народа, — возразил Уэллс. — Что может понимать в социализме неграмотный крестьянин?

Я рассмеялся и ответил:

— Конечно, неграмотный крестьянин не читал Маркса и незнаком с формулой прибавочной стоимости — тут вы правы. Но вы упускаете одно: каждый самый неграмотный крестьянин хочет хорошей жизни, и он инстинктивно поддерживает ту партию, ту власть, которая добивается хорошей жизни для него. И если неграмотный крестьянин верит, что эта партия, эта власть искренне стремятся обеспечить ему хорошую жизнь, он будет готов принести необходимые для того жертвы — на поле брани или на поле экономических трудностей. Мы это ясно видели в период гражданской войны и интервенции. Мы это видели также в годы пятилетки.

— Разумеется, народ играет известную роль, — как-то нехотя признал Уэллс, — но все-таки Ленин есть Ленин. В 1920 году мне это было не так ясно, как сейчас...

И затем со все возрастающей экспрессией писатель продолжал:

— Когда сейчас, тридцать лет спустя, я окидываю взглядом совершившиеся с тех пор события, когда мысленно я сопоставляю Ленина с другими лидерами в командных позициях, с которыми мне приходилось встречаться, я начинаю лучше понимать его громадное историческое значение... Я не люблю выражения «великий человек» — это невольно ассоциируется в моем сознании с пресловутой теорией, будто бы история делается «великими людьми», но если уж говорить вообще о величии среди людей, то надо прямо сказать, что Ленин был действительно великим человеком. И встреча с ним в 1920 году была самым замечательным событием моей жизни...

В начале 1934 года Уэллс мне как-то сказал:

— Я хочу совершить поездки в Америку и в Россию... Помогите мне с оформлением визита в Москву.

— Охотно помогу, — ответил я, — но разрешите спросить, почему такое сопоставление: в Америку и в Россию?

— Ответ очень прост, — откликнулся Уэллс. — Я, как вы знаете, сторонник всемирного государства с плановым хозяйством, и я внимательно слежу за всем, что происходит на нашей планете: не открываются ли где-либо какие-либо возможности сделать шаг вперед по направлению к такому государству? Если говорить образно, я похож на моряка, который в подзорную трубу обозревает горизонт и ищет просветов в нахмуренном небосводе... Президент Рузвельт и его «новый курс» как будто бы льют воду на мою мельницу.

Я усмехнулся, но не стал вступать в спор с моим собеседником.

В марте 1934 года Уэллс действительно посетил США. Он бывал там не раз и раньше, хорошо знал многих американских государственных людей и политиков, не говоря уже о писателях и других деятелях культуры, поэтому ориентировка в том, что происходило тогда в заокеанской республике, была для него сильно облегчена. Уэллс виделся с Рузвельтом и имел с ним большую беседу. Вернулся он в Лондон в чрезвычайно приподнятом настроении. Встретившись со мной вскоре после поездки за океан, Уэллс с горячностью и экспрессией стал доказывать, что старая система в США рушится, что, хотя Рузвельт не называет себя социалистом, фактически, может быть, даже сам не сознавая того, он прокладывает дорогу социализму и что «новый курс», осуществляемый президентом, является зародышем того планового хозяйства — пока в масштабах США, — о котором он, Уэллс, мечтал так много лет.

Я начал возражать. Я говорил, что вполне допускаю крах «старой системы» в США, то есть системы необузданного индивидуализма в экономической области, и замену его «новым курсом», то есть внесением в хозяйственную сферу известных элементов государственного вмешательства, государственного капитализма, но разве это меняет капиталистическую основу американской экономики? Конечно, нет. Рузвельт, несомненно, крупный политический деятель, но он не имеет ничего общего с социалистом не только по существу, но и по имени. Рузвельт — это чрезвычайно умный и ловкий спаси-

тель капитализма, именно спаситель капитализма, в обстановке огромного мирового кризиса, который действительно потряс всю капиталистическую систему. Где же тут зародыш социализма, всемирного государства, мирового планового хозяйства?

Уэллс, конечно, не соглашался, мы долго спорили и, разумеется, не убедили друг друга. Под конец Уэллс сказал:

— Ну, а теперь исполните свое обещание и облегчите мне поездку в Москву. Но только я обязательно хочу видеть Сталина и иметь с ним разговор.

Все это было устроено, и в конце июля 1934 года Уэллс опять в сопровождении своего сына-биолога отправился в СССР. Он пробыл у нас десять дней — в Москве и Ленинграде, — беседовал со Сталиным, виделся с Горьким, Алексеем Толстым и другими писателями, встречался с Литвиновым, Бубновым, академиком Павловым и рядом других лиц, игравших видную роль в нашей государственной и культурной жизни. В начале августа Уэллс вернулся домой и откровенно поделился со мной своими впечатлениями.

— По сравнению с тем, что я видел в 1920 году, — говорил Уэллс, — две вещи меня поразили больше всего. Первая — несомненный материальный прогресс. Помните, несколько лет назад я писал вам в Финляндию, что с напряжением жду результата вашей первой пятилетки?.. Так вот, пятилетка, несомненно, удалась, и это с социалистической точки зрения имеет громадное принципиальное значение. А практически успех пятилетки значительно поднял уровень жизни в России... Везде идет строительство, работают фабрики и железные дороги, хорошо функционируют школы и научные институты... Конечно, есть много неполадок, ошибок, глупостей, но это все болезни роста. Главное, что есть рост, здоровый рост, который, сознаюсь, в 1920 году казался мне невозможным. Все это хорошо... Однако...

Уэллс на мгновение замолчал, как бы подыскивая необходимые слова, и затем продолжал:

— Однако есть и другая вещь, которая меня поразила в Москве: изменение духа людей по сравнению с 1920 годом. Люди стали как будто более земными, практичными, деловыми; я сказал бы, в них появилось что-то американское... Тогда была голая земля, а люди горели на ней ярким пламенем. Сейчас земля застроена, а люди на ней... трудятся, работают, думают о будущем, но не горят... Ярче всего я это почувствовал, когда беседовал со Сталиным.

— А именно?

— Я не стану рассказывать вам об этой беседе, — продолжал Уэллс, — она полностью опубликована и в Москве и в Лондоне... Важно другое: во время беседы я понял, как велика разница между Лениным и Сталиным.

Я сказал Уэллсу, что меня радует его отношение к нашим трудностям. Действительно, все это болезни роста. Однако я стал возражать против его отрицательного отношения к большой практич-

ти и деловитости советских людей. Народ не может вечно жить на высоких нотах энтузиазма первых лет революции, неизбежна и вполне законна известная нормализация его настроений. Это даже полезно. В дореволюционные годы лучшие русские люди, в особенности русские интеллигенты, сильно болели мечтательностью, неумением делать конкретные дела. Это был недостаток, который сильно задерживал движение России вперед. Суровая школа революции воспитала в русских людях иные навыки и обычаи. Они теперь крепче стоят ногами на земле. Что же тут плохого?

Уэллс не соглашался со мной и в качестве примера того, как сильно изменился дух советских людей, привел Горького. Он совсем не тот, каким Уэллс знал его раньше, он стал каким-то успокоившимся.

Я с улыбкой заметил, что в этом нет ничего удивительного. Горький видит, что идеалы, которым он служил с юности, осуществляются, он знает, что Советское государство твердо идет и будет дальше идти по пути реализации этих идеалов, — почему же ему не чувствовать себя успокоившимся за судьбу того, что для него дороже жизни!

Мои аргументы до известной степени смягчили Уэллса, но он все-таки никак не мог простить Горькому его равнодушия к вопросу о создании в СССР отделения Пенклуба, к чему очень стремился Уэллс¹.

В конце разговора Уэллс сказал:

— Я посетил Мавзолей Ленина в Москве, он произвел на меня огромное впечатление... Я еще раз встретился с этим замечательным человеком... Выражение лица, поза, костюм — все было полно простоты и вместе с тем необыкновенного величия... Когда я смотрел на него, спокойного, неподвижного, меня охватило какое-то необычайное волнение, и я невольно подумал: как жаль, что он так рано ушел!

Еще одна беседа с Уэллсом крепко запала мне в память.

Она происходила у нас в посольстве в конце 1935 или начале 1936 года. Я пригласил писателя на завтрак. Кроме нас двоих, присутствовал еще видный либеральный журналист Артур Каммингс, с которым у меня тогда были хорошие отношения. Во время застольной беседы я между прочим спросил Уэллса, почему он так пессимистически смотрит на будущее человечества.

¹ Основателем Пенклуба был английский писатель Голсуорси. Пенклубы быстро распространились по другим странам. Они объединяли писателей самых разнообразных направлений и часто устраивали собрания и дискуссии. Одним из основных принципов Пенклубов была полная «бесконтрольность» литературы и сугубый индивидуализм писателей. После смерти Голсуорси (1933) Уэллс был выбран председателем всемирной организации Пенклубов и очень хотел создать Пенклуб также в Москве.

— Вспомните, — говорил я, — в «Машине времени» вы изображаете общество восьмьсот третьего тысячелетия нашей эры. И что же оказывается? Оно резко разделено на два класса: элои — выродившиеся аристократы, маленькие, бездумные, не способные ни к какому труду существа, похожие на красивые фарфоровые куклы, и морлоки — полулюди-полуживотные, вечно живущие под землей и приводящие в движение весь производственный механизм, необходимый для поддержания существования общества. Между обоими классами — смертельная вражда, причем морлоки везде, где могут, ловят и уничтожают элов... Что за чудная перспектива для человечества!.. Или возьмите другой ваш роман — «Когда спящий проснется», он повествует о временах гораздо более близких к нам, о XXII веке. И что же? Оказывается, что этот век является эпохой триумфа капитализма и что капитализм тогда будет носить неизмеримо более свирепые формы, чем в настоящее время... Неужели вы допускаете, что капитализм может продержаться еще двести лет?

В глазах Уэллса сверкнула смешливая искорка, и он быстро ответил:

— Это давно пройденная ступень!

— Как вас понять? — с некоторым недоумением спросил я.

— Оба романа, которые вы назвали, — стал разъяснять Уэллс, — написаны мною в 90-х годах прошлого века, когда мне было около тридцати лет и я сильно увлекался биологией. Связь между естествознанием и общественными науками мне была неясна. Я поступал тогда очень просто: подмечал в окружающей меня жизни какую-либо черту и, следуя биологическим методам, мысленно развивал ее до логического конца... В обществе XIX века, например, ясно наметилась глубокая пропасть между капиталистами и рабочими, пропасть не только в размере доходов, но и в образе жизни, культуре, психологии, даже внешнем облике. Я взял этот факт за исходную точку, представил себе более отдаленные последствия развития, вытекающие из данного факта, и в результате получились элои и морлоки восьмьсот третьего тысячелетия... Вышло очень мрачно, но так подсказывали мне законы биологии... К тому же, не скрою, мне хотелось несколько напугать людей, моих современников, и таким образом заставить подумать, как предупредить подобный ход развития... Однако, повторяю, в настоящее время это для меня пройденный этап.

— Значит, сейчас вы смотрите на будущее человека иначе? — заинтересованно спросил Каммингс.

— Да, несколько иначе, — ответил Уэллс. — Когда я писал «Машину времени», развитие человечества, которое привело к элоям и морлокам, казалось мне *неизбежным*. Сейчас я этого не думаю. Такой неизбежности нет, но есть такая опасность. Ее, однако, можно предупредить, если человечество вовремя примет необходимые меры.

— Какие именно? — снова задал вопрос Каммингс.

— Я об этом достаточно много писал, — усмехнулся Уэллс. — Мое лекарство — всемирное государство, плановое хозяйство, социализм. Вот почему последние тридцать лет я трачу так много времени и энергии на пропаганду этих идей.

Каммингс выразил сомнение в возможности всемирного государства и планового социалистического хозяйства. Люди есть люди, говорил он, у них есть прирожденные инстинкты и качества, которые изменить нельзя, — эгоизм, жестокость, погоня за собственной выгодой, стремление к власти... Все это идет из глубины доисторических времен и является подлинной натурой человека... Как можно при таких условиях думать о всемирном государстве и плановом хозяйстве? Никогда этого не будет, ибо это противоречит самой природе человека!

Каммингс довольно долго развивал свою концепцию, в особенности подчеркивая тот факт, что люди XX века ничуть не лучше людей X века, а возможно, даже хуже их. Под конец Каммингс обратился ко мне и спросил, каково мое мнение по затронутому вопросу.

— Я вижу, — ответил я, — что вы смотрите на будущее человечества совершенно безнадежно... Так было — так будет... И эгоизм, и жестокость, и войны, и эксплуатация человека человеком — все вечно... Нет-нет! Я с этим не могу согласиться, я оптимист!

И дальше в немногих словах я изложил марксистское учение об исторических формациях и о прогрессивном движении человечества вперед. Мои гости слушали вежливо, но скептически, особенно Каммингс. Тогда я решил прибегнуть к метафоре, ибо метафоры англичане воспринимают гораздо лучше, чем теоретические рассуждения.

— Как я представляю себе историю человечества? — говорил я. — На протяжении многих тысячелетий человечество с большими трудностями и страданиями продирается вперед через густой, дремучий лес. На пути человечеству попадались леса разного характера: и хвойные, и лиственные, и смешанные, — но все они были полны ядовитых змей, диких животных, вредных насекомых, колючих кустарников, болот, оврагов, опасных провалов. Тело человечества покрыто синяками, ссадинами, порезами, кровоточащими ранами. Дух человечества омрачен, надорван, изломан необходимостью жить и бороться за жизнь в обстановке закона джунглей. Но человечество все-таки продирается вперед, ибо к этому его толкает историческая закономерность... Сейчас, в 1935 году, человечество еще не вышло из дремучего леса, но конец его уже близок... Дальше начинается открытая равнина, постепенно поднимающаяся кверху. С выходом на равнину большая часть трудностей и страданий исчезнет и закон джунглей перестанет действовать... Однако о приближении конца леса знают пока сравнительно немногие, которых называют коммунистами... Другие, большинство, не подозревают этого или не верят в это... Они смотрят кругом, видят все тот же дремучий лес, все тех же диких зверей и говорят: «Ничего не изменилось, так было — так

будет»... Между тем спасение близко — конечно, исторически близко, — а вот вы, например, мистер Каммингс, в него не хотите верить.

Каммингс взволновался и стал доказывать, что и я и все коммунисты вообще фанатики-утописты. Изменить природу человека немислимо, можно только отчасти смягчить вредные последствия некоторых ее черт, к чему и стремится либерализм. Что сверх того — неосуществимая мечта.

Теперь возражать Каммингсу начал Уэллс. Он решительно отверг невозможность избавления человечества от бед, которыми оно страдало до сих пор, — нет-нет! — эти беды победить можно, нужно только создать всемирное государство с плановым хозяйством. Уэллс не верит в те исторические закономерности, на которые возлагают надежды марксисты. Все зависит от свободной воли человека. Сами люди должны потрудиться над избавлением от несчастий, и он, Уэллс, уже много лет призывает людей к этому.

Я заметил:

— Вы напрасно думаете, мистер Уэллс, что марксисты рассчитывают только на исторические закономерности. Марксисты хорошо понимают, что манна сама собой не падает с неба, нужна еще активность со стороны людей. Мы считаем, что такая активность находит свое высшее выражение в создании и деятельности Коммунистической партии. Но исторические закономерности являются той основой, которая делает успешную работу партии возможной.

— Я предпочитаю, — откликнулся Уэллс, — искать спасения человечества в свободной воле сознательного индивидуума... И я убежден, что человечество моим путем придет к мировой победе социализма скорей, чем вашим.

Я умехнулся и ответил:

— Будущее покажет, но, вероятно, уже после нас с вами.

Я говорил, что начало Второй мировой войны способствовало восстановлению более регулярных отношений между Уэллсом и мною. Вся международная ситуация сразу резко изменилась: перед человечеством встали новые и важные проблемы, впереди наметились совершенно неожиданные перспективы. В такой обстановке Уэллс решил забыть все имевшиеся в прошлом «недоразумения» и открыть в наших отношениях чистую страницу. Я, конечно, охотно пошел ему навстречу, тем более что и в предшествующие годы инициатива «недоразумений» исходила не от меня. Отмечу некоторые, наиболее интересные моменты этой полосы в наших отношениях.

5 августа 1940 года Уэллс отправил мне письмо — пять страниц его бисерного почерка. Этому письму он придавал очень большое значение, ибо в конце его прибавлял: «Я прошу невестку мою переписать письмо на машинке и прилагаю машинописную копию, так

как мой почерк имеет свои недостатки». Очевидно, писателю, чрезвычайно хотелось, чтобы я все, до последнего слова, понял в его послании.

«Мой дорогой Майский... — начинал Уэллс, — я революционер без всяких оговорок в социальной области и не менее Вас хотел бы видеть скорейший конец того, что Вы называете капиталистической системой. Но в Западной Европе нам приходится пользоваться словами и методами иными, чем в России (и Китае?). Мы исходим из весьма различных точек зрения, и наши пути не могут быть одинаковы. Они могут быть более или менее параллельными. Это уже кое-что, и над этим я хотел бы поработать. Я полагаю, что нынешняя война неизбежно ведет к революционному завершению...»

Указав далее, что большим препятствием для преобразования мира является взаимное незнание и непонимание между народами СССР, с одной стороны, и народами Англии и США — с другой, Уэллс продолжал:

«Я стремлюсь составить себе более ясное представление (о России. — *И.М.*). Что например, в настоящее время читает молодая Россия? Не можете ли Вы сообщить мне, какие произведения находят сейчас наиболее широкий сбыт? Только, ради бога, не пичкайте меня какой-либо «пропагандой», — скажите просто, что читает, над чем смеется ваша молодежь...

Надеюсь в близком будущем встретиться с Вами и побеседовать о том, что я называл бы «революции-сестры».

Мы действительно увиделись с Уэллсом вскоре после того и, конечно, имели большой разговор на интересовавшую его тему. Я обещал также Уэллсу получить для него из Москвы сведения о том, что я назвал «духовной пищей молодой России». Я никогда не пытался пичкать Уэллса пропагандой, но в данном случае решил снабдить его сугубо объективным материалом. Я обратился в Народный комиссариат иностранных дел и просил его прислать мне цифры тиражей книг наиболее популярных писателей. В связи с обстановкой военного времени на получение просимых сведений потребовалось около четырех месяцев, но все-таки 9 января 1941 года я мог написать Уэллсу письмо, из которого он увидел, что читает и над чем смеется наша молодежь. Сейчас эти данные имеют лишь историческое значение, и я не стану их приводить. Скажу только, что общий тираж опубликованных в СССР за 1917—1939 годы произведений Горького превышал 39 миллионов экземпляров.

При ближайшей встрече Уэллс очень благодарил меня за присланную ему таблицу и долго философствовал о том, каким важным средством воспитания людей является художественная литература. Его сильно поражали также цифры тиражей.

— Я не могу пожаловаться на равнодушие читателей ко мне, — говорил Уэллс, — но все-таки... Мне и во сне не снились такие тиражи, какие имеет мой друг Горький.

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз произвело на Уэллса потрясающее впечатление. Вскоре после 22 июня он приехал ко мне и стал расспрашивать о положении на Восточном фронте, о внутреннем состоянии страны, о перспективах начавшейся борьбы. Уэллс и раньше был настроен антифашистски, теперь его ненависть к Гитлеру и Муссолини дошла до точки кипения. Я рассказал ему о нашей просьбе к британскому правительству создать возможно скорее Второй фронт в Северной Франции и об отрицательном отношении английских министров к этому. Уэллс был сильно возмущен их поведением и особенно обрушился на Черчилля, который тогда был премьер-министром.

— Это реакция его застарелого антикоммунизма! — воскликнул писатель и тут же дал торжественное обещание сделать все от него зависящее для пропаганды идеи Второго фронта.

Уэллс исполнил свое обещание. В течение второй половины 1941 года он много и энергично работал словом, пером, влиянием в политических и общественных кругах в пользу данной идеи. А я, в свою очередь, держал его в курсе англо-советских отношений, как они складывались в первые месяцы Отечественной войны против гитлеровской Германии.

Британское правительство, как известно, долго оставалось глухо к призыву Советского правительства и с помощью различных маневров сумело оттянуть организацию Второго фронта во Франции до июня 1944 года¹. Вполне естественно при таких обстоятельствах, что и предложение Уэллса в официальных кругах было встречено с полным равнодушием.

Но Уэллс не успокоился. 12 декабря 1941 года, сразу же после Пирл-Харбора и вступления США в войну, Уэллс прислал мне еще одно бисерное письмо следующего содержания:

«Мой дорогой Майский, я хочу обратить внимание Ваше и Москвы на то, что сейчас как раз имеется в высшей степени благоприятная, пожалуй, даже неповторимая возможность одним ударом завоевать мнение широких масс в Америке. Думаю, что знаю США хорошо, поскольку это мыслимо для стороннего наблюдателя. Народ там, вообще говоря, боится войны, но если он уж окажется вовлеченным в войну, то будет драться с таким же единодушием, как русские. Однако в данный момент американцы напуганы и потрясены Японией и, если руководящие люди в Москве решат предоставить

¹ Черчилль вообще относился отрицательно к идее Второго фронта в Северной Франции и неоднократно старался если не совсем похерить этот план, то хотя бы оттянуть его осуществление на возможно более длительный срок. Рузвельт занимал в данном вопросе несколько более благоприятную для нас позицию, но готов был идти на разные компромиссы с Черчиллем. В результате Второй фронт во Франции возник с большим опозданием, когда у Черчилля и Рузвельта появилось опасение, что без такого шага они придут в Берлин к шапочному разбору.

все возможности для бомбардировки японских городов именно сейчас, если Россия, несмотря на всю неясность вопроса о Финляндии, Венгрии и т.д.¹, объявит войну Японии *сейчас*, вы раз и навсегда завоюете Америку на свою сторону. Ни государственный департамент, ни большой бизнес, ни капиталистическая пресса не смогут ничего сделать против такого эффекта. Но через несколько недель нынешняя возможность может испариться. Ради бога, не будьте сейчас слишком уж дипломатичными и т.д. Поверьте моему слову! Год назад я объехал всю Америку, сделал 25 000 миль по воздуху — и кое-что понимаю в психологии ее населения. Вы знаете меня уже много лет, — разве когда-либо я вводил Вас в заблуждение? Передадите ли Вы мой сердечный призыв руководителям в Москве? Америка перед вами — возьмите ее. Сейчас. Всегда ваш Г.Д.Уэллс».

Письмо Уэллса пришло в мое отсутствие. 7 декабря 1941 года Иден, занимавший тогда пост министра иностранных дел, выехал для переговоров в СССР по маршруту Лондон—Скапа Флоу (Оркнейские острова)—Мурманск—Москва. По решению Советского правительства я его сопровождал в этой поездке. Весь путь туда и обратно, а также пребывание в Москве заняли свыше трех недель. Только по возвращении в Лондон я ознакомился с письмом Уэллса и 12 января 1942 года послал ему ответ, из которого процитирую здесь следующие строки:

«Я хорошо понимаю, что, начав немедленно войну против Японии, мы могли бы «раз и навсегда завоевать Америку», однако я думаю, что сейчас вопрос состоит не столько в том, как мы должны «раз и навсегда завоевать Америку», сколько в том, как Америка должна «раз и навсегда завоевать СССР». С точки зрения практической стратегии нам гораздо выгоднее воздерживаться от войны с Японией до тех пор, пока она соблюдает пакт о нейтралитете, подписанный между нами в прошлом году². Это, я думаю, соответствует и интересам Англии и США (я имею в виду их интересы дальнего прицела), ибо главной цитаделью сил мировой реакции является гитлеровская Германия, и, если эта цитадель будет взята приступом и разрушена, все остальное уже последует затем своим чередом. Мы прилагаем сейчас огромные усилия к захвату цитадели и имеем основания рассчитывать на достижение поставленной цели. При таких условиях было бы плохой стратегией отвлекать внимание от главной задачи войны».

Два дня спустя, 14 января, последовал отклик Уэллса: «Мой дорогой Майский, — да, по зрелом размышлении я согласен (с Вами. — *И.М.*). Думается, мое предложение было преждевременно.

¹ Тогда СССР находился в состоянии войны с Финляндией и Венгрией, но Англия и США еще не порвали с ними отношений. По этому вопросу между СССР и англо-американскими союзниками происходили переговоры, сопровождавшиеся известными трениями.

² Этот пакт был подписан в Москве 13 апреля 1941 года.

Американцы еще плохо понимают, что их ждет впереди. Помните ли Вы «русский паровой каток», 1914? Теперь будет «американский паровой каток», который, видимо, значительно расстроится прежде, чем снова настроится. Всегда Ваш Г.Д.Уэллс»¹.

Писатель остался верен своей линии и в дальнейшем. Он горел страстной ненавистью к фашистским державам, всемерно поддерживал идею Второго фронта и делал все от него зависящее для улучшения отношений между Англией и СССР.

Одним из симптомов этих его настроений была вновь ожившая теплота в отношении к Советскому Союзу, к нашему посольству в Лондоне и лично ко мне, как представителю Советской страны в Англии. Вот маленький пример его тогдашних настроений.

В самом начале января 1942 года Уэллс прислал мне свой новый, только что вышедший роман «Нужна величайшая осторожность». В нем он жестоко атаковал те силы, которые занимались «умиротворением» агрессоров и в конечном счете ввергли Англию в войну. На книге было написано: «Ивану Михайловичу, который знает почти все, что нужно знать, о Финляндии, Токио, Лондоне и будущем всего мира. Г.Д.Уэллс».

Месяца два спустя я получил от Уэллса длинное письмо, касавшееся весьма важного вопроса. Письмо было датировано 15 июня 1943 года² и написано на машинке. Приведу из него наиболее существенные места.

«Мой дорогой Майский, — писал Уэллс, — посылаю Вам декларацию о *«Всеобщих правах человека»*, которую, надеюсь, Вы рассмотрите и сделаете свои критические замечания. Если Вы найдете удобным, буду очень благодарен за передачу этой декларации какой-либо организации пропагандистского характера, если такая возникнет, с целью привести в гармонию русские идеи с либеральной и творческой мыслью Запада, особенно Америки. Фактически названная декларация почти полностью совпадает с русской конституцией, как она воспроизведена в известной книге Веббов³.

Я надеюсь на всемирную революцию (это, в сущности, является лишь восстановлением материалистического понимания истории), что, на мой взгляд, вовсе не требует каких-либо глубоких изменений во внешней, видимой структуре человеческой деятельности. Девятьсот девяносто девять человек из тысячи только выиграют от революции, построенной на принципе равенства...»

¹ В начале Первой мировой войны на Западе представляли себе ход событий так: англо-французы будут стоять стеной на Западном фронте, а тем временем русская армия, как «паровой каток», пройдет по Германии с востока, примет германскую армию и откроет англичанам и французам легкий путь в Берлин. Действительность, как известно, сильно разошлась с этими ожиданиями.

² Так в тексте (*сост.*).

³ Речь идет о труде С. и Б.Веббов «Советский коммунизм — новая цивилизация?» Изд. III, Лондон, 1941.

Указав далее, что развитие современной техники способствует созданию одинаковых условий жизни и работы в мировом масштабе, Уэллс продолжал:

«Мировая революция вовсе не означает разрушение каких-либо материальных ценностей. Она означает только переход общего управления делами в руки лучше организованного мирового директора, действующего на основе современных научных принципов. Старый мир, мир, который умирает, пытается наложить лапу своих отживших притязаний на получение прибылей и ставить препятствия прогрессу. Он может причинить еще большие страдания в процессе рождения нового порядка вещей, он может еще искалечить и опустошить жизнь целых поколений, — против этого мы должны бороться все вместе.

Важным аспектом мировой проблемы является примирение индивидуальной инициативы, крайне необходимой для продолжения прогресса человечества, со все большим возрастанием коллективистического принципа в организации мировых дел. Наблюдается, к сожалению, такая тенденция: люди, облеченные властью, склонны превращаться в догматиков и самонадеянных правителей. На протяжении долгой борьбы либеральной мысли Запада были созданы Великая хартия вольностей, Декларация прав, Петиции о правах, Декларация независимости, Декларация прав человека и т.д. именно для того, чтобы сохранить индивидуальную свободу — это важнейшее условие прогресса. В течение минувшей четверти века умы ряда передовых людей занимались той же проблемой и сделали все возможное для того, чтобы освободить ее от специфических политических традиций Атлантического мира. В конце концов они выработали декларацию о «Всеобщих правах человека», которая, по их мнению, может стать основным законом для всего человечества, стоящим выше всех других законов».

К письму был приложен текст декларации о «Всеобщих правах человека» из одиннадцати пунктов. Они охватывали право на жизнь, заботу о детях, свободу труда, право зарабатывать деньги, право владеть, право свободно передвигаться, право на образование и получение информации, право на свободу мысли, дискуссий и вероисповедания, личную свободу в духе английского «Habeas corpus»¹, свободу от насилия. Стоит отметить, что декларация не обязывала человека к труду, но гарантировала ему работу, если он сам того пожелает: предоставляла человеку право зарабатывать деньги, но запрещала покупку, хранение и продажу ради получения прибыли. Пункт 11 гласил:

«Права человека являются его естественными правами и не могут быть изменены. Правители, раджи, кабинеты, директора не

¹ «Habeas corpus» (*лат.*) — Закон о неприкосновенности личности, принятый в Англии в 1679 году.

больше чем слуги этих прав... Назначение защитников прав человека должно производиться время от времени в соответствии с народными обычаями — либо старшинами, либо избранием представителей, либо общими собраниями, либо жребием, либо каким-либо иным способом, соответствующим нравам страны».

Как видим, универсальность декларации была безгранична. Она должна была быть применима во всем мире, на всех континентах, у всех народов, на всех уровнях культуры...

В декларации было, конечно, немало спорных пунктов, но я не хотел в тот момент вступать в дискуссию с Уэллсом, ибо дни моего пребывания в Англии были сочтены. Поэтому 30 июня 1943 года я сообщил Уэллсу, что его письмо со всеми приложениями препровождено в Москву на усмотрение Советского правительства.

А 3 июля я покинул Англию, чтобы в Москве принять участие в обсуждении планов послевоенного переустройства мира. Эта поездка имела для меня лично далеко идущие последствия: я был назначен заместителем наркома иностранных дел и больше уже не вернулся в Лондон на посольскую работу...

Незадолго до моего отъезда в Москву я встретился с Уэллсом на завтраке. Он был очень оживлен, импульсивен, полон бодрости и оптимизма в отношении будущего.

— Теперь, после Сталинграда, — говорил писатель, — конечный исход войны не может вызывать сомнений. Гитлер будет разгромлен, фашизм вырван с корнем, придет время всерьез думать о создании всемирного государства... Как видите, история оказывается милостивой к моим планам и концепциям.

Я тоже был настроен очень бодро, считал, что в ходе войны произошел решительный поворот в нашу пользу, но по-прежнему с большим скептицизмом относился к проектам Уэллса о всемирном государстве. Это его раздражало и толкало на легкомысленные утверждения.

— Разве я не предсказал, когда начнется вторая мировая война? — вызывающе воскликнул Уэллс.

Действительно, во втором томе своей автобиографии, выпущенной в 1934 году, Уэллс писал, что новая мировая война вспыхнет в 1940 году. Это предвосхищение оправдалось почти с абсолютной точностью: писатель ошибся всего лишь на четыре месяца.

— Что ж из этого? — возразил я. — В некоторых случаях вы отличаетесь изумительным даром предвосхищения, но в других случаях ваше воображение с необычайной легкостью перескакивает через промежуточные стадии развития, и тогда...

Я сделал жест, который нетрудно было понять.

— Вот если бы вы приняли немножко марксизма, — полушутя сказал я, — какие чудеса прозорливости вышли бы из-под вашего пера!

— Марксизма? — почти возмущенно воскликнул Уэллс. — Ни-когда!

Вдруг выражение его лица сразу изменилось, и в его живых глазах сверкнула хитринка.

— Я готов принять кусочек ленинизма, — продолжал Уэллс. — Да, я его уже принял... Но марксизма... Нет-нет!.. Я его не приму ни за что!

И писатель вызывающе посмотрел на меня, точно ждал, что я стану еще раз доказывать, что нельзя ставить грань между марксизмом и ленинизмом. Однако я не сделал этого, а заговорил о том, что сталинградская победа вызвала среди советских людей огромный энтузиазм и прилив веры в себя, в партию, в Советское государство. Уэллс охотно поддержал эту тему и начал ее развивать. Под конец он заявил:

— Как вы знаете, я часто критикую вас, ваши действия, ваше правительство, вашу партию, но одно я могу сказать с полной определенностью: если государство, созданное Лениным, выдержало гитлеровский удар и не развалилось, значит, оно построено на скале. Это еще раз свидетельствует об изумительной гениальности Ленина!

Я высказал мысль, что послевоенная эпоха принесет нам много настоящих чудес. Конечно, раны, нанесенные Советскому Союзу войной, очень глубоки и болезненны, но зато силы, разбуженные войной, колоссальны. Эти силы быстро залечат раны и затем быстро изменят лицо нашей страны.

— Что значит быстро? — спросил Уэллс.

— Не берусь называть точные даты, но думаю, что это будет «исторически быстро»...

— Ага!! «Исторически быстро», — рассмеялся Уэллс, — это весьма дипломатическая формулировка... Я обычно выражаюсь более определенно.

И затем как-то забавно, почти по-мальчишески прибавил:

— Я рассчитываю прожить до девяноста семи лет... Сейчас мне семьдесят семь... Остается, стало быть, еще двадцать лет... Да-да, я успею дожить до всемирного государства!

— Откуда у вас эта сакраментальная цифра «девяноста семь»? — поинтересовался я.

Уэллс несколько смутился и затем, как бы извиняясь, ответил:

— Можете считать это предрассудком, но я хочу прожить до девяноста семи лет и надеюсь прожить до девяноста семи лет.

Мне невольно вспомнился И.П.Павлов. В 1935 году он приезжал в Лондон на международный конгресс ученых. Павлову было тогда восемьдесят пять лет, но выглядел он еще крепким, бодрым и энергичным. С большим успехом он выступил на конгрессе и привел в замешательство английских журналистов находчивостью и остротой ответов на пресс-конференции, устроенной для Павлова в посольстве. Как-то в разговоре со мной Иван Павлович сказал:

— Хочу прожить до ста лет.

Увы, год спустя, в восемьдесят шесть лет, Павлова не стало: он умер от последствий воспаления легких.

Уэллс оказался немногим счастливее: через три года после нашей беседы (это была моя последняя беседа с писателем), 13 августа 1946 года, восьмидесяти лет, он покинул мир, о благе которого так упорно думал на протяжении всей своей жизни.

Когда сейчас, много лет спустя, я вспоминаю Уэллса и окидываю одним общим взглядом его образ, три черты ярче всего бросаются мне в глаза.

Прежде всего это был большой и интересный писатель с острой мыслью, горячим воображением и крупным художественным талантом. Он как-то своеобразно сочетал в себе ученого, публициста и беллетриста, что придавало его произведениям необыкновенную оригинальность и увлекательность.

Далее, это был широкообразованный и передовой общественный деятель, который с ранних лет отдал свои силы на служение счастью человечества, как он его понимал. Не будучи марксистом, Уэллс делал в этой области немало ошибок, но его мотивы и стремления были всегда честны и благородны. В духовном облике писателя было что-то от великих утопистов XIX века. Он являлся как бы их запоздалым потомком. Правда, жить ему пришлось уже в эпоху радио, самолетов и Советского государства, но, подобно своим предшественникам, он искал выхода из капиталистического ада на путях утопии, одетого в костюм наших дней. Именно поэтому Уэллсу не удалось создать какой-либо крупной школы или движения. Он был и навсегда остался бунтарем-одиночкой в английском понимании этого термина. Однако глубокая заинтересованность Уэллса в проблемах большого общественного значения наложила печать на его творчество и придала многим его произведениям совсем особенное звучание.

Наконец, это был большой друг нашего народа и нашего государства. Не будучи коммунистом, Уэллс нередко критиковал те или иные наши действия, взгляды, оценки, но в целом и основном он глубоко сочувствовал той великой борьбе за счастье человечества, которую вела и ведет наша страна. Начиная со своей первой поездки в Москву в 1920 году и кончая днями второй мировой войны, Уэллс всегда стремился доступными ему средствами облегчить движение советских людей к социализму. С огромным уважением и восхищением Уэллс относился к Ленину, считая его одним из самых великих людей в мировой истории.

С чувством глубокого удовлетворения я думаю о том, что на мою долю выпало в течение многих лет поддерживать близкий контакт с этим замечательным человеком.

Комментарии

При публикации ранних текстов (особенно XVII, XVIII и начала XIX в.) проведена лишь минимальная модернизация орфографии и пунктуации. Заменены устаревшие буквы на их нынешние эквиваленты (ѣ — на е, ѳ — на ф, і — на и), устранен ъ в конце слов. Окончания родительного падежа единственного числа прилагательных -аго/-яго заменены на -ого/-его. В соответствии с современными правилами написания «рассказ», «разселина» и т.п. заменены на «рассказ», «расселина».

Вместе с тем сохраняются окончания прилагательных: темная ночи, старья книги, любезной брат. Сохраняются написания слов типа «щастье», «мущина», «русской офицер» (с одной с в слове русский), а также написания с прописной буквы названий национальностей и образованных от них прилагательных (Аглинский, Французский и др.).

Русская орфография XVIII — начала XIX в. не была унифицирована, и отсутствие единой и для всех обязательной нормы позволяло авторам выбирать формы слов по собственному усмотрению. Мы стремились бережно сохранить это многообразие, которое только после Н.М.Карамзина и А.С.Пушкина стало стабилизироваться.

Роспись городу Лундану и всей Аглинской земли

Впервые в книге: Рогинский З.И. Лондон 1645—1646 годов: Новые источники о поездке гонца Г.С.Дохтурова в Англию. Ярославль, 1960. С. 10—16; Комментарии. С. 17—22. Автором этой записки о Лондоне является, очевидно, один из спутников миссии Г.С.Дохтурова переводчик Посольского приказа Федор Архипов, который был принят в парламенте 13 июня 1646 г.

С. 25. *...своиныя стороны.* Своиный — свой, близкий. В данном случае «своиныя стороны», вероятно, означают «внутренние стороны».

...выписаны всякими притчами. — Имеется в виду роспись стен рисунка-ми на всевозможные, в том числе и библейские сюжеты.

...подволоки — потолки.

А мы стояли на большей улице, имя Чипсайд. — Дохтурова и его спутников поселили на улице Чипсайд (Cheapside) в одном из секвестрированных домов, который по просьбе «Московской компании», был для этого выделен парламентом. Названная улица являлась весьма значительной артерией старого Лондона. Находится она примерно в 350 метрах к северу от Темзы. В средние века здесь размещался один из главных торговых районов города.

А воды у них на всякой улице приводные, ис реки трубы. — Имеется в виду лондонский водопровод. Начало его сооружения относится еще к первой половине XIII в. Но даже в XVII в. проблема снабжения водой населения огромного города оставалась не до конца решенной. Лучше других районов Лондона обслуживался район Сити, в дома жителей которого уже с 1582 г. воды Темзы подавались по свинцовым трубам.

...плече, плечо баранины, — передняя четверть, передняя нога с лопаткой и ребрами.

...звон неудобсказаем — т.е. звон столь поразительный, что похвальное мнение о нем трудно выразить (высказать) словами.

...тонцы всякие — различные тона колокольного звона.

А у которой черни. — Из контекста явствует, что здесь и в дальнейшем, где употребляется этот термин, речь идет о церквах. При переписке слово явно искажено. Первоначально в написании автора «Росписи» оно, вероятно, звучало «черчи» от английского «church» — церковь.

...окончины все стекольчатые большие цветные. — Описывая лондонские храмы, русский наблюдатель в числе их достопримечательностей называет большие окна из цветного стекла — витражи.

С. 26. ...а около ево большаго города стена земляная толстая, а около ево посадов и всего города стена земляная ж. — «Большим городом» в цитируемом источнике называется, по-видимому, Сити. Известно, что с начала войны парламента с королем (1642 г.) вокруг Сити да и всего Лондона были возведены, в предвидении возможного нападения королевских войск, различные оборонительные сооружения: построены многочисленные форты, вырыты глубокие рвы, насыпаны земляные стены и валы. О последних и упоминает автор «Росписи».

А на реке Темзе зделан мост каменной. Знаменитый Лондонский мост через Темзу (London bridge), начало постройки которого относится еще к XII в., был завершен в XIII столетии. Разместившиеся на мосту «дворы великия и торги всякия», а также другие подробности о нем, упоминаемые в комментируемом описании Лондона, действительно выглядели тогда так, как о них отзывается автор «Росписи». Эти строки «Росписи» перекликаются с соответствующим местом статейного списка (документы делопроизводства) Г.И.Микулина, ездившего в Англию в 1600 году (см. Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки М.; Л. АН СССР, 1954. С. 162).

А вера у них недобра... А при короле, сказывают, что вера была лутче. — Для православного человека, каким был автор «Росписи», пуританство казалось неприемлемым. Эта вера, как он категорически утверждал, была «недобра». Тем более не мог он одобрительно отзываться о католичестве. Фраза о том, что при короле «вера была лутче», надо думать, выражала не собственный взгляд автора, а мнение, высказанное кем-то из его монархически настроенных лондонских собеседников.

...напезскую веру — обычное в России наименование католичества.

И заповедали во всем государстве, чтоб в тое веру никто не веровал, а хто будет станет веровать и найдут иконы, и тому казнь жестокая. — Переплетение в период английской революции борьбы политической с борьбой религиозной было настолько очевидно, что прибывшие в Лондон в 1645 г. русские люди не могли этого не заметить. Не случайно автор «Росписи», упоминая об отрубленных головах, торчавших на копьях на Лондонском мосту, счел нужным добавить, что казнены были эти люди «за веру и за измену, кои с королем вместе».

Да в том же граде Лундане зделан двор добре хорош, украшен, а имя ему Енчайжн. — Речь идет о Лондонской бирже (Exchange). Сооруженная при королеве Елизавете Тюдор в 1566—1567 г. Томасом Грешемом, биржа и в описываемое время являлась одним из самых красивых зданий Лондона.

...у всякого двора повешены клейма у ворот разные. — Как явствует из этой записи, на воротах, а возможно и над входными дверями лондонских домов, прикреплялись гербы их владельцев или арендаторов. Это могли быть не только родовые гербы с геральдическими знаками, но и такие, на которых изображались признаки профессии домовладельцев.

...окончины стекольчатые — стеклянные окна.

Да в том же граде Лундане потешной двор, а на том дворе много львов и всяких зверей. — По всей вероятности, имеется в виду Тауэрский зверинец, открытый в XVII в. для посетителей. Богатая коллекция этого зверинца пользовалась среди лондонского населения большой популярностью и постоянно привлекала множество зрителей.

А дворового человека больши 7 лет не держат никакова человека. — Речь, очевидно, идет о ремесленных учениках, семилетний срок ученичества которых был установлен еще при Елизавете Тюдор «Статутом об учениках» 1563 г. Институт «ученичества» фактически прикрывал самые жестокие формы эксплуатации. Каждый же прошедший семилетнее обучение ремеслу отнюдь не становился после того «вольным человеком», а обязан был в дальнейшем наниматься и работать у лиц, занимающихся этим ремеслом.

С. 27. А владеют домами жены, и мужем владеют. — Литературные источники свидетельствуют о том, что женщина в Англии того времени была изолирована от общественной жизни, а в правовом отношении целиком зависела от мужа. Правда, поздняя елизаветинская драма (John Ford, James Shirley) 30—40 гг. XVII в. изображала женщин с сильным характером, добивающихся равноправия в любви и браке, но это было скорее продолжением традиций литературы Возрождения. В пуританской буржуазной семье положение женщины было ограничено многими религиозными и моральными запретами, против которых в 1643 г. резко выступил Джон Милтон.

...извощики у них держат кочи. — В отличие от статейного списка Дохтурова слова «возник», или «кочман» (coachman), заменены здесь словом «извощик», но, как и в статейном списке, для обозначения экипажа, кареты, употребляется слово «кочь» («coach»).

...кумпаниею делали нам стол вместо королевскаго стола. — Большой обед, данный Дохтурову и его спутникам купцами «Московской компании», состоялся 23 мая 1646 г. Как говорится в статейном списке Дохтурова, на этом обеде присутствовали «ис парламента боярин милард Станфорд (граф Стемфорд), да князь Алфереи Флемин (сэр Оливер Флеминг), да кумпанейской говорнар, да с ними дворян и полковников человек с 30, да кумпаней человек со 100 и больши». Этот обед являлся своеобразным официальным приемом, организованным в честь русского посольства.

...в Восминстере. Вестминстер — Западный округ Лондона, где размещались парламент и многие правительственные учреждения Англии. Здесь находятся старинные здания Вестминстерского аббатства. В нем — могилы королей и многих выдающихся людей Англии, о чем ниже упоминает автор «Росписи».

...говорнар — губернатор (управитель) «Московской компании» английских купцов. Как явствует из подписи, заверяющей врученную Дохтурову копию грамоты парламента к царю Алексею Михайловичу от 10 марта 1646 г. губернатором «Московской компании», встречавшим и сопровождавшим русского гонца, был Снеллинг. Английский текст этого документа

находится в том же деле, где и статейный список Дохтурова (РГАДА. Ф. 35. Сношения с Англией. 1645. Д. 2 [154]. Л. 120).

...от нашего двора до Восминстера 4 версты. — В отличие от данных «Росписи», в статейном списке Дохтурова говорится о значительно более близком расстоянии от дома, где жили русский гонец и его спутники, до Вестминстера («версты с полторы»). Самый приблизительный, разумеется, расчет по плану Лондона приводит к выводу о том, что расстояние от места жительства русского посольства на Чипсайде до Вестминстера, точнее, до здания парламента, было несколько меньшим, чем пишет автор «Росписи», но все же почти вдвое большим, чем сказано в статейном списке.

...и повели нас, где сидят большие бояра 12 человек. — Имеется в виду палата лордов. Количественный состав ее, указанный в «Росписи», не совпадает с данными статейного списка, в котором говорится о том, что в этой палате было «человек их с 40». Правда, известно, что из 42 членов палаты лордов, остававшихся в Лондоне с лета 1642 г. на заседаниях обычно присутствовало не более 10—12 человек, но для встречи с русским посольством прибыли если не все, то по крайней мере большинство находившихся в Лондоне членов Верхней палаты.

...речник — спикер (speaker), председатель палаты.

С. 28. ...и Герасим грамоты не принял. — Эта деталь, ярко характеризующая заботу русского гонца о государевой чести, в статейном списке Дохтурова отсутствует.

...да понесли во весь парламент. — Речь идет о палате общин, но указанное в «Росписи» число ее членов — «600» — также отличается от данных статейного списка Дохтурова, где говорится о том, что в ней «сидят всяких чинов выборные люди ото всего королевства 420 человек». Все же ближе к истине число членов парламента, указанное в статейном списке.

А из Лундана города отпустили нас на пятой неделе Петрова поста во вторник, июня в 22 день. — Дата отъезда Дохтурова и его спутников из Лондона, указанная здесь, на один день отличается от даты, приводимой в статейном списке гонца: там сказано, что отпущен из Лондона Дохтуров был 23 июня.

...под Грязвиним. — Грязвин — Грейвзэнд, портовый город в нижнем течении реки Темзы.

Северной нос — имеется в виду Нордкап, крайняя северная оконечность Европы, мыс на сев. побережье норвежского острова Магерэ, входившего тогда в состав Датского королевства.

...против дацкого города Варгава. Варгав — Варде, город на берегу Северного Ледовитого океана, в северо-восточной Норвегии, являвшейся тогда частью Датского королевства. Упоминается при описании путешествия Дохтурова в его статейном списке.

Карбас — беломорская лодка, обычно на 4—10 весел, с двумя парусами.

А карблю нашему имя «Адванс». — «Успех» («Advance») — название судна, на котором гонец Герасим Семенович Дохтуров и его спутники возвратились из Англии в Архангельск. Об этом упоминается и в статейном списке Дохтурова, но в нем отсутствует важная деталь — военное оснащение корабля — 27 пушек.

...и мы с карбля поехали июля в двадесят третий день. А от города поехали к Вологде июля в 26 день. — Обе даты, приводимые автором «Росписи», отсутствуют в статейном списке Дохтурова. Между тем, уточняя время при-

бытия Дохтурова и его спутников в Архангельск и отъезда их через Вологду в Москву, сведения эти существенно дополняют заключительную часть официального отчета гонца.

А.Д.Кантемир.

Из депеш и политических писем. Из Лондона

Впервые в журнале «Друг просвещения». 1804. № 12 под названием «Георг II, английский король и министры его, описанные Кантемиром»; в «Вестнике Европы». 1808. № 4. Печатается по кн.: Кантемир А.Д. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1868. Т. 2. С. 102—104.

Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744) в 1732—1738 гг. был русским послом в Англии.

Е.Р.Дашкова.

**Путешествие одной российской знатной
госпожи по некоторым Аглинским провинциям**

Впервые в сборнике: Опыт трудов Вольного российского собрания при имп. Московском университете. М., 1775. Часть 2. С. 105—144. Напечатано анонимно. В 1770—1771, 1775—1782 Е.Р.Дашкова (1743/44—1810) путешествовала по Германии, Англии, Голландии, Франции, Италии и Швейцарии.

М.И.Плещеев.

**Письмо Англомана к одному из членов
Вольного российского собрания**

Впервые в сборнике: Опыт трудов Вольного российского собрания при имп. Московском университете. М., 1775. Часть 2. С. 257—260. Михаил Иванович Плещеев состоял в 1775 г. советником русского посольства в Англии. «Письмо» под его псевдонимом «Англоман» было прислано в Петербург из Лондона, к нему приложен «Перевод монолога. Гамлет», выполненный М.И.Плещеевым (с. 260—261).

Н.А.Демидов.

**Журнал путешествия
по иностранным государствам. Англия**

Впервые в книге: Демидов Н.А. Журнал путешествия его высокородия господина статского советника... Никиты Акинфиевича Демидова. По иностранным государствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение в Россию, ноября 22 дня 1773 года. М., 1786. С. 47—59. В Лондоне журналист Н.А.Демидов (1724—1789) побывал в мае 1771 г. Позднее издавал «Журнал путешествия в чужие края» (1786).

Россиянин в Англии

Впервые в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (приложение к «Московским ведомостям»). М., 1796. Части 9, 11, 12. Печатаются отрывки из писем этого анонимного путешественника из части 9. С. 56—57, 97—107 и части 11. С. 97—101, 257—265, 321—328 о пребывании в Лондоне в 1789—1790 гг.

Н.М.Карамзин.

Письма русского путешественника. Англия

Впервые в альманахе «Аглая». М., 1794. Кн. 1 (Путешествие в Лондон. Из писем Русского путешественника). Н.М.Карамзин (1766—1826) пробыл в Англии с начала июня по начало июля 1790 г.

Печатается по кн.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Изд. подготовили Ю.М.Лотман, Н.А.Марченко, Б.А.Успенский. Л., 1987 (Лит. памятники). С. 327—384; Комментарии. С. 668—676.

Окончательные записи «Писем» делались Карамзиным по возвращении в Россию, чем объясняются некоторые расхождения дат, приводимых автором.

С. 75. *П.* — Петров Александр Андреевич (ок. 1763—1793) — переводчик и близкий друг Карамзина, оказавший на него большое влияние.

...*Генделеву Ораторию, Мессию* — оратория «Мессия» (1742) немецкого композитора Г.Ф.Генделя (1685—1759), много лет жившего в Англии, ежегодно исполнялась в Вестминстерском аббатстве в память Генделя.

семи-хоры — полухоры.

С. 76. *принц Валлиский* — принц Уэльский, наследник престола, будущий король Георг IV в 1820—1830 гг.

С. 77. *Ловелас (Ловлас)* — образ соблазнителя из романа С.Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747—1748); *Грандисон* — добродетельный герой из романа Ричардсона «История сэра Чарлза Грандисона» (1754), *Клементина и девица Байрон* — героини того же романа Ричардсона о Грандисоне.

С. 78. *Нутка-Соунд* — Захват испанцами английского порта в Канаде вызвал конфликт между этими странами.

С. 79. *Г.С.Р.В.* — граф Семен Романович Воронцов (1744—1832), с 1784 г. посол в Англии.

...*попугаями и обезьянами вместе* — полемический ответ на обвинение Карамзина в галломании в памфлете его приятеля А.М.Кутузова (1746—1797), написанного как бы от лица Карамзина и подписанного «Попугай Обезьянин» (Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII в. Пг., 1915. С. 731).

С. 80. ...*как Говард* — *осматривал темницы* — Джон Говард (1726—1790), филантроп и реформатор тюрем, автор получившей известность книги «Состояние тюрем в Англии и Уэльсе» (1777). В 1789 г. отправился в Россию и умер в Херсоне, заразившись во время помощи больным при тифозной эпидемии.

С. 82. *Я читал в Архенгольце* — книга немецкого историка Иоганна-Вильгельма Архенгольца (1763—1812) «Англия и Италия» (Лейпциг, 1787) пользовалась успехом и была переведена в 1802—1805 гг. на русский язык.

С. 84. ...*Курции бросались в пропасть*. — Римский юноша Марк Курций в 362 г. до н.э., когда на римском форуме появилась грозящая гибелью города трещина, в полном вооружении и на коне бросился в эту пропасть, которая после этого сомкнулась.

С. 86. *Господин С**. — очевидно, священник русской посольской церкви (с 1780 по 1837 г.) в Лондоне Яков Иванович Смирнов (1754—1840), хорошо известный всем русским, побывавшим в Англии.

...*волшебного прутика* — вероятно, имеется в виду повесть М.М.Хераскова «Золотой прут» (1782), опубликованная анонимно.

Президент, Г.Банкс — английский натуралист, сопровождавший Дж.Кука во время его первого кругосветного путешествия, президент Королевского общества (Академии наук в Англии) в 1778—1820 гг. Джозеф Банкс (1743—1820).

С. 87. *Шекспирова галерея* — собрание картин, написанных на тему пьес У.Шекспира, открылась в Лондоне в марте 1790 г.

Бойдель Джон (1719—1804) — лорд-мэр Лондона с 1790 г.

Орфордovo собрание — собрание картин графа Джорджа Уолпола-Орфорда (1730—1791), купленное Екатериной II в 1769 г.

С. 90. *Герцог Сидония* — в трагедии Ф.Шиллера «Дон Карлос» (1783—87, действие 3, сцена 6) адмирал, командовавший испанским флотом.

...горсть Греков торжествует над бесчисленными Персами — имеется в виду битва при Фермопилах (480 до н.э.), когда спартанский царь Леонид задержал армию персидского царя Ксеркса.

С. 91. *Черный принц* — прозвище, данное в средневековых хрониках Эдуарду, принцу Уэльскому (1330-1376), как полагают, по цвету его черного оружия.

Анна Грей (1537—1554) — внучка английского короля Генриха VIII, казненная после воцарения Марии Тюдор.

С. 93. *Из юных Нимф...* — Карамзин дает собственный перевод отрывка из пасторальной поэмы Александра Поупа (1688—1744) «Виндзорский лес» (1713).

С. 95. *...портрет нашего Великого Петра* — портрет работы Готфри Неллера (1648—1723) написан в 1697 г. в Лондоне во время путешествия Петра I за границу.

С. 97. *М** — Василий Федорович Малиновский (1765—1814), дипломат, литератор, первый директор Царскосельского лицея. *Д** — Григорий Александрович Демидов (1765—1827) (установлено А.Г.Кроссом).

С. 98. *Эр* — утренний юго-восточный ветер в греческой мифологии. *Астрей* — в греческой мифологии бог звездного неба, породивший вместе с богиней утренней зари Эос ветры: Борея, Нота и Зефира.

С. 99. *Воксал* — здание на загородном гулянье.

С. 100. *Горн Тук Джон* (1736—1812) — ветеран движения за парламентскую реформу в Англии, в 1790-е г. один из руководителей радикального Лондонского корреспондентского общества.

Вилькес (Уилкс) Джон (1727—1797) — английский журналист, член парламента, из которого он трижды изгонялся за свои политические памфлеты и вновь избирался; любимец лондонского простонародья, ставший в 1774 г. лордом-мэром Лондона.

С. 101. «*Юниевы письма*» — анонимные письма обличительного политического характера, печатавшиеся в 1769—1771 гг. в лондонском журнале «Public Advertiser». Авторство их осталось нераскрытым, среди предполагаемых авторов был и Горн Тук.

*...курьером из П** — то есть из Петербурга.

С. 103. *Нина* — одноактная опера, точнее водевиль «Нина, или Безумная от любви» (1786) французского композитора Николя Далеярака (1753—

1809), имевшая блестящий успех благодаря превосходной игре актрисы Дюгазон в заглавной роли.

Инкле и Ярико — романтическая комедия английского драматурга Джорджа Кольмана младшего (1762—1836) о молодом лондонце Инкле, спасенном от смерти на пути к острову Барбадос прекрасной туземкой Ярико. Поставлена в Лондоне в 1787 г. и шла летом 1790 г., когда ее видел Карамзин. Музыка к спектаклю написал придворный композитор Сэмюел Арнолд (1740—1802).

С. 105. ...*судьбе Семелеиной*. — Семела — в греческой мифологии фиванская царевна, возлюбленная Зевса. Охваченная ревностью жена Зевса Гера внушила Семеле мысль попросить Зевса явиться к ней во всем своем божественном величии. Представ перед ней в сверкании молний, Зевс испепелил огнем смертную Семелу.

...как *Стернов дядя Тоби* — персонаж романа Л.Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767) имел обыкновение навистывать мотив «Лиллибулуро», ирландской сатирической баллады.

Магна Харта — Великая хартия вольностей, принятая английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г. и утвердившая права свободных граждан страны.

С. 106. *Эмили, Софи* — персонажи романа Ж.Ж.Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) как образец идеальных детей.

Мильтонов Эдем — имеется в виду поэма Дж.Милтона «Потерянный рай» (1667).

С. 109. ...*Томсоновыми Временами года* — описательная поэма английского поэта Джеймса Томсона (1700—1748) «Времена года» (1726—1730) оказала влияние на писателей, связанных с сентиментализмом. Карамзин неоднократно переводил Томсона и писал о нем.

С. 110. *Славная Аддисонова трагедия...* — классицистическая трагедия Джозефа Аддисона (1672—1719) была поставлена в 1713 г.

С. 111. «*Дочь Греции*» (1772) — трагедия Артура Мерфи (1727—1805).

«*Прекрасная грешница*» (1703) — бытовая трагедия английского драматурга Николаса Роу (1674—1718), сюжет которой заимствован из пьесы Ф.Мессинджера «Роковое приданое» (1632).

«*Джин Шор*» — «Трагедия Джейн Шор» (1714) Николаса Роу.

...в *Риторике называется числом* — т.е. ритмом.

С. 113. ...*суд Гастингса* — Уоррен Гастингс (Хейстингс, 1732—1818) — первый генерал-губернатор Индии (1774—1785). В 1788 г. был предан суду британского парламента, а в 1795 г. оправдан. Отчеты о заседаниях суда регулярно печатались в газетах.

С. 120. *Фраскати* — город вблизи Рима, где летом жила римская знать.

С. 122. ...*будучи пансионером Профессора Ш** — с 1777 по 1781 г. Карамзин воспитывался в пансионе Иохана Матиаса Шадена в Москве.

С. 123. *Йориковы проповеди* — в 1760—1769 гг. Л. Стерн издавал сборники «Проповеди Йорика», на заглавном листе которых упоминается имя шута Йорика из трагедии У.Шекспира «Гамлет».

*Ж** — экономист и агроном Степан Семенович Джунковский (1762—1839), проживавший с 1784 г. в Англии.

П.И.Макаров.
Письма из Лондона

Впервые в журналах «Московский Меркурий». 1803. Часть I. С. 29—31, продолжение в «Вестнике Европы». 1804. № 9. С. 3—22; под названием «Россиянин в Лондоне, или Письма к друзьям моим».

Печатается по кн.: Макаров П. Сочинения и переводы. 2-е изд. М., 1817. Т. 2. Ч. 3. С. 5—50. Летом 1795 г. Петр Иванович Макаров (1764—1804), майор в отставке, отправился в Лондон без знания английского языка, без средств и без рекомендательных писем и прошел пешком часть Англии.

С. 130. *Г. С-в* — Яков Иванович Смирнов (1754—1840), священник русской посольской церкви в Лондоне в 1780—1837 гг.

К.Н.Батюшков.
Письмо к Д.П.Северину

Впервые в кн.: Батюшков К.Н. Сочинения. СПб., 1850. Т. 1. С. 330—337.

Печатается по кн.: Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 287—291. К.Н.Батюшков (1787—1855) провел две недели в июне 1814 г. в Англии. Дмитрий Петрович Северин (1792—1865) — дипломат, член общества «Арзамас», в котором получил прозвище «Резвый Кот».

П.П.Свиньин.
Ежедневные записки в Лондоне

Впервые в кн.: Свиньин П. Ежедневные записки в Лондоне. СПб., 1817. С. 145—154 (из главы 8 «Лондонские театры») и 173—190 (из главы 9 «Странность английской нравственности»).

Писатель и художник Павел Петрович Свиньин (1787—1839) с осени 1811 г. по июнь 1813 г. был секретарем первого генерального русского консула в США А.Я.Дашкова, а затем полгода с осени 1813 по весну 1814 г. провел в Англии.

П.Я.Чаадаев.
Письмо М.Я.Чаадаеву

Письмо Петра Яковлевича Чаадаева (1794—1856) брату Михаилу печатается по кн.: Чаадаев П.Я. Сочинения и письма / Под ред. М.Гершензона. М., 1914. Т. 2. С. 60—64 (французский текст переведен в прямых скобках). П.Я.Чаадаев пробыл в Англии с августа по декабрь 1823 г. во время своего трехгодичного путешествия по Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии.

А.И.Тургенев.
Дневник в Англии

Впервые в кн.: Тургенев А.И. Хроника русского. Дневники (1825—1826) / Изд. подготовил М.И.Гиллельсон. М.; Л., 1961 (Лит. памятники). С 392—424.

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) с 1825 г. жил преимущественно за границей, в Англии был четыре раза: в 1826 (конец января — начало марта), 1828, 1835 и 1836 гг.

С. 159. *Ирвинг. Вестминстерское аббатство* — глава в «Книге очерков» (1819—1820) Вашингтона Ирвинга.

С. 161. *Грей (при имени его я вспомнил о Жуковском)* — имеется в виду перевод В.А.Жуковским элегии Томаса Грея «Сельское кладбище» (1750), опубликованный в «Вестнике Европы» в декабре 1802 г. (вторая редакция).

Автор оставленной дереvушки — поэма Оливера Голдсмита «Покинутая деревня» (1770), отрывок из которой перевел Жуковский («Опустошенная деревня», 1805, опубликовано в 1902 г.).

С. 164. *Я вспомнил стихи Байрона* — речь идет о строках в сатирической поэме Дж.Г.Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), где говорится о том, как лорд Элджин, будучи послом в Турции (1799—1803), вывез из Греции фрагменты Парфенона (работы Фидия) и продал их английскому правительству (с 1816 г. в Британском музее).

С. 167. *...имя известно по процессу за перепечатание... книги Пейна* — В 1818 г. Ричард Карлайл, философ и публицист, издал сочинения Томаса Пейна и был привлечен к суду за выпуск «богохульных и мятежных книг». На суде в октябре—ноябре 1819 г. Карлайл заставил судей и присяжных в течение трех дней слушать «Век разума» Пейна и впоследствии в целях популяризации идей Пейна издал свою речь в форме отчета о судебном процессе. Суд приговорил его к трем годам пребывания в Дорчестерской тюрьме. За отказ платить штраф его продержали в тюрьме еще три года.

С. 170. *...английский перевод путешествия Карамзина* — издан в Лондоне в 1803 г. (3 тома в переводе с немецкого «Писем русского путешественника»).

С. 174. *...книги барона Сталья* — книга сына мадам де Сталь Августа Луи де Сталья-Гольштейна. «Письма об Англии» (Париж, 1825).

...книги Pichot — Амадей Пишо. Путешествие в Англию и Шотландию (Париж, 1825).

Н.И.Тургенев. В Англии

Впервые на французском языке в книге Николая Ивановича Тургенева (1789—1871) «Россия и русские» (1847). С 1824 г. находился за границей. С января 1826 и до 1831 г. жил в Англии, затем в Париже.

Печатается по кн.: Тургенев Н. Россия и русские. М., 1915. Т. 1. Воспоминания изгнанника / Пер. Н.И.Соболевского под ред. А.А.Кизеветтера. С. 137—141.

Верховный Уголовный Суд приговорил 5 человек — Пестеля, Рыльева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского — к четвертованию и 31 человека к отсечению головы. Список этих 31-го действительно заканчивается Н.И.Тургеневым.

П.А.Вяземский. Об Англии

Впервые в кн.: Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1883. Т. 8. С. 99—101.

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) в 1838 г. выехал для лечения в Германию, посетил Францию и Англию (осень 1838 г.), а в июне 1839 г. вернулся в Петербург.

Н.И.Греч.
Путевые письма из Англии

Впервые в кн.: Греч Н.И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839. Часть 1. С. 84—101. Николай Иванович Греч (1787—1867) в 1830—40-е гг. выпустил пять книг «литературных путешествий» по странам Западной Европы.

«Об англичанах» — книга Э.Дж.Булвера-Литтона «Англия и англичане» (1833).

М.Н.Загоскин.
Журнал Русского путешественника

Впервые в кн.: Загоскин М.Н. Тоска по родине. М., 1839. Часть 1. С. 21—24. Знаменитый автор первого русского исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) включил «Журнал русского путешественника» в свой роман «Тоска по родине» (1839).

М.П.Погодин.
Дорожный дневник (1839)

Впервые в кн.: Погодин М. Год в чужих краях. Дорожный дневник (1839). М., 1844. Часть 3. С. 181—189, 206—212. Михаил Петрович Погодин (1800—1875) побывал в Англии во время своего путешествия по Европе в 1839 г. Отрывки из книги «В чужих краях» печатались в журналах в 1840—1843 гг.

С. 194. «полцарства за коня» — из трагедии У.Шекспира «Король Ричард III», д. 5, сц. 4 в переводе Я.Г.Брянского (1833). У Шекспира Ричард III готов отдать *все* царство за коня.

К.П.Паулович.
Замечания о Лондоне

Впервые в кн.: Паулович К. Замечания о Лондоне: Отрывки из путешествия по Европе, части Азии и Африки. Харьков, 1846 (с посвящением кн. Николаю Андреевичу Долгорукову). Константин Павлович Паулович (1781—186?) был профессором Харьковского университета.

В.С.Печерин.
Переезд в Англию (1844—1845)

Впервые в кн.: Печерин В.С. Замогильные записки / Подготовил М.О.Гершензон, ред. Л.Б.Каменев. М., 1932. С. 158—162, 176—178. Владимир Сергеевич Печерин (1807—1885) жил в Англии в 1845—1954 гг., затем в Ирландии.

А.С.Хомяков.
Письмо об Англии

Впервые в журнале «Москвитянин». 1848. № 7. С. 2—38. Печатается по кн.: Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. 3-е изд. М., 1900. Т. 1. С. 105—139. Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) побывал в Англии летом 1847 г.

С. 216. ...*смелый голландец* — имеется в виду штатгальтер голландский Вильгельм III Оранский, который 5 ноября 1688 г. с 13-тысячным отрядом высадился на английском берегу и стал королем Англии.

С. 228. *Пуатье* — город на западе Франции, где 19 сентября 1356 г. английские войска Черного принца разбили французские войска короля Иоанна II Доброго, который был взят в плен. *Азинкур* — деревня на севере Франции, где 15 октября 1415 г. английские войска Генриха V разбили французов и затем заняли Париж.

С. 229. *Борьба двух Роз* — война двух династий в Англии (1455—1485): Ланкастерской, в гербе которой была алая роза, и Йоркской, в гербе которой — белая. В результате обе династии погибли, и к власти пришла династия Тюдоров (Генрих VII).

С. 232. *Креси* — деревня на севере Франции, где 26 августа 1346 г. английские войска Эдуарда III разгромили французскую армию короля Филиппа VI.

С. 233. ...*прекрасной драмы К.С.Аксакова* — имеется в виду драма К.С.Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848).

С. 234. ...*в Гоголе (письма)* — речь идет о книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) Н.В.Гоголя, с которым Хомяков проводил время летом 1847 г. в Остенде.

...*в Жуковском (письмо о Слове)* — В.А.Жуковский перевел «Слово о полку Игореве» (1817—1819).

А.П.Заблоцкий Воспоминания об Англии

Впервые в журнале «Отечественные записки». 1849. № 1 и 2. Печатается отрывок из № 2. Отд. VIII. С. 160—166. Публицист, экономист, историк, государственный деятель Андрей Парфеньевич Заблоцкий-Десятовский (1808—1882) в 1840 гг. часто бывал в командировках за границей. В 1842 г. полемизировал с А.С.Хомяковым по крестьянскому вопросу.

И.А.Гончаров. Фрегат «Паллада». В Англии

Впервые в кн.: Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». СПб., 1858; в журнале «Русский вестник». 1858. Т. 6. Ноябрь. Глава 1. От Кронштадта до мыса Лизарда. Иван Александрович Гончаров (1812—1891) посетил Лондон в декабре 1852 г.

С. 246. ...*достойно времен Кошихинских* — Кошихин (Котошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667) — подьячий Посольского приказа, писатель. В 1664 г. перебежал к литовцам, в 1666 г. был принят на шведскую службу. Автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича» (издано в 1840 г.).

С. 249. ...*два-три пейзажа Клода* — речь идет о французском живописце Клоде Лоррене (1600—1682).

С. 254. *Наш друг Языков* — Михаил Александрович Языков (1811—1885), директор стеклянного завода.

Николай Аполлонович — Майков (1796—1873), художник, участник Бородинского сражения и кампании 1813—1815 гг., отец поэта А.Н.Майкова.

...*«в гробе тьмы людей»* — А.С.Пушкин. Полтава. II, 420.

С. 257. ...*мистрис Домби* — из романа Ч.Диккенса «Домби и сын» (1848).

С. 258. *Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки* — имеется в виду эпизод со «стройной англичанкой», за которой побежал было на своей деревяшке Копейкин («Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах»).

И.С.Тургенев.

Обед в Обществе английского литературного фонда

Впервые в журнале «Библиотека для чтения». 1859. № 1. Отд. II. С. 81—86. Печатается по кн.: Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. М., 1982. Т. 10. С. 253—258; Комментарии. С. 540—541; Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) присутствовал на обеде 23 апреля ст. стилия 1858 г. в лондонском ресторане «Freemason's Tavern». В июне 1879 г. посетил Англию в связи с избранием его почетным доктором Оксфордского университета.

Письмо к автору статьи... — имеется в виду А.В.Дружинин (1824—1864), напечатанный в «Библиотеке для чтения» (1857. № 11. Отд. 3. С. 1—28) статью с предложением образовать в России Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. После поездки Тургенева в 1858 г. в Англию Дружинин обратился к нему с просьбой рассказать русским читателям об английском литературном фонде. В ответном письме 25 августа (6 сентября) 1858 г. Тургенев дал согласие исполнить просьбу Дружинина. Так появилась публикуемая статья.

С. 266. *...какой-то джентльмен* — Дэвид Уильямс создал Литературный фонд 18 мая 1790 г., который с 1818 г. стал называться Королевским литературным фондом.

Мильнс Монктон, лорд Хаутон (1809—1885) — английский поэт и политический деятель, с которым Тургенев познакомился в 1856 г. во время своего пребывания в Лондоне.

С. *Ривс* — очевидно, Тургенев имеет в виду английского журналиста Генри Рива (1813—1895), издателя «Эдинбургского обозрения» в 1855—1895 гг.

С. 267. *...последней войны* — то есть Крымской войны 1853—1856 гг., одним из организаторов которой был лорд Пальмерстон (1784—1865).

Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфильд (с 1876 г.) (1804—1881) — английский государственный деятель и писатель, с которым Тургенев познакомился в Лондоне в мае 1857 г.

Фан де Вейер Сильвен (1802—1874) — бельгийский посланник в Лондоне в 1832—1867 гг.

С. 268. *...за излишнюю угодливость соседнему правительству подать в отставку.* — После покушения в январе 1858 г. на жизнь Наполеона III Пальмерстон как премьер-министр предложил провести в Англии закон о заговорах. В этом усмотрели сервильизм по отношению к Франции, что вынудило его уйти в отставку.

Мурчисон Родерик Импи (1792—1871) — один из авторов труда «Геология России в Европе и Уральских горах» (1845); во время Крымской войны выступал в защиту России и против войны с ней.

Кризи Эдвард Шеферд (1812—1878) — профессор истории Лондонского университета, автор книги «Пятнадцать решающих сражений мировой истории» (1851).

С. 269. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой» (1668).

М.А.Михайлов.
Лондонские заметки

Впервые «Лондонские заметки» появились в журнале «Современник». 1859. № 6—9. Печатается по кн.: Михайлов М.Л. Сочинения: В 3 т. М., 1958. Т. 3. С 357—368.

Михаил Ларионович Михайлов (1829—1865) был в Лондоне в начале 1859 г. (в феврале познакомился там с А.И.Герценом).

С. 278. «*Песня о рубашке*» (1843) — стихотворение Томаса Гуда (1799—1845), переведенное на русский язык М.Л.Михайловым в 1860 г.

В.П.Боткин.

Две недели в Лондоне 1859 года

Печатается по кн.: Боткин В.П. Сочинения: В 3 т. СПб., 1890. Т. 1. С. 284—290. Василий Петрович Боткин (1811—1869) побывал в Лондоне в 1859 г.

А.И.Герцен.

Лондонские туманы. — Трагедия за стаканом грока

Впервые в альманахе «Полярная звезда». Лондон, 1859. Кн. 5. С. 160—164. Печатается по кн.: Герцен А.И. Былое и думы. М., 1969. Части 6—8. С. 7—10.

Статья «Трагедия за стаканом грока» печатается по кн.: Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1959. Т. 17. С. 260—267. Впервые во французском переводе в газете «La Cloche». 1864. 25 июня, по-русски в сборнике «Еще раз». Женева, 1866.

Александр Иванович Герцен (1812—1870) жил в Англии с 24 августа 1852 г. по 15 марта 1865 г.

С. 289. ...искать суда своих — речь идет о проведении общественного суда демократии над немецким поэтом Георгом Гервегом (1817—1875).

С. 290. Тебе, друг мой Тата ... 28 сентября 1863 г. — В декабре 1862 г. дочери Герцена Наталия и Ольга уехали из Лондона в Италию. 28 сентября 1863 г. Герцен встретился с ними в Неаполе. Ср. в дневниковой записи Герцена от 27 сентября 1863 г., сделанной на борту парохода «Annis»: «К ночи поплывем в Неаполь, — я еду к детям, как на большой зимний праздник...»

С. 291. ...с видом Каратыгина в «Кориолане»... — В.А.Каратыгин (1802—1853) выступал в роли полководца Кориолана в одноименной трагедии Шекспира на сцене Александринского театра в Петербурге (первые представления состоялись в сезон 1840—1841 гг.).

С. 293. ...плебейский джинватер и вечное пиво draft — Джинватер — разбавленный джин, пиво draft — мутное пиво.

...гафанаф... — Смесь двух разных напитков в различных количествах, преимущественно портера и эля; half-and-half — буквально «половина-наполовину» (англ.).

... о типерарском банкротстве... — Подразумевается известный крах банка в ирландском городе Типерери в 1855 г.

С. 294. ...чем Людвиг-Филипп, например, живший возле «Георга IV»? — Французский король Луи Филипп после февральской революции 1848 г. бежал в Англию, где и умер в 1850 г.

Ф.М.Достоевский.

Ваал

Пятая глава из очерков «Зимние заметки о летних впечатлениях», впервые напечатанная в журнале «Время». 1863. № 3. Отд. 1. С. 323—329. Печатается по кн.: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1973. Т. 5. С. 68—74. Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) находился в Лондоне с 27 июня (9 июля) по 7 (19) июля 1862 г.

Ваал, Баал — древнее божество, почитавшееся в Финикии, Палестине и Сирии как бог плодородия, солнца, войны; в переносном смысле — бог наживы и приобретательства.

С. 296. ...*чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами)* — отклик Достоевского на построенную в 1860—1863 гг. первую линию лондонского метрополитена.

Кристалльный дворец — главный павильон Всемирной выставки, проходившей в Лондоне в 1851 и 1862 гг.

... «*едино стадо*» — Ин, 10, 16.

С. 297. ... *пророчество из Апокалипсиса* — Откр. 18, 10 и 21.

С. 299. *Кипсек* — роскошно изданный альбом гравюр, обычно женских головок.

С. 300. «*Аз есмь воскресение и живот*» — Ин, 11, 25.

О.А.Новикова.

Английские предрассудки

Перевод¹ с английского первой главы книги Ольги Алексеевны Новиковой (урожд. Киреева, 1840—1925) «Russia and England from 1876 to 1880: A protest and an appeal by O.K., author of "Is Russia wrong?" with a preface J.A.Froude». 2 ed. London, 1880. Книга Новиковой вышла в годы обострения русско-английских отношений после русско-турецкой войны 1876—1878 гг. Цикл статей Новиковой, жившей с 1868 г. в основном в Англии, «Вести из Англии» постоянно печатался в московских и петербургских изданиях «Московские ведомости», «Новое время», «Русское обозрение».

П.Д.Боборыкин.

Лондон. — Лондонский сезон 1868 года

Очерк «Лондон», написанный в 1890-е годы, увидел свет в книге: Боборыкин П.Д. «Столицы мира: Тридцать лет воспоминаний». М., 1911. С. 227—230 (из главы VII).

Печатается по кн.: Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 2. С. 231—234.

Очерк «Лондонский сезон 1868 года» из восьмой главы книги П.Д. Боборыкина «За полвека: Мои воспоминания» (М.; Л., 1929) печатается по кн.: Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 1. С. 497—509, где впервые глава 8 напечатана полностью по рукописи.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921) в 1865 г. уехал в Париж и в дальнейшем приезжал в Россию на короткие сроки. В Лондон он впервые попал в 1867 г. С 1914 г. он окончательно обосновался за границей.

¹ Выполнен О.А.Казниной.

С. 306. ...книга об английской живописи — четырехтомный труд Дж.Рескина «Современные художники» (1843—1860).

Прерафаэлиты — группа английских художников и писателей в 1848—1853 гг. (Д.Г.Россетти, У.Х.Хант, Дж.Э.Милле), избравшая своим идеалом искусство раннего Возрождения (до Рафаэля).

...книга Тэна о сокровищах итальянского искусства — И.А.Тэн. Путешествие по Италии (1866; русский перевод 1913—1916).

С. 309. ...пьеса Диккенса, переделанная из его романа — роман «Проезд закрыт» (1867) был написан Ч.Диккенсом совместно с У.Коллинзом.

С. 313. *Фени* — ирландские революционеры второй половины XIX в., боровшиеся за независимость Ирландской республики.

С. 315. ...придворный лавреат Теннисон — поэт Альфред Теннисон получил звание поэта-лауреата в 1850 г. и оставался им до смерти в 1892 г.

П.П.Муратов.

Письмо из Лондона. Художественные выставки

Впервые в журнале «Весы». 1906. № 7. С. 47—51.

Павел Павлович Муратов (1881—1950) в 1905—1906 гг. путешествовал по Англии и Франции. С 1922 г. жил в эмиграции, в Италии и Париже, часто бывал в Англии. С началом Второй мировой войны окончательно перебрался в Англию. Незадолго до смерти поселился в Ирландии. Известен как автор книги «Образы Италии» (М., 1911—1912. Т. 1—2; переиздана в 1993—1994 гг.).

М.Горький. Лондон

Впервые в газете «Киевская мысль». 1907. 22 июня. Печатается по кн.: Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 6. С. 341—345, по машинописи, завершенной на Капри 24 мая (6 июня) 1907 г.

Алексей Максимович Горький (1868—1936) присутствовал на открытии 5-го (Лондонского) съезда РСДРП 30 апреля 1907 г. и 16 мая уехал из Лондона на Капри.

Дионео. Английская губерния

Печатается по кн.: Дионео. На темы о свободе: Сборник статей. СПб., 1908. Ч. 1—2. С. 99—128.

Дионео — псевдоним Исаака Владимировича (Вульфовича) Шкловского (1864—1935), дяди писателя Виктора Борисовича Шкловского. С лета 1895 г. являлся постоянным лондонским корреспондентом московской газеты «Русские ведомости» и петербургского журнала «Русское богатство», после большевистского переворота стал эмигрантом. Автор ряда книг об Англии.

К.И.Чуковский. Борьба с роскошью в Англии

Впервые в журнале «Нива». 1916. № 49. 3 декабря. С. 805—809.

Корней Иванович Чуковский (1882—1969) в феврале—марте 1916 г. посетил Англию с группой журналистов и писателей. Книга Чуковского «Анг-

лия накануне войны», отрывок из которой печатается (по тексту «Нивы»), вышла в Петрограде в 1917 г.

А.Н.Толстой.

**В гостях у англичан. Прогулка с Конан-Дойлем.
Англичане, когда они любезны.**

В гостях у англичан. Прогулка с Конан-Дойлем. — Впервые в газете «Русские ведомости». 1916. 22 марта.

Англичане, когда они любезны. — Впервые в журнале «Огонек». 1927. № 16. 17 апреля. С. 8—10. Печатается по кн.: Толстой Ал. Полное собрание сочинений. М., 1949. Т. 13. С. 32—42.

Алексей Николаевич Толстой (1882—1945) в феврале-марте 1916 г. посетил Англию с группой журналистов и писателей. По материалам поездки написал отрывок «Бокс» для книги «Путешествие в Англию в 1916 году», в которую должны были войти, видимо, и приводимые здесь другие отрывки. Позднее, в 1927 г., в момент очередного кризиса англо-русских отношений, опубликовал в «Огоньке» фельетон под названием «Англичане, когда они любезны». Очерк является продолжением статьи «В гостях у англичан», но написан с иных позиций.

С. 369. ...*другое лицо* — министр иностранных дел в 1924—1929 гг. Остин Чемберлен, разорвавший в 1927 г. дипломатические отношения с СССР.

Сватоу — порт на Южно-Китайском море, взятый 24 сентября 1927 г. китайскими революционными войсками.

В.Д.Набоков.

Из воюющей Англии

Впервые в кн.: Из воюющей Англии. Пг., 1916. С. 3—27 (гл. I. Лондон), с. 41—53 (гл. VIII. Встречи...).

Владимир Дмитриевич Набоков (1869—1922), отец писателя В.В.Набокова, участвовал в поездке русских писателей и журналистов в Англию в феврале 1916 г. от газеты «Речь». Вместе с ним были представители газет «Русское слово» (Вас.Ив.Немирович-Данченко), «Новое время» (Е.А.Егоров), «Русские ведомости» (А.Н.Толстой), «Правительственного вестника» (А.А.Башмаков) и журнала «Нива» (К.И.Чуковский). Британский военный министр фельдмаршал Гораций Герберт Китченер погиб на крейсере «Хэмпшир», следовавшем с визитом в Россию и подорваншемся на mine 5 июня 1916 г.

К.Д.Набоков.

Испытания дипломата

Константин Дмитриевич Набоков был поверенным в делах России при русском посольстве в Лондоне. В сентябре 1919 г. был освобожден от занимаемой должности. Некоторое время считался представителем Омской директории в Англии. Был направлен в Норвегию на дипломатическую работу, но вскоре подал в отставку. После отставки находился в Англии в качестве эмигранта. Принимал участие в деятельности Русского Красного Креста, занимался журналистикой: публиковал статьи в лондонских журналах «Новая Россия» («The New Russia»), «Русская жизнь» («Russian Life»), в берлинском «Руле» (под псевдонимом «Constans») и в рижской «Сегодня». Читал лекции по истории в английских университетах, перевел на английский язык «Бориса Годунова» Пушкина. В 1921 г. опубликовал книгу «Ис-

пытания дипломата», которую Набоков-Сирин в романе «Другие берега» определяет как «довольно любопытные «Злоключения Дипломата» (Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 4. С. 163—164).

В.В.Набоков.

Кэмбридж. — Другие берега

Очерк «Кембридж» впервые в газете «Руль» (Берлин). 1921. 28 октября (под псевд. Вл.Сирин).

Отрывок из 12 гл. кн. Набокова «Другие берега» (1954). Печатается по кн.: Набоков В. Другие берега. М., 1989. С. 125—132.

Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) с осени 1919 учился в Кембриджском университете (Тринити колледж), где изучал русскую и французскую литературу, а также естествознание (энтомологию). В 1923 г. окончив с отличием Кембридж, переехал в Берлин. Английские впечатления нашли отражение в юношеских стихах и письмах, в «Университетской поэме» (1927), в рассказе «Картофельный Эльф», в романах «Подвиг» (1931) и «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1938—39), в мемуарном романе «Другие берега» (1954).

Е.И.Замятин.

Герберт Уэллс

Впервые в кн.: Замятин Евг. Герберт Уэллс. Пб.: Эпоха, 1922. В переработанном виде в качестве предисловия к первому тому Собрания сочинений Г.Уэллса (Л.: Мысль, 1924. С. 7—41). Печатается по тексту 1924 г., воспроизведенному в кн.: Замятин Е. Сочинения. М.: Книга, 1988. С. 362—387.

Евгений Иванович Замятин (1884—1937) с марта 1916 до сентября 1917 г. находился в Англии, где написал повесть «Островитяне» (издана в 1918 г.), сатиру на английский быт. Пребывание в Англии нашло отражение в рассказе «Ловец человеков» (написан в 1917—18 гг., опубликован в 1921 г.), трагикомедии «Общество почетных звонарей» (написана в 1924 г., впервые поставлена Михайловским театром 21 ноября 1925 г., издана отдельным изданием в 1926 г.), которая является переложением для театра повести «Островитяне», в пьесе «Блоха» (издана и поставлена в 1925 г.), созданной по мотивам народной легенды и рассказа Н.Лескова «Левша», в автобиографических очерках («Автобиография», варианты 1922, 1924, 1929 гг.), «О моих женах, о ледоколах и о России» (1932 г.), в письмах, блокнотах и записных книжках писателя (см. «Новый журнал», 1987. № 168—169; 1989. № 176; Казнина О.А. Русские в Англии. М.: Наследие, 1997); Английские впечатления и влияние научно-фантастического творчества Г.Уэллса, во многом определяют замысел и образный строй романа «Мы». Роман, как писал Замятин, был задуман в 1917—18 гг., то есть либо в Англии, либо сразу по возвращении в Россию.

В.П.Крымов.

Город-сфинкс

Печатается по кн.: Крымов В.П. Город-сфинкс. Берлин, 1922. 63 с.

Владимир Пименович Крымов (1878—1968), журналист, писатель, путешественник. Публиковался в газете «Новое время». Автор сборника психологических этюдов «Здесь» (1909), сборника фельетонов, путевых очерков и

рассказов «О прочем» (1912), книги о Центральной Америке (1914), книги о войне и правительственном кризисе «То, чего нельзя печатать» (1914—16) и книги о переломном для России времени «Чтобы жизнь не была так печальна» (1917). Издавал журнал «Столица и усадьба» (1914—16). Дважды совершил кругосветное путешествие, в которое отправился в апреле 1917 г. В 1921 г. обосновался в Берлине, издал книгу размышлений о пережитом и о странах «Богомольцы в коробочке» (1921). В эмиграции примкнул к сменовеховству, редактировал газету «Русский голос». В 1922 г. в Берлине выпустил книгу «Город-сфинкс» о Лондоне, где провел три года. Впоследствии публиковал книги путешествий, исторических мемуаров, детективные романы. Роман-трилогия «За миллионами» (1933), имевший автобиографическую основу, выдержал в Берлине и Париже четыре переиздания. Семь книг писателя было издано в Лондоне в переводе на английский язык.

Б.Пильняк.

Отрывки из «Повести в письмах», которую скучно кончить

Впервые в кн.: Б.Пильняк. Английские рассказы. М.;Л.: Круг, 1924. С. 63—92.

Борис Пильняк (Борис Андреевич Вогау, 1894—1938) отправился в Англию вместе с Н.Никитиным в начале мая 1923 г. для участия в Первом Международном конгрессе ПЕН-клуба, открытие которого было назначено на 1 мая 1923 г. Официально писатели были командированы в Лондон Комиссариатом Внешней торговли для работы в советском торговом представительстве «Аркос» в Бюро Информации для сбора и систематизации сведений о российской экономике. Пильняк обращался к организаторам Клуба с предложением открыть в России ПЕН-центр. Писатель жил в Лондоне, побывал в Оксфорде, провел неделю в портовом городе Барри, встречался с русскими эмигрантами, в том числе с Д.П.Святополком-Мирским. Английские впечатления нашли отражение в очерках, рассказах, романах, дневниках и письмах писателя.

В 1923 г. были опубликованы очерки в газете «Известия»: Великая Британия (очерки) [I—III] (Известия. 1923. 7 октября. № 228 (1965). С. 2); Лондон (очерки современной Англии) [IV—V] (Известия. 1923. 24 октября. № 243 (1980). С. 3—4) и рассказы «Speranza» (Красная новь. 1923. № 6. С. 33—47) и «Старый сыр» (Красная нива. 1923. № 47. С. 2—6). В 1924 г. был опубликован сборник «Английские рассказы» (М.;Л.: Круг, 1924), в который вошли рассказы «Старый сыр», «Speranza» и «Отрывки из «повести в письмах», которую скучно кончить», идентичные очеркам в «Известиях». В том же году появились «Отрывки из дневника» в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (Сборник статей № 1. М.;Л.: Круг, 1924). Опыт знакомства с Англией сыграл особую роль в творческой истории романа Пильняка «Третья столица», в котором английская тема занимает одно из центральных сюжетных мест. Роман был закончен летом 1922 г. и впервые опубликован в первом номере альманаха «Круг» в 1923 г. Вернувшись из Англии, писатель дополнил текст романа своими непосредственными впечатлениями и выпустил текст под тем же названием в составе книги рассказов «Никола-на-Посадьях» (Книга 3. М.—Пг.: Круг, 1923. С. 105—227). В 1924 г. «Третья столица» вышла отдельным изданием в берлинском издательстве «Слово». В это же время роман был опубликован во втором томе авторского издания трехтомника, где он впервые вышел под новым названием: «Мать-мачеха» (Повести: Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. Никола-на-Посадьях,

1924). В следующем году писатель вернулся к английским впечатлениям в повести «Заволочье», опубликованной в альманахе «Круг» (№ 5. 1925 г.; см. также Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М.-Л.: Круг, 1925).

Н.Н.Никитин.
Английские зеркала

Впервые в кн.: Никитин Н. Сейчас на Западе: Берлин — Рур — Лондон. Л.; М., 1924. С. 73—122.

Николай Николаевич Никитин (1895—1963) — участник литературного объединения «Серапионовы братья». В мае 1923 г. совершил поездку по Европе, вместе с Б.Пильняком провел два месяца в Лондоне (на месяц уезжал в Германию, затем вернулся). Путешествие получило отражение в его сборнике «Сейчас на Западе». «Английские зеркала» впоследствии вошли в сборник «Лирическая земля» (1927).

А.В.Тыркова-Вильямс.
Письма из Англии. Палец собственника

Впервые в газете «Возрождение» (Париж). 1926. 2 февраля.

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962) прожила в Англии 25 лет, между двумя мировыми войнами. Писала об Англии в газетах «Возрождение» (Париж) и «Сегодня» (Рига), а также в книге, посвященной жизни ее мужа — корреспондента «Таймс» Гарольда Вильямса («Cheerful Giver. The Life of Harold Willims» (London, 1935).

И.А.Бунин.
Джером Джером

Впервые в газете «Последние новости» (Париж). 1929. 9 сентября. Печатается по кн.: Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Lev, 1950. С. 63—64. Более ранний вариант статьи (из рижской газеты «Сегодня». 1927. 26 июня) воспроизведен в кн.: Бунин И.А. Публицистика 1918—1953 годов. М., 1998. С. 247—249.

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) эмигрировал в 1920 г. В 1925 и в 1936 гг. посетил Англию.

П.П.Муратов.
Английские впечатления

Впервые: в газете «Возрождение» (Париж). 1929. 10, 22 августа и 19 сентября.

О Павле Павловиче Муратове (1881—1950) см. выше при его «Письме из Лондона» (1906).

С. 530. *Оплот* — зд. в значении «заграждение».

И.Г.Эренбург.
Город-пригича

Впервые в кн. очерков И.Г.Эренбурга «Англия» (М., 1931). Печатается по кн.: Эренбург И. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1966. Т. 7. С. 444—468.

Илья Григорьевич Эренбург (1891—1967) находился в эмиграции с 1921 по 1931 г., был в Англии в 1930 г.

В.В.Вейдле.

Лондонские воскресения. — Англия

Лондонские воскресения. Впервые: в газете «Последние новости» (Париж). 1933. 20 февраля.

Англия. Впервые: в той же газете. 1933. 12 марта.

Владимир Васильевич Вейдле (1895—1979), критик, историк искусства, эмигрировал в 1924 г. и до конца жизни прожил в Париже. Приезжал в Англию для чтения лекций в британских университетах в начале 1933 г.

Эпиграф к статье «Лондонские воскресения» — латинская пословица: *magna civitas, magna solitudo.*

М.И.Цветаева.

Письмо В.Ф.Ходасевичу

Впервые: Новый мир. 1969. № 4. С. 205—206. Публикация А.С.Эфрон.

Письмо было написано 15 апреля 1934 г.

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) провела в Лондоне две недели с 10 марта 1926 г. Поездку М.Цветаевой и два ее поэтических вечера организовал живший в Англии Д.П.Святополк-Мирский. Английские впечатления нашли отражение в основном в письмах поэта. Несколько из них было отправлено непосредственно из Англии: П.П.Сувчинскому, А.А.Тесковой, Д.А.Шаховскому. Мысленно она возвращалась в Лондон позднее в переписке с С.Н.Андрониковой, Р.Н.Ломоносовой, Б.Л.Пастернаком, Ю.П.Иванском.

С. 548. ...от А до Z — план Лондона.

Н.М.Зернов.

Англия. — Оксфордский университет (1930—1932)

Печатается по кн.: За рубежом (Хроника семьи Зерновых). Т. 2: Белград—Париж—Оксфорд: 1921—1972 / Под ред. Н.М. и М.В.Зерновых. Париж, 1973. С. 39—41, 236—242.

Николай Михайлович Зернов (1898—1980), философ, богослов, литератор. В 1921 г. семья Зерновых покинула Россию. Жил в Белграде. С 1925 г. в Париже. С 1930 г. в Оксфорде, куда окончательно переехал с женой в 1934 г.

И.М.Майский.

Из воспоминаний о Бернарде Шоу и Герберте Уэллсе

Печатается по кн.: Майский И.М. Из воспоминаний о Бернарде Шоу и Герберте Уэллсе. М., 1973. С. 3—63.

Иван Михайлович Майский (1884—1975), дипломат, историк, академик (1946). С 1912 до 1917 г. жил в Великобритании. Советник советского посольства в Англии (1925—1927), посол СССР в Англии (1932—1943).

Именной указатель*

- Аарон 214
Аберкромби, генерал 240
Аввакум Петров, протопоп 253
Августин Блаженный Аврелий 229
Аддисон Джозеф 6, 110, 142, 161, 463, 619
Азинкур 228
Айлингтон, леди 352
Аксаков К. С. 233, 234, 623
Александр I 8, 9, 157, 159, 166
Александр Васильевич 266
Александра Евтиховна 52
Алексеев М. П. 6, 23
Алексей Михайлович, царь 5, 614, 623
Аллан 183
Алфери Николай (Алферьев) 5
Альберт, принц 268, 543
Альфieri В. 195
Андре, майор 118
Андроникова С. Н. 632
Анна Болонская 51
Анна, королева Англии 39, 40, 50, 52, 87, 518
Аннет (Annet) 169
Ансон 96
Апеллес 134
Апраксин 305
Аристотель 42
Арк Жанна д' 572
Аркайт Ричард 225, 226
Арнолд С. 235, 619
Арнштам А. 371
Артур, король 4
Архенгольц И.-В. 82, 617
Архипов Федор 5, 25, 612
Арчер Дженни 566
Асквит Г. Г., граф 368, 369, 377, 379, 383, 389, 394, 396
Асторы 558
Аткинс Г. 50, 55
Ашмоле Елиас 41
Бадини К. Ф. 103
Байрон (Вугон), г-жа 95
Байрон Дж. Г., лорд 9, 10, 16, 164, 169, 187, 188, 226, 284, 323, 360, 399, 471, 548, 621
Бакстер, консул 79, 80
Бакунин М. А. 11, 574
Балиев 507
Бальфур Артур Дж. 373, 377, 378, 383, 396
Бальфур, однофамилец А. Дж. Бальфура 373
Банкс Джозеф 86, 172, 618
Барбер, мэр Лондона 116
Барклай, пивовар 184
Барневельт 61
Барри Дж. 505
Барсков Я. Л. 617
Бассано Я. 121
Батлер (Ботлер) Сэмюэль 6, 116
Батюшков К. Н. 8, 141, 620
Бах И.-С. 285
Башмаков А. А. 370, 392, 628
Башэм, миссис 573
Беда Достопочтенный 215
Бедфорд (Bedford), герцог 163, 164, 232
Бедфорд Э. 322
Бедфорд, граф 513
Бекет 438
Беклин А. 322
Бекон (Бэкон, Бакон) Ф. 4, 123, 331, 540
Бекслей, лорд 175
Бекфорд 242
Бенар 320
Бенет А. 513, 515
Беним 187
Бенкендорф А. К., граф 380, 389, 392, 394, 395, 396, 397
Бенкендорф К. А. 19
Беннет А. 17, 522
Бенни А. И. 312, 318
Бентинк 232
Беранже П. Ж. 274

* Составитель О.Л.Кулагина.

- Бергнер Э. 564
 Бердслей О. 319
 Бердяев Н. А. 16, 23
 Бернам, лорд 393
 Бернард, капуцин 157
 Бернгам, лорд 384
 Берн-Джонс Э. 306
 Бертон-отец 310
 Бестужев-Рюмин М. П. 179, 621
 Бетфорд 92
 Бетховен Л. ван 285, 525, 546
 Билотт Р. 322
 Бинг 119
 Биркенхед 585, 591, 592
 Бисмарк О. фон 388, 527
 Блэйк 322
 Блэк Джон 501
 Боборыкин П. Д. 306, 626
 Бобринская 163
 Бодлей Томас 42, 491
 Бодлэн 463
 Бойдель Джон 87, 618
 Бойль Р. 189
 Бойс, миссис 483
 Болбей 39
 Болдуин (Болдвин) С. 482, 484, 513, 528, 530, 537, 585, 592
 Больдини 320
 Бонифатии, семья 229
 Боном Ж. 237
 Борк 75, 113, 114
 Борман А. А. 19, 24
 Босуэлл (Босвель) Дж. 361
 Боткин В. П. 11, 281, 625
 Боттичелли С. 323
 Бриггс (Briggs), епископ 209
 Бриджватерские, герцоги 267, 269
 Бристоль, лорд 163
 Брум 161, 162, 163, 172, 188, 196, 283
 Брусилов А. А. 396
 Брэбазон 322
 Брэнгвин Ф. 320
 Брянский Я. Г. 622
 Бубнов А. С. 599
 Будда 445
 Буккенгам, герцог 116
 Буккингамшир, граф 119
 Булвер-Литтон (Бульвер) Э. Дж. 187, 188, 622
 Булгаков А.Я. 157, 173
 Буль 141
 Бунин И. А. 19, 516, 631
 Бунина А. П. 8
 Буржиньион 40
 Бурке 59
 Бурулингтон, лорд 244
 Бьюкенен Дж., сэр 370
 Бьюфорт, герцогиня 352
 Бэзуотер 519
 Бэкси (Бакшеев) 507, 508, 509, 510, 511, 512
 Бюггеномс де, отец 213
 Бюканан Дж., сэр 396
 Бюсси 322
 В* 140
 Вагау Б. А. см. Пильняк Б.
 Вагнер Р. 574, 575
 Валасский 170
 Валисский принц см. Георг IV
 Ван Дейк (Вандек, Вандик) А. 35, 40, 322
 Вандервельде, г-жа 383, 385
 Ван-дер-Гос 322
 Ван-Эйнав Я. 322
 Варбуртон, доктор 120
 Варт 491
 Васильчикова, графиня 396
 Ватсон, доктор 556
 Вебб Б. (Поттер Б.) 561, 562, 578, 584, 607
 Вебб С. 561, 562, 575, 578, 607
 Вебстер 5
 Вейдле В. В. 540, 544, 632
 Веймут 36
 Велво 214
 Веллингтон А. У., герцог 143, 159, 163, 172, 173, 232, 242, 243, 256
 Верно, художник 44
 Веронезе (Веронезий) П. 40, 121
 Вертгейм 455
 Вест 87
 Вест Ребекка 493
 Вестминстерский, герцог 513
 Виккерс 376
 Виклеф Дж. 230
 Виктория, королева 195, 226, 268, 287, 348, 409, 527, 543, 588
 Виллеброды 229
 Виллерс 175
 Вильберфорс У. 225, 226
 Вильгельм (Вилгельм) III, Оранский 44, 52, 623
 Вильгельм Завоеватель 89, 90, 95, 98,
 Вилькес (Вилькс Уилкс) Дж. 100, 163, 618

Вильсон Р. 162, 171, 395
 Вильтон 371, 392
 Вильямс Г. (Williams Н.) 19
 Вильямс Г. 14, 631
 Винчи Леонардо да 507
 Виолетта 405
 Виргилий 116
 Витбрид, пивовар 184
 Владимир Мономах 4
 Владимир, князь 62
 Волховский Ф. В. 13
 Вольсей (Волсей), кардинал 121, 167, 241
 Вольтер (Волтер, Voltaire) 45, 109, 110, 169, 170
 Вольф, генерал 58, 118
 Вордсворд У. 187, 235
 Воробьева О. Б. 571
 Воронцов А. Р. 7
 Воронцов С. Р. 7, 79
 Воронцовы, графы 166
 Ворт 353
 Вульф В. 522, 527
 Вырубова А. А. 314
 Вземский П. А. 10, 180, 621

Г. С. Р. В. см. Воронцов С. Р.
 Габерман 322
 Гайдн И. 75
 Гайндман 575
 Галилей Г. 195
 Галл 229
 Гамильтон (Гамилтон), лорд 32, 87, 448
 Гамильтон, леди 446
 Гамильтон, министр 54, 164
 Гамильтоны, лорды 448
 Гандар ла 322
 Гардинер 384
 Гарингтон 29
 Гарлей, боец 366, 367
 Гарнет 493
 Гарнетт К. 14
 Гарнетт Э. 14
 Гарольд 228
 Гаррик (Гарик) Д. 7, 50, 144, 161, 240, 309
 Гаррисон 401, 402
 Гаскон, судья 66
 Гассье, певец 310
 Гастингс (Хейстингс) У. 59, 113, 114, 172, 228, 619
 Гастингс Мери 4

Гауг 288
 Гвин Н. 573
 Гегель Г. В. Ф. 234
 Гей Дж. 117
 Гейне Г. 584
 Гейнсборо Т. 520
 Гельд (Held) де, отец 208, 212, 213, 214
 Гендель Г. Ф. 75, 76, 117, 161, 285, 545, 617
 Генри Дж. 320
 Генрих (Генрик) V 66
 Генрих I 90
 Генрих II 4, 616
 Генрих V 192, 623
 Генрих VI 347, 491
 Генрих VII 118, 192, 623
 Генрих VIII 114, 121, 618
 Генрих, принц 51
 Георг (кинг Джорж) 469
 Георг IV 76, 118, 159, 290, 293, 294, 295, 625
 Георг V 401
 Георги, короли 331
 Георгий I 52
 Герасим Семенович 27, 28
 Гервег Г. 625
 Герцен А. А. 287, 288, 625
 Герцен А. И. 10, 11, 23, 287, 290, 314, 328, 329, 333, 334, 625
 Герцен Н. А. 290, 625
 Герцен О. А. 625
 Гершензон М. О. 620, 622
 Гёте И.-В. 577
 Гиббон Э. 111, 323
 Гибонс 58
 Гиллельсон М. И. 620
 Гимфрей, граф 491
 Гиншлеф 39
 Гитлер А. 572, 605, 609
 Гитри Саша 507
 Гладстон У.Ю. 527
 Гоббс (Гоббес) Т. 74, 123
 Гобриан (Goesbriand), г-жа 213
 Гов, лорд 240
 Говард Джон 80, 166, 226, 241, 303, 617
 Гоголь Н. В. 10, 12, 215, 224, 234, 258, 276, 403, 405, 623, 624
 Годвин У. 187
 Годунов Борис 4, 5, 64
 Голдинг 38

- Голдсмит (Гольдсмит) О. 117, 161, 621
 Голицын, князь 193
 Голсуорси (Галсворди, Голсворти) Дж. 17, 472, 493, 522, 538, 600
 Голфорд 518
 Гольбах (Holbach) П. А. Д. д' 169
 Гомер 110, 116, 120, 384, 403
 Гомфрей, герцог Глочерский 42
 Гончаров И. А. 246, 623
 Гораций 116, 403
 Гордон, генерал 527
 Горн Тук Джон 100, 618
 Горький А. М. 14, 323, 417, 564, 579, 593, 596, 599, 600, 604, 627
 Гоу 122
 Греем С. (Graham, Stephen) 493
 Грей Анна 91, 618
 Грей Т. 161, 621
 Грей Э., сэр 116, 161, 363, 375, 376, 378, 379, 389, 395, 396
 Грейн 566
 Гренвиль У. 79
 Греч Н. И. 10, 183, 622
 Грешем Т. 613
 Грибоедов А. С. 10
 Григорий Великий 229
 Гризи 284
 Грин (Green F. R.) 331, 348
 Гроций Г. 121
 Губерт 322
 Гувер Г. К. 560
 Гуд (Hood), лорд 99, 100, 101
 Гуд Т. 278, 625
 Гульды 448
 Гурко 393
 Гутенберг И. 450

 Д* см. Демидов Г. А.
 Давыдов В. П. 9
 Давыдов Д. В. 9
 Дайон-Бусико 310, 311
 Далеирак Н. 618
 Данилевский Н. Я. 12
 Данс Ж. 244
 Данте (Дант) 195
 Дарвин Ч. 315, 447, 569
 Дашков А. Я. 620
 Дашкова Е. Р. (К. Д.) 7, 31, 616
 Девонширский, герцог 119, 362
 Дега Э. 322
 Дезожье 274
 Декарт Р. 88, 123

 Делольм 124
 Демидов (Д*) Г. А. 96, 102
 Демидов Н. А. 47, 616
 Денби 43
 Деникин А. И. 538, 595
 Дефо Д. 6
 Дефф Дж. 352
 Дешер 37
 Джеймс Г. 10, 17
 Дженни, служанка 77, 112
 Джером К. Джером 516, 631
 Джикс см. Хикс Дж.
 Джип, боец 366, 367
 Джойс Дж. 522, 523, 533, 537
 Джон 291
 Джонс 351
 Джонс Б. 323
 Джонс, миссис 353
 Джонсон 351
 Джонсон 4, 240
 Джонсон Бен (Johnson Ben) 5, 116, 158, 161
 Джонсон (Johnson Samuel, доктор Джонсон) С. 167, 360, 361, 457
 Джонсон, миссис 353
 Джорж Генри 575
 Джорж, кинг см. Георг
 Джунковский С. С. 123, 124, 619
 Дидро (Diderot) Д. 169
 Дизраэли Б. 267, 268, 624
 Диккенс Ч. 16, 224, 226, 266, 267, 276, 309, 310, 315, 325, 391, 415, 428, 437, 456, 465, 485, 506, 533, 534, 548, 623, 627
 Диксон Э. 499, 500, 501
 Диксон Э. 501
 Диоклитиан 239
 Дионео см. Шкловский И. В.
 Дмитриев И. И. 176
 Додсворт, чета 519
 Долгорукий Яков 305
 Домбей 227
 Домби, мистрис 257
 Донской Д. И., князь 64
 Дорсет, граф 119
 Достоевский Ф. М. 12, 13, 17, 296, 392, 424, 526, 579, 626
 Дохтуров Г. С. 612, 614-616
 Драйден (Дрейден) И. 110, 116, 158
 Дринквотер, драматург 505
 Дружинин А. В. 12, 624
 Дунстан 230
 Дэнхем (Denham), г-жа 95

- Дюбуа 121
 Дюгазон 103, 619
 Дю-Те 134
- Еври Э. 556
 Егоров Е. А. 370, 392, 628
 Екатерина II 618
 Елизавета (Елисавета, королева Бетс), королева Англии 4, 51, 58, 69, 90, 95, 118, 142, 145, 158, 161, 323, 347, 348, 527, 548, 613, 614
 Ермак Тимофеевич 176
 Ермолов М. А. 9
 Ермолов, русский француз 210
- Ж* см. Джунковский С. С.
 Жанлис С.-Ф. 139
 Жибес, архитектор 42
 Жихарев С. П. 173
 Жонес, господин 36
 Жонес, госпожа 32,
 Жонес, девица 36, 37, 38, 39
 Жуковский В. А. 10, 161, 163, 172, 234, 621, 623
 Журдан 162
- Заблоцкий А. П. (Заблоцкий-Десятовский) 239, 623
 Загоскин М. Н. 10, 190, 622
 Замбергер 322
 Замятин Е. И. 21, 22, 24, 406, 629
 Заутер 322
 Зернов Н. М. 549, 552, 632
 Зоннтаг 202
 Зороастр 445
- И. А. В. 32, 34
 Иаков II 92, 121
 Ибсен Г. 565, 566, 577
 Иван IV, Грозный 4
 Иван Семенович 263
 Иванов см. Рашковский П. И.
 Иванов Вяч. И. 16, 24
 Иваск Ю. П. 22, 632
 Иисус Христос 217, 232, 234, 416, 420, 460
 Инегажонес, архитектор 43
 Иоанн 399
 Иоанн II, Добрый 623
 Иоанн Безземельный 455, 619
 Иоанн, король Англии 104, 121
 Иомеллий 75
 Ирвинг В. 159, 621
- Иуда 500
- Йонг 111
 Йорки 121, 228, 623
- К-зин см. Карамзин Н. М.
 К-с 130
 Кабе 575
 Казанова Дж. Дж. 534
 Казем-бек 19
 Казнина О. А. 23, 626, 629
 Калигула 90
 Калина Ж. (Миссис Николл) 462
 Калькрейт 322
 Камбель 38
 Камбон П. 389, 397
 Каммингс А. 600, 601, 602, 603
 Кампбель-Баннерман 377
 Кампбель (Campbell) Т. 175, 176
 Каннинг (Canning) 169, 172, 178, 196
 Каннинхэм Б. 337
 Канова А. 256
 Кантело 75
 Кантемир А. Д. 7, 29, 616
 Карамзин (К-зин) Н. М. 8, 68, 132, 163, 170, 172, 612, 617-619, 621
 Карангозов, генерал 340
 Каратыгин В. А. 625
 Караччи (Карач) А. 40
 Карл I (Карлус) 5, 43, 92, 242, 368
 Карл II 43, 52, 86, 90, 92, 95, 117, 242, 573
 Карлайл (Карлиль, Carlile) Р. 167, 168, 621
 Карлейль, граф 6
 Карлы, короли 548
 Карпантье 438
 Каррингтон Ч. 566
 Карузо Э. 438
 Карю (Cagew) 119
 Каталани А. 202
 Кауле (Cowley), стихотворец 116
 Кауфман А. 87
 Каховский П. И. 179, 621
 Кванон 445
 Квинсберри, герцог и герцогиня 117
 Кед 236
 Кембел (Кембель, Kemble) 37, 39, 145, 160
 Кембль, лорд 283
 Кер Ф. см. Лотиен, лорд
 Керзон Дж., лорд 445, 477, 481, 482, 483, 484, 485, 595, 596

- Кери 37, 38, 39
 Керий 55
 Керн 38
 Кибл Джон 555
 Кидд, доктор 555, 556
 Кизеветтер А. А. 621
 Кин Э. 145, 194, 309
 Кин, сын 194
 Киплинг Р. 572
 Китченер Г. Г., лорд 381, 385, 387,
 388, 391, 395, 628
 Клайв 226
 Кларандон 42
 Клевленд, герцогиня 573
 Клейв 32
 Клемансо Ж. 595
 Клеопатра 359, 380, 577
 Клепинин 549
 Кливленд (Cleveland), г-жа 95
 Климт Г. 322
 Клиндер М. 322
 Клод см. Лорен Клод
 Кнеллер Ш., живописец 50
 Кобден 224, 232
 Ковалевский В. О. 315
 Козлов И. И. 10,
 Козловский П. Б. 9
 Кок Поль де 224
 Коллингвуд, лорд 241
 Коллинз У. 627
 Колмэн, помещик 335
 Колумб Х. 127, 229
 Колчак А. В. 595
 Кольман Джорж, младший 619
 Кольридж С. Т. 235
 Комиссаржевский Ф. Ф. 507
 Конан-Дойль А. (Conan Doyle, сэр
 Артур) 359, 360, 375, 485, 628
 Конгрив У. 6
 Кондер Ч. 319, 321, 322
 Конрад Дж. 17
 Константин 239
 Констэбль 319
 Конфуций 120
 Корелли Мария 333
 Корк, граф 189
 Корнвалис Ч. 158
 Корнваль, капитан 50, 118
 Корреджо (Корреджио) А. А. 95, 134
 Кошихин (Котошихин) Г. К. 623
 Крамер 75
 Крандиевская-Толстая Н. В. 18
 Кранфильд, лорд 116
 Красин Л. Б. 481, 591
 Крез 125
 Крейтон 157, 163
 Креси 232
 Кризи Э. Ш. 268, 269, 624
 Кристи 447, 448, 453, 520
 Кромвель О. 5, 90, 116, 121, 226,
 338, 429, 505
 Кропоткин П. А. 13, 574
 Кросс А. Г. 618
 Кросс Э. Г. (Cross A. G.) 23
 Крылов И. А. 10
 Крымов В. П. 427, 629
 Крэн У. 320
 Ксеркс, персидский царь 618
 Кудашев Н. А. 394
 Кудлер Вилим 28
 Кук Дж. 96, 164, 226, 618
 Курции 84
 Курций М. 617
 Кутузов А. М. 617
 Кэкстоны 450
 Лагрене 174
 Лади 71
 Лайамон (Layamon) 4
 Лайма (Lima) 208, 209, 210, 211, 212
 Лайонс, ресторатор 459
 Ланготок 351
 Ланкастеры 121, 228, 623
 Лаусон (Lawson), г-жа 95
 Лафатер 74, 87, 139
 Левек 63
 Левер, братья 459
 Лейбль 322
 Лейбниц Г. В. 123
 Лейстер, лорд 347
 Ленбах 322
 Ленин В. И. 14, 482, 501, 502, 504,
 591, 593-600, 610, 611
 Леон X 103
 Леонид, спартанский царь 618
 Леонтьев К. Н. 12, 526
 Лепри, маркиза 53
 Лермонтов М. Ю. 10, 12
 Лесков Н. С. 8, 23, 629
 Лефевр 193
 Лже-Дмитрий 5
 Ли 84
 Либерман 322
 Ливен, граф 170
 Ливен, графиня 159, 163
 Ливенс 322

- Ливерпуль 172
 Лий 38
 Лингард 295
 Линдгорст 283
 Линкольн А. 534
 Листер, лекарь 38
 Литвинов М.М. 599
 Ллойд Джеральд 506
 Ллойд Джорж 396, 431, 515, 558, 596
 Лойд 86
 Локк Дж. 74, 123
 Полларды 230
 Ломоносов М. В. 79
 Ломоносова Р. Н. 22, 632
 Лонгман 187
 Лорен Клод 249, 623
 Лоренс Д. 523
 Лот 456
 Лотиен (Филипп Кер), лорд 558
 Лотман Ю. М. 617
 Лоу Б. 377
 Лоуренс Арабский 563
 Лоуренс Д. Г. 17
 Лудвиг, отец 208, 209
 Луи-Филипп (Людвиг-Филипп)
 294, 625
 Лэвери 320
 Людвиг 534
 Людовик (Лудовик) XIV 95
 Людовик 226
 Людовик XVI 89
 Людрас 36, 37, 38, 39
- М* см. Малиновский В. Ф.
 Мазарини 450
 Майков А. Н. 623
 Майков Н. А. 254, 623
 Майский И. М. 14, 558, 573, 592,
 604-607, 632
 Макаров П. И. 23, 127, 620
 Макарова Н. С. 473
 Макдональд Дж. 537, 576, 585, 592
 Макиавелли (Макиавель) Н. 195,
 384
 Мак-Кенна 355
 Макколей (Маколей) Т.Б. 295, 323
 Максим Валерий 103
 Максим Хирам 410
 Малиновский В. Ф. (М*) 97, 618
 Мальборук Ион 39, 40
 Мальборук, герцог 39, 40
 Малькольм 170
 Мамай 64
- Мандевиль Б. 6
 Мара 75, 103
 Марвелл Эндрю 6, 403
 Мариет, капитан 188
 Марио 284
 Мария, невеста Шелли 463, 491
 Мария, королева, дочь Иакова II
 121
 Мария, королева, супруга Вильгельма III 52
 Марк Антоний 332
 Маркгам Виллиам 40, 41
 Маркези 103
 Маркс К. 314, 413, 425, 461, 568,
 569, 571, 574, 575, 596, 597
 Маркс Э. 569, 570, 571
 Марло К. 331
 Марлоу 4
 Марльбору, лорд 233
 Марченко 617
 Матьюс 226
 Мейендорф А. К., барон 9
 Мельбурн 227
 Мельников-Печерский П. И. 403
 Мемлинг Х. 322
 Мендельсон Ф. 285
 Менцель А. 322
 Меньшиков А. Д., князь 305
 Мередит 315
 Мериме П. 269
 Мерриман Г. С. 13
 Мерсиеров 61
 Мерфи А. 619
 Мерьян, барон 160, 163, 175
 Мессинджер Ф. 619
 Меттерних К. 214
 Метьюсы 311
 Мидлетон (Midleton) 169
 Мидлтон (Middleton), г-жа 95
 Микеланджело (Михель Анжел,
 Микель-Анджело) Б. 40, 95
 Микулин Г. И. 613
 Милле Дж. Э. 627
 Миль Дж.-Ст. 309, 315
 Мильнс М. 266, 269, 624
 Мильтон (Милтон) Дж. 5, 50, 90, 99,
 106, 110, 116, 158, 161, 614, 619
 Милюков П. Н. 393, 396
 Минин К. З. 64, 237
 Минсфильд, граф 119
 Мирабо В. Р. 169
 Михаил Федорович, царь 5, 237
 Михайлов М. Л. 11, 271, 625

- Могам С. см. Моэм С.
 Моисей 214
 Мольер Ж.-Б. 224, 624
 Монтегю 149
 Монтескье Ш.-Л. 170
 Монтольб 322
 Монфорт Ленчерский 228
 Морг. 173
 Мориер 187
 Морис 307
 Морланд 491
 Морпет, лорд 193
 Моррис У. 575
 Моруа А. 522
 Мостер, портной 157
 Мотес Л. 287
 Мотыгин, матрос 262, 263
 Моцарт В.-А. 285
 Моэм С. (Могам) 529, 530
 Мур Т. 10, 11, 187
 Муравьев-Апостол С. И. 179, 621
 Муратов П. П. 319, 517, 627, 631
 Мурман 322
 Мурчисон Р. И. 268, 624
 Мусин-Пушкин, (Мусин), министр
 48, 55
 Муссолини Б. 572, 578, 605
 Мьюгайр 353
 Мэннинг, кардинал 527
 Мэри, черная 511
 Мэфер 519, 520, 526

 Н*, епископ 139
 Набоков В. В. (псевд. Сирин) 18,
 22, 398, 401, 628, 629
 Набоков В. Д. 18, 19, 20, 370, 392,
 628
 Набоков К. Д. 17, 19, 389, 628
 Назимов, офицер 34
 Найтингель Гаскон 118
 Найтингель Ф. 527
 Наполеон I Бонапарт 8, 9, 161, 162,
 163, 206,
 Наполеон III 624
 Наталья Дмитриевна 155
 Невинсон 493
 Неллер Г. 95, 618
 Нельсон (Нэльсэ́н) Г. 158, 161, 167,
 226, 240, 241, 242, 243, 469, 480,
 542, 550
 Немирович-Данченко Вас. И. 18,
 370, 392, 401, 628
 Непея Осип 4

 Нессельроде К. В., граф 178
 Неш Дж., архитектор 174
 Никитин Н. Н. 20, 22, 475, 630, 631
 Никитин, студент 40, 43
 Николай 19, 163, 176
 Николай II 396
 Николай Аполлонович см. Май-
 кова Н. А.
 Николл, миссис см. Калина Ж.
 Николл, профессор 462
 Нимейер 159
 Новикова О. А. (псевд. Z) 14, 23,
 302, 626
 Ноэль 32
 Ной 456
 Норрис 75
 Норт 41
 Нортемберленд (Northumberland),
 г-жа 95
 Нортклифф, лорд 379, 380, 396
 Нортумберланд, герцог 38, 119, 158
 Ноф (Knoff), г-жа 95
 Ньюболд 484
 Ньюкастль, герцог (дюк) 29, 32
 Ньютон И. (Невтон) 50, 58, 74, 117,
 123, 161, 235, 469, 471, 573

 О., лорд 71
 Огарев Н. П. 11
 Оконель 193
 Окс. Нина 487
 Окстенстирна, канцлер 214
 Ольбрих 322
 Оруэлл Дж. 21
 Осман, барон 544
 Оссори (Ossory), г-жа 95
 Оуэн (Owen) Р. 168

 П. 75
 П. Ф. К. 32
 Павлов И. П. 579, 582, 599, 610, 611
 Павлова Анна 507
 Паккиероти 75
 Палладио (Палладий) А. 244
 Пальмер Э. (Palmer) 169
 Пальмерстон Г. Дж. Т., лорд 266,
 267, 268, 269, 624
 Панин Н. И., граф 48
 Паоли 161
 Паолий 32
 Паоло М. 250
 Пар* 86, 124
 Парадис, дворянин 55

- Парр Т. 117
 Паста Дж. 202
 Пастернак Б. Л. 22, 632
 Патти А. 438
 Паулович К. П. 23, 197, 622
 Пейн Т. (Пен, Paine) 167, 168, 170, 621
 Пемброк, княгиня 352
 Пенброк 35
 Пенброки, графы 166
 Перголезе Дж. Б. 75
 Перкинс, пивовар 184
 Перкс 130, 133
 Перси 232
 Пестель П. И. 179, 621
 Петербору Б. 37, 38, 39
 Петерсон 50
 Петр I (Великий) 6, 51, 95, 98, 181, 194, 305, 359, 399, 618
 Петров А. А. 617
 Печерин В. С. 11, 208, 622
 Печерин Ф. С. 214
 Пий IX 214
 Пилсудский Ю. 537
 Пиль 188, 196
 Пильняк Б. 20, 22, 461, 630, 631
 Пиндар 116
 Пит (Питт) У. 58, 73, 75, 76, 79, 125, 139, 161, 242, 243, 268
 Пифагор 446
 Пишо А. (Pichot) 174, 621
 Плантагенеты (Плантаженеты) 228
 Платов М. И., атаман 8, 143
 Платон 384, 423, 588
 Плещеев М. И. 45, 616
 Плотин 460
 Погодин М. П. 191, 622
 Пожалостин (Поялостин, Поджалостин) 445
 Пожарский Д. М., князь 64, 237
 Покровский Н. Н. 396
 Полли 477
 Полли 509, 510, 511
 Помфрет, графиня 42
 Пондерво 416
 Поп (Pope) А. 93, 116, 120, 209, 618
 Порте 164
 Портланд, герцог (дюк) 65
 Портланд, герцогиня 38
 Портсмус, герцогиня 573
 Поттер Б. см. Вебб Б.
 Преви де, граф 127
 Протопопов А. Д. 393, 395
 Пуссен Н. 95
 Пушкин 32
 Пушкин А. С. 10, 254, 403, 508, 612, 623, 629
 Пэйн-Таундсенд Ш. Ф. см. Шоу Ш. Ф.
 Радилиф, доктор 42
 Разумовский, граф 163
 Райт Х. (Wright Н.) 381
 Распутин Г. Е. 393, 395
 Рафаэл 141
 Рафаэль (Рафаил) Санти 40, 91, 174, 306, 307, 543, 627
 Рашковский П. И. (псевд. Иванов) 14
 Рейналь 130
 Рембрандт Х. ван Рейн 249
 Рен (Врен, Wren) Х., архитектор 41, 50, 89, 115, 158, 167, 239, 240, 241, 244
 Рескин Дж. 306, 315, 627
 Рессель У. 321
 Рив Г. 624
 Ривс С. 266, 624
 Ридли, виконтесса 352
 Рикардо Д. 575
 Рипон, маркиза 352, 353
 Ричард III 193, 622
 Ричардсон С. 77, 111, 617
 Ричарды, короли 548
 Ричмонд (Richmond), г-жа 95
 Ришелье А.-Э. дю Плесси де, герцог 121
 Робертс, фельдмаршал 320
 Робертсон 111, 172
 Ровинский 446
 Рогинский З. И. 612
 Родзянко М. В. 396
 Родней 122
 Роза Салватор 40
 Розанов В. В. 413, 455
 Розен Р. Р., барон 394, 395
 Ролет, парикмахер 73
 Рольстон У. 10, 312
 Ромели Г. 72
 Ромней 448, 520
 Россель, лорд 163
 Россетти (Росетти) Д.-Г. 306, 315, 323, 627
 Россэл, леди 487
 Ротенштейн В. 321
 Ротшильд (Rothschild) 154
 Роу Н. 619
 Рочестер (Rochester), г-жа 95

- Рубенс (Рюбенс) П. П. 40, 43, 91
 Рубильяк 117, 118
 Рузвельт Ф. 339, 598, 605
 Руссель 196, 232
 Руссо Ж.-Ж. 153, 169, 170, 295, 619
 Рылеев К. Ф. 179, 621
 Рэкам 322
 Рюэль Д. 321
- С. 141
 С*, господин см. Смирнов Я. И.
 С. М*, епископ 139
 С-в см. Смирнов Я. И.
 Саблин Е. В. 19
 Савонарола Дж. 532
 Сазонов С. Д. 390, 396
 Саллюстий (Саллустий) Гай Крисп 139
 Салтыков-Щедрин (Щедрин) М. Е. 340, 344
 Самарин 139
 Самборский (Самбурский, Сомборский) А. А. 48, 52, 55
 Сандерленд (Sunderland), леди 95
 Сарджент 320
 Саути (Соути) Р. 235
 Сафо (Сафа) 84
 Саша см. Герцен А. А.
 Свинертон Ф. 17
 Свиньин П. П. 9, 144, 620
 Свифт Дж. 6, 119, 632
 Себерт, король Англии 115
 Северин Д. П. 8, 141, 620
 Сен-Ламбер 109, 110
 Сервантес М. 224
 Сережа 175
 Сиданер Л. 322
 Сидонс, (Сидонс) 103, 145
 Сидония, герцог 90
 Сил, барон 86
 Симон 152, 185
 Симпсон 435
 Синельникова И. М. 571
 Синклер Л. 519
 Сирин см. Набоков В. В.
 Скотс 435
 Скотт В. 8, 9, 10, 16, 166, 187, 226, 284, 323
 Скюдери М. де 132
 Слефогт 322
 Смирнов Я. И. 86, 130, 131, 617, 620
 Смирнов, вице-консул 159, 170
 Смит 337
- Смит А. 469, 471
 Смит, миссис 471
 Снеллинг 614
 Сноуден 379, 592
 Собар 32
 Соболевский Н. И. 621
 Соловьев В. С. 12
 Солон 125
 Сомерсет (Sommerset), г-жа 95
 Sommersey Ф. 239
 Сорин 507
 София, служанка 112, 113
 Софокл 491
 Спенсер Э. 32, 116, 314
 Сталин И. В. 559, 599
 Сталь А. Л. де, барон 162, 163, 174, 621
 Сталь А. Л. Ж. де 621
 Стангоп 50, 161
 Станлей, лорд 193
 Станоп, лорд 120
 Стевенс 321, 322
 Стемфорд, граф (Станфорт) 614
 Степняк-Кравчинский (Степняк) С.М. 13, 14
 Стерн Л. 104, 105, 111, 132, 619
 Стивенсон Р. Л. 528
 Стиль Р. 6
 Стир У. 321
 Стораче 75
 Стредвик 320
 Стречи Л. 527
 Стронге 50
 Струве П. Б. 19
 Стюарт Мария 118, 161, 347
 Стюарты 216
 Сувчинский П. П. 22, 632
 Сутерленд, герцогиня 352
 Сэмюэль, мистер 502, 503, 504
 Сьюар 180
- Тадема Альма 320
 Тайлер 236
 Талбот 213
 Тальбот 232
 Тальма Ф.-Ж. 145, 159, 160, 162
 Тамберлик 284
 Тарлинг, миссис 555
 Тассо (Тасс) Т. 82
 Тата см. Герцен Н. А.
 Тацит 111
 Тейлор (Taylor) Р. 168, 169, 170
 Теккерей У. М. 266, 269, 276, 325
 Темплов 267

- Теннисон А. 187, 302, 315, 627
 Терещенко Н. М. 555
 Тернер 319, 325
 Терри К., актриса 311
 Терри Элен 311, 562
 Тескова А. 22, 632
 Тилней 54
 Тильней, граф 119
 Тиндал (Tindal) 169
 Тихменев П. А. 263
 Тихон, патриарх 483
 Тициан (Титиан) В. 40, 45, 134, 449
 Толанд (Toland) 169
 Толе (Towley) 87
 Толстой А. Н., граф 18, 359, 362, 370, 372, 381, 392, 401, 628
 Толстой Л. Н., граф 17, 392, 403, 413, 417, 472, 537, 579, 599
 Тома 322
 Томас 103
 Томас Алдерман 119
 Томсон Дж. 109, 110, 111, 117, 121, 161, 190, 240, 619
 Томсон Дик 495, 496, 497, 498
 Томсон, миссис 496, 497, 498
 Тонкс Г. 321
 Тонлей 164
 Топольский Ф. 573
 Торонгиль Иаков 49
 Тоунсенд, генерал 390
 Тревелайан 379
 Троицкий Л. Б. 482
 Труман, пивовар 183, 184
 Трюбнер 322
 Тук Горн Дж. 100, 101
 Тургенев А. И. 8, 9, 10, 156, 620
 Тургенев И. С. 10, 17, 266, 392, 579, 624
 Тургенев Н. И. 9, 177, 179, 621
 Турлов, лорд 119
 Тусси см. Маркс Э.
 Тыркова (Тыркова-Вильямс) А. В. 11, 19, 24, 513, 631
 Тэн И. 306, 627
 Тюдор Мария 618
 Тюдоры 229, 518, 623
 Тютчев Ф. И. 403
- Уайльд О. 13, 315, 330, 401, 548
 Уатт Дж. 226
 Узлей, лондонский нищий 148
 Уильямс Д. 624
 Уильямс Т. 322
- Уимборн К. 352, 354
 Уистлер Дж. 319, 321
 Уолингфорд, мошенник 458
 Уоллес 562
 Уолпол (Вальполь) 188
 Уолпол (Вальполь) Роберт 29
 Уолпол (Вальполь) Хорас 7, 17, 29, 30
 Уолпол-Орфорд Дж., граф 87, 618
 Уолполы (Вальполи), братья 29, 30
 Уоррик (Warwick), леди 381, 384
 Уоррик Г., граф 344, 346, 347
 Уоррик, леди 344
 Уоррик, семейство 385
 Урика 170
 Успенский Б. А. 617
 Уэллс (Уэллз) Г. Дж. 14, 21, 24, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 406-426, 493, 506, 558, 561, 584-611, 629, 632
 Уэллс К. 585, 586
 Уэллз, г-жа 383
 Уэрдель (Weardale), лорд 373, 375, 388
- Ф*, маркиза де 139
 Фабий 561
 Фагнер, нунциус папский 53
 Фаддеев 262, 263
 Файндлэттер М., Д. 352
 Фан де Вейер С. 267, 268, 624
 Фаррер 402
 Федор Иоаннович, царь 4
 Федор, художник 445
 Федоров Н. Ф. 12, 23
 Фелпс Г. (Фельпс, Phelps G.) 17, 24, 273
 Фергессон 321
 Фехтер 309, 310
 Фидий (Фидиас) 164, 256, 621
 Филипп 90
 Филипп II, король испанский 51
 Филипп VI 623
 Филипсон, певица 486
 Филп (Philp), отец 212
 Фильдинг Г. 77, 111, 123, 125
 Фильп, г-жа 213
 Фипс 55
 Фисли 87
 Фитс 50
 Фицджералд 32, 41
 Фишер, гобоист 37

- Флеминг О., сэр (Флемин Алферей) 614
 Флетчер Дж. 5
 Фогелер 322
 Фокс (Фох) Ч. Дж. 59, 75, 99, 100, 101, 113, 114, 139, 161, 163, 242, 243, 268
 Форстер Э. М. 529
 Фортскью Ф. 338
 Франклин Б. (Franklin B.) 169
 Франко 572
 Френч, лорд 390
 Фридрих, король Пруссии 90
 Фриз де, певица 487
 Фром 351
 Фуке Ф. Г. К. де Ла Мотт 134
 Фукидид 111
 Фурье Ш. 575
- Хаксли О. (Хексли А.) 21, 523, 524, 525, 526
 Хальс Ф. 322
 Хант У. Х. 627
 Харальд Гит 3
 Харди Т. 506
 Хардинг, лорд 397
 Хаткарт 172
 Хаусман А. Е. 403
 Хейг Д., сэр 390
 Херасков М. М. 617
 Херкомер 320
 Хетвей А. 332
 Хикс Дж. (Джикс) 585, 591, 592
 Хилл, мисс см. Томсон, миссис
 Хогарт (Гогард) У. 39, 74, 159, 184
 Ходасевич В. Ф. 22, 548, 632
 Ходсон, фермер 335, 336
 Хомяков А. С. 12, 16, 23, 215, 622, 623
 Хомяков Н. А. (Номуяков Н.) 16, 17, 24
 Хопвуд 322
 Хэрком 520
- Цветаева М. И. 21, 22, 548, 632
 Цезарь Гай Юлий 347, 577
 Цицерон 384
 Цорн 320
 Цюгель 322
- Чаадаев М. Я. (Tschaadaieff) 152, 153, 155, 620
 Чаадаев П. Я. 9, 23, 152, 620
 Чанс, леди 354
- Чаплин Ч. (Чарли) 470, 472, 505, 506
 Чарли см. Чаплин Ч.
 Чатам, лорд 58, 242
 Чемберлен Н. 585, 592
 Чемберлен О. 585, 628
 Чемберс 183
 Чемесов, гравер 445
 Ченслор Ричард 4
 Черный принц см. Эдуард, принц Уэльский
 Черчилль У. 592, 605
 Честертон Д. К. 580
 Честерфильд 92
 Чехов А. П. 444, 507, 579
 Чосер Дж. (Часер) 4, 116
 Чуковский К. И. 18, 350, 359, 370, 381, 392, 401, 627
- Ш* де, граф 139
 Ш*, профессор см. Шаден И. М.
 Шаден И. М. (Ш*, профессор) 122, 619
 Шаляпин Ф. И. 438, 507
 Шаннон Дж. 320
 Шаховской Д. А. 22, 632
 Шевалье М. 545
 Шевырев С. П. 234
 Шекспир (Шакеспир) У. 4, 12, 16, 45, 50, 58, 87, 88, 92, 99, 102, 103, 110, 111, 116, 145, 161, 162, 204, 224, 226, 240, 273, 284, 311, 323, 328, 331, 332, 334, 347, 348, 391, 450, 472, 485, 505, 522, 527, 565, 566, 577, 618, 619, 622, 625
 Шелли (Шэлли, Shelley) П. Б. 323, 462, 463, 491, 562
 Шерард, доктор 43
 Шереметьев 158
 Шеридан Р. Б. 59, 75, 113, 114, 123, 240, 268
 Шиллер Ф. 347, 348
 Шимановская М. 174
 Шингарев А. И. 393
 Шкловский В. Б. 627
 Шкловский И. В. (псевд. Дионео) 15, 327, 627
 Шмелев И. С. 15
 Шмидт О. Ю. 580
 Шопен Ф. 545
 Шоу Б. 448, 558-584, 587, 632
 Шоу Ш. Ф. (Шарлотта) 559-564, 567, 581, 583, 584

- Шпальтегольц, профессор 408
Штейнкопф (Steinkopf) 158, 159
Штук 322
Штюрмер Б. В. 390, 396
Шуберт Ф. 527
Шуман Р. 527
Шух 322
- Эвелинг Э. 569, 570, 571
Эгмонт Л., граф 335
Эдди, миссис 542
Эдельберт, король кентский 239
Эджворт, мисс 188
Эдмунд Железнобокий (Ironsides) 3
Эдуард 364
Эдуард I 228
Эдуард II 344
Эдуард III 623
Эдуард IV 117
Эдуард VI 4, 232
Эдуард VII 339
Эдуард Исповедник 91, 192
Эдуард, принц Уэльский 91, 618, 623
Эзоп (Езоп) 295
Эйнзидель 159
Элджин (Эльгин), лорд (Клерк Дж.) 164, 192, 621
Элиот Дж. 315
Эллиот В. 559
Энгельс Ф. 568, 575
Эон д', кавалер 134
Эрвинг 311
Эренбург И. Г. 531, 631
Эссекс, граф 116, 348, 527
Эссекский герцог 145
- Юденич Н. Н. 595
Юлих 30
Юм Д. 90, 111, 123
- Языков М. А. 254, 623
Якушкин И. Д. 154
Ярослав Мудрый 3
- В., миссис 507
Baring 153, 155
Brougham 172
Buggenoms de, патер 211
- Campbell N. 160, 162, 174
Cook 328
- Dawy 172
- Felicien, frere 211
Ford J. 614
Fordham E. 342
Froude J. A. 626
- Gay J. 161
Gode 159
Graham S. 376
- Johnson 158
- N. 548
N. N. 196
N. N., генерал 114
N.N. 101, 102
Pelby 162
Plante 163
Raikes, банкир 163
Ross R. 375
Rowe 161
- Sharp, адвокат 162
Shirley J. 614
Sloan Hans 164
Survivor 352
- Terry 165
- Vestrils 202
- Wilks 163
- Z см. Новикова О. А.

Содержание

Англия глазами русских (<i>О. Казнина</i>)	3
[<i>Ф. Архипов</i>]. Роспись городу Лундану и всей Аглинской земли	25
<i>А. Д. Кантемир</i> . Из депеш и политических писем. Из Лондона	29
<i>Е. Р. Дашкова</i> . Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым Аглинским провинциям	31
<i>М. И. Плещеев</i> . Письмо Англмана к одному из членов Вольного Российского Собрания.	45
<i>Н. А. Демидов</i> . Журнал путешествия по иностранным государствам с начала выезда из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение в Россию ноября 22 дня 1773 года. Англия	47
Россиянин в Англии.	56
<i>Н. М. Карамзин</i> . Письма русского путешественника. Англия	68
<i>П. И. Макаров</i> . Письма из Лондона.	127
<i>К. Н. Батюшков</i> . Письмо к Д. П. Северину	141
<i>П. П. Свиньин</i> . Ежедневные записки в Лондоне	144
<i>П. Я. Чаадаев</i> . Письмо к М. Я. Чаадаеву	152
<i>А. И. Тургенев</i> . Дневник в Англии	156
<i>Н. И. Тургенев</i> . В Англии	177
<i>П. А. Вяземский</i> . Об Англии	180
<i>Н. И. Греч</i> . Путевые письма из Англии.	183
<i>М. Н. Загоскин</i> . Журнал Русского путешественника	190
<i>М. П. Погодин</i> . Дорожный дневник (1839)	191
<i>К. П. Паулович</i> . Замечания о Лондоне	197
<i>В. С. Печерин</i> . Переезд в Англию (1844—1845)	208
<i>А. С. Хомяков</i> . Письмо об Англии	215
<i>А. П. Заблоцкий</i> . Воспоминания об Англии	239
<i>И. А. Гончаров</i> . Фрегат «Паллада». В Англии	246
<i>И. С. Тургенев</i> . Обед в Обществе английского литературного фонда	266
<i>М. Л. Михайлов</i> . Лондонские заметки	271
<i>В. П. Боткин</i> . Две недели в Лондоне 1859 года.	281
<i>А. И. Герцен</i> . Лондонские туманы	287
<i>А. И. Герцен</i> . Трагедия за стаканом грока.	290
<i>Ф. М. Достоевский</i> . Ваал	296
<i>О. А. Новикова</i> . Английские предрассудки.	302

<i>П.Д.Боборыкин.</i> Лондон. — Лондонский сезон 1868 года	306
<i>П.П.Муратов.</i> Письмо из Лондона. Художественные выставки	319
<i>М. Горький.</i> Лондон.	323
<i>Дионео.</i> Английская губерния	327
<i>К.Чуковский.</i> Борьба с роскошью в Англии.	350
<i>А.Н.Толстой.</i> В гостях у англичан. Прогулка с Конан-Дойлем	359
<i>А.Н.Толстой.</i> Англичане, когда они любезны.	362
<i>В.Д.Набоков.</i> Из воюющей Англии	370
<i>К.Д.Набоков.</i> Испытания дипломата	389
<i>В.В.Набоков.</i> Кэмбридж	398
<i>В.В.Набоков.</i> Другие берега	401
<i>Е.И.Замятин.</i> Герберт Уэллс.	406
<i>В.П.Крымов.</i> Город-сфинкс	427
<i>Б.Пильняк.</i> Отрывки из «Повести в письмах», которую скучно кончить	461
<i>Н.Н.Никитин.</i> Английские зеркала	475
<i>А.В.Тыркова-Вильямс.</i> Письма из Англии. Палец собственника	513
<i>И.А.Бунин.</i> Джером Джером	516
<i>П.П.Муратов.</i> Английские впечатления.	517
<i>И.Г.Эренбург.</i> Город-притча.	531
<i>В.В.Вейдле.</i> Лондонские воскресенья	540
<i>В.В.Вейдле.</i> Англия	544
<i>М.И.Цветаева.</i> Письмо к В.Ф.Ходасевичу	548
<i>Н.М.Зернов.</i> Англия.	549
<i>Н.М.Зернов.</i> Оксфордский университет	552
<i>Н.М.Майский.</i> Из воспоминаний о Бернарде Шоу и Герберте Уэллсе	558
Комментарии	612
Именной указатель	633

«Я берег покидал туманный Альбиона...»
Русские писатели об Англии
1646—1945

Художественное оформление *А.Сорокин*
Техническое редактирование
и компьютерная верстка *Н.Галанчева*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 28.06.2001.
Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 40,5. Уч.-изд.л. 46,8. Тираж 1500 экз. Заказ № 1842

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
129256, Москва, ул. В.Пика, д. 4, корп. 2. Тел. 181-01-71 (дирекция);
Тел./Факс 181-34-57 (отдел реализации)

ППП типография «Наука»
121009, Москва, Шубинский пер., 6

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

